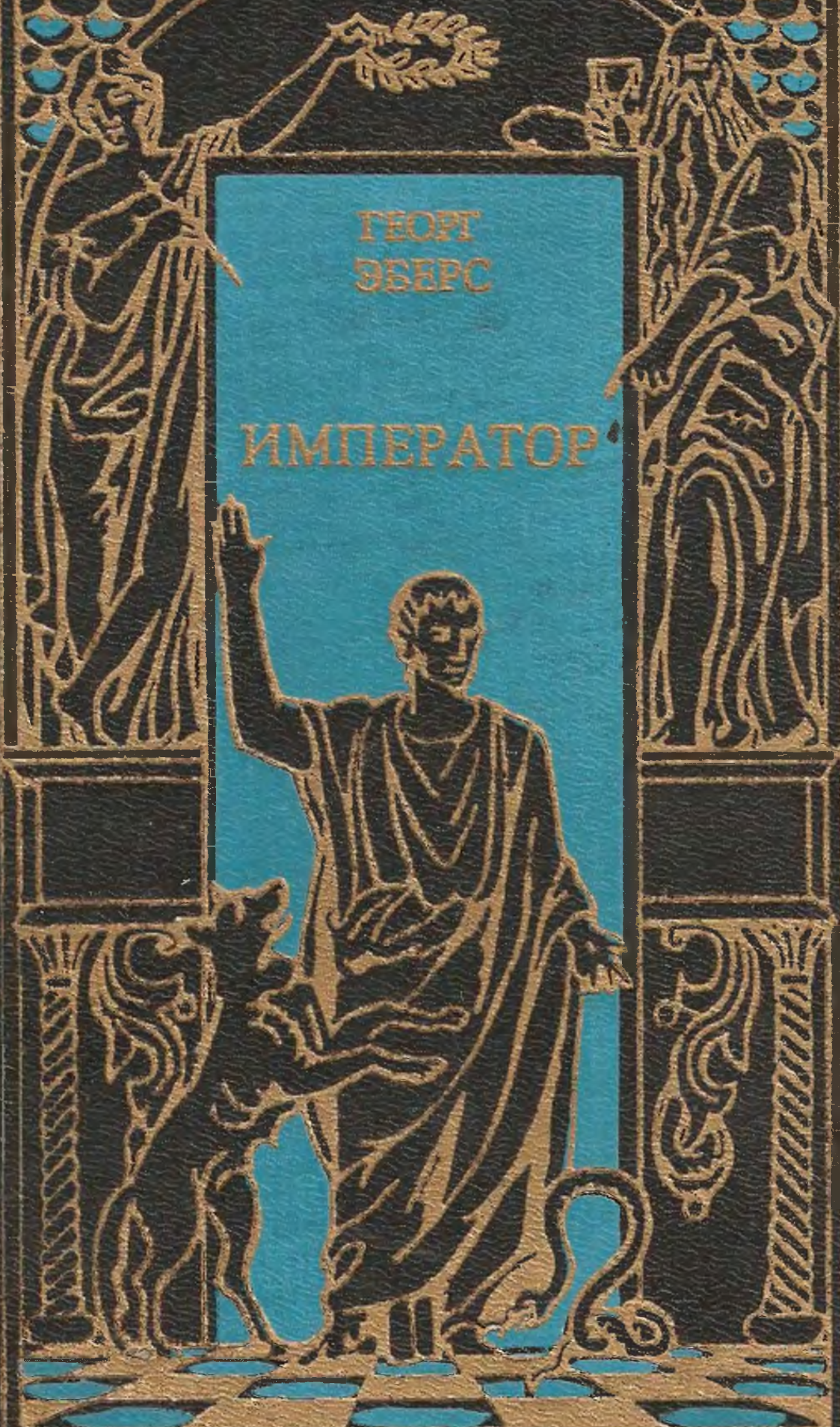
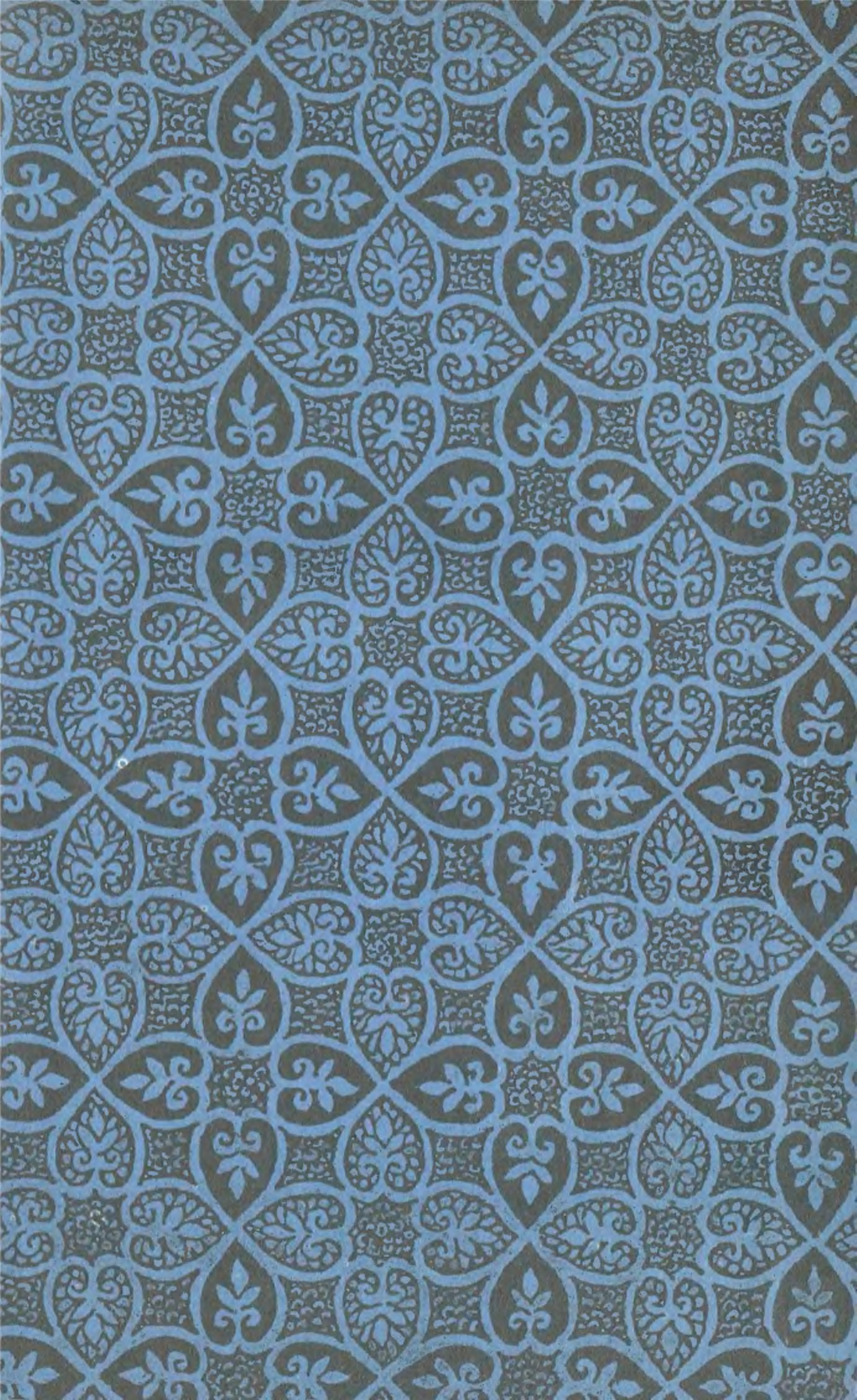
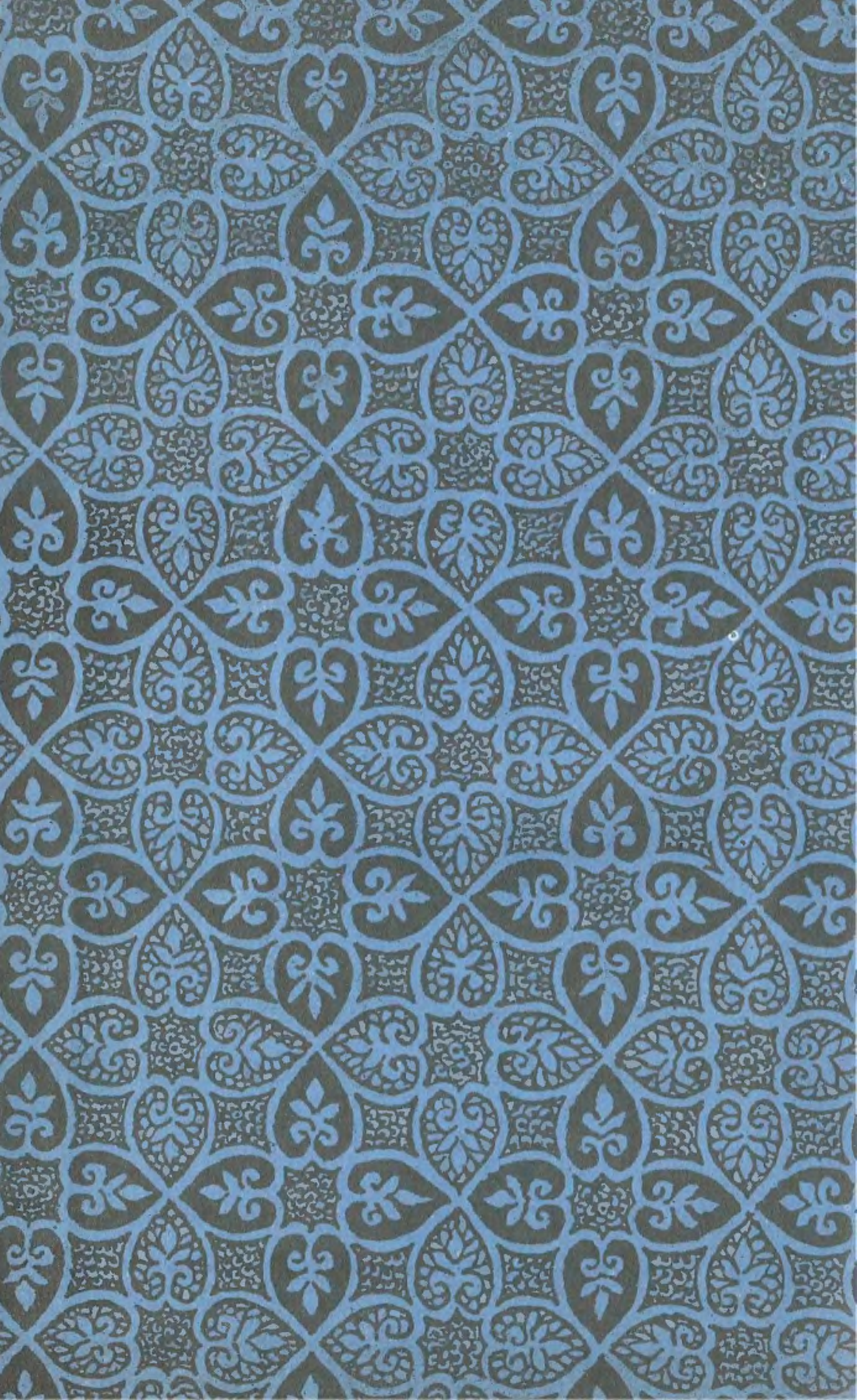


ГЕОРГ
ЭБЕРС

ИМПЕРАТОР







Scan Kreyder - 17.03.2015
STERLITAMAK



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ВЫПУСК
ПЕРВЫЙ

ПАДЕНИЕ
ВЕЛИКИХ
ИМПЕРИЙ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

НИКОЛАЙ
УЛЬЯНОВ

АТОССА

(ПОХОД ДАРИЯ В СКИФИЮ)

ГЕОРГ
ЭБЕРС

ИМПЕРАТОР

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДРОФА»
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НОВАЯ КНИГА»

1993

ББК 84Р7-4
84,4Ге

Серия основана в 1993 году

Издание осуществлено при финансовом содействии Пролетарского филиала Московского индустриального банка.

У51 Ульянов Н. Атосса (Поход Дария в Скифию);
Эберс Г. Император /Пер. с нем.: Исторические романы.— М.: Дрофа — Новая книга, 1993.— 576 с.

Роман Николая Ульянова, впервые издающийся в России, повествует о тех временах, когда на земле, где позднее появятся славянские государства, еще жили скифские племена. Карательному походу персидского царя Дария в Скифию и посвящен роман русского писателя-эмигранта, жившего и умершего в США. Роман выдержал два издания в американских издательствах и был переведен на многие языки мира.

Роман прославленного немецкого автора Георга Эберса «Император» повествует о судьбе и смерти правителя Рима Марка Аврелия, жившего в середине II века нашей эры.

ISBN 5-8474-0204-X

ISBN 5-8474-0206-8

ISBN 5-7107-0221-8

© Составление В. Козаченко,
С. Тимченко, 1993.

© Оформление Н. Егорова,
1993.

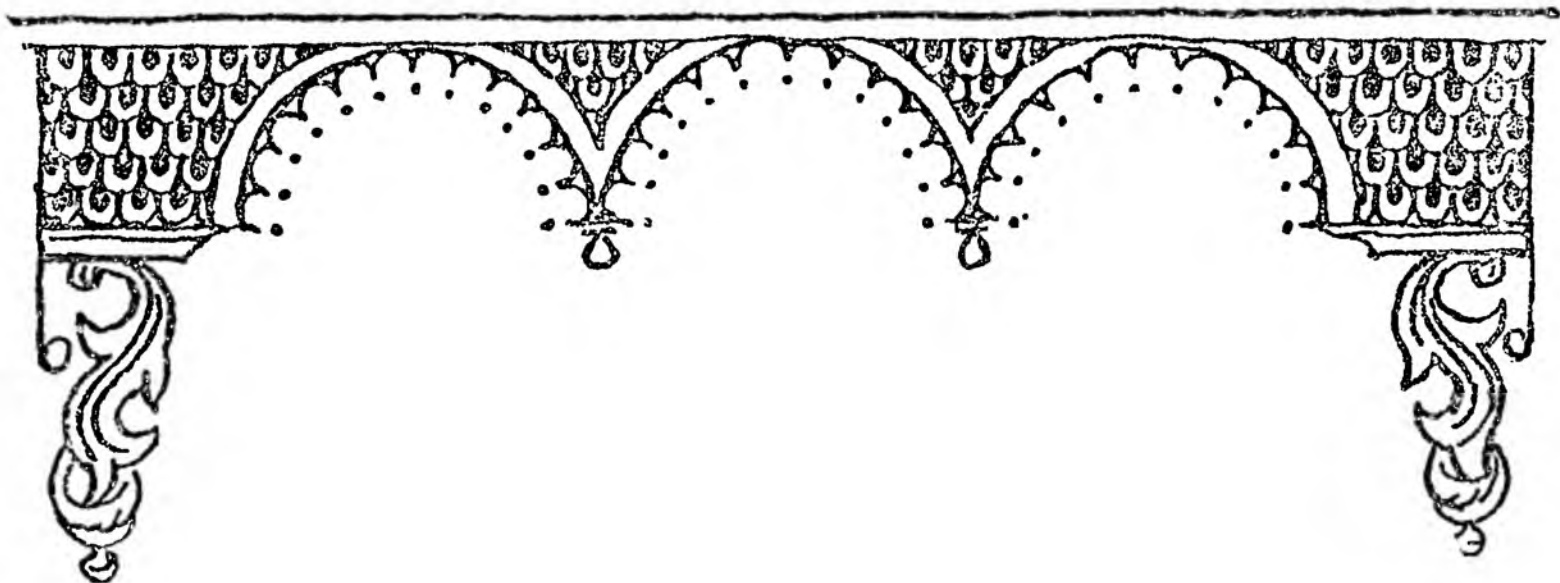
Перепечатка книг серии,
отдельных глав запрещена.
Всякое коммерческое использование произведений
возможно только с разрешения издательства.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНЕ

НИКОЛАЙ
УЛЬЯНОВ

АТОССА

(ПОХОД ДАРИЯ В СКИФИЮ)



НА БОСФОРЕ

I

В трюме стало темно. Под звуки флейты и барабана сто восемьдесят человек как один нагибались и откидывались назад, наполняя трюм лязгом и скрежетом. Гребцы не знали мест, мимо которых проходили, но когда надсмотрщик, указывая хлыстом, крикнул что-то другому, по скамьям пошла весть, что близок византийский порт и продолжительный отдых. Последние сутки гребцы работали без перерыва и с трудом двигали веслами.

В полночь в окнах левого борта блеснули огни Византии. Некоторые рабы знали этот белый город на вершине холма, с вздымающимся из-за стен портиком храма Серы.

Судно подходило к Босфору. Флейта и барабан неожиданно смолкли, и стало слышно, как к триэре приближалось судно. Оттуда раздался голос, звучавший долго и певуче. С триэры о чем-то спросили, и голос снова запел, как жрец перед закланием жертвы. Потом послышался удаляющийся плеск весел. Рабы спали и громко стонали во сне. Удар гонга не в состоянии был их разбудить. Засвистели бичи. Люди поднимались, поводя налитыми кровью глазами.

На бронзовом треножнике вспыхнуло пламя, осветившее фигуру Никодема в шлеме и с копьем. Он осмотрел гребцов, вглядываясь в каждое изможденное лицо.

— Все вы получите свободу в тот день, когда кончится плавание. Но если завтра на рассвете триэра не будет за шестьдесят стадий отсюда, я прикую вас к скамьям двойными цепями и потоплю судно вместе с вами. Так я сказал.

Надсмотрщики вкатили глиняные амфоры и стали раздавать пресную воду. Потом внесли ящик с земляными лепешками и тухлой рыбой, нарезанной кусками. Рабы ловили пищу на лету, выхватывали друг у друга, ревели и дрались, звеня цепями. Когда кончилась кормежка, зазвучал гонг. Барабан и флейта начали свою мелодию. Гребцы как зачарованные качнулись вперед, откинулись назад, и трюм снова наполнился грохотом. Бичи из буйволово́й кожи размякли от крови в эту ночь. Пар застилал огонь светильников.

У кого-то хлынула кровь, и он упал на древко. Двое других, продолжая грести, волочили взад и вперед его тело, повисшее на весле. Стали падать и на других скамьях. Никодему пришла мысль поднять парус. Никто не осмелился сказать, что ветра нет; парус был поднят, но бессильно повис. Выхватив меч, Никодем стал его полосовать.

— С вами будет то же, если не придем вовремя! — крикнул он дрожащим людям.

Приближался рассвет. В воде розовыми устрицами всплывали облака, а на фракийском берегу заалели верхушки буков и пиний, когда в шатер к Никодему вбежал кормчий.

— Господин! Путь прегражден!

Пролив пересекала темная цепь в виде точек, соединенных линиями. По мере приближения стали замечать людей, бегавших взад и вперед, как крошечные песчинки.

Затрубили сигнал, зажгли курильницу. Навстречу поднялись такие же столбы дыма, и послышался комарный писк рожков. Только теперь они заметили, что черная цепь, преграждавшая пролив, в одном месте разорвана, и там виднелись корпуса кораблей. Открылась щетина мачт, снеговые массивы палаток по берегам и густой человеческий муравейник, сверкавший копьями и шлемами. С триэры ясно видели, что заграждение представляло гигантский мост. Даже старый кормчий был подавлен. Сколько раз проходил он в этих местах, сопровождая господина, и всегда Босфор был глухим, пустынным и опасным из-за разбойников. Теперь он кишел людьми и являл невиданное чудо.

С моста трубили и махали полотнищем, чтобы триэра ускорила ход. Но гребцы выбивались из сил. Ворвавшись в трюм, Никодем проколол мечом первого попавшегося надсмотрщика и раскрыл голову сидевшему по-

близости рабу. Он пообещал всем верную гибель, если не напрягут последних сил.

С моста летела брань; судно грозили не пропустить, если оно не поспеет вовремя. На триэре воцарились ад и остервенение.

Когда Никодем поднимался наверх, триэра уже вступала в пролет. Мелькнула линия кормовых частей судов, бесконечные перила, груды досок и пестрые лохмотья рабов, глазевших сверху.

Мост был пройден.

II

Никодем не мог найти места для причала: вдоль берегов стояли густые ряды кораблей. Триэра бросила якорь посередине пролива. К ней подошла лодка, и на палубу поднялись длинноволосые персы в тяжелых одеждах. Они спрашивали, куда идет триэра и зачем? То были царские распорядители.

Никодем провел их в шатер на корму, посадил в кресла из душистого дерева и велел умастить руки и бороды. Потом поднес каждому по браслету, а на шею возложил серебряные цепи. Он объяснил, что плывет из Библоса в Синоп с грузом благовоний и египетских тканей. Персы благосклонно выпили вино. Развеселившись, стали смеяться и обнимать Никодема. Перед уходом старший хорошо отозвался о подарках, но выразил сожаление, что его ничем не отличили перед подчиненными. Никодем поднес ему слоновый клык и ларец с ладаном.

Когда персы отбыли, прибыл маленький юркий лидиец. Он был долгое время рабом-номенклатором у родовитого афинянина и знал всех известных людей в Аттике и на Истме. Теперь получил свободу и сам имел много рабов, доставлявших ему всевозможные сведения. Этими сведениями он торговал и нажил большое богатство. От Коринфа до Суз, на всем этом пространстве, не было ни одной тайны, неизвестной ему. Все заговоры, при больших и малых дворах, были ему открыты. Он был вхож во дворцы всех тиранов и получал от царя щедрое жалованье, за то, что сообщал о намерениях греков. Зная секреты царского двора, он продавал их за высокую цену сатрапам и тиранам греческих городов.

Никодем хорошо знал этого человека и рад был услышать от него новости, но ему было известно страстное

желание лидийца узнать что-нибудь о нем самом. Он сразу отвел его на корму и велел задернуть шатер.

— Поздно же ты прибыл, Никодем! Опоздай твоя триэра еще на час, ей бы больше не бороздить Понта. Впрочем, неизвестно, что лучше — остаться по ту сторону моста и иметь возможность плавать по всем морям или проникнуть в дикий Понт и потерять надежду на возвращение. Тебе теперь надо продать судно в каком-нибудь порту и обратно идти сушей. А судно у тебя чудесное, это сам божественный Арго. Надобно ждать пельсыханных барышей от поездки, чтобы решиться потерять такой корабль. Для кого ты копишь богатства, Никодем? Ведь у тебя нет ни детей, ни наследников, а сам ты мог бы до конца дней мирно жить в Милете в довольстве и славе. Что заставляет тебя в такое грозное время совершать рискованное путешествие на край света?

Никодем улыбнулся.

— Мощью царя царей и милостью Агура-Мазды края света скоро будут расширены.

— Ты не знаком с философией, Никодем, иначе бы не говорил таких смешных вещей. Кто из смертных может расширить края света, очерченные великими богами? Да будет тебе известно, что достигнуть края света можно, но изменить его никому не дано. Ведь для этого надо было бы огромное множество воздуха сгустить до плотности земли, а от этого нарушилось бы соотношение частей материи, установленное богами. Воздуха и без того становится мало, это давно заметили те, кто поднимались на высокие горы. Если же начнут превращать его в землю, он совсем исчезнет, и все живущее погибнет.

— Но почему же, Ардис, воздуха становится мало и куда он пропадает?

— Он улетучивается в пустоту, окружающую землю.

— О, Ардис, когда это успели тебя одурачить наши милетские ослы? Они всем прожужжали уши своей пустотой и своим воздухом. Ведь не пустота, а вода окружает землю; мы живем на гигантском острове и то, что называем морями, не более, как озера и лужи на нем. И сам воздух не более, как особое состояние воды. Разве не поднимается он целыми облаками с морей и рек и разве не падает сверху дождем, когда сгущается?

— Те, кто так думает, сами наполнены водой и мысли их не более, как болотные испарения.

— Хорошо, Ардис, если ты прав, то на краю земли, надо думать, воздух очень редкий и мало воды; между

тем там густой и ароматный воздух, льют сплошные дожди и все реки текут оттуда. Не знак ли это, что не пустота, а океан окружает землю.

Лидиец побледнел от злости.

— Скоро увидим, кто прав. Когда любимые тобой варвары будут загнаны на край вселенной, посмотрим, куда они будут падать — в море или в бездну?

— Любимые мной варвары?

Схватив лидийца за горло, Никодем чуть не всадил ему нож, но тот прохрипел:

— Не спеши! Мне не суждено погибнуть от твоей руки.

— Ты в этом уверен?

— Да. Ты честный торговец и не прибегнешь к недостойному убийству, чтобы уклониться от платы. А заплатить ты мне должен дважды: один раз за сохранение твоей тайны, а другой раз за тайны чужие, которые тебе необходимо знать.

— Будь проклят, подлый шпион! Я не нуждаюсь в твоих сведениях, а тайны у меня никакой нет.

— Верно ли это, Никодем? Неужели я ошибся, следя за тобой последний год и рассчитывая получить целое состояние? Нет, Ардис никогда не ошибался. Те три золотых таланта, что я должен получить с тебя, уже назначены финикийцу Сихею. Он поплывет на закат в страну Таршиш, где серебро вытекает прямо из расщелин гор, он привезет полный корабль серебра, и половина достанется мне по договору. Я непременно должен получить с тебя три таланта.

— Долго пришлось бы ждать твоему Сихею. Три таланта могли бы быть получены только при моем возвращении в Милет.

Лидиец от восторга подпрыгнул на своем сиденье, а потом, вскочив, стал приплясывать, напевая песенку.

— Это самая веселая минута в моей жизни, Никодем. Зачем ты себя унижаешь, прибегая к детским хитростям? Или не знаешь, кто я? Мне ли неизвестно, что в Милет ты больше не вернешься, что все свои оливковые рощи, виноградники, ткацкие мастерские, рабов и самый дом твой ты продал, превратив свое богатство в золото и драгоценные вещи, и все это хранится теперь в недрах твоей триэры? Мне ли не известно, что плывешь ты на...

Рот его широко открылся, а глаза стали вылезать из орбит. Пальцы Никодема сжали ему горло так, что оно начало хрустеть. Лидиец уже перестал мотать руками, лицо его посинело. Испугавшись, Никодем бросил

свою жертву на пол. Потом поднял на ложе и влил в глотку вина. Ардис заговорил, не открывая глаз:

— Благо тебе, Никодем, что рассудок твой одержал верх. Не вернись я отсюда до полудня, все было бы известно Гистиэю. Но я знал, что ты мудр и не захочешь кончить своего дела здесь, на Босфоре, не достигнув желанной варварской земли. Ты велик, Никодем, тебе предстоят большие дела, поэтому ты заплатишь мне три таланта за свою тайну, а за обиду дашь в придачу алавастр, полный пурпура. Дай мне еще вина!

— Собака ты, Ардис! Я устал от болтовни с тобой. Бери свой талант серебра и убирайся в Тартар!

— Серебра, сказал ты? Ты ошибся, Никодем, не серебра, а золота, и не талант, а три таланта. Талант серебра потрачен был на то, чтобы следить за тобой. Твои гетеры и рабыни дорого продавали твои тайны. А сколько потрачено, чтобы завлечь в притоны на Самосе твоих афинских друзей, когда они, побыв у тебя, возвращались домой? Нет, Никодем, жидкий звук серебра пусть не омрачит нашей беседы, да будет она полна торжественного звона золота!

— Не два же таланта я должен дать тебе, проклятый?

— Ты прав, Никодем, не два, а три. За два таланта я мог бы тебя без особых хлопот продать Гистиэю, но так как я этого не сделал, я хочу получить три. Это всего лишь десятая часть твоих богатств. Остальное ты можешь употребить на свое дело. Я знаю, как много у тебя расходов впереди, и беру скромную плату. А теперь, Никодем, открой шатер! Видишь там, на самой высокой террасе, палатки с зелеными верхами? Это шатры Гистиэя — лучшего слуги царя и твоего врага. Он и здесь, как перед троном, занял самое видное место. Твоя триэра кажется ему скорлупкой, он не спускает с нее глаз, стараясь придумать средство погубить тебя. Посмотри теперь на эти суда, что стоят сбоку. Это корабли Гистиэя. Взгляни на другую сторону — это флот хиосцев, верных друзей Гистиэя. Ты в западне, Никодем, и должен принести жертву богам за то, что я беру с тебя только три таланта, а не половину содержимого твоей триэры.

Никодем молчал. Глаза его в бешенстве устремлялись то на береговые высоты, где белели шатры, то на маленького лидийца, удобно развалившегося на ложе.

— Хорошо, Ардис, я дам тебе все, что ты просишь, я дам тебе больше, если ты будешь доставлять мне нужные

сведения, но да хранят тебя боги, если вздумаешь обмануть и предать меня. Тогда лучше бы тебе не родиться!

— Вот это речь почтенного человека и испытанного торговца! Будь спокоен, Никодем, я знаю, что ты лев и способен даже в момент агонии задушить в когтях такого пигмея, как я. Я не рискну играть с тобой. Будь здоров и готовь три таланта золота!

III

Слухи о прибытии Никодема, первого богача Милета, облетели оба берега. Все знали, что тканями, которыми он снабжал Аттику и Пелопоннес, можно было устлать Босфор, а зерном, вывозимым из Скифии, накормить целое войско. Многие давно добивались его благосклонности и теперь, надев чистые одежды, спешили к нему на корабль. Тираны, знавшие Никодема, отправили посланцев, чтобы приветствовать его, поднести дары и получить в ответ более ценные подарки.

Прибыл посланный от Мильтиада, владельца Херсонеса Фракийского. Он привез серебряную рыбу с глазами из изумруда и с перламутровым хвостом. Простершись на палубе, посланный молил почтить своего господина и посетить шатер его на фракийскому берегу.

С наступлением сумерек Никодем отправился на берег.

Красивый Мильтиад ждал, окруженный свитой рабов, и, взяв гостя за руку, провел его в палатку. Там, за столом, они вспоминали дружбу отцов, собственную юность, как еще совсем недавно шагали в афинских рядах, готовые отразить ненавистного Гиппия.

— Мы не были афинянами, Мильтиад, и Гиппий не угнетал нас, но мы боролись с ним потому, что ненавидели всякую тиранию. Не мечтали ли мы, изгоняя его из Афин, изгнать из Ионии и его варварского покровителя? А теперь? Не одна Иония, но вся Эллада станет завтра добычей деспота, и ты, Мильтиад, устилаешь его путь своими одеждами.

Мильтиад опустил голову.

— Что я могу? Выступить с горстью людей? Сжечь мост и обречь на варварское разорение все побережье и твой родной Милет?

— У меня нет войска, Мильтиад, и нет кораблей, — одна триэра, но я иду на врага. Милет мой для меня не существует: там не осталось ни моего дома, ни моих бо-

гатств; все, чем я владел, находится здесь, на триэре. Ты назовешь это безумием, но, когда я услышал о замысле нашего владыки, я счел это еще большим безумием и, не колеблясь, противопоставил ему свое собственное. Которое победит? Одно знаю: нет случая более удобного, чтобы избавить мир от деспота. Знаю также, что если его поход увенчается успехом, Эллада погибнет.

Чтобы равлечь гостя, Мильтиад поднес ему серебряный лекиф искусной работы. Из гладких стенок лекифа выступали округлости женщины, ноги которой сливались в змеинный хвост. За спиной стояла четверка лошадей, а лицом она обращалась к мужской фигуре с луком и стрелами в руках. То был приход Геракла в пещеру Ехидны в поисках украденных коней. Прищуриль глаза, Никодем всматривался в косматую голову женщины-змеи.

— Она достойная праматерь варваров! Наполни сосуд лучшим вином, Мильтиад, и выпьем за великое потомство Геракла и Ехидны. Не ему ли ныне надлежит спасти мир?

— Ты скоро излечишься от своей болезни. Твои белоглазые варвары обречены, и мне грустно, что ты стремишься разделить их судьбу. Остайся, пока не поздно.

— Ты, Мильтиад, преувеличиваешь силы царя и преуменьшаешь доблесть варваров. Не от них ли пал всемогущий Кир?

Беседа затянулась за полночь. Лагеря тиранов, окруженные земляными валами, спали, когда Никодем в сопровождении легкой охраны стал спускаться с берега. Только царские рабы были подняты на ноги. Они помещались в лагере, обнесенном частоколом, и жили без палаток под открытым небом. Страшное зловоние несло отсюда. Чуть свет их выгоняли на работу, и сейчас они выходили, подхлестываемые бичами, сонные, с искаженными лицами, прижавшись друг к другу. Три месяца назад их пригнали на заросшие берега Босфора, где обитали только медведи и кабаны. Рабы рубили лес, прокладывали дороги, носили бревна из глубины фракийских гор, выравнивали площадки для лагерей. Но не успел прийти флот, не успела начаться постройка моста, как половины их не стало. Десятками они тонули в Босфоре, падали в лесу и на дорогах, оставались по утрам лежать в лагере. Их выволакивали за ноги и бросали в воду. Погибших заменяли новые тысячи рабов. Сейчас у них пробудилась надежда остаться в живых: мост закончен.

На другой день Никодем отплыл на азийский берег и извилистой тропинкой поднялся к самосскому лагерю. Перед большим шатром стояло воткнутое в землю крылатое знамя на золоченом древке. В шатре, за каменным столом, заваленном папирусами, сидел человек в мраморном кресле.

— Не знаменитого ли Мандрокла я вижу перед собой? Сидевший ответил не сразу.

— Если, назвав меня знаменитым, ты вложил в это слово насмешку, то ты не более, как фронт, подкрашивающий щеки и брови, чтобы нравиться распутным девкам. Если же ты сделал это потому, что услышал мое имя из двух-трех случайных уст, то ты вполне достоин суетной толпы, что видит славу в частом повторении имени, а не в великом деянии, которого не может понять.

— Теперь я не сомневаюсь, что ты Мандрокл. Кому, как не рабу всемирного деспота, пристала такая гордыня? Но не думай, Мандрокл, что слава, которую ты себе создал, послужит украшению твоего имени. Трижды лучше умереть безвестным, но любимым согражданами, чем жить в веках, проклинаясь потомством! Подумай, с чьими лаврами переплетется твой лавр? Для чьей статуи строишь ты пьедестал? И не пугает ли тебя клеймо врага отчизны? Ведь с той минуты, как варварские полчища ступят на твой мост, ты будешь проклят вовеки. Сожги его, Мандрокл, пока не поздно, и ты прославишься этим больше, чем строительством! Ты явил миру свой гений, теперь яви величие гражданина. К тебе взываю я, Никодем из Милета.

Мандрокл молчал. Поднявшись, он взял гостя за руку:

— Пойдем со мной!

Выйдя из шатра, они блуждали запутанными тропинками среди земляных валов, бревен и куч мусора. Когда кончился этот лабиринт грязи и хлама, они вышли на гладко вымощенную дорогу с разноцветными копиями, воткнутыми по краям. Открылся мост.

Двести больших кораблей, соединенных попарно, держали его на своих спинах. Укрепленные якорями, каменными глыбами на толстых канатах, они стояли недвижимо, как скалы, и для защиты от напора волн перед ними вытянулась линия мелких судов, грудью встречавших течение.

Посмотрев на вьющиеся кольца в воронки, уходившие в пролеты, Никодем ощутил страшную толщу воды Понта и мощь противопоставленного ей сопротивления. Ступив на гладкую поверхность моста, устланную досками из кедра, он почувствовал себя среди необычайной шири. Нескончаемые линии дубовых перил, сверкавших скрещенными секирами и золочеными щитами, с парящими над ними серебряными крыльями знамен, увлекали вдаль, к победному, шумящему. Никодем ловил себя на желании вихрем промчатся по кедровому настилу. Царственная высота моста, вознесенного над водами и над стадом кораблей, наполнила его великой гордостью.

— Что ты мне скажешь теперь, Никодем из Милета?

— Живи многие лета, Мандрокл! Пусть народы воюют, тираны угнетают; ты же — посланец богов и делаешь одно прекрасное. Благословенно имя твое! Прости и будь мне другом!

V

Сорок восемь народов, носивших ярмо Великого Царя, были встревожены его намерением потрясти вселенную своими подвигами. Он требовал со всех земель тысячи колесниц. Из каждой сатрапии, из каждого подвластного царства в Сузы стекались золото, верблюды, кони и воины. Народы бросали нивы и пастбища, брали мечи и, простившись с родными хижинами, шли умирать во имя того, кто правил ими милостью Агура-Мазды. От Армении до Нубии женщины, дети и старцы плакали, надрывая сердца уходившим.

Поход, задуманный царем, носил признаки безумия. Шли против неизвестного народа, места обитания которого никто не знал. Одни думали, что оно за океаном, другие — на берегу океана, но все знали, что там — конец света и чаша небес касается краями земли.

Со всех концов царства поднялись оборванные пророки, предрекавшие гибель. Они выходили на площади, становились на перекрестках дорог и с воплями и кривляньями выкрикивали предсказания. Особенно страшный провидец явился в Сирии. Он спускался с Ливана и, встав на голой скале близ дороги, рвал длинную бороду, крича на всю пустыню.

В Гиркании из пещеры вышел прокаженный и потребовал, чтобы царю рассказали его сон. Он видел, будто царское войско, выстроенное на необозримой равнине, превратилось в мышей.

Даже атраваны были мрачны. У некоторых из них погас вечный огонь на атеш-гахе.

Царь приказал гнать прорицателей, но сатрапы, напуганные знаменьями, неохотно выполняли повеление. Они высылали пророков из одной области в другую, способствуя распространению страшных предсказаний. Народ роптал. В Сузах на улицах с плачем простирали руки к царю с просьбой не трогать сыновей, мужей, отцов. Недовольство проникло во дворец и охватило высших сановников. Сам брат царя, Артабан, был против похода и отговаривал Дария.

Царь оставался непреклонным. Пророков он велел схватить и распять на щитах, расставив их по дорогам и на улицах. Трех сатрапов, покровительствовавших пророкам и сеявших смуту, привезли в Сузы прикованными к колесницам. Их бросили в львиный ров. Царь заставил весь двор и брата своего Артабана смотреть, как звери терзали противников его воли. Каждый день проносили по улицам воткнутые на копья руки, ноги, головы тех, кто осмеливался плакать и просить царя избавить от похода их близких.

Между тем шли войска от Египта, Ливии и Сирии, тянулись отряды от хорезмийцев и согдийцев, от армянцев и каспиев; потоками вливались, как в широкую реку, в царскую дорогу, тянущуюся от Суз на Сарды. В Сузы каждый день вступали войска. По мере их прибытия ропот стихал, головы поникали и над столицей веяла, как горячий ветер пустыни, одна сила и воля — железная воля царя.

Но Дарий хотел слышать суждение умнейших и коварнейших из своих слуг — тиранов эллинских городов.

Советы их были различны. Одни, тяготившиеся властью царя, радовались его предприятию и горячо советовали продолжать задуманное. Надеялись на гибель его в походе. Но милетский тиран Гистиэй спросил: известно ли царю, чтобы он, Гистиэй, подавал когда-либо совет, клонившийся не ко благу царя? Дарий признал, что этого еще не бывало. Тогда Гистиэй сказал:

— Ты идешь, царь, в страну, о которой мир ничего не знает. Известно лишь, что она необъятна, как море, и такая же пустынная. Какие богатства хочешь ты почерпнуть там? Завоевав ее, ты не украсишь своего венца и не приобретешь новых слуг. Народ, населяющий ее, нищий и дикий, не строит жилищ и не приумножает богатств неустанным трудом, но, подобно сухому листу,

гонимому ветром, кочует по своей земле и питается грабежом чужих стран. Знай, что земля та отделена от твоих владений бурным Понтом и труднодоступна. Откажись от похода!

Дарий молчал, потом проговорил в раздумье:

— Ты мудр, Гистиэй, но в тебе говорит грек. Я не уверен, твой ли собственный голос слышу или голос надменных афинян, опутывающих мое имя сетью лжи и боящихся, как бы я не стал твердой ногой на фракийском берегу? Но этот день придет и очень скоро!

Отпустив тиранов, он приказал им вернуться на Босфор, где собирался флот и строился мост. Продолженная от Сард до Босфора, царская дорога подведена была к самому мосту. По ней день и ночь шли войска, скапливавшиеся на азийском побережье.

VI

Однажды на корабли пришла весть о прибытии царя. Его носилки, подобно большому шатру, появились над Босфором. В этот день Дарий хотел видеть море.

Там, где высокая скала с белеющим храмом на вершине стережет вход в Босфор, где открывается вечный Понт, он сошел с корабля и поднялся на гору.

Море встало стеной расплавленного олова. Захваченный его мощью и блеском, он хотел назвать его своим братом и обратился к Азуферну с вопросом: достоин ли Понт считаться равным царю?

— Ничто не может быть равным тебе, владыка! Даже океан. Море — твой раб, такой же, как мы. Не милостивого слова, но бича достойно оно!

Царю подвинули высокое кресло из слоновой кости и хором умоляли не стоять перед Понтом.

Сев на трон, Дарий долго раздумывал, сделать ли Понт сатрапом или оставить в числе подвластных владык. Он уже нашел его скучным и хотел уйти. Только случайно взор его, блуждавший по горизонту, обратился под ноги и на скатерти моря заметил пролетавшую белоснежную птицу. Он подался вперед и остался неподвижным. Обольстительная бездна Понта открылась ему в этот миг. В белых точках, вспыхивавших на поверхности, царь угадывал бакланов и альбатросов, взлетающих и вновь садившихся на волны.

Так сидел Дарий, пока море не потемнело. Свита молчала. Только Азуферн, счастливый недавним внима-

нием царя, решился заговорить, но при первых же словах Дарий знаком велел сбросить его со скалы.

Царь поднялся, когда солнца уже не было. Подозвав Гистиэя, он указал на горизонт.

— Что там?

— Там мрак и скифы.

Когда Дарий спустился со скалы, горели звезды, черные валы несли шумные вести из неведомых стран.

Царь милостиво принял Понт в число своих слуг, бросив в волны золотую диадему.

VII

Ардис часто бывал на триэре, пил кипрское вино, ел дорогие яства и много болтал. Он описал расположение флота. Впереди, ближе к Понту, поставлены тяжеловесные финикийские пентэры, укрепленные множеством якорей и каменных глыб. Они поставлены так, чтобы своими корпусами защищать остальной флот от вод, идущих с моря. Они так громоздки, что им нужно не меньше часа, чтобы сняться с якоря. Флот заперт между мостом и финикийскими гигантами. Лишь несколько небольших судов могут свободно двигаться по середине пролива.

Никодем велел поднять все якоря и держаться на одном посовом. Весла выдвинули наполовину из окон, а гребцов хорошо кормили, давали мясо, рыбу, вино, но содержали так, чтобы они могли в любой момент начать работу. Палубной прислуге роздали метательное оружие, а на носу и на корме поставили снаряды, выбрасывавшие пучки стрел и копий.

Однажды Ардис, едва успев вскочить на палубу, стал рассказывать о царской трубе, привезенной на азиатский берег и поставленной у входа на мост. Это было золотое чудовище тридцати локтей в длину. В ее отверстие в виде разверстой пасти льва проходила запряженная четверкой колесница. Гладко отполированные недра загорались от малейшего луча темным пламенем. На одном боку изображалось взятие царем Вавилона, на другом — убийство Лжесмердиса. Трубил в нее один человек, но звук, вылетающий из львиной пасти, сотрясал горы и повергал на землю людей. Прибытие ее означало приближение дня переправы. О том же свидетельствовали на фракийском берегу, у входа на мост, две каменные стелы, изрезанные греческими и ассирийскими письменами с описанием события, в честь которого воздвиг-

нут мост, а также с обозначением имен царя и строителя моста Мандрокла. Возле перил соорудили высокий постамент для Ариарамна, назначенного следить за переправой. Другой, против него, для Мандрокла.

И день настал.

Как только вершины фракийских скал вспыхнули красным светом, раздался громopodobный рев царской трубы. Десять пар белых волов, запряженных в платформу, тронулись. На азиатском берегу показались голубые ряды одежд. Это шли пятнадцать тысяч бессмертных с блестящими обручами на головах. За голубыми шли зеленые, за зелеными — розовые. Вступая на фракийский берег, бессмертные горстями хватали землю и клали за пазуху. После них на мост вступила раззолоченная толпа, а над ней, в сугробах опахал, горой вздымался балдахин, покрывавший шестерку коней, запряженных в колесницу. Там, с копьем в руке, сидел царь. Из-за множества знамен его едва можно было видеть.

За ним шли колесница с вечным огнем и обоз, включавший двенадцать тысяч коровьих кож с записанной на них священной Авестой. Потом опять бессмертные. Когда потянулись клетки на скрипучих повозках, по Босфору прокатился гул страха и восхищения — за железными прутьями вздымались могучие спины и морды львов. Везли бочки с водой из Забы, потому что другой воды персидские цари не пили; амфоры с солью из рудников Аммонима, потому что другой соли они не вкушали; колесницы с царским вооружением, одеждой, утварью и припасами, клетки с птицами и обезьянами. Потом везли живых серн и кабанов для царской кухни, вина, плоды, благовония, масла для натираний. Последними шли повозки с наложницами царя.

Когда мост опустел, на одной из вершин фракийского берега звездой засветился трон Дария. Холм с царедворцами и бессмертными в дорогих одеждах переливался, как ризы. Как только Дарий сел, Босфор опять содрогнулся от звука царской трубы. С азиатского берега хлынул поток конницы. Петушинные гребни шлемов, золото застежек и браслетов делали лидийских всадников самыми нарядными в войске. Благоволение Дария к ним было так велико, что он не рассердился, когда они, вопреки приказанию идти шагом по мосту, понеслись во весь опор, наклонив цветистые древки копий. Мандрокл в ужасе замахал руками, а Ариарамн угрожал всадникам обнаженным мечом. Следом за ними выступили более

сдержанные киликийцы; их удалось заставить идти шагом.

За киликийцами валила белоснежная глыба аравитян на прекрасных конях. Они шли до полудня. За ними бактрийцы, за бактрийцами — сагарды, сарангийцы, парфы и, наконец, персы, закутанные в темно-красные одежды. Солнце клонилось к закату, а на мост вступали новые массы всадников.

Дарию хотелось остановить на ночь шествие, чтобы ежедневно с наступлением утра опять любоваться им, не пропустив ни одного отряда, но ему сказали, что это затянуло бы переправу на пятнадцать дней.

VIII

Никодем всю ночь не спал от шума и топота. Поднимаясь с ложа, видел движущиеся огни, густые массы конницы, слышал гул, подобный грому. А утром, когда снова взошел на корму, по мосту шли черные всадники в коронах из стрел. Лбы и гривы коней щетинились торчащими стрелами.

Никодем был захвачен блеском шествия, но не хотел в этом сознаться. Чем больше обнаруживалась мощь Дария, тем яростнее выкрикивал он проклятия. Втайне он не мог не сознаться, что афинские всадники, которых он видел однажды в походе и так понравились ему — жалкая горсть в сравнении с лавиной персидской конницы.

За конным войском следовали воины на верблюдах, с длинными копьями. Перед мостом животные подняли рев, пятились и ложились на землю. Дарий не любил верблюдов: он хорошо помнил, как в битве с саками упал с верблюжьего горба и через него перескочили, едва не растоптав, четыре дромадера. Он приказал, чтобы верблюды шли быстрее, но его упростили не ускорять движения. Верблюды и без того шли густой массой, тесня крайних к перилам так, что всадники с высоты горбов боязливо посматривали на волны Босфора. Дарию пришлось терпеливо слушать верблюжий рев и звон колокольчиков.

Когда последний дромадер ступил на фракийский берег, показались великолепные слоны с башнями, заполненными воинами и оружием. Владыка Патталлы одел их дорогими покрывалами, вызолотил клыки и прислал Дарию в знак любви. Их приветствовали ревом царской

трубы. Звери испугались. Передовой слон долго не решался ступить на кедровый пол. Понукаемый водителем, он затрубил и пустился что было силы. За ним помчались все пятьдесят слонов.

Туника на Мандрокле взмокла. Ему показалось, что балки, скрепленные железом, расходятся и мост расползается на части. Чудовища проносились молниями. За слонами шли колесницы, запряженные конями, выкрашенными в огненно-красный, лиловый, синий и зеленый цвета. К вечеру подошли пешие войска. Впереди всех — персы с пышными бородами и волосами. Шли всю ночь и весь следующий день, а потом по мосту застучали деревянные котурны фригийцев и писсидийцев.

Не спавший третью ночь Никодем ежеминутно вставал с ложа. Гул, похожий на шум горной реки, множество огней и страшная толща людей, валившая по мосту, сливались в бредовый сон. Утром он — изнеможенный, с позеленевшим лицом — смотрел шествие стройных армянцев в шлемах из прутьев и в красных сапогах с высокими каблуками.

Три дня и три ночи шли пешие войска. Косматые бактры в бараньих шапках, черные нубийцы с упругими, как пружина, волосами, дорийцы и пакты с профилями хищных птиц. Племя гирканов вооружено было одними дубинами. Обитатели Инда несли бамбуковые палки, заряженные крошечными стрелами, пропитанными смертоносным ядом; они выбрасывались на далекое расстояние сжатым воздухом и поражали насмерть.

Никодем увидел народы, о которых прежде ничего не знал. Однажды на мост вступило племя в плащах и шлемах из ярких перьев, вооруженное деревянными мечами. В другой раз, выйдя на корму, он увидел косматых гигантов, наполнявших Босфор гулким топотом. Рабы в триэрах закричали при виде их налитых кровью лиц с кабаньими клыками и выпученными глазами. То было одно из индийских племен, военная мудрость которого заключалась в устрашении врага своим видом. На высоких ходулях, скрывааемых длинным платьем, в свирепых масках и мохнатых накидках, оно обращало неприятеля в бегство. За ними шел низенький народец, вместо шлемов носивший зеленые зонтики. Шли сатагиты, гандарии, табареньены, париканы и ортокорибаны, макроны и мосинеки, фаманейцы и саспирсы; шли племена гор, обитатели пустынь, шли красивые белокурые народы, шли без конца, лились неиссякаемым потоком.

Гнев Никодема давно пропал. Все проклятия истощены, все слова негодования сказаны, а персы шли, и каждый новый отряд молотом обрушивался на голову. Была минута, что, упав на ложе, он хотел выпить алавастр с ядом, всегда висевший на груди. Ободрился, когда войска кончились и потянулись тысячи ослов, мулов и верблюдов с мехами вина, корзинами фиников, тюками сушеного мяса и хлеба. Занятый их созерцанием, он долго не замечал раба, пришедшего доложить о прибытии незнакомца. Закутанного в плащ пришельца привели в шатер. Там он, открыв лицо, воскликнул:

— Достойнейшему Никодему, благородному и доблестному, привет! Господин мой Мильтиад желает тебе много лет жизни и тихой кончины в старости. Он просит внимательно отнестись к предостережению, которое я сделаю. Ему известно, что тайна твоя продана коварным лидийцем за два таланта, и Гистиэй уже отдал приказ о задержании твоего судна. Беги, либо доверься моему господину: он твой друг и сумеет укрыть от преследователей.

Посланный произнес свою речь с низким поклоном и не заметил, как побледнел Никодем.

— Скажи Мильтиаду, что если, умирая, я буду в состоянии произнести чье-либо имя, это будет его имя. Но скажи также, что Никодем до конца хочет изведать борьбу разума с силами тьмы.

Он передал статуэтку Афины Паллады в дар Мильтиаду, а посланному — за добрую услугу — серебряную цепь.

Не успела лодка посла отойти от триэры, как все три ряда весел были спущены. Люди заняли места, согласно ранее полученным указаниям, а один из рабов был поставлен наблюдать за милетскими и хиосскими кораблями. На них поднимали якоря и отвязывали причалы, в трюмах слышался лязг цепей, но весел в окнах еще не было. Никодем понял свое преимущество и приказал рубить канат единственного якоря, на котором держалась триэра. Судно вздрогнуло, как от толчка, и стало отходить к мосту. Это длилось несколько мгновений. Последовал удар весел, другой, третий. Отдохнувшие, хорошо поевшие рабы гребли усердно. Триэра, точно пробуя силу напора вод, слегка колебалась, потом быстро пошла посередине Босфора. Где-то закричали, затрубили в рож-

ки. Гул тревоги прокатился по флоту. Никто не понимал смысла происходящего. Только когда милетские корабли, снявшись с якорей, начали погоню, пуская дымовые столбы, наполняя Босфор трелями рожков, греки поняли требование — задержать триэру. Но они не могли быстро сняться с якорей и ограничились тем, что сыпали тысячи стрел, отчего судно приняло вид колючего чудовища.

Никодем заранее обдумал подробности бегства и шел уверенно сквозь строй врагов. Милетян он оставил далеко позади, а финикийские корабли, по его расчетам, не могли успеть преградить дорогу по причине тяжеловесности. Все же ему показалось, что корабельная стоянка тянется бесконечно долго.

Ярко расписанная стрела вонзилась в палубу у самых ног Никодема. Вокруг древка обвивался папирус. Письмо!

«Мудрому и доблестному Никодему из Милета, Ардис, недостойный слуга, шлет привет! Душа моя преисполнена любви к твоему мужеству и благоразумию. Ты добрый торговец и не осудишь за то, что я не захотел довольствоваться тремя талантами там, где можно получить пять. Но я продал тебя Гистиэю не раньше, чем убедился, что ты наготове и можешь в любую минуту избежать опасности. Мильтиада известил я. Да сделает Посейдон путь твой глаже простыни и покойнее ложа!»

Триэра приближалась к тому месту, где кончалась стоянка флота и сквозь узкий проход уже виднелась гладь Босфора. Еще сто ударов весел. В это время неизвестно откуда появившийся корабль выплыл навстречу. За ним — видно было — разворачивалась огромная финикийская пентэра. Настал момент смелых решений. Никодем велел грести изо всей силы навстречу судну и, когда оно, приблизившись, дало знак остановиться, направил триэру прямо на него. Враг явно не понимал его намерений. Только когда корабли были носом к носу и триэра, подобно черепахе, вобрала в себя весла правого борта, на вражеском судне закричали и засуетились. Но было поздно. Корабль Никодема, пройдя вдоль борта противника, с треском поломал его весла. В то же время неприятель был закидан дротиками и палубу заполнили убитые и раненые. Мгновенность маневра и дерзость, с которой он был предпринят на глазах у всего флота, поразили греков. Они прекратили обстрел и ждали, что произойдет при встрече с финикийским гигантом, пять рядов весел которого уже сверкали в воздухе, как щупальца.

При виде участи, постигшей первое судно, пентэра изготовилась к бою, выстроив на палубе воинов с метательным оружием и со щитами. Плывя посередине водного пространства, она оставляла Никодему лишь узкую дорожку между пентэрой и стоявшими на якоре кораблями. Вступив туда, триэра неминуемо была бы засыпана дротиками с обеих сторон.

Тогда по знаку Никодема стали поднимать из трюма глиняные сосуды и устанавливать приспособления с торчащими вверх упругими стержнями, наподобие слоновых хоботов. Оба судна мчались навстречу друг другу со страшной скоростью. Когда они были уже на расстоянии полета стрелы, с триэры полетели глиняные амфоры. Большими желтыми яйцами падали они на пентэру и на корабли, стоявшие на якорях, заливая палубу черной жидкостью. Следом взвились стрелы с горящими пучками на концах. Вражеские суда вспыхнули. Забыв при битву, люди бросились тушить пожар, но черная жидкость пылала даже на воде. А с триэры сыпались новые сосуды, выбрасываемые упругими хоботами.

В поднявшейся сумятице судно Никодема благополучно прошло опасное место. Выставив на носу длинный шест с пылавшей жаровней, оно грозило поджечь каждого, кто посмеет преградить дорогу. Теперь уже никто не дерзал это сделать. Триэре позволили выйти за линию стоянки флота, где она подняла паруса и быстро устремилась к морю.

К вечеру она разрезала первую волну Понта

В ПАФОСЕ

I

Мандрокл построил не один, но два моста. Другой, разобранный на части и погруженный на корабли, надлежало переправить через Понт, поднять по Истру до назначенного места и собрать ко времени прихода туда войск. Теперь кораблям пришло время покидать Босфор. Путь их лежал вдоль фракийского побережья. Они пройдут Аполлонию, пройдут Мезембрию, достигнут отрогов Гемоса, подходящих к самому Понту, и двинутся на север мимо Одессополя, Карона и Каллатиса. И когда исполнится три дня и три ночи, минуя маленький городок Истр, достигнут дельты великой реки.

Шум, вызванный бегством Никодема, разбудил флот. Застучали топоры, в трюмы стали загонять рабов, потом начали поднимать якоря. Корабли один за другим отделились от неподвижного массива флота. Только самая большая пентэра осталась на месте. На нее прибывали люди в дорогих одеждах и поднимались диковинные грузы. А к вечеру, под охраной бессмертных, подошли сверкавшие золотом и страусовыми перьями носилки. Их внесли на корабль, после чего он отплыл в сопровождении флотилии мелких судов.

II

Море шумело по-древнему, по-старинному, как в дни Мермиадов, как в дни Аргонавтов. Пентэра шла в полном мраке. Только тонкие иголки звездных отражений играли на невидимых волнах. Берега не было видно, но близость его угадывалась кормчими. Слева мигали желтые светлячки. Это неведомые обитатели берегов Понта жгли костры в горах. Такие же светлячки мерцали впереди. В них угадывались огни персидского флота.

На пентэре царила тьма. Люди пробирались ощупью среди снастей и парусов, боясь чем-нибудь нарушить тишину. Все озирались в ту сторону, где темными изваяниями застыла стража. Там всю ночь до рассвета чья-то тень скользила по коврам, устилавшим корму.

Как только первые лучи брызнули из глубины Понта, корабль ожил. Из клетки выпустили голубей и павлинов. Крошечный карлик вбежал на корму и позвонил в колокольчик, за ним вышли высоченный великан и черный, как мумия, эфиоп. Но голос, раздавшийся из-за драпировки, заставил их удалиться. Утешение мира, услада живущих — великая царица — спит.

Но она не спала. Склонившись на строгом ложе, все думала о дне откровения, в который положено было чему-то сбыться, о дне, с которого началась бы ее истинная жизнь.

III

Атосса была дочерью великого Кира.

Родившись в дни славы и небывалых побед, она росла под шум падающих царств, в грохоте разрушаемых городов. Первым ее детским видением была рычащая голова льва на голубой стене дворца. Львы стали ее любимой

забавой. Часто тайком ходила ко рву, нагнувшись, смотрела, как они когтили камень стены, улыбаясь голодными пальцами. Еще девочка провела, что отец в минуты отдыха приказывал ставить кресло в длинном коридоре, выходящем в яму со львами и, оставшись один, смотрел, как звери друг за другом выходили в коридор, нюхали воздух и, увидев сидящего царя, хищно крались, припадая к земле. Подпустив их на расстояние прыжка, царь дергал золотой шнур, и железная решетка с шумом падала, ограждая его от зверей. Атосса восхищалась этой забавой. Однажды она исчезла из своих покоев, и ее нашли в коридоре, лежащей без чувств, а в двух шагах львы сотрясали прутья решетки.

С десяти лет она была заперта в пышный Эндерун, где жила, отягченная парчой и золотом, и видела мир только сквозь случайно открытую дверь или край приподнятой занавески. Зато ночью ей разрешалось подолгу просиживать на крыше. И она полюбила ночь.

Когда гасли огни и замирали шумы, она поднималась под горящий купол неба. Ее манили не звезды, а черные провалы между звезд, завораживающие страхом и неприятной близостью.

Однажды ей позволили обойти громадный, как город, дворец. Он строился много лет и все еще не был закончен. То было в знойный летний день. Через множество лестниц и переходов она достигла подножия высокой башни и вошла в ее сырые, пахнувшие илом и известью недра. Там было темно, как на дне колодца, только высоко над головой синел квадрат неба. Атосса подняла лицо и увидела звезды.

Звезды днем!..

Из бесед с астрологами узнала, что эта тайна им давно известна: звезды бывают видимы со дна глубоких ущелий и колодцев. Значит, ночь не уходит с наступлением утра, она объемлет нас и стережет. День только короткая вспышка света во мраке, и горе тому, кто, обольщенный им, забывает о своей истинной владычице — ночи, бездонной, бесконечной, от века сущей.

Атосса росла молчаливым ребенком. Проникновенный взор и печать значительности на лице привлекали к ней внимание жрецов и магов. В ней видели существо, познавшее тайну. Ее учили откровениям Агура-Мазды, посвятили во все заклęcia, в таинства амулетов, примет, гаданий, движения светил. Греческие мудрецы говорили ей об атоме, о зиждущей силе огня, воздуха, воды.

Чудо явилось само, когда ей исполнилось тринадцать лет. Она это почувствовала по внезапному волнению, охватившему ее до самых глубин. Тело стало легким, точно растворилось в пространстве, и исполнилось сладкого ожидания. В ту ночь открылось ей во мраке неведомое божество, в которое она тайно уверовала.

IV

Первым мужем ее сделался старший брат, Камбиз, ставший царем после гибели отца.

Печально взошла она на ложе сумасшедшего брата. Камбиз не имел к ней влечения, он хотел только сына, в котором бы к крови Кира не примешивалось ни капли чужой крови. Но сына не было, и он забросил ее, ударившись в неистовства с толпой наложниц.

Тишина и холод бездны стали проникать в ее жизнь. Все окутывалось мраком, и не было спасения от ужаса. Только красным угольком теплилось откровение о некоем блаженстве, ради которого она пришла в мир.

— Что такое блаженство? — спрашивала она черного халдея, обучавшего ее мудрости.

Халдей закрывал глаза и изрекал:

— Есть три круга блаженства, но они открываются только жаждущим его.

«Неужели я недостаточно жажду?» — думала Атосса.

Годы ожидания положили глубокие тени возле глаз. В ней пробудился неукротимый гнев. Нередко превращала она свои покои в хаос — рвала дорогие ткани, разбивала нефритовые столы, колола обнаженных рабынь длинными булавками и бросала в них кинжалы. Каждый раз после такой бури приближенные воздавали ей особенные почести, видя в ней достойную дочь Кира.

Со смертью Камбиза она стала женой второго брага — Бардии. Он приходил ночью при потушенных огнях и никогда не показывал лица. Когда же узнали, что это был не Бардия, а ловкий хитрец, завладевший под чужим именем царством и женами Камбиза, — она испытала такое чувство, будто ее напоили грязью.

Самозванца разоблачил Дарий, сын Гистаспа, владельца тирана из побочного рода ахенидов. Лжебардия был убит, и тронем завладел Дарий, ставший третьим супругом дочери Кира.

Когда он впервые вступил в покои Атоссы, она встретила его негодующей речью:

— Доколе, царь, служить мне забавой для проходимцев, оказывающихся игрою случая на троне моего отца? Если мне отказано в сожалении как женщине, то неужели отказано и в почтении, как дочери Кира? Ты хочешь упрочить трон браком со мной? Да будет так! Перед всем миром я — твоя жена, но не переступай моего порога!

Гнев ее больше, чем красота, покорила Дария. Из всех жен он полюбил ее одну и раскрывался перед ней до конца. Ей известны были самые сокровенные его помыслы, и она могла бы управлять царством, если бы захотела. Но собственный мир казался ей дороже; она боялась растратить его в буднях царского правления. Да и время великих дел прошло; ее отец и брат своими победами исчерпали все воинские подвиги. Не оставалось стран, неподвластных царю царей. Эллада избегла общей участи только благодаря морю, служившему ей защитой. Атосса часто говорила:

— Твоего имени, царь, не озарит блеск венца победителя. Потомство о тебе будет говорить как об усмирителе бунтов и стяжателе богатств, но подлинно царской славы тебе не суждено снискать.

Дарий ревнив был к славе, и речи Атоссы приводили его в волнение. Он стал думать о сокрушительных походах, о покорении высокомерной Эллады. Трезвый и рассудительный в гражданском управлении, он был мечтателем в военном деле.

Атоссе доставляло удовольствие видеть, как он в честолюбивых планах доходил до крайнего возбуждения и внезапно остывал от небрежно брошенного ею меткого слова. Она доказала невозможность покорить Элладу, доколе он не утвердится на фракийском берегу.

Беседы с царем развлекали, но не заглушали томительного ожидания чего-то. К Дарию у нее не было отвращения, как к Камбизу или Лжебардии, но не было и любви. О любви мечтала, лежа в черные ночи на крыше дворца. Неужели она обманута и ей отказано в том, что дано последней твари на земле?

Однажды молнией пронзила мысль о старости. Жизнь прошла в ожиданиях... Она стала резче и ядовитее высмеивать Дария, но пыла его не охлаждала.

— Настал день, когда и ты должен, по примеру великих царей, изрезать скалу надписями о своих победах. Если твои предшественники покорили все известные миру народы, то на твою долю остались таинственные страны с неведомыми обитателями. Тебе суждено достигнуть

края земли и утвердить свое владычество там, где не был еще ни один завоеватель.

Она как вином напайвала его рассказами о странах, лежащих за Понтом, где вода превращается в прозрачный кристалл, где находится вход в Тартар, царствует вечный мрак и живут люди, порожденные мраком. У них много золота, которое они крадут у хищных грифонов. Но чтобы достигнуть этих стран, надо пройти через скифов — воинственный народ, происшедший от женщины-змеи.

Волнующее, чудесное, всегда ее увлекавшее звучало в имени скифов. Азия до сих пор с содроганием вспоминает их нашествие, а смерть великого Кира, чью голову они бросили в мешок с кровью, у всех еще в памяти.

— Ты ли, царь, оставишь неотмщенной смерть родича и не восстановишь честь подвластных народов, оскорбленных дерзким набегом? Знай, что Эллада до тех пор будет смеяться над твоим могуществом, пока ты не сокрушишь буйных скифов. Греки держат их, как цепных псов, против тебя и открыто грозят новым скифским нашествием, если ты дерзнешь высадиться во Фракии. Скифы стоят на страже Эллады. Уничтожь их — и завтра она у твоих ног.

Царь хмелел от ее речей. Отправляясь на охоту и сидя на горбу дромадера, он предавался мечтам о завоевании пределов вселенной. Видя в нем внутреннее брение, Атосса искусно поддерживала огонь.

— Достигнув предела земли, ты узнаешь загадку вселенной, ты станешь богом, царь!

V

День ее торжества наступил внезапно. Дарий приказал собирать коней, верблюдов и колесницы. Узнав об этом, Атосса устроила ему торжественную встречу в своих покоях. Дарий взошел на ложе, как на трон, и царица сама умастила ему ноги. Предстояло самое трудное, почти невозможное — добиться ее участия в походе. Еще ни одна из жён ахеменидов не выходила за пределы дворца и не показывала своего лица смертным. Дерзость просьбы до того поразила Дария, что он пролил кубок с вином на ложе и долго не мог вымолвить слова. Но он уже был во власти Атоссы. Она давно ввела его в мир смелого и необычного, пробудила прелесть хождения по неизведанным путям, остроту небывалых положений.

И она победила. Объявлением похода в неизвестные страны Дарий бросал вызов богам и людям. Это было больше, чем нарушение древнего обычая — укрывать жену от посторонних взоров. Стоило ли после этого держаться за ветхий закон? Он захотел быть выше закона. Атоссе было дозволено следовать на Босфор путем, который она сама изберет.

Задолго до выступления царя и войска отправилась она с пышной свитой в Галикарнас, чтобы оттуда пройти по всему побережью. Она еще в детстве слышала о чудесной Ионии. Ей показывали белые стены городов, колоннады храмов, хрупкие портики и пышные гробницы, высеченные в скалах. Ездил и в Ликию, на Мыс Огня, где стоит храм Гефеста и где вылетает из земли неугасимое пламя. Но греки скоро узнали, что особым вниманием царицы пользуется Афродита. В храмы ее она приносила богатые дары и подолгу слушала жрецов, посвящавших ее в тайнства богини любви. Однако после посещения каждого храма царица становилась печальной и спешила в новый. Всюду видела одно и то же — утопающие в цветах алтари, небесное пение дев и юношей и статую богини, сиявшую в дыму курений.

Однажды после посещения роскошного храма на Родосе она объявила, что больше не будет заходить в святилища Афродиты. Но ее упросили посетить Пафосский храм на Кипре. Туда, где он стоял и где в береговых пещерах с шумом движется вода, принесена была волнами богиня, рожденная пеной морской.

Только в Пафосе познаешь истинную Афродиту!

До Кипра было больше двух дней пути, и плавание туда могло вызвать опоздание к началу переправы войск через Босфор. Но Атосса захотела посмотреть еще одну святыню.

VI

Царица послала в Пафос спросить: дозволено ли ей посетить храм и быть посвященной в тайны Афродиты? Ответ получила на Кипре, когда находилась на расстоянии дня ходьбы от храма.

— Если ты чужда любопытства и сердце твое исходит кровью — приходи!

Дорога была каменистая. По мере приближения к святилищу деревья и кусты исчезали, потом исчезла трава. Царство желтых глыб и крупного щебня простерлось до

самого моря. Часто попадались женщины, шедшие босиком по острому камню. Богиня была благосклонна к тем, кто приходил с окровавленными ногами.

Храм стоял в расщелине черных утесов, окруженный толпой кипарисов. Одной стороной он упирался в скалу, закрывавшую от него море. Море было внизу, и гул его сюда не доносился.

Приказав остановиться, царица сошла с носилок и в сопровождении одной наперсницы приблизилась к святилищу.

Храм из громадных дубовых бревен выстроен был древним царем Аэрием. Стены во многих местах поросли мхом и крошились, но могучие колонны, державшие фронтон, стояли несокрушимо. Фронтон заливала красная, как кровь, краска. На ее пылающем фоне бушевали белые мраморные волны, из которых поднималась черная базальтовая голова без лица.

В храме было темно и пусто. Посредине чернел кипарис, уходивший вершиной в отверстие, сделанное в крыше. Оттуда залетали голуби, звонко хлопая крыльями. Из недр кипариса выглядывал коршун, позванивая цепью. Тщетно искала царица статую богини. Не было алтарей и сосудов с благовоениями, только светильники звездами мерцали в глубине и стройный пэан звучал из мрака. Но Атоссу поразил гул, время от времени наполнявший храм, как отдаленная буря или рычание чудовища, как весть о том, что было до дней творения и что будет после всеобщей гибели. В нем было воспоминание давно забытого. Когда он смолкал, царице хотелось слышать его вновь. Скоро для нее ничего не существовало, кроме жуткого, но сладостного гула.

Перед ней склонилась жрица в хитоне, наполовину розовом, наполовину черном. Сняв с Атоссы дорожную одежду и распустив ее волосы, она возложила на нее веночек смирения из сухих колючих трав и опоясала ее тугом железным поясом. Исступленный голос где-то запел:

— Во имя Афродиты целящей и карающей!.. Если помыслы не осквернили душ ваших, если сердца ваши переполнены и ждут откровения — придите!..

И опять далекие раскаты грома, и вой зверей, и плач теней умерших.

На другом конце храма в скале чернело отверстие, закрытое решеткой из электрона.

Неведомый голос позвал:

— Готова ли ты познать тайны Афродиты?

С трудом передвигая ноги, она пошла в зияющую пасть пещеры и едва не лишилась чувств, когда в темноте кто-то схватил ее за руку и повлек по ступеням в ревущую пропасть.

Хлынул свет пещеры. Стены были увешены изображениями женских детородных частей, отлитых из золота, серебра, вырезанных из агата. На ложе, окруженном бронзовыми светильниками, замерли в любовной истоме две женщины, обнявшиеся так крепко, что руки врезались в пышные тела. Перед ложем на коленях кто-то громко стонал и царапал лицо ногтями.

Царица бросилась вон. Во тьме она снова оказалась во власти таинственной руки и снова устремилась вниз. Через несколько ступеней — новая пещера, где предстало изображение повесившейся Иокасты, а стоявший подле Эдип выкалывал себе глаза. Перед ними заламывали руки и били себя в грудь мужчины и женщины. В отчаянии они кричали:

— Я прелюбодействовал с матерью!.. Я хочу любви своего сына!.. Не дай, владычица, смешаться с собственными дочерьми!..

Чем ниже спускалась царица, тем острее ощущалась близость тайны по усиливающемуся реву.

Каменные ступени привели ее еще в одну пещеру. Громадный медный бык громоздился на деревянную телку. Хор женщин, одетых в красное и черное, покачивался из стороны в сторону, в такт напеву. Одна, совершенно обнаженная, с плачем и воплем подползала под деревянную корову, скрываясь в ее пустом чреве. А хор пел:

— Избави нас от быка! Владычица, избави нас!

Потрясенная, спускалась Атосса в самую пасть зверя. Теперь не отдаленный гул, но ураган бушевал совсем близко.

И еще одно подземелье предстало ей. Оно пылало огнями, курилось ароматами. Хор женщин пел печальную песню, от которой многие плакали навзрыд и громко причитали:

— Ты умер! Ты умер! О, горе! Зачем ты покинул рожденную пеной морской?

Посреди пещеры, на ложе, убранном цветами, лежало тело убитого Адониса. Мраморная статуя была так хорошо раскрашена, что Атосса приняла ее за человеческое тело. На бедре зияла рана, а от виска к подбородку стекала широкая лента крови.

Атосса приблизилась к ложу. Адонис лежал точно живой. Губы не то улыбались, не то хранили печать строгости, и оттого все лицо менялось каждое мгновение. Это был то нежный мальчик, то существо, заглянувшее в бездну и стремящееся скрыть то, что узнало. Атосса заметила, что этим другим обликом он обращался к ней каждый раз, когда снаружи долетал грозный звук. Из пробитого виска выступала тогда новая кровь. Царица загляделась на божественный мрамор и с плачем припала к ногам Адониса. Как сквозь сон, слышала она напев:

— Ты умер! Ты умер! Ты не придешь, сладостный!

Потом резкий голос ворвался в ее блаженное забытьё:

— Благодать Афродиты почиет на тебе. Готова ли ты видеть богиню?

— Да! Да!

— Встань и укрепи дух свой, ибо образ ее, как молния из туч!

Перед Атоссой стояла высокая фигура в маске, на котурнах; в руках светильник, покрытый глиняным сосудом.

— Дай мне руку! — воскликнула маска.

Царица покорно протянула пылавшую браслетами и кольцами руку и пошла в ревущую тьму. Замирая от блаженства и страха, она спускалась по ступеням и видела край одежды своего спутника, высокие котурны, на которые падал свет из-под глиняного сосуда. Она не мучилась больше вопросом, кто так страшно трубил в трубу подземелья, верила в божественность голоса и старалась постигнуть по нему самое божество.

Когда бездна заревела у самых ее ног, человек в белом разбил глиняный сосуд. Осветился грот, на дне которого бурлит и клокочет пена. Буйным хмелем поднимается вверх, заполняет выемки и углубления в стенах, подступает к ступеням, где стоит Атосса. Потом с воплем и скрежетом опускается. Из углублений брызжут потоки, крутящиеся воронки воют зловещими сиренами. Грот поет и гудит. Из бушующей пены показывается черный конусообразный камень. Когда он весь вышел из воды, человек, державший факел, воскликнул:

— Поклонись, ибо это богиня. Ты теперь видишь ту, что рождена пеной морской.

Атосса слабо взмахнула руками и упала на ступень.

Потом ее вели под руки узким извилистым ходом. Он уперся в пространство, сжатое со всех сторон камнем. Там стояла беспросветная тьма и дул пронзительный ветер. Знакомый голос возвестил:

— Узнай последнюю и самую сокровенную тайну богини! Она открывается только тебе. Для всех смертных богиня рождена пеной морской, но тебе да будет известно, что она пришла оттуда.

Он велел поднять голову, и царица увидела высоко, как в детстве, синий кружок неба и звезды.

VII

Весь путь до Босфора Атосса просидела в шатре, в кормовой части судна. Ей не хотелось видеть переправу войск, и она рада была, что прибыла к концу шествия. Знала, что Дарий будет недоволен, но не хотела думать ни о чем, кроме события, всколыхнувшего ее душу.

Дарий был удивлен происшедшей переменой. Возбуждавшая его когда-то на подвиги, царица предстала холодной и безучастной к задуманному походу. Расстался с ней в тревоге. Не посмеялась ли над ним мудрая дочь Кира, толкнув на безумную войну с неизвестным народом? А она, вступив на финикийский корабль, почувствовала себя несущейся в долгожданное, в неизвестное. Морс шумело по-древнему, по-старинному.

VIII

На третий день подул холодный ветер, покрывший бока пентэры ледяной коркой. Когда Атосса, закутанная в шкуры и ткани, выглянула из шатра, черная, как смоль, глыба нависла над палубой и должна была неминуемо раздавить пентэру. Воины стояли бледные, ухватившись за мачты и выступы помоста. Глыба медленно опустилась за борт, и Атосса на мгновение увидела кипящую даль Понта. Потом стала расти новая глыба и поднялась выше первой. Царица в страхе задернула занавеску. В тот же миг что-то упало и накрыло ее вместе с ложем. Шатра ее больше не было; над нею неслись брызги и крутились дымные тучи. Толпа рабов, скользя и падая, бежала по обледеневшей палубе. Завернутую в остатки звездной ткани, ее снесли вниз, в темную каюту, где она слушала скрип корабельных бревен и гул моря, подобный землетрясению.

Финикийцы смело боролись с бурей, но пронзительный непривычный холод надламывал их дух. Они кутались в тряпье, забивались в щели, откуда их палками выгоняли наверх. Порой во мгле призраками вырастали очертания кораблей. Это носился по морю рассеянный флот.

Два дня, две ночи стояли ветер и холод. У пентэры сорвало руль. Потом забрезжило больное желтое солнце, и тогда корабельщики стали плакать и бить себя в грудь. В море обозначилась извилистая полоса пены. Корабль несло на гряде камней.

Когда царице объявили, что приближается гибель, она облачилась в дорогие одежды и велела поднять себя на палубу. Ей не хотелось быть залитой водой в тесной каюте. Готовая умереть, она не верила в смерть. Если сейчас смерть, то зачем было откровение в Пафосе?

Подняли парус, чтобы попытаться повернуть в открытое море, но его разорвало в клочья. Слышался страшный вой водоворота. Люди падали на колени, катались по палубе, и только немногие стыдились предаваться отчаянию в присутствии царицы.

Спасение пришло неожиданно. Оказалось, что пена лизала отлогий берег, вовсе лишенный камней, а то, что темнело и серело за белой полосой, было не море, а ровное, уходящее вдаль поле. Волны надвигались на него горшыми цепями, с громом обрушивая отягченные хребты.

Корабль повернуло несколько раз и выбросило кормой на песок. От сильного толчка все упали, но, вскочив, обнимались и плакали.

Озябшая царица заснула в шалаше, построенном для нее в поле из копий, щитов и плащей, а когда проснулась, шалаш был полон птиц. Они тихо посвистывали, замирая от ужаса и смертельной усталости. Все поле шевелилось и дыбилось. Спрятав головы, прижавшись друг к другу, они лежали, спасаясь от ветра, но он отрывал их от земли пластами и гнал, и крутил, ломая крылья. Десятки тысяч пернатых густой лавой пронесло мимо шалаша.

Потом ветер стал стихать, но море бушевало. К вечеру потеплело, в разных концах моря зажглись огоньки. Финикийцы развели костер и всю ночь махали горящими пучками сухой травы. А утром Атосса — не то в море, не то в небе — увидела корабли с цветными парусами. Множество лодок шли к берегу. Царица узнала, что находится на Белом Острове, который греки называли также

Островом Ахилла. Богиня Фетида отдала его своему сыну, и моряки, проходившие здесь в пасмурную погоду, нередко видели тень героя. Чаще всего она появлялась на корабельных реях.

В глубине острова стояли жертвенник и древняя статуя Ахилла. Статуя поросла мхом и лишайником, впившимися в мрамор и разъедавшими его поверхность. Черты лица трудно было разобрать, но в еле заметных очертаниях губ и щек Атосса с волнением уловила намек на улыбку — ту, что открылась ей так недавно и легла печатью на ее жизнь.

IX

Греки были веселы. Остров Ахилла лежал недалеко от дельты Истра, и корабельщики надеялись в тот же день достигнуть ее. Плыли все же очень долго, а материка не было видно. Гистиэй приказал нескольким рабам лечь на палубу и свесить головы за борт, чтобы следить за предметами, плывшими по волнам. Когда заметили надутый бараний мех, украшенный белыми, синими и красными лентами, на передних кораблях раздались возгласы. Те, кто раньше бывал в этих местах, знали, что только Истр выносит в море эти знаки поклонения ему диких помадов. Потом все увидели качавшийся на волнах остров, поросший желтым камышом.

Вечером Гистиэю принесли зачерпнутой из-за борта воды, и он, отведав ее, приказал трубить в рог: вода была пресная. Но среди корабельщиков начался спор. Дельта Истра раскинулась в ширину до трехсот стадий, и никто не знал, к которому из ее пяти рукавов подошел флот. Одни думали, что он находится возле самого северного из них — Псилопа, другие высказывались за Гиерон — священное устье, расположенное на юге. Ни в одно из них нельзя было вступить по причине их недостаточной ширины, а также из-за опасности нападений. Только после долгих споров и наблюдений установили, что флот находится возле средних выходов дельты и ближе всего к Калону-Стомиону. Но при приближении к берегу опознали Наракон — самый большой рукав Истра.

Сердце Атоссы сжалось и замерло при вести, что флот находится в устье великой скифской реки. Ей хотелось видеть, как будут они вступать в гирло, но спустились сумерки и закрыли даль. Привидениями поползли ост-

рова и отмели, поросшие тростником. Гнилой запах болот, едва уловимый шорох напечатали воздух. Потом стал расти звук, похожий на говор толпы. Он усиливался по мере продвижения и под конец заглушил стук весел в трюме. Когда царица спросила, что означает этот скребущий звук, она не услышала голоса Эобаза. Корабли бросили якоря и простояли всю ночь среди адского скрежета. Когда вошло солнце, открылись по обе стороны бесконечные болота, образованные весенним разливом реки. С кораблей ясно видели, как вода в них кипела. То копошились миллионы лягушек, наполнявших мир своим кваканьем.

Суда тронулись по извилам реки. От пустынных берегов веяло тоской и холодом. Атосса сидела в каюте, завернувшись в меха. Временами призывала Эобаза и спрашивала, когда будет Скифия.

— Мы уже вступили в нее, великая царица. По правую руку все время тянутся скифские степи, но они не достойны твоего взгляда. Сам Аримап не смог бы отыскать лучшего места для своего пребывания.

Наутро весла в трюмах не работали.

— Мы прибыли,— возвестил Эобаз.

Пентэра стояла в гуще кораблей, толпившихся, как слоны в загоне. Над ними с унылым криком кружилась белая птица. Задумчивая река, низкие небеса и чужой незнакомый ветер возвестили Атоссе, что она в преддверии Скифии, на рубеже незнакомой земли.

В ОЛЬВИИ

I

Приезд Никодема всегда был событием для Ольвии, но сейчас он свел с ума весь город. Необыкновенная цель путешествия служила предметом споров на всех перекрестках. Простой народ полагал, что поездка имеет целью проникновение в страну янтаря и золота. На стенах появились рисунки, изображавшие Никодема в борьбе с грифонами, похищающим у них золото. Вдова, которой он простил долг, принесла ему амулет в виде грифона с золотыми крыльями и клювом.

Но знатные ольвиополиты не сомневались в искренности его слов, хотя и не могли объяснить столь странного поступка. Кто мог бы предположить, что мирный

торговец станет сегодня мужем войны и ополчится, как равный, на кого же? На владыку мира! Если это — безумие, оно величественно и достойно преклонения. Вдыхали лишь о судьбе его несметных богатств.

Отцов города смущало оружие, привезенное Никодемом, которое он, нагрузив на ослов, хотел везти к скифам. Продавать и дарить оружие степнякам запрещалось. Город много терпел от их набегов и не раз сидел в осаде. Один владелец оружейной мастерской приговорен был к смерти за тайную продажу своих изделий скифам. Но Никодему никто не решался сказать ни слова упрека. Все в городе, от архонта до последнего ремесленника, испытывали на себе власть его денег. Громадная толпа торговцев и владельцев мастерских кормилась благодаря ему. Каждый год к его приезду они отправлялись на больших речных судах вверх по Гипанису и Борисфену, чтоб скупать зерно у скифов-земледельцев и сбывать им глиняную и бронзовую посуду, вина, ткани, украшения, привозимые из Эллады или выработанные здесь по заказу Никодема. Некоторые богачи обязаны были ему состоянием. Его не только чтили, но и любили: бедные — за щедрость и великодушие, богатые — за любезность, снисходительность и постоянную готовность помочь в приумножении богатства. Он никого не разорил, никого не заковал в цепи за долги. Слава его была такова, что, пожелай он поселиться в Ольвии, он мог бы стать ее Пизистратом.

Немалую роль в снисходительности ольвиополитов сыграли слухи о готовящемся персидском нашествии. Оно казалось бредовым вымыслом, но они не могли не верить Никодему, видевшему собственными глазами чудовищные орды, перешедшие Босфор. Скифская опасность бледнела перед этой угрозой. Вот почему самые строгие жители благосклонно относились к его затее и помогали ему в приготовлениях. Подобрали отряд каллипидов для сопровождения и охраны каравана. Каллипиды были скифами, но занимались земледелием, жили возле Ольвии и усвоили эллинский язык и обычаи. Греки считали их своими союзниками, позволяли селиться под самыми стенами города, а наиболее богатые и знатные каллипиды имели собственные дома в Ольвии. Путешествие без них было невозможно. Предстояло идти через лесистую местность, через степи, по которым только немногие решались ездить. В свиту к Никодему попало несколько каллипидов, ездивших с Перигором и знав-

ших дорогах. Никодем должен был проникнуть в расположение орд Скопасиса, повелителя царственных скифов, самых многочисленных и самых суровых, считавших всех остальных своими рабами. Торговлю с ними греки вели через земледельческие племена и упоминали о них не иначе как с содроганием.

— Лучше тебе вступить в союз с волками, чем стать другом этих разбойников.

Но Никодем упрямо твердил:

— Когда начинается битва, не овец пускают на врага, но львов и тигров. Если злые победят деспота и разбойные избавят мир от порабощения, то благословенно варварство! Чем неукротимее зверь, тем лучше.

Занимаясь приготовлениями к отъезду, Никодем посещал друзей, устраивал пиры, заходил в храмы, поднимался на городские стены, бродил по тесным закоулкам, угощая босоногих ребятишек сладкими финиками. Бывало, не успев приехать в Ольвию, он уже мечтал о возвращении в Милет. Он ласково презирал ее за грубость, за вонь узких улиц, скрип жерновов, подобный ослиному реву, несшийся из наглухо закрытых домов. Теперь ее шумы и запахи были дороги, как последний отзвук Эллады.

С тихой грустью посещал он некрополь. Там еще стояли столетние стелы основателей Ольвии и первых поселенцев в диком краю. Читая их имена, Никодем проникался теплым чувством родственности и единоплеменности. Все они были выходцами из Милета, и камень сохранил их предсмертные приветия своей заморской родине. Печальное и утешающее было в белых мраморах, в поминальных анафорах, в эпитафиях и в коротких надписях: «Гастийон, жена Ираклида и дочь Василя, прощайте!», «Зиновий, сын Зиновия, прощай!»

Никодем завидовал их тихому пристанищу в земле родного города, под боком у друзей, и отгонял мысль о собственной могиле, которую не будет украшать стела. Скифские дожди и снега выбелят его кости...

В день отъезда горожане стеклись к храму Ахилла, покровителя моря. Собралась вся богатая и знатная Ольвия, чтобы проводить Никодема в его необыкновенное путешествие. Скифы-каллипиды, взятые для сопровождения каравана, молились с ним вместе Фаргимасаде, как они называли Посейдона. Они чтили в нем бога нижнего неба. Одеты они были, по обычаю царственных скифов, в длинные кожаные штаны и куртки.

Все знали, что Никодем хочет принести богатые дары в честь Посейдона, своего покровителя, чей трезубец водил его по морям. Каждый хотел видеть, чем обогатит их храм безумный милетянин. Ждали щедрой жертвы, но то, что увидели, превзошло самое буйное воображение. К подножию жертвенника поставили серебряный котел, на стенках которого изображалась борьба Тезея с Минотавром. Потом принесли яшмовый щит с головой медузы из чистого золота. За ним следовали меч, вывезенный из Египта, золотые и серебряные цепи, слоновые клыки, страусовые опахала. Гул восхищения пронесся по храму. Когда Никодем обратился к ольвийцам с прощальным приветом, он увидел лес поднятых рук, лица, сияющие любовью, и уста, источавшие задушевные признания. Ольвия еще не видела столь пышной процессии, когда Никодем, выйдя из храма, двинулся к городским воротам. Там он сошел с коня, поклонился городу, бурно прижал к груди друзей и потом, удаляясь, долго слышал: — Прощай, Никодем!

II

Гипакирис протекал через лесистую местность, лежащую к северу от Ольвии. Полная болот и стоячих вод, она дышала лихорадками и посылала на город болезни. Пройти ее можно было только рекой. Гнилые пни, поросшие мхом ивы, скрюченные деревья торчали по сторонам. Берега порой исчезали, и тогда деревья выходили прямо из воды. Открывалось болото, зазеленевшее от листьев кувшинок, наростов лягушачьей икры, звеневшее от птичьего гомона. Временами река суживалась настолько, что весла упирались в берега. Тогда каллипиды с тревогой всматривались в только что начинавшую распускаться листву, нависшую над водой: они боялись диких племен, населявших лес. Нередко слышался стук барабана в чаще.

Гипакирис то змеился по лесу, то тянулся прямой линией.

Никодем настоял, чтобы триэра шла не только днем, но и ночью. Это было опасно из-за незнания реки и ее поворотов, но он велел освещать путь огнем, разведенным в железной клетке, подвешенной на длинном шесте к носу триэры. Стволы и сучья возникали костлявыми привидениями, а две ладьи, шедшие на прицепе с конями и сеном, чернели, как горы.

На четвертый день подошли к месту, где река суживалась и была завалена большими деревьями. Отсюда начинался пеший тракт в глубь Скифии.

В лесу гудел барабан, точно били палкой в выдолбленную колоду. Никодем сошел на берег в сопровождении десятка человек и углубился в заросли. Тропинка вилась между кустов корявых ольх, выступающих из земли корнями и не позволяла видеть дальше чем на несколько шагов. Каллипиды предупредили, что всякий, кто вступает на тропинку, отдает себя на милость лесного народа. Никодем в этом убедился, когда на одном из поворотов каллипиды, повалившись на землю, змеями расползлись по кустам, а возле его правого глаза задрожала стрела, вонзившаяся в древесный сук. Из чащи раздалось воркование голубя. Каллипиды ответили чем-то, похожим на собачий лай. В ответ опять заворковали.

В лесу на поляне расставили посуду, разложили топоры, монисто и ножи положили на высокий пенек. Это означало, что они приносились в дар. Потом каллипиды срезали два высоких шеста и вбили концами в землю, положив на них перекладину, наподобие ворот. На ней сделали столько зарубок, сколько было людей, коней и ослов у Никодема. Вернувшись на корабль и выждав некоторое время, Никодем послал людей в лес. Они принесли бобровые шкуры, кабаньи клыки и выдолбленный деревянный лоток с дикими сотами. Каллипиды были веселы, потому что перекладину с зарубками нашли снятой. Лесной народ не препятствовал прохождению в степь.

Когда ослы были нагружены, кони оседланы и люди готовы, Никодем спустился в трюм.

— Я обещал вам свободу,— сказал он гребцам,— и я сдержу свое слово. Отныне вы больше не рабы. Каждому я написал отпускную, и, когда вернетесь в Ольвию, вы получите их вот у него.— Он указал на кормчего.— Кроме того, в награду за службу и в память о вашем господиие, вы получите по двадцать драхм серебра. Это даст вам возможность вернуться на родину и обзавестись собственным домом. Триэру, со всем что на ней, оставляю, дарю вам. Припасов на ней столько, что хватит для возвращения в Ольвию и даже для плавания в Милет.

Он приказал надсмотрщикам снять с гребцов цепи.

Кормчий и палубная прислуга плакали, но гребцы хранили мертвое молчание.

Никодем сошел на берег и сел на коня. В окна было видно, как он тронулся с караваном и исчез за деревьями. А гребцы продолжали сидеть изваяниями. Обрушившаяся свобода придавила их камнем. Потом трюм дрогнул от звериного рева. Люди вскакивали с мест, плясали и выли. Они вырвались на палубу, перевернули все вверх дном и стали ломать корабельное имущество. Кто-то крикнул:

— Бей надсмотрщиков!

Надсмотрщики были предметом годами накапливавшейся ненависти; их свистящие бичи снились гребцам в коротких кошмарных снах. Мысль о том, что эти люди, пившие их кровь, находятся в их руках, поразила. На миг все притихли. Потом с невиданной яростью начали истребление вчерашних палачей. Палуба окрасилась кровью и на снастях повисли дымящиеся внутренности. Приступили к кормчему, требуя выдать отпускные грамоты. Он вынес ларец с папирусами и отдал каждому его документ. Рабы беспомощно держали их в руках, не зная, куда положить. У многих они скоро были смяты и разорваны. Но кормчего они не отпускали и требовали немедленной выдачи двадцати драхм серебра.

— Серебра здесь нет, вы его получите в Ольвии.

— Он хочет украсть наше серебро! В воду его!

Рабы ворвались в каюту, обыскали углы и, не найдя денег, убили кормчего. После этого, как мыши, рассыпались по триэре, проникали во все щели, вытаскивали всякую мелочь. Добрались до вина и пищи, затеяли безудержное пиршество. Никогда не евшие досыта, они истребляли теперь огромное количество припасов. Перепившись, заводили ссоры и драки. Вспомнили, что надо возвращаться в Ольвию, но никто не хотел садиться за весла. Их начали рубить, ломать и из обломков разводить костер на берегу. Образовались враждующие группы, вступающие в кровавые стычки друг с другом. К ночи большая часть рабов мертвецки спала на триэре и в ладьях с сеном, а остальные либо галдели, сидя у костра, либо носились с горящими головнями по берегу.

В полночь сено и солома на ладьях вспыхнули; пожар перекинулся на триэру. Она факелом пылала до утра, похоронив в своих недрах пьяных гребцов. Спаслись немногие. Дрожащие, беспомощные, топтались они на берегу, и один за другим пали от стрел и копий невидимого врага.

III

Никодем, пройдя сумерки леса, вышел под яркое небо степей, показавшееся ему куполом мира.

— Друг мой,— сказал он каллипиду, указывая на степь,— мы входим в пустынный храм, но не кажется ли тебе, что он торжественнее всех украшенных святилищ и ближе сердцам богов? Эта необозримая орхестра создана самим Зевсом и предназначена для великих действий, для священных мистерий. Ничто мелкое и пошлое не может произойти на такой земле. Блаженно все живущее в этой обители пространства, оно ближе к тайнам мироздания, чем мы.

— Да,— ответил каллипид,— мы вступаем в расположение счастливого племени: оно никогда не сеет хлеба и имеет сотни тысяч кобыл.

НА КРАЮ СВЕТА

I

Атосса велела разбить свой шатер в степи недалеко от Истра. Там пахло непросохшей землей, тленом прошлогодних трав и чуть заметной свежестью пробивающейся зелени. Степь расстилалась пустынная и унылая. Ничего, кроме туч, грозно плывших из туманной дали.

Устав от созерцания голой равнины, царица обращала взор к реке, где стоял город кораблей. Там, на берегу, с невиданной быстротой вырастали две бревенчатые башни. Они упирались в небо, как столбы ворот, и на них втащили громоздкие снаряды для стрельбы дротиками и стрелами. Атосса поднялась туда, чтобы лучше видеть степные дали. Степь раздвинулась, стала шире, но оставалась такой же неприютной. За синей полосой горизонта клубилось, что-то недоброе, подстерегающее.

У подножия башен громоздились корабли, суетились рабы: Мандрокл творил свое второе чудо. Части моста, заготовленные, помеченные краской, укладывались быстро в соответствии с замыслом. Крепкие бревна цеплялись за борта, повисая над водой правильными рядами.

Гармония строительства покорила Атоссу, и она подолгу смотрела, как деревянные ребра смело схватывали дикую, от века свободную реку.

Однажды утром ее разбудил шум. Семерых воинов, стоявших ночью на страже, нашли зарезанными. Волосы их были содраны с головы вместе с кожей. По требованию Гистиэя шатер царицы перенесли с берега на корабль. Но в следующую ночь якоря четырех судов, поддерживавших мост, оказались обрезанными. Балки закрипели и затрещали, сорванные течением корабли глухо ударялись о нижестоящие. Пентэра Атоссы получила столь сильный толчок, что царица упала со своего ложа. В поднявшейся тревоге долго не могли открыть причины смятения. Когда все выяснилось, Гистиэй пришел в ярость.

— Измена! Здесь скрывается враг, тайно вредящий делу царя царей. Пусть я не увижу Милета, если утром же не найду его и не разрублю голову мечом!

Но поиски оказались безуспешными.

Греки стали держаться плотными кучками и постоянно озирались. Подозревая рабов, они не пускали их в трюмы ночевать и по вечерам сгоняли на берег. По утрам многих находили убитыми. Рабы плакали, умоляя не лишать их защиты и не отдавать в жертву таинственному врагу.

Когда вечером надвигалась синяя мгла, в ее сгустках и космах чудились степные страхи, подкрадывавшиеся отовсюду.

Как-то раз они увидели копье, вонзившееся в бревенчатый сруб предмостной башни. Оно было загадочно расписано белой, синей, красной красками. Рабов это повергло в отчаяние, они бросили постройку и стали готовиться к смерти. С трудом заставили их возобновить работу.

С этих пор глубокая складка заботы не сходила со лба Гистиэя. Он то появлялся на мосту, то забирался на башню, всматриваясь в ту сторону, откуда ждали появления царских войск. Тиран ждал их, как пловец спасительного берега.

Наконец они показались. Сначала несколько белых снежинок, пятен плесени, менявших форму, потом большая лужа, медленно растекавшаяся по равнине. Великое воинство Дария, прошедшее фракийские горы, сокрушившее по пути племена, враждовавшие с самим небом, достигло скифских степей. Его заметили в полдень, а к вечеру первые всадники подошли к Истру. Они поили коней, сновали по берегу и с каждой минутой увеличи-

вались в числе. В сумерках, с шумом горного обвала, надвинулись колесницы. Всю ночь скрипели телеги, ревели верблюды, гудела несметная толпа, а утром правый берег Истра уже кишел табунами, стадами, среди которых прямыми и ломаными линиями чернели ряды выпряженных колесниц, сверкали белые города палаток.

С приходом войск греки ободрились. Степные духи отступили, но, как звери, залегли в равнине.

Войска принесли воспоминания о родине, о далеких Сузах. Атосса не радовалась. Там у нее ничего не осталось, кроме большого дворца и горьких раздумий. Она полна была далеким, неизвестным и чувствовала: далекое близко.

II

Однажды раздались ужасные крики:

— Великий Фамуз умер! Умер владыка Фамуз!

Часть войска плакала, рвала на себе одежды, бегала по лагерю, заламывая руки. Безумием охвачены были ассирийцы, халдеи, обитатели долины Тигра и Евфрата. С ними вместе бесновались сирийцы, часть финикийян и жителей азиатского побережья.

Даму похищен, увы, владыка жестоко похищен!

Дагал-ушумгал-анна похищен, владыка жестоко похищен!

Атосса прислушивалась к плачу. Она велела узнать о причине смятения, и ей сказали, что наступили дни плача об убитом возлюбленном богини Иштар.

О лучезарном друге Иштар плачет храм Эанны;

О муже степей, который не возвращается,

О лучезарном друге Иштар плачет град Цабелам...

Атосса поняла, что плачут о том, к чьим ногам она припадала в Пафосе и о ком ей самой хотелось плакать.

«Где герой, мой муж?» — стану говорить,

«Я пищи не вкушаю!» — стану говорить,

«Я воды не пью!» — стану говорить,

«О, благостный супруг мой!» — стану говорить.

Персы хмурились при виде поющих и неистово кричащих людей, греки отворачивались от варварского зрелища, некоторые смеялись, но никто не мешал печальному празднеству. Шесть дней оплакивали Фамуза, и все это время Атосса переживала страсти богини, как свои собственные. А на седьмой день, когда плакавшие оделись в

светлые одежды и запели о воскресшем боге, Атоссе сообщили, что в степи показались скифы. Легкая дрожь пробежала по телу при упоминании страшного имени. Она потребовала, чтобы к ней привели людей, видевших скифов.

Тогда пришли тираны. Гистиэй преклонил колени и произнес речь, превознося достоинства царицы и сокрушаясь, что греки до сих пор не могли почтить ее должным образом. Что они принесли бы? Золото? Но они рисковали оказаться смешными. Царица, если бы захотела, весь путь от Суз до Босфора могла совершить по золоту. Самоцветы? Но остались ли камни, достойные ее? Все, что добыл Египет, накопил Вавилон, собрала Ассирия, стеклось в сокровищницу царя царей. Иония не располагает камнями, которые могли бы сравниться с самыми скромными из тех, что украшают пояс царицы.

Греки привели ей живого скифа. Гистиэй знал, что сад ее в Сузах был полон пятнистых жирафов, полосатых зебр, серебристых гануманов. Финикийцы продали ей за большие деньги одноглазого циклопа, цари Пенджаба прислали великана, Дарий подарил эфиопа и карлика, а в горах Армении нашли для нее человека с львиным хвостом. К этим существам Гистиэй присоединил скифа.

Толпа расступилась, и на траве она увидела лежащего юношу с золотистой копной окровавленных волос. Его, как неукротимого быка, держали на двух длинных веревках, привязанных к поясу. Атосса в детстве видела коршуна, которому за разбой сломали ноги, обрезали крылья и бросили умирать близ дороги. Свирепый и гордый клюв птицы ни разу не открылся для жалобного крика, янтарные глаза безучастно глядели в пространство, покрываясь время от времени беловатыми пленками век. Так же лежал скиф, уставившись в землю и не достаивая взглядом своих мучителей.

Когда царица подошла ближе, его пинком ноги опрокинули на спину. Мелькнули васильки глаз и сочные губы, сложенные не то в улыбку, не то готовые изречь страшную истину, клубившуюся на дне души.

— Уберите его! — закричал Гистиэй. — Он испугал царицу! Царица падает!

Рабыни унесли в шатер лишившуюся чувств Атоссу. Очнувшись, она спросила:

— Где он?

— Ждут твоего слова, великая царица, чтобы убить.

— Пусть живет, но не показывайте его мне больше!

III

Потрясение оставило заметные следы. Приближенные шептались друг с другом о болезни царицы. Лекарю Антилиду из Галикарнаса приказано было по нескольку раз в день посещать Атоссу. Он говорил:

— В основе всего огонь. Это его мельчайшие частицы в бесконечных соединениях, тайна которых скрыта от нас, образуют мир. Человек, как все предметы,— порождение огня. Скопления его не одинаковы для всех людей; они не одинаковы также для всех частей тела: густота огненных частиц больше всего бывает в голове и в груди. Недуги наши происходят от нарушения этих скоплений. Великая дочь Кира унаследовала от царственного родителя настоящее пламя, составляющее сущность ее благородного тела. Но вдыхаемая сырость реки вступает в противоречие с сильным скоплением частиц огня. Бледность и подавленность духа есть результат борьбы огня и воды, которая тоже является особым состоянием огня, но состоянием слабым. Как только уйдем с сырых берегов Истра, действие паров ослабнет и царица обретет прежнюю бодрость и силу.

IV

Когда трава достигла высоты локтя и зацвели кроваво-красные цветы с узкими лепестками, Дарий велел выступать. Он созвал тиранов эллинских городов и приказал им оставаться на Истре — стеречь мост и корабли. Он дал им ремень с шестьюдесятью узлами с тем, чтобы каждый день развязывать по одному узлу.

— Когда развяжете последний и меня не будет, плывите домой!

Гистиэй выступил вперед и положил перед царем большой нож.

— Это зачем?

— Чтобы перерезать мне горло, если я посоветую недостойное.

— Говори!

— Царь, ты идешь в страну, о которой никто ничего не знает. Яви милость, возьми с собой человека, которого я укажу. Это Агелай, чья верность мне, а следовательно, тебе, тверда, как меч. Он не обременит тебя и не бу-

дет назойливо вертеться у твоего шатра, но он подаст не один добрый совет, когда ты окажешься в затруднении. Этот человек бывал в степи и знает скифов.

Агслай предстал перед ним, сухой, горбатый, с чахлыми волосами на подбородке. Свита взялась за бороды в знак изумления. Она готова была рассмеяться и ждала соответствующего проявления на лице царя. Дарий тоже был удивлен, рассержен, но, подавив гнев, чуть заметным движением дал согласие на просьбу Гистиэя.

Начался переход.

Дарий хотел снова, как на Босфоре, насладиться видом своего могущества. Ему соорудили пирамиду с тронном на вершине, а все уступы заполнила сверкающая свита. Но солнца не было в тот день, из-за Истра тяжелыми кораблями плыли тучи, под их пологом кружилось синее воронье.

Царь долгим взглядом обвел приближенных, заглядывая каждому в глаза. Ответные взоры, как всегда, ничего не выражали, кроме подобострастия. Только милетский тиран встретил его таким же долгим, испытующим взглядом.

Ариарамн с обнаженным мечом стоял на мосту, дожидаясь мановения царской руки. Рука не поднималась. Дарий сидел молчаливый, непроницаемый, и только Гистиэй догадывался, какие вихри закружились в душе царя. Он еще раз обратился к трону, но Дарий гордо выпрямился и подал знак.

Когда затрубила царская труба, Дарий не узнал ее звука. Он походил на мычание коровы и затерялся в степных далях. За мостом начиналась плоская, не охватываемая глазом равнина, поросшая сочной травой. Как только конница, прогремев по мосту сверкающими подковами, ступила на скифский берег, она точно провалилась в землю по колено. Кони и люди становились маленькими, а слоны выглядели навозными жуками. Сдвинув брови, царь следил за уходящими вдаль черными потоками, похожими на паучьи лапы. Степь просторами пожирала величие царского воинства. Дарий привык, чтобы от его войска исходил гул, наполнявший окрестность. В нем он слышал свою грозу, величие и шелест крыльев победы. Здесь же люди и колесницы, как только касались скифской земли, проглатывались тишиной. Все войско — полк за полком — переходило в иной мир, в иную жизнь.

А вдали угрожающе синела полоса горизонта.

В СТЕПЯХ

I

Три дня шел Никодем со своим караваном. Серая цепочка всадников, коней и ослов так сливалась с равниной, что едва различалась издали. Не потому ли их ни разу не заметили из стоянок, мимо которых они проходили? Один раз — это было вечером — люди указали Никодему на что-то красневшее, похожее на кучу камней. Еле уловимый лай и выкрики доносились оттуда. Потом все подернулось синью и пропало. В другой раз ничего не было видно, только слышалась песня, похожая на крик на краю света.

Никодему казалось, что он умер и теперь вновь родился в неизвестном мире. Эллада, Милет, недавняя Ольвия вспоминались как отголоски той первой жизни. Степь расстилалась пустынная, но полная сил и неуловимого звучания. Он знал тонкое, как волос, пение Ливийской пустыни, глухие, чуть слышные удары в медь, исходящие от гор Ливана, и теперь всем сердцем слушал голос степей.

Земля еще пахла сыростью и гниением прошлогодней травы, но уже сквозь рыжий покров проступала бодрая щетина новой зелени, что приносит в мир радость обновления. В каменистых, песчаных странах, где протекала жизнь Никодема, где не бывало полного умирания природы, он никогда не знал свежести возрождения. А здесь трава была так низка, что не закрывала гнезд с пестрыми яйцами, встречавшимися на каждом шагу. Самки оставались в гнездах, несмотря на приближение каравана. Это давало Никодему повод каждый раз бранить афинских и милетских болтунов, уверявших, будто скифские птицы не садятся на яйца, а покидают их в гнезде, заворачивая в заячьи и лисьи шкуры. Лисиц было много, они, как собаки, бежали возле каравана.

На ночь остановились у небольшого озера, откуда лежал путь на Львиный камень. На озере шла немолчная возня и кряканье уток. Ночью слышались всплески рыб, блеяние водяного барана, писк пичуг, похищаемых совами.

Перед рассветом Никодем пробудился от непонятного шума. Земля дрожала. Люди переносили поклажу, воздвигая из нее полукруглый вал высотой с человека.

Взобравшись на него, каллипиды размахивали палками, тряпьем, снятыми с себя одеждами. Что-то ползло со всех сторон, с храпом и фырканием.

Шли кони. Тысячи коней. Неизвестная сила гнала их в этот час к неведомым полям и травам. Лагерь оказался в середине гигантского табуна. Когда рассвело, Никодем увидел у коней черную полосу вдоль хребта. Короткая грива, отсутствие челки и маленькая голова придавали им задорный, неукротимый вид.

— Привет вам, мужественные кони Скифии! — воскликнул Никодем. — Да вселят боги новый огонь в ваши храбрые сердца и да помогут сокрушить надменных коней всемирной тирании!

Солнце взошло. Кони продолжали напирать и расходились в стороны, как волны, разрезанные корабельным носом. Они шли до полудня, и все это время люди не переставали махать палками и одеждами. Никодем был в восторге.

— Радуйтесь, друзья! Это боги послали нам первый знак скифской мощи. То ли увидим еще!

К вечеру караван достиг Львиного камня. Он издали чернел, вызывая страх. Это был громадный блок, грубо обтесанный наподобие обелиска. Верхушка его, изрытая впадинами, напоминала голову льва. Отсюда начиналась земля царственных скифов.

По словам каллипида, чтобы пройти всю степь, нужен год. Раз в столетие выходят оттуда многочисленные народы, потрясающие вселенную. Некогда оттуда вышли киммерийцы, потом скифы. Эти народы — бич богов, они посылаются в наказание человечеству.

— Ты восхищаешь меня! — воскликнул Никодем. — Но в твоих суждениях о скифах есть неправда: не в наказание, а во спасение человечеству послал их Зевс, и, если мы счастливо закончим наш путь, ты будешь свидетелем чуда.

II

Наутро воины увидели запряженные волами повозки с войлочными верхами, стада овец, табуны коней и тучу всадников. Все это со скрипом, плачем, гамом двигалось наперерез каравану.

— Скифы!.. Скифы! — шептал восхищенный Никодем.

Пока каллипиды с тревожными лицами сгоняли караван в кучу, он весь предался созерцанию приближавшихся наездников. От них исходило зловоние, смешанное с запахом конского пота. Никодема поразили волосы скифов, длинные, как у женщин, свисавшие слипшимися прядями из-под острых шапочек. Они долго спорили между собой, кричали. Наконец, к Никодему подъехал осанистый всадник и молча уставился на его доспехи. Он ощупал украшения на панцире, а потом грязными погтями позвонил по шлему. Никодем дружелюбно улыбнулся и хотел начать речь, но серый конек скифа так больно укусил за бок его лошадь, что та шарахнулась, и Никодем едва усидел в седле. Успокоив жеребца и оглядевшись, он увидел, что скифы бьют каллипидов древками копий и отгоняют от вьючных коней. Перерезывали подпруги и быстро стаскивали поклажу. Половина ее уже находилась в их руках. Еще мгновение, и богатства Никодема были бы разграблены. В это время скифы увидели ослов, кротко стоявших с огромными вьюками на спинах.

Раздался хохот на всю степь. Варвары, присев на корточки, разглядывали добрые ослиные морды, катались от смеха, приставляли к вискам пальцы, изображая ослиные уши, а один, усевшись перед маленьким осликом, затянул скрипучую песню, и смех стал еще громче. Они бросили грабеж и столпились возле странных животных. Тогда Никодем приблизился к всаднику с золотой пряжкой на поясе. Тот встретил его грозной речью и, ударя себя в грудь, произнес:

— Скуика!

Никодем объяснил цель своего приезда в степи. Сказал, что возлюбил скифов еще у себя за морем и ныне хочет разделить с ними грозящую им опасность. Он охотно повергнет свои богатства к ногам Скопасиса, пусть только позволят ему спокойно дойти до стоянки царя. Скиф его не понял, но при имени Скопасиса оскалил зубы и схватился за нож, висевший у пояса. Стоявшие подле скифы тоже нахмурились.

— Скопасис! Скопасис!

В это время приблизился один из каллипидов, и Никодем приказал передать свою речь по-скифски. Узнав, что кладь предназначается Скопасису, варвары прекратили грабеж, зато лица их засветились звериной злобой.

— Ты счастливый,— услышал Никодем,— ты прибыл удачно: десять дней скифы не могут никого убивать. Ес-

ли бы не это, кожа твоя была бы содрана, а мясо склевали бы птицы.

На вопрос о причине такой неприязни скиф взялся за свою золотую пряжку на поясе.

— Разве ты не знаешь, что я Скунка? Я такой же царь, как Скопасис, но ты меня не почтил.

Никодем велел развязать большой тюк и высыпал груды сверкающих мечей и наконечников для стрел и копий.

— Все скифы одинаково близки моему сердцу. Тебе, царь, я воздаю такую же хвалу, как Скопасису. Близок день, когда мы все устремимся против общего врага.

Оружие было мгновенно расхвачено. Любовались его блеском, проводили пальцем по лезвию, пробовали на зуб и на язык. Но злоба не утихала.

Помахивая превосходным мечом, Скунка бросал исподлобья недобрые взгляды. Лицо его вдруг стало лукавым и веселым.

— Я пропущу тебя. Но ты должен передать мой привет Скопасису. Скажи, что Скунка ему низко кланяется. Вот так. — Он повернулся, приподнялся в седле и, скинув кожаные штаны, показал Никодему свой грязный зад.

Никодем оглушен был взрывом хохота.

— Кланяйся Скопасису! — кричали варвары, и каждый, подобно вождю, обнажал перед Никодемом свой зад.

В степи долго гремел их смех, когда они тронулись вслед удалявшимся стадам и повозкам.

III

Приближение к царскому становью почувствовалось по оскудению птиц и зверей. Зато всадники стали попадаться чаще. Возникали, как из земли, и так же внезапно пропадали. Степь уже знала о приходе Никодема и следила за ним тысячью глаз.

К полудню возник целый город войлочных шатров и кибиток.

Подъезжая к становью, увидели толпу косматых, грязных людей. Вытянув шеи, они жадно разглядывали караван, но метнулись прочь, как только Никодем направил к ним своего коня. Ноги у всех были спутаны ремнями, как у лошадей, выпущенных на пастбище. Сзади у каждого болтался конский хвост. Никодем заметил пастуха с длинным бичом, подгонявшим хвостатое стадо.

Из становья неслось многоголосое конское ржание.

Теперь стало ясно, что это множество лагерей. Каждый был опоясан плотным кольцом повозок, и над колесничными валами белели конские черепа.

Народ метался, как при приближении врага. Женщины, голые дети, собаки и бараны бежали под защиту повозок. Когда караван подошел, лагеря походили на осажденные крепости. Продвигаясь между ними, Никодем зашел в самую середину их расположения и всюду видел куполообразные войлочные палатки, сбитые в кучу телеги, а из-за телег — по-волчьи уставившиеся на него глаза цвета речной воды, одежды из грубой овечьей шерсти и детские головы, белые, как лен.

Никодем приказал говорить каллипиду, но скифское слово не вызвало движения на лицах у женщин. С ними объяснялись знаками, показывали блестящие предметы, ткани. Не выдержав, Никодем стал обзывать их худыми словами. Тогда прямо перед ним на повозке возникла тощая фигура с темными впадинами глаз. Воздев руки, она воскликнула:

— Благословен этот день, что я слышу эллинскую речь впервые за столько лет! Кто бы ты ни был, господин, пусть тебе сопутствуют боги и да помогут они выйти из звериного логова, в которое ты зашел.

— Кто ты? — спросил Никодем.

— Я Феогнид из Херсонеса. Я был богат и славен, но рок поразил меня за жадность к золоту и за святотатственное проникновение в неведомые земли. Уже двадцать лет, как я ослеплен варварами и занимаюсь доением кобыл. Если ты угоден богам, попроси мне у них скорую безболезненную кончину.

— Кому ты служишь и кто твой господин?

— Мой господин?.. Ты слышишь его ржание. Сегодня я служу жеребцу Бозию, владеющему женой, детьми, палаткой и всеми богатствами своего хозяина.

Никодем нахмурился.

— Либо боги помрачили твой разум, слепец, либо ты вздумал смеяться надо мной.

— Нет, добрый господин, все, что я говорю, правда. Ты прибыл в тот день, когда кони становятся господами, а скифы конями и уходят в поля пастись.

Никодем теперь ясно различил, что свирепое ржание несло из закрытых палаток. Он был в великом смущении, узнав, что и царь Скопасис, покинув жилище, пасется в степи с подвязанным конским хвостом, а в царской палатке неистовствует его конь.

Никодем расположил свой стан на открытой поляне. С колесничных валов за ним следили тысячи глаз, но никто не вышел и не приблизился.

Спустился вечер. Понесло едким дымом, слышались крики, лай, ржание. К полуночи все стихло.

Из степи стали доноситься не то голоса зверей, не то скрипы повозок. Чуть заметный ветерок обдавал запахами прелой земли, сырости и зелени, от которой Никодем впадал в мечтательную дремоту. Ему снилось: он видел себя у большой реки, на другом берегу которой стлался синий дым и возникали неясные лица, слышал далекое пение. Снилось, что кто-то белыми, как пена, зубами вцепился ему в плечо. Кусал не больно, но дергал из стороны в сторону.

— Вставай, господин!

Было светло. Рабы дрожали от утренней сырости. Он и сам испытал нечто вроде трепета, когда оглянулся по сторонам. Плотным кольцом их окружало конское войско.

С лицом, смятым от сна, со спутанными волосами и бородой, он стал приветствовать скифов, превознося их царственную осанку и грозное воинское обличье.

— Если каждый из вас достоин быть царем, то каков же царь, что правит вами? Я пришел возвестить всему народу наступление времен славы. Приближается день, когда каждому из вас суждено стать бессмертным в веках!

Воодушевившись, он стал употреблять красивые жесты, заученные у знаменитых ораторов, и речь его потекла плавно и стройно. Но когда опустил руки, чтобы сделать шаг назад, воздеть их к небу, он не мог ими пошевелить. В следующий миг почувствовал себя поверженным, все завертелось, и от страшных толчков в плечи, в голову, в ноги он лишился чувств.

IV

— О господин! Неужели ты должен погибнуть ужасной смертью? Мы согласимся еще раз быть проташенными на аркане через все становье, лишь бы не видеть тебя таким, как сейчас.

Окровавленный, в изодранной одежде, привязанный к столбу, Никодем был страшен своим рабам, привыкшим видеть его сверкающим и грозным. Сами они, истерзан-

ные и спеленатые ремнями, валялись у его ног, но о себе не думали. Их слух терзали ликующие крики варваров, грабивших караван. Пленников забыли.

Они пробыли на пустыре весь день, мучаясь от жажды и голода. Ремни врезались в тело. А когда степь окуталась сыростью, у рабов застучали зубы. Но Никодем не замечал ни боли, ни холода, он терзался более страшной мукой. Неужели все, говорившие о безумии его замысла, правы, и он напрасно погубил свои сокровища и самого себя? Мысль эта приводила его в исступление. Когда в становье потухли огни и замолкли голоса, он бессильно повис на поддерживавших его ремнях и стал просить у богов скорой кончины. Впав в забытие, долго носился в мире неясных призраков, пока не очнулся от чье-то близкого присутствия.

— Жив ли ты, господин?

Это был Феогнид из Херсонеса.

— Зачем ты пришел, слепец? Или чуешь во мне скорого товарища по доению кобыл?

— Нет, добрый господин, тебя ждет другая участь, ты будешь закопан в землю по самую шею и потом тебе отрубят голову.

— Ну, значит, я счастливее тебя.

Слепец умолк. Никодем долго слышал его старческое дыхание.

— Скажи, господин, если мы здесь умрем, попадем ли мы в свой эллинский Аид или нам суждено пребывать в скифском Тартаре? Эта мысль меня постоянно смущает, иначе я не стал бы гневить богов цеплянием за недостойную жизнь.

— Уйди, слепец, и не мешай мне думать!

Феогнид вздохнул.

— Я пришел, господин, чтобы освободить тебя. Беги, если можешь, а я пожил и вряд ли найду более достойный случай пожертвовать жизнью.

— Тому, кто так неистово стремился к скифам, нельзя бежать от них. Я сам избрал свою долю. Иди!

Утром голдящая конная орава надвинулась на Никодема. Кто-то пустил копьё, и оно со свистом вонзилось в столб над самой его головой. Стреляли из луков, но стрелы, задевая волосы, пробивая одежду, свистели мимо ушей и, не причинили ему ни одной царапины. Когда же рыжебородый, громче всех кричавший, подъехав, ударил Никодема с размаху копьём в лицо, лежавшие на земле

рабы испустили громкий вопль. Но не успело жало копья коснуться щеки, как скиф молниеносно отдернул его назад. Это произошло так мгновенно, что Никодем не успел испугаться.

Его отвязали и поволокли к богато украшенной палатке. Перед ней на белом камне сидел человек, молча уставившийся на Никодема. Около него сгрудилась конная ватага.

Один, с лицом филина, ткнул копьем в сторону Никодема, спросил его:

— Что ты замышлял против царя скифов?

Когда каллипиды передали это Никодему, он не знал, что ответить. Потом с лицом, загоревшимся надеждой, стал горячо объяснять цель своего приезда. Он сказал, что еще у себя на отчизне узнал про могущество и славу Скопасиса. Он избрал его из всех царей и захотел принести к его ногам свои богатства, дабы послужить делу борьбы со всемирным врагом Дарием.

— Ты дал оружие врагу царя! Ты друг Скунки!

— Ты друг Скунки! — заревела толпа, и, когда Никодем пытался говорить, его не было слышно.

Тогда, оттолкнув поддерживавших его каллипидов, он рванулся, испустив яростный вопль, от которого сразу воцарилось молчание.

— Вы заплатите кровью за свое ослепление! Палатки ваши сожгут и разграбят, с коней сдерут кожу, жен и детей угонят в рабство, а сами вы истлеете в полях и станете серыми костями!

По толпе прошел шепот.

— Докажи! — сказал человек с лицом филина.

— Это докажут скоро тысячи убитых и тьмы закованных в цепи. Близки уже полчища царя царей. Колесницами он может окружить всю Скифию, как этот лагерь. Горе вам! Вы еще живете, но я уже смотрю на вас, как на мертвых!

Он упал на колени и был подхвачен каллипидами.

Скифы молчали. Потом разом загудели и, начав жаркий спор, забыли про Никодема.

Он очнулся в пустой полутемной палатке. По круглым полотняным стенам бежали угловатые кони, крылатые собаки, львы, барсы, грифоны, а из вихря завитков проступали не то человечьи, не то звериные глаза и ослабленные рты. Порой ветерок колебал ткани. Тогда чудовища оживали, и Никодему на миг открывалась душа чужого мира, без небес, без земли, без солнца. Тра-

вы, цветы, люди и кони были хищны, кровожадны, но печальны и таили глубокое горе.

Утром к Никодему пришли косматые воины и поволокли с собой. По палатке с бегущими турами он узнал место своего первого допроса. На белом камне опять сидел человек. Теперь он держал каменный топор с золотой рукояткой, украшенной клеймами искусной работы. На голове сиял золотой купол, отороченный бобровой олушкой. Никодем понял, что перед ним Скопасис— повелитель царственных скифов.

Большой костер пылал в середине круга.

— Можешь ли дать клятву, что все, сказанное тобой о нашествии царя царей,— правда?

Не будучи в состоянии говорить, Никодем сделал утвердительный знак. Тогда ему поднесли нагретое железо, начинавшее краснеть.

— Возьми и докажи свою правоту!

Стало тихо. Все глаза уставились на милетянина. Он еще пребывал в оцепенении. Потом, как бы стряхнув тяжесть, выпрямился и сильным жестом схватил железо. Рука задымилась, распространяя зловоние. Все время, пока каллипид произносил за него слова клятвы, Никодем держал раскаленное железо. Когда сказали «довольно», он уже не мог разжать ладонь, и железо, с приставшей к нему дымящейся кожей, выбили ударом дровка.

— Никто не смеет трогать этого человека! — воскликнул царь.

Упавшего без чувств Никодема отнесли в палатку, рабов его развязали и позволили ухаживать за господином. Приближенные Скопасиса расспрашивали его обо всем виденном на Босфоре. Лица их мрачнели, но в них было и сомнение. Все еще боялись верить его словам.

— Скажи, чем питались царские кони, совершая такой далекий путь? Ведь ты говоришь, что они шли по дорогам, лишенным травы.

— Их снабжали кормом живущие там народы. Царь разорил их земли, приказав вынести ему навстречу все запасы зерна и соломы.

Скифы лукаво прищуривали глаза.

— Какой же копь станет есть солому? Когда нашим копы случается бывать в землях борисфенитов и забираться в их нивы, они срывают только колосья, но ни один не притрагивается к соломе. И даже зимой, когда не находят под снегом трав, они предпочитают сдохнуть от голода, чем есть солому.

Потом расспрашивали о колесницах и были удивлены, что в них впрягают коней, а не волов, что колесницы быстры, как ветер, и колеса у них не из сплошных досок, а легкие, со спицами.

— Мы подумаем,— говорили они...

Так прошло несколько дней.

Однажды ввалилась орава скифов и опять повела Никодема к царю. По дороге пристало много пешего и конного люда.

Царь поставил его рядом с собой. По его знаку перед Никодемом разостлали войлок, на который скифы, проходя мимо, складывали браслеты, кольца, гребни, чаши, украшенные пояса, монеты и седла, похищенные из его каравана. Навалили груды оружия, привели коней и ослов.

— Мы ничего не утаили и возвращаем все до последней серьги.

— Я знал, царь, что ты согласишься правде моих слов. Но оружие я привез для твоих воинов. Что же до этих богатств, то они твои, и я согласен быть только их хранителем. Они даны тебе для победы.

Никодем забыл о страшной боли в руке, о пережитых мучениях и только думал: неужели сбываются его мечты и наступает час, которого он столько ждал?

Узнал, что царю доставили стрелу с зарубками, крестиками и крючками. Острие окрашено ярко-красным. Она пришла с берегов далекого Истра. Ее вихрем несли по степям от становища к становищу, не задерживаясь ни на минуту. Навстречу мчавшемуся гонцу выводили свежего коня, и лучший наездник выхватывал у прибывшего стрелу, чтобы нести до следующей стоянки. Стрела возвещала приход врага.

С табунами, кибитками, с воинами, женами и детьми шли к Скопасису вожди подвластных кочевий.

V

Никодему велели показать руку. Она представляла гноящуюся рану. Знахари и заговорщики каждый день колдовали над нею — шептали, поплевывали, присыпали золой, но боль не проходила. Рука испускала зловоние и загнивала. Тогда пришел человек с безбородым красным лицом, на котором, как два гусиных пера, белели брови, скрывавшие оловянные глаза. Это был Сибер,

Они сели на коней и выехали из становища. Никодем не узнал степи. Все рыжее и черное пропало; яркая ликующая зелень захлестнула равнину. Сиберы чему-то усмехался, бормотал, кричал коростелем, свистел, как суслик. Спрашивал про овечий корень у земляного зайца, у летучей коровки, севшей на гриву коня. Нагнувшись к траве, поднял за уши маленького зверька и у него спросил про овечий корень.

Неизвестно откуда взялись могучие быки с белыми полосами вдоль хребтов. Когда Сиберы фыркнул и быки повернули головы, Никодем замер от восхищения при виде необъятной ширины рогов. Мелькнуло стадо пасущихся белых овец. То были камни. Сиберы сошел с коня и начал срывать стебельки и листья. Он их шохал, озираясь по сторонам, ползал по земле так долго, что Никодем забыл про него. Очнулся, когда Сиберы предстал перед ним с желтым, как зуб, корнем. Он разрезал его и положил Никодему на гноющуюся ладонь. В первое мгновение грек чуть не вскрикнул от боли, но потом почувствовал облегчение и на обратном пути впал в сладкую дремоту. Спал всю ночь, весь следующий день и еще одну ночь, а когда проснулся, его позвали на пир к царю.

VI

В бронзовых котлах по всему становищу варились мясо, залитое молоком или ягодным соком. Жарились туши кабанов, быков, сайгаков. Жирных дроф завертывали в сырую глину, клали в огонь, откуда их доставали потом в виде больших желтых камней. Когда разбивали глиняную скорлупу и отдирали вместе с приставшими к ней перьями, разливался сладкий аромат птицы, жаренной в собственном жиру. Везде громоздились мехи с кобыльим молоком.

На поляне выстроились ровным кольцом наездники с копьями и щитами. Они торжественно пили из большой чаши, шедшей по кругу. Молодые скифы, не успевшие убить ни одного врага, стоя поодаль, с завистью смотрели на почетную чашу. Когда она обошла весь круг, воины сошли с коней и уселись на разостланные бараны и конские шкуры. Внесли яства. Толпа женщин, детей, калек, глазевшая на пирующих, громко запела:

О, кобылы! О, матери кобылы!
Что было бы, если бы вы
Не стали давать молока!

Самые почетные гости пировали с царем в палатке. То были воины, чьи имена знала вся Скифия, а также вожди подвластных племен. Они прибыли в сопровождении легких дружин, опередив свои медленно движущиеся орды.

Среди прибывших многие не любили Скопасиса и боялись его. В прошлом они вступали с ним не в одну кровавую битву, но всегда бывали побеждаемы и смирялись. Втайне мечтали о переходе к Иданфирсу. Были и такие, что не желали признавать ни Скопасиса, ни Иданфирса. В той части степей, где изначала кочевали их племена, они считали себя царями и за Скопасисом признавали только первенство и старейшинство. В этот приезд они согласились не посить в его присутствии золотых шапок и золотых чаш у пояса. Впервые в их собрании он один выступал с этими знаками царского достоинства.

Торжество омрачалось отказом трех вождей, среди которых был Скупка. Они передали:

— Лучше посетить логовище змеи и принять угощение от волка, чем пользоваться гостеприимством Скопасиса.

Но царь был в хорошем расположении духа. Его успели убедить, что опасность, грозящая от персов, сильно преувеличена Никодемом. Каждый день приходили вести с Истра: стало известно про множество кораблей, про высокие башни, но о несметном войске ничего не было слышно. Народ, прибывший на кораблях, не устрашал численностью. Утверждали, что никакого другого войска не будет, и жалели о возвращении Никодему его богатств. Приближенные отвергали мысль об обращении за помощью к агафирсам, таврам, исседонам, гелонам и неврам. Тем более не стоило мириться и вступать в союз с Иданфирсом. Скопасису сказали многозначительно:

— Тебе, царь, надлежит еще более возвыситься в этой войне.

Скопасис бросал понимающие взгляды на говоривших и хищно приподнимал верхнюю губу. Сегодняшний пир сделает его предводителем всех скифов.

Когда Никодем ступил под купол палатки, он понял, что и в степи возможны огромные сооружения. Но все было голо, как в пустом сарае. Единственным украшением служили бронзовые изображения зверей, свешивавшиеся с потолка. Даже вожди и герои, сидевшие у подножия стен, были малозаметны. Только блестящие золотые чаши придавали значительность скопищу.

Скопасис сидел в окружении двух десятков витязей, чья верность скреплена была смешением крови в общей чаше и клятвой последовать за царем в могилу.

Никодем приветствовал повелителя скифов, подняв свою изуродованную руку, и ему указали место неподалеку от Скопасиса.

В лимонно-желтом гиматие, в красных с золотыми застежками сандалиях, с бородой, лоснящейся от благовоний, он был вымыслом, сказкой в палатке номадов. Степные вожди поднимались с мест и подходили, чтобы подышать исходившими от него ароматами. Дотрагивались до одежд и волос. Когда он пообещал одному подарить такую же одежду, варвар усмехнулся, с гордостью посмотрел на свой плащ, сшитый из пучков, похожих на бычьи хвосты. То были волосы убитых врагов, содранные с головы вместе с кожей. Черные, рыжие, желтые, седые. Среди них — золотистые, в два локтя длиной, содранные явно не с мужской головы.

Пока Никодем смотрел на страшный плащ, внесли жареного тура и тут же разъяли на части. Каждый впиался в тушу зубами и быстро отрезал ножом захваченный кусок. Стали вносить дымящиеся бараньи хребты, конские лопатки, жирных дроф, коз. Чаши наполнились синеватым кобыльим молоком. В нем плавали волосы, оно пахло прелым бараньим мехом, но скифы пили с наслаждением и быстро хмелели. Никодем заметил, что некоторые чаши сделаны из черепов, обложенных золотом. Из них пил сам царь и наиболее почетные гости. То были черепа врагов Скопасиса.

Скоро палатка наполнилась пьяными голосами. Завязались споры и похвальба подвигами.

Тогда Скопасис велел Никодему выйти на середину. Никодем ждал этого и с жаром стал рассказывать о нашествии царя царей. Он рассказал о великом числе воинов, коней и колесниц, о несчетном количестве ослов, быков и мулов, но когда упомянул про мост, такой длинный, что с одного его конца едва можно различить человека, стоящего на другом, поднялся смех.

Скопасис нахмурился.

— Подними свою руку, пусть видят все, что ты был на царском суде и выдержал испытание огнем и железом.

Никодем поведал, что другой такой же длинный мост перевезен на кораблях через море и поставлен на Истре. Через него войско Дария вторгнется в скифскую землю.

Смех усилился. Особенно смеялся вождь траспиев, самый заносчивый и непочтительный в обращении с царем. Он развалился на волчьей шкуре, запрокинув лицо в войлочный купол, борода его прыгала от смеха. Тогда Скопасис, бледный, поднялся, и, прежде чем гости опомнились, копье его, сделав большую дугу под сводом, с хрустом вонзилось в грудь траспию. Люди вскочили, хватаясь за оружие, а в палатку ввалилась толпа воинов царя. С минуту все стояли, как барсы перед прыжком, ища глазами противника. Опомившись, Скопасис воскликнул:

— Он заплатил за свою дерзость, а вы пируйте и не жалейте об этой собаке.

Он велел принести кратеру, расписанную черным лаком, завезенную в Скифию, может быть, самим Никодемом, и приказал наполнить из нее кубок.

— Я поднимаю чашу с заморским вином. Кто думает одинаково со мной и не таит на меня зла, отопьет из нее.

Отхлебнув душистого, захватывающего дух вина, он пустил чашу в круговую. Но один из приезжих вождей поперхнулся. За ним другой. Красный от гнева царь обратился к воинам:

— Вы видите их двоедушие? С сердцами, полными черных замыслов, они пытаются пить из чаши дружбы!

Начался шум, замахали оружием. Никодема грубо толкнули, так, что он отлетел к ногам царя и, поднявшись, видел лишь спины людей, кольцом окруживших Скопасиса. В шатре стояли вой, лязг железа, треск ломающихся копий. Гости оказались прижатыми к стене. Их избивали. А в палатку валили новые толпы.

Вожди карабкались по деревянным ребрам остова под самый купол и падали оттуда, как перепела, пронзенные стрелами. Другие разрезали войлочные стены, пытаясь выскочить наружу, но там их побивали каменными палицами. К Скопасису неслись клятвенные уверения, обещания богатого выкупа, простирались руки, умолявшие о пощаде.

С остановившимся взором Никодем шатался, как пьяный. Когда палатка опустела, открылись забрызганные кровью стены, яства, смешавшиеся с мозгами, торчащие из ребер копья. Два рыжих скифа добивали раненых.

Не успели убитых привязать к конским хвостам и выволочь в степь, как пришла весть, что на Истр прибыло столько врагов, сколько скифский ум не в силах сосчитать.

В ПОХОДЕ

I

Персы всю жизнь воевали в странах с твердой почвой. Они привыкли слышать дрожание земли от своей поступи. В степях их топот поглощался травой и мягким, как ложе, грунтом.

Дарий хмурился. Ему невыносим был вид коней, когда-то рвавшихся из упряжи, а теперь умиротворенно шедших по брюхо в цветах. Он велел вытянуть войско в колонну. Впереди пошли конница и верблюды, а по прямой ими траве — колесницы, оставляя за собой полосу взрытой земли. Пешее войско месило ее, растаптывало в пух, поднимало в воздух и окутывалось пыльным облаком. Сотни тысяч ног вытаптывали жирную землю, пока под ней не открылись пески. Песок вырывался в степь при каждом дуновении, засыпая травы. Аравийская пустыня вставала из-под скифского чернозема.

— Это первая борозда, проведенная плугом твоего могущества, — сказал царю Ариарамн. — Скоро вся Скифия будет вспахана, и там, где ты пройдешь, не вырастет ни одна былинка.

Но, победив траву, Дарий не вернул величия войску. Справа и слева подстерегали степные просторы.

II

Молодой скиф шел, прикованный длинной цепью к колеснице. На ночь ее ставили подле звездного шатра Атоссы, и царица, ворочаясь на бессонном ложе, слышала лязг его оков. Но видеть его избегала. Подходить к нему боялась. Он пинком ноги чуть не убил карлика, воину выдрал бороду и свернул лицо на сторону. Не притрагивался к пище и, когда ее ставили поблизости, отбрасывал прочь.

Атосса пригрозила прогнать Эобазу, если со скифом произойдет недоброе.

— Лучше бы тебе, великая царица, дать мне на воспитание свирепую змею, чем это порождение Аримана. Скоро раб твой совсем лишится рассудка через это чудовище, — вопил Эобаз, простершись у ее ног.

Однажды скиф сломал клетку с фазанами и, схватив птицу, пожрал ее, разорвав на части. Когда об этом сказали Эобазу, он велел ставить клетку с дичью возле пленника. Потом вместо нее явилась телега со снедью, плотно укрытая и завязанная ремнями. Выбрав минуту, скиф разрывал ремни, оттягивал тяжелые воловьи кожи и похищал с воза куски вяленого мяса.

Железное кольцо натерло ему шею до крови. Атосса велела снять цепь и приставила к пленнику пятерых воинов. Но скиф не пытался бежать, покорно шагал за колесницей.

Тянулась неровная местность, чувствовалась близость Понта — по долетавшим струям соленого ветра и белым чайкам. Потом пошла необозримая гладь, подлинная Скифия, с дремотным колыханием трав, жужжанием шмелей, криками коростеля, стадами зубров, с тучными дрофами. Зацвел ковыль, жеребились дикие кобылицы.

Атосса большую часть пути сидела в закрытых носилках. Но она хотела видеть степь и потребовала, чтобы ей позволили идти в передовой линии. К удивлению Эобаза, представшего перед царем с этой просьбой, Дарий не стал противиться. При имени Атоссы он испытывал глубокую горечь и редко посещал ее. Непроницаемое лицо, взгляд, полный затаенных мыслей — вот что осталось от прежней царицы — его вдохновительницы. Дарий рассказывал ей, как скифы день и ночь бегут перед ним, не смея оглянуться и посмотреть на стальную поросль мечей и копий, заменивших траву в степях, как он настигнет их у Гипаниса или у Борисфена, истребит воинов и поведет закованных жен и детей в рабство. Он не остановится после этого, но пойдет в загадочные земли гелонов, одноглазых аримаспов, дойдет до самых грифонов, охраняющих золото, и посетит земли счастливых гиперборесв. Потом он достигнет края земли.

Атосса слабо улыбалась. Царь оскорблялся, сердился и уходил недовольный. Всю нежность он стал изливать на Сандану — черную кобылицу с белым лучом во лбу. В ней не было ничего от простых коней. Она не храпела при самой бешеной скачке, легкое дыхание едва улавливалось ухом, а на ровном, точеном теле не выдавался ни один мускул. Самые сильные ее движения были легки, как полет чайки. Трепет ее огня заглушал в Дарие тревогу, вызванную непонятным недугом Атоссы.

Когда ему передали просьбу царицы, он не выразил ни удивления, ни гнева. Велел сделать, как она хочет.

III

Когда ее двор очутился впереди войска, перед шелестящим зеленым океаном, она сошла с носилок и весь день шла, осыпаемая душистой пылью, овеянная медом. Ложилась иногда в траву и смотрела, как качаются над ней стебли и венчики, не знающие о приближении лютой смерти под копытами полчищ Дария. Они шептали про радость бездумного бытия, про сумрак своих зарослей и еще про что-то такое, от чего Атосса замирала и бледнела. Однажды совсем близко провели пленника. Она не успела ни отвернуться, ни задернуть занавеску. Лицо, точеное, как из камня, и сводящая с ума улыбка снова потрясли ее до помрачения рассудка. Чуть живая, она прошептала:

Это Он!

IV

В войске опять заговорили о недуге царицы.

Она часто останавливала носилки и спрашивала рабынь и воинов: слышат ли они что-нибудь? Ей говорили про скрип колес, лязг оружия, конское ржание, но она повторяла: «Нет! Нет!» — и указывала в степные дали. Люди напрягали слух, но в степи стояло безмолвие. Тогда царица, гневная, удалялась. В ушах у нее стоял гул пафосского храма.

Антилид объяснял все борьбой огня и воды. Воды не встречали уже четвертый день. С тех пор, как перешли Истр, она сделалась главной заботой военачальников. Если первое время попадались болота и ручейки, то, чем дальше, тем безводнее становилась степь. Воду стали запасать и везти на далекие расстояния. Каждый всадник ехал с двумя перекинутыми через седло бараньими мехами.

Аравийские кони, возвращенные в пустыне, легко переносили жажду. Тоже и египетские. Но изнеженные сочными лугами и водопоями кони Азии, Месопотамии, хрипло дышали, колени их начинали дрожать.

Пришел день, когда последние капли воды иссякли. Кони и люди шли с пересохшими глотками. Делали глубокие заезды в стороны в поисках водопоя, но ничего не встречали. Только к полудню заметили темное пятно, как тень от облака. Посланные вернулись с вестью: вода!

Антилид настоял, чтобы Атосса первая испила свежей влаги и искупалась в ней. Он отправил ее в сопровождении египтян к тому месту, где расстилалась тень. То была лощина, поросшая ольхой, орешником, лозняком. Туда вела змеистая тропа, протоптанная дикими лошадьми. Спустившись, Атосса очутилась перед хрустальным озером, возле которого ей захотелось разбить шатер и прожить всю жизнь.

Царица не стала купаться, ее испугало мохнатое темное дно с извивающимися змеями корней и паучьими лапами. Она выпила чистой, как слеза, воды и следила за хороводом рыб. Между тем лощину окружили, как вражескую крепость. Когда Атосса со свитой покинула ее, конница стала спускаться, повалив кусты, обрубая ветки деревьев, опрокидывая сами деревья. Следом теснились верблюды и колесницы. Зелень оказалась растоптанной, вдавленной в землю. Над оголенной лощиной закружились птицы. Лошади забирались в воду по брюхо, напившись, тут же испражнялись. Берега превратились в жидкое месиво. Прибывавшие войска напирали на передних, не давая отойти от берега. Кто падал, сразу же втапывался в землю. Кони, сталкиваясь мордой к морде, кусались и кричали страшным конским криком. Когда подошли слоны, озеро оказалось окруженным непроницаемой толщей конницы. От слонов, как от большого корабля, в обе стороны пошли волны давки и замешательства.

Заметив опасность, приближенные царя с бранью накинулись на войско, стараясь отогнать от озера. Ариарамн зарубил нескольких человек. Но конники, у которых от жажды звенело в ушах и прыгали красные языки перед глазами, не слышали угроз.

Ариарамн стал собирать тех, кто успел напиться и выбраться из давки. Из них спешили создать заслон от пехоты. Едва державшаяся на ногах, она подходила густыми массами. Ее заставили расположиться на ночлег. Но с рассветом люди узнали, что от них загораживают воду. Степь содрогнулась от их крика. Испуганные сатрапы старались отвлечь царя оттого, что происходило в лощине, веселили разговорами и никого не допускали к нему извне. На вопрос Дария о причине шума Ариарамн ответил:

— Нашли озеро и запасаются водой.

Сам он знал, что пешее войско оружием проложило путь к берегу и теперь там царствует хаос.

Весь день и всю ночь над степью стоял шум, как в береговых пещерах во время прибою.

Утром лощина глянула пастью гноящейся раны. На липком дне выпитого озера, где трупы громоздились горами, стояла лужа. Обозные ослы и волы допивали смесь из грязи, крови и навозной жижи.

V

Переходя Истр, персы рассчитывали встретить несметные полчища скифов. Но шли дни, войско углублялось в степь на сотни фарсангов, а врага не было. Кругом стояло такое цветение и щебетание, что воины начали забывать о битвах и пролитой крови.

Дарий спрашивал: когда же будет настигнут враг? «Я пришел сражаться, а не гулять по степям!» Сатрапы и караносы шли с озабоченными лицами, стараясь реже попадаться ему на глаза. Кто-то посоветовал позвать Агелая. О горбатом греке вельможи успели забыть и теперь снова испытали раздражение при виде сухонькой фигуры уроды. Гнев их усилился, когда грек на поставленный вопрос ответил:

— Скифов вы увидите не скоро, но стрелы их узнаете раньше.

На другой же день стало известно, что в тылу в сумерки убито много пеших воинов неизвестным врагом. Потом пришло известие о нападении на аллародов. Они оказались наполовину истребленными, а другая половина бежала в степь и рассеялась. Враг пропал прежде, чем шедшие впереди мардии успели прийти на помощь аллародам.

Стали опасаться за обоз. Он совсем отстал от войска. Дощатые колеса тонули в рыхлом песке. Повозка, которую раньше тянула пара, теперь требовала четырех волов.

Скоту не стало хватать корма. Трава по обе стороны пути вытапывалась шедшей впереди конницей, и, чтобы накормить волов, надо было отгонять их далеко от дороги. Агелай высказал мысль, что если враг до сих пор не уничтожил обоза, то только потому, что принимал его благодаря множеству мулов и верблюдов за большое конное войско, на которое не решался нападать.

Когда царь созвал приближенных на совет, Ариарамн в пространной речи доказывал необходимость остановить движение, дабы дать время обозу подойти. Он считал

нужным поставить его под охрану пеших и конных войск и впредь идти медленнее.

Его сокрушил Фарнасп.

— Не думаешь ли, Ариарамн, что нашей заботой в этой войне будет охрана мешков с сухими финиками? Или скорость похода мы поставим в зависимость от скорости вьючного скота? Нет, трижды мудр царь, приказавший неустанно стремиться вперед, к сердцу Скифии, не дать врагу стянуть всех сил. Разве это не значит кончить войну раньше, чем возникнет необходимость питаться сушеным мясом? Да и понадобится ли оно, если у нас будет вдоволь свежего? Ведь собратья этого горбатого грека твердили о несметных скифских стадах. Не так ли, горбун?

— О, господин,— вздохнул Агелай,— если нам придется есть скифских баранов, то не раньше, чем съедем ремни на собственных щитах и сандалиях.

— Будь ты проклят, костлявый ворон! — зарычал Ариарамн.— Осмелся еще раз высказать свое змеиное пророчество, и я сделаю так, что горб твой поднимется выше тмени!

Агелая прогнали, но слова его породили пламя тревоги. Как ни противен был вид горбатого грека, Дарий после долгих раздумий велел тайно позвать его. Когда Агелай от него вышел, царь приказал остановить головные отряды, подтянуть войска и обоз. Он приказал не двигаться больше колонной, но образовать широкий фронт.

— Ого! — воскликнул Фарнасп.— Эта ионийская жаба прыгнула нам прямо на шею! Берегись, Ариарамн, покрыться бородавками и, подобно паршивому борову, быть прогнанным с глаз царя.

VI

Чем дальше они проникали в глубь Скифии, тем тревожнее впивались глазами в загадочный окоем.

Страх поддерживался отсутствием врага. Никто не запомнил такого похода, когда бы двадцать дней шли по вражеской земле, не встречая ни одного воина, ни одного поселения. Теперь персы шли широкой лавой, так, что с одного ее конца не видно было другого. Они сокрушали и вытапывали степь на пространстве многих фарсангов, оставляя за собой черную равнину, на которую страшно было оглянуться.

— Куда мы идем? — спрашивали люди.

Полководцы делали вид, будто не слышат ропота. Одна Атосса верила, что войско идет назначенным путем, что все происходящее полно глубокого смысла.

Она не спрашивала про пленника, но свита по заведенному порядку рассказывала о нем каждый день. Он изменился. От прежней неукротимости остались порывистые движения да звуки, похожие на птичий крик. Пищи больше не отвергал, не набрасывался на окружающих и даже ложился по ночам на войлочное ложе возле шатра. Атосса давно поняла, что самым сильным ее желанием было видеть его. Несколько раз хотела это сделать, но кровь в ушах начинала шуметь с таким подобием пафосской бездны, что она каждый раз отступала.

Однажды она сошла с носилок.

Скиф стоял среди высоких цветов и все время, пока она рассматривала его, оставался застывшим, как изванияе.

— Кто ты?

Он улыбался каменной, неподвижной улыбкой.

— Адонис!.. — прошептала она.

ВРАГ

I

В тот день, когда Дарий перешел Истр, по всей Скифии завывали собаки.

Скопасис послал к Иданфирсу гонца со словами:

— Дарий в степях!

То же сказал агафирсам, таврам, сарматам и народам севера. Иданфирс заверял в дружбе, но сам не шел и войск не присылал. Из окрестных народов только сарматы, будины и гелоны выразили желание помочь. Остальные ответили:

— Нам кажется, что персы идут не против нас.

Скопасис захотел узнать будущее.

Из пещер Таврии, из лесов Гилеи пришли чародеи в масках, в расписанных одеждах, увешенные оловянными и бронзовыми подвесками. Скифы целыми днями простаивали возле наглухо закрытых палаток, где волхвовали колдуны, но прорицания их были туманны. Один Сибе́ра не вникал в них и молчал, когда его спрашивали. Он

перекликался в степи со зверями, рассматривал следы, наблюдал полет птиц.

Однажды он сказал, что персы перешли Тирас — другую большую реку Скифии. Ему не поверили, но через день пришла весть об этом. Дарий перешел ее по бревенчатым плотам, приготовленным жителями Тираса и Николиума, двух небольших колоний, стоявших близ устья реки. Гистиэй отправил к ним послание с угрозой разорить и сжечь, если не возведут моста для царского войска.

Скопасис узнал, что и Гипанис не будет препятствием для персов. Гистиэй запугал ольвийцев так же, как запугал тирасян, и теперь они все свои корабли и лодки отправили вверх по Гипанису, чтобы содействовать переправе персидских полчищ.

Дарий на Гипанисе!

Когда это разнеслось, колдуны стали сеять ушние среди скифов, предрекая несчастья. Напрасно Никодем ободрял людей, уверяя, будто дариево войско составлено из народов, ненавидящих персидского владыку и недовольных походом в степь, будто оно само ждет смелого натиска, чтобы обратиться в бегство. Напрасно высказывал подозрение, будто колдуны изрекают предсказания по тайному сговору с агафирсами, неврами и таврами. Народ остался угрюмым.

Тогда пришел Сибера и что-то сказал царю. Оба сели на коней, скакали весь день и только к вечеру прибыли на место, поросшее белой, стелившейся по земле повиликой.

— Знаешь ли, где ты? — спросил Сибера. — Это место твоего рождения. Здесь ты впервые ударился головой о землю и заплакал.

Они сошли с коней, расстелили войлоки, и, когда Скопасис лег, Сибера засыпал его охапками маков и белоголовника.

Небо потухло. Закурились туманы, где-то раздавались мычание тура, всплески, хлопанье крыльев, далекие свисты. Скопасису показалось, что он впервые слышит эти шумы и вдыхает запах полей. Ему стало тепло, как в колыбели.

— Слышишь ли что-нибудь? — спросил Сибера.

Скопасис различал глухие удары, будто конь бил копытом, бормотал ручей, потом тяжелые вздохи. Закрыв ухо рукой, он другим приник к земле, и, когда Сибера

вновь спросил, царь ничего не слышал: он спал, замороженный ароматом трав и криками коростелей.

В полночь Сибера разбудил его. В недостижимой дали готовилась гроза и раздавался стук повозок.

— Теперь ты узнаешь свою судьбу.

Сибера залился страшным волчьим воем, от которого степь притихла. Слышно было, как бились сердца у обоих. Тогда на краю земли завыл волк, потом другой и совсем близко дружный вой большой стаи.

— Плачь, царь! Поклонись скифской земле! Она дарует тебе победу, великую, небывалую...

II

Скопасис велел схватить предсказателей и привязать к повозкам. Приказал всем воинам отделиться от семейств, жить без палаток, спать на голой земле, положив седло под голову. Воины вышли в степь, а женщины и девушки седлали их коней, вплетали в короткие гривы оловянные и бронзовые подвески, причитали, прося коней хранить своих всадников.

В тот же день пришла весть, что враг надвигается.

Чтобы видеть приближение персов, Никодем выехал в степь. Навстречу неслись табуны коней, стада коз и кабанов. Он видел, как вдали возникла золотая полоска, как она потемнела, разрослась в тучу и стлалась по земле чернее морской волны. Дарий надвигался грозовой тучей, наполняя степь шумом прибоя.

«Долго ли суждено тебе давить меня видом своего могущества, подлый властитель?» — бессильно думал Никодем.

Вернувшись в стан, он сказал Скопасису:

— Завтра, царь, твое имя станет выше имен всех царей мира. Забудут Саргона и Кира, во имя Скопасиса, освободителя вселенной, не умрет в сердцах поколений. Я счастлив, что буду сражаться в рядах твоих войск за Скифию и за Элладу.

III

Войско Дария тоже почувствовало близость скифов. Встречались следы недавних стоянок, огнища, мелкие предметы, передаваемые из рук в руки и жадно рассматриваемые. Иной раз верхушки трав оказывались соб-

ранными в пучки и завязанными узлами. Агелай усмотрел в них скифские письма с обозначением направления и скорости движения персов. Враг недалеко. Об этом возвестил прямой столб дыма, поднявшийся вдали.

— Радуйтесь! — кричали войску предводители. — Быть может, сегодня настигнем и поразим врага!

Но тьма спустилась раньше.

В этот вечер заметили движущиеся огни. Вспыхнув искрами, они быстро разрослись до больших клубов пламени. Кто-то гнал их на персидское полчище.

Воины взбирались на повозки, на кучи клади, на плечи друг другу, чтобы лучше видеть. Стали вырисовываться очертания быков, мчавшихся во весь опор, запряженных попарно в повозки, полные огня.

Сумерки дрогнули от возгласов: в пламени были видны мотавшиеся человеческие фигуры.

У двух повозок перегорели дышла, и они остались факелами пылать в степи. Несколько быков грохнулись, не добежав до лагеря, остальные молниями врезались в толщу войск. Повозки пылали как жертвенники, и на каждой стоял столб с привязанным человеком. Иные успели обуглиться, другие еще глядели на персов расширенными белыми глазами.

— Кто вы?

Они запрокидывали лица, глотали воздух и, свесив головы, умирали. На некоторых сохранились остатки расписанных одежд и масок.

IV

Утром возле царского шатра звонко запела гесорера, подхваченная разноголосым хором труб. Войска знали, что сегодня битва, и выступали с молчаливой поспешностью. Но всех смущала неподвижность врага.

— Он хочет, чтобы мы двинулись на него и утомились, а потом напасть на нас, усталых, — говорили воины.

И вдруг поняли, что это не войско. Одним оно показалось полем, усеянным трупами, другим — зарослями тальника и полевой верболозы. Когда подошли ближе, открылась равнина, взрытая колесами телег, копытами коней и волов. Неприятель ушел. Но никто не сравнивал царя с рыкающим львом, при приближении которого враги бегут, как робкие серны.

Дарий пообещал содрать с предводителей кожу, если не настигнут неприятеля.

Фариасп с отборной конницей устремился в погоню. Вначале он держался прямого пути, вдоль взрытой телегами полосы, но заметил на другом краю степи движение и едва уловимый гомон. Всмотревшись, убедился, что это движется орда. Но когда утомленные кони достигли желанной меты, они остановились перед серебристым морем ковыля.

— Господин,— сказали Фариаспу,— ты ошибся: скифы дальше, чем ты думал, но они не так далеко. Вслушайся в этот шум!

Явственно раздавались голоса большого скопища, лай собак, мычание волов.

— Вперед!

И снова бешеная езда сбила Фариаспа с толку, он потерял направление и не знал, как далеко отъехал от царского войска. Все время поблизости слышал шумы скифского полчища.

К вечеру кони тяжело храпели и роняли шапки пены с удил. В подступившей сумеречной тишине персы почувствовали, что скифы близко, но находятся с той стороны, где догорали желтые облака.

Ночь еще не спускалась, но уже дальше, чем на три полета стрелы, нельзя было видеть. Синеватая дымка соединила небо с землей. Скифы кричали, как стадо галок. Различались отдельные голоса и детский плач. Конь мчался из последних сил. Но когда показалось, что цель близка, видение рассеялось. Едва различимый шум слышался на краю степи. Перед персами стояла высокая черная трава. Когда ветерок качнул ее мертвое море, она зашумела подземным шумом.

— Спаси нас Всевышний от Аримана! — закричал в ужасе Фариасп.

Всю ночь люди Фариаспа спали бредовым сном, а наутро он призвал их умереть или настигнуть врага.

Степь по-прежнему колдовала и насылала обманы. Слышен был топот вражеского войска.

Фариасп нечеловеческим голосом подбодрял наездников. Взглянув на их иступленные лица и морды коней, летевших во весь опор, он порадовался силе удара, который собирался обрушить на врага.

Обозначилось что-то похожее на тучу саранчи, и персы возгласами приветствовали появление врага.

Прямо на него скакал черный жеребец. Длинное копье угрожающе торчало из-за его правого глаза. В это время взор сатрапа скользнул по необозримой линии

встречного войска. Он закричал от ужаса и хотел остановить столкновение, но две волны схлестнулись с ревом и грохотом.

Перед ним стоял воин, силившийся что-то сказать, но не мог удержать прыгавшую челюсть. Лошади волочили по полю убитых, застрявших ногой в стремя. Он посмотрел на убегающий извивами вал из трупов людей и коней, и чувство страшной вины сдавило грудь. С предсмертной торжественностью обернулся к людям.

— Скажите царю царей, что Фариасп напал на его войско, и Фариасп наказан.— Потом он уткнулся лицом в землю, а из спины вышло острое меча.

V

Счастливее был Аброкомаз.

Когда горбатого грека, трясшегося на быстроходной колеснице, доставили к его войску, он увидел перед широким полукругом персидских конников скифскую орду. Аброкомаз являл образ нечеловеческой гордыни. Надменно поднятое лицо, опущенные веки, ни на кого не глядящие глаза, даже на скифов, что держали перед ним на концах копий свои острые шапочки — в знак мира.

Агелаю приказали узнать, что им надо.

Скифы говорили много, с великим криком. Поднимали рук к небу, били себя в грудь, а некоторые раздирали одежды и обнажали грудь. Когда они успокоились, Агелай обратился к Аброкомасу:

— Радуйся, вождь! Силы царя царей умножились присоединением нового войска. Царь Скунка со своим народом хочет видеть в нем своего повелителя. Он клянется, что не пройдет пяти дней, как Скопасис, живой или мертвый, будет доставлен к царю царей.

— Ты, грек, позволяешь себе больше, чем от тебя требуют. Твое дело передать слова этих презренных, а радоваться их приходу — не твое дело. У царя царей и своего войска достаточно. Скажи этому конскому помету, что я до тех пор не поверю их словам, пока сам их ничтожный царек не явится ко мне.

Посланные уехали, и вскоре от скифской орды к Аброкомасу направились большая свита. В бобровой мантии, с золотым куполом на голове и с золотой чашей у пояса ехал Скунка.

— Ты должен пасть к ногам царя и объявить себя его подданным, а твои люди пусть докажут миролюбие — едят и пьют с нашими, — заявил Аброкомаз.

Скунка на все отвечал согласием.

Он радовался при виде множества персов, двинувшихся с ним к царскому стану, усматривая в этом почет, оказанный ему сатрапом. Но не доходя до царской ставки, его и его приближенных стащили с коней и связали, а тех, что пытались сопротивляться, закололи копьями.

У Дария от накопившейся злобы задрожали пальцы, когда гонец принес счастливую весть. Он хотел насладиться первым торжеством над неуловимым противником.

Трон его поставили на высокий помост, покрытый материей, и, когда царь сел, толпа эфиопов подняла помост на плечи. Связанного Скунку бросили на землю. Он пытался говорить, но Аброкомаз ударил его ногой.

— Как смеешь ты, поганый репейник, говорить перед царем, прежде чем тебе это позволят?

Дарий долго рассматривал жертву, а потом подал знак, чтобы принесли раскаленное железо, и, как только Скунка под натиском эфиопов перестал метаться, погрузили ему железо в глаза.

У Дария просветлело лицо от звериного вопля и от дымящихся впадин глаз. А потом на боевой колеснице он двинулся к месту скифского пленения.

Скифы уже лежали связанные, а женщины, старики, дети были разбиты на кучи и плотно обтянуты веревками.

Дарий велел разогнать свою колесницу и промчатся по лежащим. Но когда конские копыта готовы были опуститься на тела кочевников, царь, наклонившись к вознице, сильным движением натянул вожжи. Он медленно проехал вдоль линии поверженных врагов и остался доволен их численностью.

— Они должны возвестить обо мне степному народу. Пусть степь содрогнется и падет к моим ногам! Пусть узнают мою мощь и боятся моего гнева!

Зажгли костры и стали калить железо.

До вечера выжигали глаза, а утром потянулась длинная вереница. Впереди — закованный в железо Скунка, уставившийся в родные просторы провалами глаз. За ним, держась друг за друга, его воины. На каждую сотню Дарий оставил по одному одноглазому,

VI

Звон цепей ослепленного царя разнесся по всей Скифии. Раньше всех его слышали земледельческие скифы. Дойдя до первого их холма с белевшими на вершине

стенами из грубо сложенных камней, он остановился и запел как нищий, просящий милостыню. С плачем и надрывным криком он рассказал, как из ненависти к Скопасису перешел на сторону врагов и встретил там само зло.

— Бегите к Скопасису! Бегите к Иданфирсу! Бегите на край света!

Земледельцы ненавидели Скопасиса, взимавшего непомерную дань и совершавшего частые наезды на их поля. Когда стало известно о нашествии персов, они этому обрадовались и на призыв его вместе встретить врага отвечали уклончиво и тянули переговоры.

Теперь пахари почувствовали себя так, будто проиграли свою жизнь в кости. Их водяные глаза широко раскрылись, когда всю степь со стороны заката облегла туча дариева воинства.

VII

Скопасис отоходил со всеми подвластными племенами, с табунами и стадами. Он старался раскинуть свои орды так, чтобы вытоптать траву на возможно большем пространстве. Он вел врага в земли скифон-пахарей и сам все сметал на пути: засыпал водные источники, уничтожал посевы, угонял скот, забирал людей.

Пахари высылали ему навстречу хлеб и мед, упрашивая не разорять нив.

— Вы хотите сберечь это для перса?! — отвечал Скопасис. — Вы забыли, что я еще ваш царь?!

Там, где он проходил, чернела широкая полоса, лишенная всего живого.

С потухшим взором, с осунувшимся лицом ехал Никодем среди галдящей толпы. Он чувствовал себя, как в тот день, когда стоял среди поля, привязанный к столбу.

Пробравшись сквозь хаос телег и всадников к тому месту, где ехал царь, он поражен был его изменившимся лицом — злым, настороженным, с недоверчивым взглядом.

— Ужели, царь, мы идем не на битву, а бежим от врага?

— Кто смеет так говорить?! — заревел Скопасис. Он выхватил меч и поднес к самому лицу Никодема. — Видишь это железо? Так знай, что я не отступаю, а кочую по своей земле! Я презираю твоего царя царей!..

Он перестал пускать к себе Никодема, и тот двигался в зловонной толпе свидетелем бегства и бессмысленного разорения скифской земли.

Неужели скифы не те, за кого он их принимал? Быть может, этот народ храбр только в грабеже и разбоях?

Скопасис постоянно держал при себе ближайших друзей, превратившихся в его телохранителей. Были случаи, когда простые воины, подъехав, по старому обычаю, слишком близко к нему, падали от руки Кэны и Нихарса. Он завел небывалый в Скифии порядок пробы пищи: не съедал ни одного куска, от которого перед тем не отведывал один из приближенных. Никогда не снимал кольчуги.

А потом все войско потрясено было гибелью трех предводителей. Их ночью позвали к царю и там убили. Народу объявили, что они замыслили заговор на жизнь царя. Произвели избиение среди их родичей и друзей.

Особенное удовольствие доставляли Скопасису вести о том, что бежавшие к Дарию встречали там смерть и оковы. Истинным торжеством было для него ослепление Скунки. Он хохотал, хлопал себя по бедрам и приседал.

Один только раз Никодем, подъехавший к нему совсем близко, увидел Скопасиса усталого, опустившего голову на грудь.

— Я делаю так, как надо, иноземец. Не смотри на меня вопрошающе и не приставай со своими советами.

На другой день опять убили нескольких человек, подозреваемых в измене. Оказалось, что эти люди хотели перейти к Иданфирсу. Имя Иданфирса стало произноситься с опаской. Знали, что он стоит на Черных Водах и принимает всех, кто хочет с ним вместе защищать скифскую землю. Про Скопасиса говорили, что ему не будет счастья в этой войне, потому что он не совершил моления над священным золотом. Через несколько дней много воинов тайно покинули его.

ВЕЛИКАЯ НОЧЬ

I

К царице спешно позвали Агелая. Скиф, дотоле молчаливый, стоял, обернувшись на восток, и что-то громко говорил. Греку приказали доносить о каждом его слове.

Агелай узнал, что варвар бредит наступлением Великой Ночи.

Это ночь истинной жизни, давнишних желаний сердца, когда земля распалается и выпускает скрытые в ней силы. Травы переполняются соками и достигают предела цветения. Скифы чтут в эту ночь Великую Матерь, дарующую бесплодным женам благодать зачатия, склоняющую жеребца к кобыле и отверзающую черствые сердца.

Атосса долго не могла усмирить поднявшейся душевной бури. Узнала от Агелая, что скифская Великая Матерь — та же эллинская Афродита — пришла к скифам с Босфора Киммерийского, где ее poznали благодаря теосцам. Полное ее имя — Афродита Урания, владычица Анатура. Но говорят, что она лжива, о чем свидетельствует самое имя ее — Апатура.

Между тем персы подошли к Борисфену. Он издали обозначился кущами тополей, шедших по равнине, как великаны.

Дарий захотел явиться над священной скифской рекой в царском венце. Его опять, сидящего на троне, несла толпа эфиопов.

Борисфен протекал под высоким обрывом, в кружеве склонившихся ветвей. В широкой глади, под которой угадывалась глубина и стремительность, Дарий почувствовал больше мощи, чем в шумных горных потоках. А за рекой, на сколько хватает глаз — необъятная ширь без единого бугра и возвышения, более ровная, чем та, что осталась позади. Дарий до того загляделся на просторы, что забыл объявить Борисфен своим пленником и заключить в оковы, как хотел перед тем.

Войско шло сюда с тайной надеждой на окончание похода. Вместо этого — новые степи и новый путь без конца.

Одна Атосса была как в тумане, верила, что путь сюда назначен ей самой богиней.

II

Подлинное царство степей, по словам Агелая, открывалось только за Борисфеном. Земли здесь обширнее, богаче травами и зверями. Стебли достигали толщины пальца и скрывали всадника с конем, а обилие цветов наводило на мысль о колдовстве. Те, что благоухали днем, закрывали к вечеру свои кадила, но на смену им открывали чашечки другие цветы, распространяя еще

более тонкий аромат, проникавший в самое сердце. В грудях, остывших и зачерствевших, пробуждались воспоминания о лучших днях. По вечерам стали бряцать египетские тебуны и сисстры, греческие тригононы, пели авлосы, индийские алгоа. Под стонущие звуки неит-амбуна люди хором выплакивали песни Ефрата и далекого Элама. В такие часы останавливалось всякое движение и даже животные переставали жевать.

И стало казаться персам, что кто-то подслушивает их в густой траве. Видели растрепанные желтоволосые головы с глазами цвета озерной воды, восхищенно глядевшими на персов.

— Нас завели в замороженное царство,— говорили воины.

Звери и птицы теперь не бежали от Дария. Волки подходили к верблюдам, когда те паслись во время отдыха. Привлекал соблазн — перекусить длинную верблюжью шею. Но шеи были заносчиво подняты. Тогда скифский зверь ложился на землю и игриво катался по траве, пока не вызывал жгучего любопытства у горбатого животного. Дойдя до крайней степени удивления, верблюд протягивал змеиную голову к катающемуся клубку и погибал. Ночью приходили дикие кони и уводили лошадей Дария.

III

Как-то рано утром царь вышел из шатра и прошел к поляне, где паслась его чудесная кобылица. Ему хотелось услышать тихое ржание в ответ на свой зов и погладить влажную, пропахшую пылью гриву.

Кобылица не щипала травы и не поднимала ему навстречу стройную, как стрела, шею — она игриво бегала по лугу, извиваясь змеей.

Дарий вздрогнул от гнева. Следом за ней бегал серый степной жеребец, покусывая ее за бока. Колючие травы впились в его хвост, но ярость, с которой он вертелся перед ней — то описывая круги, то поднимаясь на дыбы,— видимо, нравились ей. Царь ждал, когда она разможжит его своими копытами, но она лишь слегка закидывала их, чтобы сделать движение соблазнительным крупом. У Дария потемнело в глазах. Он видел, как жеребец терся об нее своим крепким телом, как она дрожала от прикосновений и взвизгивала. Она отбегала на несколько шагов и ждала его приближения.

И вот свершилось... Она стала добычей степняка на глазах у своего повелителя.

— Копье! Копье!

Выхватив дротик у подбежавшего воина, царь бросил его изо всей силы. Кобылица только теперь повернула голову на его крик. В это время в шею ей вознилось железо. Она взвилась на дыбы и грохнулась.

— Поймать! — крикнул царь, указывая на жеребца.

Парфяне и пафлагонцы со всех сторон бежали к нему. Полный недавнего счастья, степняк стоял, расставив ноги, и, казалось, не пошмал происходящего. Большие глаза спокойно посматривали на бегущих людей. Но, подпустив их близко, он рванулся с такой быстротой, что никто не успел бросить ни копья, ни аркана. Царь приставил нож к горлу предводителя пафлагонской сотни и прохрипел ему в побледневшее лицо, что тот не увидит восхода солнца, если не доставит дерзкого коня.

С отчаянием гибнущих пафлагонцы устремились в поле, но степной конь мчался как ветер и пропал из виду. Через некоторое время к ногам Дария бросили голову начальника пафлагонской сотни.

IV

Приближалась Великая Ночь. Сама степь возвещала ее близость. От заката до наступления темноты не шевелилась ни одна былинка. Но как только пропали последние отсветы зари, мир погрузился во тьму, какой не бывало от начала вселенной.

Щеки у Атоссы горели, тело дрожало как в ознобе. Как только все заснули, она бесшумно вышла из шатра.

Ночь пугала криками филина, ржанием коня, говором толпы на краю степи; слышались удары молота по железу и совсем близко вкрадчивый шепот. Атосса, как в рощу, зашла в заросли травы, походившие на освещенный изнутри лес. Мириады светлячков озаряли его зелеными фонариками. Поблизости проволокли кого-то так, что слышен был хруст бурьяна. И следом — крадущаяся поступь, осторожное раздвигание травы.

Она всей душой ждала события, которое могло произойти только под покровом тьмы.

Вспыхнул звездой огонек. Приняв его за видение, царица несколько раз закрывала глаза. Но свет продолжал мерцать. Тогда она пошла на него, готовая к провалу в пропасть или к обретению блаженства.

Через какое-то время, измеряемое не земной мерой, она не столько увидела, сколько ощутила перед собой толщу кургана. Пламя горело на самой вершине. Поднявшись, увидела каменную чашу с воском, освещавшую черное изваяние — отвислый живот, мешки грудей и расплывшееся лицо без подбородка. Царица зашла с другой стороны — силуэт обозначился черной конусообразной массой.

— Богиня!

Голос ее вызвал возгласы, шум, стоны, торопливые шаги. Ее грубо схватили за плечи, и она лишилась чувств.

V

Только потеря знамени, сдача крепости, потухание священного огня могли сравниться с таким бедствием, как исчезновение царицы.

«Обречены! Все, все обречены!» — шептались люди между собой.

Обыскали окрестность, но нашли только труп эфиопа со вспоротым животом у подножия кургана, с вершины которого таращилось лицо темного идола. Тогда Эобаз воткнул в землю меч и ринулся на него. Но ударом ноги его успели отбросить в сторону. Связанного привели перед лицо Дария.

— Ты ее потерял, ты ее и найдешь, — сказал он Эобазу.

Ему дали две тысячи всадников. Другой отряд составили памфилийцы и ликийцы с Сарпедоном во главе. Третий, персидский, поручили Гобриасу. Им велели разъехаться в разные стороны и обыскать всю степь.

— Вернуться можете только с царицей!

Никто не вернулся.

ПУТЕМ АФРОДИТЫ

I

Царица чувствовала, что лежит на спине и стянута суровыми ремнями, но долго не могла понять, что за светлая, ровная как эмаль, синева стоит перед глазами. Только когда над ней затрепетали крылья бабочки, про-

плыл степной орел и качнулись маки, стало ясно, что это небо.

«Чьей дерзкой волей повергнута я в столь унижительное положение?»

Уже готова была грозно позвать слуг и рабов, но могучая рука отстранила цветы, среди которых она лежала, и над нею склонилось лицо с неподвижной улыбкой и с прядями желтых волос.

Стало ясно, что над всеми путями ее жизни простерта длань Афродиты. Скиф грубо схватил ее и поднял. Царица почувствовала себя лежащей поперек седла и погрузилась в беспамятство.

Когда очнулась, опять лежала на земле связанная, а в нескольких шагах увидела бесновавшегося коня, старавшегося вырваться из рук Адониса. Рука, вцепившаяся в узду, искусно поворачивала конскую морду то вправо, то влево. Иногда он, ломая челюсть железными удилами, пригибал ее к самой груди коня. Резкие хрипы вырывались из ослабленной пасти. Конь изнемогал. В последнем отчаянии рванулся на врага, но тот, вовремя отступив, так перегнул ему голову, что аравиец грохнулся. Вскочив, хотел повторить движение, но снова упал. Он иступленно забил ногами, захрапел и затих.

Чуть живая, Атосса следила за каждым движением Адониса. Когда он застыл изваянием среди помятой травы, она поняла, что это не скиф, не смертный, а Он — божественный спутник Афродиты, ниспосланный ей пафосской богиней.

Он снял с нее врезавшиеся в тело ремни, но скрутил руки и на конском поводу повел по степи как рабыню.

Ей давно казалось, что счастья нельзя испытать, не перейдя в другой мир, не похожий на тот, в котором жила. Где-то остался персидский стан, царский шатер, золото, власть и поклонение. Она — невольница дикого номада, должна спать на сырой земле, питаться странными кореньями и ягодами, положенными перед ней его рукой.

Скиф на ночь связал ей руки и ноги, конец ремня привязал себе к локтю. Это наполнило ее блаженством. По грубому ремню из конской кожи от него исходил волнующий ток, благодатная сила.

Во сне она оживала, как земля после зимнего оцепенения. Оттаивали замерзшие пласты, пробуждались потаенные источники, тело набухало, преисполняясь свежестью и цветением.

Царица содрогнулась: скиф спал, а она, прижавшись, крепко обнимала его освободившейся от пут рукой. Пламя стыда опалило ей щеки, и она весь остаток ночи промучилась уязвленной гордостью дочери Кира и царицы Персии.

Но только утро пробудило улыбку Адониса, она забыла обо всем и приготовилась следовать за ним на край света.

II

В безбрежном море травы можно ли не сбиться с пути?

Но скиф шел уверенно. Он часто останавливался, рассматривал следы, поднимал на ветер пушинки, следя за их колебаниями, нюхал воздух, как волк. Нередко оставлял царицу одну, а сам уходил на поиски троп.

В такие минуты она погружалась в созерцание цветущей, сверкающей степи и чувствовала, что степь уже не та, в ней что-то переменялось, как в девушке после брачной ночи. От цветов веяло пресыщенностью, избытком жизни. Они ничего больше не желали — клонились к покою, к смерти, и смерть не была страшна.

К вечеру смотрела, с какой страшной скоростью уходило солнце. Скиф взволнованно заговорил, указывая в темнеющую даль, и пошел так быстро, что царица едва поспевала за ним. Мелькнула желтая звезда. Сердце у Атоссы сильно забило, когда увидела, что это пламя большого костра. Скиф почти бежал, не сводя с него завороченного взгляда. Долетело потряскивание хвороста. Огонь горел на вершине крутого кургана, у подножия которого обозначились всадники. Они окружили курган кольцом, точно защищая от нападения. Заря играла на копьях и на больших красных щитах, выставленных как перед боем.

В воздухе стоял скрип воронья. Черные птицы сидели на конские гривы, на плечи воинов, на косматые головы, глядевшие впадинами. Глаза были выклеваны.

Царица схватила за руку скифа, но под его кожаной одеждой почувствовала не тело, а мрамор. Адонис окаменел и двигался как статуя. Он медленно обходил неподвижную стражу кургана. Кони не стояли, а висели в воздухе, едва касаясь ногами земли. Они были насажены на толстые копья, врытые в землю. Копье прокалывало насквозь коня и всадника, пригвождая навек к темной

насыпи. Множество кольев со струйками запекшейся крови подпирало их со всех сторон. Глянула свесившаяся голова с жалобно ослабленным ртом.

Атосса не знала, от чего больше цепенеет — от страшного ли молчания мертвого воинства или мраморной неподвижности Адониса.

III

Скифский стан притих от ошеломляющей вести. Царица Персии, жена Дария приведена как пленница и поставлена перед Скопасисом. Возле нее сгрудилась ширококоротая многоглазая орда. Ей стало трудно дышать, голова закружилась, и это помогло пережить страшную минуту, когда варвар с осунувшимся лицом и блуждающим взором рассматривал ее как товар на невольничьем рынке. Не будь ее руки связаны, она убила бы себя в этот миг.

Но, глядя в упор, он не замечал ее. Так и ушел, не сказав ни слова. Продадут ли ее теперь или сделается она наложницей кочевника? — ей было все равно. Она думала о другом — о чарах Великой Ночи, которые оказались обманом.

IV

Началась жара. Цветы чернели и опускали головки. Пьянящие ароматы сменились запахом сохнувших стеблей. Шло умирание трав, такое же беспечное, мудрое, как пора цветения. Время созревания плодов, знойный полдень жизни вставали над степью.

Какое счастье умирать, свершив положенное, и горько увядать бесплодной, не исполнившей долга на земле, не вкусившей радости!

Атосса ощущала это как вину.

Путь, которым ее вели, не был путем блаженства. Все завершилось грязной повозкой, к которой она прикована, и мерным шагом скифских волов.

Уныло качается фигура старика, шагающего за повозкой мерно, как и волы. Глядя на его опущенные плечи и голову, Атосса начинает понимать, что он шагает тысячи лет и что удел его народа — идти за своей громоздкой телегой в неизвестное.

В минуту раздумья предстал Адонис. Он был с мечом, со щитом, сплетенным из ивовых прутьев, а волосы

покрывала скифская шапочка, похожая на фригийский колпак.

Приблизившись, он натянул цепь, которой она была прикована к телеге и, убедившись в прочности, ушел.

Неужели царь не принял ее в дар и она по-прежнему пленница Адониса?

Однажды вместе со скифом пришел человек в медных латах. По чистоте одеяния, по открытому лицу она узнала элина. Он преклонил колени и приветствовал ее как царицу.

— Я знаю, что ты избрала скифский стан по влечению сердца. Таков и я. Ужасна степь, но я еще не утратил веры в нее. Не теряй и ты!

Никодем говорил неправду. Он давно решил, что борьба проиграна, что скифская мощь, в которую так верил, оказалась призраком. Войско за время отступления превратилось в толпу бродяг и растаяло наполовину. Мысль о сокрушении персов с толпой этого сброда была смешна. Скифы могли спастись бегством, но победа, ради которой он всем пожертвовал, но мечты об избавлении Эллады!.. Он понял, что жизнь прожита неудачно. И снова жалел сокровищ и проклинал Скопасиса.

Злоба против него достигла у Никодема силы ненависти к Дарию. Варвар боялся не столько преследовавших его персов, сколько своих людей. Ни одной ночи не спал спокойно и, хотя вокруг него плотным кольцом лежали те, чья клятва последовать за ним в могилу заставляла оберегать его жизнь как свою собственную, пробуждался при каждом шорохе. Убивал всякого, кто осмеливался спрашивать о причине бегства. Всегда обдумывал, кого бы тайно убить либо предать казни перед лицом войска. Подозрению стали подвергаться прославленные воины. Никодем знал, что этот страх — возмездие за собственную тиранию, и не осуждал людей, убежавших каждый день поодиночке и целыми толпами. Пойманных закапывали в землю по самую шею и потом отрубали им головы. С других сдирали кожу.

Казнями и разорением своей земли Скопасис хотел устрашить врага. Последним его злодейством было уничтожение Гелона. Никодем часто слышал это имя. Узнал, что такое Гелон, ранним утром, когда вдали засиял город, похожий на пышный царский венец. Он не белел, как эллинские города, не сверкал подобно городам египетским и вавилонским, он светился мягким внутренним светом. Был выстроен из дерева. Скифские цари следи-

ли, чтобы каменных построек не воздвигалось. Цари жили круглый год в кибитках, зато часто наезжали за данью. Брали медом, воском, зерном, льняными тканями и бобровыми шкурами. Гелон стоял на границе леса и степи. Золотые поля пшеницы окружали город, а ближе к стенам, как дым, синели сады. В Никодеме проснулся торговец и ценитель скифского зерна. Он с грустью смотрел, как орда, навалившись на колосившееся море, побеждала его пядь за пядью. Но он забыл об этом при виде множества жителей, высыпавших на стены, на остроконечные, изогнутые крыши и башни. Его озарила мысль, что Скопасис шел сюда, чтобы дать битву Дарию под стенами скифской столицы. С волнением, которого давно в себе не замечал, Никодем стал рассматривать невиданные бревенчатые своды, брусчатые ступени, резные столбы, острые, как стрелы, покрытия башен. Только теперь открыл тайну зодчества. Оно родилось из дерева. Камень пришел позднее и во всем подражал дереву. Обращение к нему было отступлением от воли богов, давших дерево как единственный подлинно строительный материал.

Скопасис объявил жителям, что если они не выйдут и не присоединятся к нему, то будут сожжены вместе с городом. Весь день стоял плач. Из ворот тянулись повозки, выходили люди, гнали скот, а к вечеру Гелон вспыхнул со всех сторон, осветив степь невиданным заревом.

С ним сгорела последняя надежда Никодема.

V

Ты должен бежать! Завтра тебя казнят!

Никодем давно чувствовал на себе взгляд Скопасиса, такой острый, что вздрагивал и оборачивался.

Бежать! Только сейчас открылся ужас этого слова. К персам бежать? В Ольвию? В Милет? Он усмехнулся своей обреченности. Но еще больше угнетала мысль о бегстве. Блуждая со скифами по степи, он сохранял видимость участия в деле, и, хоть знал, что оно не удалось, присутствие в войске спасало от последнего отчаяния, от сознания совершенных ошибок. Бегство будет величайшей насмешкой и поражением. Зачем оттягивать конец, рискуя умереть недостойно? Но ему сказали, что Скифия давно отвергла Скопасиса, что где-то собираются силы

всей земли. В отдаленных кочевьях, в глухих оврагах, что скрыли жен и детей, в уцелевших селениях пахарей произносится имя Иданфирса и поются песни про Черные Воды. Туда стекается все, что спаслось от Дария и от Скопасиса. Там червонеют сарматские щиты и копья, сверкают решетчатые шлемы, белеют длинноволосые головы будинов и льняные одежды агафирсов; там черными привидениями движутся долгополые меланхлены. С берега Мсотиды пришли керкеты, аорсы, гениохи, торсты, псесии, дандарии; пришли макрокефалы, вооруженные каменными топорами. Даже тавры, долго отсиживавшиеся за Истром, пришли после того, как Иданфирс послал им свою конскую плеть. Все, кто в начале войны старался остаться в стороне, кто отказал в помощи Скопасису или бежал в лесные дебри севера, пришли теперь к Иданфирсу. Они пили перед ним воду из Вечного Родника и вступали в его войско. Ночью с толпой всадников Никодем покинул стан Скопасиса и скакал сам не зная куда. Было печальное утешение в том, что он бежит не один, а с целым войском.

Гнали всю ночь без роздыха, а на заре остановились, чтобы прислушаться. Погони не было. Скопасис не мог уже бороться с повальным бегством. Но впереди угадывалась опасность. Скифские лошади наострили туда свои уши. В наступившей тишине Никодем уловил звук, похожий на пробуждение пчелиного улья весной.

Стараясь понять, что это такое, он заметил возле себя уродливый силуэт. С трудом различил в предрассветном сумраке две головы и две разные одежды. Один, сидевший в седле, держал другого на руках, как младенца, и этот другой вытянул бледное лицо в ту сторону, откуда доносился загадочный звук. Забыв обо всем, Никодем стал присматриваться и вздрогнул, узнав персидскую царицу. Куда теперь мчали ее от Скопасиса, не принявшего и не оценившего царственного дара?

Вглядываясь в полутьму, она понимала, что еле слышное гудение исходит от персидского стана. С самого дня своего похищения она не думала о нем, но теперь этот далекий шум безвозвратно ушедшей жизни отозвался в груди острой болью.

Там был ее звездный шатер, царское великолепие и ожидание чуда. Там был и он, ее пленник, позванивавший по ночам цепью возле палатки. Не лучше ли было, как тогда, жить ожиданием счастья, не пытаясь к нему приблизиться?

После трех дней бешеной скачки открылась рыжая равнина. Черные Воды.

Орава конных и пеших высыпала навстречу. Тут были те, что раньше бежали от Скопасиса, и те, что слышали о необыкновенном эллине, пришедшем спасти скифскую землю. Его чтили, его ждали. Он должен был, сидя на коне, выпить чашу кобыльего молока в честь Иданфирса. Потом под восторженные крики он двинулся через весь лагерь. Радоваться ли было и позволять ли сердцу снова проникаться надеждами? Не заставят ли его здесь опять держать раскаленное железо?

— Я знал, что ты придешь, — сказал Иданфирс и, не дав произнести приветственной речи, повел его в палатку. — Ты мне все это откроешь и всему дашь имя, — добавил он, обводя рукой вокруг.

Палатка полна была золотых, серебряных, глиняных, расписанных лаками ваз. Стены покрывали милетские ткани с изображениями гигантомахии, странствий Вакха и мук Тантала. Нигде у себя за морем Никодем не видел такого собрания прекрасных эллинских изделий. Как часто он сам привозил в Скифию эти роскошные гидрии с тонкими шеями, гигантские пифосы, широкие, как колокола, кратеры, и как мало замечал их красоту! Собранные здесь, в варварской палатке, они стройным хором возносили хвалу Элладе. Никодем узнал, что ни один из благородных сосудов не украшал пира и не наполнялся вином на потеху толпе. Царь хранил их для услаждения взоров и подолгу просиживал в палатке, любуясь ими. Он жаждал погружения в незнакомый мир, но не находил путей. Эти голые, недобрые люди со странной улыбкой, с большими, как у ястребов, глазами — кто объяснит их ему? Кто расскажет о полулюдях-полуконых? И кто этот могучий муж, что держит на плечах конец большой дуги, а перед ним другой, протягивающий три яблока?

— Я мучаюсь этой загадкой, — сказал Иданфирс. —

— Сами боги направляют твой ум, царь! Это один из подвигов Геракла — твоего предка, от которого пошли скифские цари.

— Мне известны все предки, но такого среди них нет.

Никодем рассказал про борьбу Геракла с Антеем, про битву с Лернейской гидрой, с Немейским львом, про убийство Какуса.

Иданфирс слушал. Потом, заглядывая греку в глаза, спросил:

— А что, если это вымысел?

— Нет, царь! Эллинам известно происхождение всех народов. Они и про персов знают. Этот народ ведет начало от другого сына Зевса. Но ты можешь гордиться перед всеми: ни один из отпрысков вседержителя, рожденных от смертных женщин, не совершил столько подвигов и не был так возвеличен людьми и богами, как Геракл, твой предок.

Иданфирс воскликнул:

— Я знаю, что эллины мудры, и люблю их за это, но знаю, что они коварны. Нашу честность и доверчивость объясняют слабостью нашего ума и гордятся, когда обманывают нас. Я готов каждого эллина увенчать царским венцом за ум, а потом отрубить голову за неправду. Я часто прозреваю в моих думах, что не вечно им возноситься умом над нами. Будет день, когда оскудеют им хитрые и недобрые и приложится он к правдивым и доблестным. Тогда горе вам! Но ты не печалься. Когда скифский меч блеснет над твоей отчиной, пусть ваши люди выйдут вот с этими вазами на головах, и меч опустится...

Потом они стояли у Вечного Родника и Никодем пил святую воду в знак готовности служить Иданфирсу, доколе не будет сокрушен Дарий — враг Скифии и Эллады.

VII

Пришло время и Атоссе предстать перед Иданфирсом.

Вся Скифия знала о пленной царице.

Скиф привел ее к царской палатке и, как только Иданфирс вышел, толкнул так, что Атосса упала в ноги царю. Ошеломленная, она увидела ласковое лицо Иданфирса, грубый золотой браслет, который надевали ей на правую руку, услышала рев толпы, приветствовавшей ее, как невесту царя. Тогда обернувшись, чтобы найти глазами Адониса, она сделала к нему шаг и упала без чувств.

Я — ДАРИЙ АХЕМЕНИД

Степь клонилась ко сну. Но всю ее от Истра до Танаиса, прорезала глубокая морщина заботы и гнева.

Упорный враг продолжал, как железом, проводить суровую борозду по ее лицу. Никто еще не заходил так далеко и не бросал вызова скифским просторам. Но кто умел читать в их тайнах, тому стало известно, что Дарий осужден и приговорен. Еще он гнал перед собой скифов, рассчитывая настигнуть и разбить, но уже вся степь знала, что он гонится за призраком.

Бедствие, горчайшее из всех, что были до сих пор, посетило его. Весь день тянуло гарью, слезились глаза, скребло под черепом, а к ночи надвинулся огненный ураган. Когда он, дойдя до персов, разорвался надвое и яркими лентами стал обходить лагерь, перед Дарием открылась черная бездна.

— Через четыре дня ослы и кони падут, а колесницы и грузы будут брошены, а потом войско ляжет костью, — услышал он чью-то взволнованную речь.

Царь потребовал совета у приближенных. Они молчали. Только двое предложили немедленное отступление. Это походило на удар молотом.

Дарий мог вернуться только победителем.

Мысль о том, что, растеряв половину войска и ни разу не повстречав врага, он возвратится под брань и проклятия черни, под колкие насмешки знати, душила его больше, чем дым пожарища. Он колебался: отрубить ли малодушным носы, уши, вырезать языки или сделать вид, что не слышал их слов?

Тогда заговорил Агелай.

— Нет, царь, отступить можно было до пожара. Теперь поздно. Степь позади нас выгорит на большем пространстве, чем спереди. Скифы пустили огонь в нашу сторону, но того, что лежит у них на пути, они жечь не станут. Продолжая преследовать их, мы скорее достигнем травы, чем обратившись вспять. Ведь враг находится от нас на расстоянии одного-двух дней пути.

— Клянусь, Агелай, если сегодня ты окажешься прав, милость моя пребудт на тебе вечно!

По совету горбуна выступили, несмотря на ночь.

Конница и верблюды сразу же утонули во мраке. Им велено было идти налегке и как можно скорее достигнуть травы. Чтобы ослов и мулов сделать быстроходными, часть их ноши переложили на боевые колесницы. Полководцы ворчали. Они боялись попасть в засаду. Но, по мнению грека, скифы были далеко в эту ночь и коварства их можно было не опасаться.

Шли в такой тьме, что нельзя было увидеть собственной руки. Люди падали в овраги и ранили себя собственным оружием. Их оставляли умирать. Был случай, когда две толпы, надвинувшись одна на другую и не будучи в силах разойтись, подняли такой шум, что шедший поблизости отряд персов напал на них, приняв за неприятеля. Битву остановили, но раненых опять не подбирали. К утру персы, усталые, ропщущие, брели нестройной ордой и требовали отдыха. Агелай сказал:

— Пусть падают больные и усталые, пусть повозки и мулы остаются в степи — наше спасение в неустанном движении.

После полудня ропот усилился, и начальники с трудом погоняли готовых заснуть на ходу. Аршарами приступил к Агелаяю с грубой бранью.

— Сумеешь ли, господин, разбудить через два часа уснувшее войско? — спросил его горбун.

К вечеру он согласился на отдых.

Новая ночь наступила страшнее первой. Местность пересекало множество оврагов, дно которых персы устлали своими трупами, сломанными повозками, колесницами и издыхающими животными. В ту ночь кони сильно похудели. Увидев наутро их ввалившиеся потные бока, Агелай велел облегчить их ношу. Их часто останавливали для отдыха, но кони выбивались из сил и под конец стали храпеть.

Царская свита робко, невзначай роняла замечания, клонившиеся к гибели Агелая. Царю донесли, что уже половина его колесниц осталась в степи со сломанными дышлами и разбитыми колесами. Потом он услышал, что войско бредет в беспорядке, бросает щиты и при встрече с врагом не в силах будет сопротивляться. Пришло известие о падеже коней. Прекрасные питомцы Элама оставались лежать с оскаленными зубами на обгорелой земле.

Пока царь размышлял над этими слухами, в войске началось смятение. Навстречу двигалась серая пелена пыли.

— Измена! Проклятый грек отдал нас в руки врага!

Агелая схватили, и Дарий поставил за спиной у него черного нубийца с мечом, чтобы снести голову, как только скифы приблизятся на полет стрелы. Вожди пытались привести войско в порядок, но оно перемешалось настолько, что сделалось кричащим, толкающимся сбродом.

Ариарамн разорвал на себе одежды.

Но в приближающейся пыли заметили очертания горбов, пестроту знакомых плащей, позывные сигналы. Это возвращались верблюды, посланные вперед Агелаем. Они сложили свою поклажу и пришли взять новую. Принесли весть, что трава найдена и находится на расстоянии полудня пути.

— Нет, грек, тебе не суждено умереть позорной смертью,— сказал Дарий.— Ты кончишь дни на золоте и пурпуре!

II

Когда прошли полосу смерти, нигде не находили признаков скифского войска. Оно растаяло, растворилось в пространстве, ушло в землю. Некого стало преследовать. Бесцельность похода, по словам Аброкомаза, стала очевидной. Казалось, и сам Дарий ждет достойного повода, чтобы остановить дальнейшее продвижение. Но никто не решался сказать слова. Войско по-прежнему, шаг за шагом покоряло унылую бесконечную степь.

Ослепительно сверкнула меловая гора, к которой Дария потянуло, как к солнцу. Он приблизился к ней во главе всего двора, окруженный бессмертными. Оказалось, что гора стоит на берегу большой реки, протекавшей внизу под крутыми склонами. Никто этого не ожидал, даже Агелай. Простершись перед Дарием, он воскликнул:

— Владыка, ты превзошел славой всех царей! Ты сам не знаешь величия своего подвига. Перед тобой Танаис — последняя из скифских рек. Здесь кончаются Скифия и Европа и начинается Азия. Кто достигал этих пределов? Чьи дерзания сравнятся с твоими? Ты победил. Ты прошел Скифию из конца в конец и исполнил все, что боги вложили тебе в сердце.

Царь благосклонно выслушал горбуна и долго стоял над Танаисом.

С высоты четырех человеческих ростов на него зияла пасть пещеры. К ней прорубили ступени, и царь поднялся по меловому склону. Пещеру наполняли кости. Чудовищные ребра и черепа выступали из мрака вперемешку с позвонками, похожими на мельничные жернова. Из невиданных челюстей торчали зубы, как у бороны.

Дария поразили бивни, поднимавшиеся из хаоса островов. Они напоминали согнутые древесные стволы, ис-

тощая мысль в догадках о звере, которому могли принадлежать.

— Это кости чудовищ, выходящих из мрака, окружающего Скифию,— сказал Агелай.

Дарий уединился в носилках, а утром приказал начать сооружение стены. Ее строили из глины, песка и извести. Глину месили в больших ямах и делали кирпичи, похожие на громадные блоки. Стена выростала в несколько сот шагов длиной и в пять человеческих ростов. Когда ее закончили, Дарий велел высечь на ней свое изображение и надпись:

«Милостью Агура-Мазды, Я, Дарий Ахеменид, царь царей, сын Гистаспа, прошел все земли царственных скифов, разорил, пленил и сжег земли агафирсов, невров, гелонов, алазонов, борисфенитов. Я обратил в добычу их стада, жен и детей. Я забрал от аримаспов все золото, похищенное у грифонов. Вся Скифия вытоптана копытами моих коней и наполнена звоном моего оружия. И вот передо мной не стало бегущих врагов. Я дошел до рубежа тьмы и загнал во мрак свирепых чудовищ. Я совершил недоступное смертным. Я утвердил свое могущество на концах вселенной».

III

Войско ликовало. Никто не объявлял, что оно двинется назад, но все об этом знали. Воздвижением стены и надписью на ней Дарий заканчивал войну.

Местность пошла неровная, холмы и овраги, поросшие кустарником и мелким лесом. Идти стало труднее, но все преодолевалось с легкостью и воодушевлением. Даже пустынность степи и отсутствие врага, угнетавшие прежде, теперь не пугали. Все уверовали в благополучное возвращение.

Кончалось лето. Тучи, вначале белые, стали свинцовые. По полю покатались, подпрыгивая, веники сухой травы.

В один из таких ветреных дней увидели всадника, несшего на конце копья что-то похожее на голову. Подлетев к передним рядам, он опустил ношу на землю и покакал назад что было мочи. Дарию принесли предмет, брошенный скифом. Это был кожаный мешок, в нем мертвые мышь, лягушка и птица, а также пять стрел с зеленоватыми наконечниками, напитанными змеиным ядом. Царь был рассержен и хотел покарать слуг, принесших скифский подарок, но Гобриаз, его тесть, высказал до-

гадку: не послание ли это, заключающее в себе тайный смысл? Тогда Дарий бросил ему мешок и приказал разгадать.

— Это признание скифами твоей власти над ними. Они дают тебе землю и воду, свидетельством чему служат мышь и лягушка; они дают своих коней, образ которых представлен птицей, а присоединением стрел отдают на службу тебе свое оружие.

Дарий был доволен.

— Воистину это так!

Но его одолели сомнения. Зачем посланный убежал? И почему такое дело поручено простому гонцу, а не пышному посольству?..

Взгляд его пробежал по окружающим и заметил хмурое лицо Агелая.

— А ты?

Агелай просил не допрашивать, потому что, по его мнению, это послание дерзкое и заключает оскорбительный для царя смысл.

Дарий настаивал. Тогда горбун сказал:

— Тебя предупреждают, что если персы не смогут быть, как мыши, и не спрячутся в землю, если они, как лягушки, не уйдут в воду или, как птицы, не поднимутся в воздух, то все падут от скифских стрел.

Крики негодования заглушили конец речи. Агелая хотели побить на глазах у царя, так что Дарию с трудом удалось восстановить порядок. Он и сам был в страшном гневе, но грек своим умом успел приобрести над ним необычайную власть. Он отпустил его, не сделав ему ничего худого.

IV

Через три дня войско расположилось на ночь перед холмистой грядой, похожей на ящера, уснувшего в степи. В то время как долина подернулась сумраком, а возвышенность продолжала светиться медным блеском, гребень холмистой цепи внезапно зашевелился. На нем, как на хребте дракона, выросли клиновидные отростки.

Утомленный дневным переходом, Дарий покоился в закрытых носилках. Чья-то рука дерзко отдернула занавес. Царь обернулся и остался недвижим. По склону возвышенности, как тесто из квашни, стекала лава конного войска. Несмотря на дальность расстояния, Дарий различал отдельных всадников, похожих на игрушки из

обожженной глины. Видел, как их маленькие лошадки бодро перебирали ногами.

Спускаясь к подножию склона, всадники уходили в землю, а сверху, выпираемые неведомой силой, валили новые массы.

На персидский стан навалилась глыба молчания.

— Не вы ли жаловались на неуловимость врага? — говорили предводители. — Что же смутились теперь, когда он наконец появился? Ликуйте! Теперь он наш! Одна битва, и ваши скитания кончатся. Скоро увидите жен и детей.

В шатре Дария столпились полководцы. Когда вошел Агелай, его стали толкать и не допустили до царя.

— В твоей хитрости теперь нет нужды, костлявая лягушка, здесь речь идет о битве, и ты не должен оскорблять своим присутствием совета мужей войны.

Наутро, чуть забрезжил рассвет, войско начало строиться с шумом и толкотней. Численность персов, несмотря на потери, была еще столь значительна, что когда Ариарамн выехал перед фронтом, он удивился его протяжению. С правого крыла с трудом можно было различить людей, стоявших на левом. Он особенно порадовался блестящему виду колесниц, столь близких сердцу царя. Сильно уменьшившиеся в числе, они все еще представляли грозное зрелище. Прикрепленные к колесам стальные косы делали их похожими на птиц, раскинувших крылья. Такие же косы, направленные остриями книзу, приделаны были к задним частям колесниц. Что могло устоять против этих изрезающих в куски и брызжущих стрелами телег? Но и конница выглядела бодро, а за ней вздымалась густая поросль копий воинов, сидевших на верблюдах. Перед Ариарамном стояла рать не хуже той, с которой Кир сокрушал народы, Камбиз завоевал страну пирамид и Дарий уничтожил многочисленных врагов. Он явился к царю со светлым лицом и распространил на всех веру в победу.

Полководцы не сомневались, что враг находится близко, скрытый складками местности. Но время шло. Стоя перед пустынным полем, персы раздумывали: не ложное ли видение послал Ариман, чтобы поколебать их дух? Разгорался простой степной день, не предвещавший никакого события. Тогда, взбешенный молчанием скифов, Дарий велел Мифробарзану с тысячей всадников двинуться к подножию склонов, с которых вчера спус-

тился враг. Не успел Мифробарзан тронуться, как гул восклицаний возвестил о появлении скифов.

Припав к гривам лошадок и помахивая чем-то вроде бичей, они мчались, как ветер. Только это было не войско, а кучка в сотню человек. Персы с удивлением следили за их приближением. Не верилось, чтобы ничтожная горсть осмелилась напасть на царское войско.

Вдруг по всему войску прокатилось:

— Зайцы! Зайцы!

Услышав шум, зайцы присели на расстоянии двух полетов стрелы от персов, потом поскакали в сторону. Скифы с гиком и свистом полетели за ними вдоль персидского строя. Ни щитов, ни копий, только арканы у пояса да в руках длинные ремни с темными шариками на концах, которыми они помахивали в воздухе.

— Это самое диковинное, что мне пришлось видеть за все мои походы, — сказал Мифробарзан. Он хотел начать преследование, но Ариарамн остановил. Пускать воинов против этой своры?... Собак на них натравить! Рабов заставить побить их палками!..

Из рядов неслись насмешки и хохот. Какого достойного противника нашел себе царь царей! Теперь понятно, почему мы не видим в глаза неприятеля; ему некогда воевать с нами, он должен охотиться!

Будь проклят этот безумный поход! Ни одно войско в мире не испытало столько унижений. Сегодняшнее самое горшее!..

Тогда совсем близко, как из-под земли, возникло бесчисленное воинство на конях. Персы узнали в нем вчерашнюю лавину.

Старые воины Дария бывавшие во многих походах, умели по первому виду врага догадываться об исходе битвы. Неторопливость скифов поселила в них тревогу. Она возросла, когда выяснилось, что скифская громада идет против одного только правого крыла персов. Варвары сумели так замаскировать свое движение, что смысл его открылся, когда они были уже у цели и когда большая часть персов почувствовала себя праздными зрителями того, что совершалось на правом крыле.

Там стояли колесницы, готовые предупредить удар нападением, и Ариарамну стоило большого труда сдерживать их порыв. Он хотел подпустить противника на расстояние, удобное для внезапного удара. Но произошло неожиданное. Из скифских рядов вылетели усатые рогатые кони, с глазами, обведенными белой, синей и

красной красками. Конники, одетые в бараньи шубы, вывернутые мехом наружу, с огромными башнями на головах, дули в свирели, раздирали слух звуком трещоток. На концах длинных шестов и копий пылали пучки травы и тряпок. Лошади, запряженные в колесницы, поднялись на дыбы, потом, повернувшись назад, устремились на свою пехоту. Боясь быть смятым, пешее войско выставило копья, и колесницы шумным роем помчались вдоль фронта. Ариарамн бросился наперерез, пытаясь остановить, но был опрокинут, и над ним пронеслась вся бряцающая и гремящая армада. Когда она схлынула, от полководца не осталось следа. Гроза сражений, бесстрашный Ариарамн был изрезан на части, растоптан и вдавлен в землю колесами. Выведенные из строя до начала сражения, колесницы обнажили пешее войско. На него бешено ринулись скифы. Они мчались с пронзительным визгом, напоминающим вой ветра в трубе. Чтобы выдержать настиг, персы втыкали древки копий в землю, стараясь направить острие в грудь коням. Но скифы, не доходя до линии, круто повернули и поскакали вдоль строя, поливая его дождем стрел. В то время, как четыре стрелы еще висели в воздухе, пятая уже срывалась с тетивы. Персы захлебывались кровью от смертоносного ливня.

За первой волной катилась другая, все с тем же зловещим воем. Персы дрогнули, попятились, и щетина их копий заколебалась. В следующее мгновение все смешалось в водовороте человеческих и конских тел. Навалившись горой, скифы ломали правое крыло царской рати. Полководцев теперь занимала мысль: удастся ли Дарию повернуть свой необозримый строй и ввести в сражение бездействующие войска прежде, чем решится участь правого крыла? Приказы царя шли медленно. Не дождавшись их, отдельные полки стали поступать по собственному усмотрению. Видя катящийся скифский вал, пафлагонская конница, сверкая медными пластинами, прикрывавшими голову и шею коней, сорвалась с места. За ней последовали ассирийцы, парфяне, потом в бой ввязались верблюды. Остальные, кто как мог, спешили к месту сечи.

Персы никогда не знали строя, их отряды были вооруженными толпами, но знамена и предводители сплачивали бойцов во время сражения, позволяли хоть немного управлять битвой. Теперь все смешалось. Валили густой ордой. Сбившись на небольшом пространстве,

кричали и толкались. Слонов отвели в тыл, боясь, как бы они не потоптали собственное войско. Не прорубившись сквозь толщу смятых врагов, степняки отхлынули, как море от берега, обнажив построившихся в тылу сарматов в кольчугах и в спущенных на лица железных шлемах с решетками.

Дарию не видно было сражения, хотя он стоял на высокой колеснице. Он различал только ряды охранявших его бессмертных. Там, как заросли камыша, качались копья. Ему виделась, клубящаяся пылью дорога перед Вавилоном, пестрый базар, давка возле колодца в пустыне. Когда в бой вступили верблюды, это походило на замешательство у городских ворот, неспособных пропустить сразу большого каравана. Центр битвы угадывался по самому черному клубу пыли. Там о чем-то настойчиво твердили глиняные барабаны, разрывались трубы и воплем ужаса заливались костяные рожки.

Победа не давалась персам. Ее, как каменный колосс, который тащат на постройку, не могли сдвинуть с места, несмотря на усилия многих тысяч рабов. Чутьем опытного полководца царь понял, что настал момент казнить нескольких военачальников. Но пока он раздумывал, что-то произошло — точно рухнул большой дом, подняв облако пыли. Царь потребовал узнать, что случилось, но к нему уже бежал Мифробарзан с рассеченным лицом.

— Спасайся, великий царь! Все погибло!

Четыре телохранителя по знаку царя прокололи его копьями. Дарий велел высоко поднять себя, чтобы быть видным войску. Но войска бежали, опрокинутые и распыленные сарматским тараном.

Скифы приближались к месту пребывания царя. Путь им преградила цепь мардиев, моссинсков и фаманейцев, изрубленная в одно мгновение. Тогда открылось пространство, перед которым скифы остановились в восхищении. Там в расшитых одеждах, с золотыми обручами на головах и с золотыми яблоками на копьях стояли бессмертные. От них исходил нежный звон. То бряцали маленькие колокольчики, подвешенные к краям щитов. Варвары загляделись на красивое войско, и боевой их пыл пропал. Они только постреляли в бессмертных из луков, не причинив им вреда.

Тем временем подошла пехота левого крыла.

Но вспыхнувшая с новой силой битва продолжалась не долго. Персы вдруг начали бросать оружие и с

искаженными лицами бежали куда попало. На них, зияя запекшимися впадинами глаз, неслась слепая рать Скунки. Даже те, что не успели вступить в бой и находились далеко в стороне, побежали. Степняками овладела радость истребления. Персидские трупы стали громоздиться горами.

Тогда над долиной пронесся скребущий за душу крик, заглушивший шум битвы. Скифские кони шарахнулись назад. Шерсть на них поднялась дыбом. Это ревели ослы. Агелай собрал их вместе и велел нещадно бить палками. Об их рев, как о невидимые скалы, разбивались скифские волны. Тем временем персы достигли обоза и образовали защитный вал из повозок. Сюда, как овцы в загородку, сбегались обезумевшие войска.

У

Наутро скифский стан огласился криками. Это приветствовали Никодема. Он сверкал копьем и шлемом, светился счастьем вчерашней победы. Варвары успели полюбить его за то, что он научился пить вонючее кобылье молоко, ездить по-скифски, припав к луке, и есть конское вяленое мясо, размягченное под седлом. Но со вчерашнего дня к нему испытывали благоговение.

Он озабочен был возобновлением штурма и уговаривал Идапфирса немедленно двинуть войска. Но когда скифы саранчой устремились на вражеский лагерь, его не оказалось. Персы ушли. На месте стоянки чернели башни, сложенные из обломков колесниц и облепленные землей. Над ними кружилось воронье.

Никодем объяснил, что это башни молчания, куда персы сносят покойников. Ни земле, ни воде, ни огню их не передают, их должны пожирать огромные белоголовые грифы. В Персии этих птиц много, и они постоянно сидят по стенам круглых башен. Здесь, в степи, мертвых оставили воронам и коршунам.

Начавшаяся с полудня погоня к вечеру наткнулась на новое препятствие — на большие клетки, из которых выходили рыжие собаки. Услышав об этом, Никодем помчался что было сил, но застал страшную свалку. Навстречу бежали изуродованные воины, лошади с волочащимися внутренностями. По полю валялись туши львов, пронзенных стрелами и копьями, а в пыли извивались и стонали скифы,

Только на другой день увидели персидскую громаду. Она оставляла широкий след из сломанных повозок, сдохших коней, мулов и сотен раненых. Персы шли со скоростью, поразившей Никодема. Они отвезли в сторону от дороги царскую трубу и оставили сверкать в степи. Иданфирс не в силах был удержать варваров, устремившихся к блестящему предмету. Он и сам был очарован диковинным сооружением, рассматривая каждый завиток, каждую выпуклость на трубе. Когда же научились в нее дуть, варвары пришли в шумный восторг. Сам царь с наслаждением дул, повергая в смятение своих серых лошадей. Только когда Никодем упал перед ним на колени, умоляя начать преследование, Иданфирс опомнился.

Персов вел Агелай. Дарий, узнав, что его рать спасена от истребления хитроумной выдумкой грека, призвал его и велел всем исполнять его приказания. Горбун уничтожил прежде всего обоз. Медлительных волов зарезал на мясо, большую часть грузов раздал воинам, а из повозок оставил только самые быстроходные.

Агелай знал, что царское войско не годится для битвы, но хотел сохранить за ним способность обороняться на ходу от наседавшего противника.

После случая со львами скифы стали осторожнее в своих нападениях. Когда они снова настигли персов и учинили жестокий нажим, Агелай выпустил слонов, вида которых не выносили степные лошади. В другой раз отпугнул их ослиным ревом. В то же время он со страшной скоростью гнал войско, не считаясь с потерями. Больных бросали без сожаления, грузы и отбившиеся животные оставлялись в добычу скифам. Искусно лавируя и пользуясь всеми средствами, Агелай постоянно держал скифов позади, не давая зайти вперед и отрезать путь.

«Неужели враг уйдет от заслуженной кары?» — думал Никодем. Он опасался за успех преследования.

Самым сильным препятствием к уничтожению персидского войска были слоны. Против этих движущихся храмин скифы ничего не могли поделать. Их кони боялись грубого звука слонов. Иданфирс пробовал, по совету Никодема, выставлять против слонов копейщиков и медленным отступлением заманивать чудовищ к приготовленным укрытым ямам. Но Агелай каждый раз проникал в их замыслы и умел вовремя уклониться от западни. Тогда Никодем вспомнил про Сиберу.

VI

В глухую ночь слоны уловили тонкий, как писк комара, звук: «Тут! Тут!» — прорезавший темноту.

Звери встрепенулись.

Далеко в степи трубил неведомый слон.

Звук повторился. Чудовища стали с шумом втягивать и выпускать воздух. Цепи на ногах беспокойно зазвенели. Спавшие мертвым сном водители не слышали, как тяжелые крюки один за другим вырывались из земли.

— Тут! Тут!

Слоны ответили дружным хором. Они с грохотом устремились в степь, давя по дороге спящих персов.

Прибывший Агелай услышал удаляющийся топот и ликующий трубный звук. Уходила последняя надежда персов.

Утром хлынули скифы. Хотя горбун по обыкновению обманул их, подняв свое войско задолго до их появления, персы потеряли в этот день больше, чем в битве у роковых холмов. Многие сами избрали жребий. Когда их разбудили чуть свет, они скрипели зубами, проклинали ненавистного грека и, завернувшись в плащи, снова ложились, невзвывая на брань и побои. Они блаженно проспали до солнца, когда были разбужены криками врага, приближавшегося необозримым полукругом. Все усталое и медлительное было уничтожено в этот день. Кто отставал от войска или оказался в стороне — становился добычей скифской ярости. Искусство Агелая сводилось теперь к отбору и пожертвованию самого худшего в войске. Он отводил опасность тем, что выбрасывал на съедение то одну, то другую кучу измотанных людей. И он выиграл. Скифы утомились избиением раньше, чем у него иссякли запасы бесполезных оборванцев. Натиск прекратился задолго до захода солнца, и несколько часов персы шли спокойно.

VII

На привалах грек запрещал зажигать огни, но в эту ночь велел разложить множество костров, охватив ими полгоризонта. Потом облекся в чистую одежду, надел петлю на шею и, придя к царю, простерся в прахе.

Дарий понял.

— Когда?

— Сегодня! — простонал грек.

Позвали военачальников и сказали, что надо делать.

Пока пешее войско разводило костры и укладывалось спать, коней, верблюдов, мулов выводили на окраину лагеря. Туда же отправили бессмертных. В полночь Дарий бросил свое войско и бежал с теми, кого можно было посадить на коней и верблюдов.

Скифы привыкли видеть по утрам опустевшие персидские стоянки и следы поспешного бегства. На этот раз за стелющимся дымом встал, как видение, тряпичный Вавилон, сверкавший золотом и дорогими тканями. По мере приближения, точно корабль из моря, выростала и проясняла свои очертания Ападана — царский шатер, горевший драгоценной чешуей. Пестрое скопище народа стояло на коленях, с мольбой простирая руки навстречу скифам.

Никсдем, предвидевший в это утро последний уничтожающий штурм, был в недоумении и растерянно смотрел, как скифы муравьями рассыпались по лагерю. Воинов Дария ободрали догола. Серьги из ушей выдирались с мясом, блестящие браслеты, если их трудно было снять, отрубались вместе с руками. С особенной жадностью набросились на оружие, вступая из-за него в драку. Мечи пробовали на пленниках, срубая с деловым видом длинноволосые головы. Из палаток вытаскивали все, вплоть до мелкого скарба. Раздирали в лоскутья и самые палатки. Слух о сушеных плодах и финиках вызвал волнение. Каждый хотел получить хоть кусочек чудесного лакомства, и те, кому ничего не досталось, были в отчаянии.

Настоящая давка стояла у шатров вельмож. Оттуда выносили тахты, опахала из павлиньих перьев с золотыми ручками, амфоры с вином, яства на серебряных блюдах. Царский шатер держался на столбах черного дерева, украшенных слоновой костью, с широкими подножиями, отлитыми из серебра. Из серебра же были крючки, державшие шести, на которых висели завесы и покрывала. Наружное покрытие состояло из темно-красной ткани, расшитой зверями и крылатыми чудовищами. Ее, как сеть, оплетали золотые шнуры с кистями. Внутри, на золоченых кольцах и жердочках, красовались одежды, прыгали обезьяны, кричали павлины и попугаи. У черных столбов стояли, прикованные, наложницы Дария. Одну из них варвар тихонько кольнул мечом в грудь.

По приказу Иданфирса ткани, подушки, тигровые шкуры расстелили по полу. Яства со столов сняли, а самые столы выбросили вон. Насытившись грабежом и рассевшись в порядке старшинства и доблести, открыли долгое пиршество.

— Подложи скорей огонь под шатер, сожги этот обман! — умолял Никодем. — Неужели ты не видишь лукавства? Враг бросил это, чтобы ты, как ребенок, увлекся и забыл о преследовании.

Иданфирс знал, что эллины говорят правду, но знал и скифов. Он не решался нарушить их торжество. Они уже пели, били в барабаны, стреляли в попугаев и обезьян. Потом мишенью стали служить голые рабыни и пленники. Пленников приводили толпами, бросали в них копья. Уцелевшим скручивали руки назад, надевали веревки на шею и длинными вереницами отправляли в глубь степей. Оттуда надвигались кибитки, женщины, старики, дети. Они потрясали кулаками, осыпали персов камнями и бранью.

VIII

Оврагами, звериными тропами, пугливо озираясь по сторонам, бежал повелитель мира. Каждая река, через которую переправлялся, брала с него дань людьми и конями. Кони от непрерывной езды худели и падали. Вместе с конем обречен был и всадник. Даже выносливые верблюды изнемогали. Их гнали без отдыха, без кормежки. Горбы, вначале упругие и крепкие, быстро увяли, повисли тряпками. Худые, как ощипанные птицы, они вызвали содрогание страшными ранами, открывшимися на хребтах. Во время коротких остановок вороны расклевывали раны до костей и, когда верблюд поворачивал шею, норовили выклевать ему глаза.

Дарий мчался, поглощенный одной мыслью — достигнуть Истра прежде, чем там окажутся скифы.

КУРГАН

I

Когда последние повозки царского войска скрылись в степи, греки и финикийцы остались одни со своими кораблями. Оба берега Истра, вытоптаные и превращен-

ные в черное месиво, зияли как после пожара. За рекой уходила вдаль широкая лощина песков, похожая на рану от удара мечом. Ветры устилали палубы слоем песка и чернозема. Потом прошел дождик, прибил пыль, вымыл и освежил просторы. Оголенный чернозем покрылся понемногу новой зеленью, но она взошла поздно, и наступившая жара сожгла ее вместе со всей степенью. Пески же так и остались обнаженными. Только в самый разгар летнего зноя на них показались уродливые редкие сухие колючки — пришельцы жарких стран, занесенные с обозной кладью и в одеждах воинов.

Каждый день Гистиэй развязывал по узлу на ремне, оставленном Дарием, и, когда узлов осталось немного, тиран стал впадать в глубокую задумчивость. Начались разговоры о гибели царя. Гистиэю доносили, что многие этому радуются. Пришло время развязать последний узел. Гистиэй созвал тиранов и спросил, что делать дальше.

Мильтиад посоветовал исполнить царский приказ — плыть домой, и некоторые с ним согласились. Но большинство захотело ждать вестей о судьбе Дария.

Потянулись дни, полные тревоги.

Небо нахмурилось, начались ветры, Истр зашумел.

Однажды с предмостных башен кого-то заметили вдали. Различили торчащие уши, ослабленную пасть. Это был волк. Не доходя до башен, он сел и, подняв морду, залился ужасным воем.

— Это весть! Недобрая весть! — заговорили на кораблях.

Теперь все были уверены, что с царем произошло несчастье.

Воины стали оказывать неповиновение триерархам и кричали в лицо тиранам:

— Свобода! Свобода! Трусливые властители! Доколе вы будете не верить собственному счастью?

Требовали немедленного возвращения домой.

Так прошло еще несколько хмурых, бессолнечных дней. Тучи густо заволокли небо, а равнина покрылась катящимися волнами сухой травы.

Показалась толпа наездников. Она надвигалась так быстро, что едва успела отгреметь тревога, едва людей изготовили к бою, как скифы подошли к предмостным

башням. Один из них выехал вперед, распахнул плащ, и из-под него блеснули медные латы. Приблизившись, он громко спросил стражу: здесь ли Мильтиад? Но Мильтиад сам уже спешил навстречу, и они обнялись на виду у обеих войск. Среди греков, еще на Босфоре, ходило много толков о Никодеме, но никто не знал ни его намерений, ни дальнейшей судьбы. Появление его здесь, в степях, во главе скифов, вызвало смятение умов. Каждый спешил хоть мельком взглянуть на чудесного милетянина. Когда же узнали, что он привез известие о Дарии, это сопровождалось возгласами и рукоплесканиями. Не успел Мильтиад переправить его к себе на триэру, как уже весь флот знал, что царского войска больше не существует, а сам Дарий едва ли успеет избежать плена.

Греки обнимались, поздравляли друг друга с освобождением от варварского гнета. Стали сбивать с моста крылатые царские знамена и бросать в воду. Известие, что Никодем, пожертвовав своими богатствами, проник в степи и там боролся в скифских рядах против угнетателя отчизны, сделалось поводом для новых ликований. Крикам «Слава великому Никодему!» — не было конца. Корабль Мильтиада не мог вместить всех желавших посмотреть на него. Туда прибыли тираны, триэрархи, видные люди. Один Гистиэй не пошел.

— И ты не побоялся с горстью скифов приблизиться к нам, верным слугам царя? — спросил Мильтиад.

— Верных слуг имеют только сильные цари. Ваш же повелитель ныне — ничтожнейшая из тварей, обитающих в степи. Он еще жив, но уже обречен и не сегодня завтра прибежит сюда с кучкой приспешников. Тогда выяснится, удалось ли ему окончательно превратить вас в рабов или в вас живет еще гордость и достоинство эллинов? От вас зависит, успеет ли вчерашний повелитель перейти Истр или станет добычей скифов? Хотите ли, тираны, стать независимыми властителями ваших городов и земель? Ваш жребий в ваших руках! Будьте достойны великого испытания, ниспосланного богами! Снимите мост!..

В войске шли горячие толки. Люди собирались кучками и готовы были начать разборку моста. Но тираны пребывали в смущении. Ошеломляющее известие застало их врасплох. Один Мильтиад всей душой откликнулся на призыв к освобождению, он превозносил труды, доблесть, благородное сердце Никодема, его святое го-

рение за Элладу и уговаривал тиранов согласиться на предложение своего друга.

Но Гистиэй, неослаблo следивший за всем, что происходило, тайно, по одному, собрал к себе тиранов, за исключением Мильтиада и тех, кто ему сочувствовал. Он удалил с триэры рабов и стражу, завел тиранов в самый глухой угол трюма и там, в полутьме, почти шепотом произнес свою речь:

— Скажите, вожди, кто из разумных людей прорубает дно лодки, на которой плывет? Кто у колесницы, на которой едет, сокрушает колеса, засыпает колодец, из которого пьет? Или вы думаете, что ваша власть зиждется на подлой, бессмысленной черни, умеющей только реветь, подобно стаду ослов? Не думаете ли также, что опорой вашей являются евпатриды, взнузданные вами, ненавидящие вас и ждущие случая, чтобы вонзить нож из-за угла либо изгнать вас из родного города, как они изгнали Гиппия из Афин? Нет, вожди, кто знает цену власти, кто ее выстрадал, добыл потом и кровью, бессонными ночами, кто рисковал собственной жизнью и жизнью своих близких, тот не может не понять, что, кроме царя, у нас нет опоры. Жизнь Дария в наших руках, но если мы дадим ему погибнуть, нам незачем возвращаться в свои города: там с нами сделают то же, что мы сделаем здесь с царем. Итак, выбирайте: поддадитесь ли на уговоры демагога, сеявшего всю жизнь смуту и достойного быть убитым как собака, или внемлете голосу разума и упрочите вашу власть, сохранив ее для потомства?

Тираны были подавлены.

— Что нам делать, Гистиэй? Весь флот, от триэрархов до последнего стрелка, приветствует Никодема. Люди ждут от нас смелого шага, и, если мы не решимся, они помимо нас разберут мост. У нас нет выхода.

— Да, — согласился Гистиэй, — нам трудно противиться этому, но мы и не будем, мы сами начнем разбирать мост... Только бы удалить скифов и усыпить бдительность трижды проклятого Никодема.

II

Над Истром долго не смолкали восторженные крики, когда милетский тиран отдал приказ начать уничтожение моста. Он приказал также все имущество и оружие сне-

сти на корабли, загнать рабов в трюмы и готовиться к отплытию. Весть о предстоящем возвращении домой встречена была еще более шумно.

К Гистиэю пришел Мильтиад и приветствовал за принятое решение. Он сказал, что Никодем восхищен его поступком и хочет примириться и возобновить дружбу.

— Теперь не время, — хмуро отвечал Гистиэй. — Никодем слишком долго враждовал со мной, чтобы мы могли так легко подать друг другу руку. Пусть сначала совершит задуманное... Если он хочет, чтобы все шло хорошо, он должен отослать своих скифов к их царю с известием о нашем отъезде и о снятии моста. Он должен также сказать, что, решившись на такой поступок, мы ждем от скифов быстроты. Нам теперь нельзя, чтобы Дарий вернулся...

Никодем поспешил все исполнить. Отослав скифов, он возвратился на триэру к Мильтиаду и предался беседе и мечтам об отчизне. Мильтиад смотрел на него, как на чудо. Ему казалось невозможным, чтобы одному человеку выпало на долю совершить так много и так благополучно. Он знал, что боги завистливы и не прощают смертным громких дел. За всякий великий подвиг неизбежна расплата. Никодему же удалось невозможное. Сверх того богам угодно, чтобы он вернулся в Элладу и увидел родной Милет. Что помешает ему отплыть на любом из кораблей после того, как здесь, на берегу Истра, он увидит пленение того, кто именовал себя царем царей?

Но Никодем отклонил все похвалы.

— Из всего необыкновенного, что ты видишь в моем приключении, я готов признать только одно: жребий быть свидетелем крушения невиданной тирании, выпавший мне, единственному из эллинов. В остальном нет ни тени моей заслуги. Я был дитя, когда, отправляясь к скифам, думал осчастливить их своим эллинским разумом и принести им победу. В этой стране все совершается не разумно, не по-нашему, зато все отмечено высшим разумом. Воля отдельных людей там бессильна, там хаос, но в нем же начало непонятного нам и неведомого порядка. Я был умнее каждого отдельного скифа, но вся скифская земля явила образ такой мудрости и духа, каких в нашем эллинском мире нет. Я счастлив, что моей поездкой туда руководила не эллинская рассудительность, а скифское безумие. Даром потерял богатства, потерпел неудачу в стремлении руководить

варварами, но возвращаюсь счастливым и довольным. Я видел единственное и незабываемое — искусство побеждать, не сражаясь. И еще счастлив тем, что мое присутствие вселяло в скифов веру в свое дело.

До позднего вечера стучали молотки, скрипели блоки, суда отходили на середину реки и там со спущенными веслами ждали сигнала к отплытию. Возле моста остались только триэры Гистиэя. Рабы его суетились над разборкой.

Когда густая тьма спустилась на Истр, Гистиэй послал за Никодемом, чтобы поместить его на одном из своих судов, стоящих у самого моста. Оттуда он сможет видеть все, что произойдет.

Огни потушили, так что на палубе, куда доставили Никодема, едва можно было различить людей и ближайшие предметы. Ни моста, ни берега, ни башен. Никодем спросил про Гистиэя, и ему сказали, что тиран находится на одном из судов поблизости.

— Я много виноват перед вашим господином. Я был слеп, заблуждался и только теперь увидел все его величие. Но скажите ему, что в дружбе Никодем более постоянен, чем во вражде.

Дул ветер, шумел Истр.

Никодема вдруг охватило страстное желание, чтобы то, что должно произойти, свершилось сейчас. Боялся, что ненависть его иссякнет. Неужели он останется спокойным и не найдет силы для долгожданного торжества, когда на берегу появится тот, со следами страха и отчаяния на лице при виде крушения своей последней надежды?

Он остановился, стараясь услышать что-нибудь в степи, но ветер и волны заглушали звуки. Уносился мыслью в непроглядную тьму, где шли скифские орды, настигая надменного беглеца. Никодем тревожился: он знал, что скифы идут тем же окольным путем, которым шел он сам. Они не допускают мысли, будто Дарий сможет отступить по лишенной растительности дороге, вытопанной его полчищами в дни своего гордого нашествия на степь. Между тем Никодем догадывался, что Дарий бежит именно этой голой песчаной дорогой.

— Но все равно ты не уйдешь от кары!

Потом пришла мысль, что погоня еще далеко и что этой ночью ничего не произойдет. Он сел, завернулся в плащ, и возбуждение его улеглось, сменившись усталостью. Под плеск воды, под неуловимый голос тьмы он

впал в дремотное состояние, при котором собственные мысли трудно отличить от чужой речи. Кто-то долго говорил ему что-то на непонятном языке, слышались всхлипывания, плач.

Внезапно охватившая тревога заставила его вскочить с места. По-прежнему стояла тьма, свистел ветер, но Никодему показалось, что во тьме что-то происходит. Слух, как прежде, ничего не улавливал. Тольшо шумел Истр. «Это все моя мятущаяся душа» — подумал он, заворачиваясь в плащ.

В это время ясно долетел голос с берега. Он крикнул раз и другой. Никодем застыл, как статуя. Прошли томительные мгновения, и снова крик, на этот раз многих голосов. С кораблей им что-то ответили. Тогда донеслось несколько звонких слов, от которых у Никодема задрожали руки. На берегу стоял Дарий.

Прежде чем он смог овладеть собой, раздался звук трубы, подававший сигнал к отплытию. На кораблях застучали барабаны, загремели цепями и веслами. Каждое судно теперь было занято самим собой. А на мосту забегали рабы с факелами, прикрытыми гляняными сосудами, и в их скудном свете, падавшем вниз, на настил, Никодем увидел, что мост весь цел, разобрана лишь небольшая часть его у самого берега. Сюда с топотом бежала толпа рабов, на которую сыпались яростные бичи надсмотрщиков.

Никодем задохнулся от гнева. Эти бездельники обманули Гистиэя и, воспользовавшись наступлением вечера, прекратили разборку.

Рабы засуетились с такой муравьиной поспешностью, так учащенно застучали молотками, что Никодем не разобрал сначала, что они делают. Но скоро увидел переброшенные на берег бревна и поспешно настилаемые доски.

— Измена! Гистиэя обманули! Гистиэй! Гистиэй!

Грубые руки схватили его за плечи, и над ухом кто-то прохрипел:

— Ты пойман! Ты пленник Гистиэя!

Он оттолкнул невидимого врага, схватился за меч, но множество других рук вцепилось в него со всех сторон.

Кружась в отчаянной схватке, он слышал торопливый топот по мосту, видел скудные пятна света, мелькавшие в них верблюжьи и конские ноги, края одежд.

Дарий переходил Истр.

Как только мрак фракийского берега поглотил кучку людей, пугливо сидевших на верблюжьих горбах, взвились высокие столбы огня. Мост и деревянные башни на берегу запылали, озаряя степь, волнующийся Истр и отходящие суда.

— Свобода! Свобода! — кричали на кораблях.

— Да живет царь царей! Да сгинут его враги! — отвечал Гистиэй.

В красном зареве выступили бесчисленные полчища скифов. У предмостных башен их встречал, сверкая латами Никодем, распятый на воткнутых в землю копьях.

III

Пока совершались события, гибла слава Дария и возносилась скифская звезда, Атосса пребывала между жизнью и смертью. Она лежала в бреду и редко приходила в сознание. Большая телега, убранная войлоком, овчинами и рысьими шкурами, влекла ее следом за удалявшейся войной. Степь ликовала. Иданфирс гнал Дария как зайца, травимого собаками.

Когда Атосса пришла в себя, ей показали вереницу персов со связанными руками, с тяжелой поклажей на спине. Они громко плакали при виде своей царицы. Жизнь возвращалась к ней медленно. Казалось, этому телу уже не быть упругим, а глазам не загораться страстью. Но она не знала целительной силы степей, их густого воздуха, их бараньего и конского мяса. Она не знала великой силы кобыльего молока, от которого происходит скифская мощь и крепость. И она вернулась к жизни обновленная, не чувствующая своего тела.

Свита развлекала ее рассказами о предстоящей свадьбе с Иданфирсом. Это будет всенародное торжество — великий пир победы над Дарием! Ей показывали ее свадебные одежды, меха, украшения. Рассказывали о подвигах Иданфирса, о его доблести.

Но ничего не говорили об Адонисе...

Только раз прошла молва, что он смешал в чаше свою кровь с кровью Иданфирса и сделался другом царя.

Война подходила к концу. На далеком Истре скифский аркан уже закинут над Дарием, и, когда дерзкий завоеватель будет пойман и привязан к седлу, скифы возвратятся на Борисфен для великих торжеств. К ним

готовились: разбивали палатки, сгоняли стада, собирали бурдюки с кобыльим молоком.

Поставили брачную палатку и показали ее Атоссе. В ней ничего не было, кроме ложа, но стены, покрытые материей привезенной из Ольвии, пестрели вышитыми цветами, поднимавшимися от земли до купола. Глядя на эту могилу счастья, царица думала: за тем ли склоняла Дария на святотатственный поход? Это ли предвидела в Пафосе? Пафос! Так обманывать могут только боги...

IV

В одно пасмурное утро с Истра пришла весть о гибели чудесного эллина, принесшего скифам весть о нашествии и разделившего с ними тягости похода. Хотели воздать ему небывалые почести и похоронить на Борисфене среди царских могил. Но не успел кончиться день, как по всему становью поднялся плач. На скифов обрушилось новое горе — умер Иданфирс. Смерть ему принесли приближенные в ларце из эбенового дерева, найденного среди вещей, брошенных Дарием. Царь долго любовался его украшениями, но когда снял крышку, черная змея подняла голову и ужалила его в руку.

«Он упал, как дуб, и от падения его содрогнулась степь», — пели слепые певцы.

Забыты были радость победы, упоение мезтью. Люди отказались до дня похорон пить кобылье молоко и есть мясо.

Приготовления к свадебному торжеству сменились на похоронные. От самых отдаленных становий тянулись скрипучие повозки, а с Истра возвращалось войско, везя с собой тела Иданфирса и Никодема.

Им готовили могилу.

Вбили в землю кол, привязали аркан и, очертив ровный круг, выложили его большими белыми камнями. Когда он костяным ожерельем забелел среди равнины, к нему стал стекаться народ и стоял и пел все время, пока внутри круга копали могилу. Сначала сняли слой черной жирной земли, от которой рождается жизнь и счастье степей, потом пошел песок, бурая глина и, наконец, глина белая. В белой глине покоились все скифские цари, и в ней же будет спать Иданфирс со своими конями, женами и рабынями. Рабыни лежали уже в палатках свя-

занные, с заткнутыми ртами, а жены, бледные, вдохновенные, наряжались в лучшие одежды в ожидании торжественного часа.

По страшному дрожанию почвы, ржанию и лязгу железа Атосса узнала о прибытии войска. Зубы у нее застучали, как в час наступления Великой Ночи.

Он прибыл с войсками.

Стали готовиться к похоронам. Поставили большую черную палатку, отнесли туда кремневый нож, каменный топор и веревку.

Становье притихло. Только из одного шатра неслись крики, песни, завывание костяных дудок. Это пировали лучшие друзья царя. Завтра им предстояло встать на вечную стражу вокруг могильного холма. Им все было позволено в их последний день. Ни одна скифская женщина или девушка не смела отказать в исполнении их желаний.

К Атоссе пришла толпа старейшин, лучших людей. Ее просили почтить скифский народ и лечь в могилу с царем.

— Ты еще не успела стать женой Иданфирса, и закон не принуждает тебя умереть с ним вместе, но бывали примеры благочестия и со стороны невест. Следовать за умершим женихом еще почетней. Таких царей, как Иданфирс, не бывало, и тебя ждет великая слава. Ты будешь вечно жить в сердцах скифов.

— Мне нельзя умирать,— сказала Атосса.

Она затворилась в своей полутемной палатке и следила, как колебалась степь, вышитая на матерчатых стенах.

V

В тот день, когда пришло известие о смерти Иданфирса, Атосса поняла, что приближается разгадка ее жизни. Скоро откроется: обманом или предопределением было все случившееся?

Ей было ясно, что она, дочь Кира, не будет больше украшением венца ни одного скифского царя. Но неужели не сбудется и то, ради чего она прошла от Суз до Борисфена?

В фыркanye ветра ей слышался смех над ее заброшенностью, над пленом, над тем, что она томится от

любви к звероподобному скифу... Весь день было холодно, но к вечеру потеплело и наступило такое затишье, что можно было слышать плач ребенка в далеком становье. Палатка озарилась. Это развинулись тучи на краю степи, и в образовавшуюся трещину хлынула желтая, как вино, заря. Где-то щелкал бич, скрипела телега.

Тогда матерчатые стены дрогнули. Но не от ветра. Перед ней стоял Адонис.

Сначала она подумала, что ее хотят отдать новому властителю. Но улыбка его, когда-то каменная, струилась светом, растоплявшим, как воск, все лежавшее глыбой на ее сердце. Царица поняла, что нет, не обманута она в Пафосе и не ложью была Великая Ночь.

На нее снисходила благодать, провиденная в юности, в темные ночи на крыше дворца. Пришел миг слияния с божеством.

К ней приближался возлюбленный Афродиты.

VI

Уже давно рассвет просочился в палатку, становье наполнилось голосами, долетело варварское пение похорон. Царица ничего не замечала. Ей казалось, что она не в палатке, а в поле, что степь не сожжена, но вся в цветении и над нею колокольчики звонят о ее победе, о том, что жила не напрасно.

Царице чудится заглушенный крик и стон. Она знает, что это удавливают веревкой наложниц и жен царя, но ей не страшно и не жаль. Она вспоминает оттаявший мрамор, ожившую улыбку и бездну, в которой так сладко было утонуть. Ей ясно теперь, что без Него не цветут цветы и не голубеет небо. Где Он? Зачем Он ее покинул?

Становье опустело. Народ ушел в поле. Там хоронили того, кто славой превзошел всех царей и чье имя не забудется вовеки. Хоронили и того, кто в неведомых землях за далеким Понтом родился скифом в душе, провидел великое предназначение степного народа и пришел к своим братьям в час беды.

Никодем уже лежал в могиле, но царя не было. Он совершал на похоронной колеснице последний прощальный круг по степи. А из черной палатки приносили последних рабынь и наложниц. От груды их тел по белому дну могилы паучьими лапами протянулись струйки крови.

Но всех ждавших прибытия царя смутило появление Атоссы. Толпа с шепотом расступилась, пропустив ее к самой могиле. Она смотрела на человеческие тела и конские туши взглядом, которому непонятна смерть. Непонятны были и всадники со свесившимися головами, подпертые копьями. Они напомнили ей тот вечер в степи, когда она с Ним вместе обходила такой же круг наездников. Бледных лиц, ослабленных ртов и свежей крови, стекавшей по копьям, она теперь не боялась. Пошла, как в тот вечер, по кругу и почти различала Его шаги рядом с собой.

Но на половине пути, ноги сами собой приросли к земле и окаменели. Одна половина души стала бесстрастной зрительницей и спокойно наблюдала, как другая сжалась, застонала, как от удара ножом.

С мертвого коня ей улыбался Адонис. Кровь лентой стекала у него от виска к подбородку.

— Она улетает душой в тот мир, — шептались скифы.

Теперь глаза ее, погасившие свои огни, походили на исступленные глаза халдеев, что совершали на Истре плач о Фамузе.

Плачут травы полей окрест, плачут каробы
Плачет вокруг них чаща лесная.
О муже решений, который не возвращается,
О лучезарном друге Иштар печалится степной шалаш,
О жестоком, который не возвращается.

Показалась похоронная колесница. Ей предшествовали конские табуны, стада быков и баранов, принадлежавшие Иданфирсу, а также его рабы. Звонили колокола, терявшиеся в золотой бахrome, окаймлявшей балдахин над повозкой. Колокола висели на попонах и сбруе восьми коней, запряженных в колесницу. Когда гремущая храмина приблизилась к могиле, увидели шедших за гробом окровавленных людей с растрепанными волосами. Одни истекали кровью от ножевых ран. Другие испускали вопли такого отчаяния, что молодым скифам, впервые видевшим похороны, не верилось, будто это наемные плакальщики. Только родственники Иданфирса были печально молчаливы. Они несли его заморские вазы, наполненные вином, кумысом, оливковым маслом. Несли медные котлы с пищей для покойника, оружие и домашнюю утварь. Ни один царь не уносил с собой столько в загробную жизнь. Лежавшему Иданфирсу называли по имени всех друзей, вставших на стражу вокруг кургана.

перечислили жен, друга Никодема, рабов и коней положенных в могилу.

Когда гроб с вырезанными на нем крылатыми, когтистыми зверями стали опускать в землю на веревках из конского волоса, несколько человек зарезалось на краю ямы.

Потом стенания разом смолкли, толпа отодвинулась, и старейший из скифов, выйдя на середину круга, заявил, что царь не умер. Все стоявшие поблизости подходили к яме и, заглянув в нее, подтверждали, что царь в самом деле не умер: он спит под своим сверкающим пологом. Одни уверяли, будто грудь его вздымается от дыхания, другие замечали румянец на щеках. Хотя от Никодема и от Иданфирса исходил сильный запах тления, скифы изощрялись в вымыслах.

— Он не умер, он живой уходит от нас! Прощай, Иданфирс!

Колесницу, на которой привезено было тело, разломали на мелкие куски и разбросали вокруг могилы. Знатных стали угощать вином, а простой народ — кобыльим молоком. Люди пили и громко хвалили Иданфирса и Никодема.

Когда настало время закрывать яму, произошло замешательство. Кто-то с криком продирался сквозь толпу, нарушая торжественность. Красный от поспешной ходьбы человек, захлебываясь, проговорил несколько слов, от которых во все стороны прокатились радостные возгласы.

Царица почтила скифский народ. Она согласилась лечь в могилу с Иданфирсом.

VII

В ее честь сделали на рукоятке царского топора новое золотое клеймо. Принесли лучших бобров, дорогие ожерелья, браслеты, и в то время, как знатнейшие жены облачали ее в меха и в золото, девушки пели свадебные песни. Потом всем народом свели на ближайший курган пред лицо Великой Матери. Там, на самой вершине, над степным простором чернел врезанный в небо идол с чуть обозначенной головой.

Атоссе знакома была эта расползающаяся к основанию масса, черная глыба без лица — изначальный, пред-

вечный, благой и карающий конус. Она простерлась ниц и облобызала холодный камень.

Оттуда начался ее путь к палатке смерти.

Народ послал с ней последний привет Иданфирсу. Царица одна подошла к тяжелой занавеси, за которой было молчание подземелья, ночь без звезд, пространство без предела.

В степи звонко заржал жеребенок.

Несметная толпа замерла при виде дрогнувшей руки, вцепившейся в занавес и оставшейся неподвижной.

Ни простые люди, ни стоявшие впереди старцы не нарушили тишины, длившейся до тех пор, пока Атосса не перешагнула порога палатки и не скрылась в ее тьме.

Народу сказали, что царица вступила в первый круг блаженства.

Никто не видел, как ей сначала поклонились в ноги, а потом, обвив шею веревкой и прокричав страшное заклятье, ударили кремневым ножом под ребра. Не видели раскрывшегося рта, рук, спохватившихся сделать что-то последнее и самое нужное. И некому было поведать истину, что открылась ей в тот миг. В ушах у нее возник гул пафосской бездны...

И это был второй круг ее блаженства.

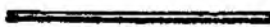
Путь к могиле был короток и великолепен. Варвары воздавали ей царские почести, но хоронили как невесту: положили на отдельное ложе, огражденное мечами, дали в правую руку мак, чтобы она забыла об этом мире, чтобы он не снился ей, а в левую — ветку лозы, чтобы из всего, что есть на земле, вспоминала только любовь.

Ее положили головой к сидящему на коне Адонису. И это был третий круг ее блаженства.

Потом яму закрыли бревнами, завалили глиной и стали насыпать холм. Каждый воин должен был на щите

принести черной степной земли во славу погребенных героев. Десятки тысяч людей устремились со всех сторон с торжественной ношей. Несли все, от самых знатных до самых простых. Даже дети спешили хоть горсть бросить на великую могилу.

Земля сыпалась каскадами, и скоро к небесам вознесся памятник вечной славы черный, конусообразный, как пафосский бэтил, курган, схоронив под собой Атоссу, дочь Кира, супругу Дария, царицу персидскую.



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАННАХ

ГЕОРГ
ЭБЕРС

ИМПЕРАТОР

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предрассветный сумрак исчез. Первого декабря 129 года новой эры солнце показалось на небе, как бы окутанное пеленой молочно-белых испарений, поднимавшихся с моря. Было холодно.

Казий, гора средней высоты, стоит на приморской косе между южной Палестиной и Египтом; с севера она омывается морем, которое в тот день не сверкало, как обычно, ярким ультрамариновым светом. Дальние волны его отливали мрачной, черной синевой, ближайšie же отличались совершенно другим колоритом, переходившим в унылый, серо-зеленый оттенок там, где они сливались со своими сестрами у горизонта, словно пыльный дерн на темных полосах лавы.

Северо-восточный ветер, поднявшийся с восходом солнца, начал крепчать; млечно-белая пена показалась на гребнях волн, но эти волны не бились с бешенством о подошву горы; бесконечно длинной, плавной зыбью катились они к берегу, медленно, точно тяжелый, расплавленный свинец. Порой все же от них отделялись легкие, светлые брызги, когда их крыльями задевали чайки, которые, словно в страхе, метались туда и сюда и с пронзительным криком стаями носились над водой.

По тропинке, спускавшейся с гребня горы на равнину, медленно двигались три путника. Но только один из них — старший, бородатый, который шел впереди, — обращал внимание на небо и на море, на чаек и на дикую долину внизу. Вот он остановился, и примеру его в тот же момент последовали его товарищи. Ландшафт у его ног, по-видимому, приковал его взгляд и удивил его. Узкая

полоса пустыни, отделяя воды двух морей, тянулась перед ним к западу в необозримую даль. По этой самой природой созданной дамбе двигался караван. Мягкие копыта верблюдов беззвучно ступали по дороге, по которой пролегал их путь. Их всадники, закутанные в белые бурнусы, казалось, спали, а погонщики предавались грезам. Серые орлы, сидевшие по краям, не трогались с места.

Вправо от низкого побережья, по которому шел путь из Сирии в Египет, лежало море, совершенно лишенное блеска и сливавшееся с серыми тучами; влево, среди пустыни, виднелась какая-то странная местность, конца которой не было видно ни к востоку, ни к западу и которая была похожа то на снежное поле, там — на стоячую воду, а в иных местах — на чащу густых тростников.

Старший из спутников непрерывно смотрел то на небо, то вдаль; другой — раб, несший на своих ширских плечах одеяла и плащи, не спускал глаз со своего повелителя, а третий — юноша из свободных граждан — с усталым и мечтательным видом глядел вниз, на дорогу.

Тропинку, спускавшуюся с вершины горы к морскому берегу, пересекала широкая дорога, которая вела к величественному зданию храма, и на эту-то дорогу и вступил бородатый путешественник. Но он прошел по ней лишь несколько шагов, затем остановился, с досадой покачал головой, пробормотал про себя несколько невразумительных слов, ускоренным шагом повернул назад к узкой тропе и стал спускаться в долину.

Его молодой спутник последовал за ним, как тень, опустив чело и не выходя из своей задумчивости; а раб поднял коротко стриженную белокурую голову, и улыбка превосходства пробежала по его губам, когда он увидел у левого края дороги труп павшего черного козленка и возле него старую пастушку, которая при приближении мужчин боязливо спрятала свое морщинистое лицо под сине-черным покрывалом.

— Есть из-за чего! — пробормотал раб, выпятив губы, и послал воздушный поцелуй молодой черноволосой девушке, сидевшей на корточках у ног старухи. Но она этого не заметила; точно зачарованная, следила она за путниками и в особенности за юношей. Как только все трое удалились настолько, что слов ее не было слышно, девушка вздогнула и приглушенным голосом спросила:

— Кто это, бабушка?

Старуха подняла покрывало, приложила руку к губам внучки и боязливо прошептала:

— Он!

— Император?

Старуха отвечала многозначительным кивком головы, но девушка с нетерпеливым любопытством продолжала приставать к бабке и, вытянув далеко вперед темноволосую голову, тихо спросила:

— Молодой?

— Глупая! Тот, что идет впереди. Седобородый.

— Вон тот? А мне бы хотелось, чтобы императором был молодой.

Действительно человек, который шел молча впереди своих спутников, был римский император Адриан, и казалось, что его прибытие оживило пустыню: едва он приблизился к камышам, чибисы поднялись оттуда ввысь с резкими криками, а из-за песчаного холма, лежавшего у края той широкой дороги, по которой не пошел Адриан, вышли два человека в жреческих одеждах. Оба они принадлежали к храму Казийского Ваала небольшому зданию из твердого камня горной породы, которое своим фасадом выходило к морю и накануне удостоилось посещения императора.

— Не сбился ли он с дороги? — спросил один из жрецов другого по-финикийски.

— Едва ли, — отвечал тот. — Мастер говорил, что император даже в темноте найдет любую дорогу, по которой ходил хоть один раз.

— Однако же он смотрит больше на облака, чем на землю, — заметил другой.

— Но он ведь обещал нам вчера...

— Не обещал ничего определенного.

— Нет. При прощании он крикнул (я это явственно слышал): «Может быть, я снова приду посоветоваться с вашим оракулом»...

— «Может быть»...

— Мне кажется, он сказал: «вероятно».

— Кто знает, какое знамение, открытое им в небесах, гонит его отсюда, — сказал другой. — Он идет к лагерю, расположенному на берегу моря.

— Но в нашей парадной трапезной для него приготовлен обед.

— Ну, для него-то всегда стол накрыт. Пойдем. Какое скверное утро; я продрог!

— погоди немного, посмотри.

— Что такое?

— Его поседевшие волосы не прикрыты даже шапкой.

— Еще никто не видел его с покрытой головой во время путешествий.

— Да и его серый плащ кажется вовсе не императорским.

— Но на пиршествах он всегда носит багрянцу.

— Знаешь ли, кого он напоминает мне походкой и внешностью?

— Ну?

— Покойного верховного жреца нашего, Абибаала, — тот тоже шествовал так величественно и задумчиво и носил такую же бороду, как император.

— Да, да... и тот же испытующий и задумчивый взгляд...

— Тот тоже часто смотрел ввысь. Даже широкий лоб у них одинаковый... Только нос у Абибаала был более крючковат и волосы не такие курчавые.

— Уста нашего учителя носили печать достоинства и серьезности, в то время как губы Адриана при каждом слове, которое он слышит или сам произносит, вытягиваются и кривятся, как для насмешки.

— Взгляни, вот он поворачивается к своему любимцу; кажется, этого красивого молодца зовую Антонием?

— Антиномом, а не Антонием. Говорят, что он откопал его где-то в Вифинии.

— Какой красавец!

— Да, красоты несравненной. Что за стан, что за чудное лицо! Однако я не желал бы, чтобы он был моим сыном.

— Как! Ведь он любимец императора.

— Именно поэтому... У него уже и теперь такой вид, будто он насладился всем и ни в чем уже не находит радости.

На небольшой площадке у самого берега моря, защищенной от восточного ветра утесами из рыхлого камня, стояло множество шатров. Между ними горели костры, вокруг которых толпились римские солдаты и слуги императора. Полунагие ребятишки, сыновья рыбаков и погонщиков верблюдов, озабоченно бегали туда и сюда, подкладывая в огонь сухие стволы тростника и ветки дикого колючего кустарника. Но как ни усиливалось пламя, дым не поднимался в высоту. Разгоняемый короткими порывами ветра, он стлался над землей легкими облаками, подобными стаду баранов, рассеявшихся в разные стороны, словно ему страшно было подняться в этот серый, неприятный и влажный воздух.

Самый большой из шатров, перед которым ходили попарно взад и вперед римские часовые, был открыт настежь со стороны моря. Рабы, выходявшие оттуда через широкую дверь на воздух, должны были обеими руками крепко придерживать на своих бритых головах подносы, уставленные золотыми и серебряными блюдами, тарелками, кубками и стаканами, чтобы ветер не сбросил их на землю. Внутри палатка не блистала никакими украшениями.

На мягком ложе у правой стены палатки, колебавшейся от порывистого ветра, лежал император. Его бескровные губы были крепко сжаты, руки скрещены на груди, глаза полужакрыты. Но он не спал. Несколько раз открывал он рот, и губы его шевелились, точно он пробовал какое-то кушанье. Временами он поднимал свои тяжелые веки, сплошь покрытые мелкими морщинками и синими жилками, устремлял взор в вышину, в сторону или вниз, в середину шатра.

Там, на шкуре огромного медведя, окаймленной синим сукном, лежал любимец Адриана, Антиной. Его прекрасная голова покоилась на искусно набитой голове этого зверя, сраженного его повелителем. Правая нога свободно качалась на весу, поддерживаемая согнутой левой, а руки были заняты игрой с молосской собакой императора, которая припала своей умной головой к обнаженной высокой груди юноши и часто порывалась, в знак привязанности, лизать его нежные уста. Но Антиной не допускал ее до этого, он шутя сжимал руками морду собаки или же окутывал ее голову концом белого паллия¹, соскользнувшего с его плеч.

Игра эта, по-видимому, нравилась собаке; но когда Антиной обвил слишком плотно ее голову и собака, напрасно стараясь освободиться от этого покрова, стеснявшего ее дыхание, громко завывала, император изменил позу и бросил недовольный взгляд на своего любимца. Только взгляд, и ни одного слова упрека. Но в ту же минуты выражение глаз Адриана изменилось. Он смотрел на фигуру юноши с любовным вниманием, словно на изысканнейшее произведение искусства, которым никогда нельзя вдоволь налюбоваться.

И в самом деле, бессмертные боги сотворили из тела этого юноши живое изваяние! Необыкновенно нежен и вместе силен был каждый мускул этой шеи, этой груди, этих рук и ног. Никакое человеческое лицо не могло представлять собой более совершенной гармонии.

Антиной заметил, что его повелитель обратил внимание на его игру с собакой. Он оставил животное в покое и обратил взгляд своих больших, оживленных глаз на императора.

— Что ты там делаешь? — ласково спросил Адриан.

— Ничего, — отвечал тот.

— Нет человека, не делающего ничего. И если кому-нибудь кажется, будто он достиг полной бездеятельности, то он по крайней мере думает о том, что ничем не занят, а думать — это уже много значит.

— Я вовсе не могу думать.

— Каждый может думать, и если ты не думал именно в эту минуту, то все же ты играл.

— Да, с собакой.

При этих словах Антиной отстранил животное и опустил кудрявую голову на ладони.

— Ты устал? — спросил император.

— Да.

— Мы оба спали в эту ночь одинаково мало, и однако же я, который намного старше тебя, чувствую себя бодрее.

— Ты еще вчера говорил, что старые солдаты пригодны к ночной службе лучше молодых.

Император кивнул головой и сказал:

— В твоём возрасте люди, когда они не спят, живут втрое быстрее, чем в моём, а потому вдвое больше нуждаются во сне. Ты вправе быть утомленным. Мы взошли на гору только в три часа пополуночи, но как часто пиры оканчиваются еще позднее!

— Как там, вверху, было холодно и неприятно!

— Да, но только после восхода солнца.

— Сначала ты этого не замечал, — возразил Антиной, — потому что был занят созерцанием звезд.

— А ты только самим собой. Это правда!

— Я думал также о твоём здоровье, когда похолодало перед выездом Гелия.

— Я должен был дожждаться его появления.

— Разве ты и по восходу солнца умеешь узнавать будущее?

Адриан с удивлением посмотрел на юношу и отрицательно покачал головой. Затем он устремил взор на потолок шатра и после длительного молчания заговорил короткими фразами, часто прерывая их паузами:

— День — это сплошь настоящее; будущее же возникает из тьмы. Из земной борозды вырастают злаки; из

мрачной тучи изливается дождь, из чрева матери выходят новые поколения; во сне возобновляется свежесть наших членов. А кто может знать, что возникает из темной смерти?

Вслед за тем император некоторое время безмолвствовал, и юноша спросил его:

— Но если солнечный восход не объясняет тебе будущего, то зачем ты так часто прерываешь свой ночной отдых и взбираешься на горы, чтобы наблюдать его?

— Зачем... зачем?..— медленно отвечал Адриан, задумчиво погладил свою поседевшую бороду и, как бы говоря сам с собой, продолжал:

— На этот вопрос разум не дает ответа, уста не находят слов; но если бы и то и другое было в моем распоряжении, то кто бы из черни мог понять меня? Это лучше всего можно объяснить образами. Всякий, принимающий участие в жизни, есть действующее лицо на мировой сцене. Кто хочет быть высоким в театре, тот надевает котурны¹, а разве гора не есть высочайший пьедестал, на котором только может покоиться человеческая пята? Гора Казий — это холм, но я стоял на гигантских вершинах и видел под собой облака, словно Юпитер с вершины Олимпа.

— Тебе нет надобности всходить ни на какие горы, чтобы чувствовать себя богом! — вскричал Антиной. — Тебя называют «божественный»; ты повелишь — и целый мир должен повиноваться. Правда, на горе человек ближе к небу, чем на равнине, но...

— Но?

— Я не решаюсь высказать мысль, которая мне пришла в голову.

— Говори смело.

— Была одна маленькая девочка. Когда я сажал ее к себе на плечо, она обычно поднимала руки кверху и кричала: «Какая я большая!» В эту минуту ей казалось, что она выше меня, а все же она была та же малютка Пантея.

— Но ей казалось, что она была большая, и этим решается вопрос, ибо для человека всякий предмет таков, каким он его ощущает. Правда, меня называют «божественным», но я по сто раз в день чувствую ограниченность человеческой силы и человеческой природы, за пределы которых я никак не могу выйти. На вершине какой-нибудь горы я не чувствую этого. Там мне кажется, что я велик, так как ничто на земле, ни вблизи, ни вдали, не возвы-

шается над моей головой. И когда там перед моим взором исчезает ночь, когда лучезарное сияние восходящего солнца вновь возрождает для меня мир, возвращая моему восприятию все то, что еще недавно было поглощено мраком, тогда глубоким дыханием вздымается грудь и упивается чистым и легким воздухом высей. Лишь там, наверху, в одиноком безмолвии, ничто не напоминает мне о земной суете; там я ощущаю свое единство с великой расстилающейся передо мной природой. Приходят — уходят морские волны; опускаются — поднимаются кроны деревьев в лесу; туманы, пары и облака летят и рассеиваются во все стороны, и там, вверху, я чувствую себя настолько растворившимся в окружающем меня мироздании, что порой мне кажется, будто все оно приводится в движение собственным моим дыханием. Как журавлей и ласточек, так и меня тянет вдаль. И поистине, где же глазу дано созерцать недостижимую цель, если не на вершине горы? Безграничная даль как будто принимает здесь осязательную форму, и взор как бы прикасается к ее пределам. Расширенным, а не вознесенным чувствую я все свое существо, и исчезает тоска, испытываемая мной, когда я принимаю участие в водовороте жизни или когда государственные заботы требуют моих сил... Но этого, мальчик, ты не понимаешь... Все это тайны, которыми я не делюсь ни с кем из смертных.

— И лишь мне одному ты не гнушаешься открыть их! — воскликнул Антиной, который теперь совсем повернулся в сторону императора и, широко раскрыв глаза, старался уловить каждое его слово.

— Тебе? — спросил Адриан, и улыбка, не совсем чуждая насмешке, заиграла у него на устах. — От тебя я скрываю не больше, чем от того Амура, изваянного Праксителем, что стоит в Риме у меня в кабинете.

Вся кровь юноши прихлынула к лицу, окрасив щеки пылающим пурпуром. Император это заметил и добавил успокоительным тоном:

— Ты для меня больше, чем произведение искусства. Мрамор не может покраснеть. Во времена Праксителя красота правила миром. Ты же доказываешь мне, что и в наши дни богам бывает угодно воплощаться в зримых образах. Глядя на тебя, я примиряюсь с дисгармонией нашей жизни. Это мне приятно. Но разве я могу требовать, чтобы ты меня понимал? Чело твое не создано для раздумья... Или, может быть, ты понял что-либо из моих слов?

Антиной оперся на левую руку и, подняв правую, произнес решительно:

— Да.

— Что же именно?

— Мне знакома тоска.

— По чему?

— По многим вещам.

— Назови хоть одну.

— По удовольствию, за которым не следовало бы отрезвления. Такого я не знаю.

— Эту тоску ты разделяешь со всей римской молодежью. Но только она опускает твое придаточное предложение... Дальше!

— Не смею сказать.

— Кто запрещает тебе говорить со мной откровенно?

— Ты сам.

— Я?

— Да, ты, потому что ты запретил мне говорить о моей родине, о моей матери, обо всех мне близких.

Лоб императора нахмурился, и он отвечал сурово:

— Твой отец — я, и вся твоя душа должна принадлежать мне.

— Она твоя, — отвечал юноша, снова опускаясь на медвежью шкуру и плотно окутывая плечи плащом, так как холодный ветер подул в открытую дверь шатра, через которую вошел Флегон, личный секретарь императора. За ним следовал раб с множеством запечатанных свитков подмышкой.

— Не благоугодно ли будет тебе, цезарь, покончить с полученными бумагами и письмами? — спросил секретарь.

— Да, а затем мы запишем то, что мне удалось заметить в эту ночь. Под рукой ли у тебя таблички?

— Я велел приготовить их в рабочем шатре, цезарь.

— Буря усилилась?

— Ветер, по-видимому, дует разом и с востока и с севера. На море сильные волны. Императрице предстоит бурное плавание.

— Когда она отправилась?

— Якорь был поднят около полуночи. Ее корабль — прекрасное судно, но оно отличается боковой, весьма неприятной качкой.

При последних словах император громко и ядовито воскликнул:

— Качка перевернет ей вверх дном и сердце, и желудок. Я желал бы присутствовать при этом! Но нет... клянись богами, нет! Я не желал бы этого. Сегодня она, наверное, позабудет наругаться. Да и кто соорудит ей прическу, когда и ее служанок тоже постигнет несчастная судьба? Мы еще останемся сегодня здесь, потому что если я встречу с ней тотчас после ее прибытия в Александрию, то вся она будет желчь и уксус.

При этих словах Адриан встал с ложа, движением руки послал привет Антиною и вышел в сопровождении секретаря из палатки.

При разговоре фаворита с его повелителем присутствовал еще третий человек, стоявший в глубине шатра, — язиг¹ Мастор.

Это был раб, и потому на него обращали так же мало внимания, как на молосскую собаку, следовавшую за Адрианом.

Мастор, красивый, хорошо сложенный мужчина, некоторое время покручивал концы длинных рыжеватых усов, поглаживал свою круглую, коротко стриженную голову, запахнув хитон на груди, сиявший необыкновенной белизной; он не спускал при этом глаз с Антиноя, который лежал, повернувшись в другую сторону, и, уткнувшись в шкуру медведя, прикрыл лицо руками.

Мастор хотел ему что-то сказать, но не решался окликнуть его, потому что императорский наперсник обращался с ним не всегда одинаково. Иногда он охотно слушал его, иногда же обрывал с большей суровостью, чем самый надменный выскочка последнего слугу. Наконец раб набрался смелости и окликнул Антиноя, так как ему легче было перенести брань, чем таить в душе горячо прочувствованную и уже облеченную в слова мысль, как бы она ни была незначительна.

Антиной слегка приподнял склоненную на руки голову и спросил:

— Что тебе нужно?

— Я хотел только сказать тебе, — ответил язиг, — что знаю, кто была маленькая девочка, которую ты не раз поднимал на плечи. Не правда ли, это была твоя сестренка, о которой ты мне рассказывал недавно?

Антиной утвердительно кивнул головой, снова опустил ее на ладони, и плечи его начали вздрагивать, словно он плакал.

Мастор несколько минут молчал. Затем он подошел к Антиною и сказал:

— Тебе известно, что у меня дома сын и дочурка. Я люблю слушать о маленьких девочках. Мы теперь одни, и если твою душу облегчает...

— Отстань! Я уже десять раз говорил тебе о своей матери и о маленькой Пантее,— возразил Антиной, стараясь казаться спокойным.

— Так расскажи, не стесняясь, в одиннадцатый,— настаивал раб.— Я-то и в лагере, и на кухне могу говорить о своих сколько мне угодно. Но ты!.. Ну как же называлась собачка, для которой малютка Пантея сшила красную шапочку?

— Мы звали ее Каллистой! — вскричал юноша, отирая глаза рукой.— Мой отец не терпел ее, но мы склонили мать на свою сторону. Я был ее любимцем, и, когда обнимал и с мольбой смотрел на нее, она говорила «да» на все, о чем бы я ни попросил.

Веселый блеск появился в усталых глазах Антиной: ему вспомнились те радости, за которыми никогда не следует отрезвление...

Один из царских дворцов в Александрии, построенных Птолемеями, стоял на косе, называемой Лохиада и выдававшейся в синее море в виде пальца, указывающего на север. Она служила восточной границей Большой гавани. В этой гавани всегда стояли разные суда, но теперь их было особенно много. И набережная, вымощенная шлифованными каменными плитами, которая вела к морской косе из дворцового квартала Александрии — так называемого Брухейона, омываемого морем,— была до такой степени переполнена любопытными гражданами, пешими и в колесницах, что последним пришлось не раз останавливаться, прежде чем они добрались до гавани, где останавливались императорские корабли.

И в самом деле, у пристани можно было увидеть необыкновенное зрелище. Там, под защитой высоких молв, стояли великолепные триремы, галеры, легкие и грузовые суда, которые привезли в Александрию супругу Адриана и свиту императорской четы. Большой корабль с очень высоким павильоном на корме и с головой волчицы на носу, высоко вздымавшемся в смелом изгибе, привлекал особое внимание. Он был весь выстроен из кедрового дерева, богато украшен бронзой и слоновой костью и назывался «Сабиной». Кто-то из молодых граж-

дан, указывая пальцем на это название корабля, изображенное на корме золотыми буквами, подтолкнул локтем товарища и сказал смеясь:

— А у Сабины-то голова волчицы.

— Павлинья голова подошла бы ей больше. Видел ты ее вчера, когда она ехала в Цезареум?

— К несчастью,— вскричал первый, но тотчас же замолчал: как раз за своей спиной он увидел римского ликтора, который нес на левом плече «фашес», пучок из вязовых прутьев, красиво обвитый шнурками; в правой руке он держал палку, которой разгонял толпу, чтобы очистить место для колесницы своего начальника, императорского префекта Титиана, медленно следовавшей за ликтором.

Услыхав неосторожные слова гражданина, сановник сказал, обращаясь к стоявшему возле него мужчине, быстрым движением поправляя складки своей тоги:

— Чудной народ! Я не могу на него сердиться, но охотнее прокатился бы отсюда до Канапа верхом на ноже, чем на языке александрийца.

— Слышал ты, что сказал только что вон тот толстяк насчет Вера?

— Ликтор хотел схватить его, но с ними ничего нельзя сделать строгостью. Если бы с них взыскивать по сестерцию за каждое ядовитое слово, то, уверяю тебя, Понтий, город обеднел бы, а наша казна сделалась бы богаче сокровищницы древнего Гигеса Сардийского.

— Пусть они остаются богатыми,— вскричал Понтий, главный архитектор города, мужчина лет тридцати, с живыми глазами навывкате, и продолжал густым басом, крепко сжимая свиток, который он держал в руке: — Они умеют работать, а ведь пот солон. При работе они по-нукают, а во время отдыха кусают друг друга, как норовистые кони, впряженные в одно дышло. Волк — красивый зверь; но вырви у него зубы — и он превратится в скверную собаку.

— Ты читаешь в моей душе! — вскричал префект. — Но вот мы и приехали. Вечные боги, я не предполагал, чтобы здание было в таком дурном состоянии! Издали оно все-таки имеет довольно внушительный вид.

Титиан и архитектор сошли с колесницы; первый приказал ликтору позвать управляющего дворцом и затем начал осматривать вместе со своим спутником ворота, которые вели к зданию. С двойной колоннадой, увенчанной высоким фронтоном, оно являло вид доволь-

но величественный, но далеко не привлекательный. Штукатурка стен во многих местах обвалилась, капители мраморных колонн были изуродованы самым плачевным образом, а высокие, покрытые металлом створки дверей криво висели на петлях.

Понтий тщательно осмотрел ворота и затем вместе с префектом прошел на первый двор дворца, где во времена Птолемея стоял павильон для посланцев, писцов и дежурных должностных лиц царя.

Там они встретили неожиданное препятствие: от маленького домика, в котором жил привратник, над мощным пространством, на котором зеленела трава и цвел высокий чертополох, было протянуто несколько веревок. На этих веревках было развешено мокрое белье всевозможных видов и размеров.

— Недурное помещение для императора! — вздохнул Титиан, пожав плечами, и отстранил ликтора, поднявшего свои «фашес», чтобы сбросить веревки на землю.

— Оно не так дурно, как кажется, — решительно отвечал архитектор. — Привратник! Эй, привратник! Куда запропастился этот бездельник?

Понтий направился к дому привратника и, согнув спину под мокрым бельем, остановился. Ликтор же тем временем поспешил во внутренние покои дворца. Нетерпение и досада отражались на лице зодчего, когда он ступил за ворота; но теперь он улыбался и вполголоса крикнул префекту:

— Титиан, потрудись прийти сюда.

Престарелый сановник, который был на целую голову выше архитектора, мог, только согнув спину, пройти под веревками. Но это не остановило его: пробравшись под бельем осторожно, чтобы не сбросить его на землю, он крикнул Понтию:

— Я проникаю с уважением к детским рубашонкам. Под ними можно пройти, не сломав спинного хребта.

— Ха, ха, это великолепно! — сказал архитектор.

Последнее восклицание относилось к зрелищу, ради которого он и позвал префекта. И действительно, зрелище было довольно оригинальное: весь фасад привратничьего домика зарос плющом, окаймлявшим даже окно и дверь сторожки. А среди зеленой его листвы висело множество клеток с дроздами, скворцами и другими мелкими певчими птичками. Широкая дверь домика была отворена настежь и позволяла обозревать довольно просторную, весело расписанную комнату. На заднем плане

ее виднелась слепленная из глины превосходной работы модель статуи Аполлона. Всюду на стенах висели лютни и лиры разных форм и величин.

Посреди комнаты, возле отворенной двери, виден был стол, на котором стояли: большая клетка с зеленью между палочками решетки и с множеством гнезд, наполненных молодыми щеглятами, большая кружка для вина и кубок из слоновой кости, украшенный изящной резьбой. Возле этих сосудов, на каменной плите стола, покоилась рука престарелой женщины, заснувшей в кресле. Несмотря на седые усики, красовавшиеся на ее верхней губе, и на грубый румянец лба и щек, ее лицо было ласково и добродушно. Должно быть, она и во сне видела теперь что-то очень приятное, так как выражение ее губ и глаз, один из которых был полуоткрыт, а другой плотно сомкнут, придавало ей такой вид, словно она чему-то радовалась.

На коленях у нее спала серая кошка, а возле кошки, — как бы в доказательство того, что в этой веселой комнате, вовсе не дышавшей запахом бедности, а каким-то своеобразным приятным ароматом, нет места для вражды, — приютилась косматая собачонка, которая белоснежным цветом шерсти, видимо, обязана была очень уж заботливому уходу. Две другие собачонки, похожие на первую, лежали, растянувшись на каменном полу, у ног старухи и, по-видимому, спали так же крепко, как их благодетельница.

Архитектор указал подошедшему к нему префекту пальцем на эту тихую домашнюю сцену и прошептал:

— Сюда бы какого-нибудь живописца, вот вышла бы превосходная картинка!

— Несравненная! — отвечал Титиан. — Но только мне кажется, что густой румянец на лице старухи и стоящая возле нее большая кружка из-под вина несколько подозрительны.

— Но видел ли ты когда-нибудь более мирную, более спокойную фигуру?

— Так спала Бавкида, когда Филемон позволял себе отлучаться. Или этот примерный супруг всегда сидел дома?

— Вероятно. Но вот спокойствие и нарушилось.

Приближение двух друзей разбудило одну из собачек. Она тьякнула; за ней вслед поднялись и две другие, и все они залаяли наперебой. Любимица старухи спрыгнула с ее колен; но сама старуха и кошка не были потревожены этим шумом и продолжали спать.

— Сторожиха такая, что лучше и не нужно, — засмеялся архитектор.

— А этих собак, охраняющих императорский дворец, легко можно убить одним ударом, — прибавил Титиан. — Смотри, достойная матрона просыпается.

Действительно старуху наконец потревожил лай собак; она слегка выпрямилась, подняла руки и, не то проговорив, не то пропев какую-то фразу, снова упала в кресло.

— Вот это великолепно! — вскричал префект. — Она во сне прокричала: «Валяйте повеселей!» Любопытно было бы посмотреть, как это диковинное существо поведет себя, когда проснется.

— Мне было бы жаль выгнать старуху из ее гнезда, — сказал архитектор, развертывая свой свиток.

— Нельзя трогать этот домик! — вскричал префект с живостью. — Я знаю Адриана. Он любитель оригинального в вещах и в людях, и я бьюсь об заклад, что он по своему поладит с этой старухой. Но вот наконец идет смотритель этого дворца.

Префект не ошибся. Быстрые шаги действительно принадлежали ожидаемому ими лицу.

Уже издали слышно было пыхтение спешившего человека, который, прежде чем Титиан мог помешать ему, стал срывать растянутые над двором веревки и сбрасывать их на землю вместе с развешенным бельем.

После падения этого занавеса, который отделял его от императорского наместника и его спутника, он поклонился первому низко, насколько позволяла ему массивность его тела; но его скорый бег и изумление при виде самого могущественного на Ниле человека во вверенном ему надзору здании вконец лишили его самообладания, так что он даже не был в состоянии пробормотать традиционное приветствие.

Впрочем, Титиан не дал ему и времени для этого. Выразив свое сожаление по поводу злополучной судьбы лежавшего на земле белья и назвав смотрителю имя и профессию своего друга Понтия, он в немногих словах сообщил ему, что император желает жить во вверенном смотрителю дворце. Он, Титиан, знает о плохом состоянии здания и приехал сюда, чтобы посоветоваться с архитектором и с ним, смотрителем, каким образом в несколько дней привести в порядок запущенный дворец, как сделать его годным для жительства Адриана и исправить в нем хотя бы те повреждения, которые бросаются в глаза. Смотритель должен провести его по комнатам.

— Сейчас, сию минуту,— отвечал грек, туловище которого за время многолетней праздности стало необычайно тучным.— Я сбегаяю и принесу ключ.

Он удалился, тяжело дыша, и на пути быстрыми движениями круглых, коротких пальцев управлял на правой стороне головы свои еще сохранившиеся волосы.

Понтий посмотрел ему вслед и сказал:

— Верни его, Титиан. Его потревожили во время завивки. Только одна сторона головы была готова, когда за ним пришел ликтор. Ручаюсь головой, он велит завить себе и другую половину, прежде чем вернется сюда. Я знаю своих греков!

— Оставь его,— сказал Титиан.— Если твое суждение о нем верно, то он, не отвлекаясь посторонними мыслями, будет внимателен к нашим вопросам только тогда, когда и другая половина его волос будет завита. Я ведь тоже умею понимать своих эллинов.

— Лучше, чем я, как видно,— отвечал архитектор тоном глубокого убеждения.— Государственный муж работает над людьми так же, как мы — над безжизненным материалом. Заметил ли ты, как толстяк побледнел, когда ты заговорил о немногих днях, по истечении которых император собирается переселиться во дворец? Недурной, должно быть, вид изнутри у этой старой рухляди. Однако нам дорог каждый час, мы слишком уж долго здесь замешкались.

Префект утвердительно кивнул головой и последовал за Понтием во внутренние покои дворца.

Как величествен и гармоничен был план этого громадного здания, по которому водил двух римлян смотритель его Керавн, уже успевший украсить себя превосходно завитыми локонами! Дворец стоял на искусственном холме посреди косы Лохиады. Из множества окон его и с балконов можно было легко обозревать улицы и площади, дома, дворцы и общественные здания мирового города, а также его кишевшую судами гавань. Богата, разнообразна и пестра была перспектива к югу и к западу от Лохиады, а с балкона дворца Птолемеев, на восток и на север, открывался никогда не утомлявший взора вид на бесконечное море, ограниченное только линией горизонта.

Посылая с нарочным гонцом с горы Казий своему префекту Титиану приказ приготовить именно это здание для приема императора, Адриан хорошо знал, в ка-

ком оно было запущенном состоянии. Восстановить основательно внутренность дворца, необитаемого со времени низвержения Клеопатры, было делом должностных лиц. На это он дал им восемь-девять дней.

И в каком виде Титиан и Понтий (у которого от осмотра, обследования и записи пот так и струился со лба) застали эти полуразрушенные и разграбленные чертоги, бывшие некогда вместилищем необычайного великолепия! Колонны и лестницы во внутренних покоях сохранились еще в довольно сносном состоянии, но зияющие потолки парадных зал пропускали дождь, великолепные мозаичные полы в некоторых местах были разрушены, в других — посреди какой-нибудь залы, как и в окруженном колоннами дворике — росла трава, образуя маленькую лужайку. Октавиан Август, Тиберий, Веспасиан, Тит и целый ряд префектов выломали прекраснейшие мозаичные картины в знаменитом Лохиадском дворце Птолемея и отправили их в Рим или в провинцию, чтоб украсить свои городские дома или загородные виллы.

То же произошло и с великолепными статуями, которыми за несколько столетий перед тем украшали этот дворец Лагиды, любители искусств, владевшие, кроме того, и другими, более обширными дворцами в Брухейоне.

Посреди одной обширной мраморной залы находился фонтан великолепной работы, сообщавшийся с превосходным городским водопроводом. Сквозной ветер дул в этой зале и в бурную погоду обдавал водяными брызгами весь пол, совершенно лишенный прежних мозаичных украшений и теперь повсюду, куда бы ни ступила нога, покрытый тонкой темно-зеленой, скользкой и влажной тканью моховых порослей.

В этой-то зале смотритель дворца Керавн, запыхавшись, прислонился к стене и, отирая лоб, скорее пропыхтел, чем проговорил:

— Конец!

Эти слова были сказаны таким тоном, как будто Керавн подразумевал свою собственную кончину, а не конец дворца, и насмешкой прозвучал ответ архитектора, который решительно заявил:

— Хорошо. В таком случае отсюда, может, мы и начнем наш осмотр.

Керавн не возражал, но воспоминание о множестве лестниц, на которые ему придется снова взбираться, придало ему вид человека, приговоренного к смерти.

— Нужно ли и мне оставаться с тобой при твоей дальнейшей работе, которая, вероятно, будет касаться отдельных подробностей? — спросил Понтия префект.

— Нет, — отвечал архитектор. — Разумеется, при условии, если соблаговолишь теперь же заглянуть в мой план и узнаешь, в общих чертах, что я предполагаю сделать, а также уполномочишь меня свободно располагать денежными средствами и людьми в каждом отдельном случае.

— Согласен, — сказал Титиан. — Я знаю, что Понтий не потребует ни одного человека, ни одного сестерция больше, чем это нужно для достижения цели.

Зодчий молча поклонился, а Титиан продолжал:

— Главное, думаешь ли ты в девять дней и ночей покончить со своей задачей?

— В случае крайности — может быть, но если бы мне было дано хоть четыре лишних дня, то — наверно.

— Значит, все дело в том, чтобы задержать прибытие Адриана на четверо суток?

— Пошли к нему навстречу в Пелузий занимательных людей, например астронома Птолемея и софиста Фаворина, который здесь ожидает его. Они сумеют задержать его там.

— Недурная мысль! Посмотрим! Но кто может заранее учесть капризные настроения императрицы? Во всяком случае, считай, что имеешь в своем распоряжении только восемь дней.

— Хорошо.

— Где ты надеешься поместить Адриана?

— По-настоящему пригодна для жилья только незначительная часть старинного здания.

— В этом, к сожалению, мне и самому пришлось убедиться, — веско подтвердил префект и продолжал, обратившись к смотрителю не тоном строгого выговора, а как бы с сожалением:

— Мне кажется, Керавн, что ты, пожалуй, обязан был уж давно известить меня о плохом состоянии дворца.

— Я посылал уже жалобу, — ответил тот, — но на мое ходатайство последовал ответ, что средств не имеется.

— Я ничего об этом не слышал, — воскликнул Титиан. — Когда же ты подавал заявление в префектуру?

— Это было еще при твоём предшественнике, Гатерии Непоте.

— Вот как! — произнес префект с растяжкой. — Уже тогда! Я бы на твоём месте возобновлял своё ходатайство ежегодно и уж, во всяком случае, при вступлении в должность нового префекта. Но сейчас нам недосуг сетовать на промедление. Во время пребывания здесь императора я, может быть, пришлю кого-нибудь из своих чиновников в помощь тебе.

Затем Титиан резко повернулся спиной к зрителю и спросил архитектора:

— Итак, мой Понтий, какую же часть дворца ты имеешь в виду?

— Внутренние покои и залы сохранились лучше других.

— Но о них и думать не стоит! — вскричал Титиан. — В лагере император неприхотлив и довольствуется всем; там же, где есть вольный воздух и вид вдаль, он непременно пожелает их использовать.

— В таком случае мы остановим свой выбор на западной анфиладе. Подержи план, мой почтенный друг, — прибавил архитектор, обращаясь к Керавну.

Зритель исполнил его приказание, а Понтий схватил грифель, энергичным жестом провел им по левой стороне чертежа и проговорил:

— Вот это западный фасад дворца, который виден со стороны гавани. С южной стороны — прежде всего вход в высокий перистиль, который можно использовать как караульню. Она будет окружена комнатами рабов и телохранителей. Следующие, менее обширные залы возле главного прохода мы отведем для должностных лиц и писцов; в этой просторной зале со статуями муз Адриан будет давать аудиенции, и в ней могут собираться гости, которых он допустит к своему столу вот в этом широком перистиле. Менее обширные, хорошо сохранившиеся комнаты, расположенные у того коридора, который ведет в квартиру зрителя, должны быть отведены для секретарей и персонала, лично обслуживающего цезаря; длинный покой, выложенный благородным порфиром и зеленым мрамором и украшенный бронзовыми фризами, я думаю, понравится Адриану в качестве комнаты для работы и отдыха.

— Превосходно! — вскричал Титиан. — Я желал бы показать твой план императрице.

— Тогда вместо восьми дней потребуется восемь недель, — спокойно возразил Понтий.

— Ты прав,— отвечал префект, смеясь.— Но скажи, Керавн, почему нет дверей именно в самых лучших комнатах?

— Они были сделаны из драгоценного туевого дерева, и их потребовали в Рим.

— Твои столяры должны поторопиться, Понтий,— сказал Титиан.

— Лучше скажи, что продавцы ковров смогут порадоваться, так как мы прикроем, где будет возможно, дверные проходы тяжелыми занавесями.

— А что выйдет из этого сырого обиталища для лягушек, которое, если не ошибаюсь, примыкает к столовой?

— Мы устроим здесь зимний сад.

— Пожалуй! Это недурно! Ну, а что мы сделаем с этими разбитыми статуями?

— Самые плохие из них мы вынесем вон.

— В комнате, которую ты предназначил для аудиенций,— продолжал префект,— стоит Аполлон с девятью музами, не так ли?

— Да.

— Мне кажется, эти статуи недурно сохранились.

— Не особенно.

— Урании здесь вовсе нет,— заметил смотритель, все еще держа перед собой план.

— Куда она девалась? — не без волнения спросил Титиан.

— Очень уж она понравилась твоему предшественнику, префекту Гатерию Непоту, и он взял ее с собой в Рим,— отвечал Керавн.

— И на что ему понадобилась именно Урания! — вскричал префект с досадой.— Без нее не обойтись в приемной комнате императора-астронома. Как быть?

— Трудно будет найти другую готовую Уранию одинакового с остальными музами роста, да и нет времени искать. Следовательно, нужно сделать новую статую.

— В восемь-то дней?

— И во столько же ночей.

— Но позволь, прежде чем мрамор...

— Кто думает об этом! Папий сделает нам Уранию из соломы, тряпок и гипса,— мне эта хитрость хорошо известна, а чтобы другие музы не слишком резко отличались от своей новорожденной сестры, они будут подбелены.

— Превосходно! Но почему ты выбираешь Папия, когда у нас есть Гармодий?

— Гармодий слишком серьезно смотрит на искусство, и, прежде чем он сделает набросок, император уже будет здесь. Папий работает с тридцатью помощниками и примет всякий заказ, лишь бы он принес деньги. Право же, его последние произведения, в особенности прекрасная Гигиея¹, сработанная по заказу иудея Досифея, и выставленный в Цезареуме бюст Плутарха приводят меня в восхищение: они полны грации и силы. А кто отличит, что принадлежит ему и что его ученикам? Словом, он умеет устраиваться. Дай ему хороший заработок, и он в пять дней высечет тебе из мрамора группу, изображающую морское сражение.

— Ну, так отдай заказ Папию. Но что ты сделаешь с этими злосчастными полами?

— Их мы залечим гипсом и краской,— ответил Понтий.— А где это не удастся, там, по примеру восточных стран, постелим ковры по каменному полу. О всемилостивая Ночь! Как темно становится! Отдай мне план, Керавн, и позаботься о лампах и факелах, ибо в этом дне и во всех последующих будет по двадцать четыре часа. У тебя, Титиан, я прошу полдюжины надежных рабов, пригодных для рассыльной службы... А ты что стоишь?! Я сказал тебе: свет нужен! У тебя было полжизни на то, чтобы отдохнуть, а после отъезда императора тебе останется столько же лет для той же превосходной цели...

При этих словах смотритель молча удалился, но Понтий не пощадил его и докончил свою фразу, крикнув ему вслед:

— Если только ты не задохнешься до тех пор в своем собственном сале. Что же в самом деле — нильский ил или кровь течет в жилах этого чудовища?

— Мне это безразлично, раз в твоих жилах все жарче пылающий огонь продержится до конца работ,— заметил префект.— Берегись чрезмерного утомления с самого начала. Не требуй от себя невозможного, ибо Рим и весь мир еще ждут от тебя великих произведений. Теперь я, совершенно успокоенный, напишу императору, что для него все будет приготовлено на Лохиаде, а тебе я крикну на прощание: «Отчаиваться глупо... если Понтий тут, если Понтий готов помочь!»

Префект приказал ожидавшим у колесницы ликторам поспешить в его дом, взять там несколько надежных рабов, уроженцев Александрии, которых он перечислил поименно, и отвести их к архитектору Понтию и послать для него в старый дворец на Лохиаде хорошую кровать с подушками и одеялами, а также обед и старое вино. Затем Титиан сел в свою колесницу и поехал вдоль морского берега через Брухейон к великолепному зданию, носившему название «Цезареум».

Он медленно подвигался вперед, так как, чем ближе он был к цели своей поездки, тем гуще становилась толпа любопытных граждан, плотной массой окруживших это обширное здание.

Еще издали префект увидел яркий свет. Этот свет поднимался к небу из больших площадок со смолой, поставленных на башнях по обеим сторонам высоких, обращенных к морю ворот Цезареума. У этих ворот, справа и слева, возвышались два обелиска. На обоих зажигались теперь светильники, укрепленные накануне по четырем углам и на вершине. «Это в честь Сабины», — подумал префект.

— Все, что делает этот Понтий, выполняется толково, и нет более бесполезного дела, чем проверять его распоряжения.

Всецело руководствуясь этим соображением, он не поехал к воротам, которые вели к храму Юлия Цезаря, построенному Октавианом, а велел своему вознице остановиться у других ворот, в египетском стиле, обращенных к садам дворца Птолемеев. Эти ворота вели в императорский дворец. Он был построен александрийцами для Тиберия и при позднейших императорах подвергся кое-каким расширениям и украшениям. Священная роща отделяла его от храма Цезаря, с которым он соединялся крытой колоннадой.

Перед главным подъездом стояло несколько колесниц, и целая толпа белых и черных рабов ждала возле носилок своих господ. Ликторы оттесняли назад жадную до зрелищ толпу, центурионы стояли, прислонившись к колоннам, и римский дворцовый караул только что собрался за воротами в ожидании смены.

Перед колесницей префекта все почтительно расступились. Когда Титиан проходил затем по украшенным колоннами галереям Цезареума мимо многочисленных выставленных здесь образцовых произведений скульптуры, картин, мимо зал дворцовой библиотеки, он думал о

трудах и стараниях, которые ему, с помощью Понтия, пришлось в течение нескольких месяцев затратить на то, чтобы этот дворец, оставшийся пустым со времен вторжения Тита в Иудею, превратить в жилище, которое могло бы понравиться Адриану. Императрица жила теперь в этом приготовленном для ее супруга дворце, покои которого были украшены лучшими произведениями искусства. И Титиан с грустью говорил себе, что если только Сабина проведаёт об этих произведениях, то уж никак невозможно будет перевезти их на Лохиаду. У входа в великолепную залу, предназначенную им для приема императорских гостей, префект встретил постельничего Сабина, который взялся немедленно проводить его к своей госпоже.

Потолок залы, в которой префект должен был найти Сабину, открытый летом, теперь, для защиты от дождей александрийской зимы, а также потому, что Сабина и в более теплое время года жаловалась обычно на холод, был прикрыт подвижным медным зонтом, благодаря чему возникал приток свежего воздуха.

Когда Титиан вошел в эту комнату, на него повеяло приятной теплотой и тонкими благоуханиями. Теплота исходила от весьма своеобразных печей, стоявших посреди залы. Первая представляла кузницу Вулкана. Яркие пылавшие древесные угли лежали перед раздувальным мехом, который через короткие, правильные промежутки приводился в действие посредством приспособленного к нему самодвигателя. Вулкан и его помощники, изваянные из бронзы, окружали огонь с щипцами и молотами в руках. Другая печь, из серебра, представляла большое птичье гнездо, в котором тоже горели древесные угли. Над их пламенем поднималась к небу вылитая из бронзы и походившая на орла фигура птицы — феникса. Сверх того многочисленные лампы освещали эту залу, убранную стульями изящной формы, кушетками и столами, цветочными вазами и статуями и казавшуюся слишком обширной для собравшихся в ней лиц.

Для небольших приемов префект и Понтий первоначально предназначали совсем другое помещение и отделали его соответственно этой цели. Но императрица предпочла залу менее обширной комнате.

Чувство принужденности и даже какого-то смущения овладело душой высокородного маститого сановника, когда он стал рассматривать небольшие группы нахо-

дившихся здесь людей и услышал тихий говор, невнятный шепот и сдержанный смех, но нигде не услышал свободно льющейся речи. Было мгновение, когда ему показалось, что он вошел в приют произносимой шепотом клеветы, хотя знал причину, по которой никто не осмеливался говорить здесь громко и непринужденно.

Громкий говор беспокоил императрицу, чей-нибудь звучный голос был для нее пыткой, хотя немногие обладали таким сильным грудным голосом, как ее собственный супруг, не имевший обыкновения сдерживаться ни перед кем, не исключая и своей супруги.

Сабина сидела в большом кресле, походившем на кровать. Ноги ее глубоко тонули в косматой шерсти дикого буйвола, а ступни были обложены кругом шелковыми пуховыми подушками.

Голова ее была искусственно поднята вверх. Трудно было понять, каким образом ее тонкая шея могла удерживать на себе эту голову вместе с нитками жемчуга и цепочками из драгоценных камней, которыми было обвито высокое сооружение ее прически из светло-рыжих локонов цилиндрической формы, плотно прилегавших друг к другу. Исхудалое лицо императрицы казалось особенно миниатюрным под множеством естественных и искусственных украшений, покрывавших ее лоб и темя. Красивым оно не могло быть даже в молодости, но черты его были правильны. И префект, глядя на это лицо, изборожденное мелкими морщинками и покрытое белилами и румянами, подумал, что художнику, которому несколько лет назад было поручено изобразить ее в виде Венеры-Победительницы, все же удалось бы придать богине некоторое сходство с царственным оригиналом, если бы только совершенно лишённые ресниц глаза этой матроны не были так поразительно малы, несмотря на проведенные около них рисовальной кисточкой темные черточки, и жилы не выдавались так явственно на шее, которую императрица не считала нужным прикрывать.

С глубоким поклоном Титиан взял унизанную кольцами правую руку Сабины; но та быстро, словно боясь, что он может повредить ее, отняла у друга и родственника своего мужа эту тщательно выхоленную руку и спрятала ее под накидку.

В Александрии она впервые встретила с Титианом, которого в Риме привыкла видеть у себя ежедневно. Накануне ее, изнемогшую от морской болезни, в закрытых носилках доставили в Цезареум, и утром она вы-

нуждена была отказать ему в приеме, так как находилась всецело в распоряжении врачей, банщиц и парикмахеров.

— Как можешь ты выносить жизнь в этой стране? — спросила она тихим, сухим голосом, который постоянно звучал так, как будто разговор — дело трудное, тягостное и бесполезное. — В полдень печет солнце, — заметила она, — а вечером делается так холодно, так невыносимо холодно!

При этих словах она плотно закуталась в свою накидку, но Титиан указал на печи, стоявшие посреди залы, и произнес:

— А мне казалось, что мы перерезали тетиву у лука египетской зимы, и без того не слишком туго натянутую.

— Все еще молод, все еще полон образов, все еще поэт! — ответила императрица вялым тоном. — Два часа тому назад, — продолжала Сабина, — я виделась с твоей женой. Ей в Африке, по-видимому, не везет. Я ужаснулась, найдя прекрасную матрону Юлию в таком состоянии. У нее нехороший вид.

— Годы — враги красоты.

— Часто, но истинная красота нередко выдерживает их нападение.

— Ты сама служишь живым доказательством правдивости этого утверждения.

— Ты хочешь сказать, что я становлюсь старой?

— Нет, что ты умеешь оставаться прекрасной.

— Поэт! — прошептала императрица, и ее тонкая верхняя губа искривилась.

— Нет, государственные дела не в ладу с музой.

— Но кому вещи кажутся более прекрасными, чем в действительности, или кто дает им имена более блистательные, чем они заслуживают, того я называю поэтом, мечтателем, льстецом, как случится.

— Скромность отклоняет даже заслуженное поклонение.

— К чему это пустое перебрасывание словами? — вздохнула Сабина, глубоко опускаясь в кресло. — Ты посещал школу спорщиков здешнего Музея, а я — нет. Вон там стоит софист Фаворин... он, вероятно, доказывает астроному Птолемею, что звезды не что иное, как кровавые пятнышки в нашем глазу, а мы воображаем, что видим их на небе. Историк Флор записывает этот важный разговор; поэт Панкрат воспекает великую

мысль философа, а какая задача выпадает по этому поводу на долю вси того грамматика — это ты знаешь лучше меня. Как его зовут?

— Аполлоном.

— Адриан дал ему прозвище «темный». Чем труднее бывает понять речь этих господ, тем выше их ценят.

— За тем, что скрыто в глубине, приходится нырять, а то, что плавает на поверхности, уносится любой волной или становится игрушкой ребятишек. Аполлоний — великий ученый.

— В таком случае моему супругу следовало бы оставить его при его учениках и книгах. Он пожелал, чтобы я приглашала этих людей к моему столу. Относительно Флора и Панкрата я согласна, но другие...

— От Фаворина и Птолемея я легко мог бы освободить тебя; пошли их навстречу императору.

— Для какой цели?

— Чтобы развлекать его.

— Его игрушка при нем, — возразила Сабина, и ее губы искривились на этот раз с выражением горького презрения.

— Его художественный взор, — сказал префект, — наслаждается часто прославленной красотой форм Антиноя, которого мне еще до сих пор не удалось видеть.

— И ты жаждешь посмотреть на это чудо?

— Не стану отрицать.

— И тебе все-таки хочется отдалить встречу с императором? — спросила Сабина, и ее маленькие глаза сверкнули пытливым и подозрительным взглядом. — Почему хочешь ты отсрочить приезд моего супруга?

— Нужно ли мне говорить тебе, — отвечал Титиан с живостью, — как радуется меня после четырехлетней разлуки свидание с моим повелителем, товарищем моей юности, величайшим и мудрейшим из людей? Чего бы не дал я за то, чтобы он был теперь уже здесь, и все же я желал бы, чтобы он приехал сюда не через одну, а через две недели!

— В чем же дело?

— Верховой гонец привез мне сегодня письмо, в котором император извещает, что хочет поселиться не в Цезареуме, а в Лохиадском дворце.

При этом известии лоб Сабинины нахмурился, глаза ее, мрачные и неподвижные, гневно сверкнули и, закусив нижнюю губу, она прошептала:

— Это потому, что здесь живу я!

Титиан сделал вид, будто не слышал этого упрека, и продолжал небрежным тоном:

— Он найдет там тот обширный вид вдаль, который он любит с юных лет. Но старое здание в упадке, и хотя я с помощью нашего превосходного архитектора Понтия уже приступил к делу, употребляя все силы, чтобы по крайней мере одну часть дворца сделать возможной для жилья и не совсем лишенной удобств, но все-таки срок слишком короток для того, чтобы... что-либо подходящее... достойное...

— Я желаю видеть своего супруга здесь, и чем скорее, тем лучше! — решительно прервала императрица. Затем она повернулась к колоннаде, тянувшейся вдоль правой стены залы, и крикнула: — Вер!

Но ее голос был так слаб, что не достиг цели, и потому она снова повернулась лицом к префекту и проговорила:

— Прошу тебя, позови ко мне Вера, претора Луция Элия Вера.

Титиан поспешил исполнить приказание. Уже при входе он обменялся дружеским приветствием с человеком, с которым пожелала говорить императрица. Вер же заметил префекта лишь тогда, когда тот вплотную к нему подошел, ибо сам он стоял в центре небольшой группы мужчин и женщин, слушавших его с напряженным вниманием. То, что он рассказывал им тихим голосом, по-видимому, было необыкновенно забавно, так как его слушатели употребляли все усилия для того, чтобы их тихое, сдержанное хихиканье не перешло в хохот, который ненавидела императрица.

В ту минуту, когда префект подходил к Вере, молодая девушка, хорошенькая головка которой была увенчана горой маленьких кругленьких локоичиков, ударила претора по руке и сказала:

— Это уж слишком сильно; если ты будешь продолжать в таком духе, я стану впредь затыкать уши, когда ты вздумаешь заговорить со мной. Это так же верно, как то, что меня зовут Бальбиллой.

— И что ты производишь от царя Антиоха, — прибавил Вер с поклоном.

— Ты все тот же, — засмеялся префект, мигнув забавнику. — Сабина желает говорить с тобой.

— Сейчас, сейчас, — отозвался Вер. — Моя история правдива, — продолжал он свой рассказ, — и вы все дол-

жны. быть благодарны мне, потому что она освободила нас от этого скучнейшего грамматика, который вон там прижал моего остроумного друга Фаворина к стене. Твоя Александрия нравится мне, Титиан, но все-таки ее нельзя назвать таким же великим городом, как Рим. Здесь люди еще не отучились удивляться. Они все еще впадают в изумление. Когда я выехал на прогулку...

— Говорят, твои скороходы с розами в волосах и крылышками на плечах летели перед тобой в качестве купидонов.

— В честь александриек.

— Как в Риме — в честь римлянок, а в Афинах — в честь аттических женщин, — прервала его Бальбилла.

— Скороходы претора мчатся быстрее парфянских скакунов, — воскликнул постельничий императрицы. — Он назвал их именами ветров.

— Чего они вполне заслуживают, — добавил Вер. — А теперь пойдем, Титиан.

Он крепко и по-дружески взял под руку префекта, с которым был в родстве, и прошептал ему на ухо, пока они вместе приближались к Сабине:

— Для пользы императора я заставлю ее ждать.

Софист Фаворин, разговаривавший в другой части залы с астрономом Птолемеем, грамматиком Аполлонием и философом-поэтом Панкратом, посмотрел им вслед и сказал:

— Прекрасная пара. Один — олицетворение всеми почитаемого Рима, властителя вселенной, а другой — с наружностью Гермеса...

— Другой, — перебил софиста грамматик строгим и негодующим тоном, — другой — образец наглости, сумасбродной роскоши и позорной испорченности столичного города. Этот беспутный любимец женщин...

— Я не думаю защищать его манеру обхождения, — перебил Фаворин звучным голосом и с таким изяществом греческого произношения, что оно очаровало даже самого грамматика. — Его поведение, его образ жизни позорны, но ты должен согласиться со мной, что его личность запечатлена чарующей прелестью эллинской красоты, что хариты облобызали его при рождении и что он, осуждаемый строгой моралью, заслуживает похвалы и венков со стороны приветливых поклонников прекрасного.

— Да, для художника, которому нужен натурщик, он находка.

— Судьи в Афинах оправдали Фрину благодаря ее красоте.

— Они совершили несправедливость.

— Едва ли в глазах богов, совершеннейшие создания которых заслуживают почтения.

— Но и в прекрасных сосудах порой находишь яд.

— Однако же тело и душа всегда соответствуют друг другу в известной степени.

— Неужели ты и красавца Вера решишься назвать превосходным человеком?

— Нет, но беспутный Луций Элий Вер в то же время самый веселый, самый привлекательный из всех римлян. Этот человек, будучи чужд всякой злобы и заботы, не печется также и ни о какой морали; он стремится обладать тем, что ему нравится, но зато и сам старается быть приятным всем и каждому.

— Относительно меня труды его пропали даром.

— А я подчиняюсь его обаянию!

Последние слова как софиста, так и грамматика прозвучали громче, чем было принято в присутствии императрицы.

Сабина, только что рассказывавшая претору о том, какое местопребывание выбрал для себя Адриан, тотчас же пожала плечами и скривила губы, точно почувствовав боль, и Вер с укоризненным выражением повернулся к говорившим. Его большие блестящие глаза встретились с враждебным взглядом грамматика.

Сознание чьего-либо отвращения к своей особе было невыносимо для Вера. Он быстро провел рукой по своим иссиня-черным волосам, только слегка посеребренным сединой у висков, хотя и не вьющихся, но лежавших мягкими волнами, и, не обращая внимания на вопросы Сабрины о последних распоряжениях ее супруга, сказал:

— Противная личность — этот буквоед. У него дурной глаз, который всем нам угрожает бедой, и его трубный голос столь же неприятен мне, как и тебе. Неужели мы должны ежедневно выносить его присутствие за столом?

— Адриан желает этого.

— В таком случае я возвращаюсь в Рим, — сказал Вер. — Моя жена и без того рвется к детям, и мне в качестве претора более пристало жить на Тибре, чем на Ниле.

Эти слова были произнесены таким равнодушным тоном, как будто в них заключалось приглашение на ка-

кой-нибудь ужин, но они, по-видимому, взволновали императрицу. Она потрянула головой (которая во время ее разговора с Титианом оставалась почти неподвижной) так сильно, что жемчуг и драгоценные камни на ее локонах зазвенели. Затем несколько секунд она неподвижным взором смотрела на свои колени. Когда Вер наклонился, чтоб поднять выпавший из ее волос бриллиант, она быстро проговорила:

— Ты прав: Аполлоний невыносим. Пошлем его навстречу моему супругу.

— В таком случае я остаюсь, — отвечал Вер, похожий на своенравного ребенка, который добился исполнения своего каприза.

— Ветреная голова! — прошептала Сабина и, улыбаясь, погрозила ему пальцем. — Покажи мне этот камень. Это один из самых крупных и чистых; ты можешь взять его себе.

Когда спустя час Вер с префектом покинули залу, последний проговорил:

— Ты оказал мне услугу, не подозревая этого. Не можешь ли ты устроить, чтобы вместе с грамматиком были отправлены к императору в Пелузий астроном Птолемея и софист Фаворин?

— Ничего не может быть легче, — ответил Вер.

В тот же самый вечер домоправитель префекта известил архитектора Понтия, что для своих работ он будет, вероятно, иметь в своем распоряжении вместо одной две недели.

В Цезареуме, резиденции императрицы, светильники погасли один за другим, но в Лохиадском дворце становилось все светлее и светлее. При освещении гавани в торжественных случаях обыкновенно горели смоляные плиты на крыше и длинные ряды светильников, расположенные по архитектурным линиям этого величественного здания, но никто из александрийских старожил не помнил, чтобы когда-нибудь изнутри дворца исходил такой яркий свет, как в эту ночь.

Портовые сторожа сначала тревожно поглядывали в сторону Лохиады: они думали, что в старом дворце произошел пожар, но скоро ликтор префекта Титиана успокоил их, передав им приказание — в эту и во все следующие ночи, впредь до прибытия императора, пропускать через ворота гавани каждого, кто по приказанию архи-

тектора Понтия пожелал бы пройти из Лохиады в город или из города на косу.

И еще долго после полуночи каждые четверть часа кто-нибудь из людей, состоявших при архитекторе, стучался в незапертые, но хорошо охраняемые ворота.

Домик привратника был тоже ярко освещен.

Птицы и кошка старухи, которую префект и его спутник застали дремавшей, теперь крепко спали, но собачонки бросались с громким лаем на двор каждый раз, как только кто-нибудь входил через отворенные ворота.

— Ну же, Аглая, что о тебе подумают? Прелестная Талия, разве так поступают приличные собачки? Поди сюда, Евфросина, и будь пайнкой, — скорее ласковым, а не повелительным голосом покрикивала на них старуха, которая теперь уже не спала, а, стоя позади стола, складывала просушенное белье.

Но носившие имена трех граций собачки не обращали внимания на эти дружеские увещания, и, получив удар ногой от нового пришельца, им не раз приходилось с криком и визгом ползти обратно в дом и, ища утешения, ластиться к хозяйке. Она брала пострадавшую на руки и успокаивала ее поцелуями и ласковым словом.

Впрочем, старуха теперь была уже не одна. В глубине комнаты, на длинной и узкой кушетке, стоявшей возле статуи Аполлона, лежал высокий, худой мужчина в красном хитоне. Спускавшаяся с потолка лампочка слабым светом освещала его и лютню, на которой он играл.

Под тихий стон струн этого довольно большого инструмента, конец которого упирался в ложе рядом с певцом, он напевал или шептал длинные импровизации. Дважды, трижды, четырежды повторял он один и тот же мотив. Временами он вдруг давал волю своему высокому и, несмотря на преклонный возраст, еще недурно звучащему голосу и громко пел несколько музыкальных фраз с выразительностью и артистическим искусством. Иногда же, когда собаки лаяли слишком неистово, он вскакивал и с лютней в левой руке, с длинной гибкой камышовой тростью в правой кидался на двор, кричал на собак, называя их по именам, замахивался на них, точно намереваясь их убить, но нарочно никогда не задевал их тростью, а только бил ею возле них по плитам мощеного двора.

Когда он возвращался после подобных вылазок в комнату и снова вытягивался на своей кушетке, причем, буду-

чи высок ростом, часто задевал лбом висевшую над ним лампочку, старуха, указывая на нее, вскрикивала:

— Эвфорион, масло!

Но он всегда отвечал тем же угрожающим движением руки, все так же вращая своими черными зрачками:

— Проклятые твари!

Уже целый час прилежный певец предавался своим музыкальным упражнениям, как вдруг собаки — не с лаем, а с радостным визгом — кинулись на двор.

Старуха быстро выпустила из рук белье и начала прислушиваться, а долговязый ее муж сказал:

— Впереди императора летит такое множество птиц, словно чайки перед бурей. Хоть бы нас-то оставили в покое!

— Прислушайся, это Поллукс; я знаю своих собак! — вскричала старуха и поспешила, как могла, через порог на двор. Там стоял тот, кого ожидали. Он поднимал прыгавших на него четвероногих граций одну за другой за шкуру на хребте и успел уже дать каждой по легкому щелчку в нос.

Увидев старуху, он поцеловал ее в лоб и сказал:

— Добрый вечер, маленькая мамочка!

Певцу он пожал руку, проговорив:

— Здравствуй, большой отец.

— Да и ты уже стал не меньше меня, — возразил тот, причем притянул молодого человека к себе, положил огромную ладонь на свою седую голову, затем на голову своего первенца, покрытую густыми темными волосами.

— Мы точно вышли из одной и той же формы! — вскричал юноша.

И действительно он был очень похож на отца. Но, правда, лишь так, как породистый скакун может походить на обыкновенную лошадь, или мрамор на известняк, или кедр на сосну. Оба были видного роста, имели густые волосы, темные глаза и правильный нос одинаковой формы. Но ту веселость, которая сверкала во взгляде юноши, он наследовал не от долговязого певца, а от маленькой женщины, которая теперь, поглаживая его руку, смотрела на него снизу вверх.

И откуда взялось у него это «нечто», так облагораживавшее его лицо и исходившее неизвестно откуда: не то от глаз, не то от высокого, совсем иначе, чем у старика, очерченного лба?

— Я знала, что ты придешь, — сказала мать. — Сегодня после обеда я это видела во сне, и докажу тебе, что

ты не застал меня врасплох. Вон там, на жаровне, подогрывается пареная капуста с колбасками и ждет тебя.

— Я не могу остаться, — возразил Поллукс, — право же, не могу, как ни приветливо улыбаются мне твое лицо и как ни ласково поглядывают на меня из капусты эти маленькие колбаски. Мой хозяин Папий уже пошел во дворец. Там будет обсуждаться вопрос о том, каким образом создать чудо в более короткий срок, чем обычно требуется, чтобы обдумать, с какой стороны взяться за работу.

— В таком случае я принесу тебе капусту во дворец, — сказала Дорида и поднялась на цыпочки, чтобы поднести колбаску к губам своего рослого сына.

Поллукс быстро откусил кусок и сказал:

— Восхитительно! Мне хотелось бы, чтобы та штука, которую я собираюсь вылепить там наверху, оказалась такой хорошей статуей, какой изумительно превосходной сосиской был этот сочный цилиндрик, ныне исчезающий у меня во рту.

— Еще одну? — спросила Дорида.

— Нет, матушка; да и капусты не приноси мне. До самой полуночи мне нельзя будет терять ни одного мгновения, и если мне после удастся немного передохнуть, так в то время ты уже будешь видеть во сне разные забавные вещи.

— Я принесу тебе капусту, — сказал отец. — Я и без того не скоро попаду в постель. В театре, при первом посещении его Сабиной, должен быть исполнен в честь нее гимн, сочиненный Мезомедом, с хорами, а мне предстоит выводить высокие ноты среди хора старцев, которые молодеют при виде Сабины. Завтра репетиция, а у меня до сих пор ничего не выходит. Старое со всеми тонами прочно засело в моем горле, но новое, новое!..

— Соответственно твоим годам, — засмеялся Поллукс.

— Если бы только они поставили «Тезея» — произведение твоего отца, или его хор сатиров! — вскричала Дорида.

— Подожди немного, я отрекомендую его императору, когда тот с гордостью назовет меня своим другом, как Фидия наших дней. Когда он спросит меня: «Кто тот счастливец, который произвел тебя на свет?» — я отвечу: «Не кто иной, как Эвфорион, божественный поэт и певец, а моя мать — Дорида, достойная матрона, охранительница твоего дворца, превращающая грязное белье в белоснежное».

Эти последние слова молодой художник пропел прекрасным и сильным голосом на диковинный мотив, сочиненный его отцом.

— О, почему ты не сделался певцом! — вскричал Эвфорион.

— Тогда, — отвечал Поллукс, — я должен был бы на закате дней моих сделаться твоим наследником в этом домике.

— А теперь за жалкую плату ты работаешь для лавров, которыми украшает себя Папий, — заметил старик, пожимая плечами.

— Настанет и его час, и он тоже будет признан! — вскричала Дорида. — Я видела его во сне с большим венком на кудрях.

— Терпение, отец, терпение! — сказал молодой человек, схватив руку Эвфориона. — Я молод и здоров, и делаю, что могу, и в голове моей кишит целый рой хороших идей. То, что мне позволяли выполнять самостоятельно, послужило по крайней мере для славы других и хотя еще далеко не соответствует идеалу красоты, который мерещится мне там... там... там... в туманном отдалении, все же я думаю, что если только удача в веселый час окропит все это двумя-тремя каплями свежей росы, то из меня выйдет нечто большее, чем правая рука Папия, который вон там, наверху, без меня не будет знать, что ему делать.

— Только будь всегда бодр и прилежен! — вскричала Дорида.

— Это не поможет без счастья, — прошептал, пожимая плечами, певец.

Молодой художник попрощался с родителями и хотел удалиться, но мать удержала его, чтобы показать молодых щеглят, только вчера вылупившихся из яиц. Поллукс последовал за ней, не только чтобы доставить ей удовольствие, а потому, что и ему самому радостно было посмотреть на пеструю птичку, защищавшую и согревавшую своих птенцов.

Возле клетки стояли большая кружка и кубок его матери, который он сам украсил изящной резьбой.

Взгляд его упал на эти сосуды, и он принялся поворачивать их из стороны в сторону. Затем он набрался смелости и сказал:

— Теперь император часто будет проходить мимо. Так уж ты, матушка, брось на время свои дионисии. Что,

если бы ты ограничилась четвертинкой вина на три четверти воды? Ведь и так будет вкусно.

— Жаль небесного дара, — возразила старуха.

— Четвертинку вина ради меня, — попросил Поллукс и, схватив мать за плечи, поцеловал ее в лоб.

— Ради тебя, большой ребенок? — переспросила Дориды, и глаза ее наполнились слезами. — Ради тебя... так, коли нужно... хоть чистую воду! Эвфорион, выпей то, что осталось в кувшине!

Архитектор Понтий сначала начал свою работу только с теми подручными, которые следовали за ним пешком. Измеряя, раздумывая, набрасывая короткие записи, заносая на двусторонние восковые таблички и на свой план цифры, имена и мысли, он не оставался праздным ни на одно мгновение. Его занятия часто прерывали хозяева разных фабрик и мастерских, услугами которых он думал воспользоваться. Они являлись к нему в такой поздний час по приказанию префекта.

Ваятель Папий пришел одним из последних, хотя ему Понтий собственноручно написал, что он дает ему большую, выгодную и спешную работу для императора, которую, вероятно, можно будет начать в эту же ночь. Дело идет о статуе Урании. Она должна быть изготовлена в десять дней по прилагаемому им, Понтием, плану, в самом дворце на Лохиаде тем способом, который Папий применил во время последнего празднества Адониса. При этом там же будет заключено условие относительно других не менее спешных восстановительных работ, а также и цен заказа.

Скульптор был человек предусмотрительный и явился не один, а со своим лучшим помощником Поллуксом, сыном четы привратников, и с несколькими рабами, которые везли за ним на телегах инструменты, доски, глину, гипс и другие сырые материалы.

На пути к Лохиаде он сообщил молодому скульптору о предстоящей работе и затем покровительственным тоном добавил, что позволит ему попытать свои силы над восстановлением Урании. У ворот дворца он предложил Поллуксу навестить родителей и затем отправился во дворец один, чтобы без свидетелей вести переговоры с Понтием. Молодой помощник понял, в чем дело. Он знал, что ему придется работать над Уранией и что его хозяин, сделав кое-какие незначительные поправки в его работе, выдаст потом статую за свое собственное произведение. В течение двух лет Поллукс уже не раз с этим ми-

рился и теперь тоже безропотно подчинился этому недобросовестному договору, потому что в мастерской хозяина всегда было много дела, а творчество составляло для Поллукса величайшее наслаждение.

Папий, к которому он с ранних лет поступил в обучение и которому обязан был своим умением, не скаречничал; Поллукс же нуждался в деньгах не для себя, а чтобы содержать овдовевшую сестру с детьми. Притом его радовала возможность заработать и внести некоторое довольство в домик родителей и поддерживать во время учения своего брата Тевкра, посвятившего себя ювелирному искусству. Ему не раз приходило в голову оставить хозяина, работать самостоятельно и пожинать лавры, но его удерживала одна мысль — что станет с теми, которые нуждаются в его помощи, если он пожертвует верным, хорошим заработком, рискуя остаться без заказов, как часто случается с неизвестными, начинающими художниками.

На что пригодятся ему все умение и добрая воля, если не будет возможности творить статуи из благородного материала? А приобрести таковой на собственные средства не позволяла ему бедность.

Пока он беседовал с родителями, Папий вел переговоры с архитектором.

Понтий изложил скульптору свои пожелания. Тот слушал внимательно, ни разу не прерывая собеседника, время от времени поглаживая правой рукой необычайно чисто выбритое, гладкое лицо, цветом и формой напоминавшее восковую маску, точно хотел сделать его еще глаже, или поправляя на груди складки тоги, которую любил носить на манер римских сенаторов.

Когда Понтий в одной из комнат, назначенных для императора, показал скульптору последнюю из статуй, требовавших восстановления, и сказал, что к ней нужно приделать новую руку, то Папий вскричал решительно:

— Это невозможно!

— Слишком поспешное заключение, — возразил архитектор. — Разве ты не знаешь изречения столь правдивого, что его приписывают сразу нескольким мудрецам: хуже провозглашать невозможность какого-либо дела, чем брать на себя выполнение задачи, вероятнее всего превосходящей наши силы.

Папий усмехнулся, поглядел на свои украшенные золотом сандалии и ответил:

— Нам, ваятелям, труднее, чем вам, вступить в титаническую борьбу с невозможным. Я еще не вижу средства, которое мне придало бы мужества приняться за невыполнимую задачу.

— Я назову тебе такое средство, — быстро и решительно сказал Понтий. — С твоей стороны — добрая воля, много помощников и работ днем и ночью, а с нашей — одобрение императора и очень много золота.

Теперь переговоры приняли быстрое и благоприятное течение, и архитектор должен был утвердить большинство умных и хорошо обдуманых предложений ваятеля.

— Теперь я иду домой, — заявил он. — Мой помощник сейчас же начнет предварительные работы. Это дело должно быть выполнено за перегородкой, чтобы никто нам не мешал и не останавливал работы своими замечаниями.

Полчаса спустя уже были устроены посреди залы подмости, на которых должна была стоять Урания. Она была скрыта от взоров высокими деревянными рамами, обтянутыми парусиной, и за этими ширмами Поллукс занялся лепкой модели из воска, между тем как его хозяин отправился домой, чтобы сделать приготовления для работ на следующее утро.

Было уже одиннадцать часов ночи, а присланный из дома префекта ужин для архитектора оставался еще не тронутым. Понтий был голоден, но прежде чем прикоснуться к аппетитному жаркому, огненно-красному лангусту, желто-коричневому паштету и ярким плодам, которые раб поставил на мраморный стол, он счел долгом еще раз пройти по анфиладе обновляемых комнат.

Прежде всего надлежало проверить работу невольников, занятых реставрацией всех помещений; им предстояло потрудиться еще несколько часов, затем отдохнуть, а с восходом солнца, получив в подкрепление других работников, снова приняться за дело. Нужно было посмотреть, разумно ли руководили ими надсмотрщики, выполняют ли рабы свои обязанности и снабжаются ли всем, что им нужно.

Везде требовалось лучшее освещение; между тем как люди, чистившие пол в зале муз, вытиравшие колонны, требовали ламп и факелов, над перегородкой, окружавшей место, отведенное для восстановления Урании, показалась голова молодого человека, который громко кричал:

— Моя муза и ее небесная сфера покровительствуют звездочетам; ночью муза будет чувствовать себя как нельзя лучше, но ведь теперь она еще не богиня, А чтобы вылепить ее, нужен свет, много света. Когда здесь будет свет, сразу утихнет и крик людей там, внизу, который в этом пустом сарае не особенно ласкает слух. А посему добудь света, о человек, света для бессмертной богини и для смертных людей.

Понтий с улыбкой взглянул на художника, произнесшего эту тираду, и сказал:

— Твой крик о помощи, друг мой, вполне обоснован. Но неужели ты серьезно думаешь, что свет обладает способностью умерять шум?

— По крайней мере там, где его не хватает, то есть в потемках, любой шум кажется вдвое сильнее.

— Это верно, но тут можно привести и другие причины, — возразил архитектор. — Завтра во время одного из перерывов мы еще потолкуем об этом. А теперь я позабочусь о лампах и свечах.

— Тебе многим будет обязана Урания, покровительствующая также и изящным искусствам! — крикнул Поллукс вслед архитектору.

Понтий отправился к своему производителю работ, чтобы спросить, передал ли он смотрителю дворца Керавну приказание прийти к нему и доставить в его распоряжение все имеющиеся лампы и смоляные площадки, предназначенные для наружного освещения дворца.

— Я три раза, — отвечал тот с досадой, — был у этого человека, но он каждый раз надувался, как лягушка, и не говорил мне ни слова. Он велел только своей дочери (которую ты должен увидеть, так как она очаровательна) и жалкому черному рабу проводить меня в маленькую комнатку, где я нашел несколько ламп, которые горят здесь.

— Велел ли ты ему прийти ко мне?

— Еще три часа тому назад и второй раз, когда ты разговаривал с ваятелем Папием.

Архитектор с досадой повернулся спиной к производителю работ, раскрыл план дворца, отыскал на нем жилище смотрителя, схватил стоявшую возле лампочку из красной глины и направился прямо к квартире ослушника, отделенной от залы муз только несколькими комнатами и длинным коридором.

Незапертая дверь вела в темную переднюю, за которой следовала другая горница, и, наконец, третье, хорошо убранное помещение. Входы, которые вели в него, очевидно, столовую и жилую комнату смотрителя, были без дверей и закрывались только драпировками, теперь широко откинутыми.

Понтий смог беспрепятственно, не будучи замеченным, увидеть стол, на котором стояла между блюдом и тарелками бронзовая трехрожковая лампа.

Толстяк повернул свое круглое, сильно покрасневшее лицо к архитектору, который в раздраженном состоянии быстро и решительно направился было к нему; однако, не войдя еще во вторую комнату, услышал тихое, но горькое рыдание.

Плакала молодая стройная девушка, которая вышла из задних дверей этой комнаты и поставила перед смотрителем маленький поднос с хлебом.

— Да не плачь же, Селена,— сказал смотритель, медленно разламывая хлеб и стараясь успокоить дочь.

— Как мне не плакать? — возразила девушка.— Позволь только завтра купить для тебя кусок мяса; врач запретил тебе есть постоянно хлеб, только хлеб.

— Человек должен быть сыт, а мясо дорого,— сказал толстяк.— У меня девять ртов, которые нужно набить, не считая рабов. Где же мне взять денег, чтобы всем нам питаться дорогим мясом?

— Нам оно не нужно, а тебе необходимо.

— Невозможно, дитя мое. Мясник уже не отпускает в долг, другие кредиторы пристают, а чтобы прожить до конца месяца, у нас остается всего десять драхм.

Девушка побледнела и робко спросила:

— Но, отец, ведь ты сегодня показал мне три золотые монеты, доставшиеся на твою долю из суммы, пожалованной гражданам по случаю прибытия императрицы.

Смотритель в смущении скатал пальцами шарик из хлебного мякиша, затем сказал:

— Я купил на них вот эту фибулу с ониксом, покрытую резьбой, и очень дешево, уверяю тебя! Когда придет император, он должен увидеть, кто я такой, а когда я умру, то вам дадут вдвое больше той суммы, которую я заплатил за это произведение искусства. Уверяю тебя, деньги императрицы я выгодно поместил в этот оникс.

Селена ничего не возразила, но глубоко вздохнула и окинула взглядом ряд бесполезных вещей, которые смог-

ритедь накупид и натаекал в дом только потому, что они продавались «дешево», между тем как она с братом и шестью сестрами нуждались в самом необходимом.

— Отец,— снова сказала девушка после короткой паузы,— мне не хотелось бы говорить об этом больше, но я все-таки скажу, даже если ты и рассердишься на меня. Архитектор уже дважды присылал за тобой.

— Молчать! — закричал толстяк и ударил кулаком по столу.— Кто такой этот Понтий и кто я!

— Ты человек благородного македонского происхождения, может быть, даже состоишь в родстве с царской династией Птолемеев и имеешь стул в собрании граждан, но будь снисходителен и добр на этот раз. У архитектора работы по горло, он устал...

— Да ведь и я сегодня не мог посидеть спокойно. Я — Керавн, сын Птолемея, предки которого пришли в Египет с Великим Александром и помогли основать Александрию. Это известно каждому. Наши владения были урезаны, но именно поэтому я настаиваю, чтобы наша благородная кровь всеми признавалась. Понтий велит позвать Керавна!.. Это было бы смешно, если бы не было возмутительно! Ведь кто такой этот человек, кто?! Я уже говорил тебе. Его дед был вольноотпущенником покойного префекта Клавдия Бальбилла, а отец его только по милости римлян пошел в гору и разбогател. Он происходит от рабов, а ты требуешь, чтобы я был его покорным слугой и он мог когда угодно потребовать меня к себе!

— Но, батюшка, он велит просить к себе не сына Птолемея, а управляющего этим дворцом.

— Пустая игра слов! Молчи! Я ни шагу не сделаю ему навстречу.

Девушка закрыла лицо руками и жалобно и громко начала всхлипывать.

Керавн вздрогнул и закричал вне себя:

— Клянусь великим Сераписом, я не могу больше выносить этого! К чему это хныканье?

Девушка собралась с духом и, приблизившись к раздраженному отцу, сказала прерывающимся от слез голосом:

— Ты должен идти, отец, должен! Я говорила с производителем работ, и он холодно и решительно объявил, что архитектор прислан сюда от имени императора и в случае твоего непослушания он немедленно уволит тебя. А если это случится, тогда... Отец, отец, подумай о сле-

ном Гелиосе и о бедной Веренике! Арсиноя и я уж как-нибудь заработаем себе на хлеб, но малютки, малютки!

Девушка упала на колени и протянула руки к упрямому отцу.

У того кровь прилила к голове и к глазам, и он опустился на свой стул, точно его хватил удар.

Дочь, вскочив, протянула ему кубок с вином, который стоял на столе; но Керавн отстранил его рукой и вскричал, пыхтя и стараясь перевести дух:

— Уволить меня от должности, выгнать меня из этого дворца! Там, вон там, в ящичке из черного дерева, хранится грамота Эвергета, которой моему прародителю Филиппу было предоставлено управление этим дворцом в качестве должности, наследственной в его фамилии. Жена этого Филиппа имела честь быть возлюбленной или, по словам других, дочерью царя. В шкатулке лежит документ, написанный красными и черными чернилами на желтом папирусе и снабженный печатью и подписью второго Эвергета. Все властители из дома Лагидов утвердили его, все римские префекты уважали его, а теперь, теперь...

— Ну, отец,— прервала девушка Керавна, ломавшего руки в отчаянии,— ты ведь еще не смещен с должности, и если бы ты только подчинился...

— Подчинился, подчинился! — вскричал Керавн и затряс своими жирными руками над головой, к которой прилила кровь.— Я подчиняюсь! Я не ввергну вас в беду! Я иду. Ради детей моих я позволю помыкать мной и втоптать меня в грязь! Подобно пеликану, я буду питать своих птенцов кровью сердца. Но ты должна знать, что мне стоит подвергнуться этому унижению! Оно невыносимо, и мое сердце лопнет, потому что архитектор обругал меня, как своего слугу; он кинул мне вслед — я собственными ушами слышал это,— мне, которому врач и без того грозит смертью от паралича, он кинул вслед подлое пожелание, чтобы я задохнулся в своем собственном сале! Оставь меня, оставь! Я знаю, что для римлян все возможно. Вот я готов идти. Подай мне мой паллий цвета крокуса, который я ношу в Совете, принеси мне золотой обруч для головы. Я украшу себя, как жертвенное животное, и покажу ему...

Архитектор не проронил ни слова в течение этого разговора, который то возбуждал в нем досаду, то заставлял смеяться, то умилял его. Деятельной, энергичной натуре Понтия были противны лень и праздность. По-

этому медлительность и равнодушие толстяка при таких обстоятельствах, которые должны были бы понудить его и каждого действовать быстро и с напряжением всех сил, заставили архитектора произнести слова, о которых он теперь сожалел. Глупая, нищенская спесь зрителя возмущала его, да и кому приятно слышать о пятне, лежащем на его происхождении? Но слезы дочери такого жалкого отца тронули его сердце. Ему было жаль олуха, которого он одним щелчком мог ввергнуть в бездну несчастья и которого его слова уязвили гораздо глубже, чем сам он был уязвлен услышанными сейчас словами Керавна. Понтий подчинился движению своей благородной природы и решил пощадить несчастного.

Он сильно постучал суставом пальца о внутренний косяк двери передней, затем громко кашлянул и, войдя в жилую горницу, сказал зрителю с поклоном:

— Я пришел, благородный Керавн, отдать тебе визит. Извини, что я являюсь в такой поздний час, но ты и представить себе не можешь, до какой степени я был занят с тех пор, как мы расстались.

Керавн взглянул на неожиданного гостя сначала с испугом, потом с изумлением. Наконец он подошел к Понтию, протянул к нему обе руки, точно избавившись от кошмара, и по его лицу разлилось такое теплое сияние искреннего, сердечного удовольствия, что Понтий удивился, каким образом он с первого раза не обратил внимания на благообразие лица этого толстого чудака.

— Присядь к нашему скромному столу,— попросил Керавн.— Селена, позови раба. Может быть, у нас найдется фазан, жареная курочка или еще что-нибудь; правда, уже поздно...

— Весьма благодарен,— возразил, улыбаясь, архитектор.— Ужин ждет меня в зале муз, и мне нужно вернуться к своим людям. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты соблаговолил пойти со мной. Нам нужно потолковать об освещении комнат, а говорить удобнее всего за сочным жарким и за глотком вина.

— Весь к твоим услугам,— сказал Керавн, вежливо кланяясь.

— Я пойду вперед,— сказал архитектор.— Но прежде всего, будь так добр, передай все, какие только у тебя есть, свечи, лампы, смоляные горелки рабам, которые через несколько минут будут у твоей двери ожидать приказаний.

Когда Понтий удалился, Селена вздохнула с облегчением:

— Уф, как я испугалась! Пойду теперь искать лампы. Как ужасно все это могло кончиться!

— Хорошо, что дело приняло такой оборот! — про-
бормотал Керавн.— Архитектор все-таки довольно веж-
ливый человек для своего происхождения.

Понтий вошел в квартиру зрителя с нахмуренным лбом, а теперь возвращался оттуда к своим людям легким шагом и с улыбкой. Производителю работ, который встретил его вопросительным взглядом, он сказал:

— Господин зритель был не без основания несколько обижен; но теперь мы с ним друзья, и он сделает все возможное, чтобы наладить освещение.

В зале муз он остановился у перегородки, за которой работал Поллукс, и крикнул ему:

— Друг ваятель, послушай, давно пора ужинать!

— Правда,— отвечал Поллукс,— иначе это будет уже не ужин, а завтрак.

— Ну, так отложи на четверть часа инструмент и помоги мне вместе со зрителем этого дома уничтожить присланные мне кушанья.

— Тебе не нужна ничья помощь, если тут будет Керавн. Перед ним каждое кушанье тает, как лед от солнца.

— Так спаси его от переполнения желудка.

— Невозможно, потому что я только что безжалостно опустошил блюдо, наполненное капустой с колбасками. Это божественное кушанье состряпала моя мать, а мой отец принес его своему старшему сыну.

— Капуста с колбасками,— повторил архитектор, и по голосу было слышно, что его голодный желудок охотно бы познакомился с этим блюдом.

— Забирайся сюда,— тотчас же вскричал Поллукс,— и будь моим гостем. С капустой случилось то же, что предстоит этому дворцу: ее разогрели.

— Разогретая капуста вкуснее только что сваренной; а тот огонь, который необходим, чтобы вновь сделать это здание подходящим для жилья, должен гореть особенно жарко, и нам необходимо энергично его раздувать. А лучшие и незаменимые вещи исчезли.

— Как колбаски, которые я уже выудил из капусты,— засмеялся ваятель.— Я так-таки не могу пригласить тебя в гости, ибо, назвав это блюдо «капустой с колбасками», я бы польстил ему. Я поступил с ним, как с шахтой: после того, как колбасные залежи оказались ис-

черпанными, остается почти что одна основная порода, и лишь два-три жалких осколка напоминают о былом богатстве... В следующий раз мать состряпает это блюдо для тебя; она готовит его с неподражаемым искусством.

— Хорошая мысль, но сегодня ты мой гость.

— Я совершенно сыт.

— В таком случае приправь наш ужин своей веселостью.

— Извини меня, господин, и оставь меня лучше здесь, за перегородкой. Во-первых, я в хорошем настроении, я в ударе и чувствую, что в эту ночь кое-что выйдет из моей работы...

— Ну, так до завтра.

— Дослушай меня до конца.

— Ну?

— Притом ты оказал бы другому гостю плохую услугу, если бы пригласил меня.

— Так ты знаешь зрителя?

— С самых детских лет. Я ведь сын здешнего привратника.

— Ба! Значит, это твой веселый домик с плющом, птицами и бойкой старушкой?

— Это моя родительница, и, как только ее придворный мясник зарежет свинью, она изготовит для нас с тобой несравненное капустное лакомство.

— Приятная перспектива.

— Но вот с топотом приближается гиппопотам, или, при ближайшем рассмотрении, зритель Керавн.

— Ты с ним не в ладах?

— Не я с ним, а он со мной,— возразил скульптор.— Это глупая история! За будущей нашей пирушкой не спрашивай меня об этой семье, если хочешь видеть перед собой веселого сотрапезника. Да и Керавну лучше не говори, что я здесь: это не приведет ни к чему хорошему.

— Как тебе угодно; да вот несут и наши лампы!

— Их достаточно для того, чтобы осветить преисподнюю! — вскричал Поллукс, сделав рукой знак приветствия архитектору, и исчез за перегородкой, чтобы снова всецело погрузиться в работу над своей Уранией.

Полночь давно уже прошла, и рабы, принявшись с большим рвением за дело, закончили работу в зале муз. Теперь им разрешалось отдохнуть несколько часов на соломе, разостланной на противоположном крыле дворца. Архитектор тоже желал подкрепиться перед тяготами

следующего дня. Но этому намерению помешало появление Керавна.

Этого человека, питавшегося из экономии одним хлебом, Понтий пригласил для того, чтобы накормить мясом. Но когда последнее блюдо было снято со стола, смотритель счел долгом оказать хозяину честь присутствием своей знатной особы. Хорошее вино префекта развязало язык этому обыкновенно весьма необщительному собеседнику. Он заговорил сначала о разных застоях в крови, которые мучили его и грозили опасностью его жизни. И когда Понтий, желая отвлечь его от этого предмета, неосторожно упомянул о городском Совете, то Керавн дал волю своему красноречию и, осушая стакан за стаканом, старался изложить основания, побуждавшие его и его друзей употреблять все усилия для того, чтобы лишить членов большой еврейской общины в городе прав гражданства и, если возможно, изгнать их из Александрии. В своем увлечении он совершенно забыл о присутствии и хорошо известном ему происхождении архитектора и объявил, что необходимо также исключить из числа граждан всех потомков вольноотпущенников.

По пылавшим щекам и глазам смотрителя Понтий видел, что говорит в нем вино, и не возразил ни слова, но встал из-за стола и, извинившись, отправился в комнату, где для него была приготовлена постель.

Раздевшись, он приказал рабу посмотреть, что делает Керавн, и скоро получил успокоительный ответ, что смотритель заснул крепким сном и храпит.

— Я подложил ему под голову подушку,— закончил раб свое донесение,— потому что иначе с этим дородным господином могло бы случиться что-нибудь нехорошее из-за его полноты.

Любовь — это растение, расцветающее для многих, которые его и не сеяли, а для иного, кто ее не растил и не лелеял, она становится тенистым деревом.

Как мало сделал смотритель Керавн, чтобы завоевать сердце своей дочери, и как много совершил такого, что неминуемо должно было замутить и иссушить ее юную жизнь! Однако Селена все еще сидела перед трехконечным светильником, бодрствовала и все больше беспокоилась из-за долгого отсутствия отца.

Неделю назад толстяк вдруг (хотя и всего на несколько минут) лишился чувств, и врач сказал ей, что, несмотря на пышущий здоровьем вид, пациент должен строго держаться его предписаний и избегать какого бы то ни

было излишества. Любая неосторожность способна быстро и неожиданно пресечь нить его жизни.

После ухода отца Селена принялась чинить платье младшего брата и сестриц. Правда, сестра Арсиноя, которая была всего на два года моложе и обладала столь же проворными пальцами, как и она сама, могла бы помочь ей; но Арсиноя спала возле детей, которых нельзя было по ночам оставлять без присмотра.

Рабыня, служившая еще при деде и бабке Селены, должна была ей помогать; но полуслепая старуха-негрятя при свече видела еще хуже, чем днем, и после нескольких стежков уже больше ничего не различала.

Селена отослала ее спать и одна уселась за работу.

В первый час она шила, не поднимая глаз, и раздумывала о том, как бы немногих оставшихся в ее распоряжении драхм хватило до конца месяца. Ею все больше и больше овладевала усталость, прекрасная головка опускалась на грудь от изнеможения, но она продолжала сидеть за работой. Ей необходимо было дожидаться отца, чтобы напомнить ему о приготовленном для него врачом питье, иначе он мог забыть об этом.

К концу второго часа дремота одолела ее, и ей казалось, будто стул, на котором она сидела, сломался, и она сначала тихо, а потом все быстрее и быстрее опускается в глубокую бездну, разверзшуюся под нею.

В поисках помощи она во сне подняла глаза, но не увидела ничего, кроме отцовского лица, равнодушно смотревшего в сторону. Она вновь и вновь звала его, но он, казалось, долгое время не слышал. Наконец он посмотрел на нее сверху и, узнав, улыбнулся ей, но, вместо того чтобы оказать помощь, набрал камней и земли и стал бить по пальцам, которыми она цеплялась за кусты лесной малины и за корни, торчавшие из скважины скалы. Она просила его бросить эту игру, умоляла, взывала о пощаде, но на склонившемся над нею лице не дрогнул ни один мускул. Оно казалось застывшим в ничего не говорящей улыбке, а родительская любовь, видимо, умерла. Безжалостно бросал он в нее камень за камнем, ком за комом до тех пор, пока ее руки не выпустили последнюю хрупкую зацепку, и Селена провалилась в смертоносную бездну.

От собственного громкого крика она пробудилась, но ей почудилась — на один лишь миг, — но зато ясно и отчетливо, сквозь быстро редящийся туман испещренная бе-

лыми и желтыми звездочками камелий, фиолетовыми колокольчиками и красными маками высокая трава лужайки, на которую она упала, как на мягкую постель; за травой же синело блестящее озеро, а позади него возвышались горы с красноватыми утесами, зелеными рощами и полянками, сверкавшими под лучами яркого солнца. Ясное небо, по которому тихо двигались тонкие дымки серебристых облачков, возвышалось куполом над этой милой мимолетной картиной, которую она не могла сравнить ни с чем когда-либо виденным на родине.

Селена проспала недолго, но, когда она, вполне очнувшись, протерла глаза, ей показалось, будто сновидение длилось несколько часов. Один фитиль ее трехконечного светильника погас и чадил, а другой уже догорал. Она быстро погасила его щипцами, висевшими на цепочке, затем подлила масла на последний еще горевший фитиль и осветила отцовскую спальню.

Он еще не вернулся. Ею овладел сильный страх. Не лишился ли он чувств от вина Понтия? Или же с ним сделалось головокружение на пути домой? Мысленно она видела, как он, грузный, не в силах встать, может быть, даже он умирает, лежа на полу.

Ей не оставалось выбора. Она должна была идти в залу муз посмотреть, что приключилось с отцом, поднять его, призвать людей на помощь или же, если он еще за ужином, попытаться заманить его домой под каким-нибудь предлогом. Тут все было поставлено на карту: жизнь отца, а с ней пища и кров для восьми беспомощных существ.

Декабрьская ночь была сурова. Пронзительный, холодный ветер проникал сквозь плохо закрытое отверстие в потолке комнаты, поэтому Селена, прежде чем отправиться в путь, повязала голову платком и набросила на плечи накидку, которую носила покойная мать.

В длинном коридоре, соединявшем квартиру смотрителя и переднюю часть дворца, она прикрывала левой рукой маленький светильник, который несла в правой, чтобы он не погас. Пламя, колеблемое сквозным ветром, и ее собственная фигура отражались то здесь, то там на полированной поверхности темного мрамора.

Грубые сандалии, прикрепленные шнурками к ее ногам, вызывали в пустых залах громкое эхо, как только она вступила на каменный пол, и встревоженной душой Селены овладел страх. Ее пальцы, державшие светиль-

ник, дрожали, а сердце громко билось, когда она, затаив дыхание, проходила через круглую залу со сводом, где, по преданию, Птолемей Эвергет Пузатый ' много лет назад умертвил своего собственного сына и где каждое громкое дыхание пробуждало отголоски.

Но даже и в этой зале она не забывала смотреть направо и налево и искала отца. Она с облегчением перевела дух, когда заметила, как луч света, который проникал сквозь пазы, образовавшиеся в боковой двери залы муз, преломляясь, отражался на каменном полу и на одной из стен последней комнаты, лежавшей на ее пути.

Теперь она вступила в обширную залу, которая была слабо освещена лампами, поставленными за перегородкой скульптора, и множеством догоравших свечей. Они стояли в самом дальнем углу залы на столе, составленном из обрубков дерева и досок, за которым давно уже заснул ее отец.

Она остановилась посреди залы, прислушиваясь, и в странном гуле скоро узнала хорошо знакомый ей храп.

Она немедленно подбежала к спящему; она толкала и трясла его, звала, брызгала ему на лоб холодной водой и называла его самыми нежными именами, которыми ее сестра Арсиноя обычно ласкалась к отцу. Так как, несмотря на все это, он даже не шелохнулся, она поднесла свой светильник вплотную к его лицу. Ей показалось теперь, что какая-то синеватая тень разливается по его вздувшейся физиономии; и она вновь разразилась тем горьким и скорбным плачем, который так тронул сердце Понтия.

Между тем за перегородкой, окружавшей ваятеля и его произведение, слышался шум. Поллукс долго работал с удовольствием и рвением, но наконец его начал беспокоить храп зрителя. Тело его музы уже получило определенные формы, но за голову он мог приняться только при дневном свете.

Художник опустил руки; с той минуты, как он перестал отдаваться своей работе всем сердцем и всеми мыслями, он почувствовал себя утомленным и увидел, что без природы он не сладит с драпировкой своей Урании. Поэтому он придвинул стул к большому, наполненному гипсом ларю, чтобы, прислонившись к нему, отдохнуть.

Но сон бежал от глаз художника, сильно возбужденного спешной ночной работой, и, когда Селена отворила дверь, он выпрямился и посмотрел в отверстие между рамами, окружавшими место, где он работал.

Заметив высокую закутанную фигуру, в руке которой трепетал светильник, и увидев, что она пересекла обширную залу и вдруг остановилась, он испугался; это не помешало ему следить за каждым шагом ночного привидения больше с любопытством, чем со страхом. Когда же Селена стала осматриваться и свет от светильника упал на ее лицо, Поллукс узнал дочь смотрителя и сейчас же понял, зачем она пришла.

Ее напрасные попытки разбудить отца, конечно, заключали в себе что-то трогательное, но в то же время и что-то крайне забавное. Поэтому Поллукс почувствовал сильное желание засмеяться. Но как только Селена разразилась горьким плачем, он быстро раздвинул две рамы своих ширм, приблизился к ней и сперва тихо, а потом все громче несколько раз произнес ее имя. Когда она повернула к нему голову, он ласково попросил ее не пугаться, потому что он не дух, а лишь скромнейший смертный и, как сама она видит, всего-навсего беспутный, но уже на пути к исправлению сын привратника Эвфориона.

— Это ты, Поллукс? — спросила девушка с изумлением.

— Я сам. Но что с тобой? Не могу ли я помочь тебе?

— Мой бедный отец... он не шевелится... он окоченел... О вечные боги! — сокрушалась Селена.

— Кто храпит, тот не умер, — возразил скульптор.

— Но врач сказал...

— Да он вовсе не болен! Понтий только угостил его более крепким вином, чем то, к которому он привык. Оставь его в покое. У него подушка под головой, и он спит сладким сном младенца. Когда он уж чересчур громко затрубил, я принялся свистеть, словно канарейка: этим иногда удается унять храпуна. Но скорее можно заставить плясать вон тех каменных муз, чем разбудить его.

— Только бы перенести его на постель!

— Если у тебя есть четверка лошадей под рукой...

— Ты все такой же нехороший, как был.

— Несколько лучше, Селена. Тебе только нужно снова привыкнуть к моей манере говорить. На этот раз я хотел лишь сказать, что нам не под силу унести его.

— Но что же мне делать? Врач сказал...

— Оставь меня в покое со своим врачом! Я знаю болезнь, которой страдает твой отец. Она завтра пройдет. У него поболит голова, может быть, до вечера. Дай ему только выспаться...

— Здесь так холодно.

— Так возьми мой плащ и прикрой его.

— Но тогда ты озябнешь.

— Я к этому привык. С каких же это пор Керавн начал возиться с врачами?

Селена рассказала, какой припадок недавно случился с отцом и до какой степени основательны ее опасения. Ваятель слушал ее молча и затем проговорил совсем другим тоном:

— Это глубоко огорчает меня. Будем смачивать его лоб холодной водой. Пока не вернутся рабы, я буду через каждую четверть часа менять компрессы. Вот стоит сосуд, вот и полотенце. Отлично! Все готово! Может быть, он очнется от этого; а если нет, то люди перенесут его к вам.

— Ах, как это стыдно, стыдно! — вздохнула девушка.

— Нисколько. Даже верховный жрец Сераписа может заболеть. Только предоставь действовать мне.

— Если он увидит тебя, это снова взволнует его. Он так на тебя сердит, так сердит!

— Всемогущий Зевс! Какое же великое преступление я совершил? Боги прощают тягчайшие грехи мудрецов, а человек не может извинить шалость глупого мальчишки!

— Ты осмеял его.

— Вместо отбитой головы толстого Силена там, у ворот, я поставил на плечи статуи глиняную голову, которая была похожа на твоего отца. Это была моя первая самостоятельная работа.

— Ты сделал это, чтобы уколоть его.

— Право, нет, Селена, мне просто хотелось подшутить. Только и всего.

— Но ведь ты знал, как он обидчив?

— Да разве пятнадцатилетний повеса думает о последствиях своей шалости? Если бы только он отстегал меня по спине, его гнев разразился бы громом и молнией, и воздух очистился бы снова. Но поступить таким образом! Он разрезал ножом лицо моей статуи и медленно растоптал валявшиеся на земле куски. Меня он только раз ткнул большим пальцем (я, впрочем, до сих пор это чувствую), а затем начал поносить меня и моих родителей так жестоко, с таким горьким презрением...

— Он никогда не бывает вспыльчив, но обида въедается в его душу, и я редко видела его таким рассерженным, как в тот раз.

— Если бы он говорил со мной с глазу на глаз,— продолжал Поллукс,— но при этом присутствовал мой отец. Посыпались горячие слова, к которым моя мать прибавила кое-что от себя, и с тех пор завелась вражда между нашими домами. Меня огорчало больше всего то, что он запретил тебе и твоим сестрам приходить к нам и играть со мной.

— Мне это тоже испортило много крови.

— А весело было, когда мы наряжались в театральные тряпки или плащи моего отца!

— И когда ты лепил нам куклы из глины!

— Или когда мы изображали олимпийские игры!

— Когда мы с малышами играли в школу, я всегда была учительницей.

— Больше всего хлопот было у тебя с Арсиноей.

— Как приятно было удить рыбу!

— Когда мы возвращались домой с рыбой, мать давала нам муки и изюма для стряпни... А помнишь ли ты еще, как я на празднике Адониса остановил рыжую лошадь нумидийского всадника, когда она понесла?

— Конь уже сбил с ног Арсиною, и моя мать дала тебе миндальный пирожок.

— Но твоя неблагодарная сестрица, вместо того чтобы сказать мне спасибо, принялась уплетать его, а мне оставила только крохотный кусочек. Сделалась ли Арсиноя такой красавицей, какой обещала стать? Два года назад я видел ее в последний раз. Восемь месяцев я проработал, не отрываясь, для своего учителя в Птолемаиде и даже со своими стариками виделся лишь раз в месяц.

— Мы тоже редко выходили из дому, а заходить к вам нам запрещено. Моя сестра...

— А очень она красива?

— Кажется, очень. Чуть раздобудет где-нибудь ленту, сейчас же вплетет ее в волосы, и мужчины на улице смотрят ей вслед. Ей уже шестнадцать лет.

— Шестнадцать лет маленькой Арсиноей! Сколько же времени прошло со дня смерти твоей матери?

— Четыре года и восемь месяцев.

— Ты хорошо помнишь время ее кончины... Да и трудно забыть такую мать! Она была добрая женщина. Приветливее ее я никого не встречал, и мне известно, что она пыталась смягчить твоего отца. Но это ей не удалось, а потом ее настигла смерть.

— Да,— глухим голосом сказала Селена,— Как толь-

ко боги могли это допустить! Они часто злее самых жестоких людей.

— Бедные твои сестрички и братец!

Девушка грустно кивнула головой, и Поллуке тоже некоторое время стоял молча и потупившись. Но затем он поднял голову и воскликнул:

— У меня есть для тебя нечто, что тебя должно порадовать!

— Меня уже ничто не радует с тех пор, как она умерла.

— Полно, полно,— с живостью возразил скульптор.— Я не мог забыть эту добрую женщину и однажды в часы досуга слепил ее бюст по памяти. Завтра я принесу его тебе.

— О! — вскричала Селена, и ее большие глаза сверкнули солнечным блеском.

— Не правда ли, это радует тебя?

— Конечно, очень радует. Но если мой отец узнает, что ты подарил мне изображение...

— Так он в состоянии уничтожить его?

— Если даже и не уничтожит, то, во всяком случае, не потерпит его в своем доме, как только узнает, что это твоя работа.

Поллуке снял компресс с головы зрителя, намочил его снова и, положив на лоб спящего, вскричал:

— Мне пришла в голову мысль! Ведь дело идет здесь только о том, чтобы этот бюст напоминал тебе черты твоей матери. Нет надобности, чтобы голова стояла в вашем жилище. На круглой площадке, которая видна с вашего балкона и мимо которой ты можешь проходить, когда захочешь, стоят бюсты женщин из дома Птолемеев. Некоторые из них сильно попорчены и требуют починки. Я возьмусь за восстановление Береники и приделаю ей голову твоей матери. Выйдя из дому, ты можешь смотреть на нее. Это разрешает вопрос, не правда ли?

— Да, ты все-таки хороший человек, Поллуке!

— Разве я не сказал тебе, что начинаю исправляться? Но время, время! Если я займусь еще Береникой, то мне придется скупиться даже на минуты.

— Так вернись к своей работе, а примочки я и сама отлично умею делать.

При этих словах Селена откинула назад материнскую накидку так, чтобы освободить руки, и, стройная, бледная, обрамленная красивыми складками этой изящной накидки, стояла перед художником подобно статуе.

— Оставайся так... вот так... не двигайся! — вскричал Поллукс изумленной девушке так громко и горячо, что она испугалась.— Плащ лежит на твоём плече изумительно свободно. Ради всех богов, не трогай его! Если ты позволишь мне снять с него слепок, то в течение нескольких минут я выиграю целый день работы для нашей Береники. Примочки я буду делать во время перерывов.

Не дожидаясь ответа Селены, скульптор поспешил за перегородку и вернулся оттуда с рабочими лампами, по одной в каждой руке, и маленьким инструментом во рту, а затем с восковой моделью и поставил ее на край стола, за которым спал смотритель.

Поллукс потушил свечи и стал двигать свои лампы вправо и влево, вверх и вниз; добившись наконец удовлетворительного освещения, он опустился в кресло, отставил ноги, вытянул шею и голову с горбатым носом далеко вперед, словно коршун, стремящийся уловить взором отдаленную добычу... потупил глаза, поднял их снова, чтобы уловить что-нибудь новое, а затем надолго устремил их на слепок. При этом концы его пальцев бегали по поверхности восковой фигуры, погружались в мягкий материал, прикрепляли новые куски к, казалось бы, уже оформленным частям, решительными движениями устраняли другие и округляли их с лихорадочной быстротой, давая им новое назначение. Движение рук его казалось судорожным, но под сдвинутыми бровями блестяли его глаза, серьезные, сосредоточенные, спокойные и вместе с тем исполненные невыразимо глубокого одушевления.

Селена ни одним словом не дала ему разрешения воспользоваться ее услугами в качестве натурщицы, но, казалось, рвение художника передалось ей, и она точно онемела в неподвижной позе. И когда во время работы взгляд Поллукса падал на нее, то она чувствовала глубокую серьезность ее веселого товарища. Несколько времени ни он, ни она не открывали рта. Наконец он отступил от своей модели назад, низко нагнулся, быстрым, пытливым взглядом посмотрел сначала на Селену, потом на свою работу и сказал, счищая воск с пальцев и глубоко переводя дух:

— Так! Так оно должно быть! Теперь я сделаю твоему отцу новую примочку, а затем будем продолжать, Если ты устала, можешь двигаться.

Она воспользовалась этим дозволением лишь отчасти, и вскоре работа началась снова. Когда он стал заботливо оправлять сдвинувшиеся складки ее плаща, она отставила было ногу, чтобы отступить назад; но он сказал серьезным тоном: «Не шевелись!» — и она повиновалась. Пальцы и стеки Поллукса двигались теперь с большим спокойствием, в его взгляде не было прежнего напряжения, и он снова начал разговаривать.

— Ты очень бледна, — сказал он. — Правда, свет лампы и бессонная ночь...

— Я и днем такая же, но я не больна.

— Я думал, что только Арсиноя будет похожа на твою мать, но теперь нахожу многие черты ее в твоём лице. Овал ваших лиц одинаков, нос твой, так же как у нее, составляет почти прямую линию со лбом, твои большие глаза и изгиб бровей точно взяты с ее лица; но у тебя рот меньше и изящнее очерчен, и вряд ли твоя мать могла завязать волосы сзади таким пышным узлом. Мне кажется также, что твои — светлее...

— Говорят, что в девушках у нее волосы были еще пышнее, а ребенком она была такой же белокурой, как и я. Теперь я черноволоса.

— То, что твои волосы, не будучи курчавыми, мягкими волнами облегают голову, — это тоже от нее.

— Их легко причесывать.

— Ты ведь не выше ее?

— Пожалуй, нет; но она была полнее и потому казалась ниже ростом... Ты скоро кончишь?

— Ты устала стоять?

— Не очень.

— Так потерпи немножко... Глядя на тебя, я все больше вспоминаю минувшие годы. Мне приятно, что в тебе я вижу опять Арсиною. Мне кажется, как будто время сильно отодвинулось назад. Чувствуешь ли ты то же самое?

Селена покачала головой.

— Ты несчастлива?

— Да.

— Я знаю, что тебе приходится выполнять обязанности, тяжелые для девушки твоих лет.

— Все идет своим чередом.

— Нет, нет, я знаю, что ты не позволяешь, чтобы все в доме шло как попало: ты, как мать, заботишься о сестрах и брате.

— Как мать! — повторила Селена, и ее губы искривились горькой улыбкой.

— Правда, материнская любовь — вещь совершенно особенная, но говорят, что твой отец и дети вполне могут быть довольны и твоими заботами.

— Может быть, маленькие и наш слепой Гелиос, но Арсинья делает, что хочет.

— Я вижу, ты ею недовольна. Я по голосу слышу. А прежде ты сама была живая и веселая, хотя и не такая шалунья, как твоя сестра.

— Да, прежде.

— Как печально это звучит! Однако же ты молода, целая жизнь лежит перед тобой.

— Какая жизнь?

— Какая? — спросил ваятель, оторвавшись от работы; и, пылающим взором глядя на прекрасную, бледную девушку, он с сердечной искренностью вскричал:

— Жизнь, которая могла бы быть вся полна счастья и веселой любви!

Девушка отрицательно покачала головой и спокойно сказала:

— «Любосье — это радость», говорит христианка, которая наблюдает за нашей работой в папирусной мастерской, но с тех пор, как умерла мать, я уже никогда не радовалась. Я насладилась всем моим счастьем за один раз — в детстве. Теперь же я бываю рада, когда нас не постигает какое-нибудь тягчайшее бедствие. С тем, что приносят мне остальные дни, я примиряюсь, потому что не могу ничего изменить! Мое сердце совершенно пусто, и если оно действительно способно чувствовать что-нибудь, так это страх. Я давно уже отучилась ждать чего-нибудь хорошего от будущего.

— Девушка, девушка! — вскричал Поллукс. — Что с тобой стало? Впрочем, я понимаю только половину того, что ты говоришь. Каким образом ты попала в папирусную мастерскую?

— Не выдай меня, — тревожно просила Селена. — Если бы отец услышал...

— Он спит, и того, что ты скажешь мне здесь по секрету, не узнает никто.

— Зачем мне таиться? Я каждый день хожу в сопровождении Арсиной в эту мастерскую и работаю там, чтобы добыть немного денег.

— За спиной отца?

— Да. Он скорее позволил бы нам умереть с голоду,

чем потерпел бы это. Каждый день мне приходится прибегать к этому обману, но делать нечего, потому что Арсиноя думает только о себе, играет с отцом в тавлеи, завивает ему кудри и возится иногда с детьми, как с куклами, и на мне лежит обязанность заботиться о малютках.

— И ты, ты говоришь, что в тебе нет любви! К счастью, никто тебе не верит, и я меньше всех. Недавно мне рассказывала о тебе моя мать, и я тогда подумал, что из тебя могла бы выйти хорошая жена.

— А сегодня?

— Сегодня я знаю это наверняка.

— Ты можешь ошибиться.

— Нет, нет! Тебя зовут Селеной, и ты так же кротка, как приветливый свет луны. Имена нередко соответствуют своему значению.

— Мой слепой брат, никогда не видевший света, носит имя Гелиос,— возразила девушка с иронией.

Поллукс говорил с большим жаром, но последние слова Селены испугали его и умерили его пыл.

Так как он ничего не отвечал на ее горькое восклицание, то она заговорила снова, сперва холодно, затем все с бóльшим пылом:

— Ты начинаешь мне верить, и ты прав, так как то, что я делаю для малюток, происходит не от доброты, не от любви и не потому, что их счастье для меня выше моего собственного. От отца я унаследовала гордость, и для меня было бы невыносимо, если бы мои сестры ходили в лохмотьях и если бы люди тоже считали нас бедными. Самое ужасное для меня — это болезнь в доме, потому что она усиливает страх, никогда не оставляющий меня, и поглощает последние сестерции; а дети не должны терпеть нужды. Я не хочу выставлять себя более дурной, чем на самом деле: мне тоже горько видеть, что они пропадают. Но из того, что я делаю, ничто не доставляет мне радости; все это разве только умеряет страх. Ты спрашиваешь, чего я боюсь? Всего — да, всего, что может случиться, потому что у меня нет никакого основания ожидать чего-нибудь хорошего. Когда стучатся к нам в дверь, то это может быть кредитор; когда на улице мужчины таращат глаза на Арсиною, я уже вижу, как бесчестие подкарауливает ее; когда отец поступает вопреки приказанию врача, то мне кажется, что мы уже стоим на улице, без крова. Разве я что-нибудь делаю с радостью в сердце? Я, конечно, не провожу времени в

праздности, но завидую каждой женщине, которая может сидеть сложа руки и иметь рабынь к своим услугам. И если бы я вдруг разбогатела, я более не пошевелила бы пальцем и спала бы каждый день до полудня. Я предоставила бы рабам заботиться о моем отце и о детях. Моя жизнь — настоящее бедствие. Если иногда выдается какой-нибудь час лучше других, я удивляюсь ему, и он проходит прежде, чем я опомнюсь от удивления.

От слов Селены повеяло холодом в душу художника, и его сердце, широко раскрывшееся навстречу подруге его детских игр, теперь болезненно сжалось.

Прежде чем он мог найти истинные слова ободрения, которых искал, из залы, где спали работники и рабы, послышался звук трубы, призывавший их к пробуждению.

Селена вздрогнула, плотнее закуталась в накидку, попросила Поллукса позаботиться об отце и спрятать от людей стоявшую возле него винную кружку, а затем быстро пошла к двери, позабыв свой светильник.

Поллукс поспешил за нею, чтобы посветить ей, и, провожая ее домой, он теплыми, настойчивыми и удивительно трогательными для ее сердца словами вынудил у нее обещание еще раз позировать ему в той же накидке.

Пока смотритель дворца спал в своей постели, Поллукс, растянувшись на своем ложе, долго думал о бледной девушке с оцепеневшей душой. Когда же он наконец заснул, то в приятном сновидении явилась ему прелестная маленькая Арсиноя, которая, не подоспей он на помощь, неминуемо была бы растоптана пугливой лошадейю нумидийца во время праздника Адониса; ему снилось, будто она отнимает у своей сестры миндальный пирожок и отдает ему. А Селена мирится с этим и только, вся бледная, спокойно улыбается холодной улыбкой.

Александрия волновалась.

В связи с предстоящим в скором времени прибытием императора трудолюбивые граждане, оставив свои дела, теперь спешили, давя друг друга, получить хлеб и другую пищу. Они стремились только к тому, чтобы свободные от работы часы наполнить радостью и весельем.

Во многих мастерских и складах колесо трудолюбия остановилось, так как все промышленные классы и сословия были одушевлены одинаковым стремлением праздновать прибытие Адриана с неслыханным блеском.

Все, кто среди граждан Александрии отличался изобретательным умом, богатством, красотой, были приглашены к участию в играх и процессиях, которые должны были длиться много дней.

Богатейшие из граждан-язычников взялись доставить средства для предполагавшихся театральных зрелищ, показательных морских сражений в присутствии императора, а также кровавых зрелищ в амфитеатре; и число желающих платить богачей было так велико, что средств оказывалось больше, чем требовалось.

Однако постановка отдельных частей шествия, в котором могли принять участие и люди бедные, выполнение построек на ипподроме, украшение улиц и угощение римских гостей требовали таких громадных сумм, что они казались чрезмерными даже префекту Титиану, который привык видеть, как его римские собратья по званию сорили миллионами.

В качестве императорского наместника он должен был давать свое согласие на каждое развлечение, предназначенное для услаждения слуха или зрения его повелителя. В целом он предоставил гражданам великого города полную свободу действий, но не раз был принужден энергично восставать против излишеств, так как хотя император и мог долго предаваться удовольствиям, но то, что александрийцы первоначально хотели заставить его видеть и слышать, превосходило самые неутомимые человеческие силы.

Наибольшие затруднения причиняли не только ему, но и избранным распорядителям празднеств никогда не прекращавшиеся раздоры между языческой и еврейской частями александрийского населения, а также распорядок торжественного шествия, потому что ни одна часть не хотела быть последней, ни один член ее быть третьим или четвертым.

Наконец на одном совещании все мероприятия, вследствие строгого вмешательства префекта, были бесповоротно одобрены, и затем Титиан отправился в Цезареум к императрице, требовавшей, чтобы он ежедневно являлся к ней.

Он был рад, что достиг по крайней мере такого результата, потому что прошло уже шесть дней с тех пор, как были начаты работы в Лохиадском дворце, и время прибытия императора приближалось.

Префект застал Сабину возлежавшей по обыкновению на кушетке, но она скорее сидела, чем лежала, при-

слонясь к подушкам. По-видимому, она оправилась от утомительного морского пути; в знак лучшего самочувствия она положила больше румян на щеки и губы, чем три дня тому назад, а так как она только что принимала у себя скульпторов Папия и Аристея, то велела сделать себе прическу Венеры-Победительницы, с атрибутами которой она за пять лет до этого позволила (хотя и неохотно) изобразить себя в мраморной статуе.

Когда копию этого изваяния выставили в Александрии, чей-то злой язык бросил замечание, часто затем повторявшееся среди местных граждан:

— Афродита действительно победоносна: тот, кто видит ее, спешит убежать подальше. Ее следовало бы называть Кипридой, обращающей в бегство.

Титиан явился к императрице взволнованный ожесточенными спорами и неприятными выходками, при которых он только что присутствовал. На сей раз он застал ее без посторонних, кроме постельничего и нескольких прислужниц. На почтительный вопрос префекта о ее здоровье она, пожимая плечами, ответила:

— Как мое здоровье? Если я скажу «хорошо», — это будет ложь; а если скажу «плохо», — увижу соболезирующие физиономии, на которые неприятно смотреть. Жизнь нужно терпеть так или иначе. Однако множество дверей в этих комнатах убьет меня, если я буду вынуждена долго здесь оставаться.

Титиан взглянул на двери покоя, в котором пребывала императрица, и принялся выражать сожаление по поводу изъяна, которого он не заметил; но Сабина прервала его и сказала.

— Вы, мужчины, никогда не замечаете того, что нас, женщин, огорчает. Наш Вер — единственный человек, который это чувствует и понимает... вернее, угадывает чутьем. Тридцать пять дверей находятся в занимаемых мною покоях. Я велела сосчитать их! Тридцать пять! Если бы они не были так стары и сделаны из драгоценного дерева, я бы подумала, что они устроены в насмешку надо мной.

— Может быть, некоторые из них можно заменить драпировками.

— Оставим это! Несколькими пытками больше или меньше в моей жизни — не все ли равно? Покончили ли александрийцы со своими приготовлениями?

— Надеюсь, — ответил префект со вздохом. — Они из кожи лезут вон, чтобы сделать лучше, но в своих уси-

лиях продвинуться вперед каждый из них ведет войну друг против друга, и я нахожусь еще под впечатлением отвратительной перебранки, при которой должен был присутствовать целыми часами и нередко укрощать ее грозным «Quos ego!»

— Да? — спросила императрица и улыбнулась, точно она услышала что-нибудь приятное. — Расскажи мне подробнее об этом собрании. Я скучаю до смерти, так как Вер, Бальбилла и другие просили у меня позволения посмотреть на работы, которые производятся на Лохиаде. Я привыкла наблюдать, что людям приятнее быть где угодно, только не со мной. Могу ли я удивляться, если мое присутствие недостаточно даже для того, чтобы заставить друга моего мужа забыть какие-то мелкие неприятности. Мои беглецы что-то долго не возвращаются: на Лохиаде, должно быть, есть на что посмотреть.

Префект сдержал свое неудовольствие; он ни одним словом не выдал своего опасения, что архитектору и его помощникам могут помешать, и тоном вестника в трагедии начал:

— Первый спор поднялся по поводу распорядка шествия.

— Отступи немножко назад, — сказала Сабина, прижав правую, покрытую кольцами руку к уху, как будто чувствуя боль.

Щеки префекта слегка покраснели, но он повиновался и, понизив голос, продолжал:

— Итак, спокойствие было нарушено вначале по поводу шествия.

— Я уже это слышала, — отвечала матрона и зевнула. — Я люблю процессии.

— Но, — сказал с легким волнением префект, — люди и здесь, как в Риме и везде, если они не подчиняются приказанию одного человека, являются сынами раздора и отцами распри, даже в том случае, когда дело идет об устройстве какого-нибудь мирного празднества.

— Тебе, по-видимому, неприятно, что Адриана желают почтить такими пышными празднествами?

— Ты шутишь. Именно потому, что я особенно желаю, чтобы они вышли как можно блистательнее, я самолично вхожу во все подробности, и, к моему удовольствию, мне удалось укротить даже строптивых. Едва ли я по должности был обязан...

— Я думала, что ты не только слуга государства, но и друг моего супруга.

— Я горжусь тем, что имею право называть себя этим именем.

— Да, у Адриана стало много, очень много друзей с тех пор, как он носит багряницу. Ну, теперь ты забыл свое дурное расположение духа? Ты, должно быть, сделался очень впечатлительным, Титиан; у бедной Юлии очень раздражительный супруг.

— Она не столько достойна сожаления, как ты думаешь,— возразил Титиан с достоинством,— так как моя должность до такой степени погружает меня в заботы, что жена редко имеет возможность замечать мое возбужденное состояние. Если я забыл скрыть от тебя свое волнение, то прошу простить меня и приписать это моему горячему желанию обеспечить для Адриана достойный его прием.

— Не думай, что я сержусь на тебя... Однако вернемся к твоей жене. Значит, она разделяет мою участь. Бедные, мы не получаем от своих мужей ничего, кроме объедков после государственных дел, которые все поглощают. Но рассказывай же, рассказывай!

— Самые тяжелые часы я пережил из-за неприязни между евреями и другими гражданами.

— Я ненавижу эти проклятые секты евреев, христиан или как они там называются! Не отказываются ли они внести свою долю пожертвований для приема императора?

— Напротив, алабарх, их богатый глава, вызвался взять на себя все издержки на целую павмахию, а его единоведец Артемион...

— Ну? Так пусть возьмут от них деньги, пусть возьмут!

— Эллинские граждане чувствуют себя достаточно богатыми, чтобы принять на свой счет все издержки, которые будут составлять много миллионов сестерциев, и добиваются того, чтобы исключить евреев везде из своих процессий и зрелищ.

— Они правы.

— Позволь мне спросить тебя: справедливо ли было бы помешать половине александрийцев оказать почет своему императору?

— Адриан с удовольствием откажется от этой части. Титулы «Африканский», «Германский», «Дакийский» служили славе наших победителей, но после того, как Тит разрушил Иерусалим, он не позволил назвать себя «Иудейским».

— Он поступил так потому, что его пугало воспоминание о потоках крови, которые он вынужден был пролить, чтобы сломить упорное сопротивление этого народа. Приходилось ломать побежденному сустав за суставом, палец за пальцем, прежде чем он наконец решил покориться.

— Ты опять говоришь почти как поэт. Уж не выбрали ли тебя эти люди своим адвокатом?

— Я знаю их и стараюсь оказывать им справедливость, как всем гражданам этой страны, которой управляю от имени государства и императора. Они платят такие же подати, как и другие александрийцы, даже больше других, потому что между ними есть очень много богатых людей, они прославились в области торговли, ремесел, науки и искусства, и потому я меряю их той же меркой, что и остальных жителей этого города. До их суеверия мне так же мало дела, как и до суеверия египтян.

— Но оно выходит из границ. В Aelia Capitolina, которую Адриан украсил многими зданиями, они отказались принести жертву статуям Юпитера и Геры. Это значит, что они отказываются воздавать честь мне и моему супругу.

— Им запрещено служить какому-либо другому богу, кроме их собственного. Aelia была выстроена на развалинах их Иерусалима, а статуи, о которых ты говоришь, стоят на священнейших для них местах.

— Какое нам дело до этого?

— Тебе известно, что и Гай не мог убедить их поставить свою статую в святой святынь их храма. Даже наместник Петроний должен был согласиться, что принудить их к тому — значит поголовно истребить их.

— В таком случае пусть будет с ними то, чего они заслуживают. Уничтожить их! — вскричала Сабина.

— Уничтожить? — спросил префект. — В одной Александрии почти половину граждан, то есть несколько сот тысяч верноподданных... уничтожить?

— Так много? — спросила императрица с испугом. — Но это ужасно! Всемогущий Зевс! Что, если эта масса восстанет против нас? Никто не говорил мне об этой опасности... В Киренаике и в Саламине на Кипре они грабили десятки тысяч своих сограждан.

— Их раздражили до крайности, и они оказались сильнее своих угнетателей.

— А в их собственной стране, говорят, восстание следует за восстанием.

— Все из-за тех жертвоприношений, о которых мы сейчас говорили. Теперь легатом в Палестине Тинний Руф. У него, правда, противный, резкий голос, но, по-видимому, он не такой человек, чтобы позволить шутить с собой, и сумеет укротить это опасное отродье.

— Может быть,— сказал Титиан,— но боюсь, что одной строгостью он не достигнет цели, а если достигнет, то обезлюдит целую провинцию.

— В империи слишком много народа.

— Но полезных граждан никогда не бывает достаточно!

— Мятежные ненавистники богов — полезные граждане?

— Здесь, в Александрии, где многие из них вполне привыкли к нравам и образу мыслей эллинов и все усвоили их язык, они, конечно, полезные граждане и, несомненно, искренне преданы императору.

— Принимают ли они участие в празднествах?

— Да, насколько позволяют им эллины.

— А в постановке морского сражения?..

— Не будут, но Артемиону дозволено поставлять диких зверей для игрищ в амфитеатре.

— И он не выказал скупости?

— Ты бы поразились его щедрости. Должно быть, этот человек умеет, подобно Мидасу, превращать камни в золото.

— И много подобных ему между вашими евреями?

— Изрядное число.

— В таком случае я желаю, чтобы они попытались взбунтоваться, потому что, если возмущение уничтожит богатых, нам достанется их золото.

— А до тех пор я постараюсь сохранить их живыми, как хороших плательщиков податей.

— Разделяет ли это желание Адриан?

— Без сомнения.

— Твой преемник, может быть, внушит ему другие мысли.

— Адриан всегда действует по своему собственному разумению, а я еще состою в должности,— гордо сказал Титиан.

— И да сохранит тебя в ней иудейский бог на многие лета,— насмешливо отвечала Сабина.

Прежде чем Титиан успел открыть рот для ответа, главная дверь осторожно, но широко отворилась, и претор

Луций Элий Вер, жена его Домиция Луцилла, юная Бальбилла и историограф Анней Флор вошли в комнату. Все четверо были в веселом возбуждении и желали тотчас же после первых приветствий дать императрице отчет о том, что они видели на Лохиаде; но Сабина сделала рукой отрицательный знак и прошептала:

— Нет, нет, подождите; я чувствую себя изнеможенной... долгое ожидание, а потом... Мой нюхательный флакон, Вер! стакан воды с фруктовым соком, Левкиппа! Но только не такой сладкой, как обыкновенно!

Гречанка-рабыня поспешила исполнить приказание. Поднося к носу изящный флакончик, вырезанный из оникса, императрица сказала:

— Не правда ли, Титиан, целая вечность прошла с тех пор, как мы с тобой беседуем о государственных делах? А вы ведь знаете, что я откровенна и не могу молчать, когда встречаю превратные понятия. В ваше отсутствие я принуждена была много говорить и слушать. Это может отнять силы даже у людей более крепких, чем я. Удивительно, что вы не нашли меня в более жалком состоянии. В самом деле, что может быть изнурительнее для женщины, как защищаться с мужественной решительностью против мужчины. Дай мне воду, Левкиппа.

В то время как императрица, непрерывно шевеля тонкими губами и как бы смакуя, маленькими глотками пила фруктовый сок, Вер приблизился к префекту и шепотом спросил его:

— Ты долго оставался наедине с Сабинной?

— Да,— ответил Титиан и при этом стиснул зубы так крепко и сжал кулаки так сильно, что претор не мог не понять его, и тихо сказал:

— Ее нужно пожалеть; и в особенности теперь на нее находят часы...

— Какие часы? — спросила Сабина, отнимая стакан от своих губ.

— Такие,— быстро отвечал Вер,— в которые мне нет надобности заботиться о сенате и о государственных делах. Кому другому обязан я этим, как не тебе?

При этих словах он подошел к матроне и, подобно сыну, внимательному к своей уважаемой больной матери, с сердечной услужливостью принял от нее стакан, чтобы передать его гречанке. Императрица несколько раз благосклонно кивнула претору в знак благодарности и затем с оттенком веселости в голосе спросила:

— Ну что же вы видели на Лохиаде?

— Чудеса! — проворно отвечала Бальбилла, всплеснув своими маленькими ручками. — Рой пчел, целый муравейник вторгся в старый дворец. Белые, коричневые и черные руки в таком множестве, что мы не могли и сосчитать их, заняты там деятельной работой, и из многих сотен людей ни один не мешает другому. Подобно тому, как предусмотрительная мудрость богов направляет звезды по их путям в часы «всемилюстивой Ночи», так что ни одна из них никогда не остановит и не толкнет другую, всей этой толпой руководит один маленький человек...

— Я вынужден вступить за архитектора Понтия, — прервал девушку претор. — Он как-никак человек среднего роста.

— Итак, скажем, чтобы удовлетворить твое чувство справедливости, — продолжала Бальбилла, — итак, скажем: ими всеми руководит человеческое существо среднего роста со свитком папируса в правой руке и стилем — в левой. Нравится ли тебе теперь мой способ выражения?

— Он мне всегда нравится, — отвечал претор.

— Позволь же Бальбилле продолжать рассказ, — милостивым тоном приказала императрица.

— Мы видели хаос, — продолжала девушка, — но в этом беспорядочном смешении уже чувствуются условия для будущего стройного творения; да, их даже можно видеть воочию.

— И оступиться об них, — засмеялся претор. — Если бы было темно, а работники были червями, мы бы передавили половину их, до того кишели ими каменные полы.

— Что же они делали?

— Все, — с живостью отвечала Бальбилла. — Одни полировали попорченные плиты; другие укладывали новые куски мозаики на места, откуда были похищены прежние; искусные художники расписывали гладкие гипсовые поверхности пестрыми фигурами. Каждая колонна, каждая статуя были окружены лесами, доходившими до потолка, и по ним всходили люди, напирая друг на друга, подобно матросам, взбирающимся на борт неприятельского судна во время какой-нибудь навмахии.

При живом воспоминании обо всем виденном щеки хорошенькой девушки покраснелись, и во время своей речи она выразительно жестикулировала и встряхивала высокой кудрявой прической, которой была увенчана ее головка.

— Твое описание становится поэтичным,— прервала императрица свою наперсницу.— Не вдохновляет ли тебя муза еще и к стихотворству?

— Все девять пиэрид представлены в Лохиадском дворце,— сказал претор.— Мы видели восемь, но у девятой, помощницы астрономов и покровительницы изящных искусств, небесной Урании, было вместо головы... как бы ты думала что? Позволь мне просить тебя отгадать, божественная Сабина.

— Что же такое?

— Пук соломы!

— Ах! — вздохнула императрица.— Как ты думаешь, Флор, нет ли между твоими учеными и кропающими стихи собратями кого-нибудь, похожего на эту Уранию?

— Во всяком случае,— возразил Флор,— мы предусмотрительнее богини, потому что содержание наших голов скрывается под твердой покрывкой черепа и более или менее густыми волосами. Урания же выставляет свою солому напоказ.

— Твои слова,— засмеялась Бальбилла, указывая на массу своих кудрей,— отзываются почти намеком, что мне в особенности необходимо скрывать то, что лежит под этими волосами.

— Но и лесбосский лебедь был назван «лепокудрою»,— возразил Флор.

— А ты — наша Сафо,— сказала жена претора Луцилла и с нежностью привлекла девушку к себе.

— Серьезно, не думаешь ли ты изобразить в стихах то, что видела сегодня? — спросила императрица.

Тут Бальбилла слегка потупилась, но бодро ответила:

— Это могло бы подстегнуть меня: все странное, что я встречаю, побуждает меня к стихам.

— Но последуй примеру грамматика Аполлония,— сказал Флор.— Ты Сафо нашего времени, и поэтому тебе следовало бы сочинять стихи не на аттическом, а на древнем эолийском диалекте.

Вер расхохотался... А императрица, которая никогда громко не смеялась, хихикнула коротко и резко. Бальбилла спросила с живостью:

— Неужели вы думаете, что мне не удалось бы это выполнить? С завтрашнего же дня я начну упражняться в эолийском наречии.

— Оставь это,— попросила Домиция Луцилла.— Самые простые твои песни всегда были самыми прекрасными.

— Пусть же не смеются надо мной,— своенравно ответила Бальбилла.— Через несколько недель я буду в состоянии владеть элийским диалектом, потому что я могу сделать все, что захочу, все, все...

— Что за упрямая головка скрывается под этими кудрями! — сказала императрица и милостиво погрозила ей пальцем.

— И какая восприимчивость! — воскликнул Флор.— Ее учитель грамматики и метрики говорил мне, что его лучшим учеником была женщина благородного происхождения и притом поэтесса, Бальбилла.

Девушка покраснела от этой похвалы и радостно спросила:

— Льстишь ли ты, или же Гефестион в самом деле сказал это?

— Увы! — вскричал претор.— Гефестион был и моим учителем, а следовательно, и я принадлежу к числу учеников мужского пола, посрамленных Бальбиллой. Но это для меня не новость, потому что александриец говорил и мне почти то же самое, что и Флору; и я не настолько кичусь своими стихами, чтобы не чувствовать справедливости его приговора.

— Вы подражаете различным образцам,— заметил Флор,— ты — Овидию, а она — Сафо; ты пишешь стихи по-латыни, а она по-гречески. Ты все еще по-прежнему возишь с собой любовные песни своего Овидия?

— Постоянно,— ответил Вер,— как Александр своего Гомера.

— И из благоговения к своему учителю,— прибавила императрица, обращаясь к Домиции Луцилле,— твой муж при содействии Венеры старается жить согласно его творениям.

Стройная и прекрасная римлянка отвечала только пожатием плеч на эти слова, имевшие далеко не дружественный смысл; но Вер, подняв соскользнувшее на пол шелковое одеяло Сабины и заботливо прикрывая им ее колени, сказал:

— Величайшее мое счастье состоит в том, что победоносная Венера удостоивает меня своим благоволением. Но мы еще не кончили нашего отчета. Наш лесбосский лебедь повстречал в Лохиадском дворце другую птицу — некоего художника-скульптора.

— С каких это пор ваятели причисляются к птицам? — спросила Сабина.— Самое большее, в чем их можно сравнить,— это с дятлами.

— Когда они работают над деревом,— заметил Вер.— Но наш художник — помощник Папия и оформляет благородные материалы в высоком стиле. На сей раз, правда, он создает свою Уранию из составных частей весьма странного свойства.

— Вер, вероятно, потому называет нашего нового знакомого птицей,— прервала Бальбилла,— что, когда мы приблизились к загородке, за которой он работал, он насвистывал песенку так чисто, так весело и так громко, что она покрывала голоса работников и звонко раздавалась по обширной пустой зале. Соловей не может свистеть прекраснее. Мы остановились и слушали, пока веселый молодец, не подозревавший нашего присутствия, не замолчал. Услыхав голос архитектора, он крикнул через перегородку: «Теперь нужно приняться за голову Урании. Я уже вижу эту голову перед глазами и в три дюжины приемов покончил бы с нею, но Папий говорит, что у него есть голова на складе. Мне любопытно посмотреть на слащавое лицо, которое он напялит на шею моему торсу. Достань мне хорошую модель для бюста Сафо, которую мне велено восстановить. У меня идеи так и роятся в голове. Я так возбужден, так взволнован! Из всего, за что я примусь, теперь выйдет что-нибудь стоящее!»

При последних словах Бальбилла старалась подражать низкому мужскому голосу и, увидев, что императрица улыбается, продолжала с одушевлением:

— Все это вырывалось так непосредственно из глубины сердца, готового разорваться от переполнявшей его веселой, необузданной жажды творчества, что мне сразу стало легко на душе, и все мы подошли к загородке и стали просить ваятеля показать нам работу.

— Что же вы нашли? — спросила Сабина.

— Он решительно запретил нам врываться за перегородку,— сказал претор,— но Бальбилла лестью выманила у него позволение. Долговязый малый действительно научился кое-чему. Складки одежды, прикрывающей фигуру музы, совершенно соответствуют натуре; они набросаны роскошно, энергично и притом отделаны с изумительной тонкостью. Урания плотно окутывает стройное тело плащом, точно защищает себя от ночной прохлады, пока созерцает звезды. Когда он покончит со своей музой, ему придется восстановить несколько изуродованных бюстов. Беренике он уже сегодня приставит готовую голову, а для Сафо я предложил ему Бальбиллу

в качестве натурщицы.

— Хорошая мысль,— сказала императрица.— Если бюст будет удачен, я возьму его с собой в Рим.

— Я охотно буду служить ему моделью,— вскричала девушка,— весельчак мне понравился.

— А Бальбилла ему,— прибавила жена претора.— Он глазел на нее, как на чудо, а она обещала ему, если ты разрешишь, завтра на три часа предоставить свое лицо в его распоряжение.

— Он начинает с головы,— сказал Вер.— Однако что за счастливец этот художник! Ему она без всякого неудовольствия позволяет поворачивать свою голову, менять складки на пеплуме; а между тем, когда нам сегодня приходилось обходить целые болота гипса и лужи свежих красок, она едва приподнимала край своего платья, а мне, который так охотно пришел бы ей на помощь, она не позволила даже перенести ее через самые грязные места.

Бальбилла покраснела и сказала с раздражением:

— Серьезно, Вер, я не могу позволить, чтобы ты говорил обо мне в таком тоне. Знай же раз навсегда: ко всему нечистому я чувствую так мало расположения, что мне и без посторонней помощи будет легко обойти его.

— Ты слишком строга,— прервала императрица девушку, неприятно улыбаясь.— Не правда ли, Домиция Луцилла, ей следовало бы предоставить твоему мужу право ухаживать за ней?

— Если императрица считает это приличным и уместным,— быстро возразила Луцилла, выразительно пожав плечами.

Сабина поняла смысл ее слов и, снова принужденно зевнув, сказала небрежно:

— В наше время следует быть снисходительным к мужу, который выбрал себе в качестве самых надежных спутников любовные песни Овидия. Что там такое, Ти-тиан?

Еще во время рассказа Бальбиллы о встрече с ваятелем Поллуксом постельничий подал префекту важное, не терпевшее отлагательства письмо. Сановник удалился с ним в глубь комнаты и только что дочитал его до конца.

От острых глаз Сабины ничего не ускользало из происходившего вокруг нее; поэтому она заметила также, что наместник, сворачивая письмо, сделал беспокойное движение.

Письмо, должно быть, сообщало важные известия.

— Безотлагательное письмо,— отвечал Титиан,— вызывает меня в префектуру. Я прощаюсь с тобой и надеюсь в скором времени сообщить тебе нечто приятное.

— Что заключается в этом письме?

— Важные известия из провинции,— отвечал Титиан.

— Можно узнать, какие?

— К сожалению, я должен отрицательно ответить на этот вопрос. Император повелел хранить это дело в совершенной тайне. Выполнение его требует величайшей поспешности, и поэтому я, к сожалению, принужден тотчас же оставить тебя.

Сабина с ледяной холодностью ответила на прощальный поклон префекта и велела провести себя во внутренние покои, чтобы переодеться к ужину.

Бальбилла последовала за ней, а Флор отправился в «Олимпийский стол» — превосходную поварню Ликорта, о которой гастрономы в Риме рассказывали ему чудеса.

Оставшись наедине с женой, Вер подошел к ней и ласково спросил:

— Можно мне проводить тебя до дому?

Домиция Луцилла бросилась на диван, обеими руками закрыла лицо и не отвечала ни слова.

— Можно?

Так как жена упорствовала в своем молчании, то он подошел к ней ближе, положил руку на изящные пальцы, которыми она прикрывала лицо, и сказал:

— Ты, кажется, сердисься на меня?

Легким движением она отстранила его руку и вскричала:

— Оставь меня!

— Да, к сожалению, я должен тебя оставить,— вздохнул Вер.— Дела призывают меня в город, и я буду...

— И ты будешь просить молодых александриек, с которыми ты вчера кутил целую ночь, показать тебе новых красавиц; это я знаю.

— Здесь действительно есть женщины, прелестные до невероятия,— с полной непринужденностью отвечал Вер,— белые, коричневые, бронзовые, черные,— все они обворожительны в своем роде. Нельзя утомиться, созерцая их.

— А твоя жена? — спросила Луцилла, встав перед ним с серьезным выражением лица.

— Моя жена? Да она прекраснейшая из всех женщин. Жена — это серьезный, почетный титул и не имеет ничего общего с радостями жизни! Как мог бы я произ-

носить твое имя в одно время с именами тех малюток, которые помогают мне коротать часы досуга?

Домиция Луцилла привыкла уже к подобным словам, однако и на этот раз они огорчили ее. Но она скрыла свою печаль и, скрестив руки, сказала с решительностью и достоинством:

— Так разъезжай по жизненному пути с твоим Овидием и с твоими купидонами, но не пытайся повергать невинность под колеса твоей колесницы.

— Ты говоришь о Бальбилле? — спросил претор и громко рассмеялся. — Она умеет защищать себя сама, и у нее слишком много ума, чтобы позволить Эроту поймать ее. Сынку Венеры нечего делать у таких добрых приятелей, как мы с Бальбиллой.

— Могу я поверить тебе?

— Ручаюсь тебе в том, что я ничего от нее не желаю, кроме ласкового слова! — вскричал он и чистосердечно протянул жене руку.

Луцилла только слегка прикоснулась к ней кончиками пальцев и сказала:

— Отошли меня назад, в Рим. Я невыразимо тоскую по детям, в особенности по нашему мальчику.

— Нельзя, — серьезно возразил Вер. — Теперь нельзя, но через несколько недель, надеюсь, это будет возможно.

— Почему не раньше?

— Не спрашивай меня.

— Мать имеет право знать, почему ее разлучают с сыном, лежащим в колыбели.

— Эта колыбель стоит теперь в доме твоей матери, которая неусыпно заботится о наших малютках. Имей еще немного терпения, так как то, чего я домогаюсь для тебя, для себя самого и главным образом для нашего сына, так велико, так громадно и трудно достижимо, что из-за этого стоит перенести целые годы тоскливого ожидания.

Последние слова Вер проговорил тихо, но с достоинством, которое было ему свойственно только в решительные мгновения.

Жена его, еще прежде чем он окончил свою речь, схватила обеими руками его правую руку и спросила тихим, испуганным голосом:

— Ты стремишься к багрянице?

Он утвердительно кивнул головой.

— Так поэтому-то... — пробормотала она.

— Что?

— Сабина и ты...

— Не только поэтому. Она жестка и резка по отношению к другим, но мне она еще с детских лет оказывала самое доброе расположение.

— Она ненавидит меня.

— Терпение, Луцилла, терпение! Настанет день, когда дочь Нигрина станет супругой цезаря, а бывшая императрица... Но я не скажу этого. Ты ведь знаешь, чем я обязан Сабине и что я искренне желаю долгой жизни императору.

— А усыновление?

— Тише! Он думает о нем, а его супруга желает этого.

— Скоро оно может состояться?

— Кто в настоящую минуту может знать, что император решит через час?.. Но, может быть, решение последует тридцатого декабря.

— В день твоего рождения?

— Он спрашивал меня об этом дне и, наверное, будет составлять мой гороскоп в ночь моего рождения.

— Значит, звезды решат нашу участь?

— Не одни звезды. Нужно еще, чтобы Адриан пожелал истолковать их в мою пользу.

— Чем я могу помочь тебе?

— Будь всегда сама собой при разговоре с императором.

— Благодарю тебя за эти слова и уже больше не прошу, чтобы ты разрешил мне уехать. Если бы быть женой Вера значило еще нечто другое, кроме почетного звания, я не искала бы нового сана — супруги цезаря.

— Я не поеду сегодня в город и останусь с тобой. Довольна ли ты?

— Да, да! — вскричала она и подняла руку, чтобы обвить ею шею мужа, но он отстранил ее и прошептал:

— Оставь это, пастушеская идиллия неуместна при охоте за багряницей.

Титиан велел своему вознице тотчас ехать на Лохиаду. Путь шел мимо его дома, расположенного на Брухейоне во дворе префектуры, и он приказал остановиться там, потому что письмо, спрятанное им в складках тоги, содержало в себе известие, которое через несколько часов могло заставить его вернуться домой только на следующий день. Пройдя мимо всех чиновников, центурионов⁴ и ликторов, ожидавших его возвращения, чтобы

сделать доклад или принять распоряжение, он миновал прихожие и обширную приемную и направился к жене в гинекей, примыкавший к садам префектуры. Уже на пороге покоев он встретился со своей супругой, которая, услышав его приближавшиеся шаги, пошла ему навстречу.

— Я не обманулась,— вскричала матрона с искренней радостью.— Как хорошо, что ты на этот раз мог вырваться так рано. Я не ждала тебя раньше окончания ужина.

— Я приехал только для того, чтобы уехать снова,— отвечал Титиан, входя в комнату жены.— Вели подать мне кусок хлеба и кубок вина с водой. Впрочем, вон там стоит все то, что мне нужно, словно по заказу. Ты права, я на этот раз не так долго оставался у Сабины, как обыкновенно; но она постаралась в короткое время втиснуть так много едких слов, точно мы проговорили с ней с утра до вечера. Через пять минут я опять оставлю тебя, а когда вернусь — это известно только богам. Мне тяжело говорить это, но все наши усилия и заботы, и наша поспешность, и обдуманная работа бедного Понтия потрачены даром.

При последних словах префект бросился на кушетку, а жена подала ему прохладительный напиток и, проводя рукой по его поседевшим волосам, сказала:

— Бедный! Не решил ли Адриан все же поселиться в Цезареуме?

— Нет. Удались, Сира! Ты сейчас увидишь, Юлия, в чем дело. Прочти, пожалуйста, мне письмо императора еще раз. Вот оно.

Юлия, жена префекта, развернула тонкий папирус и начала читать:

«Адриан своему другу Титиану, наместнику Египта. Глубочайшая тайна! Адриан приветствует Титиана, как он в течение нескольких лет часто делал в начале противных деловых писем и только половиной своего сердца. Но завтра он надеется приветствовать своего любезного друга юности и мудрого наместника не только всей душой, но рукой и устами. Теперь я скажу следующее: я приеду завтра, пятнадцатого декабря, к вечеру, только с Антиномем, рабом Мастором и личным секретарем Флегонном в Александрию. Мы высадимся в Малой гавани у Лохиады, и мой корабль можно будет узнать по большой серебряной звезде на носу. Если ночь наступит до моего прибытия, то три красных фонаря на вершине мачты

сообщат тебе, какой друг приближается к тебе. Ученых и остроумных мужей, которых ты послал ко мне навстречу, чтобы задержать меня и выиграть больше времени для возобновления старого гнезда,— где мне желательно жить возле птиц Минервы, которых вы, надеюсь, еще не всех выгнали,— я отослал домой, чтобы Сабина и ее свита не чувствовала недостатка в развлечении и чтобы зря не мешать этим знаменитым мужам в их работе. Мне они не нужны. Однако если не ты послал их ко мне, то прошу у тебя извинения. Все же ошибиться в подобном случае было бы для меня несколько унижительно, ибо легче объяснить случившееся, чем предвидеть будущее. А может быть, и наоборот? Я вознагражу умных людей за бесполезное путешествие, когда в Музее буду вести с ними и с их товарищами диспут на эту тему. Грамматику, у которого ученость так и смотрит из каждого кончика волос и который сидит неподвижно больше, чем это полезно для его здоровья, быстрое движение, на которое он решился ради меня, продлит жизнь.

Мы приедем в простой одежде и будем спать на Лохиаде. Ты знаешь, что я не раз ночевал на твердой земле и в случае необходимости сплю на рогожке так же охотно, как на тюфяке. Моя подушка сопровождает меня. Это моя большая молосская собака, которую ты знаешь. Комнатка, где я могу без помехи делать заметки относительно наступающего года, конечно, найдется. Прошу тебя тщательно хранить мою тайну. Никто, ни мужчина, ни женщина,— прошу тебя со всей настоятельностью друга и императора,— не должен знать о моем прибытии. Пусть малейшие приготовления не выдадут, кого ты принимаешь. Своему любезному Титиану я не смею ничего приказывать, но еще раз прошу тебя принять к сердцу исполнение моего желания. Как я рад, что увижу тебя вновь, и какое удовольствие доставит мне суматоха, которую я надеюсь найти на Лохиаде. Художникам, которыми теперь, наверное, кишмя кишит старый дворец, ты представишь меня под именем архитектора Клавдия Венатора из Рима, приехавшего с целью помогать Понтию своими советами. Этого Понтия, который выполнил для Ирода Аттика такие прекрасные постройки, я встречал в доме этого богатого софиста, и он, наверное, узнает меня. Поэтому сообщи ему о моих намерениях. Он человек серьезный, надежный, не болтун и не ветрогон, способный забыть даже самого себя. Итак, посвяти его в тайну, но только тогда, когда мой корабль будет уже

виден. Желаю тебе благополучия».

— Ну, что скажешь ты на это? — спросил Титиан, принимая письмо из рук жены. — Не правда ли, это более чем досадно? Наша работа шла так превосходно.

— Но, — рассудительно и с умной улыбкой возразила Юлия, — может быть, вы все-таки не были бы готовы. При сложившемся же положении вещей вы вовсе и не должны быть готовы, а между тем Адриан увидит доброе желание с вашей стороны. Я радуюсь этому письму: оно снимает тяжелую ответственность с твоих плеч, и без того уже слишком обремененных.

— Ты всегда видишь вещи в надлежащем свете! — вскричал префект. — Хорошо, что я заехал к тебе, потому что теперь я буду ждать императора с более легким сердцем. Дай мне спрятать письмо, и будь здорова. Расстаюсь с тобой на много часов, а со своим спокойствием на много дней.

Титиан протянул руку жене. Юлия удержала ее в своей и проговорила:

— Прежде чем ты уйдешь, я должна признаться тебе, что очень горжусь тобой.

— Ты имеешь на это право.

— Ты ни одним словом не просил меня хранить тайну.

— Потому что ты уже выдержала все испытания. Но, конечно, ты женщина, и притом очень красивая.

— Старая бабушка с седеющими волосами!

— И все-таки еще статнее и привлекательнее тысячи молодых красавиц.

— Ты хочешь заставить меня на старости лет сменить гордость на тщеславие.

— Нет, нет! Но когда разговор наш коснулся этого, я взглянул на тебя испытующим взором и подумал о вздохах Сабины по поводу того, что у прекрасной Юлии плохой вид. Найдется ли на свете женщина твоих лет с такой осанкой, с таким гладким лицом, с таким чистым челом, с такими глубокими и добрыми глазами, с такими дивно изящными руками...

— Замолчи же! — вскричала Юлия. — Ты заставляешь меня краснеть.

— Как же мне не радоваться, что моя жена, старая бабушка да к тому же римлянка, так легко краснеет? Ты не такова, как другие жены.

— Потому что ты не таков, как другие мужья.

— Ты мне льстишь! С тех пор, как все дети уехали,

мы как будто начинаем свою супружескую жизнь с самого начала.

— В доме не стало яблок раздора.

— Да, из-за самого дорогого чаще всего выходишь из себя. Но теперь... еще раз прощай!

Титиан поцеловал жену в лоб и поспешил к двери, но Юлия позвала его назад и сказала:

— Все-таки следовало бы сделать кое-что для императора. Я каждый день посылаю архитектору кушанья на Лохиаду. Сегодня будет послан запас втрое больше обыкновенного.

— Превосходно.

— До счастливого свидания!

— Если боги и император позволят.

Когда префект доехал до указанного места, он не увидел ни единого судна с серебряной звездой. Солнце зашло, но корабль с тремя красными фонарями не показывался.

Начальник гавани, к которому зашел Титиан и которому он сообщил, что ожидает из Рима знаменитого архитектора для сотрудничества с Понтием при работах на Лохиаде, не изумился чести, оказываемой наместником приезжему художнику. Ведь весь город знал, с какой неслыханной поспешностью и с какими громадными издержками восстанавливается старый дворец Птолемеев для приема императора.

Пока длилось ожидание, Титиан вспомнил о молодом ваятеле Поллуксе, с которым он познакомился, и о его матери в приветливом домике привратника. По доброте душевной он тотчас же послал просить старуху Дориду, чтобы она в этот вечер не ложилась спать, потому что он, префект, приедет к ночи на Лохиаду.

— Скажи ей, но только от себя, а не от моего имени, — приказывал Титиан посланцу, — что, может быть, я зайду к ней. Пусть она хорошенько осветит свою комнату и держит ее в порядке.

На Лохиаде еще никто не догадывался о чести, уготованной старому дворцу.

После того как Вер с женой и Бальбиллой оставили Поллукса и ваятель проработал еще час, он вышел из-за своей перегородки, расправил руки и крикнул архитектору Понтию, стоявшему на лесах:

— Я должен хорошенько отдохнуть или заняться чем-нибудь новым. И то и другое одинаково предохраняет меня от усталости. Бывает ли и с тобой то же самое?

— Точь-в-точь то же самое,— отозвался Понтий, продолжая давать распоряжения рабам-строителям, которым велено было укрепить новую коринфскую капитель вместо старой, сломанной.

— Не прерывай работы! — снова крикнул снизу Поллукс.— Прошу тебя только сказать моему хозяину Папию, когда он придет с торговцем древностями Габинием, что я нахожусь на круглой площадке, которую ты осматривал со мной вчера. Я ставлю новую голову на торс Береники. Мой ученик должен был давно покончить с приготовленными работами. Но этот сорванец, видно, родился на свет с двумя левыми руками, а так как он смотрит одним глазом, то все прямое кажется ему кривым и, по законам оптики, все кривое — прямым. Как бы то ни было, он косо вогнал в шею деревянный штифт, на котором должна держаться голова; и так как ни один историк не повествует, что у Береники голова когда-либо кривилась набок, как у старого растиральщика красок, сидящего там, за лесами, то мне уже придется самому навести порядок. Надеюсь, что через полчаса мудрая царица не будет принадлежать к числу безголовых женщин.

— Где ты нашел эту новую голову? — спросил Понтий.

— В тайном архиве моих воспоминаний,— отвечал Поллукс.— А ты видел ее?

— Да.

— Нравится она тебе?

— Очень.

— В таком случае она достойна того, чтобы жить,— пропел скульптор и вышел из залы. При этом он левой рукой помахал архитектору, а правой засунул за ухо гвоздику, которую утром сорвал перед домом своей матери.

На площадке ученик выполнял свое дело лучше, чем мог ожидать его учитель, но Поллукс не был доволен своими собственными распоряжениями. Его произведение, как многие другие бюсты, стоявшие на той же стороне платформы, должно было стоять задом к балкону зрителя. Но он расстался с этим столь дорогим ему портретом матери Селены только для того, чтобы подруга его детских игр могла видеть его всякий раз, когда пожелает. К своему успокоению, он нашел, что бюсты держались на высоких постаментах только своей собственной тяжестью, ничем не прикрепленные, и поэтому он

решил нарушить исторический порядок, в котором были расположены головы, и сделать перестановку таким образом, чтобы знаменитая Клеопатра обращена была к дому спиной, а вместо нее на него смотрела дорогая ему голова Береники.

Для немедленного выполнения этого плана он позвал несколько рабов и велел им помочь ему при перестановке. Работа эта не могла происходить без некоторого шума, и громкий разговор, предостерегающие крики, приказания, раздававшиеся теперь в этом в течение многих лет пустынном месте, привлекли внимание одной любопытной особы, которая появилась на балконе квартиры зрителя уже вскоре после того, как ученик приступил к работе, но быстро отступила, увидев противного, сверху донизу испачканного гипсом мальчишку. Теперь она осталась на месте и следила за каждым движением руководившего рабами Поллукса, который, однако, все время стоял к ней спиной.

Наконец голова, окутанная холстом для защиты от прикосновения рабов, была установлена на надлежащем месте. Переводя дух, художник повернулся к дому дворцового зрителя лицом, и тотчас же раздался чистый, веселый женский голос:

— Верзила Поллукс! В самом деле это Поллукс!

При этих словах девушка громко всплеснула руками, и так как ваятель кивнул ей и вскричал: «Ты малютка Арсиноя! Вечные боги! Что вышло из этой крошки!» — она приподнялась на кончики пальцев, чтобы казаться выше, дружески кивнула ему и сказала, смеясь:

— Я еще не совсем выросла; зато у тебя уж совсем почтенный вид с бородой и орлиным носом. Селена только сегодня сказала мне, что ты там орудуешь вместе с другими.

Глаза художника, точно зачарованные, были прикованы к девушке. Есть поэтические натуры, немедленно превращающие в рассказ (или быстро складывающуюся вереницу стихов) все необычное, что им случается увидеть или пережить.

«Галатея, несравненная Галатея! — подумал он, прикованный взглядом к стану и лицу Арсинои. — Ну словно она за секунду перед тем вышла из моря... так свежа, весела, так дышит здоровьем вся ее фигура! И как мелкие завитки торчат вокруг лба, точно все еще плавают в воде. Вот она наклоняется, чтоб послать мне привет. Как округлено каждое движение! Словно дочь Нереея

прижимается к волне, то вздымающейся горой, то спускающейся провалом. Formой головы и греческим очертанием лица она напоминает мать и Селену. Но старшая сестра похожа на Прометееву статую, прежде чем в нее вдохнули душу, а Арсиноя — то же изваяние, но только после того, как небесный огонь разлился по его жилам».

Художник все это перечувствовал и передумал в течение всего лишь нескольких секунд. Но девушке молчание немого поклонника показалось слишком долгим, и она нетерпеливо крикнула ему:

— Ты еще не поздоровался со мной как следует. Что ты делаешь там внизу?

— Посмотри сюда, — ответил он весело и снял со статуи покрывало.

Арсиноя перегнулась через перила балкона, прикрыла глаза рукой и больше минуты молчала. Затем внезапно, громко закричала: «Мать! Мать!» — и поспешила назад в комнату.

«Пожалуй, она позовет своего отца и испортит радость бедной Селене, — подумал Поллукс, поправляя тяжелый постамент, над которым возвышалась гипсовая голова. — Но пусть он только придет. Теперь мы распоряжаемся здесь, и Керавн не смеет прикоснуться к собственности императора». Затем, скрестив руки, он стал перед бюстом и пробормотал себе под нос:

— Лоскутная работа, жалкая лоскутная работа! Из сплошных заплат мастерим мы одежду для императора. Все мы тут обойщики, а не художники. Только ради Адриана, ради Диотимы и ее детей... а не то я бы здесь больше и пальцем о палец не ударил.

Путь от жилища зрителя до площадки, на которой стоял ваятель, вел через коридоры и несколько лестниц, но Арсиноя прошла его чуть дольше чем в одну минуту, после того как исчезла с балкона.

С покрасневшими щеками она отстранила художника от его произведения и встала на его место, чтобы, не отрываясь, смотреть на любимые черты. Затем вскричала:

— Мать! Мать!

Слезы потекли по ее щекам; она не обращала внимания ни на художника, ни на работников, ни на рабов, мимо которых сейчас пробежала и которые глазели на нее с таким испугом, точно она была одержима демонами.

Поллукс не мешал ей. Он был тронут при виде слез, бежавших по щекам девушки, и подумал, что стоит быть добрым, если можешь вызвать такую долгую и горячую любовь, какую вызывает эта бедная покойница, стоявшая там, на пьедестале.

Наглядевшись на изображение своей матери, Арсиноя несколько успокоилась и сказала Поллуксу:

— Это ты сделал?

— Да,— отвечал он и опустил глаза.

— И только по памяти?

— Конечно!

— Знаешь ли что?

— Ну?

— Прорицательница на празднике Адониса, значит, была права, когда пела, что половину работы художника делают боги.

— Арсиноя! — вскричал Поллукс, который при этих словах почувствовал, будто горячий источник вливается в его сердце.

Он с благодарностью схватил ее руку, которую та отняла, потому что ее звала Селена.

Поллукс поставил свое произведение на этом месте не для Арсинои, а для старшей своей подружки, однако же вид Селены подействовал охлаждающим и неприятным образом на его взволнованную душу.

— Вот портрет твоей матери! — крикнул он ей, указывая на бюст.

— Вижу,— отвечала Селена холодно.— После я приду посмотреть на него поближе. Иди сюда, Арсиноя. Отец хочет говорить с тобой.

Поллукс снова остался один.

Когда Селена вернулась в свою комнату, она тихо покачала головой и пробормотала:

— Это предназначалось для меня, как говорил Поллукс; один только раз сделано что-то для меня, но и эта радость испорчена.

Дворцовый смотритель, к которому Селена позвала Арсиною, только что вернулся домой из собрания граждан, и старый черный раб, постоянно сопровождавший его, когда он выходил из дому, снял с его плеч шафранно-желтый паллий, а с головы золотой обруч, которым он любил украшать вне дома свои завитые локоны.

Керавн сидел красный, с глазами навывкате, и капли пота сверкали у него на лбу, когда дочери вошли в комнату.

На ласковое приветствие Арсиной он машинально отвечал двумя-тремя небрежно брошенными словами и, прежде чем сделать им важное сообщение, прошелся перед ними несколько раз взад и вперед по комнате. Толстые щеки его вздувались, а руки были сложены накрест.

Селена давно уже чувствовала беспокойство, и Арсиная потеряла терпение, когда он наконец начал:

— Слышали вы о празднествах, которые предполагается устроить в честь императора?

Селена утвердительно кивнула головой, а ее сестра вскричала:

— Разумеется! Не достал ли ты для нас мест на скамьях Совета?

— Не перебивай меня! — сердито приказал Керавн. — О том, чтобы смотреть, не может быть и речи. От всех граждан потребовали, чтобы дочери их приняли участие в устраиваемых больших торжествах, и спросили, сколько дочерей у каждого.

— Так мы будем участвовать в зрелищах? — прервала его Арсиная с радостным изумлением.

— Я хотел было удалиться, прежде чем начнется перекличка, но мастер-судостроитель Трифон (его мастерские там внизу, у царской гавани) удержал меня и крикнул собранию, что, по словам его сыновей, у меня есть две красивые молодые дочери. Откуда они знают об этом?

При этих словах зритель сердито поднял седые брови и его лицо покраснело.

Селена пожала плечами, а Арсиная сказала:

— Ведь верфь Трифона — там, внизу, и мы часто проходили мимо, но ни самого Трифона, ни его сыновей мы не знаем. Видела ли ты их, Селена? Во всяком случае, это любезно с их стороны, что они называют нас красивыми.

— Никто не имеет права думать о вашей наружности, кроме тех, которые будут сватать вас у меня, — угрюмо возразил зритель.

— Что же ты отвечал Трифону? — спросила Селена.

— Я сделал то, что был обязан сделать. Ваш отец управляет дворцом, который принадлежит Риму и его императору, поэтому я приму Адриана как гостя в этом

жилище моих отцов и по той же причине могу воздержаться от участия в чествовании, которое городской Совет решил устроить в его честь.

— Значит, ты разрешаешь?..— спросила Арсиноя и приблизилась к отцу, чтобы ласково погладить его.

Но Керавн не был расположен теперь к ласкам и отстранил ее, сказав с досадой: «Оставь меня!» Затем продолжал тоном, полным сознания собственного достоинства:

— Если бы на вопрос Адриана: «Где были твои дочери в день моего чествования, Керавн?» — я принужден был ответить: «Их не было в числе дочерей благородных граждан»,— это было бы оскорблением для цезаря, к которому, в сущности, я питаю благорасположение. Я все это обдумал и потому назвал ваши имена и обещал послать вас на собрание девиц в малый театр. Вы встретите там благороднейших матрон и девиц города, и лучшие живописцы и ваятели решат, для какой части зрелищ вы наиболее подходите по своей наружности.

— Но отец,— вскричала Селена,— как можем мы показаться на таком собрании в своих простых платьях, и где мы возьмем денег, чтобы сделать новые!

— В чистых, белых шерстяных платьях, красиво украшенных лентами, мы можем показаться рядом с другими девушками,— уверяла Арсиноя, становясь между сестрой и отцом.

— Не это заботит меня,— возразил смотритель дворца,— а костюмы, костюмы. Только для дочерей бедных граждан город принимает расходы на свой счет, но нам было бы стыдно быть отнесенными к числу бедняков. Вы понимаете меня, дети?

— Я не приму участия в процессии,— объявила Селена решительно.

Но Арсиноя перебила ее:

— Быть бедным неудобно и неприятно, но, конечно, это не позор. Для самых могущественных римлян в старые времена считалось за честь, когда они умирали в бедности. Наше македонское происхождение останется при нас, хотя бы даже город заплатил за наши костюмы.

— Молчать! — вскричал смотритель — Уже не в первый раз я замечаю в тебе такой низменный образ мыслей. Человек благородный может переносить невзгоды бедности, но преимуществами, которые она приносит, он может наслаждаться только тогда, когда перестает быть благородным.

Керавну стоило большого труда выразить в понятной форме эту мысль, которую он, насколько ему помнилось, еще ни от кого не слышал. Она отзывалась для него самого чем-то чуждым, но тем не менее вполне передавала его чувства. Поэтому он с изнеможением опустился на подушку дивана, стоявшего в глубокой боковой нише его обширной комнаты.

В этой комнате, по преданию, Антоний и Клеопатра наслаждались пиршествами, на которых изысканная и несравненная тонкость блюд была приправлена всеми дарами искусства и остроумия.

Как раз на том месте, где отдыхал теперь Керавн, должно быть, стояло застольное ложе знаменитой влюбленной четы, так как хотя во всей комнате каменный пол был тщательно отделан, но в этом месте находилась мозаика из разноцветных камней, выполненная с такой красотой и таким изяществом, что Керавн запретил своим детям по ней ходить. Правда, он делал это не столько из уважения к великолепному произведению искусства, сколько потому, что это запрещалось и ему его отцом, а его отцу — дедом. Картина изображала брак Фетиды с Пелеем. Ложе прикрывало только нижний край ее, украшенный амурами.

Осушив до половины свой кубок и не скрывая отвращения (ибо содержимое было разбавлено водой), Керавн продолжал:

— Хотите знать, сколько будет стоять один-единственный из ваших костюмов, если только мы не захотим слишком отстать от других?

— Сколько? — с беспокойством спросила Арсиноя.

— Портной Филин, работающий для театра, говорит, что меньше чем за семьсот драхм невозможно сделать ничего порядочного.

— Ты, конечно, не думаешь серьезно о таких безумных расходах! — вскричала Селена. — У нас нет ничего, и я желала бы знать, кто даст нам взаймы?

Арсиноя в смущении смотрела на кончики своих пальцев и молчала; но увлажненные слезами глаза выдавали ее волнение.

Керавн радовался безмолвному согласию, с которым Арсиноя, по-видимому, разделяла его желание во что бы то ни стало участвовать с сестрой в представлениях. Он забыл, что только что упрекнул ее в низком образе мыслей, и сказал:

— У этой девочки во всем верное чутье. А тебя, Се-

лена, я серьезно прошу помнить, что я твой отец и запрещаю тебе этот наставительный тон в разговоре со мной. Ты привыкла к нему при своем обращении с детьми; там ты можешь употреблять его и впредь. Тысяча четыреста драхм кажутся с первого взгляда большой суммой, но если материю и уборы, которые вам нужны, купить с толком, то после празднества, может быть, можно будет с барышом перепродать их.

— С барышом! — вскричала Селена с горечью. — За старые вещи не дадут и половины цены, даже четверти. И хоть бы ты выгнал меня из дому, но я не хочу низвергаться еще глубже в бездну нищеты!.. Я не буду участвовать в играх!

На этот раз смотритель не вспыхнул, а спокойно и без некоторого удовольствия поднял глаза и перевел их с одной дочери на другую. Керавн привык по-своему любить Селену, как полезное ему существо, а Арсиною, как свое красивое дитя; и так как, в сущности, дело шло только об удовлетворении его тщеславия, а этой цели можно было достигнуть при помощи одной младшей дочери, то он сказал:

— В таком случае оставайся при детях. Мы извинимся за тебя, сославшись на твое слабое здоровье. И в самом деле, девочка, ты так бледна, что жалко смотреть. Для одной Арсиной мне легче найти необходимые средства.

На щеках Арсиной снова показались две очаровательные ямочки, но губы Селены были так же бледны, как ее бескровные щеки, когда она вскричала:

— Но, отец, ни хлебопек, ни мясник не получали от нас целых два месяца ни одного сестерция, а ты хочешь промотать семьсот драхм!

— Промотать! — вспыхнул Керавн, но затем продолжал скорее приниженным, чем возмущенным тоном: — Я еще раз запрещаю тебе говорить со мной таким образом. В зрелищах примут участие богатейшие молодые люди: Арсиноя — красавица, и, может быть, кто-нибудь из них выберет ее себе в жены. Разве это значит промотать деньги, если отец старается найти достойного супруга для своей дочери. Да и что, собственно, ты знаешь о моих средствах?

— У нас ничего нет, поэтому мне нечего и знать! — вскричала вне себя девушка.

— Во-о-от как? — спросил Керавн протяжно и с улыбкой превосходства. — Разве то, что лежит там, в шкафу,

и стоит здесь, на карнизе, ничто? Из любви к вам я расстанусь с этими вещами. Пряжку из оникса, кольцо, золотой обруч и пояс, разумеется...

— Они из позолоченного серебра,— безжалостно возразила Селена.— Настоящие вещи, принадлежавшие деду, ты продал после смерти матери.

— Ее следовало сжечь и похоронить прилично нашему званию,— возразил Керавн.— Но я не хочу думать теперь о тех печальных днях.

— Думай о них почаще, отец!

— Молчи! Я, конечно, не могу обойтись без моих украшений, потому что должен встретить императора прилично моему званию; но сколько дадут за стоящего вон там маленького Эрота из бронзы, за бокал Плутарха, сделанный из слоновой кости и украшенный превосходной резьбой, а в особенности за ту картину, относительно которой прежний владелец ее был твердо убежден, что она написана здесь, в Александрии, самим Апеллесом²? Скоро вы узнаете ценность этих маленьких вещиц, ибо, точно по воле богов, я сегодня во дворце, возвращаясь домой, встретил антиквара Габиния из Никеи. Он обещал по окончании своих дел с архитектором прийти ко мне осмотреть мои сокровища и купить за наличные деньги то, что ему придется по вкусу. Если ему понравится мой Апеллес, то за него одного он дает десять талантов, но если даже он купит его только за половину или за десятую часть этой суммы, то я заставлю тебя, Селена, хоть один раз позволить себе удовольствие.

— Увидим,— сказала бледная девушка, пожимая плечами, а Арсиноя воскликнула:

— Покажи ему также и меч, о котором ты всегда говорил, что он принадлежал Антонию, и если Габиний даст за него много, то купи мне золотое запястье.

— Куплю и Селене. Но на меч я возлагаю самую малую надежду, потому что настоящий знаток едва ли признает его за подлинный. У меня еще есть вещи другого, совершенно другого рода. Чу! Это, должно быть, идет Габиний. Скорее, Селена, набрось на меня паллий. Мой обруч, Арсиноя! Человеку с достатком предлагают более высокие цены, чем бедному. Я приказал рабу сказать купцу, чтобы он подождал в передней: так водится в каждом порядочном доме.

Антиквар был маленький, сухощавый человек, который благодаря смысленности, удаче и трудолюбию сделался богачом и аристократом среди подобных себе

людей. Опыт и прилежание выработали в нем знатока, и он лучше всякого другого умел отличить посредственное от плохого, настоящее от поддельного. Никто не обладал более тонким зрением, но он был груб в отношениях с каждым, от кого не мог ничего ждать. Там же, где ему представлялся барыш, он мог быть вежливым до пресмыкательства и сохранять неутомимое терпение. Теперь он тоже принудил себя выслушать зрителя с доверчивым видом, когда тот свысока стал уверять, что ему-де наскучили эти мелкие вещицы, что ему безразлично, оставить ли их у себя или не оставить; но он хочет показать их более опытному знатоку, Габинию, и даже готов с ними расстаться, если взамен этого мертвого капитала получит кругленькую сумму наличными.

Одна вещь за другой прошла через тонкие пальцы знатока, а затем их все поставили перед ним, чтобы он мог рассмотреть их.

Когда Керавн рассказывал ему, откуда происходит та или другая вещь из его сокровищницы, Габиний бормотал: «Вот как!», «Ты думаешь?» или «В самом деле?».

После того как последняя вещь побывала в его руках, зритель спросил:

— Ну, что скажешь?

Начало этой фразы звучало уверенно, но конец почти испуганно, потому что купец только улыбнулся и еще раз покачал головой. Затем он сказал:

— Тут есть хорошенькие вещицы, но нет ничего такого, о чем стоило бы говорить. Я советую тебе сохранить их у себя, так как они для тебя дороги, а мне от них мало барыша.

Керавн старался не смотреть на Селену, большие глаза которой, полные тревоги, остановились на купце. Но Арсиноя, также следившая за его движениями, не позволила обескуражить себя так скоро и спросила, указывая пальцем на отцовского «Апеллеса»:

— И эта картина тоже ничего не стоит, по-твоему?

— Мне прискорбно, что я не могу не сказать такой прекрасной девушке, что картина бесценна,— отвечал Габиний, поглаживая свою клинообразную бороду.— Но, к сожалению, мы здесь имеем дело только с весьма слабым подражанием. Оригинал находится в той вилле Плиния у Ларийского озера, которую он называет «Котурном». Эта вещь мне ни к чему.

— А этот украшенный резьбой кубок? — спросил Керавн.— Он принадлежит к числу вещей, оставшихся пос-

ле смерти Плутарха,— я могу доказать это,— и говорят, он был подарен ему императором Траяном.

— Это самая хорошенькая вещица из всей коллекции,— отвечал Габиний,— но четыреста драхм — красная цена.

— А этот цилиндр с Кипра, с прекрасной резьбой? Смотритель схватился за гладко отполированный хрусталь, но его рука дрожала от волнения и столкнула вещицу на пол.

Цилиндр со звоном покатился по каменным плитам и по гладкой поверхности мозаичного пола до самого ложа. Керавн хотел нагнуться, чтобы поднять его, но обе дочери удержали отца, и Селена вскричала:

— Отец, тебе не следует наклоняться: врач строжайшим образом тебе это запретил.

Между тем как смотритель, ворча, отстранял от себя Селену, купец уже опустился на одно колено, чтобы поднять цилиндр. Но этому щуплому человеку, по-видимому, легче было нагнуться, чем подняться с земли, потому что прошло несколько минут, прежде чем он снова встал на ноги перед Керавном.

Он схватился за доску, приписываемую Апеллесу, уселся с ней на ложе и, по-видимому, совершенно углубился в картину, которая скрывала его лицо от трех присутствовавших.

Но на самом деле его глаза смотрели вовсе не на эту картину, а на свадьбу, изображенную на полу у его ног, в которой он в каждое мгновение открывал все новые, неопределимые достоинства.

При виде Габиния, сидевшего неподвижно в течение нескольких минут над маленькой картиной, черты Керавна прояснились. Селена перевела дух, а Арсиноя приблизилась к отцу, вцепилась в его руку и шепнула ему на ухо:

— Не отдавай ему дешево Апеллеса и подумай о моем запястье.

Но вот Габиний встал, окинул взглядом вещи, стоявшие перед ним на столе, и гораздо более деловым тоном, чем прежде, сказал:

— За все эти вещи вместе я могу предложить,— позволь... двадцать, семьдесят, четыреста, четыреста пятьдесят... могу предложить шестьсот пятьдесят драхм — ни одного сестерция больше.

— Ты шутишь! — вскричал Керавн.

— Ни одного сестерция,— холодно повторил ку-

пец.— Я не думаю ничего заработать на этом, но как человек справедливый ты поймешь, что я не желаю также покупать себе в убыток. Что касается Апеллеса...

— Ну?

— Он мог бы еще представлять для меня ценность, но только при известных условиях. Относительно этой картины существует одно особенное обстоятельство. Вы, девицы, знаете, что ремесло мое учит меня ценить все прекрасное, но все же я вынужден попросить вас оставить меня на короткое время наедине с вашим отцом. Мне нужно поговорить с ним об этой странной картине.

Керавн сделал знак дочерям, и они вышли из комнаты. Прежде чем за ними затворилась дверь, купец крикнул им вслед:

— Уже смеркается; могу ли я просить вас прислать мне с вашим рабом по возможности ярко горящий светильник?

— Что же насчет картины?

— Поговорим о чем-нибудь другом, пока не принесут светильника,— попросил Габиний.

— Ну, так садись на ложе,— сказал Керавн.— Ты этим доставишь мне, а может быть, и себе большое удовольствие.

Как только оба уселись, Габиний начал:

— Вещицы, собираемые с любовью, мы неохотно выпускаем из рук; это я знаю из продолжительного опыта. Многие лица, которые, продав свои древности и сделавшись потом людьми состоятельными, предлагали мне вдесятеро больше уплаченной мною суммы, чтобы приобрести их обратно, к сожалению, обыкновенно напрасно. То, что я говорю о других, применимо и к тебе. Если бы ты в настоящую минуту не имел нужды в деньгах, то едва ли бы предложил мне вон те вещи.

— Прошу не...— прервал Керавн.

Но Габиний продолжал как ни в чем не бывало:

— Даже у богатейших людей бывает временами недостаток в наличных деньгах; это никто не знает лучше меня, у которого, однако,— я могу в этом признаться,— имеются в распоряжении большие суммы. Именно теперь мне легко было бы выручить тебя из всякого затруднения.

— Вон там мой Апеллес,— снова перебил его смотритель.— Он принадлежит тебе, если ты предложишь за него приемлемую цену.

— Свет! Вот и свет! — вскричал Габиний и взял из рук старого раба трехконечный светильник, который Селена наскоро снабдила свежим фитилем. Пробормотав «с твоего позволения», он поставил светильник посреди мозаичной картины.

Керавн удивленным и вопросительным взглядом смотрел на странного человека, сидевшего по левую руку от него: Габиний же не обращал никакого внимания на зрителя, но, снова опустившись на колени, принялся ощупывать мозаику и пожирал глазами «Свадьбу Пелея и Фетиды».

— Ты потерял что-нибудь? — спросил Керавн.

— Нет, ничего. Там, в углу... Ну, теперь я знаю всё, что нужно. Могу я поставить светильник вон туда, на стол? Теперь вернемся к нашему делу.

— Прошу тебя об этом, но предупреждаю заранее, что дело тут идет не о драмах, а о целых аттических талантах.

— Это, разумеется, само собой, и я предлагаю тебе пять талантов, то есть сумму, за которую в некоторых кварталах города можно купить прекрасный, просторный дом.

На сей раз кровь снова прилила к лицу Керавна.

В течение нескольких минут он не мог выговорить ни слова: сердце его сильно стучало, но, наконец, он овладел собой настолько, что твердо решился, по крайней мере на этот раз, не выпускать счастья из рук, то есть не продешевить, и возразил:

— Пяти талантов мало; предлагай больше.

— Ну, скажем, шесть.

— Если ты дашь вдвое, то мы поладим.

— Больше десяти талантов я не могу дать. За эту сумму можно построить неплохой дворец.

— Я останусь при двенадцати.

— Так пусть будет по-твоему, но уже ни одного се-стерция больше.

— Мне тяжело расстаться с этим благородным произведением искусства, — вздохнул Керавн, — но я уступаю твоему желанию и отдаю тебе своего Апеллеса.

— Дело идет не об этой картине, которая недорого стоит и которой ты можешь любоваться и впредь, — возразил купец. — Я в этой комнате облюбовал другое произведение искусства, которое тебе до сих пор казалось не стоящим внимания. Я открыл его; а один из моих богатых покупателей ищет именно такую картину.

— Не знаю, о чем ты говоришь.

— Ведь все убранство этой комнаты принадлежит тебе?

— А то кому же?

— И, значит, ты имеешь право свободно распоряжаться всем?

— Разумеется.

— Хорошо. Двенадцать аттических талантов, которые я предложил тебе, относятся к картине, находящейся у нас под ногами.

— К мозаике? Вот к этой? Она принадлежит дворцу.

— Она принадлежит твоей квартире, а этой последней, как я слышал от тебя самого, владели твои предки более ста лет. Я знаю закон. Он говорит, что все, находившееся в течение ста лет в беспорном обладании одной семьи, принадлежит ей в качестве собственности.

— Эта мозаика принадлежит дворцу!

— Я утверждаю противное. Она составная часть твоего родового жилища, и ты свободно можешь располагать ею.

— Она принадлежит дворцу!

— Нет и еще раз нет. Владелец ее — ты! Завтра рано утром ты получишь двенадцать аттических талантов золотом, а позднее я, с помощью сына, выну картину, уложу ее и в сумерки отправлю отсюда. Позаботься о ковре, которым мы временно можем покрыть пустое место. Сохранение этого дела в тайне для меня, конечно, так же важно, как для тебя самого, и даже гораздо важнее.

— Мозаика принадлежит дворцу! — закричал смотритель на этот раз громким голосом. — Слышишь ли ты? Она принадлежит дворцу, и я переломаю ребра тому, кто к ней прикоснется!

С этими словами Керавн встал. Он пыхтел, его щеки и лоб стали вишневыми, и кулаки, поднятые на купца, дрожали. Габиний в страхе попятился назад и спросил:

— Так ты не желаешь моих двенадцати талантов?

— Я желаю... желаю... — прохрипел Керавн, — я желаю тебе показать, как я обращаюсь с тем, кто принимает меня за мошенника. Вон, негодяй, и ни слова больше о картине и о воровстве впотьмах, иначе я позову ликторов префекта и велю заковать тебя в железо, подлый грабитель!

Габиний поспешно отступил к двери, но еще раз об-

ратился к стонавшему и сопевшему колоссу и крикнул ему, переступая за порог:

— Береги свой хлам! Мы еще поговорим с тобой!

Когда Селена и Арсиноя вернулись в комнату, отец сидел на ложе, тяжело дыша и низко опустив голову.

В испуге они подошли к нему, а он только повторял:

— Воды, глоток воды. Этот вор, бездельник...

Без всякой душевной борьбы этот нуждающийся человек отказался от денег, которые могли обеспечить ему и его семейству хорошую будущность, а между тем он не только такую сумму, но и вдвое большую не колебался бы занять у бедного или у богатого, хотя знал бы точно, что никогда не будет в состоянии возратить ее.

Он несколько не гордился своим поступком, находя его совершенно естественным для человека благородного македонского происхождения. Согласиться на предложение Габиния было для него делом, совершенно выходящим за пределы возможного.

Но где теперь найти денег для костюма Арсинои? Каким образом исполнить обещание, данное в собрании граждан?

Целый час он лежал в раздумье. Затем он взял из ларца навощенную табличку и начал писать на ней письмо к префекту. Он желал предоставить в распоряжение Титиана, для императора, мозаичную картину, находившуюся в его квартире. Но Керавн не смог дописать до конца, скоро запутавшись в высокопарных фразах. Наконец он отчаялся в успехе своей работы, бросил неоконченное письмо в ларь и лег спать.

В то время как в квартире зрителя царила забота, а печаль, опасение и разочарование, подобно тяжелым тучам, омрачали ее обитателей, в зале муз шло веселое пиршество и раздавался смех.

Юлия, жена префекта, прислала Понтию на Лохиаду тщательно приготовленный ужин, достаточный для шести голодных желудков, и раб архитектора, принявший этот ужин, распаковавший его и ставивший блюдо за блюдом на скромнейший из столов, поспешил к своему господину, чтобы показать ему все эти чудеса кулинарного искусства.

При виде такого чрезмерного изобилия благ Понтий покачал головой и пробормотал про себя:

— Титиан принимает меня за крокодила или, вернее, за двух крокодилов.

Затем он отправился к загородке ваятеля, где застал Папия, и попросил обоих разделить с ним трапезу. Кроме того, он пригласил двух живописцев и превосходнейшего из всех мастеров мозаики, которые трудились целый день над восстановлением старых, полинявших изображений на потолках и полах. За хорошим вином и веселым разговором блюда, кувшины и миски скоро были опустошены.

Кто в течение многих часов шевелит мозгами или руками или же одновременно и тем и другим, тот не может не проголодаться; а здесь все художники, приглашенные Понтием на Лохиаду, несколько дней подряд работали до изнеможения.

Каждый старался превзойти себя прежде всего, конечно, для того, чтобы угодить высокочтимому Понтию и себе самому, но также и затем, чтобы представить императору образчик своего искусства и показать ему, как работают в Александрии.

Один из живописцев предложил устроить настоящую попойку и председателем пиршества избрать ваятеля Папия, который был известен также, как превосходный застольный оратор, а не только как художник.

Но хозяин Поллукса уверял, что он не может принять этой чести, так как она принадлежит достойнейшему из них — человеку, который несколько дней назад вступил в пустой дворец и там, словно второй Девкалион, вызвал к жизни таких благородных художников, здесь собравшихся, и многие сотни работников и притом создал их не из пластического камня, а из ничего. Добавив затем, что сам он умеет лучше владеть молотком и резцом, чем языком, и не научился искусству говорить застольные речи, Папий высказал пожелание, чтобы пирушкой руководил Понтий.

Но ему не было суждено довести свою речь до конца, потому что в залу муз поспешно вошел дворцовый привратник Эвфорион, отец молодого Поллукса, с письмом в руке, которое он подал архитектору.

— К безотлагательному прочтению, — сказал он при этом, кланяясь художнику с театральным достоинством. — Ликтор префекта вручил мне это послание, которому (если бы все шло согласно моим желаниям) суждено принести тебе счастье... Замолкните, паршивки, не то убью!

Эта угроза, по тону плохо гармонировавшая с обращением, рассчитанным на слух великих художников, относилась к трем четвероногим существам его жены, которые, против его воли, последовали за ним и с лаем прыгали теперь вокруг стола, где стояли скудные остатки съеденного ужина.

Понтий любил этих собачонок и, раскрывая письмо префекта, сказал:

— Приглашаю этих трех малюток в гости на остатки нашего ужина. Дай им то, что им пригодно, Эвфорион, а что покажется тебе более приличным для твоего собственного желудка, то кушай на здоровье.

Пока архитектор, сперва бегло, а потом более внимательно, читал принесенное послание, певец положил на тарелку несколько хороших кусочков для любимиц своей жены и, наконец, приблизил к своему орлиному носу блюдо с оставшимся паштетом.

— Для людей или для собак? — спросил он своего сына, указывая пальцем на паштет.

— Для богов, — отвечал Поллукс. — Отнеси его матушке. Она с удовольствием хоть раз вкусит амброзии.

— Желаю весело провести вечер, — вскричал певец, поклонился осушавшим кубки художникам и вышел с паштетом и со своими тремя собачонками из залы. Пока он вышагивал по палате длинными ногами, Папий вновь поднял кубок и начал было:

— Итак, наш Девкалион, наш Сверхдевкиалион!..

— Извини, — сказал Понтий, — если я перебыю твою речь, начало которой обещало так много. Это письмо содержит в себе важные известия. На сегодня попойка кончена. Отложим же наш симпозион и твою застольную речь.

— Это не застольная речь, ибо, если скромный человек...

Но тут Понтий вторично перебил его:

— Титиан пишет мне, что намерен приехать сегодня вечером на Лохиаду. Он может явиться каждую минуту и притом не один, а с моим собратом по искусству, Клавдием Венатором из Рима. Он будет помогать мне своими советами.

— Я еще никогда не слышал этого имени, — сказал Папий, имевший обыкновение интересоваться и личностью и произведениями других художников.

— Это удивляет меня, — возразил Понтий, складывая двойную дощечку, содержащую уведомление, что император приедет сегодня.

— Понимает он что-нибудь?

— Больше, чем все мы, — отвечал Понтий. — Это знаменитость.

— Превосходно! — воскликнул Поллукс. — Я охотно смотрю на великих людей. Когда они глядят тебе в глаза, то всегда кажется, будто кое-что из их богатства переливается в тебя; тогда невольно расправляешь мышцы и думаешь: а хорошо бы когда-нибудь дорасти хотя бы до подбородка такого человека.

— Только не предавайся болезненному честолюбию, — прервал Папий своего ученика тоном увещевания. — Не тот достигает величия, кто становится на цыпочки, а тот, кто прилежно выполняет свой долг.

— Он-то свой долг выполняет добросовестно... да и все мы тоже, — возразил архитектор и положил руку на плечо Поллукса. — Завтра с восходом солнца пусть каждый будет на своем посту. Ради моего коллеги всем вам надлежит явиться вовремя.

Художники встали с выражением благодарности и сожаления.

— Продолжение этого вечера еще за тобой! — крикнул один из живописцев, а Папий, прощаясь с Понтием, сказал:

— Когда мы соберемся снова, я покажу тебе, что разумею под застольной речью. Она, вероятно, будет посвящена твоему римскому гостю.

— Мне любопытно знать, что скажет он о нашей Урании? Поллукс хорошо выполнил свою часть работы, а я недавно уделил для нее один часок, который принесет ей пользу. Чем проще наш материал, тем больше я буду радоваться, если эта статуя понравится императору: ведь он сам немножко ваятель.

— Что, если бы это услышал Адриан? — вмешался один из живописцев. — Он желает прослыть гениальным, первым художником нашего времени. Говорят, что он велел лишить жизни великого архитектора Аполлодора, который соорудил такие великолепные постройки для Траяна. А за что? За то, что этот превосходный человек поступил однажды с царственным пачкуном, как с простым архитектором, и не захотел одобрить его план храма Венеры.

— Сплетни! — возразил Понтий на это обвинение. — Аполлодор умер в темнице; но его заключение туда имеет мало связи с его приговором относительно работ им

ператора... Извините меня, господа, я должен еще раз посмотреть мои чертежи и сметы.

Архитектор удалился, но Поллукс продолжал начатый разговор:

— Я только не понимаю,— сказал он,— каким образом человек, который одновременно занимается столькими искусствами, как Адриан, и при этом заботится о государстве и управлении, сверх того страстный охотник и вдобавок предается разному ученому вздору, может снова собрать свои пять чувств, разлетевшихся в разные стороны, когда ему захочется употребить их исключительно на одно какое-нибудь искусство. В его голове должно образоваться нечто вроде только что уничтоженного нами салата, в котором Папий открыл три сорта рыбы, белое и черное мясо, устриц и еще пять других составных частей.

— И кто же станет отрицать,— прервал его Папий,— что если талант — отец, а усидчивость — мать всякой художественной деятельности, то упражнение должно быть воспитателем художника. С тех пор, как Адриан занимается ваянием и живописью, занятие этими искусствами вошло в моду везде и здесь тоже. В числе богатых молодых людей, посещающих мою мастерскую, есть весьма даровитые, но ни один из них не выполнил ничего настоящего, потому что гимнасий, бани, бои перепелов, пиры и еще невесть что отнимают у них слишком много времени, так что из упражнений в искусстве ничего не выходит.

— Да,— вставил один из живописцев,— без принуждения, без муки ученичества никто не дойдет до свободного и радостного творчества. Но в риторской школе, на охоте и на войне нельзя брать уроки рисования. Только тогда, когда ученик научится сидеть смирно и корпеть над работой по шести часов кряду, я начинаю верить, что из него выйдет что-нибудь порядочное. Не видел ли кто из вас какого-либо из произведений императора?

— Я видел,— сказал мозаист.— Несколько лет назад мне была прислана, по приказанию Адриана, его картина. Я должен был снять с нее мозаичную копию. Она изображала плоды — дыни, тыквы, яблоки — и зеленые листья. Рисунок был посредственным; яркость красок переходила за пределы дозволенного, но композиция мне понравилась своей округленностью и полнотой. Большие плоды под пышными, сочными листьями таили нечто столь чудовищное, как будто выросли в садах богини

изобилия; но в целом все-таки чувствуется кое-что... При выполнении копии я смягчил несколько цвета. Вы можете видеть эту копию у меня. Она висит в зале моих рисовальщиков. Богач Неальк велел в своей мастерской сделать по ее рисунку ковер, которым Понтий приказал обить стену рабочей комнаты вон там; а я ради нее истратился на красивую раму.

— Скажи лучше — ради ее автора!

— Или еще лучше — ввиду его возможного посещения твоей мастерской, — засмеялся самый разговорчивый из живописцев. — Не зайдет ли император и к нам? Я желал бы продать ему мою «Встречу Александра в храме Юпитера Аммона».

— Надеюсь, что при назначении цены ты поступишь с ним по-товарищески, — с усмешкой заметил его собрат.

— Я последую твоему примеру, — возразил первый.

— При этом ты не прогадаешь, — воскликнул Папий, — ибо Евсторгий знает цену своим творениям. Впрочем, если Адриан будет делать заказы всем художникам, в искусстве которых он маракует немного, то ему понадобится особый флот для отправления в Рим своих покупок, — сказал Папий.

— Говорят, — засмеялся Евсторгий, — что он среди поэтов — живописец, среди живописцев — ваятель, среди музыкантов — астроном, среди художников — софист, то есть что он с некоторым успехом занимается всеми искусствами и науками, как побочным делом.

В это время Понтий вернулся к художникам, окружившим стол, на котором стоял большой кувшин с разбавленным вином. Он услышал последние слова живописца и, прервав его, заговорил:

— Но, мой друг, ты забываешь, что между правителями, и не только нынешними, он — правитель в полнейшем значении этого слова. Конечно, каждый из вас превосходит его в своем искусстве, но как велик человек, который не с праздным любопытством, а серьезно и умело приближается ко всему, что только мог обнять ум и что только могло создать творческое воображение художника! Я знаю его, и мне известно, что он любит даровитых мастеров и старается поощрять их с царской щедростью. Но у него есть уши повсюду, и он быстро становится неумолимым врагом каждого, кто раздражает его шепетильность. Поэтому сдерживайте теперь ваши вольные александрийские языки и помните, что мой коллега, которого я ожидаю из Рима, очень близко стоит к Адриану. Он

его сверстник, даже похож на него, и не утаивает от императора ничего, что только слышит о нем. Итак, оставьте болтовню об Адриане и не судите дилетанта в пурпурной мантии строже, чем ваших богатых учеников, для произведений которых у вас с такой легкостью появляются на губах слова: «премило», «удивительно», «прелестно», «прехорошенькая вещица». Не примите моего предостережения в дурном смысле. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Последние слова были произнесены тем тоном мужественной искренности, который был свойственен низкому голосу Понтия и внушал полное доверие даже людям неговорчивым.

Произошел обмен прощальных приветствий и рукопожатий, и художники оставили залу, а раб вынес сосуд с вином и вытер стол, на котором Понтий начал раскладывать свои планы и сметы.

Но он недолго оставался один, потому что скоро возле него очутился Поллукс и сказал с комическим пафосом, приложив палец к носу:

— Я выскочил из своей клетки, чтобы высказать тебе кое-что...

— Что такое?

— Близится час, когда я надеюсь воздать тебе за все благодеяния, в разное время оказанные тобой моему желудку. Мать моя может завтра предложить тебе капусту с колбасками. Раньше никак нельзя было, ибо единственный в своем роде колбасник, царь своего цеха, лишь раз в неделю готовит свои сочные цилиндрики. Несколько часов назад он закончил колбаски, а мать к завтраку разогреет благородное кушанье, заготовленное с нынешнего вечера. Ибо — истинно говорю тебе — лишь в подогретом виде оно становится идеалом этого рода произведений. Последующими затем сладостями мы опять-таки будем обязаны искусству моей матери, а веселяще-утомительной частью (то есть разгоняющим мрачные заботы вином) — моей сестре.

— Я приду, — отвечал Понтий, — если наш гость оставит мне свободный часок, и заранее радуюсь вкусному блюду. Но, развеселый певун, что ты знаешь о мрачных заботах?

— Да ты говоришь гексаметром, — возразил Поллукс, — а я тоже от отца (который в часы, свободные от охраны ворот, поет и сочиняет) унаследовал досадную необходимость говорить ритмически, как только что-нибудь заденет меня за живое.

— Сегодня ты был молчаливее, чем обыкновенно, и все же ты казался мне невероятно довольным. Не только твое лицо, но и весь ты, долговязый, с головы до пят выглядел, как сосуд радости.

— Да ведь и свет прекрасен! — воскликнул Поллукс, сладко потянулся и, сложив руки над головой, воздел их к небу.

— Не произошло ли что-нибудь особенно для тебя приятное?

— Этого и не надо, так как я живу здесь в прекраснейшем обществе, работа идет на лад и... зачем мне скрывать... нынче произошло и некое событие: я встретил старую знакомую.

— Старую?

— Я знаю ее уже шестнадцать лет; но когда я видел ее в первый раз, она еще лежала в пеленках.

— Итак, этой почтенной приятельнице целых шестнадцать лет, самое большее — семнадцать. Благосклонен ли Эрот к счастливцу, или счастье только шествует в его свите?

Покуда архитектор задумчиво произносил этот вопрос, Поллукс внимательно прислушивался и сказал:

— Что происходит там во дворе в такой поздний час? Слышишь ли ты лай большой собаки среди звонкого щебетания трех граций?

— Это Титиан везет римского архитектора, — сказал Понтий в волнении. — Я пойду к нему навстречу. И еще раз говорю, мой друг, у тебя тоже александрийский язычок. Остерегайся шутить в присутствии этого римлянина над художественными произведениями императора. Повторяю тебе: человек, который едет теперь сюда, превосходит всех нас, и для меня нет ничего противнее, когда маленькие люди принимают важный вид потому, что им кажется, будто они нашли у великого человека больное местечко, которое на их крошечном теле случайно оказывается здоровым. Художник, которого я жду, велик, но император Адриан гораздо выше его. Иди за перегородку, а завтра я буду твоим гостем.

Понтий накинул паллий поверх хитона, который он обыкновенно носил во время работы, и пошел навстречу повелителю мира, о прибытии коего известило его письмо префекта. Он был совершенно спокоен, и если его сердце билось сильнее, чем обыкновенно, то только пото-

му, что он радовался новой встрече с удивительным человеком, личность которого производила на него глубокое впечатление.

Сознавая, что он сделал все, что только было в его силах, и не заслужил никакого порицания, он вышел через передние комнаты и главную входную дверь на двор, на котором множество рабов при свете факелов укладывали новые мраморные плиты.

Ни эти люди, ни их надсмотрщики не обратили внимания на лай собак и на громкий разговор, слышавшийся возле домика привратника, так как работникам и их руководителям было обещано особое вознаграждение, если они, к удовольствию архитектора, вовремя окончат определенную часть новой каменной настилки. Никто из них не подозревал, кому принадлежал зычный голос, разносившийся от ворот по всему двору.

Противные ветры задержали императора на пути, и его корабль вошел в гавань только около полуночи.

Он приветствовал ожидавшего его Титиана, как доброго старого друга, с сердечной теплотой, и тотчас же сел с ним и Антиноем в колесницу префекта. Его секретарь Флегон, врач Гермоген и раб Мастор должны были следовать за ним в другом экипаже вместе с багажом, в состав которого входили и походные кровати.

Портовые сторожа вздумали было сердито преградить дорогу колеснице, во весь опор мчавшейся по темной дороге, и огромному догу, громким лаем нарушавшему ночную тишину, но, узнав Титиана, они почтительно посторонились.

Послушные приказанию префекта, привратник и его жена не ложились спать, и, как только певец услышал стук приближавшейся колесницы, в которой ехал император, он поспешил к дворцовым воротам и отворил их.

Развороченная мостовая и люди, занятые восстановлением ее, заставили Титиана и его спутников выйти из экипажа и пройти мимо самого домика Эвфориона.

Адриан, от глаз которого не могло укрыться ничего, казавшегося ему достойным внимания, остановился перед широко отворенной дверью жилища привратника и заглянул в приветливую комнату, украшенную цветами, птицами и статуей Аполлона. На пороге стояла Дорида в новом платье, ожидая префекта. Титиан от души приветствовал ее; он привык обмениваться с ней несколькими веселыми и умными словами каждый раз, как посещал Лохиадский дворец.

Собачонки уже заползли в свои корзинки, но, почуяв чужую собаку, с громким лаем кинулись мимо своей госпожи на двор, так что, отвечая на любезное приветствие своего покровителя, Дорида не раз была принуждена унимать Евфросину, Аглаю и Талию, выкликая их звонкие имена.

— Великолепно, превосходно! — вскричал Адриан, указывая на внутренность дома.— Идиллия, настоящая идиллия! Кто мог бы ожидать, что найдет такой веселенький, мирный уголок в самом беспокойном, в самом хлопотливом городе империи.

— Мы с Понтием тоже были изумлены при виде этого гнездышка и потому оставили его нетронутым,— сказал префект.

— Понятливые люди понимают друг друга, и я благодарю вас за то, что вы пощадили этот домик,— сказал император.— Какое предзнаменование, какое благоприятное, в высшей степени благоприятное предзнаменование. Грации принимают меня здесь, в старых стенах: Аглая, Евфросина, Талия.

— Приветствую тебя, господин! — сказала префекту Дорида.

— Мы являемся поздно,— заметил Адриан.

— Это не беда,— засмеялась старуха.— Здесь, на Лохиаде, вот уже с неделю, как мы и без того разучились отличать день от ночи, и притом хорошее никогда не приходит слишком поздно.

— Сегодня я привез с собой достойнейшего гостя,— сказал Титиан,— великого римского архитектора, Клавдия Венатора. Он только несколько минут назад сошел с корабля.

— В таком случае глоток вина принесет ему пользу; есть хорошее мареотское белое из виноградника моей дочери, что живет на берегу озера. Если твой друг желает оказать честь простым, скромным людям, то я попрошу его войти к нам. Не правда ли, господин, у нас чисто, а из кубка, который я подам ему, подобало бы пить самому императору. Кто знает, что найдете вы там, наверху, в этой ужасной суматохе?

— Я с удовольствием принимаю твое приглашение, матушка,— отвечал Адриан.

Дорида наполнила кубок вином и сказала:

— А вот вода для смешения.

Император взял кубок работы Поллукса, с удивлением посмотрел на него и сказал:

— Мастерское произведение, матушка. Из чего же здесь будет пить император, если привратники употребляют такие сосуды. Кто выполнил эту превосходную работу?

— Мой сын вырезал этот кубок для меня в свободные часы.

— Он дельный скульптор,— прибавил Титиан.

Выпив вино с большим удовольствием, император поставил кубок на стол и сказал:

— Отличное питье. Благодарю тебя, матушка!

— И я тебя за то, что ты называешь меня матерью. Нет более прекрасного названия для женщины, которая вырастила хороших детей, а у меня их трое, и их не стыдно показать.

— Так желаю тебе счастья для них, моя матушка,— сказал император.— Мы еще увидимся, потому что я останусь несколько дней здесь, на Лохиаде.

— Среди этой суматохи?

— Этот великий архитектор,— сказал Титиан,— будет помогать Понтию.

— Понтий не нуждается ни в чьей помощи!— вскричала старуха.— Этот человек крепкого закала. Его предусмотрительность и энергия, по словам моего сына, несравненны. Да и сама я видела, как он распоряжался, а я умею различать людей.

— А что тебе в нем более всего понравилось?— спросил Адриан, которому пришлась по сердцу непринужденность умной старухи.

— Он ни на минуту не теряет спокойствия при всей этой спешке. Говорит не больше и не меньше, чем нужно, умеет быть строгим, где это необходимо, и ласков с нижестоящими. На что он способен как художник, об этом я не могу судить, но знаю наверное, что он действительно дельный человек.

— Я сам его знаю,— сказал император,— и ты правильно его описываешь; но мне он показался несколько строже.

— Как мужчина, он должен уметь быть твердым. Но он тверд только там, где нужно; а каким добрым он может быть, это он нам показывает ежедневно. Когда часто сидишь одна, то видишь его отношение. И вот я заметила: кто надменен и крут с маленькими людьми, тот и сам не больно велик, ибо он считает нужным так поступать из опасения, как бы его не сочли таким же ничтожным, как тот бедняк, с которым он имеет дело. Кто чего-

нибудь стоит, тот знает, что его сразу отличат, даже если он обращается с нашим братом, как с равным. Так поступает Понтий и высокородный наместник, а также и ты, его друг. Что ты приехал — это хорошо, но, как сказано, наш архитектор управился бы и без тебя.

— Ты, по-видимому, не особенно высокого мнения о моей будущей работе; это огорчает меня, потому что ты прожила жизнь с открытыми глазами и научилась правильно судить о людях.

Тут Дорида умно и пытливо посмотрела на императора своими ласковыми глазами и отвечала уверенным тоном:

— От тебя... от тебя веет величием, и, может быть, твои глаза увидят многое, что ускользнет от Понтия. К некоторым избранным людям музы особенно расположены, и ты, видимо, принадлежишь к их числу.

— Что наводит тебя на эту мысль?

— Я узнаю это по твоему взгляду и по челу.

— Ясновидица!

— Нет, я вовсе не ясновидица. Но я — мать двух сыновей, которым бессмертные тоже даровали нечто особенное, что я не в силах описать. У них я заметила это впервые, а когда потом примечала то же у художников и у некоторых других, то эти люди всегда оказывались самыми выдающимися в своем кругу. А что ты далеко превосходишь всех остальных — в этом я готова поклясться.

— Не принимая клятвы так легко, — засмеялся император, — мы еще поговорим с тобой, матушка, а при прощании я спрошу тебя, не обманулась ли ты во мне? Теперь пойдем, Телемах. Тебя, кажется, в особенности занимают птицы этой женщины.

Эти веселые слова были обращены к Антиною, который переходил от одной клетки к другой и с любопытством и удовольствием рассматривал спящих пернатых любимцев старухи.

— Это твой сын? — спросила Дорида, указывая на юношу.

— Нет. Это мой ученик, но я обращаюсь с ним как с сыном.

— Красивый парень!

— Посмотри, наша старуха еще засматривается на юношей.

— Этого мы не оставляем до столетнего возраста или до тех пор, пока парки не перережут нити нашей жизни.

— Какое признание!

— Дай мне договорить до конца. Мы никогда не отучаемся радоваться, глядя на красивых молодых людей; но только пока мы молоды, мы спрашиваем, чего мы можем от них ожидать; в старости же для нас вполне довольно оказывать им дружеское расположение. Послушай, ты, молодой господин, ты всегда найдешь меня здесь, если тебе понадобится что-нибудь. Я — как улитка и лишь изредка покидаю свой домик.

— До свидания, — сказал Адриан и вышел на двор со своими спутниками. Развороченная мостовая требовала большой осторожности; нужно было искать точки опоры для ног. Титиан пошел впереди императора и Антонию, и властитель мог обменяться со своим наместником лишь немногими радостными словами по поводу их дружеской встречи.

Адриан осторожно двигался, улыбаясь с видимым удовлетворением. Приговор простой умной женщины из народа доставил ему больше удовольствия, чем высокопарные оды, в которых воспевали его Мезомед и ему подобные, или льстивые слова, которыми обыкновенно осыпали его риторы и софисты.

Старуха считала его простым художником; она не могла знать, кто он, и, однако, признала... Или же Титиан был неосторожен?

Знала ли, догадывалась ли женщина, с кем она говорит?

Крайняя подозрительность Адриана не давала ему покоя. Он уже начинал считать слова привратницы заученной ролью, ее радушный прием — подготовленной сценой. Вдруг остановившись, он попросил префекта подождать его, а Антонию велел остаться с собакой. Сам он повернул назад и вовсе не по-царски подкрался к домику привратника.

Он остановился возле все еще настежь отворенной двери домика и начал подслушивать разговор, который вела Дорида с своим мужем.

— Видный мужчина, — сказал Эвфорион, — он несколько похож на императора.

— Ну, нет, — возразила Дорида. — Вспомни только о статуе Адриана в саду Панейона: там выражение лица недовольное и насмешливое, а у архитектора, правда, серьезный лоб, но черты сияют приветливой добротой. Если, глядя на одного из них, вспоминаешь другого, так только из-за бороды. Адриан мог бы радоваться, если бы походил на гостя префекта.

— Да, притом он и красивее и... как бы мне выразиться... и более похож на богов, чем холодная мраморная статуя, — продекламировал Эвфорион. — Он, конечно, важный господин, но все-таки он вместе с тем и художник. Нельзя ли с помощью Понтия, Папия, Аристея или кого-либо из великих живописцев уговорить его при торжественном зрелище представить в нашей группе прорицателя Калхаса? Он изобразил бы его иначе, чем этот сухой резчик по слоновой кости, Филемон. Подай мне лютню, я уже забыл начало последнего стихотворения. Ох, эта проклятая память!

Эвфорион с силой провел пальцами по струнам и запел еще довольно звучным и хорошо выработанным голосом:

— «Слава тебе, о Сабина! Слава, победная слава могучей богине Сабине!» Если бы Поллукс был здесь, он опять напомнил бы мне настоящие слова. «Слава, победная слава стократной Сабине!..» Бессмыслица. «Слава, бессмертная слава Сабине, уверенной в громкой победе». И это не то! Если бы крокодил пожелал проглотить эту Сабину, я с удовольствием отдал бы ему на закуску вон тот свежий пирог на блюде. Но постой! Теперь вспомнил: «Слава, стократная слава могучей богине Сабине!»

Адриану было достаточно слышанного.

В то время как Эвфорион, беспрестанно повторяя, старался запечатлеть в своей упрямой памяти стихи, император повернулся спиной к домику и, не без труда пробираясь со своими спутниками между сидевшими на корточках работниками, не раз хлопнул Титиана дружески по плечу, а в ответ на приветствия Понтия вскричал:

— Я благословляю свое решение приехать сюда сегодня. Хороший вечер, превосходный вечер!

Уже много лет Адриан не чувствовал себя в таком беззаботном и веселом настроении, как в этот день. И когда он, несмотря на поздний час, нашел всюду усердно трудящихся работников и увидел, что в старом дворце многое было восстановлено или уже готовилось к обновлению, неутомимый монарх выразил свое удовлетворение, обращаясь к Антиною:

— Вот где можно убедиться, что даже в наш трезвый век добрая воля, усердие и умение могут творить великие чудеса. Объясни мне, Понтий, как ты соорудил эти чудовищные леса?

После первого веселого вступления императора в свою наполовину готовую резиденцию он провел еще много хороших часов.

Понтий предложил временно приготовить для приема императора несколько хорошо сохранившихся, предназначенных первоначально для его свиты комнат, в одной из которых открывался широкий вид на гавань, город и остров Антиродос. Скоро было устроено все необходимое для ночного отдыха Адриана и его спутников. Хорошая постель, которую префект прислал на Лохиаду для Понтия, была перенесена в опочивальню императора, а в других горницах поставили походные кровати для Антиноя и остальных спутников.

Столы, подушки и всякого рода утварь, уже доставленную александрийскими мастерскими, но еще не распакованную и лежавшую в тюках и ящиках среди большого центрального двора, быстро разместили (по мере надобности) в наскоро обставленных покоях.

Еще прежде чем Адриан при помощи прсфекта осмотрел последнюю из комнат, в которых производились реставрационные работы, Понтий уже покончил со своими распоряжениями и мог заверить императора, что у него сегодня будет хорошая постель и сносное помещение, а завтра совершенно прилично убранные комнаты.

— Отлично, отлично, превосходно! — воскликнул властитель, вступив в отведенный ему покой. — Можно подумать, что вам помогают усердные демоны. Полей мне воды на руки, Мастер, а затем приступим к ужину. Я голоден, как собака нищего.

— Я думаю, мы найдем то, что тебе нужно, — сказал Титиан, в то время как император умывался. — Ты истребил все, что мы послали тебе сегодня, Понтий?

— К сожалению, да, — ответил тот со вздохом.

— Но я велел послать тебе ужин на пять человек.

— Он насытил шестерых голодных художников, — отвечал архитектор. — Если бы я только мог подозревать, для кого предназначалось такое множество кушаний. Что же делать теперь? Вино и хлеб остались в зале муз, но...

— Ну, так этим и нужно довольствоваться, — сказал император, вытирая лицо. — Во время дакийского похода или в Нумидии и нередко на охоте я был доволен, если на голодный желудок получал хотя бы хлеб и вино.

Лицо Антиноя, сильно утомленного и голодного, омрачилось при этих словах. Адриан заметил это и сказал, улыбаясь:

— Юности недостаточно хлеба и вина, чтобы жить. Вы только что показывали мне вход в квартиру управляющего дворцом. Неужели нельзя найти у него ни одного куска мяса, или сыра, или чего-нибудь подобного?

— Едва ли, — отвечал Понтий, — потому что этот человек набивает свой большой живот и желудки своих восьмерых детей хлебом и размазней. Но попытаться все-таки нужно.

— Так пошли к нему, а нас сейчас же проведи в залу, где музы берегут для меня и моих спутников хлеб и вино, которые они не всегда даруют своим служителям.

Понтий тотчас же повел императора в залу. По пути Адриан спросил:

— Разве смотритель дворца получает такое нищенское содержание, что должен довольствоваться столь скудной пищей?

— Он имеет даровую квартиру и получает двести драхм в месяц.

— Нельзя сказать, чтобы это было слишком мало. Как его зовут и каков этот человек?

— Он называется Керавном и происходит от старинной македонской фамилии. Его предки с незапамятных времен занимали эту должность, и он воображает себя даже в родстве с вымершим царским родом через какую-то любовницу одного из Лагидов. Керавн заседает в Совете граждан и никогда не выходит на улицу без своего раба, принадлежащего к числу тех, которых работорговцы на рынках дают в придачу. Он толст, как откормленный хомяк, одевается, как сенатор, любит древности и редкости, которые покупает на последние деньги. Он носит свою бедность больше с надменностью, чем с достоинством, но он честный человек и может быть полезен, если только подойти к нему как следует.

— Значит, своеобразный субъект. Ты говоришь, что он толст, а весел ли он?

— Ну уж несколько.

— Жирных и ворчливых людей я терпеть не могу. Что за перегородка здесь в зале?

— Там работает лучший ученик Папия. Его зовут Поллуксом; это сын привратника. Он тебе понравится.

— Позови его, — сказал император.

Прежде чем архитектор мог исполнить это приказание, над перегородкой вынырнула голова скульптора.

Молодой человек услышал голоса и шаги приближавшихся, почтительно поклонился префекту со своего воз-

вышения и, удовлетворив любопытство, хотел спрыгнуть с подставки, на которую взобрался, как Понтий закричал, что с ним желает познакомиться архитектор Клавдий Венатор из Рима.

— Это очень любезно с его стороны и еще более с твоей, — крикнул Поллукс сверху, — так как только через тебя он может знать, что я существую в подлунной и научился владеть молотком и резцом. Позволь мне сойти с моего четвероногого котурна, господин, потому что теперь тебе придется смотреть на меня снизу вверх, а судя по тому, что рассказывал мне Понтий, ничто не может быть несообразнее этого.

— Оставайся там, где ты теперь, — возразил Адриан. — Между товарищами по искусству не должно существовать никаких церемоний. Что ты там делаешь?

— Я сейчас отодвину одну половину ширм, чтобы показать тебе нашу Уранию. Полезно услышать суждение серьезного человека, понимающего дело.

— После, друг мой, дай мне съесть кусок хлеба, потому что жестокость моего голода легко могла бы сказаться и на моем приговоре.

Архитектор тем временем подал императору поднос с хлебом и солью и кубок вина, принесенный рабом.

Увидав это скудное угощение, Поллукс вскричал:

— Да ведь это тюремный паек, Понтий; неужели у нас нет больше ничего в доме?

— Вероятно, и ты помог уничтожить вкусные блюда, которые я прислал Понтию, — сказал префект и погрозил Поллуксу пальцем.

— Ты будишь сладкое воспоминание, — вздохнул скульптор с комическим сокрушением. — Но, клянусь Геркулесом, я внес свою долю в дело уничтожения. Если бы только... Ба! Мне пришла в голову мысль, достойная Аристотеля. Завтрак, к которому я приглашал тебя на завтрашний день, о благороднейший Понтий, стоит готовый у матери и может быть разогрет в несколько минут. Не пугайся, господин, дело идет о капусте с колбасками, о кушанье, которое, подобно душе египтянина, обладает более благородными качествами при воскресении своем, чем тогда, когда оно впервые увидело свет.

— Превосходно, — вскричал Адриан, — капуста с колбасками!

С улыбкой вытер он рукой губы и громко расхохотался, услышав искреннее и радостное «Ах!», вырвавшееся у Антиноя, который приблизился к перегородке.

— Даже небо и желудок могут упиваться предвкушением счастливого будущего! — воскликнул император, обращаясь к префекту и указывая на своего любимца.

Но он неверно истолковал радостный возглас юноши, ибо название простого блюда, которое мать фаворита часто ставила на стол в своем скромном домике в Вифинии, напомнило Антиною родину и детство и перенесло его в лоно семьи.

Внезапное движение сердца (а не только чувственное раздражение неба) вызвало это «Ах!» на его уста. И все же он радовался отечественному яству и не променял бы его на роскошный пир.

Поллукс вышел из-за перегородки и сказал:

— Через четверть часа я вернусь к вам с завтраком, который превратился в ужин. Утолите пока первый голод хлебом и солью, ибо капустное блюдо моей матери не только насыщает — оно требует, чтобы его вкушали, не торопясь.

— Поклонись госпоже Дориде, — крикнул Адриан вслед ваятелю и, когда Поллукс покинул залу, сказал, обращаясь к Титиану и Понтию:

— Славный молодой человек! Любопытно посмотреть, что производит он как художник.

— Так последуй за мной, — отвечал Понтий и повел Адриана за ширмы.

— Что скажешь ты об этой Урании? Голову музы сделал Папий, а тело и одежду слепил Поллукс собственноручно в несколько дней.

Император, скрестив руки, остановился против статуи и долго смотрел на нее молча. Затем одобрительно кивнул бородатой головой и сказал серьезно:

— Глубоко продуманное и с удивительной свободой выполненное произведение. Этого плаща, собранного на груди, нечего было бы стыдиться Фидию. Все величественно, своеобразно и правдиво. Где пользовался молодой художник натурой? Здесь, на Лохиаде?

— Я не видел у него никакой натурщицы и думаю, что он лепил из головы, — отвечал Понтий.

— Это невозможно, совершенно невозможно! — вскричал император тоном знатока, уверенного в справедливости своего суждения. — Никакой Пракситель не был бы в состоянии выдумать подобные линии, такие складки! На них нужно смотреть, их нужно было копировать с природы, формировать под свежим впечатлением. Мы спросим его. А что должно выйти из этой вновь нагроможденной массы глины?

— Может быть, бюст какой-нибудь женщины из дома Лагидов. Ты увидишь завтра изваянную нашим юным другом голову Береники, которая, по моему мнению, принадлежит к лучшим произведениям скульптуры, когда-либо созданным в Александрии.

— Неужели этот молодец сведущ в магии? — спросил Адриан. — Изготовить эту Уранию и совершенно законченную женскую голову в несколько дней — это просто невозможно.

Тогда Понтий объяснил императору, что Поллукс поставил гипсовую голову на имевшийся уже бюст, и отвечая откровенно на вопросы, рассказал, какие уловки были употреблены для того, чтобы придать запущенному зданию приличный и в своем роде блистательный вид. Он чистосердечно признался, что работы его здесь имели целью устроить все только напоказ, и говорил с Адрианом так, как он говорил бы со всяким другим художником о подобном предмете.

В то время как император и архитектор горячо разговаривали таким образом, а префект расспрашивал секретаря Флегона о путешествии, в зале муз появился Поллукс со своим отцом.

Певец нес на блюде дымившееся кушанье, свежее печенье и паштет.

Поллукс прижимал к груди довольно большой, наполненный мареотским вином кувшин с двумя ушками, который он наскоро обвил зелеными усиками плюща.

Несколько минут спустя император возлежал на приготовленном для него ложе и храбро набрасывался на вкусные блюда.

Он был в самом счастливом настроении, подзывал к себе Антиноя и секретаря, накладывал им собственноручно увесистые порции на тарелки, которые они должны были ему протягивать, уверяя, что он делает это для того, чтобы они не выудили для себя из капусты самые лакомые колбаски. Мареотскому вину он тоже оказал должную честь. Но когда дело дошло до паштета, выражение лица его изменилось. Он нахмурил брови и серьезно, подозрительно и сурово спросил префекта:

— Каким образом у этих людей очутилось такое кушанье?

— Откуда у тебя этот паштет? — спросил префект певца.

— Он остался от ужина, которым угощал сегодня архитектор художников, — отвечал Эвфорион. — Кости от-

даны были грациям, а это нетронутое блюдо было предоставлено мне с женой. Она предлагает его гостю Понтия.

Титиан засмеялся и вскричал:

— Итак, теперь понятна причина исчезновения обильных яств, которые мы послали архитектору. Этот паштет... Могу я взглянуть на него? Этот паштет был приготовлен по указанию Вера. Он напросился вчера к нам на завтрак и научил моего повара искусству готовить это блюдо.

— Ни один последователь Платона не может распространять философию своего учителя лучше, чем Вер — преимущества этого кушанья, — заметил император, к которому снова вернулось веселое расположение духа, как только он увидел, что и здесь невозможно подозревать никакой искусственной подготовки. — Что за безумства творит этот баловень счастья! Уж не стряпает ли он теперь собственноручно?

— Нет, — отвечал префект, — он только велел поставить себе в кухне ложе, растянулся на нем и делал моему повару указания относительно изготовления этого паштета, который, по его словам, и тебе... то есть я хотел сказать... который будто бы с удовольствием кушает сам император. Он состоит из фазана, ветчины, вымени и рассыпчатого теста.

— Я разделяю вкус Адриана, — засмеялся император, оказывая должную честь вкусному блюду.

— Вы великолепно угощаете меня, друзья, и делаете меня своим должником. Как зовут тебя, молодой человек?

— Поллуксом.

— Твоя Урания, Поллукс, хорошее произведение, и Понтий говорит, что ты выполнил плащ без натуры. Я повторяю: это просто невозможно.

— Ты вполне прав. Одна девушка была моей натурщицей.

Император посмотрел на архитектора, как будто желая сказать «Вот видишь!». Но Понтий спросил с удивлением:

— Когда же это? Я не видел здесь ни одного женского существа.

— На днях...

— Но я ни на минуту не оставлял Лохиады, никогда не ложился спать прежде полуночи и всегда был уже на ногах перед восходом солнца.

— Но между твоим сном и пробуждением все-таки

бывает несколько весьма содержательных часов, — возразил Поллукс.

— Юность, юность! — вскричал император, и улыбка фавна появилась на его губах. — Отделите Дамона от Филлиды железной дверью, и они проберутся друг к другу сквозь замочную скважину!

Эвфорион искоса посмотрел на сына, архитектор покачал головой и воздержался от дальнейших вопросов, а Адриан встал с ложа, любезно отпустил Антиноя и своего секретаря, ласково, но настоятельно попросил Титиана вернуться домой и передать привет жене и предложил Поллуксу, чтобы тот проводил его за свою перегородку. При этом он прибавил, что не утомлен и вообще привык довольствоваться немногими часами сна. Скульптор почувствовал большое влечение к этому сильному человеку.

От него не укрылось большое сходство седобородого иноземца с императором; но ведь Понтий предупредил его насчет этого сходства, а в глазах и углах рта римского архитектора было нечто такое, чего он не видел ни на одном изображении Адриана.

Уважение Поллукса к новому гостю Лохиадского дворца возросло, когда они очутились перед едва оконченной статуей музы: император с серьезным прямодушием указывал ему на некоторые недостатки ее и, расхваливая достоинства наскоро сработанной статуи, в кратких, веских фразах изложил свой собственный взгляд на характер Урании. Затем он ясно и сжато объяснил, как, по его мнению, пластический художник должен относиться к своей задаче. Сердце юноши забилось сильнее, и часто бросало его то в жар, то в холод, ибо этот человек в благозвучной и понятной форме сделал такие откровения, которые он часто предчувствовал или смутно ощущал, но для которых в пылу учения и творчества никогда не мог найти выражения.

И как благожелательно принимал великий учитель его робкие замечания, как метко умел отвечать на них! Подобного человека Поллуксу еще никогда не случалось встретить и никогда еще он так охотно не преклонаялся перед превосходством и силой чужого ума.

Наступил второй час ночи, когда Адриан остановился перед грубо намеченным глиняным бюстом и спросил Поллукса:

— Что это будет?

— Изображение женщины, — гласил ответ.

— Не твоей ли храброй натурщицы, которая отважи-

вается входить во дворец ночью?

— Нет, моей натурой будет знатная дама.

— Из Александрии?

— О нет. Эта красавица из свиты императрицы.

— Как ее зовут? Я знаю всех римлянок.

— Бальбилла.

— Бальбилла? Есть много женщин с этим именем. Какая наружность у той, о которой ты говоришь? — спросил Адриан с лукавым, подстерегающим взглядом.

— Это легче спросить, чем объяснить... — отвечал художник, который при виде улыбки на серьезном лице седобородого собеседника снова весело оживился. — Погоди... Тебе, конечно, случалось видеть павлинов, когда они распускают хвост колесом? Представь же себе каждый глазок на хвосте птицы Геры в виде кругленького красивенького локончика, а под колесом очаровательное умное личико девушки с забавным носиком и чересчур высоким лбом, и ты получишь портрет знатной девушки, которая хочет позволить мне вылепить ее бюст.

Адриан звонко засмеялся, сбросил свой паллий и вскричал:

— Отступи назад, я знаю эту девушку, а если я разумею не ту, то ты скажешь мне.

Еще не dokonчив этой фразы, он запустил свои крепкие пальцы в мягкую глину и, работая, подобно опытному скульптору (скатывая, оформляя, отрывая и прибавляя), слепил женское лицо с целой башней локонов, похожее на лицо Бальбиллы, но отражавшее каждую из характерных черт, особенно бросавшихся в глаза, в таком карикатурно-преувеличенном виде, что Поллукс был вне себя от восторга.

Когда Адриан наконец отступил от удавшейся карикатуры и спросил Поллукса, та ли это римлянка, о которой он говорил, последний вскричал:

— Она! Это так же верно, как то, что ты не только великий архитектор, но и превосходный ваятель. Грубая штука, но невероятно характерная!

Император, по-видимому, очень радовался своей пластической шутке, потому что он вновь и вновь поглядывал на нее и смеялся.

Но на архитектора Понтия она, казалось, подействовала совершенно иначе. Он вначале с глубоким интересом слушал разговор ваятеля с Адрианом и следил за работой последнего. Потом он отвернулся от нее, так как ненавидел всякое искажение прекрасных форм, до ко-

того, как ему случалось часто убеждаться, были такие охотники египтяне. Ему было положительно больно видеть, что такое даровитое, грациозное и притом беззащитное создание, с которым он чувствовал себя связанным узами благодарности, было поругано таким человеком, как император.

Утром Понтий встретил Бальбиллу в первый раз, но от Титиана он слышал, что она живет с императрицей в Цезареуме и что она внучка того самого наместника Клавдия Бальбилла, который отпустил на свободу его деда, ученого греческого раба.

Он отнесся к ней с благодарным вниманием и преданностью; его радовала веселая, живая натура Бальбиллы, и при каждом необдуманном слове ее ему так хотелось предостеречь ее, как будто она была близка ему по узам крови или же давней дружбы, дающей большие права.

Вызывающая манера ухаживания, которую Вер, легкомысленный сердцеед, применял в обращении с этой девушкой, казалась ему возмутительной и опасной; и долгое время, после того как знатные гости оставили Лохиаду, он думал о ней и решил по возможности не спускать глаз с внучки благодетеля своей семьи. Он считал своей священной обязанностью охранять и защищать ее: она казалась ему легкомысленной, прекрасной и беззащитной птичкой. Сделанная императором карикатура произвела на него такое впечатление, как будто перед его глазами опозорили нечто, заслуживавшее благоговения.

А седеющий властитель все стоял перед своей отвратительной пачкотней и не уставал потешаться ею. Это было неприятно Понтию. Как всем благородным натурам, ему было прискорбно находить что-либо мелочное и пошлое в человеке, на которого он смотрел как на высшее существо. Как художник, император не должен был оскорблять таким образом красоту, как человек — беззащитную невинность. И в душу архитектора, который до сих пор принадлежал к самым горячим поклонникам Адриана, вкралось легкое нерасположение к нему, и он был рад, когда император наконец удалился на покой.

В своей спальне Адриан нашел все, к чему он привык. В то время как раб Мастор раздевал его, зажигал ночник и поправлял ему подушки, он сказал:

— Уже много лет я не проводил такого приятного вечера. Хорошо ли устроена постель для Антиноя?

— Как в Риме.

— А собака?

— Я постелю для нее одеяло в коридоре у твоего порога.

— Она накормлена?

— Ей дали костей, хлеба и воды.

— Надеюсь, ты сам тоже поужинал?

— Я не был голоден, и притом хлеба и вина было довольно.

— Завтра нас лучше устроят. Теперь, спокойной ночи! Обдумывайте свои слова, чтобы они не выдали меня. Несколько дней провести здесь без помехи... было бы великолепно!

С этими словами император повернулся на своем ложе и скоро заснул.

Раб Мастор тоже лег, предварительно расстелив в проходе перед императорской опочивальней одеяло для дога. Голова его покоилась на щите из толстой воловьей кожи, под которым, словно под куполом, лежал короткий меч. Ложе было неважное, но Мастор уже в течение многих лет пользовался подобным ложем и обыкновенно спал крепким сном ребенка. Теперь же сон бежал от него, и он время от времени прикасался рукой к своим широко раскрытым глазам, чтобы отереть соленую влагу, то и дело подступавшую к ним.

Он долгое время довольно мужественно сдерживал слезы, так как император желал видеть у своей прислуги веселые лица; Адриан даже сказал ему однажды, что он вверяет ему заботу о своей особе из-за его веселых глаз.

Бедный веселый Мастор! Он был раб, но и он тоже имел сердце, открытое для страдания и радости, для веселья и горя, для ненависти и любви. Когда он был ребенком, его родная деревня попала в руки врагов его племени. Его с братом сначала увезли в Малую Азию, а затем в Рим; оба они были очень хорошенькие, белокурые мальчики, их купили для императора.

Мастор был взят для личного услужения Адриану, а его брат — для работы в садах. Ни тот, ни другой не знали недостатка ни в чем, кроме свободы, и ничто не мучило их, кроме тоски по родине.

Но и она совершенно исчезла после того, как Мастор женился на хорошенькой дочери раба, надсмотрщика за императорскими садами. Это была живая бабенка с огненными глазами, мимо которой не проходил никто, не заметив ее. У них было уже двое детей. Служба оставляла рабу очень мало времени для семейных радостей в обществе красивой подружки и двух детей, которых

она ему родила; но мысль о семье всегда доставляла ему счастье, когда он со своим повелителем выезжал на охоту или странствовал по империи.

Семь месяцев он ничего не слышал о своей семье, но в Пелузии получил письмо, которое было переслано ему из Остии в Египет вместе с почтой, прибывшей на имя императора. Он не умел читать и, вследствие быстрого передвижения императора, только на Лохиаде мог узнать, что заключалось в этом письме. Перед отходом ко сну Антиной прочел Мастору письмо, составленное публичным писцом от имени брата, и его содержание было такого рода, что не могло не потрясти сердце раба.

Его хорошенькая женка убежала из дому и отправилась странствовать по свету с каким-то греком, корабельщиком; его старший сын, любимец его сердца, умер; его дочь, очаровательная светлокудрая Туллия, с беленькими зубками и кругленькими ручками, которыми она, бывало, старалась вцепиться в его стриженные волосы или ласково гладила их, была помещена в жалком домишке, где воспитывались сироты умерших рабов.

Еще два часа назад он в своем воображении обладал собственным домашним очагом и обществом милых ему существ; теперь же все это исчезло. Но как ни терзало его горе жестокой рукой, он не смел всхлипывать или стонать и даже беспокойно ворочаться с боку на бок, потому что его господин обладал чутким сном и всякий шум мог разбудить его. Как всегда, он должен был и завтра с восходом солнца явиться к императору веселым, а между тем ему казалось, что сам он гибнет, как погибли его домашний уют и его счастье.

Горе разрывало ему сердце, но он не шевелился и подавлял в себе стоны.

Не менее бессонную ночь провела и Селена, дочь смотрителя Керавна.

Суетное желание отца, чтобы Арсиноя вместе с дочерьми богатых граждан участвовала в зрелищах, устраиваемых в честь императора, наполнило сердце ее новой тревогой. Это был решительный удар, который должен был разрушить здание их призрачной жизни, и без того стоявшее на зыбкой почве, и ввергнуть в нищету и позор ее вместе со всем семейством.

Если последняя вещь, имеющая какую-то ценность, будет продана, если кредиторы, как раз во время пребы-

вания императора в Александрии, потеряют терпение и захватят их имущество или же постараются запереть отца в долговую тюрьму, то разве нельзя сказать наверное, что тогда его место получит кто-нибудь другой, и она со своими сестрами и братом очутится в самом бедственном положении...

А тут Арсиноя лежит рядом с ней и спит таким же спокойным, глубоким сном, как слепой Гелиос и другие малютки. Перед сном она еще раз со всей сердечностью, со всем доступным ей красноречием пыталась убедить легкомысленную девушку, просила и умоляла ее решительно объявить отцу, что она, подобно Селене, тоже не примет участия в предстоящем шествии. Арсиноя же вначале сердито оборвала ее, а потом заплакала и, наконец, строптиво заявила, что, может быть, какой-нибудь выход еще найдется и что Селена не смеет запрещать то, что отец разрешил.

Селена охотнее всего разбудила бы Арсиною, спавшую рядом с ней мирным сном, но она уже привыкла нести одна все домашние заботы, привыкла также и к тому, что сестра с досадой отстраняла ее всякий раз, когда та пыталась его образумить.

У Арсинои было доброе, нежное сердце, но она была молода, прекрасна и суетна. Ласковыми словами можно было добиться от нее всего. А Селена постоянно заставляла ее чувствовать свое превосходство благодаря большей зрелости характера.

Поэтому не было дня, чтобы между этими столь различными, но расположенными друг к другу сестрами дело не доходило до ссоры и слез. Арсиноя всегда первая предлагала примирение, но Селена редко отвечала на самые ласковые слова сестры более дружелюбными выражениями, чем «Брось!» или «Знаю уж, знаю!». Ее обращение внешне носило печать бессердечности, и нередко она доходила даже до слов, звучавших враждой. Сотни раз они ложились в постель, не пожелав друг другу доброй ночи, и еще чаще обходились без приветствия по утрам.

Арсиноя любила говорить, но в присутствии Селены была молчалива; Селена радовалась немногому, Арсиноя — всему, что веселит юность; Селена заботилась о житейских нуждах детей, Арсиноя — об их играх и куклах. Первая охраняла и наставляла их с боязливой заботливостью, находя в каждой мелкой шалости зачаток будущего порока; вторая склоняла их к шалостям, но

зато раскрывала их сердца для веселья и поцелуями достигала большего, чем Селена — упреками.

Селена, когда ей нужно было что-нибудь от детей, должна была звать их по нескольку раз, а к Арсиное они бежали сами, как только завидят ее; их сердца принадлежали Арсиное, и это было обидно Селене, которая видела, что ее сестра своими шалостями в праздные часы добивается более сладостного награждения, чем она своими заботами, усилиями и тяжелой работой, за которой она часто проводила целые ночи.

Однако же дети никогда не бывают совсем несправедливы, только платят они сердцем, а не головой; кто дарит им более теплую любовь, тому они часто ее возвращают. Конечно, в эту ночь Селена с осуждением смотрела на спящую Арсиною, да и та уснула не с очень любезными словами на устах.

Но обе сестры горячо любили друг друга, и если бы кто-нибудь попытался хоть одним словом задеть одну в присутствии другой, то тотчас же узнал бы, какая искренняя привязанность соединяет оба эти столь различно созданных сердца.

Но ни одна девятнадцатилетняя девушка не страдает бессонницей в течение всей ночи. И Селеной изредка овладевал сон на какие-нибудь четверть часа, и каждый раз ей при этом снилась сестра.

Один раз привиделась ей Арсиноя, наряженная царицей и преследуемая безобразными ругательствами нищих детей. Затем она видела, как сестра в шаловливой возне с Поллуксом разбила бюст матери, стоявший на круглой площадке под их балконом. Наконец ей приснилось, что сама она, как в детстве, играет со скульптором в саду у привратника; они вдвоем лепят пирожки из песка, а Арсиноя бросается на готовые пирожки и топчет их ногами.

Крепкого, освежающего сна юности, сна без сновидений, прекрасная, бледная девушка не знала уже давно, ибо сладкая дрема снисходит скорее на тех, кто днем отдыхает, чем на чрезмерно утомленных, а такой Селена бывала каждый вечер.

Каждую ночь она видела сны, но они всегда были печальны или так ужасны, что она нередко сама просыпалась от своих пугливых стонов или громким криком нарушала крепкий сон Арсиной. Отца эти испуганные вопли никогда не будили, ибо он немедленно начинал храпеть. Селена раньше всех в доме (даже раньше не-

вольников) принималась за работу. А сегодня из-за бессонницы приближение зари казалось ей освобождением.

Когда она встала, было еще совершенно темно, но она знала, что восход декабрьского солнца уже недолго заставит себя ждать. Не обращая внимания на других спящих, чтобы ходить тише или делать свое дело без шума, она зажгла светильник, умылась, привела волосы в порядок и постучалась в дверь к своим старым рабам; они заспанными голосами и, зевая, проговорили «сейчас» и «слышим». Селена вошла в комнату отца и взяла кувшин, чтобы принести для него воды.

Лучший водоем дворца находился на маленькой террасе, на западной стороне. Он наполнялся водой из городского водопровода и состоял из пяти мраморных чудовищ, которые на своих извивавшихся рыбьих хвостах держали раковину, где покоился бородатый речной бог. Лошадиные головы чудовищ извергали воду в большой бассейн, который в течение столетий зарастал зелеными волокнами водяных растений.

Чтобы дойти до этого фонтана, Селена должна была пройти через коридор, к которому прилегали комнаты, занимаемые императором и его свитой.

Она знала, что архитектор из Рима остановился в Лохиадском дворце (ибо около полуночи у нее попросили для него мяса и соли), но в каких комнатах его поместили — этого ей никто не сказал.

Когда она вступила теперь на тот путь, по которому проходила ежедневно в один и тот же час, в душу ее прокралось чувство какой-то боязни. Ей показалось, что здесь как будто не все находится в таком виде, как обыкновенно, и когда она поставила ногу на последнюю ступень лестницы, которая вела вверх к коридору, и подняла свой светильник выше, чтобы посмотреть, откуда слышался ей шум, то увидела в полумраке нечто страшное, что приближалось, и походило на собаку, только было больше, гораздо больше обыкновенной собаки.

От страха у Селены застыла в жилах кровь.

Несколько мгновений она стояла точно замороженная и сознавала только, что ворчание и скрежет, которые она слышала, имеют враждебный характер и угрожают ей.

Наконец она собралась с духом, чтобы повернуть назад и обратиться в бегство; но в то же мгновение за ней раздался громкий, яростный лай и слышались быстрые прыжки чудовища, которое гналось за нею по каменному полу прохода,

Она почувствовала стремительный толчок. Кувшин вылетел из ее рук и разбился на тысячу черепков. Сбитая с ног какой-то теплой, шершавой и страшной массой, она упала на землю.

Жалобный крик девушки раздался громким эхом среди пустого коридора и разбудил спавших вблизи людей.

— Посмотри, что там такое? — крикнул Адриан своему рабу, который тотчас же вскочил на ноги и схватился за меч и щит.

— Собака, кажется, напала на какую-то женщину, которая хотела пройти здесь, — отвечал Мастор.

— Оттащи ее назад, но не бей!.. — закричал император ему вслед. — Аргус только исполнил свой долг.

Раб побежал как можно скорее вдоль прохода и громко позвал собаку по имени.

Но другой человек оттащил Аргуса от его жертвы. То был Антиной, комната которого находилась у самого места этого нападения и который, как только услышал лай Аргуса и крик Селены, поспешил удержать пса, страшно злого на страже и в потемках.

Когда показался Мастор, юноше только что удалось оттащить Аргуса от Селены, лежавшей на ступенях, которые вели к проходу. Прежде чем Антиной добежал до нее, Аргус уже стоял над нею, ворчал и скалил зубы.

Собака, вскоре усмиренная успокаивающими и укоризненными словами своих друзей, опустила голову и тихо отошла в сторону. Антиной встал на колени возле лежавшей в обмороке девушки, на которую сквозь широкое отверстие окна падал ранний свет пробуждавшегося утра.

С беспокойством всматривался юноша в бледное лицо Селены; он приподнял ее неподвижные руки вверх, чтобы увидеть на ее светлой одежде следы крови, но их не оказалось.

Заметив, что она дышит и что губы ее шевелятся, он крикнул Мастору:

— Кажется, Аргус только повалил ее, но не укусил. Она лишилась чувств. Беги скорее в мою комнату и принеси мне голубоватую скляночку из моего ящика с мазями, а также кубок с водой.

Раб свистнул собаке и поспешил исполнить приказание.

Антиной продолжал стоять на коленях возле безжизненной девушки и приподнял ее голову, украшенную мягкими, густыми волосами.

Как прекрасны были эти мраморно-бледные благородные черты, каким трогательным казалось ему болезненное подергивание ее губ, и как приятно было этому избалованному императорскому любимцу, которому любовь навязывалась сама повсюду, где бы он ни появлялся, проявить сострадание и готовность помочь.

— Очнись же, очнись! — говорил он Селене. Но она не шевелилась, и он все с большей настойчивостью и нежностью повторял: — Да очнись же!..

Она не слышала его призыва и оставалась без движения даже тогда, когда он, краснея, накинул на ее обнаженное плечо пеплум, сорванный с нее собакой.

В это время явился Мастер с водой и голубым флакончиком и, вручив вифинцу то и другое, поспешно удалился со словами:

— Император зовет меня.

Антиной положил голову девушки к себе на колени. Смочив лоб Селены оживляющей влагой, он дал ей вдохнуть запах крепкой эссенции в склянке и опять громким и задушевым тоном проговорил:

— Да очнись же, приди в себя!..

На этот раз ее бескровные губы раскрылись, и открылись два ряда маленьких снежно-белых зубов; веки, скрывавшие ее глаза, медленно приподнялись.

С глубоким вздохом облегчения Антиной поставил стакан и флакон на пол, чтобы поддержать ее; но едва он снова повернулся к ней, как она быстро и порывисто поднялась и в смертельном страхе, обвив обеими руками его шею, вскричала:

— Спаси меня, Поллукс, спаси! Чудовище проглотит меня!..

Антиной, испугавшись, хотел схватить руки девушки, но они бессильно упали.

Селена затряслась, точно охваченная лихорадочной дрожью. Она снова подняла руки и приложила их к вискам с выражением страха и смущения в лице.

— Что это значит?.. Кто ты? — тихо спросила она.

Он быстро встал с пола и, поддерживая девушку при ее попытке подняться и стать на ноги, сказал:

— Благодарение богам, ты жива! Наш большой пес свалил тебя на землю. У него такие страшные зубы.

Селена стояла теперь против юноши; при последних словах его она снова вздрогнула.

— Ты чувствуешь боль?.. — с беспокойством спросил Антиной.

— Да,— отвечала она глухим голосом.

— Он укусил тебя?..

— Кажется, нет. Подними вон там пряжку; она упала с моего пеплума.

Вифинец поспешил исполнить ее просьбу; прикрепляя одежду на своем плече, девушка спросила вторично:

— Кто ты?.. Каким образом попала молосская собака в наш дворец?

— Она принадлежит... она принадлежит нам... Мы приехали поздно вечером, и Понтий...

— Значит, ты принадлежишь к свите архитектора из Рима?..

— Да. Но кто ты сама?..

— Я дочь дворцового смотрителя Керавна, Селена.

— А кто такой Поллукс, которого ты, очнувшись, звала на помощь?..

— Какое тебе до этого дело?..

Антиной покраснел и отвечал в смущении:

— Я испугался, когда ты так порывисто вскочила с его именем на устах, после того как я привел тебя в чувство при помощи воды и этой эссенции.

— Я бы и без того очнулась, а теперь могу дойти сама. Тот, кто приводит в чужой дом злых собак, должен лучше смотреть за ними. Привяжи крепче своего пса, потому что дети, мои маленькие сестры и брат, проходят здесь, когда им хочется выйти на свежий воздух. Благодарю тебя за помощь. Где же мой кувшин?..

При этих словах она начала искать глазами прекрасный сосуд, который особенно любила ее покойная мать. Увидев его разбитым в куски, она всхлипнула и вскричала с раздражением:

— Это гнусно!

С этим возгласом она повернулась к Антиною спиной и пошла домой, осторожно ступая на левую ногу, в которой чувствовала сильную боль.

Юноша молча смотрел на удалявшуюся стройную фигуру Селены. Ему хотелось последовать за девушкой, высказать ей, как прискорбен ему этот несчастный случай, и объяснить, что собака принадлежит не ему, а другому человеку, но он не посмел.

Она давно уже исчезла из его глаз, а он все еще стоял на том же самом месте. Наконец он собрался с силами, медленно пошел в свою комнату, сел там на постель и мечтательно смотрел на пол до тех пор, пока император не заставил его очнуться.

Селена едва удостоила юношу взгляда.

Она чувствовала боль не только в левой ноге, но и в затылке, где зияла рана. Ее густые волосы задержали кровь.

Она была в совершенном изнеможении, и потеря прекрасного кувшина, который теперь приходилось заменить новым, причиняла ей такую сильную досаду, что она даже не обратила внимания на красоту фаворита.

Медленно, усталой походкой вошла она в комнату, где отец уже ожидал ее. Он привык получать воду постоянно в один и тот же час, и так как Селена запоздала теперь больше, чем обычно, то он уже тихо ворчал и бранил ее про себя.

Когда дочь наконец переступила порог, он тотчас заметил, что она пришла без кувшина, и сердито спросил:

— Так я сегодня и не получу воды?..

Селена покачала головой, опустилась на стул и начала тихо плакать.

— Что с тобой?..— спросил Керавн.

— Кувшин разбился,— печально ответила она.

— Будь внимательнее к дорогим вещам,— сказал ей отец с упреком.— Ты вечно хнычешь, когда не хватает денег, а между тем разбиваешь половину вещей, нужных в хозяйстве.

— Я была сбита с ног,— возразила Селена, отирая глаза.

— Сбита с ног?.. Кем?..— спросил смотритель дворца и медленно встал.

— Злой собакой архитектора, который прибыл вчера вечером из Рима и которому мы в эту ночь дали хлеба и соли. Он ночевал в этом дворце.

— И он травит мое дитя своей собакой?..— вскричал Керавн, вращая зрачками.

— Собака была одна в коридоре, когда я вышла.

— Она укусила тебя?..

— Нет, но она сбила меня с ног и стояла надо мной, оскалив зубы. О!.. это было ужасно!..

— Проклятый бродяга, проходимец!..— заревел Керавн.— Я научу его, как должно вести себя в чужом доме.

— Оставь,— просила Селена, увидев, что он берется за свой шафранно-желтый паллий.— Случившегося не изменить, а если произойдет ссора, это повредит тебе.

— Негодяи, наглецы, которые врываются в мой дворец с кусающимися кобелями!..— ворчал про себя Керавн, не слушая дочери, и, расправляя складки своего

паллия, загудел: — Арсиноя!.. Да разве ее дозовешься когда-нибудь!

Когда Арсиноя явилась, он приказал ей накалить щипцы, чтобы завить ему волосы.

— Они лежат уже на огне,— отвечала Арсиноя.— Иди в кухню.

Керавн пошел за ней и предоставил ей завить в кольца и умастить его крашенные волосы.

Он был окружен при этом своими младшими детьми: они в кухне ожидали мучной похлебки, которой Селена обыкновенно кормила их в это время.

Керавн ласково отвечал на их приветствие кивками головы, насколько позволяли крепко державшие за волосы щипцы Арсинои.

Только слепого Гелиоса, хорошенького шестилетнего мальчика, он притянул к себе и поцеловал в щеку.

Керавн особенно нежно любил этого лишенного благороднейшего из пяти чувств, но все-таки вечно веселого ребенка. Он засмеялся, когда мальчик прижался к орудовавшей щипцами сестре и спросил: «Знаешь ли, папа, почему я жалею, что не могу видеть?..» На вопрос отца «Почему же?..» — отвечал: «Потому, что мне очень хотелось бы видеть тебя хоть раз в прекрасных кудрях, которые тебе завивает Арсиноя».

Но веселость обремененного заботами отца исчезла, когда дочь прервала свою работу и спросила его полу-серьезно, полушутя:

— Думал ли ты о приеме императора, отец?.. Я тебя ежедневно убираю так красиво, что на этот раз ты должен позаботиться о моем убранстве.

— Увидим,— уклончиво отвечал Керавн.

— Знаешь ли,— продолжала Арсиноя после небольшой паузы, завивая щипцами последний локон,— в эту ночь я еще раз обдумала все. Если нам не удастся собрать мне денег на наряд, то можно бы...

— Что?

— И Селена не имела бы ничего против этого..

— Против чего?..

— Ты опять рассердишься.

— Говори же.

— Ты ведь платишь налоги, как всякий гражданин?.

— Ну, так что же?..

— Следовательно, и мы имеем право требовать что-то от города.

— Для чего?..

— Чтобы заплатить за мой наряд для празднества, которое устраивается не одним каким-нибудь человеком, а целым обществом граждан. Милостыни мы, конечно, не можем принять. Но было бы глупо отказываться от того, что нам предлагает богатый город. Это все равно что подарить городу эту сумму.

— Молчи! — вскричал Керавн, положительно возмущенный словами дочери и напрасно стараясь припомнить афоризм, которым вчера опроверг подобное мнение. — Молчи и жди, пока я сам не заговорю об этом снова.

Арсиноя бросила щипцы на очаг так сердито, что они ударились о камень с громким лязгом, а отец ее вышел из кухни и вернулся в свою комнату.

Там он увидел Селену, лежавшую на кушетке, и старую рабыню, которая прижимала мокрый платок к ее затылку, а другой приложила к ее обнаженной левой ноге.

— Ты ранена? — вскричал Керавн, и его глаза медленно начали вращаться.

— Посмотри, какая опухоль, — сказала старуха на ломаном греческом языке, обращая внимание отца на белоснежную ногу Селены. — Есть тысяча богатых барынь, у которых руки больше этой ноги. Бедный маленький ножка!

При этих словах старуха прильнула губами к ноге девушки. Селена отстранила ее и сказала отцу:

— Рана на затылке не велика, и о ней не стоит говорить, но здесь, на лодыжке, вздулись жилы. Верхняя часть ноги немного болит, когда я хожу. Когда собака накинулась на меня, я, вероятно, ударилась о каменные ступени.

— Это неслыханно!.. — вскричал Керавн, и кровь снова бросилась ему в голову. — погоди же! Я тебе покажу, что я думаю о подобном поступке!

— Нет, нет, — просила Селена, — только вежливо попроси их запереть собаку или привязать ее на цепь, чтобы она не бросалась на детей.

Ее голос звучал очень робко, так как опасение, что отец может потерять свое место, было в ней теперь сильнее, чем когда-либо. Ей почему-то показалось, что он давно потерял право на эту должность.

— Как?.. Я еще буду говорить ласковые слова по поводу того, что случилось? — возразил Керавн, как будто от него ждали чего-то неслыханного.

— Нет, нет!.. Скажи ему свое мнение!.. — вскричала старуха, — Если бы это случилось с твоим отцом, он бы

задал этому чужеземному каменотесу!

— А его сын, Керавн, тоже не останется в долгу,— отвечал смотритель и вышел из комнаты, не обращая внимания на просьбу Селены не горячиться.

В передней он нашел своего старого раба и приказал ему идти вперед и доложить о нем гостю архитектора Понтия, жившего в одной из комнат у прохода к фонтану.

Приближаясь к своей цели, он чувствовал себя как раз в таком настроении, чтобы высказать всю правду чужеземцу, явившемуся сюда для того, чтобы травить собаками членов его семейства.

Адриан великолепно выпался. Он проспал всего несколько часов. Но этого было достаточно, чтоб освежить его дух.

Он вышел из спальни и встал у окна своей комнаты, которое занимало больше половины ее западной стены и было обращено к морю.

Две высокие колонны из благородного темно-красного, бело-кrapчатого порфира с позолоченными капителями коринфского ордера обрамляли это широкое окно, начинавшееся очень низко от пола. Император стоял, прислонившись к одной из этих колонн, и ласкал свою собаку, радуясь ее энергичной бдительности. Какое ему было дело до страха, причиненного псом какой-то девушке. У другой колонны стоял Антиной. Он поставил правую ногу на низкий подоконник и склонился вперед. Подбородок его при этом покоился на руке, а локоть на колене.

— Этот Понтий действительно дельный человек,— сказал Адриан, указывая рукой на ковер, висевший на узкой стене комнаты.— Вот та ткань сделана по рисунку с картины, которую я когда-то написал и с которой велел сделать здесь мозаику. Еще вчера эта комната не была предназначена для меня, следовательно, ковер повешен уже после нашего приезда сюда. И как много здесь других хороших вещей; тут очень уютно и на многих предметах глаза могут остановиться с удовольствием.

— Видел ты великолепное ложе там, позади? — спросил Антиной.— Да и бронзовые фигуры в углах мне кажутся недурными.

— Это превосходная работа,— сказал император.— Но я легко обошелся бы без них ради этого окна. Что здесь синее: небо или море? Какой весенний воздух веет

здесь в декабре? Чему здесь радоваться больше: бесчисленными кораблями в гавани, которые соединяют этот цветущий город с отдаленными странами и обогащают его, или же постройкам, привлекающим взор повсюду, куда он ни обратился? Не знаешь, чему удивляться больше: внушительному величию или гармонической красоте их форм.

— Что там за дамба, длинная, громадная, соединяющая остров с материком? Посмотри,— большая трирема проходит под одной из арок, на которых покоится эта плотина. А вот и другая!..

— Это мост, который александрийцы с гордостью называют Гептастадионом, потому что в нем, говорят, семь стадий длины. В верхней части его скрывается, подобно сердцевине в дереве, каменный желоб, с помощью которого остров Фарос снабжается водой.

— Жаль,— заметил Антиной,— что отсюда нельзя обозреть всего сооружения со всеми людьми и повозками, снующими по его хребту. Вон тот островок и узкая, врезающаяся в гавань коса с высоким белым зданием на конце наполовину загораживают мол.

— Но они сами по себе служат для оживления картины,— возразил император.— В маленьком дворце на острове часто жила Клеопатра, а на северной оконечности вон той косы, в высокой башне, которую теперь омывают синие волны и вокруг которой весело носятся чайки и голуби, жил Антоний после битвы при Акциуме.

— Чтобы забыть свой позор,— заметил Антиной.

— Он назвал эту башню своим Тимониумом, потому что, подобно афинскому мизантропу, он желал остаться там в совершенном уединении. Что, если мне назвать Лохиаду своим Тимониумом.

— Славу и величие нет надобности скрывать,— возразил Антиной.

— Кто сказал тебе,— спросил царственный софист,— что Антоний скрылся в этой башне от стыда? Он во главе своих всадников довольно часто доказывал свою храбрость; и если он под Акциумом, когда все еще было в хорошем положении, велел повернуть свой корабль назад, то это он сделал не из страха перед мечами и копьями, а потому, что судьба заставила его подчинить свою сильную волю желанию женщины, от участи которой зависела его собственная.

— Так ты оправдываешь его поведение?

— Я только стараюсь понять его и никогда не пове-

рю, чтобы стыд мог побудить Антония к чему-нибудь. Неужели ты думаешь, что я в состоянии покраснеть? Когда человек дошел до того, что презирает весь мир, он уже не может стыдиться.

— Но в таком случае почему же Марк Антоний заперся в этой омытой морем тюрьме?

— Потому что для всякого настоящего человека, много лет провозившегося с женщинами, шутами и подхалимами, наступает момент, когда ему становится тошно. В такие часы он начинает думать, что среди всего этого сброда он сам — единственный человек, с которым стоит общаться. После Акциума это стало ясно Антонию, и, чтобы хоть раз побыть в хорошем обществе, он покинул людей.

— Не это ли и тебя порой гонит в пустыню?

— Может быть. Но тебе, тебе всегда разрешается сопровождать меня.

— Значит, ты считаешь, что я лучше других! — радостно воскликнул Антиной.

— Во всяком случае, ты красивее, — ласково ответил Адриан, — но спрашивай дальше.

Антиною потребовалось несколько минут, чтобы последовать этому приглашению. Наконец он собрался с мыслями и попросил объяснить ему, почему большинство кораблей заходят в гавань Эвноста, лежащую позади Гептастадиона. Он узнал, что вход в этот порт безопаснее, чем пролив между Фаросом и оконечностью Лохиады, ведущий к восточным пристаням.

О каждом здании, интересовавшем фаворита, Адриан мог сообщить подробные сведения.

Указав рукой на сому, где покоились останки Александра Великого, он призадумался и сказал про себя:

— Великий! Можно, право, позавидовать юному македонянину. Не потому, что ему дали такое прозвище (оно прилагалось ко многим ничтожным людям), а потому, что он его подлинно заслужил.

Ни один из остальных вопросов вифинца не остался без ответа. Антиной со все возрастающим изумлением следил за объяснениями и наконец воскликнул:

— Как хорошо ты знаешь этот город! А ведь ты еще никогда здесь не бывал.

— Одно из величайших наслаждений, доставляемых путешествиями, — отвечал Адриан, — заключается в том, что, странствуя, мы воочию видим ряд вещей, о коих составили себе представление по книгам и рассказам. Они

как бы сами предлагают нам сравнить их с образами, стоявшими перед нашим духовным взором, прежде чем мы встретились с реальными вещами. Мне кажется, что удивление при виде неожиданной новости доставляет гораздо меньше удовольствия, чем первый взгляд на нечто известное, которое мы считали достойным более подробного ознакомления. Понимаешь ты мою мысль?

— Кажется, понимаю. Слышишь о чем-нибудь, а потом вдруг и увидишь это самое и тогда спрашиваешь себя, правильно ли себе это представлял. Я всегда представляю себе людей и местности, которые мне хвалили, прекраснее, чем они оказываются на деле.

— Этот остаток, выпадающий не в пользу действительности, не столько служит к посрамлению этой последней, сколько к чести твоей юной фантазии, неутомимой и все украшающей,— ответил Адриан.— Я же... я...— И тут император поглядел вдаль, поглаживая бороду.— Чем старше становлюсь, тем чаще убеждаюсь, что можно представить себе людей, места и вещи так, чтобы, впервые встретившись с ними, иметь право подумать, будто давно их знаешь, был в тех местах и видел все воочию... Мне кажется, что и здесь я не нахожу ничего нового и передо мной опять давно знакомый вид. Но чуда тут никакого нет; я хорошо знаю Страбона, а сверх того сотни раз слышал и читал об этом городе. Но есть много такого, что мне совершенно чуждо и все же при ближайшем соприкосновении представляется уже виденным и пережитым.

— Нечто подобное и я, наверно, испытал,— заявил Антиной.— Неужели наша душа действительно уже жила в других телах и порой вспоминает впечатления прежних существований. Фаворин рассказывал мне однажды, будто какой-то великий философ (кажется, Платон утверждает, что души наши перед рождением двигаются взад и вперед по небосклону, чтобы они могли осмотреть землю, на которой им суждено жить. Кроме того, Фаворин говорил...

— Фаворин!..— презрительно сказал Адриан.— Этот краснобай обладает большим умением придавать новую и привлекательную форму тому, что придумали люди гораздо значительнее его, но подслушать тайны собственной души — это ему не дано. Для этого он сам слишком много болтает и не способен обходиться без мирского шума.

— Ты сам заметил это явление, но не одобряешь объяснения, данного Фаворином...

— Да. Ибо знакомыми казались мне люди и вещи, родившиеся или сделанные много позднее моего рождения. Сотни раз спрашиваю я себя, стоя перед собственным законченным творением: «Возможно ли, чтобы ты, Адриан, сын своей матери, совершил это? Как называется та чужая сила, которая помогала тебе при созидании?..» Теперь я ее знаю и вижу так же, как она действует в других. Кого она посетит, тот сразу становится выше себе подобных, и всего деятельнее она проявляется в художниках. А может быть, обычные люди превращаются в художников именно потому, что гений избирает их своим вместилищем. Понял ли ты меня?

— Не совсем,— отвечал Антиной. Его большие глаза сияли оживлением, пока он вместе с императором смотрел на город, но теперь потупились.— Не сердись на меня, государь. Этого я, вероятно, никогда не пойму. Самостоятельное мышление мне незнакомо, следить за чужими мыслями мне трудно, и не думаю, чтобы я когда-либо мог создать что-нибудь путное. Когда мне приходится действовать, никакой демон не помогает моей душе: она чувствует себя совершенно беспомощной и впадает в мечтательность. Если мне случается что-нибудь довести до конца, то я всегда вынужден признаться себе, что мог бы сделать лучше.

— Самопознание,— засмеялся Адриан,— это верх мудрости. Всякий, кто обогатил сознание своего духа чем-либо прекрасным, уже тем самым выполнил свою задачу. То, что другие достигают делами, то совершаешь ты самым фактом своего существования!.. Аргус!.. Смирно!

При последних словах императора собака встала и, ворча, подошла к двери. Несмотря на призыв своего господина, она громко залаяла, когда послышался сильный стук в дверь.

Адриан с удивлением посмотрел на дверь и спросил: — Где Мастер?..

Антиной позвал раба, но напрасно,— в императорской опочивальне его не было.

— Что сделалось с ним? — спросил Адриан.— Он обыкновенно всегда бывает под рукой, всегда весел, как жаворонок; но сегодня у него был вид какого-то мечтателя, и, одевая меня, он уронил сперва мой башмак, а потом застежку.

— Я вчера прочел ему письмо из Рима,— отвечал Антиной.— Его молодая жена сбежала с кем-то.

— Поздравляем его со свободой.

— По-видимому, он любил жену.

— Такой красивый малый, да еще мой придворный раб, может найти сколько угодно жен взамен прежней.

— Но он еще не нашел. Он покамест горюет о том, что потерял.

— Как это мудро!.. Вот опять стучатся в дверь. Посмотри, кто это позволяет себе? Впрочем, ведь каждый имеет право стучаться сюда: на Лохиаде я не император, а частный человек. Ложись, Аргус. Ты, видно, спятил, старина? Собака больше меня заботится о сохранении моего достоинства, и ей игра в архитектора, как видно, не по нутру.

Антиной уже поднял руку, чтобы осадить стучавшего, как дверь тихо приотворилась, и раб дворцового смотрителя переступил через порог.

Старый негр имел жалкий вид. Внушительная фигура императора и прекрасная одежда его любимца смутили его, а угрожающее ворчание Аргуса наполнило его душу таким страхом, что он боязливо сжал тощие черные ноги и, насколько возможно, прикрыл их своим плащом.

Адриан с удивлением посмотрел на эту плачевную фигуру и спросил:

— Что тебе нужно, любезный?..

Тогда раб попытался приблизиться на шаг; но, повинувшись энергичному приказу Адриана, остановился и, глядя на свои плоские ноги, почесывал седую курчавую голову с небольшими круглыми плешинками.

— Ну?..— прибавил император далеко не ободряющим тоном и угрожающе ослабил пальцы, державшие за ошейник собаку.

Согнутые колени раба задрожали, и он на страшно исковерканном греческом языке, запинаясь, проговорил усердно вдолбленную ему хозяином речь, из коей явствовало, что он является к римскому архитектору Клавдию Венатору доложить о приходе своего господина, «члена городского Совета, македонского и римского гражданина Керавна, сына Птолемея, управляющего ныне императорским дворцом на Лохиаде».

Адриан без всякого сострадания предоставил бедному старику, на лбу которого выступил пот от страха, договорить до конца, причем потирал руки от удовольствия, чтобы продлить приятную забаву. Он не помог ему ни одним словом, когда запинаящийся язык раба натыкался на непреодолимые препятствия.

Когда негр наконец завершил свое высокопарное до-
несение, Адриан ласково промолвил:

— Скажи своему господину, что он может войти.

Как только раб вышел из комнаты, император сказал Антиною:

— Презабавная штука! Каков должен быть Юпитер, которому предшествует подобный орел!

Керавн не заставил долго ждать себя. Пока он расхаживал взад и вперед по коридору перед императорскими покоями, его раздражение еще усилилось. Ибо то, что архитектор, уже осведомленный рабом о родословной и звании посетителя, заставил его прождать несколько минут (из коих каждая казалась ему в четверть часа), он счел пренебрежением к своей особе. Даже его предположению, что римлянин самолично введет его в комнату, не суждено было оправдаться, ибо ответ раба гласил кратко: «Может войти».

— Он сказал «может», а не «пожалуйста» или «пусть сделает милость»?.. — переспросил смотритель.

— Он сказал «может», — подтвердил раб.

Керавн испустил краткий возглас «Вот как!..», поправил золотой обруч на локонах, откинул голову назад, с глубоким вздохом скрестил руки на широкой груди и приказал негру: «Отвори дверь». Исполненный достоинства, он переступил порог. Затем, чтобы не нарушить правил вежливости, он поклонился в пространство и уже хотел начать в резких выражениях свой разговор, но взгляд на императора, блестящее убранство комнаты, а, вероятно, также и далеко не приветливое ворчание собаки заставили его понизить тон.

Его раб вошел за ним и искал безопасного места между дверью и ложем; сам же Керавн, превозмогая свой страх перед Аргусом, прошел далеко в глубину комнаты.

Император поместился у подоконника, слегка опираясь ногой на шею собаки, и смотрел на Керавна, как на какую-то замечательную диковинку. Взгляд его встретился с глазами дворцового смотрителя и показал тому, что он имеет дело с более важным лицом, чем ожидал. Но именно поэтому гордость Керавна, так сказать, поднялась на дыбы, и хотя не в таких резких словах, какими он первоначально думал высказать свое неудовольствие, но все-таки с напыщенным достоинством он спросил:

— Стою ли я перед новым гостем Лохиады, архитектором Клавдием Венатором из Рима?..

— Да, стоишь,— отвечал император и бросил искоса лукавый взгляд на Антиноя.

— Ты нашел ласковый прием в этом дворце,— продолжал Керавн,— подобно моим отцам, которые управляли им несколько столетий, я тоже умею свято чтить законы гостеприимства.

— Я изумлен древностью твоего рода и преклоняюсь перед твоим благонамеренным образом мыслей,— отвечал в том же тоне Адриан.— Что еще предстоит нам узнать от тебя?

— Я пришел сюда не для того, чтобы рассказывать истории,— отвечал Керавн, в котором поднялась желчь, так как ему показалось, что он заметил насмешливую улыбку на губах архитектора.— Я пришел сюда не затем, чтобы рассказывать истории, а с жалобой на то, что ты, будучи ласково принят, так мало стараешься охранить своих хозяев от вреда.

— Что это значит? — спросил Адриан, причем встал со своего сиденья и мигнул Антиною, чтобы тот крепко держал собаку, так как Аргус обнаруживал особенную антипатию к Керавну. Видимо, он чувствовал, что тот явился не для того, чтобы оказать его хозяину какую-нибудь любезность.

— Эта опасная, скалящая зубы собака принадлежит тебе? — спросил смотритель.

— Да.

— Сегодня утром она сбила с ног мою дочь и разбила драгоценный кувшин, который та несла.

— Я слышал об этом несчастье,— отвечал Адриан,— и много бы дал, чтобы его не случилось. За кувшин ты получишь богатое вознаграждение.

— Прошу тебя, к злу, которое постигло нас по твоей вине, не присоединять еще оскорблений. Отец, дочь которого подверглась нападению и ранена...

— Значит, Аргус все-таки укусил ее? — вскричал Антиной в испуге.

— Нет,— отвечал Керавн,— но ее голова и нога повреждены от падения, и она сильно страдает.

— Это прискорбно; а так как я сам имею некоторые сведения во врачебном искусстве, то охотно попытаюсь оказать помощь бедной девушке.

— Я плачу настоящему лекарю, который лечит мое семейство,— отвечал смотритель, отклоняя предложение

Адриана,—и пришел сюда просить или, говоря прямо, требовать...

— Чего?..

— Во-первых, чтобы передо мной извинились.

— На это архитектор Клавдий Венатор всегда готов, если кто-нибудь потерпел вред от него самого или от его окружающих. Повторяю тебе, что я искренно огорчен случившимся и прошу тебя передать потерпевшей девушке, что ее горе — мое собственное горе. Чего ты желаешь еще?..

Черты Керавна прояснились при последних словах, и он отвечал менее раздраженным тоном, чем прежде:

— Я должен просить тебя привязать твою собаку, запереть или другим каким-нибудь способом сделать ее безвредной.

— Это слишком! — вскричал император.

— Это только справедливое требование, — решительно возразил Керавн. — Жизнь моя и моих детей находится в опасности, пока этот дикий зверь свирепствует на свободе.

Адриан ставил монументы своим издохшим собакам и лошадям, а его Аргус был ему не менее дорог, чем иным бездетным людям их четвероногие товарищи; поэтому требование смешного толстяка показалось ему дерзким и чудовищным, и он вскричал с негодованием:

— Вздор!.. За собакой будут присматривать, вот и все!..

— Ты посадишь ее на цепь!.. — потребовал Керавн, вращая зрачками. — Не то найдется кто-нибудь, кто делает ее безвредной навсегда.

— Подлому убийце придется тогда плохо! — вскричал Адриан. — Что ты думаешь об этом, Аргус?

Собака поднялась при этих словах и схватила бы Керавна за горло, если бы ее господин и Антиной не удержали ее.

Керавн чувствовал, что Аргус угрожает ему, но в эту минуту он был в таком возбуждении, что скорее позволил растерзать себя, чем отступил бы.

— Значит, и меня в этом доме будут травить собакой?.. — спросил он вызывающим тоном и уперся руками в бока. — Все имеет свои границы, в том числе и мое терпение относительно гостя, который, несмотря на свой зрелый возраст, забывает всякое благоразумие. Я сообщу префекту Титиану, как ты ведешь себя здесь, и как только прибудет сюда император, он узнает!..

— Что?..— засмеялся Адриан.

— Что ты позволяешь себе относительно меня.

— А до тех пор,— сказал император,— собака останется там, где была, и, конечно, под хорошим присмотром. Но позволь сказать тебе заранее, что Адриан так же любит собак, как и я, а ко мне он расположен еще больше, чем к собакам.

— Мы это увидим,— угрюмо проговорил Керавн.— Я или собака...

— Боюсь, что собаке будет оказано предпочтение.

— И этим поступком Рим совершит новое насилие!..— вскричал Керавн, и лицо его при этом судорожно перекосилось.— Вы отняли Египет у Птолемеев...

— По уважительным основаниям,— прервал Адриан,— притом ведь это старая история.

— Право никогда не стареет, точно так же, как непоплаченный долг.

— Но оно исчезает вместе с лицами, которых оно касается.

— Вы думаете так потому, что вам кажется выгодным так думать,— возразил Керавн.— В человеке, который стоит здесь перед вами, течет кровь македонских властителей этой страны. Мой старший сын носит имя Птолемея Гелиоса, в лице которого, по вашему мнению, умер последний из Лагидов.

— Добренький, маленький слепой Гелиос,— вмешался черный раб, обыкновенно пользовавшийся именем несчастного малютки, как щитом, в тех случаях, когда его господин находился в опасном настроении духа.

— Значит, последний потомок Лага слеп!— засмеялся император.— Риму нечего ждать его притязаний. Но я сообщу императору, какие опасные претенденты находят приют в этом доме.

— Доноси на меня, обвиняй, клевети,— презрительно вскричал Керавн,— но я не позволю помыкать собой! Терпение! Ты еще узнаешь меня!..

— А ты — Аргуса, если сию минуту не оставишь этой комнаты вместе с твоим полинявшим вороном.

Керавн кивнул рабу и, не поклонившись, повернулся спиной к своим врагам. На пороге комнаты он еще раз приостановился на мгновение и крикнул Адриану:

— Будь уверен в том, что я буду жаловаться в Совет и напишу императору, как осмеливаются здесь обращаться с македонским гражданином.

Когда смотритель вышел из комнаты, Адриан отпустил молосса, который в бешенстве бросился к закрытой двери, отделявшей его от предмета ненависти.

Император приказал ему лежать смиренно и сказал, обращаясь к своему любимцу:

— Вот так чудище! Смешон и притом отвратителен до крайности! Как бушевала в нем злоба и все же ни во что не вылилась! Я предпочитаю остерегаться таких неисправимых людей. Берегите моего Аргуса и помните, что мы — в Египте, стране, уже, по словам Гомера, изобилующей ядами. Пусть Мастор зорко следит. Да вот и он.

Когда доверенный раб императора вскочил, чтобы спасти Селену от грозной собаки своего господина, он уже пережил нечто, чего не мог забыть, получил некое неизгладимое впечатление: в душу его проникли слова и звуки, которые непрерывно звучали там вновь и вновь и так мощно очаровывали ум и сердце, что он рассеянно и как бы в полудремоте оказывал своему повелителю те услуги, с которыми привык справляться каждое утро бодро и внимательно. Зимой и летом Мастор, обычно до восхода солнца, покидал опочивальню императора, чтобы приготовить все, что нужно было Адриану, когда тот поднимался с ложа. Тут надлежало вычистить золотые бляшки на тонких поножах и ремни солдатских башмаков Адриана, проветрить его одежду и попрыскать ее чуть заметно его любимыми тонкими духами. Но больше всего времени уходило на приготовление ванны. На Лохиаде еще не было, как в римских императорских дворцах, благоустроенных бань, а между тем слуга знал, что господин его потребует большого количества воды.

Ему было сказано, что, если понадобится что-нибудь для его повелителя, нужно обращаться к архитектору Понтию. Мастор нашел его перед предназначенным для Адриана помещением, которому Понтий вместе со своими помощниками старался придать уютный и приятный для глаз вид, пока император еще спал. Архитектор отослал Мастора к работникам, занятым мощением первого двора. Эти люди должны были натаскать столько воды, сколько ему потребуется. Императорский камердинер по должности не обязан был выполнять столь низменную работу; но на охоте, в путешествии и везде, где представлялась необходимость, он без приказа охотно брал это на себя.

Солнце еще не взошло, когда он вступил на двор. Многие рабы еще спали на своих циновках; другие улеглись вокруг костра в ожидании похлебки, которую мальчик и старик размешивали деревянными палками. Ни тех ни других Мастор не хотел тревожить, а направился к другой группе рабочих, которые сначала, казалось, только беседовали друг с другом, а затем стали внимательно прислушиваться к речам старика, по-видимому, рассказывавшего им какую-то историю.

На сердце у бедного раба было тяжело, он был теперь не в таком настроении, чтобы слушать сказки и прибаутки. Жизнь его была отравлена. Услуги, которые от него требовались, в другое время казались ему важнее всего; но в этот день он смотрел на них совершенно иначе. В нем шевелилось смутное чувство, что сама судьба освободила его от всех обязанностей, что несчастье разорвало узы, которые приковывали его к службе и к императору, и сделало его одиноким и самостоятельным человеком. Ему приходила поэтому мысль — не следует ли ему взять все золотые монеты, которые швыряли или совали ему в руку Адриан и богатые люди, желавшие быть допущенными к императору прежде других, и с этими деньгами бежать и растратить их в кабаках большого города на вино и на пиры с веселыми девками. Что будет потом, ему все равно. Если его поймают, то, быть может, заперют насмерть; но он уже принял немало пинков и побоев, прежде чем попал на императорскую службу, а когда его везли в Рим, то однажды даже травили собаками. Убьют — не велика беда. Все равно когда-нибудь все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас» — кроме утомления на службе у беспокойного хозяина, кроме горя и насмешек.

Мастор был человек добрейшей души: он не только не мог причинить кому-либо зло, но ему даже нелегко было оторвать другого от удовольствия или развлечения. А нынче он и того менее был к этому склонен, ибо только тот, у кого болит сердце, чувствует настроение себе подобных.

Подойдя к работникам, из числа которых он намеревался выбрать себе водоносов, Мастор решил не прерывать рассказчика, которого окружавшие его люди слушали с таким вниманием, и ждать, пока он окончит свою речь. Свет костра, горевшего под котлом, озарял лицо говорившего. То был старый работник, но человек свободный, на что указывали его длинные волосы. По окла-

дистой седой бороде Матор готов был принять его за еврея или финикиянина. В наружности этого старика, одетого в убогий балахон, не было ничего необыкновенного, кроме его каким-то особенным образом сверкавших глаз, постоянно устремленных к небу, и наклона головы, которую слева подпирали поднятые ладони.

— А теперь,— сказал рассказчик, опуская руки,— примемся снова за работу, братья. «В поте лица вы должны есть хлеб ваш»,— так говорится в писании. Нам, старикам, иногда бывает трудно поднимать камни и часами гнуть свои спины; но зато мы ближе вас к более прекрасному времени. Жизнь для всех нас не легка, но господь именно нас, носящих бремя и тяготы, первыми приглашает к себе и уж, конечно, не в последнюю очередь тех из нас, кто пребывает в рабстве.

— «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»,— прервал старика словами Христа какой-то человек помоложе.

— Да, так говорит Спаситель,— подтвердил старик и продолжал:— И при этом он, конечно, думал о нас. Я уже сказал, что нам не легко; но насколько тяжелее было бремя, которое он добровольно взял на себя, чтобы освободить нас от страдания... Работать должен каждый, даже император; но тот, который мог жить в славе Отца, позволил осмеивать, ругать себя и плевать себе в лицо, позволил возложить на свою страдальческую голову терновый венец. Он нес свой тяжелый крест, изнемог под его тяжестью, претерпел мучительную смерть— и все это ради нас и без ропота. Но он пострадал не напрасно, потому что господь принял жертву своего Сына и внял молению его, сказав, что «все верующие в него не погибнут, а будут иметь жизнь вечную». Пусть же начнется новый тяжелый день, пусть за ним последуют тысячи дней, еще более тяжелых, пусть наша жизнь окончится смертью, мы веруем в нашего Икупителя. Сам бог обещал нам призвать нас из юдоли скорби и страдания в свое небо и за короткое время бедствования в этом мире даровать нам нескончаемые тысячелетия радости. Теперь идите работать. За тебя, мой Кнакий, вероятно, потрудится силач Кратет, пока не залечатся твои пальцы. При разделе хлеба пусть каждый вспомнит о детях покойного добряка Филаммона. Для тебя, мой бедный Гибб, работа будет сегодня очень трудна. Господин этого человека, дорогие братья, вчера продал обеих его дочерей купцу из Смирны. Верь, мой Гибб, что ты снова

свидишься с ними, если не здесь, в Египте, или в какой-либо другой стране, то в обители нашего небесного Отца. Земная жизнь — это наш путь, цель его — небо, а вожатый, который учит нас никогда не терять ее из виду, — это наш Искупитель. Труд и работу, горе и страдание легко переносят каждому, кто знает, что при наступлении праздничной вечера царь царей отворит для него свою обитель и призовет его, как милого гостя, в дом свой, дающий приют всем, кто был нам дорог.

— «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — снова воскликнул громким голосом человек из окружавшей старика группы.

Старец поднялся, дал знак мальчику, распределявшему хлеб одинаковыми порциями между всеми работниками, а сам взялся за ковш, чтобы наполнить вином деревянный кубок.

Мастор не пропустил ни одного слова из этой речи, и несколько раз повторенный призыв — «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» — раздавался в его сердце точно приглашение ласкового хозяина к прекрасным дням свободы и радости.

В ночной тьме его горя показалось отдаленное мерцание света, как будто обещающее новое утро, и он почтительно приблизился к старику, чтобы спросить его, не надсмотрщик ли он над окружающими его работниками.

— Да, — отвечал тот и, узнав, что нужно Мастору, указал ему на нескольких молодых рабов, которые тотчас же понесли требуемую воду.

По дороге императорскому рабу и его водоносам повстречался Понтий, который так громко, что Мастор мог его слышать, сказал сопровождавшему его Поллуксу:

— Раб римского зодчего сегодня пользуется для своего хозяина услугами христиан. Это добропорядочные, трезвые работники, безропотно выполняющие свой долг.

Подавая своему господину простыни, вытирая его и одевая, Мастор был гораздо рассеяннее, чем обыкновенно, потому что слова, которые он слышал из уст старого надсмотрщика, не выходили у него из головы.

Не все эти слова были им поняты вполне, но он хорошо усвоил их главный смысл. Существует какой-то любящий бог, который сам претерпел жесточайшие муки, который в особенности благоволит к бедным и рабам и обещает ободрить их, утешить и соединить со всеми, кто некогда был им дорог. Слова «придите ко мне...» вновь и вновь отдавались в его сердце чем-то теплым и родным,

наводившим прежде всего на мысль о матери, которая в детстве часто звала его и, когда он подбегал к ней, принимала в раскрытые объятия и прижимала к груди. Точно так же и он не раз поступал со своим умершим сынком, и чувство, что, может быть, существует некто, готовый призвать к себе его, несчастного и покинутого, освободить от всякого горя, вновь соединить с матерью, с отцом, со всеми оставшимися в далекой, утерянной родине близкими людьми,— это чувство наполовину утоляло горечь его печали.

Он привык прислушиваться ко всему, что говорилось вокруг императора, и мало-помалу, из года в год, все более и более научился понимать эти речи. Там часто происходили разговоры о христианах, и обычно эти последние выставлялись в них как заблуждающиеся и опасные безумцы. Некоторых из его товарищей рабов тоже называли христианскими безумцами. Но иногда рассудительные люди, и в том числе даже сам император, принимали сторону христиан.

Теперь Мастор в первый раз из их собственных уст услышал о том, во что они верили, на что надеялись и, выполняя свои обязанности, он едва мог дождаться времени, когда ему можно будет снова пойти к старому мотильщику, чтобы расспросить его и услышать от него подтверждение надежд, возбужденных в сердце словами старика.

Как только Адриан и Антиной ушли в другую комнату, Мастор поспешил во двор к христианам. Там он попытался завести с надсмотрщиком разговор о вере; но старик ответил только, что всему свое время. Теперь нельзя прерывать работу; пусть он придет после захода солнца, и тогда он услышит о том, кто обещал успокоить страждущих.

Мастор уже не думал о бегстве. Когда он снова вернулся к своему повелителю, его голубые глаза сияли таким солнечным блеском, что Адриан удержался от выговора, который собрался ему сделать. Указывая пальцем на раба, он сказал Антиною со смехом:

— Этот плут, кажется, уже утешился и нашел себе новую женку. Будем же и мы, елико возможно, следовать Горацию и наслаждаться нынешним днем. Но предоставить будущее собственному течению — это может себе позволить поэт, но не я, ибо, к сожалению, я император.

— Рим за это благодарит богов,— вставил Антиной

— Какие удачные слова порой находит этот мальчик! — сказал Адриан со смехом и погладил своего любимца по темным кудрям. — Теперь я до полудня поработаю с Флегонем и Титианом, которого жду к себе, а потом, может быть, мы посмеемся. Спроси долговязого скульптора за перегородкой, в котором часу Бальбилла собирается ему позировать. Необходимо также посмотреть при дневном свете на работы архитектора и художников: они заслуживают этого за свое усердие.

Затем император удалился в комнату, где секретарь поджидал его с письмами и актами, полученными из Рима и провинций и подлежащими просмотру и подписи императора.

Антиной остался один и целый час смотрел на суда, становившиеся в гавани на якорь или покидавшие рейд, и любовался зрелищем быстрых лодок, которые кишели вокруг больших кораблей, как осы вокруг созревших плодов.

Затем он прислушался к песне матросов и игре флейтиста, сопровождавшей всплески весел триремы, которая как раз отчаливала от императорской пристани прямо под окнами дворца. Радовали его также чистая синева неба и теплота дневного утра, и он спрашивал себя, приятен или неприятен легкий запах дегтя, носившийся над гаванью. Когда солнце поднялось выше, резкий свет его ослепил Антиноя. Зевая, отошел он от окна, растянулся на ложе и безучастно уставился на потускневшую роспись потолка, не думая о предметах, на ней изображенных.

Праздность давно уже стала его деятельностью. Но как ни привык он к ней, все же он тяготился ее серой тенью — скукой, как противной помехой, отравляющей радость жизни.

В подобные часы праздной мечтательности он обыкновенно думал о своих родных в Вифинии, о которых не смел говорить в присутствии императора, или об охотах своих с Адрианом, об убитой дичи, о рыбах, которых ему случилось поймать как хорошему рыболову, и тому подобных вещах.

Он не заботился о том, что принесет с собой будущее, ибо жажда творчества, честолюбие и все, что напоминало страстный порыв, до сих пор было чуждо его душе. Восхищение, вызываемое повсюду его красотой, не доставляло ему радости, и порой он испытывал такое чувство, будто не стоит ни шевелиться, ни дышать. Почти

все, что он видел, было ему глубоко безразлично, кроме ласкового слова императора, который казался ему великим, превыше всякого человеческого мерила, которого он боялся, как судьбы, и с которым он чувствовал себя все же связанным.

Но теперь, когда он растянулся на ложе, его мечты приняли иное направление. Он невольно думал о бледной молодой девушке, которую спас от зубов Аргуса, о белой холодной руке, которая на одно мгновение обвилась вокруг его шеи, и о холодных словах, которыми Селена оттолкнула его.

Антиной начал сильно тосковать по Селене, — тот самый Антиной, которому во всех городах, где он бывал с императором, а в особенности в Риме, прославленные красавицы присылали букеты и нежные письма и который, однако же, с тех пор как оставил родину, не выказывал ни одному женскому существу и половины того интереса, который он питал к охотничьей лошади, подаренной ему императором, или к молосской собаке.

Девушка рисовалась ему, как дышащий мрамор. Может быть, суждено умереть тому, кого она прижмет к прохладной груди; но такая смерть должна быть упоительной, и в тысячу раз, думал он, блаженнее тот, кто погибнет от застывшей крови, чем умирающий от горячего сердцебиения.

— Селена... — снова шептали его уста с легкой дрожью. Некое чуждое его мирной натуре и пронизывавшее все его члены беспокойство овладело им, и он, который в иное время мог часами лежать без движения и мечтать, теперь внезапно вскочил со своего ложа и, тяжело дыша, начал большими шагами ходить по комнате. Страстная тоска по Селене гоняла его взад и вперед, и желание вновь увидеть ее превратилось в твердое намерение и подстрекало его к поспешному обдумыванию путей и способов встретиться с ней еще до возвращения императора. Просто проникнуть в жилище ее возмущенного отца казалось ему невозможным, хотя он был уверен, что найдет ее там: раненая нога, наверное, не позволит ей выйти из дому.

Не обратиться ли ему вновь к смотрителю за хлебом и солью? Но от имени Адриана он не смел ни о чем просить Керавна после сцены, недавно разыгравшейся здесь.

Не пойти ли ему туда, чтобы предложить ей новый кувшин взамен разбитого? Но это еще более рассердит этого высокомерного человека. Сделать так... или не сде-

лать?.. Нет, все это никуда не годится.. Но это... это... да, это то, что нужно!..

В его ящичке с мазями было несколько эссенций, подаренных ему императором. Он хотел предложить одну из них Селене, чтобы она, разбавив эту эссенцию водой, примачивала свою больную ногу. Этого поступка, внушаемого состраданием, не мог не одобрить и Адриан, который сам любил испытывать над больными свои познания во врачебном искусстве.

Антиной тотчас же позвал Мастора, приказал ему хорошо смотреть за собакой, затем пошел в свою спальню, взял там флакончик из чрезвычайно ценного материала, подаренный ему в день его рождения императором и принадлежавший некогда супруге Траяна Плотине, и направился к жилищу Керавна. У ступеней, где он утром нашел Селену, он встретил черного раба с несколькими детьми. Старик уселся здесь из страха перед собакой римлянина. Антиной подошел к рабу и попросил проводить его к жилищу своего господина. Раб пошел впереди, отворил дверь передней и сказал, указывая на дальнюю комнату:

— Там, но Керавна нет дома.

Не заботясь больше об Антиное, раб вернулся к детям. Вифинец, держа свой флакончик, остановился в нерешимости, потому что, кроме голоса Селены, он слышал также голос другой девушки и какого-то мужчины.

Он все еще медлил, когда громкий вопрос Арсиной: «Кто там?» — заставил его идти дальше.

В жилой комнате стояла Селена в длинной светлой одежде и с покрывалом на голове, по-видимому, собравшись выйти из дому. Младшая сестра ее, приподнявшись на цыпочки, опиралась на край стола, на котором лежало множество древних вещей.

Перед ней стоял какой-то финикиец, мужчина средних лет, державший в руке стакан с прекрасной резьбой, из-за которого он, по-видимому, торговался с девушкой. Керавн заходил к другому антиквару, но не застал его и оставил в лавке записку, чтобы Хирам зашел к нему на Лохиаду, где он увидит ценные древности. Финикиец явился до возвращения Керавна, задержавшегося на заседании Совета, и теперь Арсиноя показывала ему сокровища своего отца и хвалила их достоинства с большим красноречием.

К сожалению, Хирам предлагал за них цену, немно-

гим большую, чем Габиний, так бесцеремонно прогнанный вчера Керавном.

Селена с самого начала была уверена в неудаче и желала поскорее положить конец этому торгу, так как приближался час, когда она должна была идти с Арсиной в папирусную мастерскую. На отказ сестры, не желавшей сопровождать ее, и на просьбы рабыни о том, чтобы она поберегла, по крайней мере на сегодня, свою больную ногу, она твердо отвечала: «Я иду».

Появление Антиной привело девушку в некоторое беспокойство. Селена тотчас же узнала его; Арсиной нашла его красивым, но неловким; продавец художественных произведений смотрел на него с изумлением, и первый поклонился ему.

Антиной ответил на это приветствие, поклонился сестрам и затем, обращаясь к Селене, сказал:

— Мы слышали, что у тебя поранена голова и повреждена нога. И так как мы виноваты в твоём несчастье, то желали бы предложить тебе этот флакончик, который содержит в себе хорошее лекарство против подобных повреждений.

— Благодарю тебя,— отвечала девушка,— но я чувствую себя опять так хорошо, что думаю выйти из дому.

— Это тебе не следовало бы делать,— настойчиво упрашивал Антиной.

— Я должна,— решительно ответила Селена.

— Так оставь у себя по крайней мере флакон, чтобы делать примочки, когда ты вернешься домой. Десять капель на один кубок с водой.

— Я могу попробовать это лекарство, когда вернусь.

— Сделай это, и ты увидишь, как целебна эта эссенция. Ты уже не сердишься на нас?..

— Нет.

— Это радует меня!..— сказал Антиной и посмотрел на Селену своими большими, задумчивыми глазами, полными сдержанной страсти.

Ей не понравился этот взгляд, и холоднее, чем прежде, она спросила вифинца:

— Кому я должна отдать этот флакончик, когда он будет опорожнен?

— Прошу тебя, оставь его у себя.

— Он красив, но я не желаю никакого подарка.

— Так разбей его, когда он будет не нужен тебе. Ты до сих пор не простила нам скверной проделки нашего пса, и мне это очень прискорбно!..

— Я не сержусь на тебя. Арсиноя, вылей лекарство в какую-нибудь чашку.

Младшая дочь Керавна тотчас исполнила это приказание и, заметив красоту флакончика и разнообразие красок, которыми он блестел, сказала, не стесняясь:

— Если моя сестра отказывается, то подари его мне. Как можно упрямитесь из-за такой безделицы, Селена!..

— Так возьми его,— сказал Антиной и с беспокойством опустил глаза, так как теперь он вдруг вспомнил, как высоко ценил этот маленький флакончик император, который, может быть, спросит о нем когда-нибудь после.

Селена пожала плечами и, опуская свое покрывало на лоб, крикнула недовольно сестре:

— Нам давно пора!

— Я не пойду сегодня,— упрямо отвечала Арсиноя,— и притом ведь это сумасшествие — идти тебе четверть часа с распухшей ногой.

— Было бы лучше, если бы ты поберегла себя,— вежливо сказал Хирам.

— Я должна идти,— решительно возразила Селена,— и ты пойдешь со мной, сестра.

Селена настаивала не из упрямства, а вследствие жестокой необходимости. Ей нельзя было не идти в этот день в папирусную мастерскую, потому что там нужно было получить недельную плату за работу ее сестры и свою собственную. Кроме того, на завтра и еще на четыре следующих дня работы прекращались и касса закрывалась, так как император обещал богатому владельцу мастерской посетить ее, и в честь Адриана предполагалось починить кое-что в неприглядном здании и несколько украсить его.

Не быть сегодня в мастерской — значило не получить заработной платы не только за неделю, но и за двенадцать дней, так как работникам было объявлено, что в ознаменование радости по случаю императорского посещения им будет выдана полная плата за свободное от работы время. А Селене нужны были деньги на содержание семьи, и потому она была вынуждена настаивать на своем.

Увидев, что Арсиноя не обнаруживает никакого желания идти с ней, Селена строго серьезным тоном спросила:

— Пойдешь ты или нет?..

— Нет!..— вскричала Арсиноя строптиво и плотнее уселась на край стола.

— Значит, я должна идти одна?

— Тебе следует остаться дома.

Селена еще раз подошла к сестре и посмотрела на нее укоризненным взглядом. Но Арсиноя настаивала на своем. Она скривила рот, как капризный ребенок, трижды хлопнула ладонями по столу, к которому прислонилась, и столько же раз прокричала «нет».

Тогда Селена позвала старую рабыню, приказал ей оставаться в комнате до возвращения отца, ласково простилась с Хирамом, Антиною же равнодушно кивнула головой и вышла.

Антиной последовал за нею и догнал ее там, где находились дети. Она оправила на них одежду и приказала держаться подальше от прохода из опасения злой собаки.

Антиной погладил маленького слепого Гелиоса по красивой кудрявой головке и спросил Селену, собирающуюся подняться по лестнице:

— Могу ли я помочь тебе?

— Да,— отвечала она, так как на первой же ступени почувствовала резкую боль в ноге.

Она подала руку юноше, чтобы он поддержал ее. Селена, наверное, ответила бы «нет», если бы чувствовала малейшую симпатию к любимцу императора, но в ее сердце был образ другого человека, и она даже не заметила красоты Антиноя.

Никогда еще сердце вифинца не билось так сильно, как в те краткие мгновения, когда ему было разрешено прикоснуться к руке Селены. Он вел ее словно одурманенный, но все же успел заметить, что она страдает, поднимаясь по немногим ступеням лестницы.

— Пожалей же себя и останься сегодня дома,— еще раз попросил он неуверенным голосом.

— Вы все мне надоели,— ответила она с досадой.— Мне нужно идти, и здесь недалеко.

— Могу я проводить тебя? — спросил он.

Она засмеялась и отвечала с оттенком насмешки в голосе:

— Разумеется, нет!.. Проводи меня только через проход, чтобы собака опять не напала на меня, а затем иди, куда хочешь, но не со мной.

Он повиновался ей, и, когда в том месте, где проход примыкал к одной из больших зал, он сказал ей «прощай», она поблагодарила его.

Для выхода из квартиры Керавна на двор было два пути. Один вел через круглую площадку с бюстами жен-

щин из рода Птолемеев и через множество террас, поднимавшихся и спускавшихся на первый двор; другой, ровный, вел через комнаты и залы дворца. Селена должна была выбрать этот последний путь, так как ей было невозможно с больной ногой взбираться и спускаться без посторонней помощи по такому множеству ступеней; но она неохотно решилась на это, зная, как много мужчин толпится именно в этом месте благодаря работам, производимым во дворце.

Для ограждения себя она предпочитала попросить Поллукса проводить ее через толпу работников и грубых рабов до дома его родителей. Но решиться и на это ей было не легко, так как с того дня, как Поллукс показал бюст ее матери Арсиное прежде, чем ей, она сердилась на художника, для которого так недавно открылась ее бедная любовью душа. И ее гнев против него не слабел, а с течением времени все усиливался.

Да, во все часы дня и при всем, что она делала, Селена уверяла себя, что имеет основание быть недовольной. Зачем он вчера показал изображение ее матери прежде Арсиное, а потом ей.

Теперь она собиралась спросить его: для кого из двух — для нее, или для сестры — он выставил бюст на площадке, и дать ему почувствовать свое неудовольствие.

Она должна была также сообщить ему, что не может позировать в этот вечер. Это было невозможно уже из-за боли в ноге.

С этой все усиливающейся болью она переступила через порог залы муз и приблизилась к перегородке, скрывавшей друга ее детства.

Он был не один, так как за перегородкой разговаривали. Судя по голосу, Поллукс находился в обществе женщины. Селена еще издали услышала ее веселый смех.

Когда затем она остановилась у ширм, чтобы позвать Поллукса, женщина, — которая, как теперь можно было заключить, служила ему моделью, — возвысила голос и весело вскричала:

— Ну, уж это слишком! Ты хочешь исполнять обязанности моей служанки! Чего только не позволяет себе этот художник!..

— Скажи «да», — просил Поллукс тем добродушно-веселым голосом, которым он не раз пленял ее сердце. — Ты изумительно прекрасна, Бальбилла; но если бы ты позволила мне поступить по-своему, то могла бы быть еще прекраснее.

За перегородкой снова раздался игривый смех.

Веселый тон художника, должно быть, очень неприятно подействовал на бедную Селену, потому что ее плечи высоко поднялись, а прекрасное лицо приняло такое страдальческое выражение, как будто она почувствовала сильную боль. И она прошла мимо перегородки Поллукса, шутившего со своей красавицей, через двор на улицу.

Что причинило несчастной такую жестокую муку?.. Стесненные домашние обстоятельства, ее собственное физическое страдание, усиливавшееся с каждым ее шагом, или же окаменевшее раненое сердце, обманутое в своей только что расцветшей прекраснейшей и последней надежде?..

Обычно, когда Селена выходила на улицу, не один мужчина с восхищением оборачивался на нее; но сегодня ее свита состояла всего из двух уличных мальчишек. Они все время кричали ей вдогонку: «Хлип, хлюп!» Этот крик безжалостных сорванцов был вызван слабо подвязанной к больной ноге сандалией, которая при каждом шаге стучала о мостовую.

В то время, как Селена с жестокой болью в ноге приближалась к папирусной мастерской, радость и счастье вернулись к Арсиное, так как, едва ее сестра и Антиной бышли, Хирам обратился к ней с просьбой показать флакончик, подаренный ей красивым юношей.

Внимательно осматривая флакон, купец поворачивал его то той, то другой стороной к солнцу, пробовал его звук, проводил по нему камнем своего перстня и пробормотал про себя: «*Vasa murrhina*».

От тонкого слуха Арсиной не ускользнули эти слова, а от отца она слыхала, что мурринские вазы — драгоценнейшие из всех сосудов, которыми богатые римляне украшают свои парадные комнаты. Поэтому она тотчас же объявила Хираму, что ей известно, какие большие суммы платят за подобные флаконы, и что она и своего не продаст ему дешево. Он начал предлагать цену; она со смехом запросила вдесятеро, и после долгого спора с девушкой то в шутливом, то в чрезвычайно серьезном тоне финикиец наконец сказал:

— Две тысячи драхм, ни одного сестерция больше.

— Этого, конечно, далеко не достаточно, — отвечала Арсиноя, — но так и быть, возьми его.

— Менее прекрасной продавщице я едва ли дал бы половину, — сказал Хирам.

— А я тебе уступаю флакон только потому, что ты так вежлив.

— Деньги я пришлю тебе до захода солнца.

Эти слова заставили призадуматься девушку, которая вся сияла от радости и приятного изумления и была готова броситься на шею лысому купцу или своей еще менее красивой рабыне и даже всему миру. Отец ее скоро должен был вернуться домой, и она не сомневалась, что он не одобрит ее поступка и, вероятно, отошлет молодому человеку флакон, а купцу — деньги. Да и сама она никогда не стала бы выпрашивать у незнакомца эту вещицу, если бы имела какое-нибудь понятие об ее ценности. Но теперь флакон принадлежал ей, и, если бы она возвратила его бывшему владельцу, это никого бы не порадовало. Вероятно, она этим только оскорбила бы незнакомца, а себя лишила величайшего удовольствия, на какое могла рассчитывать.

Что же делать?..

Она все еще сидела на столе, держа в правой руке носок левой ноги, и в этой легкомысленной позе смотрела на пол с такой сосредоточенной серьезностью, как будто надеялась вычитать на узорах каменных плит какую-нибудь мысль, какое-нибудь средство выпутаться из этой дилеммы.

Купец с минуту забавлялся смущением, которое удивительно шло к ней, и мысленно пожалел, что он не молод, как его сын-художник, но наконец прервал молчание и сказал:

— Твой отец, может быть, не одобрит нашей сделки, а между тем ты желаешь добыть для него денег?..

— Кто тебе это сказал?..

— Разве он стал бы предлагать мне свои драгоценности, если бы не нуждался в деньгах?

— Это только... я могу только... — проговорила, запинаясь, Арсиноя, не привыкшая лгать. — Мне не хотелось бы только признаться ему.

— Но я ведь видел, каким невинным способом достался тебе флакон, — возразил купец. — А Керавну нет и необходимости знать об этой вещице. Вообрази, что ты ее разбила и осколки лежат вон там, в глубине моря. Какую из этих вещей ценит твой отец меньше всего?

— Старый меч Антония, — отвечала девушка, лицо которой снова прояснилось. — Он говорит, что это оружие слишком длинно и слишком узко для того назначения, которое ему приписывают. Я, с своей стороны, ду-

маю, что это вовсе не меч, а просто вертел.

— Я велю завтра употребить его в моей кухне,— сказал купец,— но теперь я предлагаю за него две тысячи драхм. Я возьму его с собой, а через несколько часов пришлю следуемую за него сумму. Ладно ли будет так?..

Вместо ответа Арсиноя выпустила ногу, соскользнула со стола и радостно захлопала в ладоши.

— Скажи ему только,— продолжал купец,— что я мог так много заплатить теперь за такой меч лишь потому, что император, наверное, пожелает посмотреть на вещи, побывавшие в руках у Юлия Цезаря, Марка Антония, Октавиана Августа и других великих римлян в Египте. Пусть вон та старуха несет вертел за мной. На дворе ждет меня мой слуга, который спрячет его под свой хитон и так донесет до самой моей кухни. Ведь если нести его открыто, то, пожалуй, встречные знатоки станут мне завидовать, а недобрых взглядов следует беречься.

Купец засмеялся, спрятал флакон, отдал меч старухе и дружески простился с девушкой.

Как только Арсиноя осталась одна, она побежала в спальню, чтобы надеть башмаки, накинуть покрывало и поспешить в папирусную мастерскую.

Селена должна была узнать, какое неожиданное счастье выпало ей и всем им на долю. Затем Арсиноя хотела нанять носилки, которые всегда можно было найти у гавани, чтобы отнести бедную сестру домой. Правда, между сестрами не всегда были мирные отношения, а порой даже весьма бурные и воинственные; но если с Арсиноей случалось что-нибудь значительное (все равно, хорошее или дурное), она не могла не поделиться этим с Селеной.

Вечные боги, какая радость! Она теперь может явиться среди дочерей знатных граждан одетой не менее богато, чем всякая другая из них, и принять участие в торжественной процессии. Кроме того, еще останется кругленькая сумма для отца и всех домашних. С работой в мастерской, которая претила ей, которую она ненавидела, по всей вероятности, теперь будет покончено навсегда.

Старый раб сидел с детьми у лестницы. Арсиноя поцеловала каждую из девочек, прошептав ей на ухо: «Сегодня вечером будет пирожное». Слепому Гелиосу она поцеловала в оба глаза и сказала ему: «Ты можешь идти со мной, милый мальчик; я потом найму для Селены носилки и посажу тебя в них, и тебя понесут домой, как богатого барчука».

Слепой ребенок потянулся к ней с возгласом.

— По воздуху, по воздуху! И не упаду!

Она еще держала его на руках, когда ее отец с потным лбом и в сильно возбужденном состоянии поднялся на лестницу, ведущую от ротонды в коридор. Отирая лоб и сопя, он наконец перевел дух и сказал:

— Я встретил антиквара Хирама с мечом Антония. Ты ему продала этот меч за две тысячи драхм?.. Глупая!..

— Но, отец,— засмеялась Арсиноя,— сам бы ты отдал этот вертел за один пирог и глоток вина...

— Я?..— вскричал Керавн.— Я выторговал бы тройную цену за этот драгоценный предмет, за который император заплатит талантами. Но что продано, то продано. Притом я не хотел тебя срамить перед этим человеком и не стану бранить тебя. Однако же... однако же... мысль, что у меня нет уже меча Антония, заставит меня проводить бессонные ночи.

— Когда сегодня вечером перед тобой поставят на стол хороший кусок говядины, то придет и сон,— возразила Арсиноя, взяла у него из рук платок, ласково отерла ему виски и весело продолжала:— Теперь мы богачи, отец, и покажем дочерям других граждан, чего мы стоим.

— Теперь вы обе будете участвовать в празднестве,— сказал решительно Керавн.— Пусть император видит, что я не останавливаюсь ни перед какой жертвой для его чествования, и если он заметит вас, я принесу жалобу на дерзкого архитектора...

— Теперь ты должен оставить это,— попросила Арсиноя,— лишь бы только нога бедной Селены до тех пор поправилась.

— Где она?

— Вышла из дому.

— Значит, с ее ногой еще не так худо. Надеюсь, она скоро вернется?

— Может быть, я сейчас хотела нанять для нее носилки.

— Носилки? — спросил Керавн с удивлением.— Две тысячи драхм совсем вскружили голову девочке!

— Это из-за ее ноги. Ей было так больно, когда она уходила из дому.

— Почему же она не осталась дома в таком случае? Она будет по обыкновению торговаться целый час из-за какой-нибудь половины сестерция, а вам обеим нельзя терять ни минуты времени.

— Я сейчас пойду за ней.

— Нет-нет, по крайней мере ты должна остаться

здесь, потому что через два часа женщины и девушки должны собраться в театре.

— Через два часа?.. Но, великий Серапис, что же мы наденем!..

— Это твоя забота,— возразил Керавн.— Я сам воспользуюсь носилками, о которых ты говоришь, и велю нести себя к судостроителю Трифону. Есть еще деньги в шкатулке у Селены?

Арсиноя тотчас же пошла в спальню и, вернувшись, сказала:

— Это все: шесть двойных драхм.

— Мне довольно четырех,— отвечал Керавн, но после некоторого размышления взял все шесть.

— Зачем тебе нужно быть у судостроителя? — спросила Арсиноя.

— В городском Совете,— отвечал Керавн,— я снова хлопотал насчет вас. Я сказал, что одна из моих дочерей больна, а другая должна ухаживать за ней; но этого не захотели принять во внимание и требовали здоровую дочь. Тогда я объявил, что у вас нет матери, что мы живем уединенно и что мне неприятно посылать мою дочь одну без покровительницы в собрание. Судостроитель Трифон отвечал на это, что его жена с удовольствием проводит тебя со своей дочерью в театр. Я почти согласился, но тотчас же объявил, что ты не пойдешь, если твоя сестра не будет чувствовать себя лучше. Положительного обещания дать я не мог, ты уже знаешь почему.

— О милый Антоний и его великолепный вертел! — вскричала Арсиноя.— Теперь все в порядке, и ты можешь объявить о нашем прибытии в дом караблестроителя. Наши белые платья еще очень приличны, а несколько локтей голубых лент для моих волос и красных для Селены ты должен купить по дороге у финикиянина Абибаала.

— Хорошо.

— Я уж позабочусь о платьях, но когда мы должны быть готовы?

— Через два часа.

— Знаешь ли что, папочка?..

— Ну?..

— Наша старуха полуслепа и делает все шиворот-навыворот, позволь мне позвать к себе на помощь старую Дориду из домика привратника. Она так ловка и ласкова, и никто не гладит лучше нее.

— Молчи! — прервал Керавн свою дочь с негодованием. — Эти люди никогда не переступят через мой порог.

— Но мои волосы... посмотри, какой у них вид! — вскричала Арсиноя, волнуясь, и запустила пальцы в свою прическу, причем нарочно еще больше растрепала ее. — Привести волосы снова в порядок, перевить их лентой, выгладить оба наши платья и пришить к ним застежки — со всем этим не справиться в два часа даже прислужнице императрицы.

— Дорида никогда не переступит этот порог, — повторил Керавн вместо всякого ответа.

— Так позволь мне послать за одной из помощниц портного Гиппия; но это опять будет стоить денег.

— У нас они есть, и мы можем себе это позволить, — гордо возразил Керавн и, чтобы не забыть данных ему поручений, начал бормотать про себя: «Портной Гиппий, голубая лента, красная лента, кораблестроитель Трифон...»

Расторопная помощница портного помогла Арсиное привести в порядок платья ее и Селены и не уставала расхваливать чудный блеск и шелковистую мягкость волос девушки. Она высоко зачесала их, перевила лентами и так изящно убрала их под гребнем на затылке так, что они ниспадали ей на спину в виде множества длинных локонов, искусно завитых в кольца.

Когда Керавн возвратился, то со справедливой гордостью посматривал на свою прекрасную дочь. Он был доволен и даже хихикал про себя, расставляя рядами и пересчитывая золотые монеты, которые принес ему слуга Хирама.

Во время этого занятия Арсиноя подошла к нему ближе и спросила, смеясь:

— Значит, Хирам все-таки не обманул меня?

Керавн просил ее не мешать ему и ответил:

— Подумай только! Оружие великого Антония... Может быть, оно было то самое, которым он пронзил свою грудь. Да куда же запропастилась Селена?

Прошло два, три получаса, давно уже началась четвертая половина двухчасового срока, а старшая дочь Керавна еще не явилась. Поэтому смотритель дворца объявил, что они должны двинуться в путь, так как жене кораблестроителя не следует заставлять дожидаться.

Арсиное было искренне жаль, что приходится отправиться без сестры. Она освежила платье Селены так же

хорошо, как свое собственное, что стоило ей немалого труда и усилий, и тщательно разложила его на ложе возле мозаичной картины. Она ни разу еще не выходила на улицу одна, и ей казалось немыслимым предпринять что-нибудь и наслаждаться чем-нибудь без сестры. Но уверение отца, что потом и Селене охотно дадут место в кругу девиц, успокоило девушку, исполненную радостного ожидания. Напоследок она еще немного опрыскала себя ароматной эссенцией, которой обычно пользовался Керавн, уходя в Совет, и уговорила отца послать рабыню за обещанными пирожными для детей.

Малыши окружили ее и с громким аханьем и оханьем восхищались ею, словно божественным видением, к которому нельзя ни приблизиться, ни притронуться.

И она тоже щадя прическу, не наклонилась к ним, как обычно. Только маленького Гелиоса погладила по кудрям и сказала:

— По воздуху поедем завтра. Может быть, тебе еще сегодня Селена расскажет хорошую сказку.

Сердце ее билось чаще, чем обыкновенно, когда она садилась в носилки, ожидавшие ее у дома привратника.

Дорида издали радовалась, видя ее такой нарядной и красивой, и, когда Керавн вышел на улицу, чтобы позвать носилки и для себя, старуха быстро срезала две прекраснейшие розы со своих кустов, украдкой вышла из домика и сунула цветы в руку девушки, прижав указательный палец к своим лукаво улыбающимся губам.

Не помня себя от радости, Арсиноя явилась в дом кораблестроителя, а оттуда в театр, и по пути в первый раз испытала, что страх и радость могут одновременно гнездиться в девичьем сердце и что оба они несколько не мешают друг другу.

Страх и ожидание до того овладели ею, что она не видела и не слышала, что происходило вокруг нее. Только раз услышала она, как какой-то молодой человек в венке, проходя мимо об руку с другим, весело прокричал ей вслед: «Да здравствует красота!»

После этого она все время сидела, опустив глаза на розы, которые ей подарила Дорида. Эти цветы напоминали ей о сыне ласковой старухи, и она спрашивала себя — не видел ли ее Поллукс в ее новом наряде. Это было бы ей очень приятно, и ничего невозможного тут не было, так как Поллукс часто навещал своих родителей с тех пор, как работал на Лохиаде. Может быть, он сам сорвал для нее эти розы и не осмелился предложить их ей только из-за ее отца.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Молодого ваятеля не было в домике привратника, когда проходила Арсиноя. Он думал о ней довольно часто с тех пор, как они вновь встретились перед бюстом ее матери; но как раз в тот день его время и помыслы были заняты другой девушкой.

Около полудня Бальбилла отправилась на Лохиаду в сопровождении почтенной Клавдии, бедной вдовы сенатора, которая уже много лет состояла при богатой сироте, потерявшей и мать и отца, в качестве компаньонки.

В Риме эта матрона заведовала домашним хозяйством Бальбиллы, и можно сказать, с таким же умением, как и удовольствием. Однако же она не совсем была довольна своей участью, так как страсть ее питомицы к путешествиям часто заставляла ее покидать столицу, а на ее взгляд, за исключением Рима, не существовало места, где бы стоило жить.

Купаться в Байях да иногда, во избежание январских и февральских холодов, удаляться на Лигурийский берег, чтобы провести там часть зимы,— это она допускала, так как была уверена, что хотя и не найдет там Рима, но все-таки встретит римлян. Но Клавдия оказала решительное сопротивление желанию Бальбиллы отправиться на зыбком морском судне в жаркую Африку, которая представлялась ей чем-то вроде раскаленной печи. Однако же в конце концов она была вынуждена примириться с этой перспективой: императрица так настойчиво высказала свое желание взять с собой Бальбиллу на Нил, что возражения казались бы неповиновением. При этом в глубине души она должна была признаться самой себе, что ее гордая и своенравная приемная дочка (так она любила называть Бальбиллу) поставила бы на своем и без вмешательства Сабины.

Бальбилла явилась во дворец, чтобы служить Поллуксу моделью для бюста.

Когда Селена проходила мимо перегородки, скрывавшей от ее глаз товарища ее детских игр и его работу, достойная матрона задремала на ложе, а ваятель с жаром старался доказать знатной девушке, что высота ее прически чрезмерна и своей массивностью вредит впечатлению, производимому изящными чертами ее лица.

Он убеждал ее вспомнить о том, что великие афинские мастера в цветущие дни пластического искусства со-

ветовали прелестным женщинам делать самые простые прически, и вызывался собственноручно привести ее волосы в такой вид, чтобы прическа была ей к лицу, если она завтра опять придет к нему, прежде чем ее служанка завьет ей первый локончик. Сегодня же, говорил он, эти милые кудряшки снова встанут на свои места, как отогнутый шпенек фибулы.

Бальбилла возражала ему с оживленной веселостью, отказывалась от его услуг и отстаивала свою прическу требованиями моды.

— Но эта мода некрасивая, чудовищная, кричащая! — воскликнул Поллукс. — Суетные римлянки выдумали ее в часы праздности не для красоты, а для того, чтобы она бросалась в глаза.

— Поражать своей внешностью мне противно, — отвечала Бальбилла. — Как бы ни была странной мода сама по себе, но именно тогда, когда мы следуем ей, мы делаем себя менее заметными, чем в том случае, когда вопреки ей нарочно одеваемся гораздо проще, скромнее — словом, иначе, чем она требует. Кого считаешь ты более суетными: по моде ли одетых молодых патрициев на Канопской улице или же кинических философов с растрепанными волосами, с нарочно разорванным войлоком на плечах и грубой дубиной в грязной руке?

— Последних, — отвечал Поллукс. — Но они грешат против законов красоты, на сторону которых я желал бы склонить тебя и которые переживут всякие требования моды настолько же несомненно, как «Илиада» Гомера переживет завывания уличного певца об убийстве, взволновавшем вчера наш город. Был ли я первым скульптором, который попытался изваять твое изображение?

— Нет, — засмеялась Бальбилла, — уже пятеро римских художников пробовали свои силы над этой головой.

— Удался ли хоть один из сделанных ими бюстов настолько, что ты осталась довольна им?

— Лучший из них показался мне никуда не годным.

— Значит, твое прекрасное лицо перейдет к потомству в пятикратном искажении?

— О нет, я разбила все эти бюсты.

— Это пошло им на пользу! — с жаром вскричал Поллукс. Затем он повернулся к своему будущему произведению и сказал: — Бедная глина, если прекрасная дама, сходство с которой я намерен сообщить тебе, не пожертвует хаосом своих кудрей, то, конечно, с тобой

произойдет то же, что случилось с твоими пятью предшественниками.

При этом предсказании матрона проснулась и спросила:

— Вы говорите о разбитых бюстах Бальбиллы?

— Да,— сказала поэтесса.

— Может быть, и этот последует за ними,— вздохнула Клавдия.— Знаешь ли ты,— продолжала она, обращаясь к Поллуксу,— что предстоит ему в таком случае?

— Ну?

— Эта девушка понимает кое-что в твоём искусстве.

— Я научилась лепить кое-как у Аристея,— прервала ее Бальбилла.

— Ага, потому что это введено в моду императором, и в Риме кажется странным, если кто-нибудь не занимается ваянием.

— Может быть.

— И по изготовлении каждого бюста,— продолжала матрона,— она пыталась собственноручно изменить то, что ей в особенности не нравилось.

— Я только проложила путь для работы рабов,— прервала Бальбилла свою спутницу.— Впрочем, мои люди мало-помалу достигли известного навыка в разбивании.

— Значит, моему будущему произведению предстоит по крайней мере быстрый конец,— вздохнул Поллукс.— Конечно, все рождающееся является в мир со своим смертным приговором.

— А тебе была бы прискорбна быстрая кончина твоего произведения?

— Да, если я найду его удавшимся; нет, если найду его плохим.

— Кто сохраняет плохой бюст,— сказала Бальбилла,— тот сам заботится о том, чтобы сохранить о себе в потомстве незаслуженно дурную молву.

— Конечно. Но откуда у тебя берется мужество в шестой раз подвергаться подобной клевете, которую так трудно уничтожить?

— Я черпаю его в том, что могу велеть уничтожить, что мне угодно,— засмеялась избалованная девушка.— Спокойное сидение не по моей части.

— Совершенно верно,— вздохнула Клавдия.— Однако же от тебя она ждет чего-нибудь хорошего.

— Благодарю,— отвечал Поллукс.— И я употреблю

все усилия, чтобы создать нечто, соответствующее тому, чего я требую от мраморной статуи, заслуживающей сохранения.

— В чем же состоят твои требования?

Поллукс несколько мгновений подумал, затем отвечал:

— Я не всегда нахожу подходящее слово для выражения того, что чувствую как художник. Пластическое изображение, которое может удовлетворить своего творца, должно отвечать двум требованиям: во-первых, оно должно в сходных с внешней стороны формах показать потомству, что скрывалось в изображенном человеке; далее оно должно наглядно показать тому же потомству, что было в состоянии сделать искусство того времени, к которому относится изображение.

— Это, пожалуй, так. Но ты забываешь о себе самом.

— То есть о своей славе?

— Именно.

— Я работаю для Папия и служу искусству. Этого мне достаточно. Слава покамест не спрашивает обо мне, ни я о ней.

— Но ведь ты отметишь мой бюст своим именем?

— Почему же нет?

— Мудрый Цицерон!

— Цицерон?

— Ты, конечно, вряд ли знаешь замечание старого Туллия, что философы, пишущие о тщете славы, ставят, однако же, свои имена на книгах.

— Я не пренебрегаю лавровым венком, но не хочу добиваться ничего такого, что имеет для меня цену только тогда, когда достается само потому, что должно мне достаться.

— Хорошо. Но твое первое условие было бы исполнимо для тебя лишь в том случае, если бы тебе удалось узнать мои мысли, мои чувства — словом, все мое внутреннее существо.

— Я вижу тебя и говорю с тобой, — возразил Поллукс.

Клавдия громко засмеялась и вскричала:

— Разговаривай с ней вместо четырех часов столько же лет, и ты всегда будешь открывать в ней что-нибудь новое. Не бывает недели, когда она не задавала бы Риму какой-нибудь загадки. Эта беспокойная, сумасбродная головка никогда не унимается, но зато это золотое сердце остается всегда и во всем одинаковым.

— И ты думаешь, что это для меня новость? — спросил Поллукс. — Беспокойный ум моей натурщицы я узнаю по ее лбу и губам, а какова ее душа, это выдают мне глаза.

— И мой курносый нос? — спросила Бальбилла.

— Он свидетельствует, что Рим прав, когда твои веселые причуды приводят его в изумление.

— Все-таки ты работаешь, может быть, не для молотка рабов? — засмеялась Бальбилла.

— Если бы это было и так, то все же мне останется воспоминание об этом приятном часе.

Архитектор Понтий прервал ваятеля, прося у Бальбиллы извинения за то, что помешал сеансу. Он объяснил, что требуется немедленно совет Поллукса в одном очень важном деле, но что через десять минут художник вернется к своей работе.

Как только женщины остались одни, Бальбилла встала и с любопытством начала осматривать обнесенную ширмами мастерскую скульптора, а ее спутница сказала:

— Этот Поллукс — любезный молодой человек; но он несколько бесцеремонен и слишком жив.

— Художник! — отвечала Бальбилла, которая перевернула каждый бюст, каждую табличку с рисовальными этюдами ваятеля, подняла покрывало на восковой модели Урании, попробовала звук лютни, висевшей на одной из перегородок, побывала то здесь, то там и, наконец, остановилась перед каким-то большим, плотно окутанным платками куском глины в углу мастерской.

— Что бы это могло быть? — спросила Клавдия.

— Наверно, какая-нибудь новая, наполовину оконченная модель.

Бальбилла пощупала кончиками пальцев стоявшее перед ней изваяние и сказала:

— Мне кажется, это голова. Во всяком случае, нечто особенное! На блюдах, так плотно закрытых, часто лежат лучшие кушанья. Разоблачим-ка это закутанное изображение.

— Кто знает, что это такое, — предостерегала Клавдия, сама распуская шнурок, связывавший платки, которые скрывали бюст. — В подобных мастерских бывают часто диковинные вещи.

— Пустяки! Это только человеческая голова; я чувствую это! — вскричала Бальбилла.

— А все-таки нельзя знать, — прибавила матрона и

развязала один узел. — Эти художники такие необузданные и ненадежные люди.

— Захвати вот этот уголок, я приподниму здесь, — просила Бальбилла, и мгновение спустя карикатурное изображение молодой римлянки, вылепленное Адрианом в прошлый вечер, стояло перед поэтессой во всем своем подчеркнутом безобразии.

Она тотчас узнала себя и в первую минуту громко засмеялась; но чем дольше она смотрела на карикатуру, тем более во взгляде ее отражались гнев, досада и негодование.

Она знала каждую черту своего лица, знала, что в нем было красиво и что менее красиво, но это изображение беспощадно выставляло на вид только менее приятное и преувеличивало недостатки с изысканной злостью. Эта голова была отвратительна до ужаса, и однако же это была «ее» голова. Глядя на карикатуру со стороны, она вспомнила о свойствах, которые Поллукс, как он уверял, прочел в ее чертах, и ее юной душой овладело глубокое возмущение.

Ее громадное, неистощимое богатство, которое позволяло ей беззаботно удовлетворять все прихоти и обеспечивало ей восторженное удивление даже по поводу ее сумасбродств, не ограждало ее, однако же, от многих разочарований, которых не испытывают другие девушки более скромного общественного положения.

Ее добротой и щедростью часто злоупотребляли даже художники, и, конечно, человек, который вылепил эту карикатуру и так зло потешался надо всем, что было в ней некрасивого, не для нее самой желал испробовать свое искусство, а только ради высокой платы, которую она могла бы заплатить за портрет.

Ей нравилась свежая, веселая, художественная натура молодого ваятеля, его откровенный характер и искренность его разговора. Она была убеждена, что Поллукс скорее, чем кто-либо другой, заметит, что именно придает ее лицу, не обладавшему красотой в строгом смысле этого слова, ту своеобразную прелесть, которую невозможно было отрицать, несмотря на стоявшую перед ней карикатуру.

Она почувствовала себя теперь богаче одним печальным опытом, возмущенной и оскорбленной.

Привыкшая высказывать свои недовольствия, она вспылчиво и со слезами на глазах вскричала:

— Это позор, это подлость! Мою накидку, Клавдия!

Ни одного мгновения дольше не стану я служить мишенью для злых и грубых шуток этого человека.

— Что за низость так издеваться над девушкой твоего положения! — вскричала матрона. — Вероятно, посланки нас ждут на улице.

Архитектор Понтий услышал гневные слова Бальбиллы. Он вошел в мастерскую без Поллукса, еще разговаривавшего с префектом, и серьезно сказал, подойдя к Бальбилле:

— Ты вправе негодовать, благородная девушка. Это глиняная вещь — оскорбление, и притом грубое во всех своих чертах; но ее сделал не Поллукс, и нехорошо осуждать, не разузнав.

— Ты защищаешь друга! — вскричала Бальбилла.

— Я не сказал бы неправды даже ради моего брата.

— Как друг твой в шутках, так и ты в серьезной речи умеете придавать себе вид правдивой честности.

— Ты раздражена и не привыкла сдерживать свой язык, — возразил архитектор. — Повторяю, эту карикатуру сделал не Поллукс, а один ваятель из Рима.

— Кто именно? Мы знаем их всех.

— Я не смею назвать его.

— Вот видишь. Пойдем, Клавдия!

— Остайся, — сказал Понтий решительно. — Если бы ты не была тем, что ты есть, я позволил бы тебе уйти, куда хочешь, с твоим гневом и с двойной виной на душе, так как ты напрасно оскорбила двух доброжелательных людей. Но ты — внучка Клавдия Бальбиллы, и потому я считаю своей обязанностью сказать тебе, что, если бы эту карикатуру сделал Поллукс, его уже не было бы в этом дворце: я выгнал бы его и выбросил бы вслед за ним эту гадость. Ты смотришь на меня с удивлением, потому что не знаешь, кто здесь говорит с тобой.

— Знаю, — отвечала Бальбилла, успокоившись, так как была убеждена, что этот человек, который, сдвинув брови, стоял здесь точно вылитый из бронзы, не лжет и имеет право говорить с ней так необыкновенно решительно. — Как не знать! Ты лучший зодчий в Александрии, о котором Титиан, после того как мы увидели тебя, рассказывал нам чудеса; но как объяснить твое особенное внимание ко мне?

— Мой долг — служить тебе, хотя бы это стоило мне жизни.

— Твой долг? — воскликнула озадаченная Бальбилла. — Я увидела тебя вчера в первый раз.

— И, однако же, ты имеешь право располагать всем моим существом и всем, что я имею, так как мой дед был рабом твоего деда.

— Не знаю, — возразила Бальбилла с возраставшим смущением.

— Неужели в твоём доме совершенно забыли об учителе твоего благородного деда, старом Софине, которого Клавдий Бальбилл отпустил на волю и который был также учителем твоего отца?

— Конечно, нет! — воскликнула Бальбилла. — Он был превосходный человек и к тому же великий учёный.

— Он отец моего отца, — сказал архитектор.

— Ты, следовательно, принадлежишь к нашему дому! — вскричала Бальбилла и радостно протянула ему руку.

— Благодарю за эти слова, — отвечал Понтий, — а теперь ещё раз: Поллукс не имеет никакого отношения к этой карикатуре.

— Сними с меня накидку, Клавдия, — приказала девушка. — Я по-прежнему буду позировать для молодого художника.

— Не сегодня: это только повредило бы работе, — сказал архитектор. — Пусть твоя досада, которую ты высказала так запальчиво, испарится в другой обстановке. Прошу тебя об этом. Ваятель не должен знать, что ты видела эту стряпню, иначе он потеряет свою непринужденность. Приходи сюда с более спокойной душой и оживлённая весельем, исполненным грации. Тогда Поллукс будет в состоянии вылепить бюст, который удовлетворит внучку Бальбилла.

— Может быть, также и внука его мудрого, незабвенного учителя, — сказала девушка. Она ласково простилась с архитектором и пошла к выходу залы муз, у которого ждали её несколько рабов.

Понтий молча проводил Бальбиллу. Затем он вернулся в мастерскую ваятеля и снова плотно закутал карикатуру покрывалом. Когда он опять вышел из-за перегородки в залу, к нему навстречу спешил Поллукс, крикнув ему:

— С тобой хочет поговорить архитектор из Рима. Величественный человек!

— Бальбиллу спешно куда-то позвали, она велела кланяться тебе, — сказал Понтий. — Убери вон ту вещь, чтобы она не увидела её. Эта штука груба и отвратительна.

Через несколько мгновений он стоял перед императором, который высказал ему свое желание посмотреть сеанс Бальбиллы. Когда архитектор, прося его ничего не говорить об этом случае Поллуксу, рассказал о том, что произошло за перегородками мастерской и как рассердилась молодая римлянка по поводу бесспорно оскорбительной для нее карикатуры, Адриан начал потирать руки и громко засмеялся от удовольствия.

Понтий стиснул зубы и затем сказал серьезным тоном:

— Бальбилла кажется мне веселой девушкой с благородными наклонностями. Я не вижу никакой причины к тому, чтобы ее осмеивать.

Адриан проницательно посмотрел в серьезные глаза смелого архитектора, опустив руку на его плечо, и отвечал с оттенком угрозы:

— Тебе, как и всякому другому, пришлось бы плохо, если бы ты сделал это в моем присутствии. Старик позволяет себе играть художественными произведениями, к которым не должны прикасаться дети!

Селена вошла через ворота в необозримо длинной стене из жженого кирпича, окружавшей обширную площадь, на которой были расположены дворы, водохранилища и дома, принадлежавшие к большой папирусной мастерской Плутарха, где она работала вместе с сестрой.

В другое время она легко могла дойти туда в четверть часа, но в тот день она употребила на это вчетверо больше времени и даже не понимала, каким образом ей удалось, несмотря на сильную боль, держаться на ногах.

Ей хотелось ухватиться за каждого прохожего, уцепиться за каждую медленно проезжавшую повозку, за каждое вьючное животное, проходившее мимо; но и люди, и животные продолжали идти своим путем безжалостно, не обращая на нее никакого внимания.

Некоторые из спешивших путников толкали ее и едва оглядывались, когда она позади них с тихим стоном останавливалась и опускалась на ближайший порог, на тумбу или на тук с товарами, чтобы отереть глаза или слегка потереть вздувшийся сустав ноги. Делая это, она рассчитывала новым приступом боли хотя бы на несколько минут заглушить старое, длительное и невыносимое страдание.

Уличные мальчишки, преследовавшие ее насмешливым криком «Хлип, хлип!», отстали от нее, когда она остановилась.

Она опустилась на какой-то порог, чтобы отдохнуть; тут женщина с ребенком на руках спросила ее, что с нею, но Селена, не отвечая, только покачала головой.

Один раз она подумала, что не устоит на ногах, так как пешеходная дорога внезапно наполнилась смеющимися мальчишками, любопытными мужчинами и женщинами. Бесшабашный Вер ехал на своей колеснице, и на какой!

Александрийцы привыкли видеть много странного на своих оживленных улицах; но этот экипаж тем не менее привлекал к себе все взгляды и возбуждал везде, где появлялся, изумление, восторг, веселость и нередко горькие насмешки.

Посреди позолоченной колесницы стоял красавец римлянин и собственноручно правил четверкой белых коней. На голове его был венок, а через плечо протянулась гирлянда из роз. На запятках колесницы сидели два очаровательных мальчика, одетых амурами. Их ножки болтались в воздухе, и в маленьких ручках они держали на длинных золотых проволоках белых голубей, летевших впереди экипажа.

Двигавшаяся и теснившаяся толпа безжалостно прижала Селену к какой-то стене.

Вместо того чтобы смотреть на странный поезд, она закрыла руками лицо, чтобы скрыть от посторонних взоров черты, искаженные болью. Но все-таки она видела, как проскользнула мимо нее блистательная колесница. Она видела золотую сбрую на белых конях и фигуру самодура точно в сонной грезе, которую ее боль окутывала туманом, и это зрелище пробудило в ее душе, истомленной печалью и страданием, горькое отвращение и мысль, что одних уздечек у лошадей этого расточителя было бы достаточно для того, чтобы на целый год оградить ее и ее семью от бедности.

Когда колесница завернула за ближайший угол и толпа хлынула за нею, Селену чуть не свалили с ног. Она не могла идти дальше и смотрела вокруг, ища носилки; но хотя в другое время здесь никогда не бывало недостатка в них, в этот день их не было.

До фабрики оставалось только несколько сотен шагов, но эти шаги в ее воображении равнялись многим стадиям.

Тут мимо нее прошло несколько работников и работниц мастерской. Они улыбались и показывали друг другу свою заработную плату. Следовательно, раздача денег

была в полном ходу. Взглянув на положение солнца, Селена увидела, как долго она шла, и снова вспомнила о цели своего ухода из дому.

С большим трудом она проковыляла еще несколько шагов. Но когда ее мужество снова начало ослабевать, она увидела бежавшую к ней навстречу маленькую девочку, которая служила подручной при столе, где обыкновенно работали Селена и Арсиноя, и теперь несла какую-то кружку. Селена подозвала маленькую смуглую египтянку и сказала:

— Пожалуйста, Гатор, вернись со мной в мастерскую. Я не могу идти, у меня страшно болит нога. Если я буду опираться на твое плечо, то дело пойдет лучше.

— Не хочу, — крикнула девочка. — Если я скоро вернусь, мне дадут фиников. — И она побежала дальше.

Селена посмотрела ей вслед, и какой-то голос в ее душе, с которым ей сегодня уже не в первый раз приходилось бороться, спросил ее: почему именно она изводит себя для других, тогда как остальные люди думают только о себе?

Вздохнув, она сделала новую попытку идти дальше.

Когда она прошла несколько шагов, не видя и не слыша, что происходит вокруг нее, ее окликнула какая-то девушка и застенчиво и ласково спросила ее, что с ней. Это была клеильщица листов, обыкновенно сидевшая против нее в мастерской, — бледное горбатое создание, которая, однако же, всегда весело и спокойно работала своими искусными пальцами и вначале показала ей и Арсиное разные полезные приемы работы.

Она сама предложила Селене опереться на ее кривое плечо и с такой чуткостью согласовала свои шаги с движениями больной, как будто сама испытывала все ее страдания.

Так они дошли, не разговаривая друг с другом, до ворот мастерской.

На первом дворе горбунья заставила Селену присесть на одну из связок папирусных стеблей, лежавших повсюду одна возле другой и разложенных в высокие кучи возле больших водохранилищ, в которых папирус подвергался сушке.

После короткого отдыха они перешли через залу, где трехгранные зеленые стебли рассортировывались по качеству содержащейся в них мягкой сердцевины.

Следующие комнаты, где мужчины отделяли зеленую кожицу стеблей от сердцевины, и длинные залы, где осо-

бенно искусные работники острыми ножами разрезали последнюю на длинные, в палец шириной, влажные полосы различной тонкости, казались Селене, чем дальше она шла, все длиннее, все бесконечнее.

В другое время здесь, справа и слева от широкого прохода, через который рабы переносили готовые пластинки в сушильню, сидели длинными рядами работники, разрезавшие сердцевины, каждый за особым столиком; но в этот день они большей частью оставили свои места и болтали друг с другом или складывали деревянные тиски, ножи и оселки.

В середине этого помещения рука Селены соскользнула с плеча провожатой. У нее закружилась голова, и она прошептала:

— Не могу больше.

Горбунья поддержала ее, как могла, и, хотя она сама не была сильна, ей удалось довести или, вернее, донести Селену до пустой скамьи и усадить ее там.

Несколько работников окружили упавшую в обморок девушку и принесли воды. Когда больная наконец снова открыла глаза и они узнали, что она работает в тех отделениях, где клеивают готовые листы папируса, то некоторые из них вызвались отнести ее туда.

Прежде чем Селена выразила свое согласие, они схватили скамейку и высоко подняли легкую ношу. Поврежденная нога висела теперь в воздухе и причиняла страждущей такую боль, что она вскрикнула, попыталась притянуть больную ногу к себе и схватилась за лодыжку. Ее спутница тотчас оказала ей помощь: она поддерживала ногу Селены с нежной, осторожной заботливостью.

Глаза всех устремились на девушку, точно в триумфе реявшую высоко в воздухе. Страждущая Селена чувствовала это, но ей казалось, будто она какая-то преступница, которую ведут по улицам, чтобы выставить на позор перед гражданами.

В больших помещениях, где в одном месте мужчины, в другом — напрактиковавшиеся и в особенности ловкие девушки и женщины крестообразно клеивали высушенные узкие полосы папируса в листы, она почувствовала в себе достаточно силы, чтобы плотно окутать покрывалом свое низко склоненное лицо.

Арсиноя и она сама проходили через эти отделения, всегда плотно прикрыв лицо, чтобы оставаться неузнанными, и снимали свои покрывала только в маленькой комнате, где они с двумя десятками других женщин кле-

ивали листы. Теперь все эти женщины смотрели на нее пытливым и любопытным взором.

Правда, ее нога причиняла ей боль; правда, рана на голове горела; конечно, она чувствовала себя несчастной, однако же в ее душе было довольно места для гордости нищего, унаследованной от отца, и для унижительного сознания, что эти ничтожные люди считают ее своей ровней.

В ее рабочей комнате занимались только свободные женщины, но более тысячи невольников работали в мастерской, и ей было бы так же противно разделять с ними что-либо, как есть из одного блюда с животными.

Однажды, когда в доме был недостаток во всем, ее отец сам навел ее на мысль о мастерской, сказав, что дочери какого-то обедневшего гражданина унижают себя, когда они, для того чтобы зарабатывать деньги, занимаются папирусным мастерством. Конечно, им платят довольно хорошо, говорил он, и на вопрос Селены сообщил ей сведения о размерах получаемой ими платы и назвал богатого владельца мастерской, купившего у них гражданскую честь за свое золото.

Вскоре затем она отправилась туда одна, переговорила обо всем, что было нужно, с управляющим и затем вместе с Арсиной начала работать в мастерской, где обе они вот уже два года, день за днем, по несколько часов сряду склеивали готовые листы папируса.

Как часто Арсиноя в начале недели или когда чувствовала особенное отвращение к работе, отказывалась идти с ней на фабрику; сколько красноречия должна была употреблять Селена, как много лент покупать, как часто соглашаться на участие в каком-нибудь зрелище, посещение которого поглощало половину заработной платы за целую неделю, чтобы побудить Арсиною не оставлять работы не дать ей привести в исполнение свою угрозу — рассказать отцу, где они совершали свои так называемые прогулки.

Когда Селена, которую донесли до самой двери мастерской, уселась на своей обычной рабочей скамье перед длинной доской, на которой нужно было склеить сотню готовых листов папируса, она едва была в состоянии снять с лица покрывало.

Она растянула перед собой верхний лист, обмакнула кисточку в склянку с клеем и начала водить ею по краю листа; но среди этой работы силы оставили ее, и легкое

орудие выпало из ее пальцев. В отчаянии она положила руки на стол, прижалась лицом к ладоням и тихо заплакала.

В то время как ее слезы медленно текли, плечи вздрагивали и конвульсии одна за другой заставляли дрожать все ее тело, одна женщина, сидевшая напротив Селены, подозвала к себе горбунью и тихо пошептала с ней. Затем крепко и сердечно пожала ей руку и посмотрела в лицо своими большими, холодными, но чистыми и ярко блестящими глазами.

Тогда горбунья молча села на пустое место Арсиной возле Селены и подвинула к женщине меньшую половину лежавших перед Селеной листов. И обе они начали прилежно клеить.

Они уже долго были заняты этой работой, когда Селена подняла наконец голову и снова попробовала взять кисть. Она посмотрела вокруг себя и увидела свою спутницу, которую она даже не поблагодарила за помощь и которая теперь усердно работала, сидя на месте Арсиной.

Своими все еще влажными от слез глазами она вопросительно посмотрела на соседку; и так как последняя, вполне отдавшись своей работе, не заметила взгляда больной, то Селена сказала скорее удивленным, чем приветливым шепотом:

— Это место моей сестры. Сегодня ты можешь им пользоваться, но, когда фабрика снова откроется, сестра должна опять сидеть рядом со мной.

— Знаю, знаю, — застенчиво отвечала работница. — Я только приготовлю вон те твои листы, так как мне нечего больше делать и по твоему лицу видно, какую боль причиняет тебе нога.

Все, что случилось, было для Селены так странно и ново, что она не поняла, что ей говорила соседка, и отвечала, пожимая плечами:

— Заработай, сколько можешь, я не возражаю: ведь у меня сегодня все равно ничего не выйдет.

Горбунья покраснела и нерешительно взглянула на сидевшую против нее женщину. Та тотчас же оставила свою кисточку и, обращаясь к Селене, сказала:

— Мария не то хотела сказать, дитя мое. Она взяла на себя одну половину твоей дневной работы, а я другую, чтобы твоя болезнь не лишила тебя дневной платы.

— Неужели я кажусь такой бедной? — спросила дочь Керавна, и яркий румянец залил ее бледные щеки.

— Совсем нет, дитя, — отвечала женщина. — Ты и

твоя сестра, наверное, принадлежите к хорошему дому; но доставь нам удовольствие и позволь помочь тебе.

— Я не знаю...— проговорила Селена, запинаясь.

— Если бы ты видела, что мне трудно наклониться, а ветер сдул бы вот эти листы на пол, то неужели ты не подняла бы их охотно вместо меня? — спросила женщина. — То, что мы делаем теперь для тебя, только немногим больше подобной услуги. Мы покончим в несколько минут, и затем нам можно будет уйти вслед за другими. Я, как тебе известно, ваша надзирательница и все равно должна оставаться здесь до тех пор, пока последняя из вас, клейщиц, не покинет мастерской.

Селена, разумеется, чувствовала, что она обязана этим двум женщинам благодарностью за их добрую услугу, и все-таки эта услуга казалась ей как бы милостыней. Поэтому она быстро и все еще с нежной краской на щеках отвечала:

— Я очень признательна вам за ваше доброе предложение, очень признательна; но здесь ведь работает каждый для себя, и я не могу позволить, чтобы вы подарили мне то, что заработали самим.

Этот отказ сорвался с уст Селены с решительностью, далеко не лишенной высокомерия, но это не смутило добродушного спокойствия женщины, которую работницы обычно называли «вдовой Анной».

И, посмотрев на Селену спокойным взглядом больших глаз, она ласково отвечала:

— Мы работали для тебя охотно, дочь моя, и божественный мудрец сказал, что давать лучше, чем принимать. Понимаешь ли ты, что это значит? В настоящем случае это значит, что хорошим людям гораздо приятнее оказать услугу, чем получить хороший подарок. Ты сказала, что благодарна нам; неужели же теперь ты хочешь испортить нам нашу радость?

— Я не совсем понимаю...— отвечала Селена.

— Не понимаешь? — прервала ее вдова Анна. — Так попробуй оказать другим какую-нибудь услугу с сердечной любовью, и ты увидишь, как это приятно, как радуется при этом сердце, как это превращает всякий труд в удовольствие. Не правда ли, Мария, ведь мы искренне поблагодарим Селену, если она не помешает нашему удовольствию поработать за нее?

— Я делаю это так охотно,— сказала та,— а вот я и кончила.

— И я тоже,— сказала вдова, прижимая платком по-

следний лист к другому, ближайшему, и затем соединяя законченные ею полоски с полосками Марии.

— Очень вам благодарна,— пробормотала Селена, опустив глаза, и поднялась со скамейки. При этом она попробовала встать на больную ногу, но почувствовала такую боль, что снова с легким криком опустилась на скамейку.

Вдова подбежала к ней, села возле нее, с нежной осторожностью взяла поврежденную ногу Селены в свои изящные, узкие руки, внимательно осмотрела ее, слегка пощупала и затем в ужасе воскликнула про себя:

— Спаситель мой! И с такой ногой она шла по улицам?

Затем она повернула лицо к Селене и сказала сердечно:

— Бедная, бедная девочка! Как должна ты страдать! Как въелись ремни сандалий в распухшее тело! Это ужасно! Впрочем... Ты далеко отсюда живешь?

— Я могу дойти домой в полчаса.

— Невозможно! Дай мне сперва посмотреть на моей табличке, сколько ты можешь требовать у казначея. Я принесу эти деньги, и тогда увидим, что можно сделать для тебя. А ты, дочь моя, покамест посиди спокойно. Мария, поставь ей скамеечку под ноги и осторожно распусти ей ремни на лодыжке. Не бойся, дитя, у нее нежная, осторожная рука.

Она встала, поцеловала Селену в лоб и в глаза, а та со слезами обняла ее и голосом, дрожавшим от волнения, повторила только:

— Анна, милая Анна!

Подобно тому как в октябрьский день теплый, солнечный свет напоминает путнику о минувшем лете, так весь облик и все действия вдовы напоминали Селене о давно утраченной любви и заботливости покойной матери. К горечи ее страданий примешивалось что-то отраднo-сладкое. Она с чувством благодарности кивнула вдове и покорно осталась на своем месте. Так отратно было снова быть послушной, повиноваться охотно, чувствовать себя ребенком, ощущать в своем сердце благодарность за эту любовную заботливость.

Вдова удалилась, а Мария встала перед Селеной на одно колено, чтобы распустить и снять ремни, которые вдавливались в распухшую ногу.

Мария принесла воды и освежила ее лоб и воспаленную рану на голове. Когда Селена снова открыла глаза,

Анна вернулась. Вдова погладила больную по густым мягким волосам. Селена улыбнулась и спросила тихим голосом:

— Я спала?

— Ты закрыла глаза, милое дитя, — отвечала надзирательница. — Вот плата твоя и твоей сестры за двенадцать дней. Не двигайся, я положу деньги в твою кошелку. Марии не удалось развязать сандалию, но сейчас придет врач, которого мастерская держит для своих людей, и он укажет, что нужно сделать с твоей больной ногой. Управляющий велел приготовить для тебя носилки. Где вы живете?

— Мы? — спросила Селена с испугом. — Нет, нет, я пойду домой пешком.

— Но, милое дитя, ты не дойдешь вот до того порога, даже если мы обе будем вести тебя.

— Так велите принести носилки с улицы. Мой отец... впрочем, об этом нет надобности знать никому!.. Я не могу...

Вдова Анна кивнула Марии, чтобы та вышла. Когда дверь за горбуньей затворилась, Анна взяла стул, села напротив Селены, положила руку на колено ее здоровой ноги и сказала:

— Теперь мы одни. Я не болтлива и, разумеется, не употреблю во зло твоего доверия. Скажи мне спокойно, к какому дому ты принадлежишь? Ты веришь, что я желаю тебе добра, не правда ли?

— Да, — искренне отвечала Селена и посмотрела в правильно очерченное и обрамленное гладкими каштановыми волосами лицо вдовы, каждая черта которого носила отпечаток сердечной доброты. — Да, ты даже напоминаешь мне мою мать.

— Я могла бы быть твоей матерью, — сказала Анна.

— Мне уже девятнадцать лет.

— Уже? — улыбнулась Анна. — Моя жизнь, милая девушка, вдвое длиннее твоей. У меня тоже был ребенок, сын, и он был взят от меня еще маленьким. Теперь он был бы одним годом старше тебя, дочь моя. Жива ли твоя мать?

— Нет, — отвечала Селена с прежней горечью, вошедшей у нее в привычку, — боги отняли ее у нас. Ей теперь еще не было бы, как и тебе, сорока лет, и она была бы так же красива и ласкова, как ты. Когда она умерла, то оставила, кроме меня, еще семерых детей, все маленькие, и между ними одного слепого. Я самая старшая и делаю

для них, что могу, чтобы они не погибли.

— Бог поможет тебе в этом прекрасном деле.

— Боги! — вскричала Селена с горечью. — Они позволяют им расти; об остальном должна заботиться я одна. Ах, моя нога, моя нога!

— О ней мы теперь и подумаем прежде всего. Твой отец жив?

— Да.

— И он не должен знать, что ты работаешь здесь? Селена кивнула головой.

— Он беден, но знатного происхождения?

— Да.

— Кажется, идет врач. Неужели я не узнаю имени твоего отца? Однако это нужно, чтобы доставить тебя домой.

— Я дочь управляющего дворцом Керавна, и мы живем во дворце на Лохиаде, — отвечала Селена с быстрой решимостью, но тихим шепотом, чтобы ее не услышал врач, отворивший дверь комнаты. — Никто, а мой отец в особенности, не должен знать, что мы делаем здесь.

Вдова успокоительно кивнула ей головой, поклонилась пожилому врачу, который явился в мастерскую вместе со своим помощником, подвела его к больной, освежила мокрым полотенцем лоб и рану девушки, поддерживала ее и целовала в щеку, когда боль становилась невыносимой, между тем как старый врач осматривал больную ногу и разрезал острыми ножницами ремни на поврежденной лодыжке. Несколько стонов, вырвавшихся из груди, несколько внезапных криков выдавали, какую страшную, нестерпимую боль чувствовала Селена.

Когда наконец ее нежная, прекрасной формы, но теперь обезображенная большой опухолью нога было освобождена от уз и лодыжка выдержала давление пальца врача, он вскричал, обращаясь к своему помощнику.

— Посмотри, Ипполит, с такой штукой девушка шла по улице! Если бы кто-нибудь другой рассказал мне об этом случае, я ответил бы ему, чтобы он приберег эту ложь для себя. Фибула на суставе треснула пополам, и девушка бежала с переломленной костью дальше, чем я могу пройти пешком. Клянусь собакой, девушка, это будет чудом, если ты не останешься хромой на всю жизнь.

Утомленная до смерти, Селена слушала врача с закрытыми глазами. При последних словах она слегка пожала плечами, презрительно скривив губы.

— Остаться хромой тебе все равно? — спросил старик, от острых глаз которого не ускользало ни одно движение пациентки. — Это — твое дело; мое же дело — позаботиться о том, чтобы ты из моих рук не вышла калеккой. Случай совершить чудо представляется нам не каждый день, и, к счастью, ты сама даешь мне дельного помощника, не какого-нибудь там сердечного дружка или другого парня в этом роде (хотя ты непозволительно красива), а свою чудную, чудную, здоровую юность. Дырка на голове тоже воспалена больше чем следует. Освежайте ее почаще прохладной водой. Где ты живешь, девушка?

— На расстоянии около получаса отсюда, — отвечала за Селену вдова Анна.

— Так далеко ее теперь нельзя даже нести на носилках, — сказал врач.

— Я должна отправиться домой! — вскричала Селена решительно, делая попытку подняться.

— Вздор! — вскричал врач. — Кроме того, я просил бы не делать подобных движений. Спокойно лежать, терпеть, быть послушной, иначе эта дурная штука еще прискверно кончится. Лихорадка уже началась и сегодня вечером еще усилится. Она не имеет никакого отношения к сломанной ноге и связана главным образом с воспаленной раной на голове. Нельзя ли, — продолжал он, обращаясь к Анне, — устроить ей здесь постель, на которой она могла бы лежать до тех пор, пока мастерская не откроется снова?

— Скорее я умру! — вскричала Селена и попыталась высвободить ногу из рук врача.

— Тише, тише, милая девочка, — упрашивала вдова успокаивающим тоном. — Я знаю, куда тебя отнести. Мой дом находится в саду госпожи Павлины, вдовы Пудента, недалеко, у самого моря, не дальше тысячи шагов отсюда. Там ни в мягкой постели, ни в заботливом уходе недостатка не будет. Хорошие носилки готовы, и мне кажется...

— Это все-таки порядочно далеко, — прервал ее врач, — но разумеется, за ней нигде не может быть лучшего ухода, чем у тебя, Анна. Так попробуем; и я провожу ее, чтобы переломать ноги проклятым носильщикам, если они не будут идти ровным шагом.

Селена не противилась этому распоряжению и охотно приняла питье, поданное ей врачом, но тихо плакала,

когда ее укладывали на носилки и осторожно подложили подушку под ногу.

На улице, куда ее вынесли через боковые ворота, ее сознание вновь затуманилось, и точно сквозь сон слышала она голос врача, напоминавшего носильщикам об осторожности, точно сквозь сон видела на улице людей, проходивших мимо нее или проезжавших верхом и в повозках. Затем она заметила, что ее несут через большой сад, и, наконец, смутно почувствовала, как ее укладывают в постель.

С этих пор ею овладели грезы; но неоднократные подергивания лица и быстрое движение руки, хватавшейся за голову, доказывали, что действительность не вполне ушла от нее.

Вдова Анна сидела у ее постели и действовала в точности по указаниям врача, который оставил Селену только тогда, когда остался вполне доволен постелью и положением на ней больной.

Мария сидела возле вдовы и помогала ей смачивать компрессы и делать бинты из старого белья.

Когда Селена начала дышать ровнее, вдова Анна сделала своей помощнице знак придвинуться к ней как можно ближе и тихо спросила:

— Можешь ли ты остаться здесь до завтрашнего утра? Мы должны ухаживать за больной попеременно, потому что, может быть, нам придется не спать много ночей. Какой сильный жар в ране на голове!

— Да, — отвечала Мария, — только я должна сказать матери, чтобы она не беспокоилась.

— Хорошо, в таком случае сходи, пожалуйста, еще в одно место, так как я теперь не могу оставить бедняжку.

— Ее родные будут беспокоиться.

— К ним-то тебе и нужно сходить; но никто, кроме нас двоих, не должен знать, кто она. Вели вызвать сестру Селены и расскажи ей, что случилось. Если ты застанешь дома ее отца, то скажи ему, что я ухаживаю за его дочерью и что врач строго запретил ей не только ходьбу, но и передвижение на носилках. Он не должен знать, что Селена принадлежит к числу наших работниц. Не упоминай ему также ни одним словом о мастерской. Если же ты не застанешь дома ни Арсиной, ни отца, то скажи только тому, кто отворит тебе дверь, что я взяла больную к себе и притом охотно. О нашей мастерской ни слова, помни это. И еще одно: бедная девушка, наверное, не пошла бы, несмотря на свою болезнь, на работу,

если бы семья не нуждалась в ее заработке. Отдай эти драхмы ее родным и скажи, что мы их нашли при Селене, как это и есть на самом деле.

Плутарх, один из богатейших граждан в Александрии, которому принадлежала и папирусная мастерская, где работали Селена и Арсиноя, добровольно вызвался позаботиться о «приличном» приеме жен и детей своих сограждан, которые сегодня должны были собраться в одном из небольших театров города.

Кто знал его, тому было известно, что слово «прилично» в его устах значило то же, что «по-царски».

Дочь судостроителя подготовила Арсиною к большому великолепию, но уже при самом входе в театр девушка увидела больше, чем ожидала. Когда ее отец назвал свое и ее имя, то мальчик, поместившийся в корзине с цветами, подал ей великолепный букет, а другой, сидевший верхом на дельфине, преподнес в виде входного билета изящно вырезанный из слоновой кости и оправленный в золото листок с приделанной к нему булавкой, который приглашенные должны были носить на пеплуме в виде застёжки. Подобные подарки подносились у каждых ворот театра входившим в него женщинам.

Проходы, которые вели на места для зрителей, были полны благоухания, и Арсиноя, уже не раз бывшая в этом театре, едва узнала его, так роскошно он был украшен цветами и тканями.

Да и видел ли кто-нибудь до сих пор, чтобы на первых местах сидели не мужчины, а женщины и девушки? Ведь дочерям граждан вообще дозволялось посещать зрелища только в редких, совершенно особенных случаях.

Улыбаясь словно прежнему товарищу, отставшему в своей карьере, смотрела Арсиноя вверх на пустые места самых дешевых рядов полукруглого амфитеатра, где она, когда ей приходилось прибегать к своему собственному тощему кошельку, чтобы попасть в театр, не раз готова была умереть от радости, горя или сострадания, хотя там, на самом верху под открытым небом, служившим театру вместо свода, сквозной ветер не прекращался никогда. В особенности там приходилось страдать летом от тентов, прикрывавших театр с солнечной стороны ради тени. Этими огромными кусками парусины люди управляли посредством толстых канатов, и, когда они

тащили эти канаты сквозь кольца, в которых те свободно двигались, от этого происходил такой шум, что нужно было затыкать уши. Часто приходилось также отстранять голову, чтобы не задеть тяжелый канат или тент.

Обо всем этом Арсиноя вспоминала теперь не больше, чем мотылек, играющий на солнце, может думать о безобразной куколке, из которой он вылетел на свободу.

Сияя от радостного волнения, шла она к своему месту за юной спутницей, чернокудрой дочерью судостроителя. Она замечала многочисленные взгляды, которые устремлялись к ней; но это только усиливало ее радость, так как она знала, что им есть на что посмотреть, а нравиться многим — это, думала она, и есть самое лучшее удовольствие.

В особенности сегодня! Разве те, кто смотрел на нее, не были первыми гражданами Александрии? Вон там стоят они, на сцене, и между ними находится добрый верзила Поллукс и машет ей рукой в знак приветствия. Она не могла стоять спокойно на ногах, а руки заставила себя скрестить на груди, чтобы не выдать своего глубокого волнения.

Раздача ролей уже началась, так как в ожидании Селены Арсиноя запоздала на полчаса.

Как только она заметила, что взгляды, которые бросали на нее при входе в театр, обратились к другим предметам, она сама начала осматриваться кругом.

Она села на одну из коротких скамеек на самом нижнем и самом узком конце клиньев, которые расширялись кверху и, отделяясь один от другого лестницами для входящих и выходящих, образовывали амфитеатр.

Здесь она была окружена девушками и женщинами, которые должны были принять участие в представлениях.

Места участников были отделены от сцены оркестрой, откуда легко было взойти на сцену по ступеням, по которым в другое время поднимались на хоры.

Сзади Арсинои, на все расширявшихся кругах амфитеатра, сидели матери, отцы и мужья участвовавших, к которым присоединился и Керавн в паллии шафранного цвета, а также довольно значительное число жадных до зрелищ матрон и престарелых граждан, принявших приглашение Плутарха.

Между молодыми женщинами и девушками Арсиноя увидела много таких, красота которых поразила ее; однако же она любовалась ими без зависти. Ей не прихо-

дило в голову сравнивать себя с ними, так как она хорошо знала, что очень хороша собой и что ей не надо нигде прятаться, даже здесь, и этого ей было достаточно.

Непрерывный многоголосый гул, исходивший от зрителей, и тонкое благоухание, поднимавшееся с алтаря в оркестре, таили в себе нечто опьяняющее. И никто не мешал Арсиное озираться кругом, потому что ее спутница нашла подруг, с которыми болтала и смеялась. Другие девушки и женщины скромно глядели перед собой или рассматривали остальных зрителей и зрительниц, или устремляли все свое внимание на сцену.

Арсиноя скоро последовала примеру последних и не только ради Поллукса, который по желанию префекта Титиана и вопреки противодействию своего хозяина Папия был включен в число художников, предназначенных для распоряжения зрелищами.

Не один раз видела она послеполуденное солнце, сиявшее так же ярко, как теперь в театре, и такой же голубой и безоблачный небесный свод над зрительной залой, однако же все имело сегодня совершенно иной вид на возвышенной плоскости позади оркестры.

Богатый колоннами фасад царского дворца, выстроенного из разноцветного мрамора и украшенного золотом, служил и теперь, как всегда, задним планом сцены, но в этот раз от пилястра к пилястру, от колонны к колонне извивались гирлянды из свежих и ароматных цветов. Множество художников, самых первых в городе, ходили с табличками и грифелями в руке среди десятков девушек и женщин, а сам Плутарх и окружавшие его господа составляли хор, в котором певцы то расходились, то снова сходились.

На правой стороне сцены возвышались три пурпурных ложа, на одном из которых сидел префект Титиан со своей женой Юлией, с грифелем в руках, словно художник; на другом лежал, растянувшись, Вер, увенчанный, как всегда, розами. Третье, предназначенное для Плутарха, оставалось незанятым.

Претор, не стесняясь, прерывал каждую речь, точно он был здесь хозяином, и его замечания принимались с громко выраженным согласием или с одобрительным смехом.

Фигура богатого Плутарха, остававшаяся навсегда в памяти каждого, кто видел его хоть раз, не была совершенно незнакома Арсиное, так как за несколько дней перед тем он в первый раз после многих лет явился с ар-

хитектором в свою папирусную мастерскую, чтобы распорядиться относительно украшения ее дворов и помещений для приема императора. Тут он зашел и в отделение, где работала Арсиноя, и ущипнул ее за щеку, сказав несколько шутливых и ласкательных слов.

Теперь он вразвалку ходил по сцене.

Говорили, что ему около семидесяти лет. Ноги его были наполовину парализованы, но непрерывно и быстро, хотя и произвольно, двигались под тяжелым, наклонившимся далеко вперед телом, которое справа и слева поддерживали двое статных юношей.

Его благородная голова, вероятно, в молодости была необыкновенно красива. Теперь его череп был покрыт париком с длинными каштановыми кудрями, брови и ресницы были выкрашены очень темной краской, а щеки так густо набелены и размалеваны розовыми румянами, что лицо его как будто застыло в улыбке. На его кудрях красовался венок из редких цветов, похожих на гроздь винограда. Белые и красные розы в изобилии выглядели из-за складок его пышной тоги и были прикреплены золотыми пряжками, на которых сверкали крупные драгоценные камни. Все края его плаща были затканы розовыми почками, и к каждой из них был прикреплен изумруд, мерцавший подобно блестящему жуку.

Поддерживавшие его молодые люди казались частью его особы. Он обращал на них так мало внимания, словно они были костылями, а им не нужно было ни одного слова для того, чтобы знать, куда он желает направиться, где остановиться и отдохнуть.

Издали его лицо казалось лицом юноши, вблизи же оно походило на раскрашенный гипсовый бюст с большими подвижными глазами.

Софист Фаворин сказал про него, что этот прекрасный, дрыгающий ногами труп можно было бы оплакивать, если бы не приходилось смеяться над ним; самому же Плутарху приписывали слова, что он насильно удерживает при себе вероломную молодость.

Александрийцы прозвали его шестиногим Адонисом, так как он нигде не показывался без поддерживавших его двух юношей. Услышав об этом прозвище в первый раз, он сказал: «Им следовало бы назвать меня скорее шестируким». И действительно он был щедр, заботился о своих работниках, хорошо содержал своих рабов, обогащал своих вольноотпущенников и время от времени

приказывал раздавать народу крупные суммы золотом, серебром и хлебом.

Арсиноя с состраданием смотрела на бедного старика, который при всем своем искусстве и со всем своим золотом не мог возвратить себе молодость.

В худощавом человеке, который только что подошел к Плутарху, она узнала продавца художественных произведений Габиния, которому ее отец указал на дверь после спора по поводу мозаики.

Но тут разговор между этими двумя людьми прервался, так как распределение женских ролей для группы «Въезд Александра в Вавилон» окончилось. Около пятидесяти женщин и девушек были отпущены со сцены и сошли в оркестру.

Экзегет, высшее должностное лицо города, выступил теперь вперед и принял от скульптора Папия новый список. Он быстро пробежал его глазами и отдал сопровождавшему его глашатаю, а последний громко прокричал:

«Именем высокого экзегета и жреца храма Александра прошу вашего внимания, жены и дочери македонских мужей и римских граждан! Мы приступаем теперь к новому отделу нашего представления житейских судеб великого македонца: «Свадьба Александра с Роксаной»,— и я прошу войти на сцену тех, которых наши художники имеют в виду для этой части зрелища».

После этого воззвания он прокричал сильным, далеко раздававшимся голосом длинный ряд имен при полном безмолвии, воцарившемся в обширном помещении театра.

На сцене тоже было все тихо; только Вер вполголоса сделал Титиану несколько замечаний, а Габиний со свойственной ему нервной настойчивостью нашептывал на ухо Плутарху длинные фразы, на которые старик отвечал то кивком головы, выражавшим согласие, то отрицательными движениями руки.

Арсиноя с затаенным дыханием и сильно бьющимся сердцем прислушивалась к голосу глашатая. Беспрестанно краснея, она вздрогнула и в смущении посмотрела на букет, который держала в руке, когда со сцены громко и явственно для всех присутствовавших провозгласили:

— Арсиноя, вторая дочь македонянина и римского гражданина Керавна!

Дочь судостроителя уже была вызвана до нее и тотчас же оставила свое место, Арсиноя же скромно дожи-

далась, пока не встали еще несколько матрон. Она присоединилась к ним и, спустившись сперва в оркестру, а затем поднявшись по ступеням, вступила на сцену в одном из последних звеньев шествия.

Там женщин и девушек выстроили в два ряда, и художники рассматривали их с почтительной любезностью. Арсиноя вскоре заметила, что мужчины глядят на нее больше и дольше, чем на других девушек.

Даже и тогда, когда распорядители празднества собралась в одну группу, чтобы посоветоваться, они упорно смотрели на нее и говорили о ней; это она чувствовала. От нее не ускользнуло также и то, что она была мишенью для многих взглядов зрителей, сидевших в театре, и теперь ей казалось, будто со всех сторон на нее указывают пальцами.

Она не знала, куда девать глаза, и застыдилась. Все же ее радовало то, что ее заметило такое множество людей; и между тем как она в смущении опустила глаза, чтобы скрыть свое удовольствие, Вер, к которому подошли художники, вскричал, подтолкнув локтем префекта Титиана:

— Прелестна, очаровательна! Точно Роксана, сошедшая с картины.

Арсиноя слышала эту похвалу и, подозревая, что она относится к ней, смутилась еще больше прежнего. Ее застенчивая улыбка превратилась в выражение веселой, хотя и робкой надежды на счастье, которое страшило своим величием.

В эту минуту один из художников произнес ее имя, и, когда она решилась поднять глаза, чтобы посмотреть, не Поллукс ли это, она заметила богача Плутарха, который со своими живыми костылями и с сухопарым торговцем художественных произведений Габинием осматривал ряды женщин и девушек, стоявших рядом с ней.

Скоро Плутарх очутился совсем близко от нее, подойдя вприпрыжку с помощью своих живых подпор; он отстранил Габиния, поцеловал тыльную сторону собственной руки, сделал ею знак Арсиное и, подмигнув ей своими большими глазами, сказал:

— Знаю, знаю! Нечто подобное не легко забывается. Слоновая кость и красные кораллы.

Арсиноя испугалась; кровь отхлынула от ее щек, вся радость исчезла из ее сердца, когда старик велел поставить себя напротив нее и ласково сказал:

— Ба! Бутончик из папирусной мастерской между

гордыми розами и лилиями! Из мастерской — прямо в мое собрание! Ничего, ничего, на красоту везде смотрят с удовольствием. Я не спрашиваю, как ты попала сюда, а только радуюсь.

Арсиноя наполовину закрылась рукой, но он три раза дотронулся средним пальцем до ее белого плеча и заковылял дальше, тихонько посмеиваясь про себя.

Габиний услышал слова Плутарха и, когда они отошли на несколько шагов от Арсиной, спросил его с живым негодованием:

— Так ли я слышал? Работница из твоей мастерской здесь, среди наших дочерей?

— Ну да; пара рабочих рук среди совсем праздных, — весело ответил старик.

— И она втерлась сюда! Надо ее удалить.

— Ни в коем случае! Она очаровательна!

— Это возмутительно! Здесь, в этом собрании!

— Возмутительно? — переспросил его Плутарх. — Нисколько! Не следует быть таким разборчивым. Не можем же мы набрать дочерей одних антикваров.

Затем он прибавил успокаивающим тоном:

— Я хотел сказать, что твоему тонкому чутью к красоте форм должно бы понравиться это милое существо. Или ты боишься, что она покажется художникам более подходящей для роли Роксаны, чем твоя прелестная дочь? Послушаем-ка, что говорят господа вон на той стороне. Посмотрим, что у них там такое?

Эти слова относились к громкому разговору возле мест, где сидели префект и претор.

Эти два человека и с ними большинство живописцев и скульпторов были того мнения, что Арсиноя в роли Роксаны произвела бы изумительный эффект.

Они доказывали, что она и фигурой и лицом необыкновенно напоминает прекрасную дочь бактрийского царя, как ее изобразил Аэтион, картина которого положена в основу этой части представления. Только ваятель Папий и двое из его товарищей объявили себя решительно против этого выбора и с жаром уверяли, что только одна, а именно Праксилла, дочь антиквара Габиния, была бы достойна выступить перед императором в роли невесты Александра. Все трое находились в деловых отношениях с отцом этой стройной и на самом деле очень красивой девушки и желали угодить богатому и ловкому продавцу их произведений. От усердия они перешли даже на запальчивый тон, когда Габиний приблизился

вместе с Плутархом к спорившим, и они были уверены, что он слышит их.

— И кто такая та, другая девушка? — спросил Папий, указывая на Арсиною, когда Плутарх и Габиний подходили к ним.— Против ее красоты ничего нельзя сказать; но она более чем просто одета, на ней нет никаких украшений, о которых стоило бы говорить, и можно поставить тысячу против одного, что ее родители не в состоянии снабдить ее такими богатыми платьями и такими драгоценностями, в которых, конечно, не должно быть недостатка у Роксаны, выходящей замуж за Александра. Азиатка должна выступить в шелку, в золоте и драгоценных камнях. Мой друг сумеет одеть свою Праксиллу так, что блеск ее наряда изумил бы даже самого великого македонского царя. Но кто отец той хорошенькой девочки, к которой довольно хорошо идут эти голубые ленты в волосах, две розы и белое платьице?

— Твое соображение верно, Папий,— прервал его Габиний с сухой резкостью.— О девушке, о которой вы говорите, не может быть и речи. Я говорю это не ради моей дочери, а потому, что все неблагопристойное мне ненавистно. Едва ли можно понять, откуда это молодое создание почерпнуло смелость втереться сюда. Правда, хорошенькое личико отпирает замки и отодвигает засовы, но она,— прошу не пугаться,— она только работница из папирусной мастерской нашего дорогого хозяина Плутарха.

— Это неправда,— прервал его Поллукс с негодованием.

— Сдержи свой язык, молодой человек,— отвечал Габиний.— Я беру тебя в свидетели, благородный Плутарх.

— Пусть она будет, чем хочет,— отвечал старик с досадой.— Она похожа на одну из моих работниц, но если бы даже она пришла прямо от стола, на котором клеивают папирус, то с таким лицом и с такой фигурой она была бы здесь и везде совершенно у места. Таково мое мнение.

— Браво, мой прекрасный друг! — вскричал Вер и кивнул старику.— Таким исключительно очаровательным созданиям, как та девушка, император придает гораздо больше значения, чем вашим старым грамотам на звание гражданина и туго набитым кошелькам.

— Совершенно верно,— подтвердил префект.— В том же, что она девушка свободная, а не раба, я готов поклясться. Друг Поллукс, ты вступился за нее.— что тебе известно о ней?

— То, что она дочь дворцового управителя Керавна, которую я знаю с детства,— отвечал молодой художник.— Он римский гражданин и притом из старинного македонского дома.

— Может быть, даже царской крови,— заметил, улыбаясь, Титиан.

— Я знаю этого человека,— поспешно проговорил Габиний.— Это надменный шут с весьма скудными средствами.

— Мне думается,— с аристократическим спокойствием прервал Вер возбужденного купца скорее скучающим, чем нелюбезным тоном,— мне думается, что здесь неуместно держать речь относительно характера отцов этих девушек и женщин.

— Но он беден! — вскричал антиквар с раздражением.— Несколько дней назад он предлагал мне купить его жалкие редкости; я, однако, не мог...

— Нам жаль тебя, если эта сделка не состоялась,— снова прервал его Вер на этот раз с изысканной вежливостью.— Подумаем прежде о лицах, а потом уже о нарядах. Итак, отец этой девушки римский гражданин?

— Член Совета и в своем роде родовитый человек,— сказал Титиан.

— А мне,— прибавила его супруга Юлия,— нравится эта очаровательная девушка, и если ей достанется главная роль, а ее отец беден, как ты утверждаешь, мой друг, то я позабочусь о ее наряде. Император будет в восторге от такой Роксаны.

Адвокаты Габиния замолчали; сам он трясся от разочарования и злости, но его гнев достиг высшей степени, когда Плутарх, которого он, как ему думалось, прежде привлек на сторону своей дочери, попытался еще ниже обыкновенного склонить свой и без того согбенный корпус перед Юлией и произнести с изящным жестом сожаления:

— Вот обманул же меня на этот раз мой глаз знаток! Девочка похожа на одну из моих работниц, очень похожа; но теперь я хорошо вижу, что она, бесспорно, обладает чем-то таким, чего той недостает. Я ее оскорбил, и потому я у нее в долгу. Не позволишь ли ты мне, благородная госпожа Юлия, доставить в твое распоряжение украшения для наряда нашей Роксаны? Мне, может быть, посчастливится найти что-нибудь хорошенькое. Милое дитя! Я сейчас иду извиниться перед ней и объявить ей наше желание. Позволишь, благородная гос-

пожа Юлия? Позволяете, господа?

Через несколько минут на сцене, а вскоре затем и в зале стало известно, что дочь Керавна Арсиноя избрана для роли Роксаны.

— Кто такой Керавн?

— Как могла ускользнуть эта выдающаяся роль от дочерей почтеннейших и богатейших домов Александрии?

— Так всегда и должно быть, когда дают волю этому непочтительному народу — художникам!

— Откуда возьмет бедняжка таланты, чтобы заплатить за костюм азиатской царевны, невесты Александра?

— Об этом позаботятся богатый Плутарх и супруга префекта.

— Нищие!

— Как пристали бы нашим дочерям драгоценные камни нашего собственного дома!

— Неужели мы будем показывать императору только хорошенькие рожицы, а не то, чем мы богаты, что есть у нас?

— А что, если Адриан спросит об этой Роксане и придется сказать ему, что ей сделали наряд в складчину?

— Подобные вещи возможны только в Александрии.

— Говорят, будто она работает в мастерской Плутарха. Это, разумеется, неправда; однако же этот старый нарумяненный повеса все еще любит хорошенькие личики. Это он контрабандой ввел ее сюда, поверьте мне! Дыма не бывает без огня, а что она получает деньги от старика — это бесспорно.

— За что?

— Если хочешь это знать, спроси у жреца Афродиты. Тут нечему смеяться, это позорно, возмутительно!

Подобными замечаниями встречена была весть об избрании Арсинои для роли Роксаны, а в душе Габиния и его дочери она возбудила ненависть и горькую злобу.

Праксилла была занесена в список в качестве подружки невесты, и она подчинилась этому без сопротивления. Но при возвращении домой она молча кивнула отцу головой, когда тот сказал ей:

— Пусть теперь все идет своим путем. За несколько часов перед началом представления я объявлю им, что ты заболела.

Но избрание Арсинои вызвало также и радость.

Наверху, в средних рядах театра, сидел Керавн, широко расставленными ногами, сопя и пыхтя от несказанного удовольствия и слишком гордый для того, что-

бы убрать ноги даже тогда, когда брат архидикаста¹ пытался протиснуться возле его фигуры, занимавшей два места.

Арсиноя, от тонкого слуха которой не ускользнули ни обвинения Габиния, ни защита честного верзилы Поллукса, сначала готова была провалиться сквозь землю от стыда и страха; но теперь ею овладело такое ощущение, как будто она могла летать, подобно окрыленному Счастью.

Никогда еще она не радовалась так сердечно и едва вошла со своим отцом в первый темный переулок, как бросилась ему на шею, поцеловала его в обе щеки и затем рассказала ему, как добра была к ней госпожа Юлия, супруга префекта, и с какой сердечной любезностью вызвалась заказать для нее дорогую одежду.

Керавн не имел ничего против этого и, к удивлению, не счел ниже своего достоинства, чтобы Арсиноя получила украшения для своего наряда от богатого Плутарха.

— Все видели,— сказал он с пафосом,— что нам нечего бояться делать то же, что и другие граждане; но, чтобы сделать свадебный наряд для Роксаны, нужны миллионы, и, что мы не обладаем ими, в этом я охотно признаюсь своим друзьям. Откуда бы ни явился наряд, это безразлично; так или иначе ты будешь первая между первыми девушками города, и потому я доволен тобой, мое дитя. Завтра состоится последнее собрание, и, может быть, Селена тоже получит выдающуюся роль. К счастью, у нас нет недостатка в средствах, чтобы одеть ее прилично... Когда примет тебя супруга префекта?

— Завтра около полудня.

— Так завтра мы купим новое, хорошее платье.

— Но хватит ли денег также и на браслет лучше? — спросила Арсиноя ласкающим тоном.— Мой так узок и беден.

— Ты его получишь, так как заслужила его,— отвечал Керавн с достоинством.— Ты должна потерпеть до послезавтрашнего дня: завтра золотых дел мастера не торгуют по случаю праздника.

Арсиноя еще никогда не видала отца таким веселым и разговорчивым, как теперь, а между тем путь от театра к Лохиаде был не короток, и уже давно прошел тот ранний час, когда Керавн обыкновенно ложился спать.

Когда отец и дочь дошли до дворца, было уже довольно поздно, так что после того, как Арсиноя сошла со сцены, подходящие лица для трех других сцен из

жизни Александра были выбраны при свете факелов, ламп и свечей. Прежде чем собрание разошлось, гостей Плутарха угостили вином, сладким печеньем, сиропами из фруктов, паштетами из устриц и другими лакомствами.

Управляющий дворцом воздал должную честь благородному напитку и вкусным яствам, а когда он чувствовал себя сытым, то обыкновенно становился добрее, после же умеренного наслаждения вином — веселее, чем обыкновенно. Теперь он был и добр и весел, так как, хотя он и сделал все, что было в его власти, угощение все же заняло гораздо меньше времени, чем было нужно для того, чтобы слишком обременить его желудок или довести его до опьянения, которое делало его угрюмым.

В конце пути он сделался задумчивым и сказал:

— Завтра в Совете не будет заседания по случаю праздника, и это хорошо; ведь все захотят меня поздравить, расспросить, выказать мне знаки внимания, а между тем позолота на моем головном обруче уже никуда не годится. В некоторых местах проглядывает серебро. Твой наряд не будет нам теперь ничего стоить, и я обязательно должен отправиться до следующего заседания к ювелиру, чтобы променять эту негодную вещь на настоящий обруч. Каков человек есть, таким он должен и казаться.

Это изречение чрезвычайно понравилось ему, и, когда Арсиноя с живостью согласилась с ним и стала просить его оставить только достаточную сумму для костюма Селены, он тихо засмеялся про себя и сказал:

— Нам уже нет надобности так беспокоиться. Желал бы я знать того Александра, который в скором времени попросит у меня мою Роксану в жены. Единственный сын богатого Плутарха уже заседает в Совете и еще не женат. Он уже не молод, но все-таки еще видный мужчина.

Эти мечты счастливого отца о будущем были прерваны. У домика сторожа к нему подошла Дорида и окликнула его. Керавн остановился. Но когда старуха сказала затем: «Я должна поговорить с тобою», — то он ответил:

— А я не стану тебя слушать ни сегодня, ни когда бы то ни было.

— Я обратилась к тебе уж, конечно, не ради своего удовольствия. Я хочу только сказать тебе, что ты не найдешь своей Селены дома.

— Что ты там толкуешь! — сразу вспылил Керавн.

— Я говорю, что бедная девушка не могла идти дальше по городу, ее пришлось перенести в чужой дом, где за ней ухаживают.

— Селена! — вскричала Арсиноя, в испуге и горести внезапно упав со своих облаков.— Ты знаешь, где она?

Прежде чем Дорида успела ответить, Керавн загремел:

— В этом виноват римский архитектор и его кусающаяся bestия! Хорошо же, хорошо, потому что теперь император поддержит мое право! Он укажет дорогу тем, кто уложил сестру Роксаны в постель и помешал ей участвовать в представлении. Очень хорошо, превосходно!

— Это печально до слез,— возразила жена сторожа с гневом.— Так вот твоя благодарность за ее заботы о своих маленьких сестрах и брате? Как может так говорить отец, когда его лучшее дитя лежит у чужих людей со сломанной ногой!

— Со сломанной ногой! — жалобно вскрикнула Арсиноя.

— Сломанной? — медленно повторил Керавн с искренним огорчением.— Где я могу ее найти?

— У госпожи Анны, в домике в конце сада вдовы Пудента.

— Почему не принесли ее сюда?

— Потому что врач запретил. Она лежит в лихорадке; но за ней хороший уход. Вдова Анна из христиан. Я терпеть не могу этих людей, но они умеют ухаживать за больными лучше, чем другие.

— У христиан! Моя дочь у христиан! — вскричал Керавн вне себя.— Скорее, Арсиноя, идем к Селене! Селена не должна ни одного мгновения дольше оставаться у этого нечестивого отребья. Вечные боги! Ко всем несчастьям еще и этот позор!

— В этом еще нет большой беды— сказала Дорида успокоительным тоном.— Между христианами есть люди, вполне достойные уважения. Что они честны — это верно, так как бедная горбатая девушка, которая принесла мне в первый раз эту дурную весть, отдала мне также вот этот кошелек, наполненный деньгами, которые вдова Анна нашла в кармане Селены.

Керавн взял заработанные тяжким трудом деньги с таким презрением, как будто он привык к золоту и не обращает ни малейшего внимания на жалкое серебро; Арсиноя же при виде драхм начала плакать, так как ей было известно, что Селена вышла из дому ради этих де-

нег, и представляла себе, какую ужасную боль вытерпела ее сестра по дороге.

— Честные, честные! — вскричал Керавн, завязывая кошелек с деньгами. — Я знаю, какие бесстыдства творятся на собраниях этой шайки. Целоваться с рабами — это было бы как раз прилично для моей дочери! Пойдем, Арсиноя, поищем сейчас же носилки.

— Нет, нет! — с живостью возразила Дорида. — Ты должен сначала оставить ее в покое. Не все говорят отцу, но врач уверял, что если теперь не дать ей полежать спокойно, то это может стоить ей жизни. С воспаленной раной на голове, в лихорадке и с переломами не ходят ни на какое собрание. Бедное милое дитя!

Керавн думал и угрюмо молчал, а Арсиноя вскричала со слезами на глазах:

— Но я должна идти к ней, я должна видеть ее!

— Я тебе не поставлю этого в вину, моя милочка, — сказала старуха, — я уже была в этом христианском доме, но меня не допустили к больной. Ты — дело другое; ты ее сестра.

— Пойдем, отец, — просила Арсиноя, — посмотрим теперь сначала на детей, а потом ты проводишь меня к Селене. Ах, зачем я не пошла вместе с ней! Ах, что если она у нас умрет!

Керавн и его дочь дошли до своей квартиры не так скоро, как обыкновенно, потому что управляющий боялся нового нападения собаки, которая, однако же, в эту ночь находилась в спальне Антиноя.

Старая рабыня еще не спала и находилась в большом возбуждении. Она любила Селену, беспокоилась из-за ее отсутствия, и в спальне детей тоже не все шло, как должно.

Арсиноя, не останавливаясь, пошла к детям; но негритянка задержала своего господина, пока он снимал свой паллий шафранного цвета, чтобы надеть вместо него старый плащ, и с плачем рассказала ему, что ее любимец, маленький, слепой Гелиос заболел и не мог заснуть даже и после того, как она дала ему капель, которые обыкновенно принимал сам Керавн.

— Бессмысленное животное, — вскричал он, — мое лекарство давать ребенку! — При этом Керавн сбросил с ног новые башмаки, чтобы переменить их на более скромные. — Если бы ты была молода, я приказал бы отстегать тебя,

— Но ты ведь сам говорил, что эти капли полезны,— проговорила, запинаясь, старуха.

— Для меня! — закричал управляющий и, не завязывая ремней, которые теперь тащились за ним по полу, побежал в детскую.

Там сидел его слепой любимец, его «наследник», как он любил называть его, прижавшись своей хорошенькой белокурой и кудрявой головкой к груди Арсиной.

Малютка тотчас же узнал его шаги и начал жаловаться:

— Селена ушла, я боялся, и мне так нехорошо, так нехорошо!

Керавн положил руку на лоб малютки.

Почувствовав у него жар, он начал ходить взад и вперед перед постелькой ребенка.

— Вот мы и дождались! Когда пришло одно несчастье, сейчас же является и другое. Посмотри на него, Арсиная. Помнишь ли ты, как началась лихорадка у бедной Береники? Тошнота, беспокойство, пылающая голова. Не чувствуешь ли ты боли в горле, сердце мое?

— Нет,— отвечал Гелиос,— но мне так нехорошо.

Керавн расстегнул рубашонку малютки, чтобы посмотреть, не показались ли на его груди пятна; но Арсиная сказала, когда он склонился над ребенком:

— Это пустяки. Он только испортил себе желудок. Глупая старуха во всем ему потакает и дала ему половину пирожного с изюмом, за которым мы послали, когда вышли из дому.

— Но у него горит голова,— повторил Керавн.

— К завтрашнему утру все пройдет,— уверяла Арсиная.— Мы больше нужны бедной Селене, чем ему. Идем, отец! С ним может остаться старуха.

— Пусть придет Селена,— говорил мальчик плаксиво.— Пожалуйста, не оставляйте меня опять одного.

— Твой папочка останется с тобой,— отвечал Керавн с нежностью; он чувствовал боль в сердце, видя этого ребенка страдающим.— Никто из вас не знает, чем обладаем мы в лице этого мальчика.

— Он скоро заснет,— уверяла Арсиная.— Пойдем же, иначе будет слишком поздно.

— Чтобы старуха сделала какую-нибудь новую глупость? — вскричал Керавн.— Остаться при ребенке — моя обязанность. Иди к своей сестре, и пусть проводит тебя старуха.

— Хорошо. Завтра утром я вернусь.

— Завтра утром? — спросил Керавн протяжно. — Нет, нет, это не годится. Да и, кроме того, Дорида ведь сказала, что у христиан будет хороший уход за Селеной. Взгляни только, что с ней, поклонись ей от меня, а затем возвращайся домой.

— Но, отец...

— Затем нужно помнить, что завтра в полдень тебя ждет супруга префекта, чтобы выбрать для тебя наряд. Ты не должна при этом казаться невыспавшейся.

— Я посплю немножко утром.

— Утром? А мои локоны? А твоя новая одежда? А бедный Гелиос? Нет, дитя, ты только посмотришь на Селену и затем вернешься. Рано утром начинается празднество, а ты знаешь, что происходит при этом. Старуха не сможет тебе помочь в толкотне. Ты только взглянешь, что с Селеной, но не останешься при ней.

— Я посмотрю...

— Нечего там смотреть. Ты вернешься назад! Я приказываю! Через два часа ты должна лежать в постели. Арсиноя пожала плечами.

Через несколько минут она стояла уже перед сторожкой привратника.

Широкая полоса света падала через отворенную дверь комнаты, украшенной цветами и птицами, — значит Эвфорион и Дорида еще не легли спать и могли тотчас же отворить им ворота дворца.

Грации залаяли, когда Арсиноя переступила через порог дома своих старых друзей, но сразу узнали ее.

Уже несколько лет, послушная строгому запрещению отца Арсиноя не входила в эту уютную комнату, и ее сердце растаяло, когда она вновь увидела все то, что так любила, будучи ребенком, и чего не забыла.

Там были птицы, маленькие собачки и лютни на стене возле Аполлона! На столе доброй Дориды всегда было что-нибудь съестное; так и теперь на нем лежал прекрасный желтый пирог возле кружки с вином. Как часто она, будучи ребенком, шмыгнет, бывало, к старушке, чтобы получить какой-нибудь сладкий кусок, нередко также и для того, чтобы посмотреть, нет ли там верзилы Поллукса, смелая изобретательность и живость которого придавали играм и забавам печать величия и какую-то особенную прелесть.

Теперь друг ее детства сидел там собственной своей персоной, далеко вытянув вперед свои длинные ноги.

Арсиноя захватила еще конец его рассказа об избрании ее для роли Роксаны, причем услышала свое собственное имя, украшенное такими прилагательными, которые заставили кровь прилить к ее щекам и вдвойне обрадовали ее, потому что он не мог подозревать, что она его слышит.

Из мальчика он сделался мужчиной, статным мужчиной и великим художником, но он все-таки остался прежним беспечным и добрым Поллуксом.

Резкий прыжок, с каким он вскочил со своего места ей навстречу, здоровый смех, которым он временами прерывал свою речь, детски-нежная манера, с какой он обнимал свою маленькую мать, приветствуя Арсиною и расспрашивая о причине ее позднего выхода из дому, симпатичный глубокий тембр его голоса, каким он высказывал сожаление о постигшем Селену несчастье,— все это действовало на Арсиною как нечто знакомое, милое, чего она была лишена уже давно, и она крепко схватила обе руки, которые он протянул ей. Если бы в это мгновение он поднял ее и на глазах Эвфориона и своей матери прижал к своему сердцу, то, говоря по правде, она не рассердилась бы на него.

Арсиноя пришла к Дориде с глубоко опечаленным сердцем, но в домике привратника печаль и забота быстро выдохались, и в представлении легкомысленной девушки образ ее сестры, измученной страданием и находящейся под угрозой страшной опасности, с изумительной быстротой превратился в образ больной, лежащей в удобной постели и чувствующей сильную боль только в поврежденной ноге. Вместо терзавшего сердца опасения явилось сердечное участие, и оно звучало еще в голосе Арсиной, когда она попросила певца Эвфориона отворить ей ворота, так как она хочет выйти со своей старой рабыней посмотреть, как чувствует себя Селена.

Дорида успокоила ее, повторив, что в доме вдовы Анны больная окружена всевозможными попечениями, но одобрила ее желание навестить сестру и поддержала Поллукса, убеждавшего Арсиною позволить ему проводить ее. Он говорил, что скоро после полуночи начнется праздник, улицы наполнятся буйным народом и от пьяных рабов ее скорее защитил бы пуховый веник, чем это черное пугало — рабыня, которая была развалиной уже тогда, когда он совершил глупейший поступок в своей жизни и восстановил против себя ее отца.

Они молча шли по темным улицам, которые все больше и больше наполнялись людьми. Затем Поллукс сказал:

— Дай я возьму тебя под руку, ты должна чувствовать, что защищаю тебя, а я желал бы при каждом моем шаге сознавать, что я снова нашел тебя и могу быть возле тебя, чудное создание!

В этой просьбе не было и тени озорства, она звучала скорее с глубокой серьезностью, и голос ваятеля дрожал от волнения, когда он повторил ее с сердечной нежностью. Точно перст любви, постучалась она в сердце девушки, которая взяла за руку Поллукса и отвечала тихим голосом:

— Уж ты сумеешь меня защитить.

— Да,— сказал он твердо и схватил левой рукой ее маленькую ручку.

Она не отняла руки, и, когда они молча прошли несколько шагов, Поллукс вздохнул и спросил:

— Знаешь ли ты, что я чувствую?

— Что?

— Я и сам не в состоянии объяснить это как следует. Это такое чувство, как будто я победитель на олимпийских играх, или же император подарил мне свою пурпурную мантию. Но наплевать на венок и на пурпур. Сейчас ты опираешься на мою руку, а я держу ее в своих руках: в сравнении с этим все другое ничто. Если бы здесь не было людей, то я... я... я не знаю, что бы я сделал.

Упоенная счастьем, она посмотрела на него; он же горячо и надолго прильнул к ее руке. Затем он выпустил ее и сказал со вздохом, исходящим из самой сокровенной глубины его сердца:

— О Арсиноя, прекрасная Арсиноя, как я люблю тебя!

Это признание тихо, но пламенно сорвалось с его губ. Девушка крепко прижала его руку к себе, прильнула головой к его плечу, встретила своими большими, широко раскрытыми глазами с его нежным взглядом и тихо сказала:

— Поллукс, я так счастлива! Мир так прекрасен!

— Нет, я готов его возненавидеть! — воскликнул ваятель. — Слышать это и иметь возле себя бдительную старуху и быть принужденным степенно выступать среди улицы, кишущей народом, невыносимо! Этого я не могу терпеть дольше! Девушка из девушек, здесь темно!

Действительно в углу, который образовали два дома, примыкавшие один к другому, лежала глубокая тьма.

Там Поллукс привлек Арсиною к себе и быстро запечатлел на ее невинных устах первый поцелуй, но среди этой тьмы в их сердцах было светло, сияло солнце.

Она крепко обвила руками его шею и была бы готова оставаться в таком положении до скончания дней, но к ним приближалась шумная толпа рабов.

С песнями и беснованием начали эти несчастные свое празднование вскоре после полуночи, чтобы вполне насладиться торжеством, освобождавшим их на короткое время от всяких обязанностей.

Поллукс знал, как необузданны они могут быть в своем веселье, и, идя с Арсиной, просил ее держаться поближе к домам.

— Как они веселы,— сказал он, указывая на ликовавшую толпу.— Сегодня хозяева будут даже слегка им прислуживать. Для них начинается их лучший день в году; для нас же начался прекраснейший день в нашей жизни.

— Да, да,— отвечала Арсиноя, держась обеими руками за его сильную руку.

Затем они весело засмеялись, так как Поллукс заметил, что старая невольница прошла мимо них с опущенной головой и последовала за другой молодой парой.

— Я позову ее,— сказала Арсиноя.

— Нет, нет, оставь ее,— упрашивал художник,— те двое, что впереди, наверное, больше нуждаются в ее охране, нежели мы.

— Как могла она принять вон того маленького человека за тебя? — засмеялась девушка.

— Если бы я был хоть немножко пониже! — отвечал Поллукс, вздыхая.— Подумай, какая масса жгучей любви и мучительного желания входит в такой длинный сосуд, как я.

Она ударила его по руке, и в наказание за это он быстро коснулся ее лба губами.

— Но здесь — люди,— сказала она, отстраняясь.

— Не беда, они только позавидуют,— весело возразил он.

Улица была пройдена, и теперь они стояли перед каким-то садом.

Он принадлежал вдове Пудента. Поллукс знал это, так как владелица сада Павлина была сестрой архитектора Понтия и имела, кроме этого, великолепный дом в

городе. Но неужели это возможно? Неужели их принесли сюда невидимые руки? °

Ворота усадьбы были заперты. Скульптор разбудил привратника, сказал, что ему нужно, и привратник, получивший приказание впустить родных больной хотя бы и ночью, проводил его с Арсиной до места, откуда можно было видеть яркий свет, мерцавший в домике вдовы Анны.

Луна освещала путь, усеянный раковинами; кусты и деревья сада бросали резко очерченные тени на освещенные площадки, море ярко сверкало. Привратник оставил двух счастливцев, как только они вошли в темную аллею. Поллукс, открыв свои объятия, сказал:

— Теперь еще один поцелуй, о котором я буду вспоминать, поджидая тебя.

— Теперь нет,— упрашивала девушка,— теперь, когда мы здесь, мне уже не до радости. Я беспрестанно думаю о бедной Селене.

— Против этого нельзя ничего возразить,— сказал покорно Поллукс.— Но я буду вознагражден, когда пройдет срок ожидания.

— Теперь уже нет! — вскричала Арсиная, кинулась к нему на грудь и затем поспешила к дому.

Он последовал за ней, и когда она остановилась у одного ярко освещенного окна, приходившегося вровень с землей, то остановился и он.

Они вместе заглянули в высокую, обширную, чрезвычайно опрятную комнату, в которой была только одна дверь, выходившая в некрытые сени. Стены этой комнаты были окрашены в светло-зеленый цвет. Единственное украшение висело над дверью.

На заднем плане этой комнаты стояла кровать, на которой лежала Селена. В нескольких шагах от нее сидела горбатая Мария и спала, а вдова Анна подошла к больной с мокрым компрессом и осторожно положила его на голову Селены.

Поллукс подтолкнул локтем Арсиною и прошептал ей:

— Как лежит твоя сестра! Это спящая Ариадна, покинутая Дионисом. Какую боль она почувствует, когда проснется!

— Мне она кажется не такой бледной, как обычно.

— Посмотри, как согнута ее рука и в каком красивом положении ее голова покоится на ладони!

— Теперь уходи! — тихо воскликнула Арсиная.— Тебе не следует подсматривать здесь,

— Сейчас, сейчас. Если бы там лежала ты, никакое божество не сдвинуло бы меня с места. Как осторожно Анна снимает примочку с больной ноги!

— Отойди назад; она смотрит прямо сюда.

— Чудное лицо! Может быть, это какая-нибудь Пенелопа; но в ее глазах есть что-то совсем особенное. Если бы мне пришлось опять лепить изображение Урании, созерцающей звезды, или Сафо, полную божественного вдохновения и глядящую в поэтическом восторге на небо, я придал бы ее глазам именно это выражение. Она уже не очень молода, и, однако же, какое у нее лицо! Оно кажется мне похожим на небо, с которого ветер прогнал все облака.

— Серьезно говорю, уходи! — приказала Арсиноя и вырвала у него свою руку, которую он схватил опять.

Поллукс заметил, что ей не понравилась его похвала красоте другой женщины, и он, обняв ее, прошептал задабривающим тоном:

— Успокойся, дитя! Тебе нет равных в Александрии и нигде, где понимают греческий язык. Совершенно чистое небо, конечно, не кажется мне наиболее прекрасным. Один свет, одна синева — это не для художника. Истинную прелесть придают небесному своду несколько подвижных облачков, озаренных сменяющимися серебряными и золотыми лучами. И хотя твое лицо тоже походит на небо, но, право, в нем нет недостатка в грациозной, вечно изменчивой подвижности черт. Эта матрона...

— Посмотри, — прервала его Арсиноя; которая снова прильнула к нему. — Посмотри, с какой любовью Анна наклоняется над Селеной. Вот она тихо целует ее в лоб. Ни одна мать не может ухаживать за дочерью с большей нежностью. Я знаю ее уже давно. Она добра, очень добра; это трудно даже понять, так как она христианка.

— Крест вон там, над дверью, — сказал Поллукс, — есть знак, по которому эти странные люди узнают один другого.

— Что означают голубь, рыба и якорь вокруг креста? — спросила Арсиноя.

— Это символические знаки из христианских мистерий, — отвечал Поллукс. — Я не понимаю их. Это жалкая мазня; последователи распятого бога презирают искусство, в особенности мое, так как всякие статуи богов им ненавистны.

— И между подобными нечестивцами есть такие хорошие люди! Я сейчас иду в дом. Вот Анна опять смачивает полотенце.

— И как бодра, как ласкова она при этом! Однако все в этой большой, чистой комнате какое-то чуждое, неуютное, непривлекательное; я не желал бы жить в ней.

— Заметил ли ты легкий запах лаванды, просачивающийся из окна?

— Давно. Вот твоя сестра шевелится и открывает глаза. Теперь она закрывает их снова!

— Вернись в сад и жди меня,— прибавила Арсиноя решительно.— Я только посмотрю, что с Селеной. Я не буду оставаться долго: отец хочет, чтобы я вернулась поскорее, и никто не может ухаживать за больной лучше Анны.

Девушка вырвала свою руку и постучалась в дверь домика. Ей отворили, и вдова сама подвела Арсиною к постели сестры.

Поллукс сначала сел на скамейку в саду, но скоро опять вскочил и стал мерить большими шагами дорогу, по которой шел с Арсиноей. Какой-то каменный стол задержал его, и ему пришла фантазия перепрыгнуть через него. Идя мимо стола в третий раз, он стремительно перепрыгнул через него; но после этого сумасбродного поступка он тотчас остановился и пробормотал про себя: «Точно мальчишка!» И в самом деле он чувствовал себя счастливым ребенком.

Во время ожидания он сделался серьезнее и спокойнее. С чувством благодарности року он говорил самому себе, что теперь нашел тот женский образ, о котором он мечтал в лучшие часы своего творчества, что этот образ принадлежит ему, только ему.

Но кто собственно он сам? Бедняк, который должен кормить много ртов! Это должно перемениться. Он не хочет ничего отнимать у сестры, но с Папием он должен разойтись и встать на собственные ноги. Его мужество выросло, и, когда Арсиноя, наконец, вернулась от сестры, он уже решил, что в своей собственной мастерской вначале со всем прилежанием изготовит бюст Бальбиллы, а потом вылепит бюст своей милой. Эти две головки не могут не удалиться ему. Император непременно их увидит, они будут выставлены. И внутренним оком он уже видел себя самого, как он отклоняет один заказ за другим и из всех лучших заказов принимает только самые блистательные.

Арсиноя могла возвратиться домой успокоенной.

— Болезнь Селены менее опасна, чем я думала. Она не хочет, чтобы за ней ухаживал кто-нибудь другой,

кроме Анны. Правда, у нее легкая лихорадка, но кто умеет так разумно, как она, говорить о каждом маленьком вопросе домашнего хозяйства и обо всем, что касается детей, тот не может быть очень больным,— говорила Арсиноя, идя через сад под руку с художником.

— Ее должно радовать и ободрять то, что ее сестра — Роксана! — вскричал Поллукс, но его прекрасная спутница отрицательно покачала головой и сказала:

— Она всегда такая особенная; то, что меня радует больше всего, ей противно.

— Селена — луна, а ты — солнце.

— А кто ты? — спросила Арсиноя.

— Я длинный Поллукс, и сегодня мне кажется, что со временем я еще сделаюсь великим Поллуксом.

— Если это тебе удастся, то и я вырасту с тобой вместе.

— Это будет твоим правом, так как только через тебя может удалиться мне то, что я замышляю.

— Как могу я, неловкое создание, помочь художнику?

— Живя и любя его! — вскричал ваятель и поднял ее вверх, прежде чем она могла помешать этому.

У ворот сидела старая рабыня и спала.

Привратник сказал ей, что ее молодая госпожа со своим провожатым пришли сюда, но ее он в усадьбу не впустил. Стулом ей служила тумба, и во время ожидания веки ее смежились, несмотря на все возраставший шум на улице.

Арсиноя не разбудила ее и лукаво спросила Поллукса:

— Ведь мы одни найдем дорогу домой?

— Если Эрот не собьет нас с пути,— отвечал художник.

Двигаясь вперед, они перебрасывались нежными словами.

Чем скорее они приближались к Лохиаде и широкой дороге, которую Канопская улица, главнейшая и длиннейшая в городе, пересекала под прямым углом, тем гуще становился поток людей, двигавшихся вместе с ними. Но это обстоятельство было им на руку, так как если кто желает оставаться незаметным и не находит себе уединенного места, то ему стоит только замешаться в толпу.

Увлекаемые вперед толпами людей, стремившихся к центральному пункту праздничного движения, они крепко прижимались друг к другу, чтобы их не разлучило шест-

вие обезумевших фракийских женщин, которые в эту ночь, последовавшую за кратчайшим днем в году, верные обычаю своей родины, мчались стремительным потоком, ведя с собой бычка.

Теперь они находились в сотне шагов от Лунной улицы, и навстречу им раздалась опьяняющая, веселая, дикая, разудалая песня, покрываемая звуками барабанов, флейт, бубенчиков и веселыми, ликующими криками.

Далее на Царской улице, кончавшейся у Лохиады и пересекавшей Брухейон, им встретилась веселая толпа.

Впереди всех среди других знакомых шел ювелир Тевкр, младший брат счастливого Поллукса. Увенчанный плющом, размахивая тирсом, он плясал, а за ним, ликуя, неслась целая процессия мужчин и женщин, возбужденных до безумия, кричащих, поющих, пляшущих. Стебли винограда, хмеля и царских кудрей обвивали сотню голов; венки из тополя, лотоса и лавра колебались на пылающих лбах, шкуры пантер, оленей и козюль свешивались с нагих плеч и при быстром их беге вздымались высоко, подбрасываемые ветром.

Художники и богатые молодые люди, возвращавшиеся с какого-то пиршества со своими возлюбленными, открывали это шествие с хором музыкантов. Кто встречал эту веселую толпу, того увлекала, тащила она с собой вперед. Почтенные граждане и гражданки, работники, девки, рабы, солдаты, матросы, центурионы, флейтистки, ремесленники, шкиперы, целый театральный хор, который угощал какой-то любитель искусства, возбужденные женщины, тащившие с собой козла, предназначавшегося к убиению в честь Вакха,— никто из них не устоял против искушения присоединиться к шествию.

Оно повернуло теперь на Лунную улицу и двигалось по обсаженной вязами аллее, ограниченной с двух сторон проезжей дорогой, которая в это время не была никем занята.

Как громко звучали двойные флейты, как крепко ударяли нежные руки девушек по телячьей коже барабанов, как весело играл ветер распущенными волосами бесновавшихся женщин и дымом факелов, которыми с громкими криками ликования размахивали удалые парни, наряженные Панами и сатирами!

Здесь девушка на бегу высоко подбрасывала свой тамбурин и трясла бубенчиками на его обруче так сильно, что, казалось, вот-вот эти пустые металлические шарики оторвутся от него и по собственной прихоти, звеня, разлетятся по воздуху. Там, возле этой до безумия воз-

бужденной девушки, прыгал изысканно грациозными скачками красивый юноша. Он с комической заботливостью держал под мышкой конец длинного бычьего хвоста, который прицепил себе, и дул то в самые длинные, то в самые короткие тростниковые дудки, изображавшие свирель Пана. Иногда из середины этого шумного стремительного шествия раздавался какой-то громкий рев, который мог означать и радость и горесть; но его каждый раз быстро заглушали безумный смех, разудалая песня, веселая музыка.

Старики и юноши, знатные и бедняки,— все, приближавшиеся к этому кортежу, увлекаемые какой-то непреодолимой силой, невольно следовали за ним с ликующими криками.

Поллукс и Арсиноя давно уже не шли рядом спокойным, степенным шагом, а, смеясь, шли в такт веселых звуков.

— Как это звучит! — вскричал художник. — Мне хочется плясать, Арсиноя, плясать и кричать вместе с тобой, подобно иступленному. — Прежде чем она могла ответить, он громко закричал: — Ио, ио! — и высоко поднял ее.

Тогда и ею тоже овладело опьянение радостью, размахивая над головой рукой, она присоединилась к его ликующему крику и разрешила ему увести ее к углу улицы, где цветочница продавала свой товар.

Там она позволила ему обвить ее виноградными листьями, надела ему на голову лавровый венок, обвила плющом его шею и грудь, громко засмеялась, когда он бросил цветочнице крупную монету, и крепко уцепилась за его руку.

Все это она проделала не задумываясь, с легкой поспешностью, дрожащими пальцами, точно в чаду.

Вот процессия кончилась. Шесть женщин и девушек с венками на головах, взявшись под руку, примкнули к ней с громким пением.

Поллукс потащил возлюбленную в этот веселый ряд, снова обнял ее, дал и ей обнять себя, и оба они понеслись быстрым, танцевальным шагом вперед. Они размахивали свободными руками, откидывали голову назад с громкими криками и песнями — и забыли все, что их окружало. Им казалось, будто их соединяет пояс, сотканный из солнечных лучей, и какой-то бог поднимает их высоко к себе и среди громких криков и ликования несет мимо бесчисленных звезд через светлые пространства эфира.

И они позволили увлечь себя по Лунной улице на Канопскую, а затем обратно к морю, до храма Диониса.

Там они остановились, запыхавшись. И только теперь вернулось к нему сознание, что он — Поллукс, а к ней — что она Арсиноя и что ей следует отправиться к отцу и к детям.

— Пойдем домой,— тихо сказала она. При этом она опустила руки и затем в смущении стала собирать свои распущенные волосы.

— Да, да,— отвечал он точно во сне.

Затем он освободил ее, ударил себя рукой по лбу и, обратившись к отворенной двери храма Диониса, вскричал:

— Что ты могуществен, Дионис, что ты прекрасна, Афродита, что ты очарователен, Эрот,— это я знал уже давно; но что ваши дары безмерно велики, это я узнал только сегодня!

— Мы оба были совершенно зачарованы божеством, и это было нечто чудесное,— сказала Арсиноя.— Но вот идет новое шествие, а я должна вернуться домой.

— Так пойдем через маленькую Портовую улицу,— предложил Поллукс.

— Да. Я должна снять листья с волос, а там никто не увидит нас.

— Я помогу тебе.

— Нет, не прикасайся ко мне,— строго возразила Арсиноя.

Она собрала свои мягкие, блестящие волосы и освободила их от листьев, которые скрывались в них подобно зеленым жукам в махровых соцветиях. Наконец она спрятала волосы под покрывалом, которое уже давно спустилось с головы и держалось точно чудом, зацепившись за пряжку пеплума.

Поллукс посмотрел на нее и воскликнул, увлеченный могуществом страсти:

— Вечные боги, как я люблю тебя! Мое сердце было играющим ребенком, но сегодня оно выросло и сделалось героем. Подожди только, подожди, этот герой возьмет свое оружие в руки!

— И я буду сражаться вместе с ним! — весело сказала Арсиноя, снова оперлась на его руку, и оба они поспешили к дворцу, не шагая, а приплясывая.

Позднее солнце короткого декабрьского дня уже вещало холодной, серой полоской свой скорый восход,

когда Поллукс со спутницей проходили через ворота, давно уже открытые для рабочих.

В первый раз в зале муз, а во второй — в проходе, который вел в жилище зрителя, они с сожалением, но все же весело простились. Однако их прощание было коротко, так как свет какой-то лампочки скоро разлучил их.

Арсинья быстро убежала.

Им помешал Антиной. Он ожидал здесь императора, все еще наблюдавшего звезды на башне, построеной для него Понтием, и узнал Арсиною, когда она поспешно проходила мимо.

Как только она исчезла, Антиной обратился к Поллуксу и весело сказал ему:

— Прошу у тебя извинения, я помешал твоему свиданию с возлюбленной.

— Она моя невеста, — гордо отвечал художник.

— Тем лучше, — сказал любимец императора и так глубоко вздохнул, как будто это уверение Поллукса освободило его сердце от какой-то тяжести. — Тем лучше. Не можешь ли ты мне сказать, как здоровье сестры прекрасной Арсиной?

— Разумеется, могу, — отвечал художник и позволил вифинцу взять его под руку.

В следующий час ваятель, с губ которого лились шумным потоком бодрые и вдохновенные слова, совершенно пленил сердце Антиной.

Арсинья застала отца и своего слепого брата Гелиоса, который уже не казался больным, в глубоком сне.

Рабыня пришла домой через несколько минут после нее, и когда наконец Арсиноя с распущенными волосами бросилась в постель, то сейчас же заснула, и грезы снова привели ее к Поллуксу и при звуках барабанов, флейт и бубенчиков подняли их обоих и понесли высоко над пыльными путями земли.

Солнце уже взошло, когда зритель Керавн проснулся. Он спал в своем кресле почти так же крепко, как на постели, однако же не чувствовал себя освеженным и во всем теле ощущал ломоту.

В большой горнице все валялось вперемешку, как накануне вечером, и это ему было неприятно, так как он привык, входя в эту комнату утром, находить ее в порядке.

На столе стояли остатки детского ужина, облепленные мухами, и между блюдами и корками хлеба блестели украшения его собственные и его дочери.

Куда бы он ни посмотрел, он видел части одежды и разные вещи, которые были здесь не у места.

В комнату вошла, позевывая, старая рабыня. Ее седые курчавые волосы спускались в беспорядке на лицо, взгляд ее был неподвижен, и она шаталась на ходу.

— Ты пьяна! — крикнул на нее Керавн. И он не ошибся: после того как старуха, дожидавшаяся перед домом вдовы Пудента, проснулась и узнала от привратника, что Арсиноя уже ушла из сада, другие невольницы затащили ее в кабак.

Когда Керавн схватил ее за руки и встряхнул, она, оскалив зубы и с глупой улыбкой на мокрых губах, вскричала:

— Праздник! Все свободны! Сегодня праздник!

— Римский вздор, — прервал ее смотритель. — Готов мой суп?

Пока старуха бормотала про себя какой-то невразумительный ответ, в комнату вошел раб и сказал:

— Сегодня мы все празднуем: могу ли и я тоже уйти со двора?

— Этого еще мне недоставало! — вскричал Керавн. — Это чудовище пьяно, Селена больна, а ты рвешься на улицу!

— Но никто не остается сегодня дома, — возразил негр.

— Так убирайся! — закричал Керавн. — Шляйся до полуночи! Делай, что хочешь, только не ожидай, что я буду держать тебя дольше. Чтобы крутить ручную мельницу ты еще годишься, и, наверно, найдется какой-нибудь дурак, который даст за тебя две-три драхмы.

— Нет, нет, не надо продавать! — застонал старик и поднял руки с умоляющим видом; но Керавн не слушал его и продолжал:

— Собака по крайней мере привязана к своему господину; а вы — вы объедаете его, и когда он нуждается в вас, то вас тянет шлаться по улицам.

— Но я останусь! — завыл старик.

— Делай, что хочешь. Ты уже давно похож на разбитую клячу, которая делает всадника посмешищем для детей. Когда ты выходишь со мной, то мне вслед люди

смотрят так, как будто у меня какое-нибудь грязное пятно на паллии. И эта паршивая собака желает праздновать и корчить из себя важную фигуру среди граждан!

— Да ведь я остаюсь, только не продавай меня! — жалобно простонал раб, стараясь поймать руку своего повелителя; но Керавн оттолкнул его и приказал ему идти в кухню, развести огонь и облить водой старуху, чтобы привести ее в себя.

Раб выпроводил ее за дверь, а Керавн пошел в спальню дочери, чтобы разбудить ее.

В комнате Арсиной не было никакого другого света, кроме того, которому удавалось проникнуть через отверстие под самым потолком. Косые лучи утреннего солнца падали теперь на постель, к которой подошел Керавн.

Там его дочь лежала в глубоком сне. Прекрасная голова девушки покоилась на согнутой правой руке, распущенные светло-каштановые волосы потоком струились на нежные плечи и через край постели.

Еще никогда дочь не казалась ему такой прекрасной, мало того — вид ее взволновал его сердце, так как Арсиной напомнила ему умершую жену. И не одна суетная гордость, но и движение истинной отеческой любви невольно превратило желание его души в сердечную молитву без слов, чтобы боги сохранили это дитя и даровали ему счастье.

Он не привык будить дочерей, которые всегда просыпались и были на ногах раньше его, и ему было тяжело прервать сладкий сон своей любимицы; но это было необходимо, и он, окликнув Арсиною по имени, потрепал ее по плечу и сказал, когда она наконец приподнялась и посмотрела на него вопросительно:

— Это я. Вставай! Вспомни, дитя, сколько сегодня предстоит дел.

— Конечно. Но ведь еще очень рано, — возразила она.

— Рано? — спросил Керавн, улыбаясь. — Мой желудок утверждает противное. Солнце стоит уже высоко, а я еще не получил своего супа.

— Пусть его сварит старуха.

— Нет, нет, дитя, ты должна встать. Разве ты забыла, кого ты должна представлять? А моя завивка? А супруга префекта? И затем — твой наряд?

— Так уйди... Мне нет ни малейшего дела до Роксаны и до всего этого переодевания.

— Потому что ты еще не совсем проснулась, — засмеялся управитель. — Каким образом очутился листок плюща в твоих волосах?

Арсинья покраснела, схватилась за то место головы, на которое указал ей отец, и сказала лениво:

— От какой-нибудь ветки. Но теперь уходи, чтобы я могла встать.

— Сейчас, сейчас. В каком положении ты нашла Селену?

— Ей вовсе не так плохо; но об этом я расскажу потом. Теперь же я хочу остаться одна.

Когда затем через полчаса Арсинья принесла отцу суп, он посмотрел на нее с удивлением. Ему показалось, что с дочерью произошла какая-то перемена. В ее глазах светилось нечто, чего он еще никогда не замечал прежде, и придавало ее юным чертам такое значительное выражение, что он почти испугался.

Пока она мешала суп, Керавн с помощью рабов поднял детей с постели.

Теперь они сидели за завтраком, и между ними слепой Гелиос, свежий и здоровый.

В то время как Арсинья рассказывала отцу о Селене и о превосходном уходе за ней вдовы Анны, Керавн не спускал с нее глаз. Когда же она, заметив это, спросила с нетерпением, что в ней сегодня такое особенное, то он покачал головой и ответил:

— Какие, однако, вы, девушки! Тебе оказали великую честь — выбрали тебя для роли невесты Александра, и вот гордость и радость по этому поводу удивительно изменили тебя в одну ночь, впрочем, по моему мнению, не к худшему.

— Глупости, — возразила Арсинья, покраснев, и бросилась на ложе, нежась и потягиваясь. Она не чувствовала усталости, но ощущала во всех членах приятную истому, наполнявшую ее каким-то особенным чувством благополучия.

Ей казалось, будто она вышла из теплой ванны. До ее слуха снова и снова доносились словно издалека звуки веселой музыки, за которыми она следовала вместе с Поллуксом.

Она то улыбалась, то смотрела неподвижным взором перед собой и при этом думала, что если бы ее милый позвал ее в этот час, то в ней было бы достаточно силы для того, чтобы тотчас же вновь пуститься с ним в бе-

шеную пляску. Всю ее пронизывало такое приятное ощущение полного здоровья!

Только глаза ее были слегка воспалены, и когда Керавну показалось, что он замечает в дочери что-то новое, то это был какой-то луч серьезности, присоединившийся теперь к веселому блеску, который он привык видеть в ее глазах.

По окончании завтрака, когда раб повел детей гулять и Арсиноя принялась завивать кудри отцу, Керавн принял одну из своих величественнейших поз и сказал внушительным тоном:

— Дитя мое!

Девушка опустила накаленные щипцы и, заранее ожидая услышать какую-нибудь из тех причуд, с которыми привыкла бороться Селена, спросила:

— Ну?

— Слушай меня внимательно.

То, что он хотел сказать теперь, пришло ему в голову только час назад, когда он лишил старого раба удовольствия уйти со двора, однако же он принял вид глубокомысленного философа и, прикасаясь пальцами к своему лбу, промолвил:

— Уже с давнего времени я ношусь с одной тяжелой мыслью. Теперь она созрела в твердое намерение, и я сообщу это решение тебе. Нам придется купить нового раба.

— Но, отец,— вскричала Арсиноя,— подумай, чего это будет стоить! Если у нас будет еще один человек, которого нужно кормить...

— Об этом нет и речи,— прервал ее Керавн.— Я променяю старого раба на более молодого, с которым можно будет показаться. Я уже говорил тебе вчера, что отныне на нас будут обращать больше внимания, чем прежде, и если мы будем появляться на улице или где-нибудь в другом месте с этим черным пугалом...

— Зебек, разумеется, не подходит для парада,— прервала Арсиноя отца.— Ну, что ж, будем впредь оставлять его дома.

— Дитя, дитя,— возразил Керавн тоном упрека,— неужели ты никогда не думаешь о том, кто мы такие, как неприлично нам появляться на улице без раба?

Девушка пожала плечами и указала отцу, что Зебек все же давний член семейства, что дети льнут к нему, так как он ходит за ними как нянька, что новый раб будет

дорого стоить и только силой можно будет заставить его делать многое такое, что этот старик делает охотно и хорошо.

Но Арсиноя проповедовала глухому.

Селены тут не было, и, не боясь ее упреков, Керавн, подобно безнадзорному ребенку, дорвавшись до того, в чем ему отказывали, упорно настаивал на своем решении — обменять старого верного слугу на нового, представительного раба.

Ни на одно мгновение он не подумал о печальной участи, которая угрожала этому поседевшему в его доме дряхлому старику в случае, если он будет продан. Но все-таки Керавн смутно чувствовал, что с его стороны нехорошо отдавать последние скопившиеся в доме деньги на нечто такое, что, в сущности, не было необходимо.

Чем более основательными казались ему доводы Арсинои, чем настойчивей предостерегал его внутренний голос против этой новой жертвы своему тщеславию, тем тверже и энергичнее он настаивал на своем желании. Когда он защищал это желание, оно все больше приобретало в его глазах вид необходимости, а его уму представлялось множество оснований, делавших его как будто разумным и легко исполнимым.

Деньги теперь уже были; после избрания Арсинои для роли Роксаны он мог надеяться на то, что ему дадут взаймы; его обязанностью было окружить себя почетом, чтобы не отпугнуть аристократического зятя, о котором он мечтал; на крайний случай у него все еще оставалось собрание редкостей, стоило только найти подходящего покупателя. Если за подложный меч Антония заплатили такую высокую цену, то как много могли бы предложить за другие, гораздо более ценные предметы!

Арсиноя то краснела, то бледнела, когда отец снова и снова возвращался к ее торговой сделке, но она не смела признаться ему в истине и тем искреннее раскаивалась в своей лжи, чем яснее здравый ее ум сознавал, что выпавшая вчера на ее долю честь угрожала усилить слабости ее отца до самых губительных пределов.

Сегодня она была бы вполне довольна, если бы нравилась только Поллуксу; она без сожаления отдала бы свою роль какой-нибудь другой девушке, отказалась бы от всяких притязаний на одобрение и восторженное удивление, которые доставила бы ей эта роль и которые еще вчера казались ей неоценимым благом.

Она и высказала это; но Керавн не принял ее заявления всерьез, расхохотался ей в лицо и начал распространяться в загадочных намеках о богатстве, которое не преминет завернуть к ним. И так как он смутно чувствовал необходимость показать, что не все его действия обусловлены личным тщеславием и заботой только о своей собственной особе, то объявил, что готов на великое самопожертвование и на первое время довольствуется позолоченным головным обручем и вовсе не думает покупать обруч из чистого золота. Он думал, что этим подвигом самоотречения приобрел право употребить изрядную сумму денег на покупку нового раба.

На просьбы Арсиной он не обращал внимания, и когда она заплакала, так как угрожавшая потеря старого домочадца была ей прискорбна, то отец с гневом запретил ей проливать слезы из-за таких пустяков. Он сказал, что это ребячество и что ему вовсе не желательно вести ее с красными глазами к жене префекта.

Во время этих разговоров завивка его волос окончилась, и он приказал Арсиное сейчас же хорошенько убрать собственные волосы и затем идти с ним. Они хотели купить новое платье и пеплум, навестить Селену, а затем отправиться на носилках к госпоже Юлии.

Еще вчера он считал излишней роскошью пользоваться носилками, а сегодня уже соображал, не будет ли уместно нанять экипаж.

Как только Керавн остался один, ему пришла в голову еще одна новая идея.

Надменный архитектор должен узнать, что он, Керавн, не такой человек, чтобы позволить оскорблять и запугивать себя безнаказанно... Поэтому он отрезал свободную полосу папируса от одного письма, хранившегося у него в сундуке, и написал на ней следующее:

«Македонянин Керавн архитектору Клавдию Венатору из Рима.

Моя старшая дочь Селена по твоей вине получила такое повреждение, что лежит теперь больная; ее здоровью угрожает серьезная опасность, и она испытывает неслыханные страдания. Мои другие дети не находятся больше в безопасности в доме своего отца, и я вторично предлагаю тебе посадить свою собаку на цепь. Если ты откажешься исполнить это справедливое требование, то я

представлю дело на усмотрение императора. Я сообщаю тебе, что произошли события, которые побудят Адриана наказать каждого наглеца, пренебрегшего уважением, подобающим мне и моим дочерям».

Запечатав это письмо своей печатью, он позвал раба и сказал ему:

— Отнеси это письмо к архитектору из Рима и потом приведи двое носилок. Поторопись, а во время нашего отсутствия присматривай хорошенько за детьми. Завтра или послезавтра ты будешь продан. Кому — это будет зависеть от твоего поведения в последние часы, когда ты еще будешь принадлежать нам.

Негр испустил громкий, жалобный крик, вырвавшийся из глубины его сердца, и бросился к ногам своего господина.

Этот вопль резанул Керавна по сердцу, но он решил не допустить, чтобы его растрогали, и хотел непременно избавиться от старого раба.

Но негр еще крепче обхватил его колени, и, когда дети, привлеченные воем своего друга, стали громко плакать вместе с ним, а маленький Гелиос начал гладить Зебека по наполовину вылезшим и похожим на шерсть волосам, этому тщеславному человеку стало не по себе, и, чтобы не поддаться собственной слабости, он нарочито громко и запальчиво закричал:

— Вон! И делай, что тебе приказано, не то я возьмусь за хлыст!

С этой угрозой он вырвался из рук несчастного, который с поникшей головой вышел из комнаты и с письмом в руке остановился перед покоями императора.

Личность и поведение Адриана наполняли его страхом и почтением, и он не осмеливался постучать в его дверь. Он стоял все еще со слезами на глазах, когда в коридор вышел Мастер, неся остатки завтрака своего повелителя.

Негр окликнул его и протянул ему письмо управляющего, пробормотав плаксивым тоном:

— От Керавна к твоему господину.

— Положи его сюда на поднос, — приказал Мастер. — Но что с тобой приключилось, старина? Ты воешь, и у тебя такой плачевный вид. Не выпороли ли тебя?

Негр отрицательно покачал головой и отвечал слезливо:

— Керавн хочет продать меня

— Найдутся господа получше его.

— Но Зебек стар, Зебек слаб, Зебек уже не может поднимать и таскать, и при тяжелой работе он пропадет, наверняка пропадет.

— Разве у тебя работа легкая и тебя хорошо содержат у смотрителя?

— Ни вина, ни рыбы, часто голодаю,— жаловался старик.

— Так радуйся, что уходишь от него.

— Нет, нет! — застонал старик.

— Глупый чудак! — сказал Мастор. — Чего же тебе еще нужно от ворчливого скряги?

Негр несколько времени не отвечал; затем его впалая грудь начала подниматься и опускаться, и вдруг как будто прорвалась плотина, задерживавшая его признание, — он с громким всхлипыванием вскричал:

— Дети, малютки, наши малютки! Они так милы, а наш Гелиос, наш маленький слепой Гелиос погладил Зебека по волосам, потому что он должен уйти, вот тут, тут, погладил. — И он указал на совершенно голое место. — И теперь Зебек уйдет и никогда не увидит их опять, точно все они умерли.

Эти слова тронули сердце Мастора: они пробудили в нем воспоминание о собственных потерянных детях и желание утешить несчастного товарища.

— Бедняга, — сказал он с состраданием. — Да, дети!.. Они малы, а дверь, которая ведет к сердцу, так узка, но они проходят через нее шутя, во сто раз легче и лучше, чем большие. Я уже потерял детей и притом своих собственных. Я могу объяснить каждому, что значит горе, но теперь я знаю также, где можно найти утешение.

При этом уверении Мастор придержал поднос бедром и правой рукой, а левую положил на плечо негра и прошептал ему:

— Слышал ли ты о христианах?

Зебек утвердительно и с таким выражением кивнул головой, как будто ему говорили о предмете, о котором он наслушался разных чудес и от которого ожидал чего-то прекрасного; а Мастор приглушенным голосом продолжал:

— Приходи завтра до восхода солнца на двор к мостильщикам. Там ты услышишь о том, кто утешает труждающихся и обремененных.

Слуга императора опять взял поднос в обе руки и бы-

стро удалился, но в глазах старика блеснула надежда. Он не ожидал счастья, но думал, что, может быть, существует средство переносить легче тяготы жизни.

Передав поднос кухонным рабам, Мастер возвратился к своему господину и подал ему письмо смотрителя.

Час был выбран неудачно для Керавна, потому что император находился в мрачном настроении. Он бодрствовал до утра, потом спал только три часа и в эту минуту, сдвинув брови, сравнивал результаты наблюдений звездного неба, произведенных в эту ночь, с лежавшими перед ним астрономическими таблицами.

При этом он часто с неудовольствием потряхивал своей кудрявой головой; даже однажды бросил грифель, которым записывал вычисления на столе, откинулся назад на подушку дивана и обеими руками закрыл глаза.

Затем он снова начал записывать числа, и новый результат показался ему несколько не утешительней прежнего.

Письмо Керавна давно уже лежало перед ним, когда он, взяв другую какую-то записку, наконец заметил его.

Он разорвал обертку, прочел письмо и затем отшвырнул его с гневом.

В другое время он с участием осведомился бы о страждущей девушке, посмеялся бы над чудаком или выдумал бы какую-нибудь штуку, чтобы попугать его или одурачить, но теперь его рассердили угрожающие слова смотрителя и усилили его антипатию к нему.

Соскучившись, он подозвал Антиноя, который мечтательно смотрел на гавань.

Любимец тотчас же подошел к императору.

Адриан посмотрел на него и сказал, покачав головой:

— И у тебя тоже такой вид, как будто угрожает несчастье. Не покрылось ли все небо облаками?

— Нет, господин. Над морем оно синее, но на юге собираются черные тучи.

— На юге? — спросил Адриан задумчиво. — Оттуда едва ли может угрожать нам что-нибудь дурное. Но оно идет, оно приближается, оно будет здесь, прежде чем мы успеем оглянуться.

— Ты долго бодрствовал: это портит твоё настроение.

— Настроение? Что есть настроение? — пробормотал Адриан про себя. — Настроение есть такое состояние, которое разом овладевает всеми движениями души, овладевает с основанием, а мое сердце сегодня парализовано опасением.

— Значит, ты видел на небе дурные знамения?

— В высшей степени дурные!

— Вы, мудрые люди, веруете в звезды,— сказал Антиной.— Наверное, вы правы, но моя слабая голова не может понять, какое отношение может иметь их правильное движение по известным путям к моим непостоянным шатаниям туда и сюда.

— Сначала сделайся седым,— отвечал император.— Научись обнимать умом целостность вселенной и только тогда говори об этих вещах, только тогда ты будешь в состоянии признать, что каждая часть всего сотворенного самое великое и самое малое, тесно связаны между собой, действуют одно на другое и зависят друг от друга. Что есть и что будет в природе, что мы, люди, чувствуем, думаем и делаем, все это обусловлено вечными причинами, и то, что происходит от этих причин, демоны, стоящие между нами и божеством, обозначили золотыми письменами на голубом своде неба. Буквами этих письмен служат звезды, пути которых так же постоянны, как причины всего того, что есть и что случается.

— Вполне ли ты уверен, что никогда не ошибаешься в чтении этих письмен? — спросил Антиной.

— И я могу заблуждаться,— отвечал император.— Но на этот раз я наверняка не обманываюсь. Мне угрожает тяжкое бедствие.

— Что?

— Я получил из проклятой Антиохии, откуда ко мне никогда не приходит ничего хорошего, одно изречение оракула, которое... из которого... Но к чему мне утаивать это от тебя? Там говорится, что в середине наступающего года меня постигнет и поразит тяжкое несчастье. И нынешней ночью... Посмотри со мной в эту таблицу! Вот здесь — дом смерти, вот здесь — планеты... Но что понимаешь ты в этих вещах! Словом, в эту ночь, в которую однажды уже произошло нечто страшное, звезды подтвердили слова зловещего оракула с такой ясностью, с такой несомненной достоверностью, как будто у них были языки и они кричали мне в ухо дурные предсказания. С такой перспективой перед глазами человек чувствует себя плохо. Что принесет нам середина нового года?

Адриан глубоко вздохнул, а Антиной подошел к нему, опустился перед ним на колени и спросил его детски-скромным тоном:

— Смею ли я, бедное, глупое существо, научить великого мудреца, как обогатить ему жизнь хорошими шестью месяцами?

Император улыбнулся, как будто знал, что теперь последует; Антиной, ободрившись, продолжал:

— Предоставь будущему быть будущим. Что должно случиться, то случится, потому что и самые боги бессильны против судьбы. Когда дурное приближается, оно бросает перед собой черную тень. Ты обращаешь на нее внимание и позволяешь ей закрыть от тебя дневной свет; я же, мечтая, иду своей дорогой и замечаю несчастье только тогда, когда наталкиваюсь на него, и оно поражает меня.

— И таким образом обеспечишь себе ряд неомраченных дней,— прервал Адриан своего любимца.

— Это я и хотел сказать.

— И твой совет хорош для тебя и для каждого другого, прогуливающегося по ярмарке праздной жизни,— заметил император,— но человек, которому приходится вести миллионы над безднами, должен пристально подмечать и смотреть и вблизи и вдаль и не имеет права закрывать глаза, хотя бы он увидел даже нечто столь ужасное, как мне было суждено увидеть в эту ночь.

При этих словах в комнату вошел личный секретарь императора, Флегон, с новыми письмами из Рима и приблизился к повелителю. Он глубоко поклонился и спросил по поводу последних слов Адриана:

— Звезды тревожат тебя, цезарь?

— Они учат меня быть настороже,— отвечал Адриан.

— Будем надеяться, что они лгут,— сказал грек с веселой живостью.— Цицерон, конечно, был не совсем не прав, не доверяя искусству звездочетов.

— Он был болтун,— возразил Адриан, нахмурившись.

— Но разве неверно,— спросил Флегон,— что если бы гороскопы Гнея и Гая, заслуживали доверия, то Гней и Гай должны были бы иметь одинаковые темпераменты и одинаковую судьбу, родись они случайно в один и тот же час?

— Вечно те же рассуждения, вечно тот же вздор! — прервал Адриан секретаря, раздраженный до гнева.— Говори, когда тебя спросят, и не пускайся в рассуждения о вещах, которых ты не понимаешь и которые тебя

нисколько не касаются. Есть что-нибудь важное там, среди писем?

Антиной с удивлением посмотрел на императора. Почему его так возмутили возражения Флегона, между тем как на возражения его, Антиноя, он отвечал так ласково?

Адриан теперь не обращал на него внимания; он читал письмо за письмом быстро, но внимательно, делая краткие заметки на полях, подписал твердой рукой несколько декретов и, окончив свою работу, велел греску удалиться.

Как только он остался наедине с Антиноем, до него сквозь отворенные окна долетели громкие крики и радостные восклицания множества людей.

— Что это значит? — спросил он Мастора и, узнав, что рабочие и рабы только что отпущены, чтобы отдаться праздничному веселью, прошептал про себя:

«Все здесь шумит, ликует, радуется, украшает себя венками, предается опьянению, а я... я, которому все завидуют, порчу себе короткое время жизни ничтожными делами, терзаюсь мучительными заботами, я... я...»

Тут он сам прервал свою речь и совершенно изменившимся голосом сказал:

— Антиной, ты мудрее меня! Предоставим будущему быть будущим. Ведь этот праздник существует и для нас. Воспользуемся этим днем свободы! Перерядимся хорошенько: я — сатиром, ты — молодым фавном или кем-нибудь в этом роде. Мы бросимся в самую сутолоку праздника, будем осушать кубки, ходить по городу и наслаждаться всеми увеселениями!

— О! — вскричал Антиной и весело захлопал в ладоши.

— Эвоз, Вахх! — вскричал Адриан, схватив стоявший на столе кубок и размахивая им. — Ты свободен сегодня до вечера, Матор, а ты, мой мальчик, поговори с долговязым ваятелем Поллуксом. Пусть он ведет нас и достанет нам венки и какой-нибудь нелепый наряд. Я должен посмотреть на пьяных людей, я должен потолкаться среди веселящихся, прежде чем снова сделаюсь императором. Поспеши, мой друг, иначе какая-нибудь новая забота отравит мне праздничное веселье!

Антиной и Мастор тотчас же вышли из комнаты императора.

По пути юноша кивком головы подозвал к себе раба и сказал ему:

— Я знаю, что ты умеешь молчать, не окажешь ли ты мне услугу?

— Лучше три, чем одну,— отвечал Мастор.

— Ты сегодня свободен. Пойдешь ты в город?

— Думаю пойти.

— Тебя не знают здесь, но это ничего не значит. Возьми вот эти монеты. На одну из них ты купишь на цветочном рынке самый красивый букет, какой только найдешь, на другую повеселись сам, а из остальных возьми драхму и найми осла. Погонщик приведет тебя к саду вдовы Пудента, в котором стоит дом госпожи Анны. Запомнил ли ты имя?

— Госпожа Анна, вдова Пудента.

— В маленьком доме, а не в большом ты отдашь цветы... для больной Селены.

— Дочери толстого смотрителя, на которую напал наш молосс? — спросил с любопытством Мастор.

— Ей или другой,— прервал его Антиной.— Если тебя спросят, кто прислал цветы, то скажи только: «друг с Лохиады», ничего больше. Понял?

Раб кивнул головой и тихо воскликнул:

— Значит, и ты тоже! О женщины!

Антиной сделал отрицательный жест, в поспешных словах внушил ему, чтобы он не проговорился и позаботился о выборе самых лучших цветов. Затем он пошел в залу муз поискать Поллукса.

От него Антиной узнал, где находится больная Селена, о которой он думал всегда.

Антиной уже не застал ваятеля в мастерской.

Желание поговорить с матерью привело Поллукса в домик привратника, и теперь он стоял перед ней и, оживленно размахивая длинными руками, рассказывал ей откровенно все, что пережил в прошлую ночь.

Его рассказ звучал словно ликующая песня, и, когда он заговорил о том, как праздничная процессия увлекла его вместе с Арсиной, Дорида вскочила со стула, захлопала своими маленькими пухлыми руками и вскричала:

— Вот это веселье, вот это радость! Так и я летала тридцать лет назад с твоим отцом.

— Не только тридцать лет назад,— заметил Поллукс.— Я еще совсем хорошо помню, как ты однажды во время больших дионисий, охваченная могуществом бога, со шкурой козули на плече мчалась по улице.

— Это было хорошо, это было прекрасно! — вскричала Дорида с блестящими глазами.— Но тридцать лет назад это было еще иначе. Я уже однажды рассказывала тебе, как я тогда с нашей служанкой пошла на Канопскую улицу, чтобы посмотреть большую праздничную процессию из дома тетки Архидики. Мне было недалеко идти, так как мы жили у театра. Мой отец был театральным зрителем, а твой принадлежал к числу главных певцов хора. Мы спешили, но разный сброд задерживал нас, а пьяные парни лезли и заигрывали со мной.

— Да ведь ты и была красива, как розанчик,— прервал ее сын.

— Как розанчик, но не как твоя великолепная роза,— отвечала старуха.— Во всяком случае, я была настолько красива, что переодетые парни, фавны и сатиры и даже лицемеры-киники в разорванных плащах считали нужным смотреть мне вслед и получать удары по пальцам, когда пытались потащить меня с собой или украдкой поцеловать. Я не заглядывалась на красавцев, потому что Эвфорион уже успел околдовать меня своими пламенными взглядами — не словами, так как меня держали строго и ему никогда не удавалось поговорить со мной. Дойдя до угла Канопской и Купеческой улиц, мы не могли идти дальше, потому что там столпилась масса народа и с воем и ревом смотрела на бесновавшихся клодонских женщин, которые вместе с другими менадами в священном исступлении разрывали козла зубами. Меня приводило в ужас это зрелище, но я все-таки была принуждена смотреть и кричала, и выпускала радостные восклицания, подобно другим. Моя служанка, к которой я прижалась в страхе, была тоже охвачена бешенством и потащила меня в середину круга вплотную к кровавой жертве. Тогда на нас бросились две исступленные женщины, и я почувствовала, как одна из них обхватила меня и старалась повалить. Это было страшное мгновение, но я храбро защищалась и стояла еще на ногах, когда твой отец кинулся ко мне, освободил меня и увлек с собой. Это было похоже на один из тех блаженных снов, во время которых мы

должны сжимать свое сердце обеими руками, чтобы оно не разорвалось от восторга или не улетело к небу, прямо на самое солнце. Я пришла домой поздно вечером, а на следующей неделе сделалась женой Эвфориона.

— Мы проделали все по вашему примеру,— вскричал Поллукс,— и если Арсиноя окажется такой же, как моя старушка, то я буду доволен.

— Весел и счастлив,— прибавила Дорида.— Будь здоров, отгоняй печаль и заботу, исполняй свои обязанности в будничные дни, а в праздничные весело напивайся в честь Диониса. Тогда все пойдет к лучшему. Кто делает то, что он в состоянии сделать, и наслаждается, сколько может, тот пользуется жизнью полно, и ему нет причины раскаиваться в последние часы. Что прошло, то прошло, и когда Атропос перережет нить нашей жизни, то наше место заступят другие, и радость начнется снова. Да благословят их боги!

— Именно так! — вскричал Поллукс, обнимая мать.— И не правда ли, что вдвоем рука работает легче и человек вкушает радость существования лучше, чем в одиночестве.

— Это я и хочу сказать; и ты выбрал себе совсем подходящую спутницу жизни! — вскричала старуха.— Ты ваятель и привык к простоте. Ты не нуждаешься в богатой жене. Тебе нужна только красавица, которая радовала бы тебя ежедневно, и ты нашел ее.

— Нет ни одной прекраснее ее,— прервал ее Поллукс.

— Нет, разумеется, нет,— сказала Дорида.— Сначала я остановила свое внимание на Селене. Она тоже недурна и образцовая девушка. Но затем подросла Арсиноя, и каждый раз, когда она проходила мимо, я думала про себя: «Она растет для моего мальчика». А теперь, когда она твоя, мне кажется, что как будто я сделалась такой же молодой, как твоя милая. Мое старое сердце прыгает так весело, словно его щекочут эроты своими крылышками и розовыми пальчиками. Если бы мои ноги не так отяжелели от вечного стояния у очага и у кадки с бельем, то, право, я подхватила бы Эвфориона под руку и помчалась бы с ним по улице.

— Где отец?

— Вышел. Он поет.

— Утром? Где же это?

— Тут есть одна секта, которая сегодня празднует

свои мистерии. Эти люди платят хорошо, и он должен бормотать печальные песни за занавесом, какая-то чепуха, в которой он не понимает ни полслова, а я и того меньше.

— Жаль! Я желал бы поговорить с ним.

— Он вернется поздно.

— Но с этим можно еще повременить.

— Тем лучше, не то я могла бы передать ему.

— Твой совет стоит его совета. Я хочу отойти от Папия и стать на собственные ноги.

— Это хорошо. Римский архитектор говорил мне вчера, что тебе предстоит великая будущность.

— Я беспокоюсь только о бедной сестре и малютках. Так вот, если у меня в первые месяцы дела будут плохи...

— Так мы протянем эти месяцы сообща. Тебе уже пора самому пожинать то, что ты сеешь.

— Да, и пора не только ради меня, но также и ради Арсиной. Ах, если бы только Керавн...

— Да, с ним еще будет борьба.

— И жестокая, жестокая,— вздохнул Поллукс.— Мысль об этом старике смущает мое счастье.

— Глупости! — вскричала Дорида.— Только не предавайся бесполезным опасениям. Они почти так же губительны, как терзающее сердце раскаяние. Найми себе собственную мастерскую, создай с радостным сердцем что-нибудь великое, что изумило бы мир, и я бьюсь об заклад, что старый, желчный шут еще пожалеет, что разбил ничего не стоящую первую работу знаменитого Поллукса и не сохранил ее в своем шкафу с редкостями. Вообрази себе, что его вовсе нет на свете, и наслаждайся своим счастьем.

— Так я и буду делать.

— Только еще одно, мой мальчик.

— Что?

— Береги Арсиною! Она молода и неопытна, и ты не имеешь права склонять ее на то, чего не посоветовал ей, если бы она была невестой твоего брата.

Как только Дорида дала сыну этот совет, вошел Антиной и передал Поллуксу желание архитектора Клавдия Венатора, чтобы ваятель провожал его по городу.

Поллукс медлил с ответом, так как ему нужно было еще сделать кое-что во дворце и он надеялся в течение

дня повидаться с Арсиной. Без нее что могли обещать ему полдень и вечер после такого утра?

Дорида заметила его нерешительность и вскричала:

— Иди, иди же! Праздники существуют для того, чтобы наслаждаться ими. Может быть, архитектор даст тебе разные советы и будет рекомендовать тебя друзьям.

— Твоя мать говорит дело,— уверял Антиной.—Клавдий Венатор может быть очень обидчивым, но также умеет быть и очень благодарным. Я желаю тебе самого лучшего.

— Хорошо, я иду,— отвечал Поллукс вифинцу, так как его и без того привлекала властная натура Адриана, да и вообще он был не прочь погулять на празднике.— Я иду; но я должен по крайней мере сказать архитектору Понтию, что сегодня на несколько часов убегаю с поля битвы.

— Предоставь это Венатору,— возразил любимец.— Ты должен для него, для меня, а если хочешь, то и для себя самого достать какой-нибудь забавный наряд и маску. Он желает нарядиться сатиром, а я должен присоединиться к праздничным шествиям в другом наряде.

— Хорошо,— сказал ваятель.— Я сейчас иду и принесу, что нам нужно. В нашей мастерской лежит пропасть уборов для свиты Диониса. Через полчаса я возвращусь со всем этим скарбом.

— Поспеши,— попросил Антиной.— Мой хозяин не любит ждать. И притом... притом... еще одно...

Делая это предостережение, Антиной смутился и подошел совсем близко к ваятелю. Он положил ему руку на плечо и сказал тихо, но выразительно:

— Венатор очень близок к императору. Берегись говорить при нем что-нибудь, кроме хорошего, об Адриане.

— Разве твой хозяин — соглядатай цезаря? — спросил Поллукс, недоверчиво глядя на юношу.— Понтий уже делал мне подобное предостережение, и если это так...

— Нет, нет,— поспешно прервал его Антиной,— но у них нет тайн друг от друга, а Венатор говорит много и не может ни о чем умолчать.

— Благодарю тебя; я буду осторожен.

— Постарайся. Я желаю тебе добра.

Вифинец протянул руку художнику с выражением теплого чувства в прекрасных чертах и невыразимо грациозным жестом.

Ваятель пожал ее, но Дорида, глаза которой, точно очарованные, не отрывались от Антиноя, схватила сына за руку и вскричала, совершенно взволнованная зрелищем, которым она наслаждалась:

— О красота! О, самими богами изваянная священная красота! Поллукс, мальчик, можно подумать, что это один из небожителей сошел на землю.

— Какова моя старуха? — засмеялся художник. — Но, право, друг, она имеет основание восторгаться, и я восторгаюсь вместе с ней.

— Не упускай его, не упускай его, — сказала Дорида. — Если он позволит тебе сделать его изображение, тогда у тебя будет что показать миру!

— Желаете? — спросил Поллукс, прервав речь матери и обращаясь к Антиною.

— Я еще не соглашался позировать ни для одного художника, — отвечал юноша, — но для тебя сделаю это охотно. Мне грустно только, что и вы тянете ту же песню, что и все остальные. До свидания, я должен вернуться к хозяину.

Как только юноша вышел из домика привратника, Дорида воскликнула:

— Чего стоит какое-то произведение искусства — это я могу только смутно чувствовать; но что прекрасно — это я знаю не хуже всякой другой александрийской женщины. Если этот мальчик будет тебе позировать, то ты сделаешь нечто такое, что очарует мужчин и вскружит голову женщинам, и тебя станут посещать в твоей собственной мастерской. Вечные боги, у меня такое ощущение, как будто я выпила вина! Подобная красота все-таки выше всего! Почему нет никакого средства убереечь такое тело и такое лицо от старости и морщин?

— Я знаю одно средство, мать, — возразил Поллукс, идя к двери. — Оно называется искусством, и оно может сообщить этому смертному Адонису бессмертную юность.

Старуха с веселой гордостью посмотрела вслед сыну и подтвердила его слова сочувственным кивком головы.

В то время как она кормила своих птиц, обращаясь к ним ласково и позволяя своим любимцам клевать хлебные крошки с ее губ, молодой ваятель шел большими ускоренными шагами по улицам.

Нередко в темноте вслед ему раздавались бранные слова и разные «ах!» и «о!», так как и своим телом и

сильными руками он прокладывал себе путь и при этом обращал мало внимания на то, что его окружало.

Почти ничего не видя и не слыша, он думал об Арсиное и временами об Антиное, а также о том, в каком положении, в виде какого героя или бога можно изобразить его лучше всего.

У цветочного рынка, вблизи гимназия, его мысли на одно мгновение были отвлечены картиной, приковавшей его взор, который умел быстро схватывать все необыкновенное, что попадалось навстречу.

На совсем маленьком почти черном ослике ехал высокий хорошо одетый раб, держа в правой руке букет цветов, необычайно пышный и красивый. Возле него шел какой-то пестро одетый господин с роскошным венком на голове и в комической маске, скрывавшей его лицо. За ним следовали два бога садов¹ гигантского роста и четверо хорошеньких мальчиков.

В рабе Поллукс узнал слугу архитектора Венатора; что касается замаскированного господина, то ваятелю показалось, будто он его тоже где-то видел, но где — этого он не мог да и не потрудился вспомнить.

Сидевший на осле всадник, должно быть, выслушивал совсем неприятные вещи, так как он очень тревожно смотрел на свой букет.

Обогнав эту странную группу, Поллукс стал снова думать о других вещах, более близких его сердцу.

Боязнь, отражавшаяся на лице Мастора, не была лишена основания, так как говоривший с ним господин был не кто иной, как претор Вер, которого александрийцы называли «поддельным Эротом».

Вер сто раз видел ближнего раба императора при его господине, тотчас узнал его и из его присутствия в Александрии вывел простое и верное заключение, что и его повелитель тоже должен находиться здесь.

Любопытство претора было возбуждено, и он тотчас же напал на бедного малого, тесня и запутывая его сбивчивыми вопросами.

Так как всадник резко и грубо вздумал от него отделаться, то Вер счел за лучшее сказать, кто он такой.

Перед знатным господином, другом императрицы, раб потерял свою уверенность. Он запутался в противоречиях, и хотя ни в чем не признался, но все-таки вопреки своей воле внушил спрашивавшему уверенность, что Адриан находится в Александрии.

Прекрасный венок на Масторе, который привлек внимание претора, не мог принадлежать рабу — это было ясно. Какое же он имел назначение?

Вер стал расспрашивать снова, но Мастер не выдал ничего до тех пор, пока Вер не потрепал его тихонько сначала по одной, а потом по другой щеке и весело сказал:

— Мастер, добрый Мастерчик, выслушай меня. Я буду делать тебе предложения, а ты, кивая, приближай свою голову к голове дважды двуногого осла, на котором ты сидишь, как только тебе понравится какое-нибудь из них.

— Позволь мне ехать своей дорогой,— просил Мастер с возраставшим беспокойством.

— Поезжай! Но я буду идти с тобой, пока не добьюсь того, что тебе нравится. В моей голове живет множество предложений, вот увидишь. Во-первых, я спрашиваю тебя: не отправиться ли мне к твоему повелителю и не сказать ли ему, что ты выдал мне его присутствие в Александрии?

— Ты не сделаешь этого, господин! — вскричал раб.

— Ну, так дальше. Должен ли я прицепиться к тебе со своей свитой и оставаться при тебе до тех пор, пока наступит ночь и ты должен будешь возвратиться к своему хозяину? Ты делаешь рукой отрицательное движение, и ты прав, потому что выполнение этого предложения было бы столь же мало приятно для меня, как и для тебя, и, вероятно, навлекло бы на тебя наказание. Так шепни-ка мне спокойно на ухо, где живет твой повелитель и от кого и кому ты везешь эти цветы. Как только ты согласишься на это предложение, я тебя отпущу на все стороны и покажу тебе, что я в Африке так же мало дорожу своими деньгами, как и в Италии.

— Никаких денег... я не приму никаких денег! — вскричал Мастер.

— Ты славный малый,— сказал Вер, переменяя тон,— и тебе известно, что я хорошо содержу моих слуг и охотнее делаю людям приятное, чем дурное. Так удовлетвори мое любопытство без опасения, и я обещаю тебе, что ни один человек, а тем более твой господин не узнает от меня то, что ты мне сообщил.

Мастор некоторое время колебался, но так как он не мог скрыть от самого себя, что в конце концов он все-таки будет вынужден исполнить желание этого могуще-

ственного человека и так как он в самом деле знал расточительного и разгульного претора как доброго господина, то он вздохнул и затем прошептал ему:

— Ты не погубишь бедного человека, это я знаю; ну, так я скажу тебе: мы живем на Лохиаде.

— Там! — вскричал претор и всплеснул руками. — Ну, а цветы?

— Шалость.

— Значит, Адриан находился в веселом расположении духа?

— До сих пор он был очень весел, но с минувшей ночи...

— Ну?

— Ты ведь знаешь, что бывает с ним, когда он заметит дурные знаки на небе.

— Дурные знаки, — повторил Вер серьезно. — И все-таки он посылает цветы?

— Он — нет. Как только мог ты подумать это!

— Антиной?

Мастор кивнул утвердительно головой.

— Каков! — засмеялся Вер. — Значит, он начинает находить, что восторгаться приятнее, чем самому быть предметом восторгов. Какой же красавице посчастливилось расшевелить это сонливое сердце?

— Я обещал ему не проболтаться.

— И я обещаю тебе то же самое. Моя молчаливость еще сильнее моего любопытства.

— Так прошу тебя, удовлетворишься тем, что ты знаешь.

— Знать половину хуже, чем не знать ничего.

— Я не могу говорить.

— Не начать ли мне снова с моими предложениями?

— Ах, господин, сердечно прошу тебя...

— Так говори скорее, и я отправлюсь своей дорогой. Если же ты будешь продолжать упираться...

— Право же, дело идет об одной бедной девушке, на которую ты бы и не посмотрел.

— Итак, это девушка.

— Наш молосс напугал ее.

— На улице?

— Нет, на Лохиаде. Ее отец — дворцовый смотритель Керавн.

— И ее зовут Арсиной? — спросил с искренним сожалением Вер, вспомнив о прекрасной девушке, избранной для роли Роксаны.

— Нет, ее зовут Селеной; Арсиноя — ее младшая сестра.

— Так ты везешь этот букет на Лохиаду?

— Она вышла из дому и не могла идти дальше; теперь она лежит в чужом доме.

— Где?

— Да ведь это для тебя все равно.

— Нет, вовсе нет. Прошу тебя сказать мне всю правду.

— Вечные боги, какое тебе дело до этого больного создания?

— Никакого, но я должен знать, куда ты едешь.

— К морю. Я не знаю дома, но погонщик осла там, позади...

— Далеко это отсюда?

— Каких-нибудь полчаса, — отвечал Мастор.

— Так. Значит, порядочный кусок пути, — заметил Вер. — И Адриан стоит на том, чтобы не быть узанным?

— Конечно.

— А ты, его приближенный раб, которого, кроме меня, знают еще и другие люди из Рима, думаешь с этим букетом в руке, привлекающим к тебе все глаза, целых полчаса ехать по улицам, на которых толпятся теперь все, кто имеет ноги?! О Мастор, Мастор, это неблагоприятно!

Раб испугался и, понимая, что Вер прав, спросил тревожно:

— Что же мне делать в таком случае?

— Сойти с этого осла, перерядиться и погулять вволю вот с этими деньгами.

— А букет?

— Я позабочусь о нем.

— Ты наверняка сделаешь это и не скажешь Антиною о том, к чему принуждаешь меня?

— Разумеется, не скажу.

— Так вот тебе цветы, а денег я не могу взять.

— Так я брошу их в толпу. Купи себе на эти деньги венок, маску и вина, сколько можешь выпить. Где можно найти девушку?

— У госпожи Анны. Она живет в маленьком доме в саду вдовы Пудента. Тот, кто будет отдавать букет, должен сказать, что его прислал друг с Лохиады.

— Хорошо. Теперь иди и позаботься о том, чтобы никто не узнал тебя. Твоя тайна — моя, и о друге с Лохиады будет упомянуто.

Мастор исчез в толпе, а Вер вручил венок одному из садовых богов, которые за ним следовали, смеясь, вскочил на осла и приказал погонщику указывать ему дорогу. На углу ближайшей улицы он встретил двое носилок; люди, которые их несли, с трудом пробирались через толпу.

В первых носилках помещался Керавн, толстый, как Силен, спутник Диониса, но с угрюмым лицом; его шафранный плащ был замечен издали. Во вторых — сидела Арсиноя. Она весело смотрела кругом, такая свежая и прекрасная, что ее вид взволновал легко воспламеняющуюся кровь римлянина.

Не подумав о том, что он делает, Вер взял у садового бога предназначенный для Селены букет, положил его на носилки девушки и сказал:

— Александр приветствует прекраснейшую Роксану.

Арсиноя покраснела, а Вер, посмотрев несколько минут ей вслед, приказал одному из своих мальчиков следовать за носилками и затем, на цветочном рынке, где он будет его ждать, сообщить ему, куда эти носилки направятся.

Посланец побежал, а Вер повернул осла и скоро доехал до полукруглой галереи с колоннами на теневой стороне большой площади, где хорошенькие девушки продавали пестрый, душистый товар известнейших садовников и цветочников в городе.

В этот день все лавки были особенно богаты и полны товаром; но потребность в венках и цветах с самого раннего утра постоянно возрастала, и хотя Вер выбрал самые лучшие свежие цветы, какие только нашел, но сделанный из них по его приказанию букет при всей своей величине не был и вполтину так красив, как первый, предназначенный для Селены и подаренный Арсиное.

Это огорчило римлянина. Его чувство справедливости требовало вознаградить больную девушку за причиненный ей по его вине убыток. Стебли букета были обвиты пестрыми лентами, длинные концы которых свешивались вниз; и Вер снял со своей одежды одну пряжку и прикрепил ее к банту, изящно украшавшему букет.

Теперь он был доволен, и, глядя на вставленный в золотой ободок оникс, где было вырезано изображение Эрота, точившего стрелы, он представлял радость, которую почувствует возлюбленная прекрасного вифинца при виде этого дивного подарка.

Его британские рабы, наряженные садовыми богами,

получили приказание, взяв погонщика ослов в проводники, отправиться в дом Анны, передать Селене букет от друга с Лохиады и затем ждать его, Вера, у дома префекта Титиана, так как по сведениям, полученным им от своего маленького быстрого посланца, Керави и его прекрасная дочь были отнесены туда.

Веру потребовалось больше времени, чем мальчику, для того чтобы проложить себе путь через толпы народа.

Перед префектурой он снял маску.

В передней комнате, где смотритель, сидя на диване, дожидался своей дочери, Вер привел в порядок волосы и складки тоги, а затем велел проводить себя к госпоже Юлии, где надеялся снова увидеть очаровательную Арсиною.

Но в приемной комнате супруги префекта он нашел вместо нее свою собственную жену и поэтессу Бальбиллу с ее кампаньонкой.

Он приветствовал этих дам весело, любезно, грациозно, как всегда. Когда затем он стал осматривать комнату, не скрывая своего разочарования, Бальбилла подошла к нему и тихо спросила:

— Можешь ли ты быть честным, Вер?

— Если это позволяют обстоятельства.

— Позволяют ли они тебе это здесь?

— Полагаю.

— Так отвечай мне правдиво: ты пришел сюда ради госпожи Юлии или же...

— Ну?

— Или же ты надеялся найти у супруги префекта прекрасную Роксану?

— Роксану? — спросил Вер, с удивлением посмотрев на поэтессу, и на его губах мелькнула лукавая улыбка. — Роксану? Да ведь это, кажется, супруга Александра Великого? Она, должно быть, давно умерла, а я пребываю с живыми, и если оставил веселую сутолоку на улице, то это случилось единственно...

— Ты подстрекаешь мое любопытство, — прервала Бальбилла.

— ...так это случилось потому, — продолжал претор, — что мое вешнее сердце обещало мне, что я найду здесь тебя, моя прекраснейшая Бальбилла.

— И ты называешь это правдивым! — воскликнула поэтесса и ударила претора по руке опахалом из страусовых перьев. — Послушай, Луцилла, твой муж утверждает, что он явился сюда ради меня.

Претор с видом упрека посмотрел на поэтессу, но она шепнула ему:

— Так наказывают нечестных людей.

Затем, возвысив голос, она продолжала:

— Знаешь ли, Луцилла, если я не вышла замуж, то в этом отчасти виновен твой муж.

— Да, к сожалению, я родился слишком поздно для тебя,— сказал Вер, который знал, чем именно думала упрекнуть его поэтесса.

— Никаких недоразумений!—вскричала Бальбилла.— Как можно отважиться на вступление в брак, когда приходится бояться приобрести такого мужа, как Вер?

— И какой мужчина будет настолько смел, чтобы посвататься к Бальбилле, когда услышит, как строго она судит безобидного почитателя красоты?

— Муж должен почитать не красоту, а только красавицу — свою жену.

— Весталка, — засмеялся Вер. — Я накажу тебя тем, что скрою от тебя одну великую тайну, которая касается всех нас. Нет, нет, я не болтлив, но прошу тебя, жена, возьми ее в руки и научи ее снисходительности, чтобы ее будущему мужу не было слишком тяжело с ней.

— Быть снисходительной, — возразила Луцилла, — не научится никакая женщина, но мы оказываем снисхождение, когда нам не остается ничего другого и когда грешник принуждает нас признать за ним те или иные достоинства.

Вер поклонился жене, приложив губы к ее плечу, и затем сказал:

— Где госпожа Юлия?

— Она спасает овцу от волка, — отвечала Бальбилла.

— То есть?

— Как только доложили о тебе, она увела маленькую Роксану в потайное место.

— Нет, нет, — прервала Луцилла поэтессу. — Во внутренних комнатах ждут портные, которые должны сшить наряд для очаровательной девушки. Посмотри на великолепный букет, который она принесла госпоже Юлии. Неужели ты отказываешь мне даже в праве разделить с тобой твою тайну?

— Как могу я это? — отвечал Вер.

— Он очень нуждается в твоей признательности, — засмеялась Бальбилла, в то время как претор приблизился к жене и тихим голосом рассказал ей о том, что узнал от Мастора.

Луцилла всплеснула руками от удивления, а Вер, обращаясь к Бальбилле, воскликнул:

— Ты теперь видишь, какого удовольствия лишил тебя твой злой язык!

— Как можно быть таким мстительным, превосходнейший Вер,— льстила поэтесса,— я умираю от любопытства.

— Поживи еще несколько дней, прекрасная Бальбилла, и причина твоей безвременной смерти будет устранена.

— Подожди же, я отомщу! — вскричала девушка и погрозила претору пальцем; но Луцилла отвела ее в сторону и сказала:

— Теперь пойдем, теперь время помочь Юлии нашим советом.

— Сделай это, — сказал Вер. — Я и так должен опасаться, что сегодня здесь любой гость некстати. Поклонитесь госпоже Юлии.

Уходя, он бросил взгляд на букет, который Арсиноя, получив от него, подарила так скоро, и проговорил вздыхая:

— Когда человек постарел, он должен научиться примиряться с такими вещами.

Вдова Анна до восхода солнца не сомкнула глаз, ухаживая за Селеной, и беспрестанно освежала ей больную ногу и рану на голове примочками.

Старый врач был доволен состоянием пациентки, но приказал вдове немножко отдохнуть и предоставить на несколько часов уход за больной своей молодой подруге.

Когда Мария осталась одна с Селеной и положила ей первый компресс, больная повернулась к ней лицом и сказала:

— Итак, ты была вчера на Лохиаде. Расскажи мне, как ты там нашла всех. Кто привел тебя в наше жилище, и видела ли ты моих маленьких сестер и брата?

— Ты еще не совсем отделалась от лихорадки, и я не знаю, можно ли мне много говорить с тобой, но мне бы очень хотелось...

Это уверение было произнесено очень ласковым тоном, и глаза горбатой девушки, когда она говорила, сияли каким-то сердечным, приветливым блеском.

Селена внушала ей не только участие и сострадание,

но и восторженное удивление, потому что была так прекрасна, так не похожа на нее, и каждый раз, как она оказывала какую-нибудь услугу больной, Мария чувствовала себя в положении жалкого бедняка, которому какой-нибудь монарх позволяет ухаживать за ним.

Ее спина никогда еще не казалась ей такой кривой, ее смуглое лицо никогда не представлялось ей таким безобразным, как сегодня, рядом с этой девической фигурой, такой пропорциональной, с такими нежными и грациозно округлыми очертаниями.

Но Мария не ощущала в душе зависти. Она чувствовала себя только счастливой тем, что служит Селене, помогает ей, смеет смотреть на нее, хотя та и была язычницей.

И ночью она молилась в сердце своем, чтобы господь сжалился над этим прекрасным, добрым созданием, чтобы он позволил больной выздороветь и наполнил ее душу той любовью к Спасителю, которая доставляла счастье ей самой.

Не один раз она порывалась поцеловать Селену, но не смела, так как ей казалось, что больная создана из другого вещества, чем она.

Селена была слаба, очень слаба, и когда боль утихала, то в этой тихой, наполненной любовью обстановке ее охватывало сладостное чувство мира и успокоения, которое ей было ново и очень приятно, хотя оно беспрестанно прерывалось заботой о домашних. Близость вдовы Анны действовала на нее благотворно, потому что теперь ей казалось, что и в голосе этой женщины есть что-то такое, что было в голосе матери, когда та играла с ней и с особенной нежностью прижимала ее к своему сердцу.

В папирусной мастерской, за рабочим столом, вид горбуни был противен Селене; здесь же она заметила, какие у нее добрые глаза, какой ласковый, нежный голос; осторожность, с которой Мария снимала компресс с ее больной ноги и накладывала его снова, как будто ее руки чувствовали такую же боль, возбуждала в ней благодарность.

Сестра Селены, Арсиноя, была настоящая александрийская девушка и по имени безобразнейшего из всех осаждавших Трои эллинов дала бедняжке насмешливое прозвище «девицы Терсит», и иногда Селена повторяла за ней это прозвище.

Теперь ей уже не приходило в голову это отвратительное прозвище, и в ответ на опасение, высказанное ее сиделкой, она возразила:

— Нет, лихорадка не сильная. Если ты будешь рассказывать мне что-нибудь, я перестану думать постоянно об этой неутолимой боли. Я тоскую о своем доме. Ты не видела детей?

— Нет, Селена, я не переступала порога вашего жилища. Ласковая привратница сказала мне, что я не застану ни твоего отца, ни твоей сестры и что ваша раба вышла, чтобы купить пирожного для детей.

— Купить?.. — спросила Селена с удивлением.

— Старуха сказала также, что к вам нужно идти через множество комнат, где работают рабы, и что ее сын, находившийся тут же, меня проводит. Он это и сделал, но ваша дверь была закрыта, потому он сказал, чтобы я сообщила его матери то, что нужно передать. Я так и сделала, потому что она показалась мне умной и доброжелательной.

— Так оно и есть.

— И очень любит тебя, так как, когда я рассказала ей о твоём несчастье, у нее по щекам текли горькие слезы, и она хвалила тебя так сердечно и была так расстроена, как будто ты ее родная дочь.

— Ты, однако же, не сказала ей, что мы работаем в мастерской? — спросила Селена с беспокойством.

— Разумеется, нет; ведь ты просила меня не говорить об этом. Мне поручено пожелать тебе от имени старушки всего хорошего.

Несколько минут обе девушки молчали, затем Селена спросила:

— А сын привратницы, который проводил тебя, слышал, какое со мной случилось несчастье?

— Да. На пути к вашему жилищу он весело шутил; но когда я рассказала ему, что ты вышла из дому с поврежденной ногой и теперь не можешь вернуться домой, что врач озабочен твоим состоянием, то он рассердился и начал богохульствовать.

— Ты еще помнишь, что он говорил?

— Не совсем; помню только одно: он обвинял своих богов в том, что они создают прекрасные творения только для того, чтобы потом наносить им вред.

При этом сообщении Мария опустила глаза, как будто она рассказывала нечто непристойное. Селена же слегка покраснела от удовольствия и сказала с жаром,

как будто желая превзойти ваятеля в богохульстве:

— Он совершенно прав! Те, что там, наверху, так и поступают...

— Это нехорошо! — вскричала Мария тоном упрека.

— Что? — спросила больная. — Вы живете здесь тихо, в мире и любви друг к другу. Некоторые слова, которые говорила Анна во время нашей работы, я удержала в памяти и теперь вижу, что она и поступает согласно своим ласковым речам. Может быть, боги и добры к вам.

— Бог добр ко всем.

— Даже и к тем, — вскричала Селена со сверкающими глазами, — даже и к тем, чье счастье они разрушают вконец? Даже и к дому с восемью детьми, у которых они похитили мать? Даже и к бедным, которым они ежедневно угрожают отнять у них того, кто их кормит?

— Даже и для них существует единый добрый бог, — прервала ее Анна, которая вошла в комнату. — Я покажу тебе доброго отца небесного, который печется обо всех нас, как будто мы его дети, — покажу со временем, но не теперь. Ты должна отдыхать и не говорить и не слушать ничего такого, что может взволновать твою больную кровь. Теперь я поправлю тебе подушку под головой, Мария сделает тебе свежую примочку, а затем ты постарайся заснуть.

— Я не могу, — ответила Селена. Между тем Анна заботливо взбивала подушку и переворачивала ее на другую сторону. — Расскажи мне о своем ласковом боге.

— После, милая девушка. Он найдет тебя, потому что из всех своих детей он всего более любит тех, которые претерпевают тяжкие страдания.

— Претерпевают страдания? — спросила Селена с удивлением. — Какое дело тому или другому богу, в его олимпийском блаженстве, до тех, кто претерпевает страдания?

— Тише, тише, дитя, — прервала Анна больную. — Ты скоро узнаешь, как бог печется о тебе и как любит тебя еще некто другой.

— Другой... — прошептала Селена про себя, и щеки ее покрылись легкой краской.

Она подумала о Поллуксе и спрашивала себя: «Взволновало ли его так сильно известие о ее страдании, если бы он не любил ее?» Она начала искать смягчающие обстоятельства того разговора, который она слышала, проходя мимо перегородки.

Он никогда не говорил ей ясно, что любит ее. Почему бы ему, художнику, веселому, беззаботному юноше, не пошутить с красивой девушкой, хотя бы даже его сердце принадлежало другой...

Нет, он не был к ней равнодушен; это она чувствовала в ту ночь, когда позировала ему; это доказывал ей и рассказ Марии; это, как ей казалось, она подозревала, ощущала и знала.

Чем больше она думала о нем, тем больше стала тосковать о том, кого так любила еще ребенком.

Ее сердце еще никогда не билось для мужчины; но с тех пор, как она снова встретила Поллукса в зале муз, его образ наполнил всю ее душу, и то, что она чувствовала теперь, могло быть только любовью и ничем иным.

Не то наяву, не то во сне она представляла себе, что он входит в эту тихую комнату, садится у изголовья ее постели и смотрит на нее своими добрыми глазами. О, она не может теперь удержаться... Она должна приставать и протянуть к нему руки.

— Успокойся, успокойся, дитя, — сказала Анна, — тебе вредно так много двигаться.

Селена открыла глаза, но тотчас же закрыла их снова и продолжала грезить, пока не очнулась в испуге, услышав громкие голоса в саду.

Анна вышла из комнаты, ее голос смешался с голосами других людей, стоявших перед домом, и, когда, она вернулась к больной, на ее щеках играл румянец, и она не тотчас нашла подходящие слова для того, что она должна была рассказать ей.

— Какой-то высокий человек в очень вольном костюме, — сказала она наконец, — просил впустить его к нам, и когда привратник отказал ему, то он ворвался насильно. Он спрашивал тебя.

— Меня?.. — спросила Селена, краснея.

— Да, дитя мое. Он принес большой букет цветов редкой красоты и сказал при этом, что друг с Лохиады тебе кланяется.

— Друг с Лохиады? — пробормотала Селена про себя в раздумье. Затем ее глаза радостно заблестели, и она поспешно спросила: — Ты говоришь, что человек, который принес букет, очень высок ростом?

— Да.

— Прошу тебя, Анна, — вскричала Селена, пытаясь подняться, — дай мне посмотреть на цветы!..

— У тебя есть жених, дитя? — спросила вдова.

— Жених!.. Нет.. Но есть один молодой человек, с которым мы всегда играли, когда были еще маленькими, художник, хороший человек, и букет этот, должно быть, прислан им.

Анна с участием посмотрела на больную, мигнула Марии и сказала:

— Букет очень велик. Ты можешь посмотреть на него, но здесь он не должен оставаться: запах такого множества цветов может повредить тебе.

Мария встала со стула, стоявшего у изголовья больной, и шепотом спросила:

— Высокий — сын привратника?

Селена с улыбкой кивнула головой и, когда обе женщины вышли, переменила положение своего тела. Она лежала на боку, теперь же она легла, вытянувшись, на спину, прижала левую руку к сердцу и, глубоко дыша, смотрела вверх. При этом в ее ушах раздавались звон и пение, и ее глаза, подернутые туманом, видели какие-то пестро мерцавшие светлые тела прекрасного блеска. Ей было трудно дышать, и, однако же, ей казалось, что в воздухе, который она вдыхает, веет ароматами цветов.

Анна и Мария принесли букет громадных размеров.

Глаза Селены заблестели ярче, и она всплеснула руками от восторга и удивления. Затем она попросила показать ей этот великолепный пестрый, душистый подарок, прижимала к цветам лицо и при этом тайком поцеловала нежный край одной прекрасной полураспустившейся розовой почки. Она чувствовала себя точно опьяневшей, и слезы одна за другой катились по ее щекам.

Мария первая заметила булавку, прикрепленную к ленте букета. Она сняла ее и показала Селене; девушка быстро схватила ее. Краснея, снова и снова смотрела она на вырезанное на ониксе изображение Эрота, точившего свои стрелы. Она уже не ощущала никакой боли, она чувствовала себя совсем здоровой и притом такой радостной, гордой, такой переполненной счастьем.

Вдова Анна с тревогой смотрела на ее сильное волнение. Она мигнула Марии и сказала:

— Ну, теперь довольно, дочь моя, мы поставим букет за окном, чтобы ты могла его видеть.

— Уже? — спросила Селена с глубоким сожалением и при этом вынула несколько цветков из пышного букета.

Когда больная опять осталась одна, она отложила цветы и начала с любовью рассматривать фигуры, изображенные на прекрасной застёжке.

«Это, наверно, работа Тевкра, брата Поллукса, резчи-
ко по камню», — подумала Селена.

Какая тонкая была резьба, как удачно выбран был предмет, который она изображала! Только тяжелая золотая оправка беспокоила ее, уже много лет вынужденную все эконоимить и экономить.

Она говорила самой себе, что со стороны бедного молодого человека, который к тому же должен содержать сестру, все-таки нехорошо позволять себе для нее такие разорительные расходы. Но эта мысль не уменьшала радости, которую доставлял ей подарок. Ведь и ей самой ничто из ее скудного имущества не показалось бы слишком дорогим для Поллукса. Но она намеревалась научить его бережливости впоследствии.

Не без труда поставив букет перед окном, Анна и Мария вернулись к ней и молча переменили компрессы. Она тоже вовсе не была расположена говорить, потому что ей было так приятно прислушиваться к прекрасным обещаниям своего сердца, и куда бы ни смотрели ее глаза, они всюду встречали что-либо милое ей. Она с удовольствием глядела на цветы, лежавшие на ее постели, на букет за окном, на застежку в руке, на доброе лицо Анны, даже на некрасивые черты Марии; эта горбатая девушка казалась ей подругой, поверенной. Ведь Мария знала Поллукса и с ней можно было говорить о нем.

Селена не узнавала самое себя. Прежде в ее душе была зима, теперь наступала весна; прежде была ночь — теперь день; прежде в ее сердце была засуха, теперь оно было подобно саду, который вот-вот зазеленеет и зацветет во всем весеннем великолепии. Прежде ей было трудно понять неудержимую веселость Арсиной или детей, она даже сердилась на них и читала им нотации, когда их веселый смех раздавался без конца, — теперь она охотно повеселилась бы с таким же увлечением.

Так лежала эта бледная, прекрасная девушка и с выражением глубокого счастья смотрела на букет, не подозревая, что его прислал не тот, кого она любила, а другой, до которого ей было столько же дела, сколько до христиан, ходивших взад и вперед перед ее окном в саду вдовы Пудента. Так лежала она, полная блаженства и уверенная в любви, которая никогда не относилась к ней, уверенная в том, что она обладает сердцем человека, который не думал о ней и еще за несколько часов перед тем бешено мчался с ее сестрой в опьянении радостью и счастьем. Бедная Селена!

Теперь она предавалась грезам о невозмутимом блаженстве, а минуты следовали за минутами, и каждая из них приближала ее к пробуждению — и к какому!

Ее отец не навестил ее, как предполагал, до своего отправления с Арсиноей в префектуру.

Желание представить дочь госпоже Юлии в наряде, достойном его происхождения, задержало его надолго, и ему все-таки не удалось достигнуть своей цели.

Все мануфактуры и магазины были заперты, так как ремесленники, рабы и торговцы принимали участие в празднике, и, когда приблизился час, назначенный префектом, его дочь все еще сидела в своем простом белом платье и в неказистом пеплуме с голубыми лентами, который днем имел еще более жалкий вид, чем вечером.

Букет, который Арсиноя получила от Вера, доставил ей удовольствие, потому что девушки всегда восторгаются прекрасными цветами: ведь девушки и цветы сродни друг другу.

Когда отец и дочь достигли префектуры, Арсиноей овладела робость. А Керавн не смог скрыть своей досады, что ему пришлось вести ее к госпоже Юлии в таком простом одеянии. Его мрачное настроение не стало более веселым, когда ему велели ждать в приемной, между тем как госпожа Юлия с женой Вера и Бальбиллой выбирали для его дочери дорогие, дивных цветов материи из тончайшей шерсти, шелка и нежной бомбиксовой ткани. Поэтому Керавну пришлось ждать добрых два часа в приемной префекта, все более и более наполнявшейся клиентами и посетителями. Наконец Арсиноя вернулась, вся пылающая, полная упоения от великолепных вещей, которые были для нее приготовлены.

Ее отец медленно поднялся с дивана. Когда она поспешила к нему, дверь отворилась и богатый владелец папирусной мастерской, Плутарх, на этот раз с венком на голове, украшенный дорогими цветами, выглядывавшими из складок его паллия, вошел в комнату.

Все встали при его приближении, и когда Керавн увидел, что старший городской стряпчий, человек из старинного рода, кланяется ему, то и он сделал то же.

Глаза Плутарха были гораздо здоровее его ног, а там, где перед ним находились красивые женщины, они всегда оказывались особенно зоркими.

Еще на пороге он заметил Арсиною и сделал ей обеими руками жест, как будто она была его милой старой знакомой.

Прелестная девушка очаровала его. В более молодые годы он отдал бы все, чтобы добиться ее благосклонности; теперь ему было довольно и того, чтобы заставить ее почувствовать его благосклонность к ней.

По своему обыкновению он велел подвести себя к ней совсем близко, несколько раз прикоснулся пальцами к ее плечу и весело сказал:

— Ну, прекрасная Роксана, госпожа Юлия закончила с выбором платья?

— О, она выбрала такие чудные, такие дивные ткани! — отвечала девушка.

— Да?.. — спросил Плутарх, желая скрыть этим вопросом, что он что-то обдумывает про себя. — Чудные? Да и как ей не выбрать...

Старику бросилось в глаза застиранное платье Арсиной. Продавец художественных произведений Габиний в это утро приходил к нему, чтобы разведать, в самом ли деле Арсиной принадлежит к числу его работников на фабрике. При этом он повторил ему, что ее отец — надутый, задирающий нос бедняк; что его редкости — ничего не стоящий хлам. Старик спрашивал себя: каким образом может он защитить свою хорошенькую любимицу против завистливых языков ее соперниц, так как до его ушей уже доносились злобные отзывы на ее счет.

— То, что берет достойная Юлия в свои руки, разумеется, должно иметь успех, — громко сказал Плутарх и затем шепотом продолжал: — Послезавтра, когда золотых дел мастера отворят свои мастерские, я посмотрю, не найду ли я чего-нибудь для тебя. Я падаю, приподнимите меня повыше, Антей и Атлас!.. Вот так. Да, дитя мое, верхняя моя часть, пожалуй, будет поустойчивее, чем нижняя. Этот полный господин. что стоит там, позади тебя, твой отец?

— Да.

— У тебя нет уже матери?

— Она умерла.

— О! — воскликнул Плутарх тоном соболезнования. Затем он обратился к Керавну:

— Прими от меня поздравление, у тебя замечательная дочь. Я слышу, что тебе приходится заменять для нее также и мать?

— К сожалению, да, господин! Моя бедная жена была похожа на нее. Я веду безрадостную жизнь со времени ее смерти.

— Я слышал, что ты любишь собирать прекрасные редкости. Я разделяю твою склонность. Не согласишься ли ты расстаться с кубком моего тезки, Плутарха... Габиний говорит, что это хорошая вещь.

— Она такова в самом деле,— отвечал Керавн с гордостью.— Подарок императора Траяна философу. Прекрасно вырезанная слоновая кость. Мне тяжело расстаться с этим перлом, но... я тебе обязан. Ты принимаешь участие в моей дочери, и чтобы предложить тебе ответный подарок...

— Об этом не может быть и речи,— прервал его Плутарх, который знал людей и которому напыщенная манера Керавна показала, что Габиний не без основания называл его надменным человеком.— Ты оказываешь мне честь, позволяя мне украшать нашу Роксану. Прошу тебя прислать мне кубок. Разумеется, я соглашусь на всякую цену, какую ты назначишь.

Керавн несколько времени что-то бормотал про себя.

Если бы не настоятельная нужда в деньгах, если бы желание иметь нового, представительного раба, который торжественно шествовал бы за ним, не было в нем так сильно, он настоял бы на том, чтобы Плутарх принял его кубок в подарок. Но при настоящих обстоятельствах... он откашлялся, опустил глаза и сказал в смущении, без всякого следа прежней уверенности:

— Я остаюсь твоим должником, но ты, по-видимому, желаешь, чтобы мы не смешивали этого дела с другими делами. Пусть будет так! За меч Антония, который был у меня, я получил две тысячи драхм...

— В таком случае,— перебил его старик,— кубок Плутарха — подарок Траяна — стоит вдвое, в особенности для меня, так как я в родстве с этим великим человеком. Могу я предложить тебе четыре тысячи драхм...

— Я желаю угодить тебе и потому говорю «да», — отвечал Керавн с достоинством и пожал мизинец стоявшей возле него Арсиной. Она давно уже трогала его руку, желая дать ему понять, что он должен подарить кубок Плутарху.

Когда эта неравная пара вышла из приемной, Плутарх, улыбаясь, посмотрел ей вслед и подумал:

«Ну, вот и хорошо... Как мало вообще я придаю значения моему богатству, как часто я, видя какого-нибудь дюжего носильщика, желал бы поменяться с ним положением в жизни; но сегодня все-таки было хорошо, что денег у меня столько, сколько мне угодно. Очарователь-

ная девочка! Для того чтобы показаться в люди, ей необходимо новое платье, но, право, ее стираная-перестиранная тряпка не способна умалить ее красоту. Она принадлежит к моему дому, так как я видел ее в мастерской между работницами, это я знаю наверное».

Керавн с дочерью вышли из префектуры. Не пройдя еще и нескольких шагов, он не мог удержаться, чтобы не захихикать; погладив Арсиною по плечу, он шепнул:

— Я ведь говорил тебе, девочка. Мы будем еще богаты, мы снова возвысимся, и нам не будет необходимости уступать в чем бы то ни было другим гражданам.

— Да, отец, но именно потому, что ты так думаешь, ты мог бы, собственно говоря, подарить кубок этому старому господину.

— Нет,— отвечал Керавн.— Дело есть дело, но впоследствии я заплачу ему за все, что он делает для тебя, заплачу вдесятеро картиной Апеллеса. Госпожа Юлия получит башмачный ремешок, украшенный двумя резными камнями, который принадлежал к одной из сандалий Клеопатры.

Арсиною опустила глаза; она знала цену этим сокровищам и сказала:

— Об этом мы можем подумать после.

Затем они сели в дожидавшиеся их носилки, без которых Керавн теперь уже не мог обходиться, и приказали нести себя в сад вдовы Пудента.

Счастливые грезы Селены были прерваны их посещением.

К вдове Анне Керавн отнесся с ледяной холодностью, так как для него было удовольствием дать ей почувствовать свое презрение ко всякому христианину.

Когда он высказал свое сожаление по поводу того, что Селена была принуждена оставаться у нее, вдова отвечала:

— Ей все же лучше здесь, чем на улице.

На его уверение, что он не принимает ничего даром и что он заплатит за попечение об его дочери, Анна возразила:

— Мы охотно делаем для твоей дочери, что можем, а заплатит нам за это некто другой.

— Я запрещаю это! — вскричал Керавн с негодованием.

— Мы не понимаем друг друга,— мягко сказала христианка.— Я разумею не какого-либо смертного человека, и вознаграждение, которого мы добиваемся, состо-

ит совсем не в деньгах или имуществе, а в радостном сознании, что мы облегчили страдание больной.

Керавн пожал плечами и удалился, приказав Селене спросить врача, когда ее можно будет перенести домой.

— Я не оставляю тебя здесь ни на одно мгновение дольше, чем это необходимо,— сказал он выразительно, точно дело шло о том, чтобы удалить ее из какого-нибудь зачумленного дома, затем поцеловал ее в лоб, поклонился вдове Анне с видом такого снисходительного величия, как будто он подал ей милостыню, и ушел, не дослушав уверений Селены, что ей у вдовы очень хорошо.

Земля давно уже горела у него под ногами, и деньги жгли ему карман: теперь он обладал средствами купить себе превосходного нового раба. Может быть, если дать в придачу старика Зебека, хватит даже для покупки грека приличного вида, который может научить его детей читать и писать. Он намеревался обратить главное внимание на наружность нового слуги; если же при этом раб будет и хорошо вышколен, оправдается и высокая цена, которую он за него заплатит.

Приближаясь к невольничьему рынку, Керавн сказал себе самому, умиленный собственным чадолюбием:

— Все для чести семьи, все только для детей.

Арсиноя по его приказанию осталась при Селене. Отец намерен был заехать за ней на обратном пути.

Когда Керавн удалился, Анна и Мария оставили сестер, предполагая, что они должны чувствовать желание поговорить друг с другом без свидетелей.

Как только девушки остались одни, Арсиноя сказала:

— У тебя красные щеки, Селена, и ты, по-видимому, весела. А я... я так счастлива, так счастлива!

— Потому что ты будешь представлять Роксану?

— Это тоже прекрасно. И кто подумал бы вчера, что мы будем так богаты сегодня! Мы решительно не знаем, куда девать деньги.

— Мы?

— Да, потому что отец продал две вещи из своего хлама за шесть тысяч драхм.

— О! — вскричала Селена и тихо всплеснула руками.— Значит, можно будет заплатить самые безотлагательные долги.

— Конечно, но это еще далеко не все.

— Ну?

— С чего мне начать... Ах, Селена, мое сердце так полно. Я устала, и все-таки я могла бы плясать и петь, и бесноваться и сегодня, и всю ночь, и завтра. Когда я думаю о своем счастье, то у меня шумит в голове, и мне кажется, что я должна крепко держаться, чтобы не упасть. Ты еще не знаешь, что чувствует человек, в которого попала стрела Эрота. Ах, я так сильно люблю Поллукса, и он тоже любит меня!

При этом признании вся кровь отхлынула от щек Селены, и она тихо переспросила:

— Поллукс, сын Эвфориона, ваятель Поллукс?

— Да, наш милый, добрый верзила Поллукс! — вскричала Арсиноя. — Навостри уши и дай мне рассказать, как все это случилось. В эту ночь по дороге к тебе он признался мне, как сильно он меня любит; и ты должна посоветовать, каким образом нам склонить отца в нашу пользу, склонить как можно скорее. После-то он, конечно, скажет «да», потому что Поллукс может добиться всего, чего только захочет, и притом он со временем сделается великим человеком, таким, как Папий и Аристей и Неалк, вместе взятые. Юношеская шутка с нелепой карикатурой... Но как ты бледна, Селена!

— Это ничего, совсем ничего. Я чувствую боль. Только говори дальше, — просила Селена.

— Госпожа Анна сказала, чтобы я не позволяла тебе много говорить.

— Только расскажи все, я буду молчать.

— Ты ведь тоже видела прекрасную голову матери, которую он сделал, — начала Арсиноя. — Перед ней мы встретились и разговаривали в первый раз после долгой разлуки, и я скоро почувствовала, что более милого человека, чем он, нет на всей земле. Там же он и влюбился в меня, в глупое создание. Вчера вечером он провожал меня к тебе. Когда я шла ночью под руку с ним по улицам, то... то... о Селена, как это было чудно, прекрасно, ты не можешь и представить себе! У тебя очень болит нога, бедняжка? Глаза у тебя совсем влажные!

— Дальше, рассказывай дальше.

И Арсиноя не умолчала ни о чем.

Упиваясь сладостными воспоминаниями, она описала то место на улице, где Поллукс поцеловал ее в первый раз, кусты в саду, в тени которых она упала в его объятия, их очаровательную прогулку в лунную ночь сквозь толпы людей, собравшихся по случаю праздника, наконец, то, как они оба присоединились к процес-

сии и в вакхическом безумии мчались по улицам. Она описала, также со слезами на глазах, как тяжело было ей потом расставаться с Поллуксом, и затем рассказала, уже смеясь, как лист плюща, приставший к ее волосам, чуть не выдал всего отцу.

Арсиноя все говорила и говорила, и для нее было нечто упоительное в ее собственной речи. Она не замечала, как действовали ее слова на Селену. Могла ли она знать, что именно эти слова, а не боль вызывали мучительную судорогу на губах ее сестры?

Когда затем Арсиноя начала рассказывать о великолепных платьях, которые заказала для нее госпожа Юлия, больная слушала ее только наполовину, но внимание ее снова было возбуждено, когда она услышала, как много богатый Плутарх предложил за кубок из слоновой кости, и что ее отец думает променять старого раба на другого, более сильного.

— Правда, наш добрый, черный линияющий аист выглядит порядочным растрепой,— заметила Арсиноя,— но все-таки мне больно, что ему приходится уйти от нас. Если бы ты была дома, отец, может быть, одумался.

Селена сухо засмеялась, губы ее насмешливо искривились, и она вскричала:

— Смелей! Продолжайте в том же роде... Так вы еще ухитритесь обзавестись лошадьми и экипажем за два дня до того, как вас выбросят на улицу...

— У тебя на уме всегда только самое худшее,— возразила Арсиноя с досадой.— Говорю тебе, все пойдет лучше, прекраснее и благоприятнее, чем мы ожидаем. Как только мы разбогатеем, мы выкупим старого раба и будем кормить его до смерти.

Селена пожала плечами, а ее сестра вскочила со своего стула со слезами на глазах.

Она была так рада, что может сообщить сестре о своем счастье, и твердо убеждена, что ее рассказ развеселит душу больной, подобно солнечному свету после темной ночи. И вот теперь она не может добиться от сестры ничего, кроме горькой насмешки!

Если друг отказывается разделить с нами наше счастье, то нам не менее тяжело, чем когда он оставляет нас в несчастье.

— Как можешь ты портить мне мою единственную радость! — вскричала Арсиноя.— Правда, я знаю, что тебе не нравится все, что бы я ни делала, но мы все же сестры, и тебе нечего сжимать зубы, скупиться на слова

и поводить плечами, когда я тебе рассказываю о вещах, по поводу которых со мной порадовались бы даже посторонние девушки, если бы я открылась им. Ты так холодна, так бессердечна! Может быть, ты еще выдашь меня отцу!

Арсинья не докончила своей фразы, потому что Селена посмотрела на нее с горечью и беспокойством и тотчас же отвечала:

— Я не могу радоваться; это мне причиняет слишком большую боль.

При этих словах слезы полились по ее щекам. Арсинья, заметив это, снова почувствовала сострадание к больной. Она наклонилась над Селеной, поцеловала ее щеку вначале один раз, потом другой и третий; но та отстранила ее и тихо простонала:

— Оставь меня, прошу тебя, оставь меня! Уйди, я не могу выносить этого дольше.

Всхлипывая, она повернула лицо к стене; Арсинья еще раз попыталась приблизиться к ней с изъявлениями своей любви, но больная отстранила ее еще с большей запальчивостью и вскричала как будто в отчаянии:

— Я умру, если ты не оставишь меня одну!

Тогда счастливица, видя, что искренний дар ее отвергнут единственной подругой, плача, направилась к двери и села перед домом, дожидаясь отца.

Накладывая новый компресс, Анна заметила, что Селена плакала; но она не спросила о причине слез.

Вечером вдова объявила больной, что она теперь оставит ее на полчаса одну, так как она и Мария уйдут, чтобы помолиться с братьями и сестрами своему богу, между прочим, и о ней.

— Оставьте, оставьте,— сказала Селена,— что есть, то и есть; никаких богов не существует.

— Богов? — сказала Анна.— Их нет, но есть один, добрый, любвеобильный отец на небесах, и ты еще познаешь его.

— Я знаю его,— пробормотала больная с горькой насмешкой.

Как только Селена осталась одна, она поднялась на постели, бросила лежавшие возле нее цветы в глубину комнаты, начала вертеть булавку застежки, и та сломалась; но она не пошевелила рукой, чтобы достать золотую оправу с вырезанным камнем, упавшую между кроватью и стеной.

Затем она уставилась глазами в потолок и замерла.

Стемнело. Лилии и каприфолии в букете у окна начали пахнуть сильнее, и изливавшийся из них аромат неумолимо преследовал ее лихорадочным возбуждением. Селена ощущала его при каждом вдыхании, и не проходило ни одной минуты, когда он не напоминал бы ей о разрушенном счастье и о безысходном горе. Таким образом, сладкий запах цветов сделался для нее невыносимее едкого дыма, и она закрыла голову одеялом, чтобы избавиться от этой новой пытки. Но скоро она вновь сбросила одеяло: она задыхалась под ним.

Ею овладело невыразимое беспокойство, и при этом в поврежденной ноге, как молот, стучала боль, рана на голове горела, от мучительной боли напряженно сжимались мускулы.

Каждый ее нерв, каждая мысль, приходившая ей в голову,— все причиняло ей муку, и при этом она чувствовала себя беспомощной, беззащитной, отданной на произвол каких-то жестоких сил, которые стремительно увлекали ее душу подобно буре, бешено играющей верхушками пальм.

Без слез, не способная лежать на одном месте, но при каждом движении чувствуя новую боль, не в силах собрать мысли, толпившиеся в ее мозгу, она, однако же, была твердо убеждена, что этот запах цветов отравит ее, убьет, сведет с ума. Она спустила больную ногу с постели, затем другую и села, не обращая внимания на боль, не думая о предостережении врача.

Длинные распустившиеся волосы падали волнами на ее лицо, плечи и руки, которыми она поддерживала голову. В таком положении мысли ее приняли другое направление.

Взгляд, которым она смотрела на пол, окаменел, и горькое, враждебное чувство против сестры, ненависть к Поллуксу, презрение к жалким слабостям отца и к своему собственному ослеплению в диком беспорядке сменялись в ее душе.

Всюду царил глубокий мир; временами вечерний ветер доносил до ее ушей чистые звуки какой-то благочестивой песни из дома вдовы Пудента. Селена не обращала на них внимания, но когда тот же ветер еще сильнее, чем прежде, пахнул ей в лицо ароматом цветов, она крепко впилась пальцами в свои волосы и с такой силой потянула их книзу, что от боли, которую она сама себе причинила, у нее вырвался громкий стон. Ее начал преследовать вопрос: неужели ее волосы не так пышны и

прекрасны, как у Арсиной; и, подобно молнии ночью, в ее омраченной душе промелькнуло желание — той же самой рукой, которой она причинила боль самой себе, схватить сестру за волосы и повалить ее на землю.

Но этот запах, этот ужасный запах! Она не могла его выносить дольше.

Вне себя она встала на свою поврежденную ногу, маленькими шажками подобралась к окну и сбросила на пол букет вместе с большой кружкой из обожженной глины, в которой он помещался. Сосуд разбился. Вдова Анна купила его незадолго перед тем на свои с трудом сбереженные деньги.

Чтобы отдохнуть, Селена, стоя на одной ноге, оперлась о правый косяк двери и здесь, явственнее, чем в постели, услышала шум морских волн, разбившихся о каменную береговую дамбу, позади домика вдовы Анны.

Селена выросла на Лохиаде и была хорошо знакома с этими звуками, но никогда еще плеск и прибой ударявшей в камни, хлюпающей, влажной и холодной стихии не действовали на нее так, как теперь.

Ее кровь была воспалена лихорадкой, нога горела, голова пылала, злоба, точно медленный огонь, сжигала душу, и ей казалось, что каждая новая волна, разбивавшаяся о дамбу, кричала ей: «Я холодна, влажна, я могу погасить пожирающее тебя пламя, могу охладить и оживить тебя».

Что могла дать ей жизнь, кроме новых мук и нового горя? Но море, синее, темное море, было велико, холодно и глубоко; его волны своими ласкающими звуками обещали ей погасить жар ее лихорадки и разом снять с нее бремя жизни!

Селена ни о чем не думала, ничего не воображала; она не вспоминала о детях, о которых так долго заботилась как мать; ни об отце, которому она была опорой и нянькой; какие-то глухие голоса в ее душе нашептывали ей, что мир зол и жесток, что он — место муки и забот, грызущих сердце.

Ей казалось, будто она по самые виски погрузилась в огненную яму, и, подобно страдальце, одежда которой охвачена пламенем, она тянулась к морю, на дне которого она могла достигнуть высшей цели своих желаний — прекрасной, холодной смерти.

Шатаясь, с тихим стоном, прошла она через дверь в сад и на каждом шагу готовая упасть, медленно ковыляя, направилась к морю...

Александрийцы обладали упрямыми затылками. Только какое-нибудь совсем незаурядное явление могло заставить их повернуть голову и посмотреть, хотя каждый час на всех улицах их города можно было видеть немало необыкновенных вещей.

А сегодня каждый думал только о самом себе и о своем веселье.

Какая-нибудь особенно красивая, статная или хорошо наряженная фигура возбуждала то мимолетную улыбку, то крик одобрения; но прежде чем зрители могли вполне насладиться одним каким-нибудь зрелищем, их жадные взгляды искали уже другого.

Поэтому никто не обратил внимания на Адриана и на двух его спутников, которые без сопротивления отдались потоку толпы, стремившемуся по улицам; а между тем каждый из них представлял зрелище замечательное в своем роде. Адриан был наряжен Силеном, Поллукс — фавном.

Оба были в масках, и стройному подвижному юноше его одеяние пристало не хуже, чем могучей, энергичной фигуре зрелого мужчины, шедшего с ним рядом.

Антиной следовал за своим повелителем, одетый Эротом.

Он был покрыт красноватым плащом и увенчан розами, а серебряный колчан на его спине и лук в руке символически показывали, какого бога он изображает.

Он тоже был в маске, однако же его фигура привлекала к себе много взоров, и вслед ему раздавались то там, то сям восклицания:

«Да здравствует любовь!» или: «Будь милостив ко мне, прекрасный сын Афродиты!».

Поллукс достал нужные для переодевания вещи из кладовой своего хозяина. Последнего не было дома; но вопрос о его согласии показался молодому человеку не важным, так как и Поллукс и другие помощники Папия часто, с его ведома, пользовались этими вещами для подобных целей.

Поллукс немножко поколебался только тогда, когда брал колчан, выбранный им для Антиноя, потому что этот колчан был из чистого серебра и подарен его хозяину женой одного богатого хлеботорговца, статую которой он изваял из мрамора в образе охотящейся Артемиды.

«Прекрасный спутник римлянина должен быть великолепным Эротом, — думал художник, укладывая этот

ценный предмет с другими вещами в корзину, которую должен был нести за ним его косоглазый ученик.— Ему нужен колчан, и, прежде чем взойдет солнце, эта бесполезная вещь будет уже снова висеть на своем крюке».

Впрочем, у Поллукса было мало времени радоваться, глядя на великолепную фигуру бога любви, наряженного им так богато, потому что римский архитектор, которого он провожал, был охвачен такой жаждой знания, таким пристальным любопытством, что молодому наблюдательному художнику, родившемуся в Александрии, не один раз приходилось затрудняться ответом на неистощимые вопросы спутника.

Седобородый архитектор желал все видеть и иметь полные сведения обо всем. Не довольствуясь ознакомлением с главными улицами и площадями, общественными садами и зданиями, он обращал внимание и на красивейшие из частных домов и спрашивал об имени, общественном положении и имущественном состоянии их владельцев.

Решительный тон, с которым он указывал, по какому пути желает следовать, показал Поллуксу, что он хорошо знаком с расположением города.

Когда этот умный и знатный римлянин высказывал одобрение и даже восторг по поводу широких и чисто содержавшихся городских улиц, красивых площадей и чрезвычайно величественных зданий, в которых нигде не было недостатка, то это радовало молодого александрийца, любившего свой родной город.

Прежде всего Адриан велел вести себя вдоль морского берега, через Брухейон, к храму Посейдона, где он совершил краткую молитву. Потом он заглянул в сады царских дворцов и в дворцы Музея, находившегося в соседстве с ними.

Цезареум с его египетскими воротами возбудил в нем восторженное удивление в не меньшей степени, чем театр Диониса, обнесенный аркадами с колоннами и весь окруженный статуями.

Оттуда он повернул налево, опять к морю, чтобы посмотреть на Эмпорий, на лес мачт в гавани Эвносты и на превосходно выложенную камнем набережную.

Мостовое сооружение Гептастадия осталось с правой стороны. Осмотр гавани Кибот, кишевшей мелкими торговыми судами, задержал путников только на короткое время. Здесь они отошли от моря, вышли на улицу, тянущуюся параллельно Драконову каналу, пере-

секли квартал Ракотида, населенный коренными египтянами, где можно было увидеть много замечательного. Прежде всего они встретили торжественную процессию жрецов, служивших богам Нильской долины. Они несли ковчеги с реликвиями, священные сосуды, статуи богов и изображения животных и направлялись к Серапейону, который возвышался над всем его окружавшим. Адриан не пошел туда, но остановился, чтобы посмотреть на колесницы, которые по проезжей дороге поднимались на холм, где стоял храм, и на пеших богомольцев, всходивших по огромной, предназначенной для них лестнице. Она расширялась вверху и оканчивалась платформой, на которой со смелым изгибом четыре мощные колонны, поддерживали купол. Возвышавшееся под этим исполинским балдахинном здание храма со своими залами, галереями и комнатами было необозримо.

Жрецы в белых одеждах, сухощавые, полунагие египтяне в передниках со складками и с платками, повязанными на голове, изображения животных и странно раскрашенные дома в этом квартале особенно привлекли внимание Адриана, что он задал много таких вопросов, на которые Поллукс был не в состоянии ответить.

Удаляясь все больше и больше от моря, они дошли до Мареотийского озера, находившегося на южной окраине города. Нильские корабли и мелкие суда разных форм и размеров стояли в этом внутреннем бассейне на якоре. Здесь ваятель показал императору Агатодемонов канал, через который проходившие по Нилу в Александрию товары передавались на морские корабли. Он обратил внимание императора на великолепные дачи и хорошо обработанные виноградники на берегу озера.

— Тело этого города должно полнеть, потому что у него два рта и два желудка, при помощи которых он питается, то есть море и это озеро,— заметил император.

— И гавани в обоих,— прибавил Поллукс.

— Совершенно верно; но теперь нам пора возвращаться,— отвечал Адриан.

И они пошли по улице, которая вела вдоль канала к северу, и, миновав Ворота солнца на восточном конце Канопской улицы, добрались до Еврейского квартала. Внутри этого квартала многие дома были заперты. Здесь не видно было также никакого следа праздничного движения, которое было так шумно в квартале язычников, потому что те из израильтян, которые строго соблюдали свою веру, держались вдали от торжеств этого ве-

село́го дня, хотя в них принимало участие большинство их единове́рцев, живших среди эллинов.

Наконец путники вернулись к Ворота́м солнца и пошли по Кано́пской улице, разделявшей город на две половины — северную и южную. Адриан пожелал с высоты Панейона осмотреть уже виденные им отдельные строения в их совокупности. Короткий путь в южном направлении привел их к этой возвышенности.

Сад вокруг холма, содержащийся в большом порядке, кишел людьми, а извилистый путь до вершины был переполнен женщинами и детьми, которые желали посмотреть отсюда на блистательнейшее зрелище дня, посвященное Дионису. Вечером должны были последовать за этим зрелищем представления во всех театрах.

Прежде чем император со своими спутниками дошел до Панейона, толпа сжалась теснее, и в ней слышались восклицания: «Они идут!», «Сегодня начинается рано!», «Вот они!».

Ликторы со связками прутьев на плече очищали широ́кую улицу, которая от театра Диониса вела к Панейону, очищали с бесцеремонным рвением, не обращая внимания на шуточные и колкие слова, которыми встречали их везде, где они ни появлялись.

Женщина, которую один из этих римских блюстителей порядка отодвинул своею связкой назад, сказала с насмешкой:

— Подари мне твои розги для детей, а не употребляй их против мирных граждан.

— Среди этих прутьев спрятан топор, — прибавил какой-то египетский писец тоном предостережения.

— Так давай его сюда! — вскричал мясник. — Он мне может пригодиться для моих быков.

При этой насмешке кровь прихлынула к лицу римлянина; но префект, который знал своих александрийцев, приказал ликторам быть глухими — все видеть, но ничего не слышать.

Теперь показалась одна когорта двенадцатого, квартировавшего в Египте легиона в богатейшем боевом и праздничном наряде.

Позади нее шли два ряда особенно статных ликторов с венками на головах. За ними следовали, сопровождаемые смуглыми египтянами, несколько сотен зверей пустыни: леопарды, пантеры, жирафы, газели, антилопы и олени. Затем показался хор Диониса с тамбуринами, лирами, двойными флейтами и треугольниками, в

богатых костюмах и с пестрыми венками на головах. Наконец, десять слонов и двадцать белых коней везли большой, поставленный на колеса, весь вызолоченный корабль. Он изображал судно, на котором, по сказанию, тирренские морские разбойники увезли юного Диониса, после того как они увидели этого прекрасного, чернокудрого юношу в пурпурной одежде на берегу. Но злодеи, — так повествует далее миф, — не долго радовались своей добыче, потому, что едва они вышли в открытое море, оковы бога упали, виноградные лозы, быстро и роскошно разрастаясь, опутали паруса, виноградные ветви обвились вокруг реи и весел, грозди отягчали канаты; мачта же, скамья и стены корабля обросли плющом. На земле и на море Дионис одинаково могуществен. На разбойничьем судне он принял образ льва. Охваченные ужасом злодеи бросились в море и, превратившись в дельфинов, последовали за утраченным кораблем.

Этот корабль, в том виде, как он изображен в гомеровских гимнах, Титиан велел сделать из легких материалов и богато разукрасить, чтобы доставить александрийцам красивое зрелище и самому вместе с своей супругой и знатнейшими римлянами, сопровождавшими императрицу, полюбоваться праздничным движением на главных улицах города.

Молодые и старые, знатные и простые, мужчины и женщины, греки, римляне, евреи, египтяне, иноземцы с белым или смуглым цветом кожи, с гладкими или курчавыми, как баранья шерсть, волосами — все с одинаковым рвением теснились по краям улицы, чтобы видеть великолепный корабль.

Адриан, в любви к зрелищам далеко превосходивший своего молодого любимца, которого трудно было расшевелить, протиснулся в самый передний ряд; но когда Антиной старался последовать за ним, какой-то мальчишка-грек сорвал маску с его лица, пригнулся к земле и ловко ускользнул со своей добычей.

Пока Адриан оглядывался кругом, ища вифинца глазами, корабль, на котором между статуями императора и императрицы стоял префект и где сидели его жена Юлия, Бальбилла со своей компаньонкой и другие римлянки и римляне, подъехал совсем близко к нему. Своим острым взглядом он узнал их и, боясь, незамаскированное лицо Антиноя выдаст его любимца, крикнул:

— Повернись и уйди назад, в толпу!

Антиной поспешил исполнить это приказание, раду-

ясь, что может вырваться из этой давки, которая была ему в высшей степени противна. Он сел на скамейку возле Панейона и, рассеянно глядя на землю, думал о Селене и о букете, который он послал ей, не видя и не слыша ничего происходившего вокруг него.

Когда разукрашенный корабль Диониса оставил сад Панейона и повернул на Канопскую улицу, народ тесной толпой с криками последовал за ним.

Подобно потоку, вздущемуся от проливного дождя, толпа, шумя, бурля и все возрастая, увлекала с собой даже тех, которые сопротивлялись ее стремлению. Адриан и Поллукс тоже были принуждены последовать за ней.

Только на широкой Канопской улице удалось им удержаться против ее натиска.

Необозримая, длинная колоннада окаймляла справа и слева мостовую этой широкой, знаменитой улицы, которая вела от одного конца города к другому. Насчитывались целые сотни коринфских колонн, на которые опирались кровли галереи. Около одной из колонн императору и Поллуксу удалось остановиться и перевести дух.

Первой заботой Адриана было подумать о своем любимце; и так как сам он боялся снова идти в толпу, то приказал ваятелю разыскать его и привести к нему.

— Ты подождешь меня здесь? — спросил Поллукс.

— Я видел более приятные места для ожидания, — вздохнул Адриан.

— Я тоже, — отвечал художник. — Но вон та высокая увенчанная листвою тополя и плюща дверь ведет в дом харчевника, у которого даже боги почувствовали бы себя недурно.

— Так я буду дожидаться там.

— Но, предупреждаю тебя, не ешь слишком много, потому что «Олимпийский стол» коринфянина Ликорта — самая дорогая харчевня в городе. Его гости — одни только толстосумы.

— Хорошо, хорошо, — засмеялся Адриан. — Только достань моему помощнику новую маску и приведи его ко мне. Я не обеднею от того, что заплачу за закуску за нас троих. В праздник Диониса позволительно немножко раскошелиться.

— Только смотри не раскайся, — сказал ваятель. — Такой длинный верзила, как я, хорошо справляется с питьем и яствами.

— Покажи только, что ты в состоянии сделать в этом отношении, — крикнул император вслед удалявшемуся

Поллуксу.— Я и без того у тебя в долгу за капустное блюдо твоей матери.

Пока Поллукс искал Антиноя, император зашел в самую аристократическую поварню города, славившуюся искусством своих поваров.

Эта поварня, где обедало большинство посетителей этого дома, состояла из обширного открытого двора, с трех сторон окаймленного открытыми и, с задней стороны, глухими галереями с колоннами.

В этих галереях были устроены лежа, на которых лежали гости по одному, по два или более многочисленными группами, угощаясь кушаньями и напитками, которые прислуживавшие рабы и хорошенькие мальчики с кудрявыми волосами и в красивых одеждах ставили на маленькие, низенькие столики.

В одном углу было шумно и весело; в другом — какой-то гастроном молча наслаждался тщательно приготовленными лакомствами; в третьем — большая группа, по-видимому, разговаривала с большим рвением, чем пила и ела, а из некоторых комнат, прилегавших к задней стене галерей, раздавались музыка, пение и хохот.

Император потребовал особой комнаты, но все было уже занято: его попросили подождать, так как одна из боковых комнат должна была скоро освободиться.

Он снял маску, и, хотя едва ли ему нужно было серьезно опасаться, что его могут узнать в его фантастическом костюме, он все-таки выбрал себе ложе, прикрытое широким пилястром, в галерее, находившейся на задней стороне двора, где становилось уже темнее.

Там он велел подать себе прежде всего вина и несколько устриц для закуски. Уничтожая их, он подозвал главного служителя и вступил с ним в переговоры насчет трапезы, которую в короткое время нужно было приготовить для него и для двоих его товарищей.

Во время этого разговора хлопотливый хозяин харчевни подошел к своему новому гостю, и когда увидел, что имеет дело с человеком, хорошо знакомым с гастрономическими тонкостями, то остался при нем и с вежливой готовностью отвечал на расспросы Адриана.

В окруженном галереями дворе можно было увидеть многое, что должно было возбудить пытливість самого любопытного человека того времени.

На глазах у гостей в обширном отделении двора жарились на решетках и очагах, на вертелах и в печах те яства, которые заказывались слугам.

На больших чистых столах повара приготавливали свои произведения, и место их деятельности, открытое для всех глаз, было окружено небольшим рынком с самыми отборными товарами.

Здесь в одном месте были красиво выставлены все виды овощей, выращенных на египетской и греческой почве, в другом — превосходные фрукты разных цветов и величин; далее — золотисто-желтые пирожки, начиненные мясом, рыбой и канопскими улитками, приготавливавшиеся в самой Александрии, и такие, у которых начинка состояла из фруктов или цветочных лепестков, доставлявшихся из Арсиной у озера Мерида, где в окрестностях процветало разведение плодов и ученое садоводство. Мясные товары всякого рода лежали и висели на особом месте. Там можно было видеть сочные окорока из Кирены, итальянские колбасы и сырую убоину. Возле них лежала или висела дичь и живность в богатом выборе, и в особенности большое пространство двора занимали аквариумы, в которых плавали благороднейшие из чешуйчатых жителей Нила и внутренних озер северного Египта, а также драгоценные мурены и другие рыбы итальянского происхождения. Александрийские раки, улитки, устрицы и лангусты из Канопы и Клисмы содержались в особых лоханях. Копченые товары из Мендеса и из окрестностей озера Мерида висели на металлических прутьях; а в особом, крытом, но полном воздуха помещении лежали защищенные от солнца рыбы свежего улова Средиземного и Красного морей.

Каждому гостю «Олимпийского стола» дозволялось самому выбирать здесь мясо, плоды, спаржу, рыбу или паштеты и заказывать из них кушанья.

Хозяин Ликорт указал императору на одного престарелого господина, выбиравшего посреди дворика, украшенного обильной росписью приятно расположенных *nature morte*, продукты для пира, который он намеревался дать вечером этого дня своим друзьям.

— Все прекрасно, все превосходно, — сказал Адриан, — но мухи, которых привлекают все эти лакомства, невыносимы. Да и этот сильный запах кушаний портит мне аппетит.

— В боковых комнатах лучше, — отвечал хозяин. — В той, которая предназначена для тебя, гости собираются уже уходить. А позади нее здешние софисты, Деметрий и Панкрат, угощают знатных господ из Рима: риторов, философов и других подобных лиц. Вот уже несут

факелы, а они сидят за трапезой и спорят с самого завтрака. Ну, вот гости выходят из боковой комнаты. Хочешь ты занять ее?

— Да,— ответил император.— Если высокий юноша будет спрашивать архитектора Клавдия Венатора из Рима, то приведи его ко мне.

Адриан вошел в освободившуюся комнату, лег на стоявшее у стены мягкое ложе и поторопил рабов, которые уобрали облепленную мухами посуду, бывшую в употреблении у его предшественников. Оставшись один, он начал прислушиваться к разговору, который в соседней комнате вели Фаворин, Флор и их греческие гости.

Он хорошо знал двух первых, и от его острого слуха не ускользнуло ни одно слово из их оживленной беседы.

Фаворин громким голосом, но с дикцией самого лучшего тона и на прекрасном, плавном греческом языке расхваливал александрийцев.

Он был родом из Арелата в Галлии, но ни у одного эллина язык Демосфена не мог быть изящнее и чище.

Проникнутые духом самостоятельности, остроумные и деятельные жители африканского мирового города были ему якобы гораздо милее афинян. Последние жили теперь только прошедшим, александрийцы же могли наслаждаться своим настоящим. Здесь еще жил дух независимости; в Греции же были только рабы, которые торговали знанием, как александрийцы — африканскими товарами и индийскими сокровищами. Когда Фаворин однажды впал в немилость у Адриана, то афиняне низвергли его статую. Милость и немилость сильных для них значили больше, чем умственное величие, важные деяния и высокие заслуги.

Флор, в общем, соглашался с Фаворином и объявил, что Рим должен освободиться от умственного влияния Афин, но Фаворин был другого мнения и сказал, что для каждого, кто перешел уже за черту первой мужской зрелости, будет трудно изучать что-нибудь новое; этим он шутливо намекнул на знаменитейшее сочинение своего сотрапезника, в котором Флор сделал попытку разделить историю Рима по четырем главным возрастам человеческой жизни, причем забыл старость и говорил только о детстве, юности и мужественной зрелости. Фаворин упрекал его за то, что он слишком высоко ценил гибкость римского гения и слишком низко ставил эллинский.

Флор отвечал галльскому оратору низким, грубым голосом и такими вдохновенными словами, что подслуши-

вавший император охотно высказал бы ему свое одобрение, задавая себе вопрос: сколько кубков осушил со времени завтрака его земляк, расшевелить которого было трудно.

Когда Флор старался доказать, что Рим в правление Адриана стоит на вершине мужественной силы, его прервал Деметрий из Александрии и попросил его рассказать кое-что о личности императора.

Флор охотно поспешил исполнить его просьбу и стал хвалить мудрость Адриана как правителя, его знания, его способности.

— Я не могу одобрить в нем только одного,— вскричал он с живостью,— он слишком мало живет в Риме, а Рим — это сердце мира! Ему все нужно видеть собственными глазами, и потому он, не зная отдыха, странствует по провинциям. Я не желал бы поменяться с ним ролями.

— Ты уже выразил эту мысль в стихах,— прервал его Фаворин.

— Застольная шутка... Я бы ежедневно благодумствовал за «Олимпийским столом» этого превосходного харчевника, пока я живу в Александрии и дожидаясь императора.

— Что же говорится в этом стихотворении? — спросил Панкрат.

— Я забыл его, да оно и не заслуживает лучшей участи,— отвечал Флор.

— А в моей памяти удержалось по крайней мере начало. Первые стихи гласят так:

Не желаю быть, как цезарь,
Чтоб шататься средь британцев,
В Скифии страдать от снега.

При этих стихах Адриан ударил кулаком правой руки в левую, между тем как пирующие обменивались друг с другом предположениями насчет того, почему он так долго остается вдали от Александрии; он взял двойную, записную табличку, которую постоянно носил с собой, и быстро написал на воске следующие стихи:

Не желаю быть я Флором,
Чтоб шататься по харчевням,
Чтоб валяться по кружалам,
От клопов страдать округлых.

Едва он кончил этот ответ, тихо улыбаясь про себя, как слуга ввел к нему ваятеля Поллукса.

Художник не нашел Антиноя. Он высказал предположение, что молодой человек, должно быть, ушел домой, и затем просил императора не задерживать его долго за трапезой, так как он встретил своего хозяина Папия и тот высказал большое неудовольствие по поводу его долгого отсутствия.

Адриан уже не дорожил обществом художника. Разговор в соседней комнате казался ему гораздо интереснее беседы с этим добрым малым, да и сам он хотел уйти пораньше, так как чувствовал беспокойство. Антиной, конечно, мог легко найти дорогу к Лохиаде, но Адриана тревожили воспоминания о дурных знаках, виденных им на небе в прошлую ночь. Подобно летучим мышам в пиршественной зале эти воспоминания носились в его уме среди веселья, которому он снова и снова пытался отдаться в эти свободные часы отдыха, который он позволил самому себе.

Поллукс тоже не был так непринужденно весел, как обычно. От продолжительной ходьбы туда и сюда он проголодался и ел превосходные кушанья, которые, по приказанию Адриана, быстро следовали одно за другим, с таким аппетитом и опорожнял кубки так усердно, что император удивился. Но чем больше было у него в голове беспокойных мыслей, тем меньше он говорил.

На упреки своего хозяина он только что ответил коротко и напрямик, что отказывается служить ему, не подумав о том, как легко было бы ему любовно расстаться с Папием.

Теперь он стоял на собственных ногах и его мучило нетерпение сообщить Арсиное и своим родителям о том, что он сделал.

Во время трапезы он вспомнил совет своей матери — постараться приобрести благосклонность архитектора, который угощал его теперь, но он пренебрег этим, так как привык всем быть обязанным самому себе. Притом, хотя он и чувствовал умственное превосходство этого значительного человека, прогулка по городу нисколько не сблизила его с римлянином. Между ним и этим неутомимым, любознательным седобородым мужчиной, который требовал такого множества ответов, что его собеседнику не было времени для вопросов, и который, когда молчал, казался так недоступно глубокомысленным, что не хватало смелости побеспокоить его, возвышалась непреодолимая преграда. Смелый художник все же пытался иногда уничтожить эту преграду, но вслед затем каждый раз

не мог избавиться от неприятного чувства, что он совершил нечто неуместное. В своем отношении к архитектору он представлялся себе самому в виде довольно крупной собаки, играющей со львом, и ему думалось, что эта игра не приведет ни к чему хорошему. Поэтому и хозяин и гость были, по разным причинам, довольны, когда последнее блюдо унесли со стола.

Прежде чем Поллукс оставил комнату, император отдал ему табличку с сочиненными им стихами и, улыбаясь, просил передать ее через привратника в Цезареум римлянину Аннею Флору. Кроме того, он настойчиво просил Поллукса еще раз поискать Антиноя, и если он найдет его на Лохиаде, то сказать ему, что он, Клавдий Вена-тор, скоро вернется домой.

Художник пошел своей дорогой.

А Адриан еще некоторое время слушал разговор в соседней комнате. Напрасно прождав целый час, чтобы вторично услышать упоминание своего имени, он заплатил по-счету и вышел на освещенную по-праздничному Канопскую улицу. Там он смешался с ликовавшей толпой и медленно двигался вперед, недовольный, озабоченный, ища своего исчезнувшего любимца.

Антиной блуждал в толпе, разыскивая своего повелителя. Там, где он видел какие-нибудь две особенно высокие фигуры, он следовал за ними, но всегда оказывалось, что он ошибся.

Продолжительные и серьезные усилия были не по его части, и потому он, как только начал утомляться, бросил поиски и сел на каменную скамейку в Панейоне.

Возле него сели двое философов-киников с растрепанными волосами и шершавыми бородами, в изодранных плащах на зябнущем теле и начали громко порицать то поклонение, которое в нынешнее время люди воздают показной стороне и пошлым удовольствиям, а также бранить жалких рабов чувственности, которые главной целью существования считают веселье и блеск вместо добродетели.

Чтобы их слышали окружающие, они говорили громко, и старший из них размахивал при этом своей суковатой палкой так сильно, как будто он защищался от нападения какого-нибудь яростного врага.

Антиной чувствовал себя оскорбленным отвратительным видом и хриплыми голосами этих людей.

Речь киников была, по-видимому, направлена прямо против него, и, когда он встал, чтобы уйти, они начали ругаться ему вслед, осмеивая наряд и умощенные волосы.

Вифинец ничего не отвечал на их ругательства. Они были ему противны; но он подумал, что они, может быть, позабавили бы императора.

Ни о чем не размышляя, он поплелся дальше.

Улица, на которой он находился, должна была вести к морю, и если бы он дошел туда, то не мог бы миновать и Лохиады.

Когда стало смеркаться, он пошел к дому привратника и здесь узнал от Дориды, что римлянин и Поллукс еще не возвратились.

Что ему делать одному в обширном и пустом дворце? Не свободны ли сегодня все, даже рабы? Почему не может и он хоть раз свободно и самостоятельно насладиться жизнью?

Полный приятного сознания, что он сам себе господин и может бродить по дорогам, выбранным им самим, он пошел вперед. Проходя мимо лавки продавца венков, он опять начал думать о прекрасной, бледной Селене и о букете, который давно должен был быть в ее руках.

Сегодня утром он слышал от Поллукса, что она находится в маленьком доме недалеко от моря, в саду вдовы Пудента, на попечении христиан. Тут художник оживился, рассказывая ему, что он заглянул даже в комнату и видел ее. Он заметил при этом, что она прелестное создание и что она еще никогда не казалась ему красивее, чем в ту минуту, когда покоилась на своей белой постели.

Теперь Антиной вспомнил этот рассказ, и ему захотелось сделать попытку вновь увидеть девушку, образ которой наполнял его сердце и ум.

Стемнело. Взволнованный этим странным желанием, он сел в первые попавшиеся носилки.

Ему казалось, что его черные носильщики двигаются слишком медленно, и, чтобы ускорить их бег, он несколько раз бросал им столько денег, сколько в другое время они едва ли заработали бы за целую неделю. Наконец он достиг цели своего путешествия; но когда он увидел, что в сад вошли несколько мужчин и женщин в белых одеждах, то приказал неграм нести его дальше.

У темного, узкого переулка, который служил границей обширного сада вдовы Пудента с востока и вел к морю, он велел остановиться, вышел из носилок и сказал носильщикам, чтобы они дожидались его.

Перед воротами сада он снова увидел двух мужчин в белых одеждах и одного из философов-киников, которые сидели с ним на скамейке у Панейона.

Он нетерпеливо стал ходить взад и вперед в ожидании ухода этих людей и притом часто пересекал полосу света, которую бросали факелы, укрепленные у двери.

Выпуклые глаза тощего кирика были повсюду, и, как только он заметил шагавшего взад и вперед вифинца, он вскричал, взмахнув своей костлявой рукой и указывая на него пальцем, отчасти обращаясь к христианам, с которыми разговаривал, отчасти к самому юноше:

— Что нужно здесь этому щеголю, этому вырядившемуся дураку? Я знаю этого парня! С гладкой маской и с серебряным колчаном за спиной он воображает себя самим Амуром. Прочь отсюда, ты, крыса! Находящиеся здесь женщины и девушки сумеют уберечь себя от праздношатающихся в розовых тряпках. Прочь! Иначе тебе придется познакомиться с собаками и рабами госпожи Павлины. Эй! привратник, эй! Обрати-ка внимание на этого парня!

Антиной ничего не ответил на эту угрозу, а медленно пошел обратно к своим носилкам.

«Может быть, завтра, если не удастся сегодня», — думал он, удаляясь, не зная никакого нового средства достигнуть цели, к которой стремился с таким сердечным желанием. Препятствие, преграждавшее ему путь, переставало быть препятствием, как только он уклонялся с пути; он нередко и прежде поступал согласно этому соображению и теперь сделал то же.

Носилок уже не было там, где он их оставил. Носильщики вместе с ними вошли в переулок, который вел к морю. Единственный домик на восточной стороне этого переулка принадлежал рыбаку, жена которого продавала жидкое пелузское пиво.

Антиной пошел по аллее, затененной соединявшимися фиговыми ветвями, чтобы позвать негров, которые сидели там при тусклом свете масляной лампы.

В переулке было темно, но в конце его ярко мерцало море, озаренное лунным светом. Плеск волн привлекал Антиноя, и он дошел до каменистого берега. Он заметил там лодку, покачивавшуюся между двумя сваями, и ему пришла в голову мысль — нельзя ли увидеть со стороны моря дом, где находилась Селена.

Веревку, которая удерживала лодку, не трудно было ствязать. Он сделал это, сел в лодку, положил в нее лук

и колчан, оттолкнул ее от берега одним из весел, которые нашел на дне лодки, и, мерно ударяя веслами, поплыл навстречу длинной полосе лунного сияния, окаймлявшего гребни слегка колебавшихся волн и беспокойно трепетавших серебряными блестками.

Вот сад вдовы Пудента!

Вон в том белом домике, вероятно, лежит прекрасная, бледная Селена. Но хотя Антиной направлял лодку и вперед и назад, ему никак не удавалось увидеть окно, о котором рассказывал Поллукс.

Неужели нельзя найти места, к которому можно было бы пристать, и оттуда пробраться в сад?

Вон там стоят две лодки; но маленький канал, огражденный каменными стенами, в котором они находятся, заперт железной решеткой.

Вон там виднеется выдающаяся в море площадка, окруженная перилами из красивых столбиков. То, что сверкает там, под двумя стройно растущими из одного корня пальмами, разве это не лестница из светлого мрамора, спускающаяся к морю?

Антиной опустил правое весло в воду, чтобы дать лодке новое направление. Вдруг его внимание было привлечено каким-то странным явлением.

На площадке, ярко освещенной луной, показалась белая фигура с длинными развевающимися волосами.

Как странны были ее движения! Она шла, шатаясь, то вдруг останавливалась и поднимала руки к голове.

Антиной вздрогнул. Он подумал о демонах, о которых часто говорил император. Они принадлежат наполовину к роду человеческому, наполовину происходят от богов и иногда являются смертным.

Или Селена умерла, и эта белая фигура есть не что иное, как ее колеблющаяся тень?

Антиной крепко сжал пальцами ручки обоих весел и, выгнувшись далеко вперед, тяжело дыша, смотрел на таинственное существо, которое теперь подошло к балюстраде площадки, затем — он явственно видел — закрыло лицо обеими руками... затем далеко перегнулось через перила и...

Подобно звезде, падающей с неба в светлую ночь, или плоду, оторвавшемуся с дерева осенью, белая женская фигура упала с площадки в воду. Жалобный крик ужаса пронзил тишину безмолвной ночи, окутывавшей мир своим покровом, и почти в то же мгновение раздался громкий всплеск волны, и в бесконечном множестве ка-

пель, брызнувших вверх, отразились лунные лучи, холодные и спокойные, как всегда.

Неужели человек, который теперь в одно мгновение опустил весла в воду, сильным движением притянул их к себе и, когда фигура утопавшей через несколько секунд после падения вынырнула у самой лодки, отбросил прочь мешавшее ему весло,— неужели этот человек был полусонный мечтатель Антиной?

Наклонившись над бортом лодки, он схватил утопавшую за платье и притянул ее к себе. Да, это не был демон, это была не тень, а женщина!

Ему удалось высоко поднять ее над водой, но когда он пытался втащить ее в лодку, то тяжесть с одной стороны лодки оказалась настолько значительной, что лодка опрокинулась и Антиной упал в море. Вместе с ним упали лук и серебряный колчан.

Вифинец был хорошим пловцом.

Прежде чем белая фигура снова опустилась в воду, он опять обхватил ее правой рукой и, стараясь, чтоб ее голова не касалась воды, поплыл к тому месту, где, как ему казалось, он заметил лестницу.

Как только его ноги стали на твердую землю, он поднял спасенную на руки.

Радостное восклицание сорвалось с его губ, когда он увидел перед собой мраморные ступени. Он немедленно взошел по ним вверх и затем быстрым и гибким шагом со своей вымокшей и безжизненной ношей направился к площадке, где заметил скамейку.

Широкая, устланная гладкими мраморными плитами поверхность величественного, вдававшегося в море балкона была ярко освещена, и белизна мрамора еще усиливала свет лунных лучей.

Там стояли скамьи, которые Антиной увидел уже издали. Он опустил свою ношу на первую из них, и теплое чувство радости пробежало по его продрогшему телу, когда женщина, извлеченная из воды, издала тихий, жалобный звук, показавший ему, что он потрудился не напрасно.

Он осторожно просунул руку между жестким изголовьем скамьи и головой женщины, чтобы ей было удобнее лежать.

Пышные волосы мокрыми прядями закрывали ее лицо, подобно покрывалу.

Медленно он отвел их в сторону и... точно пораженный блеском молнии, сверкнувшей с синего неба, упал перед

ней на колени, так как это были «ее» черты, черты Селены, и эта бледная женщина, перед которой он стоял на коленях, была та, которую он любил!

Дрожа с головы до пят, он правой рукой привлек ее к себе, чтобы приложить ухо к ее губам и прислушаться: не обманулся ли он? Может быть, она все-таки сделалась жертвой волн; неужели этих бледных, недвижных губ не коснется теплое дыхание?

Она дышала, она была жива!

В радостном волнении он прижался своей щекой к ее щеке. О, как она была холодна, холодна как лед, как смерть!

Ее жизнь едва тлела, но Антиной хотел ее воспламенить, он не мог, он не смел допустить, чтобы жизнь эта угасла. И, не уступая в эту минуту самым энергичным людям в находчивости, быстроте и решительности, он скова приподнял ее, взял, точно ребенка, на руки и понес к дому, белая стена которого мерцала сквозь кусты позади площадки.

Лампочка в комнате Анны, откуда недавно ушла Селена, еще горела; цветы, запах которых так болезненно действовал на больную, еще лежали вместе с глиняной кружкой Анны на полу.

Не его ли подарок этот букет?

Может быть.

Но освещенная горница, в которую он теперь заглянул, могла быть только комнатой больной, комнатой, которая была ему знакома из рассказа Поллукса.

Дверь дома была настежь открытой, и дверь комнаты, в которой он заметил кровать Селены, тоже не была заперта. Он толкнул эту дверь ногой, вошел в комнату и положил Селену на постель.

Она лежала там как мертвая, и, когда он смотрел на ее спокойные черты, освещенные выражением великого горя, его сердцем овладели печаль, сострадание, волнение; и, как брат над спящей сестрой, он наклонился над Селеной и поцеловал ее в лоб.

Она пошевелинулась, открыла глаза, посмотрела ему в лицо неподвижным взором, и при этом ее взгляд был так дик, так холоден и страшен, что он, дрожа, отступил от нее и мог только пробормотать, запинаясь:

— О Селена, Селена, неужели ты не узнаешь меня?

При этом вопросе он с боязнью смотрел ей в лицо; но она, по-видимому, не слышала его: ничто в ней не шевелилось, кроме глаз, медленно следивших за всеми его движениями.

— Селена! — вскричал он еще раз, схватив ее руку, бессильно свесившуюся с постели, и порывисто прижал ее к своим губам.

Она громко вскрикнула, ее тело затрепетало; со стоном она повернулась, и в то же мгновение дверь отворилась и горбатая Мария вошла в комнату.

Увидев Антиноя у постели больной, она испустила пронзительный крик ужаса.

Юноша вздрогнул и, подобно вору, захваченному на месте преступления, побежал вон, никем не удерживаемый, через сад до самой двери, выходящей на улицу.

Здесь его встретил привратник, но Антиной сильным ударом отбросил его прочь, и когда старик схватил его за мокрый хитон в тот момент, когда он толкал дверь, юноша побежал дальше. Некоторое время он тащил своего преследователя за собой и, точно в гимнасии на состязании в беге мчался по улицам длинными скачками.

Он перевел дыхание только тогда, когда почувствовал, что человек, в руках которого осталась часть его одежды, находится далеко позади.

Крики привратника смешались с благочестивыми гимнами собравшихся в загородном доме вдовы Павлины христиан; некоторые из них выбежали, чтобы задержать нарушителя спокойствия.

Но молодой вифинец был быстрее их и мог считать себя в полной безопасности, когда ему удалось смешаться с какой-то праздничной процессией. Отчасти добровольно, отчасти вынужденно последовал он за пьяной толпой, направлявшейся из города к морю, чтобы на берегу, в уединенном месте к востоку от Никополя¹, праздновать ночные мистерии.

Эта пешая, завывавшая и бесновавшаяся толпа, увлекшая за собой и Антиноя, устремилась к месту между Александрией и Канопом, вдали от Лохиады. Таким образом, полночь миновала уже давно, когда любимец императора, в изорванной одежде, грязный и запыхавшийся, смог наконец вернуться к своему повелителю.

Адриан уже несколько часов ждал Антиноя, и нетерпение и досада, уже давно наполнявшие его душу, довольно явственно отражались на его гневно нахмуренном челе и в его угрожающем взгляде.

— Где ты был? — крикнул он Антиною.

— Я не мог найти вас, взял лодку и поплыл в море.

— Ты лжешь!

Вместо ответа Антиной только пожал плечами.

— Один? — спросил Адриан более мягким тоном.

— Да.

— Зачем?

— Я смотрел на звезды.

— Ты?

— Разве я не имею права тоже следить за их путями?

— Почему нет! Небесные светила сияют столько же для глупцов, как и для мудрецов. Ослы тоже рождаются под счастливыми или под несчастными звездами. Одного осла приобретает какой-нибудь голодный грамматик и кормит его подержанным папирусом, другой поступает на службу к императору, жиреет и находит время созерцать ночью небо. На что ты похож!

— Лодка опрокинулась со мной, и я упал в море.

Адриан вздрогнул; и когда он заметил, что волосы Антиной были в беспорядке и хитон его изорван, вскричал, встревоженный:

— Иди сейчас и вели Мастору согреть тебя и натереть мастями. И он тоже вернулся, как побитая собака и с красными глазами. Все идет вверх дном в этот проклятый вечер. Ты похож на раба, которого травили собаками. Выпей несколько стаканов вина и ложись спать.

— Как прикажешь, великий цезарь.

— Что так торжественно? Тебя рассердил мой осел?

— Ты находил для меня более ласковые слова.

— И найду их опять. Найду опять! Только не сегодня. Теперь иди спать.

Антиной ушел, а император начал ходить взад и вперед по комнате большими шагами, скрестив руки на груди и мрачно глядя в землю. Его суеверный ум был встревожен целым рядом дурных предзнаменований, которые он заметил не только на небе в прошлую ночь, но и на пути к Лохиаде и которые уже начали сбываться.

Он оставил харчевню в дурном настроении духа. Его беспокоили плохие предзнаменования. Но когда он, вернувшись домой, совершил поступки, которые теперь ему не нравились, то этим он был обязан не демонам, а своему собственному уму, омраченному страхом перед ними.

Конечно, не что иное, как внешние влияния, сделали его свидетелем нападения возбужденной толпы на дом одного, богатого еврея, и досадной случайности следовало приписать то, что при этом он встретился с Вером, который заметил его и узнал.

Злые духи вели сегодня свою игру; но того, что он сделал и пережил потом на Лохиаде, наверное, не случилось бы в более счастливый день или, вернее, при более спокойном настроении его духа. В этом был виноват он сам, он один, а не какая-нибудь несчастная случайность и не козни коварных демонов. Адриан, разумеется, приписал все, что он сделал, им и потому считал сделанное не подлежащим изменению. Прекрасное средство уклониться от обременительной обязанности исправить сделанную несправедливость; но совесть есть скрижаль, на которой таинственная рука беспощадно записывает каждое из наших деяний и на которой все, что мы делаем, беспощадно называется своим настоящим именем.

Правда, иногда нам удается затемнить или изгладить на короткое или более продолжительное время начертанные на этой скрижали письма, но часто буквы на ней начинают ярко светиться страшным блеском и заставляют наш внутренний глаз обратить на них внимание.

Адриан в эту ночь чувствовал себя вынужденным прочесть эту запись своих дел, и в их числе было несколько мелочных проступков, недостойных даже какого-нибудь гораздо ниже его стоявшего человека. Но эти письма говорили ему также и о строго выполненном долге, об упорной работе, о непрестанной борьбе для достижения великих целей, о неутомимом стремлении довести пытливость ума до самых дальних пределов, какие только доступны человеческим чувствам и мыслям.

В этот час Адриан думал только о своих дурных действиях, и богам, над которыми он смеялся вместе с друзьями-философами, но к которым, однако же, прибегал всякий раз, как только чувствовал недостаточность своих собственных сил и средств, давал обет здесь построить храм и там принести жертву, чтобы загладить старые преступления и умиловить гнев неба.

Он чувствовал себя в положении вельможи, которому угрожает немилость повелителя и который пытается приобрести его благорасположение каким-нибудь подарком. Этот мужественный римлянин боялся неизвестных опасностей, но от спасительной скорби раскаяния был свободен вполне.

Какой-нибудь час назад он забылся и позорно злоупотреблял своим могуществом против слабейшего. Его серьезно огорчало, что он поступил так, а не иначе; но ему не пришло в голову смирить свою гордость и молча исправить несправедливость, удовлетворив обиженного.

Часто он глубоко чувствовал свою человеческую слабость, но ему было возможно также верить в божественность своей императорской особы, и это легче всего удавалось в тех случаях, когда ему случалось растоптать какого-нибудь человека, достаточно смелого для того, чтобы его оскорбить или не признать его превосходства. Разве боги не налагают самые тяжкие кары на тех, кто презирает их?

Сегодня этот смертный Юпитер еще раз поразил своими громами одного смелого сына земли, и на этот раз его жертвой был сын привратника.

Правда, ваятель имел несчастье неосторожно задеть чувствительную струну Адриана; но человек не так скоро превращается из благорасположенного милостивца в беспощадного противника, если он не привык, как император, мгновенно переходить от одного настроения к другому и если он не сознает в себе силы немедленно осуществлять свою волю к добру или злу.

Талантливость художника внушала императору уважение; его смелый, непринужденный характер вначале ему нравился, но уже во время скитания с ним по улицам дерзкая манера молодого человека, обращавшегося с ним, как с равным себе, сделалась ему неприятной.

В мастерской за работой он видел в Поллуксе только художника и радовался его кипучей, бьющей ключом энергии; но вне мастерской, в обществе людей невысокого положения, от которых он привык принимать благоговейное почтение, разговор и манера Поллукса ему казались неприличными, дерзкими и едва выносимыми.

В трактире этот могучий едок, который, поддразнивая императора, приставал к нему, убеждая и его приналечь на еду, чтобы ничего не подарить хозяину, внушал Адриану отвращение.

Когда затем Адриан, расстроенный и тревожимый дурными предзнаменованиями, вернулся без Антиноя на Лохиаду и там его не нашел, то он начал нетерпеливо ходить взад и вперед в зале муз и не поздоровался с ваятелем, который шумно хозяйничал за своей перегородкой.

Последние часы и для Поллукса прошли тоже в высшей степени неприятно.

Когда он, чтобы повидаться с Арсиноей, дошел до самого порога квартиры смотрителя, Керавн загородил ему дорогу и отослал назад с оскорбительными словами.

В зале муз он застал своего хозяина и вступил с ним горячее пререкание, так как Папий, которому он снова

объявил, что уходит от него, стал упрекать его в низкой неблагодарности и с гневом приказал ему тотчас отделить свои собственные инструменты от хозяйских, принести их к нему и на будущее время держаться вдали как от его дома, так и от работ на Лохиаде.

При этом с обеих сторон были произнесены злые слова, и когда Поллукс после того пошел искать архитектора Понтия, чтобы поговорить с ним о своей будущности, то узнал, что Понтий недавно ушел и придет только на следующее утро. После короткого раздумья он решил немедленно исполнить приказание Папия и собрать свои собственные инструменты.

Не замечая присутствия императора, он со злобой начал швырять молотки, стеки и резцы то в один, то в другой сундук и при этом действовал так, как будто желал наказать эти невинные орудия за все неприятности, которые случились с ним самим.

Наконец ему бросился в глаза бюст Бальбиллы, вылепленный Адрианом.

Безобразная карикатура, над которой он вчера смеялся, сегодня возбудила в нем досаду.

Он пристально посмотрел с минуту на бюст; кровь в нем закипела, он внезапно схватил с полки какой-то брус и ударил им в карикатуру с такой яростью, что глина разбилась вдребезги и осколки рассыпались далеко по мастерской.

Дикий шум за перегородкой художника заставил императора прервать свою ходьбу и посмотреть, что там творит художник.

Незамеченный, он оказался свидетелем этого разрушения. Он не остановил Поллукса, но брови его сдвинулись от гнева, синяя жила на лбу вздулась, и под его глазами образовались угрожающие складки.

Если бы этот великий мастер в искусстве управлять государством услышал, что его называют плохим правителем, то это ему было бы легче перенести, чем видеть, как его произведения искусства оказывают презрение.

Человек, уверенный в том, что совершил великое, смеется над порицанием; но тот, кто не чувствует подобной уверенности, тот имеет основание бояться осуждения и легко воспламеняется ненавистью к любому, кто произнесет отрицательное суждение.

Адриан дрожал от гнева, и его кулак был сжат, когда он близко подошел к Поллуксу и спросил его сердитым голосом:

— Что это значит?

Ваятель посмотрел на императора и, поднимая брус для нового удара, ответил:

— Я уничтожаю эту рожу, потому что она сердит меня.

— Поди сюда! — вскричал император, сильной рукой схватил за пояс, которым был стянут хитон Поллукса, потащил изумленного художника к его Урании, выхватил брус из его руки, ударом отбил плечи у только оконченной статуи и вскричал, передразнивая голос юноши:

— Я уничтожаю эту мазню, потому что она меня сердит!

У художника опустились руки.

Изумленный, раздраженный, он пристально посмотрел на разрушителя своего удачного произведения и вскричал ему в лицо:

— Сумасшедший! Теперь довольно! Еще один удар, и ты познакомишься с моими кулаками!

Адриан холодно и резко засмеялся, бросил брус к ногам Поллукса и сказал:

— Приговор за приговор — это справедливо.

— Справедливо! — вскричал Поллукс вне себя. — Твоя жалкая пачкотня, которую мой косоглазый ученик сделал бы не хуже тебя, и это тело, созданное в торжественную минуту вдохновения! Стыдись! Но еще одно: ты не прикоснешься к моей Урании снова, иначе узнаешь...

— Что?

— Что в Александрии щадят седобородых только до тех пор, пока они этого заслуживают.

Адриан скрестил руки на груди, подошел к Поллуксу совсем близко и сказал:

— Осторожнее, если жизнь тебе мила!

Поллукс отступил, и вдруг точно пелена спала с его глаз: он вспомнил мраморную статую императора в Цезареуме в этой же позе. Архитектор Клавдий Венатор был Адриан, а никто другой.

Молодой художник побледнел; он опустил голову и, поворачиваясь, чтобы уйти, сказал тихим голосом:

— Сильнейший всегда прав. Позволь мне уйти. Я не более как бедный художник, ты же — нечто другое. Теперь я знаю, кто ты: ты император.

— Да, я император, — сказал Адриан, скрежеща зубами. — И если ты считаешь себя выше меня как художник, то я покажу тебе, кто из нас двоих воробей и кто орел.

— В твоей власти уничтожить меня, и я хочу...

— Единственный человек, который здесь имеет право

хотеть, — это я! — вскричал император. — И я хочу, чтобы ты больше не входил в этот дворец и не попадался мне на глаза, пока я здесь. Что сделать с твоей родней — об этом я подумаю. Ни слова больше! Вон, говорю я, и благодари богов, что к поступкам незрелых парней я бываю иногда снисходительнее, чем ты в своем настоящем приговоре. Ты имел дерзость осуждать произведение человека, который выше тебя, хотя знал, что он вылепил его в часы досуга, шутя, в два-три приема. Уходи! Мои рабы совсем разобьют твою статую, потому что она не заслуживает лучшей участи и также потому... как ты выразился? А, знаю, — и потому, что она меня сердит!

Сухой смех раздался вслед уходившему юноше.

У входной двери, погруженный в глубокую тьму, он увидел своего хозяина Папия, который слышал все, что произошло между ним и императором.

Войдя к Дориде, Поллукс вскричал:

— О мать, мать! Какое утро и какой вечер! Счастье не что иное, как порог несчастья.

В то время как Поллукс со своей огорченной матерью дожидался возвращения Эвфориона, а Папий старался втереться в милость императора, делая при этом вид, что он все еще принимает его за архитектора Клавдия Венатора, Элий Вер, которого александрийцы называли поддельным Эротом, претерпел много серьезных испытаний.

В послеполуденное время он побывал у императрицы, чтобы убедить ее посмотреть с ним на веселое празднество народа, хотя бы сохраняя инкогнито; но Сабина была не в духе, объявила, что она больна, и уверяла, что шум волнующейся толпы может убить ее. У кого есть такой оживленный рассказчик, как Вер, тому незачем подвергать себя пыли, городским испарениям и реву толпы.

Когда Луцилла стала просить мужа вспомнить о своем положении и по крайней мере ночью не смешиваться с возбужденными толпами, императрица поручила ему осмотреть все, что есть в празднестве замечательного, и в особенности обратить внимание на такие вещи, которые можно встретить только в Александрии и нельзя встретить в Риме.

После захода солнца Вер прежде всего посетил ветеранов двенадцатого легиона, бывших вместе с ним в

походе против нумидийцев, которым он давал пир в одном трактире как своим добрым старым товарищам.

Целый час он пил с храбрыми стариками; затем оставил их, чтобы посмотреть ночью на Канопскую улицу, находившуюся в нескольких шагах от трактира.

Улица была ярко освещена факелами и лампами, большие дома позади колоннад выделялись богатейшими праздничными украшениями; только самый прекрасный и величественный из них был лишен какого бы то ни было убранства.

Он принадлежал еврею Аполлодору.

В прежние годы из его окон свешивались прекраснейшие ковры, он был так же богато украшен цветами и лампами, как и дома других живших на Канопской улице израильтян, которые проводили этот праздник вместе со своими согражданами-язычниками так весело, как будто они были склонны чествовать великого Диониса с не меньшим усердием, чем эти последние.

У Аполлодора были особые основания держаться на этот раз вдали от всего, что было связано с праздничной суетой язычников. Не чувствуя серьезной опасности, он спокойно оставался в своем убранном с княжеским великолепием жилище, которое казалось скорее построенным для какого-нибудь грека, чем для еврея. Это в особенности относилось к перистиллю мужской половины дома, где находился теперь Аполлодор. Картины на стенах и на полу этого прекрасного помещения, полукрытый потолок которого поддерживался колоннами из ценного порфира, изображали сцены любви Эроса и Психеи. Между колоннами стояли бюсты величайших языческих философов, а на заднем плане залы виднелась прекрасная статуя Платона.

Между портретами, изображавшими греков и римлян, был только один портрет еврея, да и то Филона, чьи выразительные и чистые черты напоминали знаменитейших из его греческих собратьев по духу.

В этой прекрасной комнате, освещенной серебряными лампами, не было недостатка в удобных ложах, и на одном из них возлежал Аполлодор, хорошо сохранившийся пятидесятилетний мужчина, и кроткими, умными глазами следил за движениями статного, престарелого единоверца, который, оживленно разговаривая, ходил взад и вперед перед ним. При этом руки старца не были спокойными. Он то делал ими быстрые движения, то поглаживал свою длинную бороду, белую как снег.

Против хозяина дома сидел какой-то сухощавый молодой человек с бледными, в высшей степени правильными и изящными чертами лица и черными как вороново крыло волосами на голове и на подбородке. Взор его темных, огненных глаз был устремлен вниз. Он водил палкой по мозаичному полу, между тем как старик напал на Аполлодора, изливая на него поток своей горячей и плавно текущей речи.

Аполлодор часто покачивал головой в ответ на утверждения старика, вставляя временами краткие замечания.

Можно было заметить, что слова старика производили на него тягостное впечатление и что эти два совершенно различных человека ведут спор, который не может привести ни к какому удовлетворительному результату. Ибо, хотя оба говорили на греческом языке и исповедовали одну религию, они во всех своих мыслях и чувствах исходили из воззрений, настолько отличающихся друг от друга, точно спорящие вышли из совершенно разных общественных кругов.

Когда оба бойца стоят так далеко друг от друга, то они только скрещивают оружие, но дело никогда не доходит до кровавых ран и не может быть речи ни о победе, ни о поражении.

Дом Аполлодора остался сегодня неукрашенным ради приезда старика и его племянника. Рабби Гамалиил, прибывший накануне из Палестины к своим александрийским родственникам, осуждал всякое сношение с язычниками и, наверное, оставил бы дом Аполлодора, если бы последний осмелился украсить свое жилище по случаю праздника, посвященного ложным богам. Племянник Гамалиила, рабби Бен-Иохай, пользовался славой, которая немногим уступала славе его отца, Бен-Акибы. В то время как последний слыл величайшим мудрецом и истолкователем закона, его первородный сын был презосходнейшим астрологом и лучшим между евреями знатоком движения небесных светил.

Принимать под своей кровлей высокоумного старца Гамалиила и знаменитого сына великого отца было большой честью для Аполлодора, который в часы досуга охотно занимался учеными предметами, и он сделал все, что мог, для того чтобы пребывание в его доме было им приятно.

Специально для них был куплен настоящий еврейский повар, знакомый со всеми требованиями израильского

закона о приготовлении пищи. Он на все время пребывания гостей в доме должен был заменить прежних греческих поваров Аполлодора и готовить блюда только согласно еврейскому обряду.

Взрослым детям Аполлодора было запрещено во время присутствия знаменитой четы приглашать в дом своих друзей-греков и говорить о празднике. Повелевалось также избегать упоминания имен языческих богов в разговоре; но Аполлодор первый нарушил это предписание.

Дело в том, что он и все его александрийские товарищи по вере и по общественному положению получили греческое образование, чувствовали и думали на эллинский лад и оставались евреями только по имени. Хотя вместо олимпийских богов они и веровали в единого бога своих отцов, но этот единый, которому они поклонялись, не был уже всемогущим гневным богом их народа. Это был образующий и оживляющий вселенную дух, известный грекам из учения Платона.

Пропасть, отделявшая Аполлодора от Гамалиила, расширялась с каждым часом их совместного пребывания в одном доме, и натянутость отношений александрийца к мудрецам Палестины выросла до крайней степени, когда обнаружилось, что старый родственник привез своего племянника в Египет, чтобы посватать за него дочь Аполлодора.

Но прекрасная Исмена была менее всего расположена выйти замуж за серьезного, строго правоверного человека. Отечество его народа казалось ей варварской страной, молодой ученый внушал ей страх, и, кроме того, ее сердце не было свободно. Оно принадлежало сыну алабарха, главы всех евреев в Египте: этот юноша имел лучших лошадей во всем городе, одержал несколько побед на ипподроме и отличал ее среди всех других девушек.

Если кому-нибудь она и желала отдать свою руку, так это ему.

Так она объявила и отцу, когда узнала от него о сватовстве Бен-Иохая, и Аполлодор, несколько лет назад потерявший жену, не имел никакого желания принуждать свою любимую дочь к этому браку.

Мягкой, примиряющей натуре этого обходительного человека, конечно, было очень трудно решительно отказать почтенному старцу, но все же этот отказ нужно было произнести когда-нибудь, и настоящий вечер казался ему как раз подходящим для этого.

Он был со своими гостями. Его дочь находилась в доме подруги и смотрела оттуда на пеструю праздничную сутолоку, происходившую на улице; трех его сыновей тоже не было дома; все рабы получили разрешение погулять до полуночи, и таким образом Аполлодор, после нескольких теплых уверений в своем глубоком уважении к гостям, собрался с духом и объявил им, что он не может поддерживать сватовство Бен-Иохая.

— Моя дочь — говорил он, — слишком привязана к Александрии, для того чтобы ее покинуть, и для моего молодого ученого друга была бы мало подходящей женой, так как, привыкнув к более свободным нравам и обычаям, она едва ли чувствовала бы себя хорошо в доме, где закон отцов соблюдается с большой строгостью.

Гамалиил дал александрийцу высказаться до конца, но когда его племянник вздумал возражать против сомнений своего хозяина, то старик прервал его. Он выпрямил свою слегка согбенную фигуру и, проведя рукой, покрытой синими жилками и мелкими морщинами, по своему высокому лбу, сказал:

— В войне моего народа с римлянами наш дом подвергся истреблению, и Бен-Акиба не нашел в Палестине ни одной родственной нам по крови наших предков девушки, которая показалась бы ему достойной соединиться с его сыном. Но до нас в Палестину дошли известия об александрийской ветви нашего рода и о ее процветании. Поэтому Бен-Акиба послал меня в чужую страну, чтобы посватать для его сына дочь своего родича. Кто этот человек, каким значением пользуются между людьми он и его отец...

— Я знаю это, — прервал его Аполлодор, — и никогда не было оказано моему дому большей чести, чем ваше посещение.

— И однако же, — продолжал рабби, — мы вернемся домой ни с чем, и не исполнится желание ни твое, ни мое, ни того, кто послал меня, так как, судя по тому, что я слышал от тебя сейчас, мы должны отказаться от сватовства. Не прерывай меня! Твоя Исмена пренебрегает обычаем закрывать лицо покрывалом; правда, на это лицо приятно смотреть. Ты воспитал ее ум, как ум мужчины, и потому она ищет своих собственных путей. Это, пожалуй, годится для гречанки, но в доме Бен-Акибы жена, не имея собственной воли, должна повиноваться воле своего мужа, как судно рулю, а воля мужа — находиться в постоянном согласии с тем, что повелевает за-

кон, следовать которому вы в Александрии разучились.

— Мы признаем его превосходство, — возразил Аполлодор, — но если заповеди, полученные Моисеем на Синае, и обязательны для всех смертных, то мудрые предписания, данные для урегулирования внешней жизни наших отцов, уже не везде пригодны для детей нашего времени. Здесь менее всего возможно жить согласно этим предписаниям, где мы, оставаясь верными своей древней религии, все-таки греки между греками.

— Это я вижу, — сказал Гамалиил. — Даже язык, мысли, язык отцов, писания, закона, вы променяли на другой, — вы пожертвовали им в пользу другого.

— И ты и твой племянник — вы оба тоже говорите по-гречески.

— Да, но только здесь, потому что язычники, а также ты и твои домашние не понимают языка Моисея.

— Везде, куда Великий Александр вступил со своим оружием, говорят по-гречески, и притом разве греческий перевод священного писания, сделанный при помощи божией семьдесятю толковниками, не содержит в себе того же самого, что и первоначальный еврейский текст? — возразил Аполлодор.

— Променял ли бы ты камень на твоём кольце, вырезанный Бриаксием, который ты показывал мне вчера с такой гордостью, на восковой слепок с этого камня? — спросил Гамалиил.

— Язык Платона вовсе не какой-нибудь пошлый материал; он благороден, как самый драгоценный сапфир.

— А наш язык вышел из собственных уст Всевышнего. Как назовешь ты того ребенка, который пренебрегает языком своего отца и слушает только своего соседа, сына, который для того, чтобы понять приказание своих родителей, прибегает к переводчику?

— Ты говоришь о родителях, которые давно уже оставили свою родину. Предок не должен гневаться на потомков, говорящих на языке своего нового отечества, если только они продолжают поступать в духе этого предка.

— Нужно жить не только в духе, но и по слову Всевышнего, потому что ни один звук не раздаётся из его уст напрасно. Чем выше смысл речи, тем большую важность приобретают слова и слоги. Одна-единственная буква часто изменяет смысл фразы. Как беснуются люди там, на улице! Дикий шум проникает даже в эту удалённую комнату, и твой сын находит удовольствие в этом языческом бесчинстве. Ты же не прибегаешь к силе для

того, чтобы он не присоединился к безумным рабам удовольствия.

— Я сам был молод и не считаю греховным разделять общую радость.

— Скажи лучше — постыдное идолопоклонство почитателей Диониса. Ты со своими детьми принадлежишь к избранному народу Господа только по имени, по существу же вы — язычники!

— Нет, отец! — с живостью вскричал Аполлодор. — Совершенно наоборот: в сердце своем мы — евреи; мы только носим греческое платье.

— Твое имя — Аполлодор, то есть дар Аполлона.

— Имя выбрано для отличия одного человека от другого. Кому какое дело до значения слова, если оно звучит приятно?

— Тебе, вам, каждому, у кого есть ум! — вскричал рабби. — Да нужно ли, так рассуждаете вы, Зенадоту или Гермогену, словом, греку, которого вы встречаете в бане, тотчас же знать, что богатый господин, с которым он говорит о новейшем истолковании эллинских мифов, еврей? И как приятен вам человек, который спрашивает вас, не из Афин ли вы родом, потому что ваш греческий язык обладает такой аттической чистотой. Что приятно нам самим, то мы позволяем и нашим детям, и потому вы выбираете для них имена, которые льстят вашему собственному тщеславию.

— Клянусь Гераклом, отец!

На губах умного Гамалиила мелькнула победоносно-насмешливая улыбка, и, прерывая александрийца, он спросил:

— Разве какой-нибудь почтенный человек из наших александрийских единоверцев называется Гераклом?

— Никто не думает при этой клятве о сыне Алкмены; она соответствует выражению «Поистине!» — вскричал Аполлодор.

— Ну, вот! Вы не особенно строги в выборе имен и слов; и то сказать: где, как здесь есть на что посмотреть и чем насладиться, там не всегда можно отстаивать свои мысли. Это понятно, вполне понятно! В этом городе все так вежливы, что даже истину прикрывают красивыми одеждами. Смею ли я, варвар из Иудеи, выставить ее перед твоими глазами нагую, без всяких прикрас?

— Прошу тебя, говори.

— Вы — евреи, но вы желали бы не быть ими и переносите свое происхождение как неизбежное зло. Только

тогда, когда вы чувствуете сильную руку Всевышнего, вы признаете его и заявляете свое право на принадлежность к его избранному народу. В повседневной жизни вы гордо причисляете себя к его врагам... Не прерывай меня и ответь мне откровенно на то, что я у тебя спрошу: в какую минуту своей жизни ты более всего чувствовал самую теплую благодарность богу твоих отцов?

— К чему мне скрывать это, особенно когда моя дорогая, ныне покойная, жена подарила мне первенца.

— И как вы назвали его?

— Но ты знаешь, что его зовут Вениамин.

— Как любимого сына праотца Иакова. Почему ты так назвал его? Потому, что в тот час, когда ты дал ему это имя, ты был тем, что ты есть; ты чувствовал благодарность за то, что тебе было даровано прибавить одно новое звено в цепи твоего рода; и ты был тогда настоящим евреем, и наш бог был несомненно, да, несомненно также и твоим. Рождение твоего второго сына уже не так глубоко затронуло твою душу, и ты дал ему имя Теофил. Когда у тебя родился третий сын, ты уже не думал больше о боге твоих отцов, так как этот сын назван по имени языческого идола Гефестионом. Словом, вы — евреи, когда бог посылает вам какую-нибудь особенную милость или угрожает вам самыми тяжкими испытаниями; вы — язычники, когда ваша тропа не ведет вас по высочайшим вершинам или по глубочайшим безднам человеческой жизни. Я не могу изменить вас, но жена сына моего брата, невестка Бен-Акибы, должна чувствовать себя и утром, и в полдень, и вечером дочерью своего народа. Я ищу для Исаака Ревекку, а не Исмену.

— Я не звал вас к нам, — возразил Аполлодор, — но если вы покинете нас завтра, то за вами последует наше глубокое уважение. Не считайте нас хуже, чем мы есть на самом деле, из-за того, что мы, может быть, больше, чем следовало бы, сжились с обычаями и образом мыслей народа, среди которого выросли и чувствуем себя хорошо. Мы знаем, как высоко стоит наша вера в сравнении с верой язычников. В сердце своем мы — евреи; но разве нам не следует стремиться, где и как только возможно, к изощренности, образованию и облагораживанию нашего ума, созданного господом, конечно, из не менее тонкого материала, чем ум других народов? И в какой школе можно воспитать мышление лучше и по более твердым законам, чем в нашей, — я разумею школу эллинских наставников? Познание высочайшего...

— Это познание, — воскликнул старик с жаром, размахивая руками, — познание высочайшего и всего, что только доступно исследованию чистейшей философии, и что самые сильные и чистые из мыслителей, которых ты разумеешь, могут когда-нибудь узнать в результате серьезного и углубленного размышления, — все это каждый ребенок в нашем народе уже получил от своего бога в подарок. Сокровищами, которых ищут ваши мудрецы с таким трудом, мы уже обладаем в нашем писании, заповедях, нравственном законе. Мы — народ из народов, первенцы господа, и когда из нашей среды явится Мессия...

— Тогда, — прервал его Аполлодор, — исполнится то, чего мы желаем вместе с Филоном — чтобы мы были священниками и пророками для других народов. Тогда мы сделаемся поистине народом священнослужителей, призванных к тому, чтобы своими молитвами испрашивать для всех людей благословение Всевышнего.

— Для нас, для нас одних явится посланник божий, чтобы из рабов сделать нас царями народов.

Аполлодор с удивлением посмотрел на взволнованного старика и спросил с недоверчивой улыбкой:

— Распятый назарянин был ложным Мессией, но когда появится истинный?

— Когда он появится? — вскричал рабби. — Когда? Разве я могу это сказать? Я знаю только одно. Червь теперь поднимает уже свое жало, чтобы ужалить пята того, что его попирает. Слышал ли ты имя Бар-Кохбы?

— Дядя, — прервал Бен-Иохай речь старого рабби, вставая с своего места, — не говори того, в чем ты можешь раскаяться.

— Не беспокойся, — возразил Гамалиил серьезно. — Эти люди здесь низвели божественное до степени человеческого, но они не предатели.

Затем он снова обратился к Аполлодору и сказал:

— Сильные в Израиле воздвигли кумиры на нашем святом месте; они хотят снова принудить народ поклоняться этим богам, но мы позволим скорее сломить себе спину, чем согнуть ее.

— Вы снова замышляете большое восстание? — спросил александриец с беспокойством.

— Отвечай мне, слышал ли ты имя Бар-Кохбы?

— Да, как имя безрассудного вождя вооруженных банд.

— Он — герой, может быть, избавитель

— Это для него ты поручил мне нагрузить мой корабль для перевозки зерна, отправляющийся в Яффу, мечами, щитами и наконечниками копий?

— Разве только одним римлянам позволительно носить оружие?

— Нет, но мне все-таки не годится снабжать друга оружием, когда он желает употребить его против сильнейшего, который, наверное, его уничтожит.

— Бог воинств сильнее тысячи легионов.

— Будь осторожен, дядя! — снова вскричал Бен-Иохай.

Гамалиил с гневом повернулся к племяннику; но прежде чем он смог отклонить предостережение молодого человека, он вздрогнул: дикий рев и грохот сильных ударов поколебали железные ворота дома, ворвались в залу и отразились громовым эхом от мраморных стен.

— Это нападение на мой дом! — вскричал Аполлодор.

— Это благодарность тех, для которых ты изменил богу твоих отцов, — сказал старик глухим голосом. Затем он поднял глаза и руки и вскричал: — Услышь меня, Адонаи! Я древен годами и готов умереть, но пощади этого человека, сжался над ним!

Бен-Иохай, подобно своему дяде, поднял руки к небу, и его черные глаза мрачно сверкали на бледном лице.

Молитва его и рабби Гамалиила была коротка, потому что опасность надвигалась все ближе и ближе.

Аполлодор ломал руки. Все его движения были судорожны и порывисты. Страх совершенно лишил его прекрасной, сдержанной, спокойной манеры, которую он приобрел, живя среди своих эллинских сограждан. Он бросался во все стороны, смешивал греческие проклятия и заклинания с призывами к богу своих отцов.

Он искал ключи от подземных комнат своего дома, но не находил их: они хранились у ключника, и тот, подобно всем слугам Аполлодора, или развлекался на улице, или сидел в каком-нибудь кабаке.

В комнату стремительно вбежал недавно купленный еврейский повар, которому празднование в честь Диониса внушало омерзение, и, терзая волосы и бороду, закричал хриплым голосом:

— Филистимляне нападают на нас. Спаси нас, рабби, великий рабби! Возопи о нас к господу, человек божий! Они идут с пиками и кольями и потопчут нас, как траву, они сожгут нас в этом доме, как саранчу, которую бросают в печь!

В смертельном страхе раб извивался у ног Гамалиила, обхватил их руками, но Аполлодор вскричал:

— Следуйте за мной! Вверх, на крышу!

— Нет, нет,— завывал раб.— Амаликитяне готовят ловни, чтобы бросить их в наши шатры. Язычники прыгают и беснуются, пламя, которое они бросят, пожрет нас. Рабби, рабби, призови воинство господа! Боже правый! Вот ворота взломаны!.. Господи, господа, господа! Зубы у испуганного раба стучали; стена и охая, он закрыл глаза руками.

Бен-Иохай оставался совершенно спокойным, но дрожал от злобы. Его молитва была окончена, и он сказал своим низким голосом, обращаясь к Гамалиилу:

— Я знал, что так и будет, и не умолчал об этом перед тобой. Мы начали свое путешествие под дурными звездами. Будем же теперь терпеть то, что господь преопределил нам. Его дело отомстить за нас.

— Мщение принадлежит ему,— сказал старик и закрыл белой верхней одеждой свою седую голову.

— В спальню! Идите за мной! Спрячемся под кроватями! — кричал Аполлодор. Он оттолкнул ногой повара, обнимавшего колени рабби, и схватил старика за плечи, чтобы увести его.

Но было уже слишком поздно: двери в передней комнате распахнулись, и послышался стук оружия.

— Погибло, все погибло! — вскричал Аполлодор.

— Адонаи!.. Помоги, Адонаи! — бормотал старик, прильнув к плечу племянника, который, превосходя его ростом на целую голову, обхватил его правой рукой, как будто желая защитить.

Опасность жизни Аполлодора и его гостей была близка из-за того, что дом богатого еврея не был украшен.

Тысячу раз наступали моменты, когда одного слова было достаточно, чтобы воспламенить горячую кровь александрийцев, вызвать возмущение и побудить их прорвать все преграды закона и схватиться за меч.

Кровавые распри между язычниками и равными им по численности еврейскими обывателями Александрии были обыкновенным делом, и последние не менее часто, чем первые, были виновны в нарушении общественного спокойствия.

С тех пор как в некоторых провинциях империи, в особенности в Киренаике и на Кипре, израильтяне со свирепой злобой напали на угнетавших их сограждан,

ненависть и недоверие к ним со стороны александрийцев других вероисповеданий сделались ожесточеннее.

Сверх того зажиточность многих и богатство некоторых евреев наполняли сердца беднейших язычников жадностью и желанием завладеть имуществом тех, которые — этого нельзя было отрицать — не раз выказывали открытое презрение к их богам.

Как раз в последние дни эта старая вражда обострилась вследствие споров по поводу празднеств, которые предполагалось устроить в честь посещения города императором. Таким образом, почва была подготовлена для того, чтобы вид неуукрашенного дома Аполлодора на Канопской улице побудил народ к нападению на великолепное, подобное дворцу жилище еврея.

Кроме того, несколько слов дали толчок для возбуждения ярости толпы.

Началось с того, что кожевник Меламп, разорившийся и опустившийся пьяница, проходя по улице во главе своих товарищей по ремеслу, указал тирсом на совершенно лишенный украшений дом и закричал:

— Посмотрите на этот голый барак! То, что еврей в прежнее время выставлял на улицу для украшения, он теперь складывает в свои сундуки!

Эти слова возымели действие и вскоре вызвали и другие:

— Этот мошенник обкрадывает нашего отца Диониса! — вскричал другой гражданин, а третий, подняв высоко факел над головой, заревел:

— Отнимем у него драхмы, дать которые он покупился для бога; нам они пригодятся.

Колбасник Главк вырвал засмоленный горящий канат из рук своего соседа и заревел:

— За мной! Зажжем дом у него над головой!

— Стой, стой! — закричал сапожник, поставивший обувь для рабов Аполлодора, преграждая дорогу разъяренному мяснику. — Может быть, там оплакивают какого-нибудь умершего. Еврей прежде всего украшал свой дом.

— Нет! — возразил какой-то флейтист хриплым голосом. — Сын старого скряги недавно мчался через весь Брухейон с веселыми товарищами и беспутными девками, и его пурпурный плащ развевался далеко позади него.

— Посмотрим, что краснее — финикийская ткань парня или пламя, которое покажется, когда дом старика за-

горится! — вскричал сухопарый портной и оглянулся, чтобы удостовериться в действии своей остроты.

— Попробуем! — раздавалось повсюду.

— В дом!

— Паршивый толстосум будет помнить об этом дне!

— Ведите его сюда!

— Волоките его на улицу!

Такие крики раздавались то здесь, то там среди все более и более сгущавшейся толпы.

— Вытащите его вон! — еще раз закричал египетский надсмотрщик над рабами, и это требование было поддержано тотчас же какой-то женщиной. Сорвав шкуру козули с плеча и размахивая ею над своими растрепанными черными волосами, она завывала в бешенстве:

— Разорвите его в куски!

— Зубами в куски! — вскричала какая-то пьяная менада, которая, подобно большинству сбежавшихся людей, не имела ни малейшего понятия о поводе для гнева черной против Аполлодора и его дома.

Толпа перешла уже от слов к действиям. Ноги, кулаки, палки стучали и ударяли в замкнутые железные ворота здания. Четырнадцатилетний корабельный юнга вскочил на плечи черного раба и усердно старался взобраться на крышу колоннады и бросить в незакрытую переднюю комнату дома факел, поданный ему колбасником.

Шум, который слышали в передней комнате Аполлодор и его гости, производили не враги, а римские воины, которые явились, чтобы спасти осажденных.

Когда Вер, оставив пир ветеранов, проходил с одним из военных трибунов двенадцатого легиона и со своими британскими рабами по Канопской улице, он был задержан толпой, которая осаждала дом Аполлодора.

Претор встречал его у префекта и знал как одного из богатейших и умнейших между александрийцами.

Нападение на его дом возмутило римлянина; но он, наверное, не остался бы праздным зрителем даже в том случае, если бы осаждаемый дом принадлежал не такому уважаемому человеку, а какому-нибудь беднейшему и презреннейшему христианину.

Римлянину было ненавистно и невыносимо всякое беззаконие, всякое посягательство на существующий по-

рядок, и он не мог бы празднично смотреть, как чернь в мирное время нападает на собственность и жизнь спокойного и достопочтенного гражданина.

Этот необузданный, предающийся расслабляющим наслаждениям человек был на войне и повсюду, где это требовалось, столь же осмотрителен, как и мужествен.

Он узнал, что затеяла возбужденная толпа, и тотчас же подумал о средствах и способах помешать исполнению ее преступного намерения.

Нарушители мира уже ломались в дверь еврейского дома, уже несколько парней стояли с горящими факелами на кровле колоннады. Нужно было в одно мгновение сообразить, что делать. К счастью, Вер обладал способностью быстро думать и действовать.

В нескольких решительных словах он попросил трибуна Луция Альбина поспешить к ветеранам и привести их сюда к нему на помощь. Затем он приказал своим сильным рабам проложить ему путь к воротам осаждаемого дома. Эта задача была выполнена; но как велико было его изумление, когда он нашел здесь императора!

Император стоял среди толпы и именно в ту минуту, как появился претор, вырвал факел из руки рассвирепевшего портного.

Вслед затем он громким, далеко раздававшимся голосом приказал александрийцам, не привыкшим выслушивать могущественные императорские повеления, оставить их бессмысленное намерение.

Свистки, рев, насмешки заглушили слова повелителя.

Когда Вер приблизился к нему со своими рабами, несколько пьяных египтян уже подошли, чтобы схватить непрошенного наставника. Претор загородил им дорогу.

Прежде всего он шепнул Адриану: «Пусть Зевс управляет миром, а спасение еврейского дома предоставит более незначительным смертным. Через несколько минут здесь будут солдаты». Затем он громко закричал:

— Прочь ты, софист! Твое место за книгой в Музее или в храме Сераписа, а не здесь, между разумными людьми. Прав ли я, македонские граждане, или не прав?

Послышались одобрительный гомон, громкий смех, когда Вер, после того как Адриан удалился, продолжал:

— У него борода, как у императора, и поэтому и жесты у него такие, как будто он носит багряницу! Вы хорошо сделали, что дали ему уйти, потому что его жена и дети ждут его с супом.

Во время своих веселых походов Вер часто смешивался с толпой и умел обращаться с ней. Если бы ему удалось теперь задержать толпу до появления солдат, его игра была бы выиграна.

Там, где это было нужно, Адриан вел себя как герой, но здесь, где нельзя было приобрести славу, он предоставил Веру успокоить народ.

Как только император удалился, Вер взобрался на плечи своих рабов. Его красивое, приветливое лицо возвышалось над толпой. Скоро его узнали, и несколько голосов из народа закричали:

— Ба, сумасшедший римлянин! Претор! Поддельный Эрот!

— Он самый, македонские граждане, он самый, — отвечал Вер громко, — и я хочу рассказать вам побасенку.

«Слушайте, слушайте!» «В дом еврея!» «После, после; теперь дайте говорить поддельному Эроту!» «Я разобью тебе зубы, мальчишка, если ты не замолчишь!» — кричали яростно в толпе.

Любопытство послушать знатного господина и бешенство народа боролись между собой. Наконец первое, по видимому, одержало верх; шум утих, и претор начал:

— Одному ребенку подарили десять барашков из хлопчатой бумаги, — хорошенькие вещицы, какие продают старухи в Эмпориуме.

«В дом, к еврею! Нам не нужно детских сказок!» «Тише, вы!» «Слушайте, от барашков римлянин перейдет к волкам». «Вовсе не волк, это будет волчица!» — кричали в толпе.

— Не накликайте косматого зверя, — засмеялся Вер, — а лучше послушайте дальше. Итак, мальчик красиво расставил барашков. Он был сын ткача. Есть между вами какой-нибудь ткач? Ты? Ты? И ты тоже, что там, позади? Если бы я не был сыном своего отца, я пожелал бы быть александрийским ткачом. Нечего вам смеяться! Но вернемся к барашкам. Хорошенькие куколочки, все были чистейшего белого цвета; только один барашек — весь в противных черных пятнах, которые очень не нравились мальчику. Мальчик пошел к очагу, достал там горящий уголь и вздумал сжечь маленькое чудовище, чтобы у него остались только совсем красивые барашки. Ягненок загорелся, и, как только огонь охватил деревянный остов игрушки, через окно подул сквозной ветер, он погнал пламя на других барашков, и в один миг

все они превратились в пепел. Тогда мальчик подумал: «Ах, если бы я оставил безобразного барашка в покое! Чем теперь я буду играть?» И он заплакал. Но этим дело не кончилось, вышло кое-что похуже. Между тем как малютка отирал глаза, пламя пошло дальше, уничтожило ткацкий станок, шерсть, паклю, готовые ткани, весь дом его отца, родной город мальчика, а с ним, кажется, и самого мальчика. Так вот, любезные друзья и македонские граждане, подумайте об этом немножко. Те из вас, у кого есть имущество, поймут смысл моей истории.

— Прочь факел! — закричала жена продавца угольев.

— Он прав: из-за еврея вы подвергаете весь город опасности! — крикнул сапожник.

— Безумцы уже швыряют головни!

— Эй, вы, там, наверху! Бросьте только еще раз, так я вам переломаю ребра! — угрожал продавец кудели.

— Не надо поджигать! — рявкнул портной. — Ломайте дверь и вытащите еврея!

Это предложение вызвало целую бурю одобрения, и толпа хлынула к дому Аполлодора. Никто уже не слушал Вера.

Претор соскочил с плеч своих рабов, стал перед воротами дома и вскричал:

— Именем императора, именем закона оставьте этот дом в покое!

Предостережение римлянина звучало очень строго, и было видно, что в эту минуту с ним нельзя было шутить.

Но среди всеобщего шума только немногие слышали его приказание, и яростный портной осмелился схватить претора за пояс, чтобы с помощью своих единомышленников оттащить его от двери. Однако же ему пришлось дорого поплатиться за свою отвагу: кулак Вера ударил его в лоб так сильно, что он упал, точно пораженный громом. Один из британцев повалил колбасника, и дело дошло бы до ужасной рукопашной свалки, если бы к теснимому толпой римлянину не подоспела помощь.

Сначала появились ветераны с несколькими ликторами, а вскоре затем Вениамин, старший сын Аполлодора, который, проходя по Канопской улице со своими товарищами, увидел, что угрожало дому его отца.

Подобно ветру, разгоняющему бегущие облака, солдаты рассеяли толпу, а молодой еврей увлек своих товарищей вперед и, размахивая тяжелым тирсом, так мужественно и энергично прокладывал себе дорогу сквозь

толпу, охваченную внезапным страхом, что достиг двери отцовского дома чуть позднее ветеранов.

Ликторы начали стучаться в дверь, но так как никто не отпирал, то они с помощью солдат сломали запоры, чтобы поставить караул в осаждаемом доме и охранять его от яростной толпы.

Трибун и Вер вошли с вооруженными солдатами в жилище еврея, а за ними вскоре появился и Вениамин со своими друзьями, молодыми греками, с которыми он ежедневно встречался в бане или в гимнасии.

Аполлодор и его гости высказали Веру свою благодарность, и когда старая домоправительница-еврейка, которая из своего тайного убежища под кровлей видела и слышала все, что произошло перед домом ее хозяина, вошла в комнату мужчин и дала подробный отчет о беспорядках на улице, то претор был осыпан изъявлениями признательности. Какими яркими красками умела старуха расписать свой рассказ!

Она еще говорила, когда вернулась домой Исмена, прекрасная дочь Аполлодора; и не успела та, плача от волнения, кинуться на шею к отцу, как экономка схватила ее за руку, подвела к Веру и вскричала:

— Вот этот благородный господин — да будет над ним благословение Всевышнего! — подверг опасности свою жизнь, чтобы спасти нашу. Он позволил разорвать на себе эту прекрасную одежду ради нас, и каждая дочь Израиля должна бы с сердечным чувством поцеловать его изорванный хитон.

Старуха прижала хитон претора к губам и хотела заставить и Исмену сделать то же, но Вер не допустил этого и вскричал со смехом:

— Как могу я позволить моему хитону принять этот поцелуй? Я сам едва ли достоин того, чтобы меня коснулись подобные уста.

— Поцелуй его, поцелуй его! — вскричала старуха.

Но претор взял голову покрасневшей девушки обеими руками, прижал губы к ее лбу и весело сказал:

— Теперь я щедро вознагражден за все, что мне было дано сделать для тебя, Аполлодор!

— А мы, мы, — вскричал Гамалиил, — а я и первородный сын моего брата поручаем великому богу наших отцов вознаградить тебя за то, что ты сделал для нас!

— Кто вы? — спросил Вер, которого пророческая фигура достойного старца и одухотворенное лицо его племянника удивили,

Аполлодор сообщил ему, до какой степени рабби стоит выше своих единоверцев в знании закона и в истолковании тайного учения своего народа, передаваемого из уст в уста и называемого каббалой, и как далеко Симеон Бен-Иохай превосходит всех астрологов своего времени. Он упомянул о пресловутом астрологическом сочинении, под названием Сохар, автором которого был этот молодой человек, и не преминул прибавить, что племянник Гамалиила обладает способностью даже предсказывать положение звезд в последующие ночи.

Вер слушал Аполлодора со все возрастающим вниманием и пристально смотрел на Бен-Иохая, который прерывал речь своего хозяина скромными возражениями.

Претор вспомнил о приближавшемся дне своего рождения и о том, что в ночь, предшествующую этому дню, Адриан будет наблюдать положение созвездий. То, что узнает из этого наблюдения император, должно решить и судьбу его собственной жизни.

Должна ли эта роковая ночь приблизить его к величайшей цели его честолюбия или же удалить от нее?

Когда Аполлодор замолчал, Вер протянул руку молодому ученому и сказал:

— Я рад, что встретился с человеком таким значительным и сведущим, как ты. Чего бы я не дал за то, чтобы хоть несколько часов обладать твоими знаниями!

— Они — твои, — отвечал астролог. — Располагай моим знанием, моим прилежанием, моим временем; предложи мне столько вопросов, сколько пожелаешь. Мы до такой степени у тебя в долгу...

— Вы не должны смотреть на меня как на своего заимодавца, — прервал ученого претор. — И вы даже не обязаны мне благодарностью. Я познакомился с вами только после вашего спасения и выступил против толпы и ее бесчинств не ради какого-нибудь определенного человека, а во имя порядка и закона.

— Ты был так добр, что защитил нас, — возразил Бен-Иохай. — Не будь же так суров, чтобы пренебречь нашей благодарностью.

— Она делает мне честь, мой ученый друг, клянусь всеми богами, она делает мне честь, — отвечал Вер. — И в самом деле, очень возможно, что... может быть... Не будешь ли ты так добр, не проводишь ли меня вон туда, к бюсту Гиппарха? С помощью науки, которая обязана ему столь многим, может быть, ты окажешь мне важную услугу.

Когда они вдвоем, отделившись от других, остановились перед мраморной статуей великого астронома, Вер спросил:

— Ты знаешь, каким способом император узнает судьбу людей по звездам?

— В точности.

— Через кого?

— Через Аквилу, ученика моего отца.

— Можешь ли ты вычислить, что предскажут ему звезды в ночь на тридцатое декабря о судьбе одного человека, который родился в эту ночь и гороскоп которого у меня есть?

— На этот вопрос можно ответить «да» только условно.

— Что препятствует тебе дать безусловно утвердительный ответ?

— Непредвиденные явления на небе.

— Они бывают часто?

— Нет, скорее их можно назвать необычайными.

— Может, и мое счастье не принадлежит к числу обыкновенных; и я прошу тебя вычислить для меня, по способу Адриана, что в данную ночь возвестит небо тому, чей гороскоп принесет тебе мой раб завтра самым ранним утром?

— С удовольствием.

— В какой срок ты можешь окончить эту работу?

— Самое большее, через четыре дня; может быть, даже и раньше.

— Превосходно! Но еще одно: считаешь ли ты меня мужественным?

— Был бы я благодарен тебе, если бы ты не был мужествен?

— Хорошо. Так не скрывай от меня ничего, даже самого страшного, что могло бы отравить жизнь и сломить мужество какого-нибудь другого человека. Все, что только ты прочтешь в книге небес,— малое и великое, хорошее и дурное,— все я желаю слышать.

— Я не утаю от тебя ничего, решительно ничего.

Претор протянул Бен-Иохаю правую руку и сильно пожал нежную, изящную руку еврея.

Уходя, он предварительно условился с Бен-Иохаем насчет того, каким образом тот должен уведомить его об окончании своей работы.

Аполлодор, его гости и дети проводили претора до ворот. Не хватало юного Вениамина. Он сидел с друзьями.

в столовой своего отца и угощал их старым вином в благодарность за оказанную помощь.

Гамалиил слышал их веселые крики и пение. Он указал на комнату и, пожимая плечами, сказал хозяину:

— Они благодарят бога наших отцов по-александрийски.

Возле дома Аполлодора воцарилась теперь тишина, прерываемая только звонкими шагами ликторов и солдат, которые стояли перед ним на страже с оружием в руках.

В одной из боковых улиц претор встретил портного, которого перед тем сбил с ног ударом кулака, колбасника и других зачинщиков нападения на дом еврея.

Их, арестованных, вели к начальнику ночной стражи.

Вер охотно возвратил бы им свободу, но он знал, что император спросит, что сделано с нарушителями спокойствия, и потому предоставил их собственной участи. В другое время он, наверное, отправил бы их домой без наказания; теперь же он весь находился во власти чувства, которое было сильнее его добросердечия и легкомыслия.

В Цезареуме претора ожидал старший камерарий, чтобы отвести его к Сабине, которая желала с ним говорить, несмотря на поздний час.

Войдя в комнату своей благодетельницы, Вер нашел ее в большом волнении.

Она не лежала, как обыкновенно, на своих подушках, а большими, не женскими шагами ходила взад и вперед по обширной комнате.

— Хорошо, что ты пришел! — вскричала она навстречу претору. — Лентул говорил, что встретил раба Масто-ра, и Бальбилла уверяет... но ведь это невозможно!

— Они думают, что император здесь? — спросил Вер.

— Они сказали это и тебе тоже?

— Нет. Я не имею обыкновения медлить, когда ты зовешь меня и когда есть что-нибудь важное, что нужно рассказать. Итак, недавно... Но ты не должна пугаться.

— Только без лишних слов.

— Недавно я встретил...

— Кого?

— Адриана.

— И ты не ошибаешься? Ты видел его?

— Вот этими глазами.

— Неслыханно, недостойно, постыдно! — вскричала Сабина так громко и запальчиво, что сама испугалась резкого звука своего голоса. Ее высокую, сухую фигуру трясло от волнения, причем всякому другому она показалась бы в высшей степени непривлекательной, не женственной и отталкивающей, но Вер с детства привык смотреть на нее более ласковыми глазами, чем другие люди, и она внушала ему сострадание.

Есть женщины, которые напоминают увядающие цветы, потухающие светильники, исчезающие тени, и они не лишены прелести; но крепко сложенная, жестко угловатая Сабина не обладала ни в малейшей степени гибкой нежностью этих милых существ.

Слабость, которую она выставляла напоказ, плохо шла к ней и в особенности была ей не к лицу в этот час — грубая жесткость ее озлобленной души проявилась с безобразной откровенностью.

Она была глубоко возмущена оскорблением, которое нанес ей супруг.

Не довольствуясь тем, что он устроил для себя дом, обособленный от ее дома, он проживал в Александрии, не уведомив ее о своем прибытии. Руки ее дрожали от волнения, и, запинаясь, она велела претору приказать принести ей успокоительное лекарство.

Когда он вернулся, она лежала уже на диване, лицом к стене, и сказала жалобным тоном:

— Меня знобит. Накинь на меня вон то покрывало. Я несчастное, оскорбленное существо.

— Ты слишком чувствительна и слишком близко принимаешь все к сердцу, — осмелился возразить претор.

При этих словах она привскочила на постели.

Она прервала Вера и подвергла его строгому допросу, точно он был обвиняемым, а она судьей.

Скоро она узнала, что Вер встретил раба Мастора, что ее муж живет на Лохиаде, что он, переодетый, принимал участие в празднике и подвергся серьезной опасности перед домом Аполлодора.

Она заставила Вера рассказать также, каким образом он спас еврея и кого встретил в его жилище, и осыпала его горькими упреками за безумное легкомыслие, с каким он из-за какого-то жалкого еврея рисковал своей жизнью, забывая, что он предназначен судьбой для высочайшей цели.

Претор не прерывал ее. Наконец он наклонился, поцеловал ее руку и сказал:

— Твое доброе сердце предвидит для меня то, на что я сам не смею надеяться. Что-то мерцает на горизонте моего будущего. Есть ли это вечернее зарево моего заходящего счастья, или розовая утренняя заря моего будущего — кто может знать? Я жду терпеливо. Что предопределено в ближайшее время, все должно решиться.

— Да, и настанет конец этой неизвестности, — прошептала Сабина.

— Ляг теперь и попробуй заснуть, — сказал Вер со свойственной его голосу проникавшей до сердца искренностью. — Полночь прошла, а врач не раз запрещал тебе ложиться спать слишком поздно. Прощай, пусть приснятся тебе прекрасные сны, и пусть ты останешься для меня, мужчины, тем, чем ты была для ребенка и юноши.

Сабина отняла у него руку, которую он схватил, и сказала:

— Ты не должен меня оставлять! Ты мне нужен! Я не могу теперь обойтись без твоего присутствия.

— До завтра; всегда, всегда я буду оставаться при тебе, если ты позволишь.

Императрица снова протянула ему правую руку и тихо вздохнула, когда он опять наклонился к ее руке и долго не отрывал от нее своих губ.

— Ты мой друг, Вер, мой друг, да, я знаю это, — сказала она, прерывая наконец молчание.

— О Сабина, моя мать! — отвечал он сердечно. — Ты избаловала меня своей добротой, когда я был еще ребенком, и что могу я сделать, чтобы отблагодарить тебя за все это?

— Оставайся в своих чувствах ко мне таким, каким был сегодня. Останешься ли ты таким всегда, во всякое время, как бы ни сложилась твоя судьба?

— В счастье и в несчастье всегда буду тем же, всегда твоим другом, готовым отдать жизнь за тебя.

— Не считаясь с волей моего мужа, и даже если бы ты думал, что не нуждаешься в моей благосклонности?

— Всегда, потому что без нее я — ничто.

Императрица глубоко вздохнула и высоко приподнялась на подушках.

Она приняла великое решение и сказала медленно, выразительно, оттеняя каждое слово:

— Если в ночь твоего рождения не произойдет на небе ничего неслыханного, то ты будешь нашим сыном, ты будешь преемником и наследником Адриана, — клянусь в этом!

В ее голосе звучало что-то торжественное, и ее маленькие глаза были широко раскрыты.

— Сабина, мать, дух-хранитель моей жизни! — вскричал Вер и опустился перед ее постелью на колени.

Глубоко тронутая, она посмотрела в его прекрасное лицо, приложила руки к его вискам и запечатлела поцелуй на его темных волосах.

Ее сухие глаза, не привыкшие к слезам, светились каким-то влажным блеском, и таким мягким, умоляющим тоном, какого еще никто никогда не слышал от нее, она сказала:

— Даже и в счастье, даже после усыновления, даже когда ты будешь носить багряницу, ты останешься таким же, как сегодня? Да? Скажи мне да!

— Всегда, всегда! — вскричал Вер. — И когда наше желание исполнится...

— Тогда, тогда... — прервала его Сабина, и мороз пробежал по ее жилам, — тогда ты все-таки останешься для меня тем же, что сейчас; но, разумеется, разумеется... храмы пустеют, когда смертным нечего больше желать.

— О нет, тогда, тогда приносятся благодарственные жертвы богам, — возразил Вер и посмотрел на императрицу; но Сабина уклонилась от его взгляда и вскричала боязливо и тревожно:

— Никакой игры словами, никакого празднословия! Ради богов, не теперь! Потому что эта ночь среди других ночей то же, что освещенный храм среди домов, даже более — это солнце среди других небесных светил. Ты не знаешь, что я чувствую, я сама едва ли знаю это! Теперь, только теперь никаких праздных слов!

Вер смотрел на Сабину со все возраставшим удивлением.

Она всегда была к нему добрее, чем к остальным людям, и он чувствовал себя связанным с нею узами благодарности и прекрасными воспоминаниями детства. Будучи еще ребенком, он из всех своих сверстников был единственным мальчиком, который не только совсем не боялся ее, но даже привязался к ней. Но теперь... Кто когда-либо видел Сабину такой? Неужели это та самая неприятная, язвительная женщина, сердце которой, казалось, было наполнено желчью и язык которой, подобно кинжалу, наносил раны каждому, к кому она обращалась? Неужели это та самая Сабина, которая, правда, была дружески расположена к нему, но вообще не любила никого, не исключая даже самой себя?

Не обманывается ли он?

Слезы — настоящие, искренние, неподдельные слезы — наполняли ее глаза, когда она продолжала:

— Вот я лежу здесь, бедная, болезненная женщина, страдающая душой и телом, как будто я вся покрыта ранами. Каждое прикосновение, каждый взгляд и голос большинства людей причиняют мне боль. Я стара, гораздо старше, чем ты думаешь, и так несчастна, так несчастна, что вы все не можете и представить себе! Ни ребенком, ни молодой женщиной я не была счастлива, а как жена, — вечные боги! — за каждое ласковое слово, которым удостаивал меня Адриан, я заплатила тысячью унижений.

— Он всегда оказывал тебе уважение, — прервал ее Вер.

— Перед вами, перед людьми! Но какое мне дело до его уважения! Я имею право требовать почтения, поклонения от миллионов, и оно воздается мне. Любви, любви, хоть немножко бескорыстной любви желаю я; и если бы только я была уверена, если бы только я смела надеяться, что ты даришь ее мне, то я отблагодарила бы тебя всем, что имею, тогда этот час был бы самым благословенным часом в моей жизни.

— Как можешь ты сомневаться во мне, мать, моя искренне любимая мать!

— Вот это мне приятно, вот это приносит мне отраду, — отвечала Сабина. — Твой голос никогда не кажется мне слишком громким, и я верю тебе, могу верить. Этот час делает тебя моим сыном, делает меня матерью.

Умиление, смягчающее сердце умиление оживляло очерстневшую душу Сабину и светило в ее глазах.

Она чувствовала себя подобно молодой женщине, у которой родилось дитя и которой голос сердца поет радостно: «Это дитя живет, оно мое собственное, а я — я мать этого человека».

Счастливым взглядом она посмотрела на Вера и воскликнула:

— Дай мне руку, мой сын, помоги мне встать, я не хочу уже лежать дольше. Как у меня хорошо на душе! Да, это блаженство, которое дается другим женщинам, прежде чем они поседеют! Но, дитя, милый, единственный мальчик, ты все-таки не должен любить меня совершенно как мать! Я слишком стара для нежного воркованья; но мне было бы невыносимо также и то, если бы ты не оказывал мне ничего, кроме сыновнего почтения.

Нет, нет, ты должен быть моим другом, которому его сердце говорит, чего я желаю, который может сегодня со мной смеяться, завтра печалиться и в котором я замечаю, что он радуется, когда его взгляд встречается с моим. Теперь ты мой сын, а скоро ты будешь и называться моим сыном. Но довольно хорошего для одного вечера. Ни единого слова больше! Этот час похож на законченное образцовое произведение живописца. Каждый добавочный мазок может только повредить красоте картины. Ты можешь поцеловать меня в лоб, и я поцелую твой; теперь иди спать, а завтра, проснувшись, я скажу себе, что у меня есть ради чего стоит жить, есть дитя, есть сын!

Оставшись одна, императрица подняла руку вверх, чтобы молиться, но не нашла в своем сердце ни одного слова благодарности.

Правда, она насладилась одним часом неподдельного счастья, но как много дней, месяцев и лет, лишенных радости и полных страдания, лежали позади!

Едва признательность дружески постучалась в ее душу, тотчас же эта душа возмутилась против нее с самым горьким негодованием. Что значил какой-нибудь один хороший час в сравнении со всей испорченной жизнью?

Безумная женщина! Она никогда не сеяла любви, а теперь упрекала богов в скупости и жестокости за то, что они не дали ей до сих пор собрать жатву.

Веселый и полный надежды, Вер оставил ее; правда, преобразившееся существо Сабины тронуло его сердце; правда, он желал остаться ей верным и после усыновления; его глаза блестели. Однако же они блестели не так, как у счастливого сына; они сверкали, как глаза бойца, который может смело надеяться на победу.

Его жена, несмотря на поздний час, еще не ложилась в постель.

Она слышала, что по возвращении домой он позван был к императрице, и дожидалась его с некоторым беспокойством, потому что не привыкла к тому, чтобы от Сабины исходило что-нибудь хорошее.

Быстрые шаги ее мужа громко раздались в каменных стенах спавшего дворца. Она услышала их издали и пошла навстречу ему.

Сияющий, взволнованный, с покрасневшимися щеками, он протянул к ней обе руки.

Она была так красива в своей ночной одежде из тонкой белой ткани, а его сердце было так полно, что он прижал ее к груди с такой же нежностью, как в вечер пос-

ле свадьбы. Она тоже любила его теперь не менее, чем тогда, и в сотый раз чувствовала себя счастливой оттого, что этот неверный повеса, как шкипер после дальнего плавания, стремящийся в родную гавань, постоянно возвращается в ее объятия, к ее неизменно верному сердцу.

— Луцилла,— вскричал он, освобождая шею от объятий,— Луцилла, вот это была ночь! Я всегда судил о Сабине иначе, чем все вы, и с благодарностью чувствовал, что она расположена ко мне. Теперь все между нами выяснилось. Она назвала меня своим милым сыном, а я ее — своей матерью. Я буду ей благодарен за это; и пурпур, пурпур принадлежит нам! Ты будешь супругой цезаря Вера, будешь наверное, если императора не устрашат какие-либо небесные знамения!

В быстрых словах, которые отзывались не только самоуверенностью счастливого игрока, но также чувством умиления и благодарности, он описал ей все, что пережил у Сабрины.

Его свежая, уверенная радость заставила умолкнуть сомнения Луциллы, ее страх перед чем-то огромным, что, маня и угрожая, подходило к ней все ближе и ближе.

Перед своими удивленными глазами она видела милого ей человека, видела своего сына на императорском троне, а себя — в сияющей диадеме той женщины, которую ненавидела всеми силами души.

Дружеское расположение ее мужа к императрице, верная привязанность, соединявшая его с ней с детских лет, не беспокоили ее. Но женщины готовы предоставить своему избраннику всякое счастье, всякий дар, только не любовь какой-либо другой женщины, и прощают ей скорее ненависть и преследование, чем эту любовь.

Луцилла была глубоко взволнована, и мысль, которая несколько лет таилась в глубине ее сердца, оказалась в этот день могущественнее сдерживавшей ее силы.

Адриана считали убийцею ее отца, но никто не мог утверждать с уверенностью, что именно он, а не кто-то другой умертвил благородного Нигрина.

В этот час ее душу с новой силой взволновало старое подозрение, и, подняв правую руку как бы для клятвы, она вскричала:

— О судьба, судьба! Мой муж — наследник человека, который умертвил моего отца!

— Луцилла,— прервал ее Вер,— думать об этом ужасе нехорошо, а говорить — безумие. Не говори этого ни-

когда, и меньше всего сегодня. Пусть то, что, может быть, случилось прежде, не губит настоящего и будущего, которое принадлежит нам и нашим детям.

— Нигрин был дедом этих детей! — вскричала римлянка с пылавшими глазами.

— То есть тебе хотелось бы влить в их души желание отомстить императору за смерть твоего отца?

— Я — дочь удушенного!

— Но ты не знаешь убийцы, а пурпур все же дороже одной жизни, потому что за него часто платят многими тысячами жизней. И затем, Луцилла... Ты ведь знаешь, что я люблю веселые лица, а у мщения мрачное чело. Позволь нам быть счастливыми, о супруга цезаря! Завтра я расскажу тебе многое еще, а теперь я должен отправиться на великолепный ночной пир, который дает в мою честь сын богача Плутарха. Я не могу оставаться с тобой, право, не могу; меня ждут уже давно. Когда мы снова будем в Риме, то никогда не говори детям о старых, мрачных историях, я не хочу этого!

Когда Вер со своими рабами, несшими факелы, проходил через сад Цезареума, он увидел свет в комнате, где жила поэтесса Бальбилла, и весело крикнул ей вверх:

— Доброго вечера, прекрасная муза!

— Доброй ночи, поддельный Эрот.

— Ты украшаешь себя чужими перьями, поэтесса, — сказал он, смеясь. — Не ты, а злые александрийцы изобрели это имя.

— О, и еще лучшие имена, — крикнула она ему вниз. — Чего только я не видела и не слышала сегодня, это просто невероятно!

— И ты используешь это в своих стихах?

— Лишь немного, и то только в сатире, которую я намерена направить против тебя.

— Я трепещу.

— Надеюсь, от радости. Мое стихотворение обещает передать твое имя потомству.

— Это правда; и чем злее будут твои стихи, тем неизбежнее последующие поколения будут думать, что Вер был Фаоном Сафо-Бальбиллы и что отвергнутая любовь наполнила злобой нежную поэтессу.

— Благодарю за это предостережение; по крайней мере сегодня ты находишься в безопасности от моих стихов, потому что я устала до обморока.

— Ты рискнула показаться на улице?

— Это было безопасно, потому что у меня был надежный проводник.

— Можно спросить, кто?

— Почему нет? С нами был архитектор Понтий.

— Он знает город.

— И я с ним не побоялась бы сойти в преисподнюю, подобно Орфею.

— Счастливый Понтий!

— Еще более счастливый Вер!

— Как мне понимать эти слова, очаровательная Бальбилла?

— Бедного архитектора допускают к себе в качестве хорошего проводника, тебе же принадлежит все сердце твоей прекрасной супруги Луциллы.

— И ей — мое, насколько его не наполняет Бальбилла. Приятного сна, суровая муза!

— Дурного сна, неисправимый демон! — крикнула девушка и быстро задернула занавеску.

Человеку, которого постигло несчастье, его будущая жизнь представляется, пока длится ночь, подобной безграничному морю, где он носится, как потерпевший кораблекрушение. Но как только рассеивается тьма, ласковый день указывает ему вблизи на спасительную лодку, а вдали — на гостеприимные берега.

Так и бедный Поллукс всю ночь до утра провел с открытыми глазами, испуская временами тяжелые вздохи. Ему казалось, что вчерашний вечер испортил всю его будущность.

Мастерская его бывшего хозяина была для него закрыта, а у него самого не хватало даже орудий, нужных ему для его искусства.

Еще вчера он с радостной уверенностью надеялся встать на собственные ноги, сегодня это казалось ему невозможным, так как недоставало самого необходимого.

Ощупав кошелек, лежавший у него под подушкой, он, несмотря на свое горе, невольно улыбнулся; его руки опустились глубоко в потертую кожу, но не нашли ничего, кроме двух монет, которые, к сожалению, как он знал, были медные.

Где ему теперь взять деньги, которые он обыкновенно приносил своей сестре первого числа каждого месяца?

Папий находился в приятельских отношениях со всеми скульпторами города, которым он имел обыкновение

задавать пиры, и следовало ожидать, что он предупредит их относительно Поллукса и всеми возможными средствами помешает ему снова найти место подмастерья.

Его бывший хозяин был свидетелем гнева императора против него. Это был человек, вполне способный навредить ему.

Никому не может быть выгодно то, что его ненавидит могущественный человек, особенно, если он сам ждет от сильных мира милостей и щедрот.

Когда Адриану заблагорассудится раскрыть свое инкогнито, то ему легко может прийти на ум показать ваятелю свое могущество.

Не будет ли разумнее оставить Александрию и искать работы и хлеба в каком-нибудь греческом городе?

Но из-за Арсиной он не мог оставить свой родной город. Он любил ее со всей страстью своей художественной натуры, и его бодрый дух, уж конечно, не смутился бы так глубоко и так скоро, если бы было возможно скрыть от себя самого, что его надежда обладать ею отодвинута происшествиями вчерашнего вечера.

Как мог он осмелиться связать ее судьбу со своей непадежной и небезопасной участью.

Каждый раз, когда им овладевали эти мысли, ему казалось, будто пыль застилает его глаза, и он вскакивал со своей постели и то мерил большими шагами свою комнату, то прижимал лоб к холодной стене.

Мерцание нового дня показалось ему желанным утешителем, и, когда он съел утренний суп, который его мать, с заплаканными глазами, поставила перед ним, ему пришла в голову мысль обратиться к архитектору Понтию. Это была та спасительная лодка, которая манила.

Дорида разделила завтрак с сыном, разговаривая, против своего обыкновения, очень мало, и несколько раз погладила его по кудрявой голове.

Певец Эвфорион ходил большими шагами по комнате, обдумывая оду, в которой он намеревался воспеть императора и умолять его простить сына.

Вскоре после завтрака Поллукс пошел на круглую площадку с бюстами цариц, чтобы увидеть Арсиною.

Он стал громко петь, чтобы вызвать ее на балкон.

Они поздоровались, и Поллукс знаком попросил ее сойти вниз. Она более чем охотно исполнила бы его желание, но отец услышал голос ваятеля и заставил ее вернуться в комнату.

Но уже один взгляд на прекрасную подругу принес

отраду художнику. Как только он пришел в жилище родителей, туда проскользнул и Антиной.

Это был тот гостеприимный берег, к которому теперь обратились взоры Поллукса. Надежда снова засияла в его душе, а надежда — это солнце, перед которым бежит отчаяние.

Антиной сообщил ему, что находится в его распоряжении до полудня, потому что его хозяин, или, лучше сказать, император, — как он теперь мог его называть, — занят. Префект Титиан явился к нему с целой кучей актов, чтобы работать вместе с ним и его секретарем.

Поллукс тотчас же увел Антиноя в боковую комнату, расположенную на северной стороне родительского домика. Здесь со вчерашнего вечера на маленьком столике лежали воск и мелкие инструменты, лично принадлежавшие ему.

Сердце его болело и нервы были напряжены до крайности, когда он начал работать. Его душу беспокоили разные посторонние мысли, однако же он знал, что может сделать что-нибудь настоящее только тогда, когда весь отдастся работе. И именно сегодня он боялся неудачи, как несчастья, потому что натуры, подобной той, что сидела теперь перед ним, нельзя было найти в другой раз.

Но ему пришлось недолго делать усилия, чтобы сосредоточить свои мысли, ибо красота Антиноя наполнила его глубоким благоговением, и, полный благочестивого волнения, он схватил гибкий материал и начал придавать ему форму, сходную с оригиналом.

В течение целого часа Антиной не обменялся с художником ни единым словом; но несколько раз Поллукс глубоко вздыхал.

Антиной прервал молчание, чтобы поговорить с ваятелем о Селене. Его сердце было полно ею, и не было другого человека, которому он решился бы открыть свою тайну. Он пришел к художнику только для того, чтобы поговорить о любимой девушке.

Пока Поллукс лепил, Антиной рассказал, что произошло с ним в прошлую ночь. Он сожалел, что при падении в воду потерял серебряный колчан и что потом преследователи изорвали в клочья его розовый хитон.

Восклицания удивления, затем участия, короткий отдых в работе — вот все, что вызвал в художнике рассказ Антиноя о приключении с Селеной и о потере драгоценной собственности Папия, так как в ту минуту все

его мысли были поглощены творчеством. Чем далее подвигалась работа, тем более возрастало его восторженное удивление перед оригиналом. Он чувствовал себя точно опьяненным, стараясь передать в своем произведении это воплощение идеи безукоризненной юношеской красоты. Страсть художественного творчества пылала в его крови и отодвигала на второй план, в область обыкновенных вещей, все другое, даже известие о падении Селены в море и о спасении ее.

Несмотря на это, он не остался невнимательным слушателем, и то, что он услышал, должно быть, продолжало действовать на его душу, так как уже долгое время спустя по окончании рассказа Антиноя он, точно говоря со своим произведением, которое уже принимало определенные формы, тихо сказал:

— Странное существо! — И немного после: — И, однако, есть что-то великое в этом несчастном создании.

Он работал без перерыва почти четыре часа, потом глубоко вздохнул, отошел от стола, внимательно посмотрел на свою работу и на Антиноя и спросил его:

— Выходит что-нибудь?

Вифинец горячо высказал свое одобрение. И действительно Поллукс сделал очень много в короткое время.

Из воска в сильно уменьшенном виде была вылеплена фигура прекрасного юноши в той позе, в какой вчера на корабле префекта юный Дионис был похищен разбойниками.

Несравненно прекрасные формы императорского любимца были нежны, но не слабы. Никакой художник, как говорил себе Поллукс и раньше, не мог бы в самые лучшие часы своего вдохновения представить себе нисийского бога иначе и прекраснее.

В то время как ваятель, чтобы убедиться в точности изображения, измерял отдельные части своей природы деревянным циркулем и полотняными тесьмами, послышался стук колесницы у ворот дворца и вскоре затем лай граций.

Дорида прикрикнула на собак, и какой-то другой высокий женский голос смешался с ее голосом.

Антиной начал прислушиваться, и то, что он услышал, по-видимому, не принадлежало к числу обыкновенных вещей, так как он вдруг встал, подошел к окну и крикнул отсюда Поллуксу приглушенным голосом:

— Право, так, я не ошибаюсь! Жена Адриана, Сабина, говорит там с твоей матерью.

Он в самом деле не ошибся: императрица приехала на Лохиаду, чтобы повидаться со своим мужем. Она оставила свою колесницу у ворот старого дворца, так как мощение двора должно было окончиться только вечером этого дня.

Собаки, которых так любил Адриан, были ей противны, и умные животные платили ей за это отвращение точно таким же чувством. Поэтому привратнице сегодня было труднее, чем обыкновенно, унять своих непослушных любимиц, которые напали на незнакомую женщину со злобным ожесточением.

Испуганная Сабина запальчиво приказала старухе избавиться ее от собак, а приехавший с ней придворный, на которого она опиралась, отбрасывал ногами неугомонных брехунов и этим усиливал их злобу.

Наконец грации вернулись в домик; Дорида вздохнула с облегчением и обратилась к императрице.

Она не подозревала, кто была незнакомка, так как никогда не видела Сабину и составила себе о ней совсем иное представление.

— Извини, добрая госпожа,— сказала она со своей доверчивой манерой,— эти маленькие собачонки добры и не укусят даже нищего, только они терпеть не могут престарелых женщин. Кого ты ищешь у нас, мать моя?

— Ты скоро узнаешь это,— резко ответила Сабина.— Что за шум подняли вы тут, Лентул, из-за работы архитектора Понтия! Можно себе представить, что делается там внутри, если могла остаться здесь эта избушка, обезобразившая вход во дворец! Ее нужно убрать отсюда вместе с ее обитателями. Прикажи этой бабе провести нас к римскому господину, что живет здесь.

Царедворец исполнил повеление, а Дорида начала подозревать, кто находится перед ней, и, оправляя платье, сказала с глубоким поклоном:

— Какая великая честь посетила нас, великая госпожа! Уж не супруга ли ты императора? Если да...

Сабина сделала царедворцу знак нетерпеливым движением руки, он же прервал старуху, крикнув ей:

— Замолчи и покажи нам дорогу!

Дорида в этот день не чувствовала обычной бодрости, и ее глаза, покрасневшие от слез, снова сделались влажными.

Никто не говорил с ней таким тоном; однако ради сына она не смела заплатить за оскорбительное обращение той же монетой, хотя обычно была остра на язык.

Она молча поплелась впереди Сабины и довела ее до залы муз. Там выполнение ее задачи принял на себя архитектор Понтий, и почтение, с которым он встретил незнакомку, убедило Дориду, что эта женщина, наверное, и есть сама императрица.

— Противная баба,— сказала Сабина, удаляясь; при этом она пальцем указала на Дориду, от слуха которой не ускользнули эти слова.

Растерянная, она упала на один из расставленных в зале стульев, закрыла лицо руками и горько расплакалась.

Ей казалось, что почва исчезла у нее под ногами. Ее сыну грозил император, а ей самой и ее дому — самая могущественная из всех женщин на свете.

Она видела уже себя с Эвфорионом и своими животными выброшенной на улицу и спрашивала себя: что же станет со всеми, когда они потеряют свое место и свой кров? Память ее мужа становилась все слабее, скоро он мог потерять и голос, а ее собственные силы так ослабели в последние годы. И как ничтожны были сбережения, спрятанные в шкатулке!

Веселая, живая старуха чувствовала себя точно разбитой.

Она была огорчена не тем, что ей грозила нужда, а нанесенным ей оскорблением, тем, что она, к которой с молодых лет все и каждый относились ласково, возбудила против себя неудовольствие; ее мучило горькое чувство, что с ней так презрительно, и притом в присутствии других, обошлась могущественная женщина, на помощь которой она надеялась.

Появление Сабины прогнало добрых духов с Лохиады. Это чувствовала Дорида; но она была вовсе не из тех натур, которые без сопротивления покоряются враждебным силам. В течение нескольких минут она отдавалась своему горю и плакала, всхлипывая, как дитя. Затем она отерла глаза, почувствовав в облегченном сердце благодатное действие слез. Мало-помалу ей удалось восстановить способность думать спокойно.

— В конце концов,— сказала она себе самой,— распоряжается здесь только император; и, говорят, он не в ладах со своей злобной женой и мало считается с ее желаниями. Адриан дал Поллуксу почувствовать свою власть, но со мной он был всегда ласков. Мои собаки и птицы ему нравятся, и разве он не хвалил даже кушанья из моей кухни? Нет, нет! Если только удастся мне пого-

ворить с ним наедине, то, может быть, все повернется к лучшему.

Когда она уже собиралась покинуть залу, вошел антиквар Габиний из Никои, которому Керавн отказал в продаже мозаичной картины, принадлежавшей дворцу, и дочь которого из-за Арсинои лишилась роли Роксаны.

Понтий призвал его во дворец, и он явился тотчас, так как с прошлого вечера слух, что император находится в Александрии и живет во дворце на Лохиаде, переходил из уст в уста. Кто распространил этот слух и на каких фактах он основывался, никто не мог сказать. Но слух появился, обошел все круги и с часу на час приобретал все большую достоверность. Из всего растущего на земле ничто не растет так быстро, как слух, хотя он не что иное, как бедный подкидыш, который не знает своих родителей.

Антиквар, бросив удивленный взгляд на старуху, прошел дальше во дворец; а Дорида приостановилась в раздумье, соображая, должна ли она здесь искать свидания с императором или вернуться в свой домик и ждать, когда Адриан выйдет из дворца и будет проходить мимо.

Прежде чем она успела решиться на что-нибудь, показался архитектор Понтий. Он всегда был ласков с ней, и поэтому она осмелилась обратиться к нему и рассказать, что произошло между ее сыном и императором.

Для архитектора это не было новостью. Он советовал ей потерпеть, пока Адриан успокоится, и обещал ей сделать потом все, что только будет возможно, для Поллукса, которого он любил и уважал. При этом он объявил, что сегодня он принужден по поручению императора немедленно оставить Александрию на продолжительное время. Целью его путешествия был Пелузий. Там предполагалось поставить памятник великому Помпею, на том месте, где он был умерщвлен. Мысль о замене старого, обрушившегося монумента Помпея пришла Адриану в голову во время путешествия его в Египет, и постройку этого нового памятника он поручил Понтию, работа которого на Лохиаде приходила к концу.

То, чего еще недоставало в обстановке и убранстве возобновленного дворца, Адриан желал выбрать и приобрести сам, и ему должен был помогать продавец художественных редкостей Габиний.

Между тем как Дорида еще разговаривала с Понтием, к зале приближались Адриан и его супруга.

Услышав голос Сабины, архитектор тихо и торопливо сказал старухе:

— До свидания, матушка. Отойди в сторону: идет император с императрицей.

И он быстро удалился.

Дорида вошла в дверь боковой комнаты, которая была закрыта только тяжелой портьерой: попасться теперь на глаза гордой женщине, от которой она не могла ожидать ничего, кроме оскорблений, для нее было то же, что встретиться с разъяренным зверем.

Разговор Адриана с женой продолжался едва четверть часа, и, должно быть, этот разговор был не из числа приятных, потому что лицо императора пылало, а у Сабинины губы были бледны и наруганные ее щеки побелели тоже.

Дорида была слишком взволнована и чувствовала слишком большой страх для того, чтобы подслушивать разговор царственной четы, но все-таки она услышала слова императора, высказанные весьма решительным тоном:

— В малых делах я предоставляю тебе полную волю; важнейшее же я решу и на этот раз, как всегда, по своему и только по своему усмотрению.

Это заявление было губительно для домика привратника и для его жителей, так как к малым вещам, о которых говорил Адриан, принадлежало и устранение безобразной избушки у входа во дворец. Сабина потребовала это от супруга, так как никому не могло быть приятно, говорила она, при каждом посещении Лохиады встречаться со зловещей старой мегерой и подвергаться нападению разъяренных собак.

Дорида не подозревала, что означали слова императора. Она радовалась им, так как из них узнала, что Адриан не был расположен уступать своей жене в важных вопросах; и кто мог бы поставить ей в вину то, что судьбу свою и своего дома она причисляла к важным, пожалуй, даже к важнейшим вопросам?

Сабина, поддерживаемая царедворцем, вышла из залы, и Адриан остался один со своим рабом Матором.

Нелегко было бы старушке улучшить более благоприятный момент, чтобы без докучливых свидетелей обратиться к стоявшему перед ней могущественному человеку с мольбой проявить великодушие и простить ее сына.

Он стоял к ней спиной. Если бы она могла видеть, с каким страшным выражением лица он смотрел в землю, то, наверное, вспомнила бы о предостережении Понтия и отложила свое обращение к Андриану до другого дня.

Как много таких людей, которые губят свое справедливое дело, поддаваясь настойчивому порыву добиться скорого решения и не имея в себе достаточно силы, чтобы отложить начало своих действий до более благоприятного момента! Неизвестность в настоящем часто кажется нам невыносимее тяжкой судьбы в будущем.

Дорида вышла из боковой комнаты.

Мастор, который хорошо знал императора и при своем дружеском расположении к доброй старухе желал избавить ее от унижения, начал делать ей энергичные знаки, чтобы она отступила назад, но она до такой степени была охвачена страхом и волнением, что не заметила этого.

Когда Адриан сделал движение, чтобы оставить комнату, она собралась с духом, выступила из двери и попыталась опуститься перед ним на колени, но ее старым ногам это далось не легко: Дорида должна была схватиться за косяк двери, чтобы не потерять равновесия.

Адриан тотчас узнал просительницу, но сегодня у него не нашлось для нее ни одного ласкового слова, и взгляд, который он бросил на нее, был далеко не милостив. Он теперь уже не понимал, чем могло понравиться ему это жалкое старое создание.

Ах, бедная Дорида в своем домике, среди своих цветов, птиц и собак была совсем другая, чем здесь, в обширных комнатах великолепного дворца! Эта блестящая обстановка не подходила к ее скромной фигуре.

Тысячи людей, внушающих уважение и симпатию в своей ежедневной обстановке, выйдя из круга, к которому они принадлежат, производят совсем другое впечатление.

Никогда еще Дорида не представляла собой такого грустного зрелища для Адриана, как именно сегодня, в этот решительный час ее жизни. Она прямо от кухонного очага вышла, в чем была, чтобы проводить императрицу. После бессонной ночи, вся поглощенная заботами и опасениями, она едва привела в порядок седые волосы, и ее добрые ясные глаза, это украшение ее лица в другое время, сегодня были красны от слез. Чистенькая, ласковая старушка была теперь далеко не нарядна и не весела и нисколько не отличалась от других старых баб, которых император считал предвестницами несчастья, когда встречался с ними при выходе из дома.

— О цезарь, великий цезарь! — вскрикнула Дорида и подняла руки, на которых еще можно было видеть сле-

ды ее работы у очага.— Мой сын, мой несчастный Поллукс!

— Прочь с дороги! — строго приказал Адриан.

— Он художник, хороший художник, который уже теперь превосходит некоторых мастеров, и если ему боги...

— Прочь! Я не хочу ничего слышать о дерзком мальчишке! — вскричал Адриан запальчиво.

— Но, великий цезарь, он все же мой сын, и, ты знаешь, мать...

— Мастер,— прервал ее повелитель,— подними старуху и очисти мне место.

— О государь, государь! — заговорила, рыдая, испуганная старуха, в то время как раб поднимал ее с некоторым трудом.— О государь, как мог ты сразу стать таким жестоким! Разве я уже не та старая Дорида, с которой ты шутил и блюда которой тебе нравились?

Этот вопрос вызвал в памяти императора воспоминание о часе его прибытия на Лохиаду. Он почувствовал, что чем-то обязан старухе, и так как он привык платить за все с царской щедростью, то сказал:

— За твои хорошие блюда ты получишь сумму денег, на которую вы можете купить себе новый дом. Ваше содержание будет вам выдаваться и впредь; но через три часа вы должны оставить Лохиаду.

Император говорил так быстро, как будто ему нужно было покончить с каким-нибудь неприятным делом, и прошел мимо Дориды, которая снова стояла на ногах и, точно ошеломленная, прислонилась к косяку двери.

Если бы Адриан не ушел и даже соблаговолил слушать ее далее, то она все-таки не могла бы теперь произнести ни одного слова в ответ.

Императору принадлежат все регалии Зевса, и, подобно молнии, которую бросает отец богов, его властное слово разбило счастье мирной семьи.

На этот раз у Дориды не нашлось слез.

Ужас, потрясший ее душу, отозвался и в ее теле. Колени ее подгибались, и, будучи не в состоянии тотчас же идти домой, она опустилась на стул и боязливо смотрела перед собой, думая о том, как теперь быть и что еще грозит в будущем.

Император остановился в уже отделанной комнате. Он начал раскаиваться в своей суровости относительно старухи: ведь она, не зная, кто он, была так ласкова к ним и с его любимцем.

- Где Антиной? — спросил он Мастора.
- Он пошел в до́мик привратника.
- Что он там делает?
- Кажется, он... он, может быть, там...
- Говори правду, раб!
- Он у ваятеля Поллукса.
- Уже давно?
- Не знаю.
- Как давно, я спрашиваю!
- Он ушел после того, как ты заперся с Титианом.
- Три часа, целых три часа у этого хвастунишки, которого я выгнал!

При этом восклицании глаза Адриана гневно засверкали. Его досада на любимца, общества которого он не уступал никому другому, а тем более какому-то Поллуксу, подавила в нем всякие добрые мысли, и с неудовольствием, доходившим до гнева, он приказал Мاستору тотчас же позвать Антиноя и затем очистить жилище привратника.

— Возьми в помощь дюжину рабов, пусть перенесут хлам этих людей в их новый дом; но я не желаю видеть вновь ни воющую старуху, ни ее слабоумного мужа. А ваятелю скажи, что император обладает твердой поступью и легко может раздавить невзначай змею, которая ползет через его дорогу.

Мастор печально удалился.

Адриан вернулся в свою рабочую комнату и крикнул там секретарю Флегону:

— Пиши: для этого дворца нужно назначить нового привратника. Эвфорион, старик, сохраняет свое жалованье, и в префектуре будет выдано ему полталанта! Так. Сообщи сейчас же мое распоряжение этому человеку. Чтобы через час на Лохиаде не было ни его, ни его семьи. Отныне никто не должен мне ни говорить о них, ни представлять прошений о них. Бросить эту пададь к другим мертвецам.

Флегон поклонился и сказал:

— Там дожидается продавец художественных редкостей Габиний.

— Он явился как раз кстати! — вскричал император. — После всех этих неприятностей хорошо послушать о прекрасных вещах.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Да, появление Сабины изгнало добрых духов из дворца на Лохиаде. Повеление императора было подобно вихрю, взбудоражившему кучу сухих листьев, который налетел на мирный домик привратника. Его обитателям не было дано времени даже на то, чтобы осознать вполне свое несчастье; им некогда было оплакивать его, нужно было действовать с благоразумием.

Столы, стулья, ложа, лютни, корзины, цветочные горшки, клетки с птицами, кухонная посуда, сундуки с платьем — все это стояло в беспорядке на дворе, и Дорида так энергично и умело распорядилась рабами, которых ей прислал Мастер, как будто дело шло только о переселении из одной квартиры в другую.

Луч веселости, составлявший основную черту ее характера, снова засверкал в ее глазах после того, как она сказала самой себе, что случившегося с нею и с ее близкими нельзя изменить и что вместо оплакивания прошлого теперь нужно думать о будущем.

Она вновь сделалась прежней Доридой и, увидав, что Эвфорион сидит на своем ложе точно разбитый, уставив неподвижные глаза на пол, крикнула ему:

— После дурных дней настанут и хорошие! Пусть они попробуют привести нас в уныние! Мы не сделали ничего дурного, и, пока мы сами не считаем себя несчастными, мы и не будем ими. Нужно только не падать духом. Вставай, старик, пошевеливайся! Иди сейчас к Диотиме и скажи ей, что мы просим у нее на несколько дней помещение для нашего хлама и для нас самих.

— Что, если император не сдержит своего слова? — мрачно спросил Эвфорион. — Что за жизнь будет тогда!

— Скверная жизнь, собачья жизнь, и потому нужно покамест наслаждаться тем, что у нас есть. Стакан вина, Поллукс, для меня и для отца! Но сегодня его не следует разбавлять!

— Я не могу пить! — вздохнул певец.

— В таком случае я выпью и твою долю.

— Не надо, матушка, — просил Поллукс.

— Разбавь его немножко, мальчик, но не строй такой плачевной рожи. Разве может смотреть так цветущий юноша, преданный своему искусству, имеющий силу в руке, ум в голове и свою милую в сердце?

— О себе я, разумеется, не беспокоюсь, матушка,— с живостью возразил ваятель.— Но каким образом теперь я снова проберусь к Арсиное во дворец, как полагаю с этим злым Керавном?

— Спроси об этом у времени,— отвечала Дорида.

— Оно может дать и хороший, и дурной ответ.

— Лучший ответ дается всегда только тем, кто дожидается его в передней, называемой «терпением»!

— Плохое местопребывание для меня и мне подобным,— вздохнул Поллукс.

— Не сиди спокойно, а стучи в дверь, и сам не заметишь, как время крикнет тебе «Войди!» А теперь покажи вон тем людям, как они должны обращаться со статуей Аполлона, и будь снова моим прежним мальчиком!

Поллукс исполнил приказание матери, думая при этом: «Ей хорошо говорить; она не оставляет тут никакой Арсиной. Если бы я мог по крайней мере условиться с Антиноем насчет того, где я могу повидаться с ним снова!» Но после повеления императора малый был точно ошеломлен ударом по голове и вышел, шатаясь, из комнаты, как будто его вели на убой.

Надежда, по-видимому, не обманула Дориду, так как пришел личный секретарь императора Флегон и сообщил ей о повелении Адриана уплатить ее мужу половину таланта и на будущее время выдавать ему прежнее небольшое жалованье.

— Вот видишь,— вскричала старуха после ухода Флегона,— солнце хороших дней уже всходит снова! Полталанта! У таких богатых людей, как мы, нужде делать нечего. Как ты думаешь: не будет ли хорошо пожертвовать богам половину кубка вина, а другую половину выпить самим?

Дорида была так весела, как будто собиралась на свадьбу; ее веселость передалась и сыну, увидевшему себя освобожденным от части забот о своих родителях.

Его упавшая жизнерадостность нуждалась только в нескольких каплях благодатной росы, чтобы подняться снова. Он опять начал думать о своем искусстве и намеревался прежде всего постараться окончить так удачно начатую им статую Антиноя.

Он пошел в дом, чтобы предохранить свою работу от повреждения и дать рабу, которому он велел за собой следовать, указания, как нести изваяние, чтобы не попортить его. Во двор вошел его учитель Папий. Он при-

шел, чтобы лично сделать последние штрихи на принятых им работах и вновь приобрести благоволение человека, в котором узнал императора.

Папий был озабочен: мысль, что Поллукс может теперь выдать, какое малое участие сам он, Папий, принимал в своих последних работах, которые, однако же, доставили ему больше похвалы, чем все его прежние произведения, сильно его беспокоила. Правда, ему казалось благоразумным поступиться своей гордостью и посредством заманчивых обещаний побудить своего бывшего ученика вернуться в мастерскую; но вчера вечером он позволил себе слишком увлечься и в присутствии Адриана с таким негодованием говорил о дурных качествах молодого художника, выказал такую радость, что наконец избавился от него, что ради императора был принужден отказаться от этого плана.

Теперь ему оставалось либо удалить Поллукса из Александрии, что, вероятно, можно было сделать с помощью разгневанного императора, либо так или иначе обезвредить его.

Один раз ему даже пришло в голову нанять какого-нибудь египетского бродягу, чтобы он прикончил Поллукса. Но Папий был мирный гражданин, которому каждое нарушение закона внушало ужас, и потому он далеко отбросил с отвращением эту мысль.

Вообще говоря, Папий не стеснялся в выборе средств. К тому же он знал людей, умел прокладывать себе дорогу через задние двери и не затруднялся смело прибегать, в случае надобности, к клевете. Этим способом он уже не раз одерживал победу над своими уважаемыми собратями по искусству. Его надежда, что ему удастся подставить ногу мало кем замеченному ученику и сделать его безвредным на все время пребывания императора в Александрии, была, конечно, не слишком смела. Он не столько ненавидел Поллукса, сколько боялся его, и не скрывал от себя, что если его козни против сына привратника не будут иметь успеха и молодому ваятелю посчастливится стать на ноги, то ничто не помешает юноше громко хвастаться тем, что он сделал для своего бывшего хозяина в последние годы.

У домика Эвфориона его внимание привлекли рабы, выносившие на улицу вещи выселяемой семьи.

Он скоро узнал, что здесь происходило, и, обрадовавшись гневу императора в отношении родителей своего

соперника, остановился и приказал одному из черных работников вызвать к нему Поллукса.

Учитель и ученик поклонились друг другу с подчеркнутой холодностью, и первый сказал:

— Ты забыл возвратить мне вещи, которые вчера, не спросив меня, взял из моей кладовой. Я требую, чтобы они были принесены сегодня же.

— Я взял их не для себя, а для того большого господина, что живет во дворце, и для его спутника. Если чего не достанет, то обратись к нему. Мне жаль, что я взял также и твой серебряный колчан. Спутник римского господина потерял его. Как только я кончу здесь дела, я принесу все, что мог сохранить из твоих вещей, и возьму свои. В твоей мастерской осталось довольно много такого, что принадлежит мне.

— Хорошо,— сказал Папий.— Я жду тебя за час до захода солнца, и тогда все должно быть приведено в порядок. Не поклонившись своему ученику, он повернулся к нему спиной и пошел во дворец.

Поллукс сказал ему, что некоторые из принадлежащих ему вещей взяты им без спроса, и в том числе одна, значительно ценная, пропала, и это обстоятельство, быть может, давало ему в руки средство обезвредить молодого ваятеля.

Он оставался во дворце не более получаса и потом отправился к начальнику ночной стражи, то есть к начальнику александрийской полиции.

Папий находился в близких отношениях с этим важным чиновником, так как сделал за умеренную цену саркофаг для его умершей жены, украшенный барельефами, алтарь для его комнаты и другие работы, и потому мог рассчитывать на его благосклонность.

От начальника ночной стражи он легко получил приказ об аресте своего помощника Поллукса, который якобы завладел его собственностью и похитил колчан из массивного серебра. Начальник полиции обещал ему прислать полицейских, чтобы отвезти преступника в тюрьму.

Папий вернулся домой с облегченным сердцем. Его ученик, окончив несложные хлопоты по переселению своих родителей, еще раз пошел во дворец и там, к своей великой радости, нашел раба Мастора, а тот немедленно принес ему костюмы и маски, которыми он накануне снабдил Адриана и Антиноя. Матор со слезами на глазах рассказал ему при этом одну печальную, очень пе-

чальную историю, которая взволновала молодого ваятеля до глубины души и заставила бы его, несмотря ни на какую опасность, вернуться во дворец, если бы его не удержала от этого необходимость отправиться в назначенный срок, до которого оставалось мало времени, к Папию и дать ему отчет в недостававших ценностях.

Наполненный только одним желанием и не думая ни о чем другом, как только о том, чтобы поскорее опять быть на Лохиаде, где в нем нуждались и куда влекло его сердце, он взял у раба узел с вещами и поспешил с ним к своему бывшему хозяину.

Папий удалил из дому всех своих подмастерьев и даже всех своих домашних. Он принял запыхавшегося Поллукса совершенно один и с ледяным спокойствием назвал вещи, которых не доставало в его гардеробной. Он требовал возвращения всех этих предметов.

— Я уже сказал тебе,— вскричал Поллукс,— что за серебряный колчан и за разорванный хитон должен отвечать не я, а знатный господин из Рима, ты ведь теперь знаешь, кто он такой!

И он начал рассказывать, как Антиной от имени своего повелителя потребовал для них обоих маски и другие принадлежности для их переодевания.

Но Папий прервал его при первых же словах и запальчиво потребовал, чтобы он возвратил колчан и лук.

Юноша, все чувства и мысли которого были прикованы к Лохиаде и который не желал быть задержанным дольше, чем это было необходимо, сначала с самой изысканной вежливостью стал просить своего бывшего хозяина отпустить его и покончить это дело с ним завтра, переговорив предварительно с римлянами, от которых он может потребовать какого угодно вознаграждения. Но так как Папий беспрестанно прерывал его и упорно настаивал на немедленном возвращении своей собственности, кровь бросилась в голову вспыльчивого художника, и он отвечал на выходки и вопросы старика очень запальчиво.

Слово за слово Папий стал говорить о людях, которые завладевают чужими серебряными вещами; и когда Поллукс возразил на это, что он со своей стороны знает других людей, которые выдают произведения более искусных художников за свои собственные, то его учитель ударил кулаком по столу, подошел к двери и, как только очутился в достаточном отдалении от сильных кулаков раздраженного юноши, закричал:

— Вор! Я покажу тебе, как в Александрии поступают с подобными тебе.

Поллукс побледнел от ярости и кинулся за убежавшим Папием, но, прежде чем он догнал его, тот успел уже скрыться от сыщиков начальника ночной стражи, дожидавшихся в передней комнате.

— Хватайте вора! Держите мошенника, укравшего мое серебро и поднявшего руку против своего учителя! Свяжите его, наденьте на него цепи и отведите в тюрьму!

Поллукс был ошеломлен. Подобно медведю, который знает, что он окружен охотниками, он остановился в нерешительности.

Кинуться ли ему на своих преследователей, чтобы повалить их на землю? Или же в бездействии дожидаться своей участи?

Он знал каждый камень в доме своего учителя. Передняя, где он находился, была, как и вся квартира Папия, на уровне с землей. В то время как полицейские подходили к нему, а его хозяин подал ликтору приказ об аресте, Поллуксу бросилось в глаза окно, выходящее на улицу. Занятый только одной мыслью — обеспечить себе свободу и тотчас же поспешить на Лохиаду, к Арсиное, он бросился к отверстию, обещавшему ему избавление, и выпрыгнул в переулок.

— Вор, вор! Держите вора! — кричали ему вслед. Огромными скачками он мчался вперед.

Подобно дождю, гонимому всеми четырьмя ветрами, его со всех сторон преследовал безумный, отвратительный, ужасный крик: «Вор! Держите вора!»

Только страстный крик его сердца: «На Лохиаду, к Арсиное! Только остаться свободным, чтобы помочь на Лохиаде!» — пересиливал голоса преследователей и гнал его по улицам, которые вели к старому дворцу.

Большими скачками мчался он все дальше и дальше. Свежее дыхание моря уже обвевало его пылавшие щеки, он был уже близко от узкого, безлюдного переулка, который, как ему было известно, вел к верфи в царской гавани, где склад высоко нагроможденного строевого леса мог скрыть его от преследователей.

Он побежал уже в сторону, чтобы скрыться там. Но тут один египтянин, погонщик быков, подставил ему палку под ноги. Поллукс споткнулся, упал и вслед затем почувствовал, как одна из собак, пущенных за ним в погоню, сорвала с него хитон, и множество людей набросились на него.

Через час после того он, израненный, разбитый, связанный по рукам и ногам, очутился в тюрьме между всякой сволочью и настоящими ворами.

Наступила ночь.

Его родители ждали его, а он не приходил. А на Лохиаде, до которой ему не удалось добраться, было достаточно горя и печали, и единственного человека, который мог бы принести утешение впавшей в отчаяние Арсиное, там не было и его нельзя было найти.

Рассказ Мастора, так глубоко взволновавший Поллукса и побудивший его к безрассудному бегству, относился к событиям, происшедшим в квартире смотрителя дворца в то время, как молодой художник помогал родителям расставить вещи в тесном помещении сестры.

Керавн, конечно, не принадлежал к числу веселых людей, однако же утром того дня, когда Сабина приезжала во дворец и выгнала привратника из домика, у него был вид человека, довольного своей судьбой.

Он уже не беспокоился о Селене. Она не была опасно больна, за ней ухаживали превосходно, и, по-видимому, дети не чувствовали ее отсутствия.

Да и сам он не желал бы, чтобы она вернулась домой в этот день. Конечно, он не признавался себе в этом, но вследствие отсутствия строгой наставницы он чувствовал себя легче и свободнее, чем прежде.

«Было бы, пожалуй, отлично,— думал он,— продолжать такую спокойную жизнь с Арсиноей и детьми».

Время от времени он с чувством удовольствия потирал руки и улыбался.

Когда старая рабыня принесла большое блюдо с печеньем, которое он велел ей купить, и поставила его возле утреннего супа детей, он так искренне захихикал, что его тучное тело все затряслось и зашаталось. И он имел основание чувствовать себя счастливым по-своему, так как богатый Плутарх ранним утром за его кубок из слоновой кости прислал ему тяжелый кошелек с золотыми монетами, а для Арсиной букет из роз. Теперь он мог побаловать своих малюток, себе самому купить обруч из чистого золота и вырядить Арсиною так прекрасно, как будто она была родной дочерью префекта.

Его тщеславие было удовлетворено.

Какой великолепный мужчина был раб, который как раз в это время с отменно-почтительным поклоном подал

ему жареную курочку и сегодня после полудня должен был сопровождать его в городской Совет! Высокий фесалиец, носивший за архидикастом бумаги в заседание суда, едва ли был величественнее, чем «собственный слуга» его, Керавна.

Он купил его еще вчера и за какую дешевую цену! Этому рослому самосцу едва ли было тридцать лет от роду. Он умел читать и писать и, следовательно, мог обучать грамоте его малюток. Он умел даже играть на лютне. Правда, на его прошлом были черные пятна, потому его и продали так баснословно дешево. Он несколько раз попадался в воровстве, но клеймо и сиңие рубцы, которые носил он на своем теле, были скрыты под новым хитоном, и Керавн чувствовал себя достаточно сильным, чтобы выгнать из него дурные повадки.

Приказав Арсиное не оставлять ничего ценного не запертым, так как новый слуга, кажется, не совсем честен, он на высказанные дочерью опасения отвечал:

— Разумеется, было бы хорошо, если бы он был так же честен, как наш старый скелет, которого я отдал за него в придачу, но я думаю так: если мой слуга и стянет у нас несколько драхм, которые мы носим при себе, то мне все-таки нет причины раскаиваться в том, что я купил его, так как вследствие его вороватости он обошелся мне на несколько тысяч драхм дешевле настоящей цены, а учитель для детей в самом худшем случае стоил бы мне больше, чем он может украсть у нас. Наше золото я запрю в сундук с папирусами. Он крепок, и, чтобы его отворить, пришлось бы прибегнуть к лому. Впрочем, парень, конечно, удержится на первое время от воровства, так как прежний его господин не принадлежал к числу кротких и, я думаю, раз навсегда выгнал из него дурные намерения. Это хорошо, что при продаже подобного молодца продавец должен заявлять о его проступках. В противном случае можно требовать возмещения убытков за все, украденное рабом. Ликофрон, конечно, ни о чем не умолчал, и, за исключением некоторой склонности к воровству, самосец, должно быть, превосходный малый во всех отношениях.

— Но, отец,— возразила Арсиноя, еще раз высказывая свое опасение,— все-таки нехорошо иметь в доме нечестного человека.

— Ты не понимаешь этого, дитя,— возразил Керавн.— Для нас жизнь и честность — понятия равнозначащие, но раб... Царь Антиох, говорят, сказал однажды, что, кто

желает, чтобы ему хорошо служили, тот должен взять к себе в услужение мошенника.

Когда Арсиноя, привлеченная песней своего милого, вышла на балкон и отец прогнал ее оттуда назад в комнату, то он не сделал ей сурового выговора; напротив он погладил ее по щеке и сказал, ухмыляясь:

— Мне кажется, что мальчишка привратника, которого я однажды уже выпроводил за дверь, ищет встречи с тобой с тех пор, как тебя выбрали для роли Роксаны. Бедняга! Мы имеем теперь в виду совсем другого жениха, моя девочка. Что, если бы богатый Плутарх прислал эти розы, чтобы приветствовать тебя не от своего собственного имени, а от имени своего сына? Я знаю, что тому очень хотелось бы женить его, но для этого разборчивого господина до сих пор ни одна из александрийских девушек не казалась достаточно красивой.

— Я не знаю его, да и он вовсе не думает обо мне, бедной девушке,— возразила Арсиноя.

— Ты думаешь? — спросил Керавн, улыбаясь.— Мы так же знатны, а может быть, даже и познатнее Плутарха, и самая красивая подходит для самого богатого. Что ты сказала бы, дитя, о длинной волнующейся пурпурной одежде, о колеснице с белыми конями и скороходами впереди?

За завтраком Керавн выпил два стакана крепкого вина, в которое позволил Арсиное влить только несколько капель воды.

В то время как Арсиноя завивала ему волосы, в комнату влетела ласточка. Это было счастливое предзнаменование, которое подняло дух зрителя.

В великолепном наряде и с туго набитым кошельком, он только что собирался выйти, чтобы отправиться в заседание Совета в сопровождении своего нового раба, когда тот ввел в комнату портного Софилла с его помощницей.

Софилл просил позволения примерить его дочери костюм Роксаны, заказанный для нее супругой префекта.

Керавн принял его с величественным снисхождением и позволил ему ввести с собой и раба, который нес за ним большой узел с платьями.

Позвали Арсиною, находившуюся при детях.

Она почувствовала смущение и беспокойство и охотно предоставила бы свою роль какой-нибудь другой девушке, но все-таки ее очень привлекали новые наряды.

Портной попросил Арсиною, чтобы она приказала своей служанке одеть ее. Его помощница, говорил он, будет присутствовать при этом, так как платья, сметанные по камест наскоро, выкроены не по простому греческому, а по азиатскому образцу.

— Твоя горничная,— сказал он в заключение, обращаясь к Арсиное,— еще сегодня может научиться, как она должна одевать тебя, когда наступит великий день.

— Горничной моей дочери нет дома,— возразил Керавн, хитро подмигнув Арсиное.

— О, мне не нужно никакой помощи! — вскричала закройщица.— Я искусна также в причесывании волос и охотно помогу такой красивой девице.

— И работать на нее — наслаждение,— прибавил Софилл.— Другие становятся красивыми благодаря одеж-дам, которые они носят, а твоя дочь украсит сама все, что бы она ни надела.

— Ты вежливый человек,— заметил Керавн, между тем как Арсиноя удалилась с помощницей портного.

— Общаясь с большими господами, учишься многому,— отвечал Софилл.— Знатные госпожи, оказывающие честь своими заказами, желают не только видеть, но и слышать, что они нравятся. К сожалению, между ними есть и такие, которых боги скудно одарили прелестями, и они-то именно и желают слышать самые льстивые слова. Бедный радуется больше богатого, когда его считают человеком со средствами.

— Хорошо сказано! — вскричал Керавн.— Я сам не очень богат для моего происхождения и не тягочусь тем, что живу по своим средствам, а все-таки моя дочь...

— Госпожа Юлия выбрала для нее самые дорогие материи, как и следовало, как подобает для такого случая,— сказал портной.

— Совершенно верно, однако же...

— Что, господин?

— Однако же празднество пройдет, а моя дочь, теперь уже взрослая девушка, должна являться и дома, и на улице в приличных, красивых, хотя бы и не очень дорогих платьях.

— Я уже сказал, что истинная прелесть не нуждается в пышных нарядах.

— Не согласишься ли ты работать для нее и за более умеренные цены?

— С радостью. Я и без того обязан тебе благодар-

ностью, потому что все будут удивляться ей в роли Роксаны и будут спрашивать о ее портном.

— Ты человек, мыслящий правильно. Сколько ты потребовал бы за одно платье?

— Об этом мы можем поговорить после.

— Нет, нет, убедительно прошу тебя...

— Позволь мне сначала подумать о твоём предложении. Шить простые платья труднее, гораздо труднее, и они идут к красавицам лучше, чем пышные, парадные одеяния. Но пусть кто-нибудь попробует втолковать это женщинам! Многие из них ездят в своем экипаже, носят богатые платья и драгоценные камни, чтобы прикрыть ими не только свое тело, но и растраченное благосостояние своего дома.

Такие разговоры вели между собой Керавн и портной. В это время его помощница обвивала волосы Арсиной нитками поддельного жемчуга, которые она принесла с собой, и прилаживала к ней, зашпиливая, дорогие желтые и голубые одежды азиатской царевны.

Арсиноя сначала держалась тихо и застенчиво. У нее не было уже особенной охоты наряжаться для других людей, кроме Поллукса. Но приготовленные для нее платья были так прекрасны, и закройщица так умела выделить все красоты ее фигуры!

Усердно занятая своим делом, ловкая мастерица бросала разные веселые шутки, с ее губ срывались временами слова восторженного удивления; скоро увлеклась и Арсиноя и с удовольствием приняла участие в работе закройщицы.

Каждый куст, который весна украшает цветами, как будто радуется; так же и эта наивная девушка, разряженная так великолепно, радовалась теперь своей собственной красоте и прекрасным вещам, в которых она нравилась себе сверх всякой меры.

Арсиноя то хлопала в ладоши, то приказывала подать себе зеркало и с детской непринужденностью выражала свое удовольствие, любуясь своими дорогими нарядами и собственной, самое ее изумляющей красотой.

Портниха восхищалась, гордилась, радовалась вместе с ней и не могла удержаться, чтобы не запечатлеть поцелуй на белой, красиво округленной шейке прелестной девушки.

«Если бы Поллукс мог видеть меня такой! — подумала Арсиноя.— Может быть, после представления мне удастся показаться и Селене в моем наряде, и тогда она,

конечно, примирится с моим участием в этом зрелище. Иметь такой красивый вид — это все-таки радость!»

Во время ее одевания все дети окружили ее и громко кричали от восторга каждый раз, когда на сестру надевали какую-нибудь новую часть ее царственного убранства.

Слепой Гелиос просил у нее позволения потрогать ее платье, и Арсиноя, убедившись, что его ручонки чисты, провела ими по глянцевиной шелковой материи.

Теперь она была готова, и можно было позвать портного и отца.

Она чувствовала себя очень счастливой. Выпрямившись, как настоящая царская дочь, но с боязливо трепещущим сердцем, как бедная девушка, которой предстоит показать тысячам устремленных на нее глаз свою скрытую до сих пор красоту, выхоленную в родительском доме, она пошла в жилую комнату; но, протянув руку к ручке двери, она тотчас же отняла ее, так как услышала голоса нескольких мужчин, которые, должно быть, только что вошли к ее отцу.

— Подожди еще немножко, к нам кто-то пришел, — сказала она шедшей за нею помощнице портного и приложила ухо к двери, чтобы прислушаться к голосам.

Сначала она не поняла ничего из того, что слышала: но конец странного разговора в комнате был так ужасно понятен, что она не могла бы забыть его до конца дней.

Отец Арсинон заказал Софиллу два новых платья для нее, согласился на цены портного и обещал ему скоро заплатить. В это время в квартиру смотрителя дворца вошел Мастер и объявил Керавну, что его господин и продавец художественных произведений Габиний из Никен желают с ним говорить.

— Твой господин может войти, — отвечал гордо Керавн. — Я полагаю, что его мучит несправедливость, которую он совершил в отношении меня; но Габиний не переступит этого порога, так как он мошенник.

— Будет хорошо, если ты попросишь вон того человека оставить тебя теперь, — продолжал раб, указывая на портного.

— Кто приходит ко мне, — надменно отвечал Керавн, — тот должен примириться с тем, что он может встретить у меня каждого, кому я позволяю входить в мой дом.

— Нет, нет, — настойчиво убеждал раб, — мой господин — особа более важная, чем ты думаешь. Попроси этого человека уйти.

— Я уже знаю, знаю это,— возразил Керавн, улыбаясь.— Твой господин — знакомый императора. Вот мы и увидим, кому из нас двоих окажет Адриан предпочтение после представления, которое мы устраиваем. У этого превосходного портного здесь есть дело, и он останется у меня. Сядь там в углу, друг мой.

— Портной! — вскричал Мастор в ужасе.— Говорю тебе, он должен удалиться.

— Должен?—спросил Керавн с гневом.—Раб осмеливается распоряжаться в моем доме? Мы еще посмотрим.

— Я уйду,— прервал Керавна благоразумный ремесленник.— Здесь не должно происходить спора из-за меня. Через четверть часа я приду опять.

— Ты останешься,—приказал Керавн.—Дерзкий римлянин воображает, что Лохиада принадлежит ему, но я ему покажу, кто здесь господин.

Мастор, однако, не смутился от этих слов, высказанных повышенным голосом. Он схватил портного за руку, повел его за собой вон из комнаты и прошептал ему:

— Иди за мной, если хочешь избежать неприятностей.

Оба удалились, и Керавн не задерживал портного, так как ему пришло в голову, что присутствие ремесленника принесло бы ему мало чести.

Он вздумал показать себя надменному архитектору во всем своем достоинстве и сообразил, что было бы неблагоприятно без нужды раздражать этого страшного бородатого человека с большой собакой.

Взволнованный и не без опасений, он начал ходить взад и вперед по комнате. Чтобы ободрить себя, он быстро наполнил стакан вином из стоявшей на столе кружки, осушил его, наполнил снова, выпил опять, не разбавляя вина водой, и затем, с покрасневшими щеками и скрестив руки, стал ожидать своего противника.

Император вошел в комнату вместе с Габинием.

Керавн ждал его приветствия, но Адриан не сказал ни слова, бросил на него полный презрения взгляд и прошел мимо, не обращая больше на него никакого внимания, как будто перед ним был столб.

Кровь ударила в голову зрителя, и он напрасно искал слова, чтобы выразить свое негодование.

Габиний обращал на Керавна так же мало внимания, как и Адриан. Он шел впереди императора и остановился перед мозаикой, за которую предлагал такую боль-

шую сумму и из-за которой он несколько дней назад был довольно грубо выпровожен зрителем, и сказал:

— Прошу тебя посмотреть на это образцовое произведение.

Император посмотрел на пол, но едва он начал углубляться в созерцание картины, великие красоты которой умел оценить вполне, как позади него раздались произнесенные с усилием и хриплым голосом слова Керавна:

— В Александрии здороваются с людьми, к которым... к которым приходят в гости.

Адриан лишь наполовину повернул голову к говорившему и сказал как бы в пространство с глубоким, обидным презрением:

В Риме тоже здороваются с честными людьми.— Затем он опять начал рассматривать мозаику и сказал:— Великолепно, превосходно! Ценное произведение!

Глаза зрителя вылезли из орбит при ответе императора. Красный, как вишня, с бледными губами, он подошел к Адриану и, с трудом переведя дух, спросил:

— Что значит... что могут значить твои слова?

На этот раз Адриан быстро и окончательно повернулся к зрителю дворца.

В его глазах горело то уничтожающее пламя, выносить которое могли только немногие, и его мощный голос загремел в комнате, когда он вскричал:

— Мои слова значат, что ты управитель нечестный; что я узнал, как ты обращаешься с порученным твою попечению имуществом; что ты...

— Что я? — спросил Керавн, дрожа от бешенства и подступая к императору.

— Что ты...— вскричал последний ему в лицо,— что ты хотел продать вот этому человеку ту картину на полу; что ты,— узнай уж все за один раз,— что ты дурак и к тому же еще мошенник!

— Я, я...— прохрипел Керавн и ударил пальцами по мускулам своей мясистой груди,— я мош... ты заплатишь мне за эти слова!

Адриан холодно и иронически засмеялся, а Керавн с неслыханной для его тучности быстротой кинулся к Габинию, вцепился рукой в ворот его хитона и начал трясти тщедушного, как тонкое деревце, человека, хрипя:

— Я отомщу тебе за твою клевету, злобная гадина!

— Безумный! — вскричал Адриан.— Оставь лигурийца в покое, или, клянусь собакой, ты раскаешься.

— Раскаюсь? — проговорил Керавн,— Не мне, а тебе

придется раскаяться, когда император будет здесь. Тогда произойдет расчет с клеветниками, с бессовестными нарушителями домашнего мира, с легковерными простаками...

— Человек,— прервал его Адриан, не горячась, но строго и грозно,— ты не знаешь, с кем говоришь.

— О, я знаю тебя, знаю слишком хорошо... Но я... я... Должен ли я тебе сказать, кто я?

— Ты дурак,— отвечал император, презрительно пожимая плечами. Затем он холодно, величаво и почти равнодушно прибавил: — Я император.

При этом заявлении рука зрителя выпустила хитон полузадушенного Габиния.

Несколько мгновений Керавн безмолвно, вытаращив глаза, смотрел Адриану в лицо. Затем он вдруг вздрогнул, отшатнулся назад, испустил громкий, задыхающийся, непередаваемый гортанный крик и, подобно тяжелому камню, обрушившемуся от землетрясения, навзничь повалился на каменный пол.

Адриан вздрогнул и, видя, что Керавн лежит у его ног неподвижно, наклонился над ним не столько из сострадания, сколько для того, чтобы посмотреть, нельзя ли еще чем-нибудь помочь. Ведь император занимался, между прочим, и врачебным искусством.

В то время как он поднял руку Керавна, чтобы пощупать его пульс, в комнату вбежала Арсиноя.

Она подслушала последние слова споривших и услышала падение отца. Теперь она кинулась к несчастному и склонилась над ним.

Когда она увидела обезображенное, посиневшее лицо отца, она разразилась громкими, прерывистыми воплями.

Малыши следовали за нею по пятам и, услышав, что их любимая сестра рыдает, тоже ударились в плач, сначала не зная причины ее рыданий, а затем от страха перед искаженным, окоченевшим телом отца.

Императору, никогда не имевшему детей, было невыносимо присутствие плачущих детей. Однако же он переносил окружающие его вопли и визг, пока не убедился, что лежавший перед ним человек мертв.

— Он умер,— сказал он через несколько минут.— Накрой ему лицо платком, Мастер.

Арсиноя и дети громко завопили снова, и Адриан бросил на них нетерпеливый взгляд.

Его глаза встретились с глазами Арсинои, дорогие

одежды которой были только сметаны; при ее порывистых движениях швы распустились, и платье, подобно лоскутьям и тряпкам, болталось на ней в беспорядке. Возмущенный этим легкомысленным пестрым нарядом, находившимся в таком бьющем в глаза противоречии с горем его обладательницы, он отвернулся от прекрасной девушки и вышел из комнаты.

Габиний последовал за ним с противной улыбкой.

Он сам рассказал императору об имевшейся в жилище зрителя дворца мозаике и при этом хотел похвастаться своей честностью, нагло обвиняя Керавна в том, что он предлагал ему эту картину, принадлежавшую дворцу.

Теперь оклеветанный был мертв, и правда не могла уже обнаружиться. Это должно было радовать негодяя, но еще большую радость доставляла ему мысль, что Арсиноя теперь уже не могла выступить в роли Роксаны, и ему представлялась возможность устроить так, чтобы эта роль была передана его дочери.

Адриан шел впереди его молча и задумчиво.

Габиний вошел с ним в его рабочую комнату и там елевым тоном сказал:

— Да, великий цезарь, так боги строгой рукой карают преступников.

Император дал ему договорить, проницательно и пылливо посмотрел ему в лицо и затем сказал серьезным и спокойным тоном:

— Мне кажется, я сделаю хорошо, если прерву всякие отношения с тобой и передам другим продавцам поручения, которые я думал дать тебе.

— Государь,— пробормотал Габиний,— я, право, не знаю...

— Но я, как мне кажется, знаю,— прервал его император,— что ты пытался ввести меня в заблуждение и свалить свою собственную вину на чужие плечи.

— Великий цезарь, я... я мог бы...— говорил лигуриец; его худое лицо начало покрываться смертельной бледностью.

— Ты обвинил зрителя в дурном поступке,— возразил Адриан.— Но я знаю людей и знаю также, что еще ни один вор не умер оттого, что его называли мошенником. Только незаслуженный позор может причинить смерть.

— Керавн был полнокровен, и страх, когда он узнал, что ты император...

— Этот страх, может быть, ускорил его конец,— пре-

рвал его Адриан.— Но мозаика в его квартире стоит миллион сестерций, и теперь, когда я посмотрел тебе прямо в глаза, я знаю, что ты не такой человек, чтобы не соблазниться, когда тебе, все равно при каких обстоятельствах, предлагают для покупки такое произведение, как эта картина. Если я не ошибаюсь, то Керавн отверг твое предложение уступить тебе находящееся в его квартире сокровище. Наверное, так оно и было! Теперь оставь меня. Я хочу остаться один.

Габиний с множеством поклонов, пятясь задом, пошел к двери и затем, бормоча про себя бессильные проклятия, вышел из Лохиадского дворца.

Новый слуга смотрителя, старая негритянка, Мастор, портной и его раб помогли Арсиное уложить тело отца на ложе. Раб закрыл Керавну глаза.

Он был мертв. Все говорили это несчастной девушке, но она не могла поверить.

Когда она осталась одна со старой рабой и умершим, она подняла его тяжелую, негибавшуюся руку, и, как только выпустила ее, рука упала вниз, подобно свинцовой гире.

Она приподняла платок с лица усопшего, но тотчас же набросила его опять, так как смерть ужасно исказила черты покойника.

Затем она поцеловала его холодную руку, подвела к нему детей, велела им сделать то же и сказала:

— Теперь у нас нет больше отца; мы его никогда уже не увидим, никогда!

Слепой Гелиос ощупал тело и спросил сестру:

— Разве он не проснется завтра утром, не даст тебе завить ему волосы и не будет поднимать Гелиоса высоко вверх?

— Никогда, никогда! Для него все миновало, все, все!

При этой жалобе в комнату вошел Мастор, присланный императором.

Вчера он из уст надсмотрщика над каменщиками услышал весть, что после страдания и скорби здесь, на земле, наступает для человека более прекрасная, блаженная и вечная жизнь.

Он подошел к Арсиное и сказал:

— Нет, нет, дети, после смерти мы сделаемся прекрасными ангелами с пестрыми крыльями, и все, те, кто любил друг друга на земле, снова соединяются у бога на небе.

Арсиное с укором посмотрела на раба и возразила;

— К чему обманывать детей сказками? Отец умер, его нет, но мы постараемся никогда не забыть его.

— Есть ли какой-нибудь ангел с красными крыльями? — спросила самая младшая дочь умершего.

— Я хочу быть ангелом! — вскричал слепой Гелиос, всплеснув руками. — Могут ли ангелы видеть?

— Да, милый мальчик, — отвечал Мастор, — и их глаза особенно ясны, и то, что они увидят, будет чудно, прекрасно.

— Да оставь же эти христианские фантазии, — просила Арсиноя. — Ах, дети, когда тело нашего отца будет сожжено, то у нас не останется ничего, кроме горсти серого пепла.

Мастор взял маленького слепца на руки и с уверенностью прошептал ему на ухо:

— Поверь мне, ты увидишь его снова на небе!

Затем он снова поставил малютку на ноги и подал Арсиное от имени императора кошелек с золотыми деньгами, прося ее — этого требовал его повелитель — искать себе новое убежище и, после сожжения умершего, которое должно было произойти на другой день, оставить вместе с малютками Лохиаду.

Когда Мастор удалился, Арсиноя отворила сундук, где вместе с папирусами ее отца хранились деньги, уплаченные Плутархом за кубок из слоновой кости, положила туда тяжелый кошелек императора и, проливая слезы, подумала, что теперь она и дети обеспечены от нужды по крайней мере на первое время.

Но куда деваться с малютками? Где могла она рассчитывать тотчас же найти убежище для себя и для них? Что станет с ними, когда будет растрачено все, что у них есть?

Благодарение богам! Она не одинока. У нее есть друзья! Она может найти у Поллукса покровительство и любовь, у Дориды — материнский совет. Она не совсем покинута и скоро, скоро может выплакаться на груди у милого!

Она быстро осушила слезы и переменяла свой наряд на темное платье, в котором обыкновенно ходила в папирусную мастерскую. Сняв с себя также и жемчужные нити, обвивавшие ее прекрасные волосы, она вышла на двор и направилась к домику привратника.

Она была уже в нескольких шагах от него. Почему же грации не бросаются к ней навстречу? Почему она не видит уже ни цветов, ни птиц на окнах? Не ошибается

ли она, не грезит ли, не злые ли духи опрокинули все ввѣрх дном?

Дверь милого, уютного домика была отворена настежь, жилая комната совсем пуста. Ни одной вещи, ни одного листка, упавшего с цветочных подставок, не было на полу; Дорида по своей привычке к чистоте так тщательно вымела немногие комнаты, где она мирно прожила до седин, как будто завтра она должна была въехать туда снова.

Что же случилось здесь? Куда девались друзья Арсиной?

Ею овладел огромный страх; она почувствовала всю горечь одиночества; и когда она опустилась на каменную скамью, стоявшую перед домом привратника, чтобы дожидаться его обитателей, — ведь они должны же были вернуться! — то слезы вновь наполнили ее глаза.

Она все еще сидела там и думала о Поллуксе и о блаженном утре прошлого дня, когда к оставленному домику подошла толпа каменщиков.

Десятник, шедший впереди них, потребовал, чтобы она оставила скамью, так как маленькое строение должно быть снесено, что привратник и его жена выгнаны, уволены с должности и перебрались со всем имуществом.

Куда отправились Дорида и ее сын — этого никто не знал.

При этом известии Арсиноя почувствовала себя в положении моряка, судно которого налетело на скалу и который с ужасом видит, как доски и балки ломаются и расходятся под ним.

Как всегда в тех случаях когда она чувствовала себя слишком слабой для того, чтобы обойтись без чужой помощи, она прежде всего подумала о Селене и решила поспешить к ней, чтобы спросить, что ей теперь предпринять и что должно произойти теперь с ней и с детьми.

Начало уже смеркаться.

Быстрыми шагами, время от времени утирая пеплу-мом слезы, она поспешила домой, чтобы взять покрывало, без которого никогда не отваживалась выходить так поздно на улицу.

На лестнице, с которой молосская собака сбросила ее сестру, она встретила какого-то поспешно идущего человека. В полутьме он показался ей похожим на раба, которого вчера купил ее отец, но она не обратила на него внимания, так как голова ее была наполнена совсем другими мыслями,

В кухне перед горящей лампой сидела старая негрятянка, окруженная детьми. У очага расселись хлебопек и мясник, которым ее отец был должен изрядную сумму. Они явились с требованием уплаты, так как печальные вести летят быстрее веселых, и они уже узнали о смерти смотрителя Лохиадского дворца.

Арсиноя велела подать лампу, попросила торговцев подождать, направилась в жилую комнату и вошла в нее с некоторым страхом перед трупом человека, которого она всего несколько часов назад гладила по щеке, ласково заглядывая ему в глаза.

Как была рада она возможности уплатить долги умершего и спасти его честное имя! Она с уверенностью достала из кармана ключ и подошла к сундуку.

Но что же это такое? Она хорошо помнила, что заперла сундук на замок перед тем, как вышла из дому, а он стоял теперь открытый. Отброшенная верхняя доска висела вкось на одной петле; другая была сломана.

Лампа дрожала в ее руке, когда она склонилась над сундуком, предназначенным для хранения всего, что она имела. Там лежали старые папирусы, тщательно уложенные один возле другого, но оба кошелька с золотом Плуларха и императора исчезли.

Она подняла один за другим свитки папируса. Затем выбросила их все из сундука, так что дно ящика обнажилось совсем, но золота там не было.

Новый раб взломал крышку сундука и украл все имущество сирот человека, который взял его в дом для удовлетворения своего тщеславия.

Арсиноя громко вскрикнула, позвала к себе двух кредиторов, рассказала им о случившемся и умоляла их преследовать вора. Видя, что они недоверчиво пожимают плечами, она поклялась, что говорит правду, и обещала им, поймают ли они раба, или нет, заплатить нарядами своими и своего покойного отца.

Она знала имя работорговца, у которого Керавн купил нового раба, и сообщила его встревоженным кредиторам. Они наконец оставили ее, чтобы немедленно преследовать убежавшего вора.

Арсиноя снова осталась одна. Без слез, но дрожа от озноба, едва владея своими мыслями от беспокойства и волнения, она схватила покрывало, набросила его на голову и побежала через двор и по улицам к своей сестре.

Да, несомненно, добрые духи исчезли из дворца со времени появления Сабины на Лохиаде.

В совершенно темном месте у садовой стены стоял философ-киник, который так неласково встретил Антиноя, и тихим голосом горячо возражал на упреки другого человека, который, подобно ему, был покрыт разорванным плащом, носил нищенскую суму и, по-видимому, принадлежал тоже к числу киников.

— Не отрицай того,— говорил этот последний,— что ты приверженец христиан.

— Да выслушай же меня,— настойчиво упрашивал другой.

— Мне нет надобности ничего выслушивать, так как я вижу вот уже десятый раз, что ты прокрадываешься в их собрания.

— Да разве я отрицаю это? Разве я не признаюсь откровенно, что ищу истину везде, где вижу хоть слабое мерцание надежды найти ее?

— Как тот египтянин, который хотел поймать чудесную рыбу и наконец закинул свою удочку в песок?

— Человек поступил разумно.

— Вот тебе и на!

— Какая-нибудь чудесная вещь находится не там, где все ищут ее. Гоняясь за истиной, мы не должны бояться и болота.

— А христианское учение, вероятно, и есть такая трясина.

— Пожалуй, называй его так, если хочешь.

— В таком случае берегись, чтобы не увязнуть в ней.

— Я буду беречься.

— Ты недавно говорил, что между ними есть и хорошие люди.

— Да, некоторые. Но другие! Вечные боги!.. Простые рабы, нищие, обедневшие ремесленники, мелкий люд, неучи, не философские головы и, кроме того, множество женщин!

— Так избегай их!

— Именно тебе не следовало бы давать мне такой совет.

— Что ты хочешь этим сказать?

Первый подошел ближе к своему товарищу и шепотом спросил его:

— Откуда же, по твоему мнению, я беру деньги, которые плачу за нашу еду и за наше жилище?

— Пока ты не крадешь их, это для меня безразлично.

— Когда они выйдут у меня, ты спросишь же об этом?

— Конечно, нет. Мы добиваемся добродетели и де-

лаем все, чтобы сделаться независимыми от природы и ее требований. Но, разумеется, она нередко заявляет свои права. Ну, так развяжи язык. Откуда ты берешь деньги?

— Вон у тех, что там внутри, деньги не держатся в кошельке. Помогать бедным — это их обязанность и несомненно их удовольствие. Таким образом, они дают мне каждую неделю несколько драхм для моего нуждающегося брата.

— Тьфу! Да ведь ты единственный сын своего покойного отца.

— «Все люди — братья», говорят христиане, — следовательно, я имею право называть тебя моим братом, не прибегая ко лжи.

— Ну, так иди туда, если хочешь, — засмеялся другой, ударив своего товарища по плечу. — Не пойти ли и мне с тобой к христианам? Может быть, они и мне будут выплачивать недельный паек для моего голодающего брата, и тогда у нас будет двойной обед.

Киники громко засмеялись и разошлись в разные стороны. Один пошел обратно в город, а другой — в сад христианки-вдовы. Арсиноя вошла туда раньше нечестного философа и направилась в дом вдовы Анны.

Чем ближе приближалась она к своей цели, тем с большей озабоченностью старалась подумать, каким образом, не пугая больной сестры, сообщить ей о страшных событиях, о которых Селена все равно должна будет когда-нибудь узнать. Ее беспокойство было чуть меньше ее печали.

Когда она вспомнила о последних днях и о разных происшествиях, которые они принесли с собой, то ей казалось, что она стала причиной несчастья своей семьи.

Пока она шла к Селене, она не могла пролить ни одной слезы, но часто тихо стонала. Одна женщина, которая некоторое время шла рядом с ней, подумала, что девушка, должно быть, чувствует какую-нибудь сильную боль, и, когда Арсиноя обогнала ее, она посмотрела ей вслед с искренним сожалением: стоны этого одинокого существа звучали так жалобно.

Один раз Арсиноя остановилась посреди дороги и подумала, вместо того чтобы обратиться за советом к Селене, просить помощи у Поллукса. Мысль о возлюбленном настойчиво примешивалась к ее горю, заботам и к упрекам самой себе, и к ее смутным планам, которые она,

не привыкшая к серьезным размышлениям, пыталась начертать для будущего.

«Поллукс добр и, наверное, готов будет помочь», — думала она; но девическая робость удержала ее от посещения его в такое позднее время; да и как она могла найти его и его родителей?

Местопребывание сестры было ей известно, и никто не мог лучше умной Селены обсудить их положение и дать ей более разумный совет.

Поэтому она не повернула назад, а поспешила к цели и теперь стояла перед домиком в саду.

Не отворяя двери, она еще раз подумала о том, как ей подготовить Селену к ужасным вестям и сообщить их ей. При этом все случившееся вновь возникло в ее уме с полной ясностью, и она снова заплакала.

Впереди и позади нее шли в сад вдовы Пудента, поодиночке, по двое и более многочисленными группами, мужчины и закутанные женщины.

Они шли сюда из мастерских и канцелярий, из маленьких домиков в соседних переулках и из самых больших и великолепных домов на главной улице. Каждый из них, — богатый купец или раб, который едва ли мог назвать своей собственностью грубый балахон или бедный передник, бывший на нем, — шел серьезно, с видом какого-то достоинства. Один, встречая за воротами другого, приветствовал его как друга. Господин со слугой, раб с хозяином обменивались братским поцелуем, так как община, к которой они принадлежали все, представляла собой как бы одно тело, оживленное духом Христа, тело, в котором каждый член должен был считаться равноценным другому, как бы ни были различны их духовные или телесные дарования и их имущественное положение. Перед Богом и Спасителем богатый судовладелец и седобородый ученый мудрец стояли не выше беззащитной вдовы и невежественного, искалеченного раба.

По воскресеньям все христиане без исключения собирались для Божественной службы. Сегодня, в среду, каждый, кто мог и кто желал, явился в загородный дом Павлины для братской трапезы. Сама она жила в городе и предоставила в распоряжение единоверцев своего квартала огромную парадную залу, которая могла вместить несколько сотен человек.

Сама Божественная служба отправлялась утром. По окончании дневной работы христиане собирались

у одного стола, чтобы трапезовать вместе, а в иные положенные сроки, чтобы причаститься.

После заката солнца приходили для совещания старейшины, дьяконы и дьяконицы общины, большинство которых весь день были заняты различными мирскими профессиями.

Павлина, вдова Пудента, сестра архитектора Понтия, была богатой женщиной и предусмотрительной хозяйкой, не считавшей себя вправе в значительной степени умалять долю наследственного имущества, принадлежавшую ее сыну. Ее сын, участник в торговле своего дяди, жил в Смирне и избегал Александрии, потому что ему не нравились сношения его матери с христианами. Павлина заботливо остерегалась трогать предназначенный для него капитал и не позволяла себе тратить на угощение своих единоверцев больше, чем это стоило другим богатым членам общины, собиравшейся в ее доме. Богатые приносили с собой больше, чем нужно было для них самих; бедные были всегда желанными гостями и не тяготились благодеянием, которым они пользовались, так как им часто говорили, что их хозяин не какой-нибудь человек, а Спаситель, который призывает к себе, как гостя, каждого, кто с верой следует за ним.

Приближался час, в который вдова Анна должна была идти на собрание своих единоверцев. Она не имела права отсутствовать, так как принадлежала к числу дьякониц, которым вверены были раздача милостыни и уход за больными.

Без шума приготавливалась она к выходу, осторожно поставила лампу позади кувшина с водой, чтобы она не светила Селене в глаза, и попросила Марию аккуратно давать больной лекарство.

Она знала, что Селена вчера пыталась лишиться себя жизни, и подозревала причину этого поступка, но не спрашивала ее, стараясь по возможности не беспокоить больную, которая много спала или грезила с открытыми глазами.

Старый врач дивился ее крепкой натуре, так как после падения в воду лихорадка исчезла, а состояние поврежденной ноги только немного ухудшилось.

Анна могла надеяться, что Селена скоро поправится, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство не задержит ее выздоровления. Для предотвращения подобной случайности несчастную никогда не следовало оставлять в одиночестве, и Мария охотно переселилась к прия-

тельнице, чтобы заменять ее каждый раз, когда той нужно будет выйти из дому.

Собрание старейшин и попечителей о бедных уже началось, когда вдова Анна взяла табличку, на которой было записано, сколько она в последнюю неделю раздала нуждающимся из вверенной ей суммы.

Она простилась с больной и с Марией ласковым взглядом и шепнула последней:

— Я вспомню о тебе в своей молитве, верная душа. В шкафчике ты найдешь кое-что для утоления голода. Там лежит мало припасов, так как теперь нужно экономить; последнее лекарство стоило так дорого.

В маленькой прихожей горел светильник, который Мария зажгла, как только наступили сумерки. Вдова остановилась перед ним и подумала: не следует ли погасить его для сбережения масла.

Она уже схватила щипцы, висевшие на ручке светильника, чтобы потушить пламя, когда услышала легкий стук в дверь своего домика. Прежде чем она успела спросить, кто так поздно является в дом, дверь отворилась, и Арсиноя вошла в прихожую.

Ее глаза были все еще полны слез, и она с трудом нашла слова для ответа на приветствие Анны.

— Что с тобой случилось, дитя мое? — спросила встревоженная христианка, заметив при свете светильника печальное выражение лица и заплаканные глаза молодой девушки.

Арсиноя несколько мгновений не отвечала. Наконец она собралась с духом и воскликнула сквозь слезы:

— Ах, госпожа Анна, теперь все кончено: наш отец, наш бедный отец...

Вдова догадалась, какой удар постиг сестер, и, боясь за Селену, прервала жалобы Арсиной:

— Тише, тише, дитя мое! Селена не должна тебя слышать. Выйди со мной на двор, там расскажешь мне все.

Перед дверью дома Анна обняла Арсиною, привлекла ее к себе, поцеловала в лоб и сказала:

— Теперь говори и доверь мне все. Представь себе, что я твоя мать или сестра. Ведь бедная Селена еще слишком слаба для того, чтобы помочь тебе или дать какой-нибудь совет. Что случилось с вашим отцом?

— С ним сделался удар, он умер, умер! — жаловалась девушка.

— Бедная, милая сирота! — сказала Анна сдержанным голосом и крепко сжала Арсиною в объятиях.

Некоторое время она позволила девушке тихо выплакаться на ее груди, затем сказала:

— Дай мне руку, дочь моя, и расскажи, каким образом могло это случиться так неожиданно. Твой отец был вчера еще совсем здоров, и вдруг... Да, девушка, жизнь — серьезная вещь. И вам пришлось узнать это в юные годы. Я знаю, что у вас еще пять младших сестер и брат, и, может быть, вы скоро почувствуете недостаток в самом необходимом; это не порок. Я, конечно, еще беднее вас, однако же надеюсь с Божьей помощью подать вам совет и, может быть, даже помочь вам. Я сделаю все, что могу, но прежде я должна знать, в каком положении находятся ваши дела и в чем вы нуждаетесь.

В голосе христианки было так много ласки, так много утешительного и обнадеживающего, что девушка охотно исполнила ее требование и начала рассказывать.

Сначала гордость не позволяла ей признаться, что они бедны и лишены всяких средств к существованию, но, когда Арсиноя заметила, что вдова догадалась о несчастье, постигшем ее семью, и что было бы бесполезно скрывать от нее, в каком положении находится она с детьми, то отдалась все более возраставшему порыву облегчить свою душу признанием и рассказала своей внимательной слушательнице все.

Вдова осведомлялась о каждом ребенке в отдельности и наконец спросила: кто присматривает за детьми?

Узнав, что старая рабыня, которой вверено попечение о них, женщина болезненная и полуслепая, Анна задумчиво покачала головой и сказала решительно:

— Тут необходима быстрая помощь. Тебе нужно будет поскорее вернуться к малюткам. Твоя сестра еще не должна ничего знать о смерти вашего отца. Когда вы будете в некоторой степени обеспечены, мы постепенно подготовим ее к известию о случившемся. Теперь иди за мной; Господь привел тебя сюда как раз вовремя.

Вдова Анна повела Арсиною в загородный дом Павлины, и там прежде всего они вошли в небольшую, примыкавшую к передней комнату, где дьяконицы обыкновенно снимали свои покрывала, а в зимние вечера свои теплые накидки. Там девушка была одна и была избавлена от назойливых вопросов, которые были бы для нее тягостны.

Анна попросила Арсиною дожидаться ее здесь и тотчас пошла к другим дьяконицам.

Она должна была при этом пройти через комнату, где происходило совещание старейшин и дьяконов.

Епископ в качестве председателя сидел на высоком стуле возле пресвитеров, во главе продолговатого стола; справа и слева от него помещалось несколько престарелых мужчин. Некоторые из них, по-видимому, были еврейского и египетского, но большинство эллинского происхождения. Отличительной особенностью последних, бросающейся в глаза, был высокий лоб, а у первых — сверкающий, вдохновенный взгляд.

Анна с почтительным поклоном прошла мимо мужчин и направилась в соседнюю комнату, где находились дьяконицы, так как женщинам не позволялось присутствовать в совете старейшин.

Как только дверь за Анной затворилась, епископ, красивый старик с белой густой бородой, встал, несколько мгновений смотрел кроткими глазами на кончики своих поднятых пальцев и затем на слова пресвитера, предлагавшего крещение нескольких лиц, посвященных в учение христианской веры, отвечал так:

— Большинство из предложенных тобой катехуменов¹ несомненно верные приверженцы Спасителя. Они веруют в Него и любят Его. Но достигли ли они той степени святости, того возрождения всего своего существа, которое одно дает нам право принять их посредством крещения в число агнцев Доброго Пастыря? Будем остерегаться шелудивых овец, которые губят целое стадо! В последние годы не было недостатка в людях, которых мы приняли в свою среду, но которые, однако же, принесли христианам дурную славу. Должен ли я указать вам на примеры? В Ракотиде был один египтянин. Казалось, немногие так искренне молились, так пламенно добивались прощения своих грехов, как он. Он мог поститься много дней сряду, но, получив крещение, он немедленно обокрал со взломом лавку золотых дел мастера. Его приговорили к смертной казни, и перед своей кончиной он прислал за мной и признался мне, что в прежние годы осквернил свою душу хищением и многократным убийством. Он надеялся получить отпущение грехов крещением — погружением в воду, а не глубоким раскаянием, не с помощью возрождения для чистой и святой жизни. Свое новое преступление он совершил со спокойным духом, так как был уверен, что и на этот раз сможет рассчитывать на не оскудевающее никогда милосердие нашего Спасителя. Другие, узнав об омовени-

ях, которым подвергаются у нас люди, посвященные в глубокие тайны языческих мистерий, считали крещение актом очищения, мистическим действием, приносящим счастье и, во всяком случае, очищающим душу; и рвались к нему. Число таких заблуждающихся здесь, в Александрии, особенно велико, потому что, где еще суеверие могло найти более благоприятную почву, как не в этой полуобразованной стране, где чрезмерно мудрствуют, поклоняются Серапису, астрологии и где столько всяких обществ, столько всяких духовидцев, заклинателей демонов и неверия, породнившегося с легковерием? Итак, берегитесь допускать к крещению тех, которые смотрят на него как на средство защиты. Вспомните, что та же самая вода, которая, орошая чистые сердца, возрождает их для святой жизни, приносит смерть нечистым душам. Ты можешь говорить, любезный Иринеи.

— Я хотел только сказать,— начал молодой христианин, носивший это имя,— что в последнее время среди катехуменов я встречал и таких, которые примыкают к нам с самыми низкими целями. Я говорю о праздношатающихся, которым нравятся наши милостыни. Заметили вы философа-кинника, голодающему брату которого мы оказываем помощь? Дьякон Климент узнал теперь что он единственный сын своего отца...

— Мы расследуем это дело обстоятельнее, когда будем говорить о милостынях,— отвечал епископ.— Вот лежат просьбы многих женщин, желающих крещения своих детей. Мы не имеем права решать это здесь; решение принадлежит ближайшему собору. Этот вопрос слишком серьезен для того, чтобы мы могли разрешить его в нашем маленьком собрании. Что касается меня, то я полагал бы не отказывать этим матерям в их просьбе. Ведь в чем состоит последняя цель христианской жизни? По моему мнению, в том, чтобы она вполне согласовалась с примером жизни Спасителя. А Он? Разве Он не был между мужами мужем, между юношами юношей, между детьми дите? Разве Его присутствие не осватило каждый возраст, в особенности возраст малюток? Он повелел привести к нему детей, обещая им Царствие Небесное. Зачем же мы будем исключать их и отказывать им в крещении?

— Я не могу разделить твое мнение,— возразил один пресвитер с высоким лбом и глубокими глазами.— Мы должны добросовестно следовать примеру Спасителя; но кто вступает на Его путь, тот должен делать это только

по свободному выбору, из любви к Нему и освятив предварительно свою душу. Какой смысл имеет вторичное рождение после едва начавшейся жизни?

— Твоя речь,— отвечал епископ,— подтверждает только мою мысль, что этот вопрос подлежит решению более значительного собрания. Оставим теперь обсуждение этого пункта и перейдем к попечению о бедных. Позови сюда женщин, Юстин.

Дьяконицы вошли в комнату и сели у нижнего конца стола.

Павлина, вдова Пудента, заняла среди других женщин место напротив епископа. Она узнала от доброй Анны о бедственном положении детей умершего Керавна и обещала помочь им.

Сперва дьяконы дали отчет о своей деятельности в пользу бедных. После них дозволено было говорить женщинам.

Павлина, высокая, стройная женщина с черными, слегка поседевшими волосами, вынула из лишенного всяких украшений белого шерстяного платья табличку, положила ее перед собой, медленно подняла глаза и сказала, устремив их на председателя:

— Вдова Анна желает рассказать нам одну печальную историю, к которой я прошу вашего участливого внимания. Будь так добр, предоставь ей слово.

Павлина, казалось, чувствовала себя хозяйкой среди братьев. Вид у нее был болезненный. Выражение грусти никогда не сходило с ее губ, под глазами постоянно были синеватые тени, но в голосе слышалось что-то решительное и строгое, и ее взгляд далеко не был кроток и привлекателен.

После ее речи рассказ Анны прозвучал как нежная песня. С такой любовью, как будто это были ее собственные дочери, она описала различные характеры двух сестер, из которых каждая в своем роде заслуживала большого участия. С трогательной жалобой говорила она о малолетних, оставленных без надзора, обреченных на бедность сиротах, в числе которых находится красивый слепой мальчик. Затем она заключила свою речь:

— Теперь забота о прокормлении младших сестер и брата и уходе за ними лежат на второй дочери умершего смотрителя дворца, которая так прекрасна, что ей со всех сторон могут угрожать искушения. Имеем ли мы право отказать им в нашей помощи? Нет, нет, мы не должны этого делать! Вы согласны со мной? В таком

случае не будем медлить с этой помощью. Вторая дочь умершего Керавна находится теперь здесь, в этом доме. Завтра рано утром дети должны оставить дворец на Лохиаде, а в эту минуту они находятся под плохим надзором.

Добрые слова христианки нашли сочувственный отклик, и пресвитеры и дьяконы решили предложить за общей братской трапезой сделать общине предложение об оказании помощи сиротам.

Старейшинам нужно было посоветоваться еще о разных вещах, и поэтому Анне и Павлине было поручено обратиться к более богатым членам общины с просьбой позаботиться о детях умершего Керавна.

Бедная вдова прежде всего повела свою богатую хозяйку и подругу в комнату, где Арсиноя ждала с возмущением. Она была бледнее, чем обыкновенно, но, несмотря на заплаканные, опущенные в землю глаза, так прекрасна, так трогательно прекрасна, что вид ее взволновал сердце Павлины.

Она имела двоих детей — сына и единственную дочь. Последняя умерла в ранней юности, и со времени ее кончины Павлина думала о ней каждый час. Ради нее она приняла крещение, и ее жизнь превратилась в целый ряд тяжелых жертв. Она всеми силами старалась сделаться доброй христианкой ради того, чтобы ей, самоотверженной, добровольно несшей свой крест, болезненной женщине, любившей тишину, но сделавшей свой загородный дом местом приюта, не было отказано в Царствии Небесном, а там она надеялась вновь найти свою безгрешную дочь.

Арсиноя ей напоминала ее Елену. Ее умершая дочь, правда, не была так красива, как дочь Керавна, но ее образ приобрел новые, просветленные формы в материнском воображении Павлины.

С тех пор как сын ее покинул родной дом и отправился на чужбину, она часто спрашивала себя, не взять ли к себе в дом какую-нибудь молодую девушку, чтобы привязать ее к себе, воспитать как христианку и принести ее как бы в дар Спасителю.

Ее дочь умерла язычницей, и ничто так не беспокоило Павлину, как мысль, что душа Елены погибла и что ее собственные стремления и усилия для достижения благодати Божией не приведут ее к цели, лежащей по ту сторону могилы.

Никакая жертва не казалась ей слишком великой

для того, чтобы приобрести для своей дочери вечное блаженство, и, когда она теперь стояла перед Арсиной и смотрела на нее с восторженным удивлением, ею овладела одна мысль, которая быстро созрела в окончательное решение.

Она хотела сохранить это прекрасное существо для Спасителя. Приняв твердое решение, она подошла к девушке и спросила ее:

— Ты совсем беспомощна, у вас нет никаких родственников?

Арсиной утвердительно кивнула головой; Павлина продолжала:

— И ты переносишь свою потерю со смирением?

— Что значит смирение? — робко спросила девушка.

Анна положила руку на плечо вдовы и прошептала:

— Она язычница.

— Я знаю это, — возразила Павлина резко и затем ласково, но решительно сказала:

— После смерти твоего отца ты и твои близкие потеряли родителей и приют. В моем доме, у меня, ты можешь найти новое убежище. За это я не требую от тебя ничего, кроме твоей любви.

Арсиной с удивлением посмотрела на гордую женщину. Она еще не могла чувствовать к ней никакого влечения, и до ее сознания еще не дошло, что от нее требовали единственного дара, которого, даже при самом добром желании, не может дать по приказанию самое любвеобильное сердце.

Павлина не дожидаясь ее ответа; она кивком головы дала Анне знак идти с ней назад к общине, собравшейся для братской трапезы.

Четверть часа спустя обе женщины снова оставили своих единоверцев.

Дети Керавна были пристроены. Несколько христианских семейств охотно взяли их на свое попечение. Слепого Гелиоса желали взять к себе многие матери, но напрасно, так как Анна заявила свое право, по крайней мере на первое время, воспитывать несчастного мальчика в своем доме. Она знала, как была привязана к нему Селена, и надеялась, что его присутствие подействует благотворно на впавшую в уныние девушку.

Арсиной без спора покорилась распоряжениям женщин. Она даже поблагодарила их, так как теперь снова ощущала твердую почву под ногами; но вместе с тем

она тотчас же почувствовала, что эта почва окажется устланной острыми камнями.

Мысль о разлуке с маленькими сестрами и братом терзала ее и не оставляла ни на одно мгновение, когда Анна сама провожала ее на Лохиаду.

На следующее утро добрая вдова явилась туда и отвела ее с детьми в городской дом Павлины.

Все оставшееся после Керавна было разделено между кредиторами, только сундук с папирусами последовал за Арсиной в ее новое убежище.

Час, когда крепко сплоченная семья распалась, был самым горестным из всех, какие испытала Арсиной.

К Цезареуму — дворцу, где жила императрица Сабина, примыкал прекрасный сад. Бальбилла любила гулять в нем, и так как утром двадцать девятого декабря солнце сияло особенно ярко, небо и его безграничное зеркало — море отливало неописуемо глубокой синевой, а запах цветущего кустарника проникал в окно, как бы приглашая выйти из дому, то она вышла в сад и уселась на любимой скамье, слегка защищенной от солнца тенью акации.

Это место отдыха было отделено кустарником от наиболее посещаемых дорожек. Прогуливавшиеся в саду люди, которые не ожидали увидеть Бальбиллу, не могли ее заметить здесь; она же сквозь листву могла обозревать всю тропинку, усыпанную мелкими раковинами.

Но юная поэтесса в этот день нисколько не была расположена к зрелищам. Вместо того чтобы смотреть на зелень, оживленную резвыми птичками, на чистый воздух или на море, она смотрела в желтый свиток папируса и запечатлевала в своей памяти очень трезвые вещи. Она задала себе задачу сдержать свое обещание и научиться говорить, писать и сочинять на эолийском наречии греческого языка.

Своим учителем она выбрала великого грамматика Аполлония, которого ученики называли «темным». Сочинение, положенное ею в основу своих трудов, принадлежало знаменитой библиотеке при храме Сераписа, которая со времени осады Александрии Юлием Цезарем, когда сгорело в Брухейоне великое хранилище Музея, далеко превзошла полнотой это последнее.

Кто увидал бы Бальбиллу во время ее занятий, тот едва ли поверил бы, что она учится.

В выражении ее глаз и лба нельзя было заметить ни малейшего усилия, а между тем она внимательно читала строчку за строчкой, не пропуская ни одного слова. Но она делала это не как человек, который с напряжением взбирается на гору, а подобно прогуливающемуся путнику, который на главной улице города радуется всему, новому и особенному.

Каждый раз, когда она встречала в своей книге какую-нибудь новую, неизвестную ей прежде форму выражения, она чувствовала такое удовольствие, что хлопала в ладоши и тихо смеялась.

Ее глубокомысленный учитель еще никогда не встречал такого веселого способа учения, и это огорчало его, так как наука была для него делом серьезным, а Бальбилла, казалось, играла ею, как и всеми прочими вещами, и, следовательно, профанировала ее в его глазах.

Целый час она сидела на скамье, занимаясь таким образом; затем свернула свиток и встала, чтобы немножко отдохнуть.

Уверенная, что никто не видит ее, она потянулась с приятным чувством выполненной работы и подошла затем к отверстию в кустарнике, чтобы посмотреть, что за человек ходит там по широкой, находившейся перед ней аллее.

Это был претор, и все же не он.

Этого Вера она, во всяком случае, видела впервые. Куда девалась улыбка, обычно сверкавшая в его глазах бриллиантовыми искрами и шаловливо игравшая на губах? Где неомраченная ясность гладкого лба и вызывающе гордая осанка его статной фигуры?

С мрачно сверкающим взглядом, нахмуренным лбом и поникшей головой он медленно ходил взад и вперед, однако же не печаль удручала его.

Если бы это была печаль, то разве он мог бы как раз в ту минуту, когда проходил возле Бальбиллы, щелкнуть пальцами с таким выражением, как будто хотел сказать: «Пусть будет, что будет! Я сегодня жив и смеюсь в лицо будущему!»

Но эта вспышка прежнего необузданного легкомыслия кончилась в то же мгновение, когда разомкнулись щелкнувшие пальцы.

Когда Вер проходил мимо Бальбиллы во второй раз, он был еще мрачнее, чем прежде. Должно быть, что-то очень неприятное испортило веселое настроение ветреного мужа ее приятельницы Луциллы.

Это огорчило поэтессу; ей часто приходилось выслушивать дерзкие замечания претора, но она всегда прощала ему их ради любезной формы, в какую он умел облечь каждую свою дерзость.

Бальбилла снова желала увидеть претора веселым и потому вышла из своего скрытого убежища.

Как только он увидел ее, выражение его лица изменилось, и он крикнул ей весело, как всегда:

— Здравствуй, прекраснейшая из прекрасных!

Она сделала вид, будто не узнала его, и, проходя мимо с опущенной головой, отвечала торжественно, низким голосом:

— Приветствую тебя, Тимон.

— Тимон? — спросил он и схватил ее руку.

— А, это ты, Вер! — воскликнула она как бы с удивлением. — Я думала, что это афинский мизантроп оставил мрачный Аид и пришел погулять здесь в саду.

— Ты не ошиблась, — отвечал претор. — Но когда Орфей поет, то деревья пляшут, муза создает из тяжелого, неподвижного камня вакханку; а когда появляется Бальбилла, то Тимон в одно мгновение превращается в счастливого Вера.

— Это чудо не может меня изумить, — засмеялась девушка. — Но нельзя ли узнать, какой мрачный дух так успешно произвел обратное действие и из счастливого супруга прекрасной Луциллы создал Тимона?

— Я остерегусь показывать это чудовище, иначе веселая муза Бальбилла преобразится в мрачную Гекату¹. Впрочем, этот злокозненный демон находится совсем близко от нас: он гнездится вот в этом маленьком свитке.

— Это письмо императора?

— Нет, не более чем письмо одного еврея

— Вероятно, отца прекрасной дочери?

— Не угадала, совсем не угадала!

— Ты подстрекаешь мое любопытство.

— А мое уже удовлетворено этим свитком. Гораций — мудрец, когда он говорит, что не следует помышлять о грядущем.

— Это оракул?

— По крайней мере нечто в этом роде.

— И это портит тебе такое прекрасное утро? Видели ты меня когда-нибудь грустной? Однако же моим будущим дням угрожает одно предсказание, такое ужасное предсказание!

- Судьба мужчин — нечто иное, чем женская доля.
- Желаете выслушать, что было предсказано мне?
- Какой вопрос!
- Так слушай внимательно. Изречение, которое ты услышишь сейчас, я получила от дельфийской пифии:

То, что выше всего и дороже тебе, ты утратишь,
И с олимпийских высот ты ниспровергнешься в прах.

- Это все?
- Нет, за этим следуют еще два утешительных стиха.
- Именно?

Но испытующий взор открывает под прахом летучим.
Прочный фундамент из плит, мрамор и каменный грунт.

— И у тебя хватает духу жаловаться на это предсказание?

— Да разве это прекрасно барахтаться в пыли? Здесь, в Египте, мы в достаточной степени знакомимся с этим бедствием! Уж не должна ли я радоваться перспективе наткнуться ногами на твердые камни?

— Что говорят истолкователи оракулов?

— Сущие глупости.

— Ты не нашла еще настоящего истолкователя; но я, я прозреваю смысл предсказания оракула.

— Ты?

— Да, я! Суровая Бальбилла сойдет наконец с высокого Олимпа недоступности и перестанет презирать непоколебимый грунт поклонения своего верного Вера.

— О, этот грунт, этот каменный грунт! — засмеялась девушка. — Ходить по поверхности вон того моря мне кажется более благоразумным, чем гулять по такому грунту.

— Попробуй только!

— Нет надобности. Луцилла за меня сделала уже эту пробу. Твое толкование никуда не годится. Толкование императора мне кажется гораздо лучшим.

— В том, что я оставлю поэзию и предамся серьезным научным занятиям. Он советует мне заняться астрологией.

— В чем оно состоит?

— Астрологией, — сказал Вер и сделался серьезнее. — Прощай, прекраснейшая, я должен идти к императору.

— Мы вчера были у него на Лохиаде. Как все изменилось там! Хорошенький домик привратника исчез, веселой работы строителей и художников уже не видно, пестрые мастерские преобразились в скучные, обыкновенные залы. Перегородки в зале муз снесены, мой начатый бюст пропал восемь дней назад вместе с молодым ветераником, который вел против моих кудрей такую войну, что я уже была готова пожертвовать ими...

— Без них ты уже не была бы больше Бальбиллой! — с жаром вскричал Вер.— Художник отвергает то, что не остается вечно прекрасным, но мы охотно любимся и теми изящными вещами, которые нравятся нам. Пусть ваятели одевают богинь согласно обычаям более строгих времен и законам своего искусства, но смертные женщины, мне сердечно жаль этого живого и искусного юноши. Он оскорбил императора, изгнан из дворца и пропал без вести.

— О! — вскричала Бальбилла с глубоким сожалением.— Бедный, славный человек! А мой бюст? Мы должны отыскать его. Как только представится случай, я попрошу императора.

— Адриан ничего не желает слышать о нем. Поллуке чувствительно оскорбил его.

— От кого ты знаешь это?

— От Антиноя.

— Мы видели вчера и его! — вскричала Бальбилла с живостью.— Если есть на свете человек, которому дано явиться в божественном образе, то это Антиной.

— Мечтательница!

— Я не знаю никого, кто мог бы смотреть на него равнодушно. Это прекрасный мечтатель, и страдальческое выражение его лица, которое мы заметили вчера, есть не что иное, как безмолвное горе всякого совершенства об утраченной радости возрастания и созревания для воплощения идеала, который он уже представляет сам в себе.

И очарованная, словно перед глазами ее возник образ некоего бога, поэтесса устремила взор в вышину. Вер слушал ее с улыбкой.

Наконец он прервал ее, погрозил ей пальцем и сказал:

— Поэтесса философка, прелестная девушка, остерегайся, как бы не сойти тебе с твоего Олимпа к этому мальчику. Когда фантазия соединяется с мечтательностью, то составляет чета, парящая в воздушных обла-

ках и не способная подозревать даже в туманной дали присутствие надежной почвы, о которой говорит твой оракул.

— Глупости! — вскричала Бальбилла с негодованием. — Чтобы влюбиться в статую, для этого нужно, чтобы сперва Прометей одушевил ее огнем и духом.

— Эрот, — возразил претор, — иногда заступает место несчастного друга богов.

— Настоящий Эрот или поддельный? — спросила Бальбилла насмешливо.

— Разумеется, не поддельный, — отвечал Вер. — На этот раз поддельный Эрот играет только роль доброжелательного предостерегателя и заступает место архитектора Понтия, которого так боится достойная, охраняющая тебя матрона. Под веселый шум вакхического праздника вы с ним, как я слышал, вели такие же серьезные разговоры, как два седых философа, которые прогуливаются в стое¹ среди внимающих им учеников.

— С разумными людьми ведут разумные речи.

— А с неразумными — веселые. Как я рад, что принадлежу к числу неразумных! До свидания, прекрасная Бальбилла.

И претор быстро удалился. У Цезареума он сел в колесницу и поехал на Лохиаду.

Его возница правил вместо него. Сам он задумчиво смотрел на свиток в своей руке. Этот свиток содержал в себе результат вычисления звездочета рабби Симеона Бен-Иохая, и результат этот был таков, что мог смутить веселое расположение духа даже этого легкомысленнейшего человека.

Когда в ночь, предшествующую дню рождения претора, император будет наблюдать положение звезд на небе в связи с тем, какое было замечено при его рождении, то он, по уверению Бен-Иохая, должен найти, что до конца второго часа пополуночи все благоприятные планеты предвещают Веру прекрасный жребий, счастье и величие. Но при наступлении третьего часа несчастье и смерть должны завладеть домом его счастья. В четвертом часу его звезда исчезнет, а то, что произойдет на небе еще, кроме этого, не будет иметь уже никакого отношения к претору и его судьбе. Звезда императора победит звезду Вера.

Из приложенной к письму еврея таблицы претор мог

извлечь очень немногое, но это немногое подтверждало то, что было сказано в письме.

Кони претора бежали быстро. Он размышлял, что ему остается делать при этих неблагоприятных обстоятельствах для того, чтобы не быть вынужденным отказаться вполне от высочайшей цели своего честолюбия.

Если наблюдения рабби окажутся верными, в чем Вер не сомневался ни на одно мгновение, то его надежда на усыновление, несмотря на помощь Сабины, исчезнет.

«Как может Адриан избрать своим сыном и наследником человека, которому суждено умереть прежде его самого? Как может он, Вер, ожидать, что император соединит свою счастливую звезду со звездой другого человека, предвещающей смерть?»

Эти размышления не привели его ни к чему, и, однако же, он не мог избавиться от них, пока возница не остановил вдруг лошадей у самого края проезжей дороги, чтобы дать дорогу процессии выборных от египетских жрецов, направлявшейся на Лохиаду.

Ловкость и сила, с какой его слуга разом остановил горячих коней, вызвала его одобрение и возбудила в нем мысль отважной рукой остановить колеса Фортуны.

Когда процессия жрецов не стала его больше задерживать, он приказал вознице ехать медленно, так как желал выиграть время для размышлений.

«До третьего часа пополуночи,— думал он,— все идет наилучшим образом; после четвертого на небе происходят только такие вещи, которые совсем не касаются меня. Разумеется! Овцы играют вокруг мертвого льва, а осел даже лягает его копытом, когда он болен. В коротком промежутке между третьим и четвертым часами стекаются вместе все зловещие знаки. Они явятся, но...» — И с этим «но» претор почувствовал как бы просветление в мыслях,— «...но разве император непременно должен их увидеть?»

Взволнованное сердце Вера начало биться скорее, его мозг стал работать усиленнее, он велел вознице сделать крюк, так как желал иметь побольше времени для того, чтобы дать вырасти и созреть зарождавшимся в нем мыслям.

Вер не был интриганом. Легкой поступью, беззаботно шел он через главные двери, презирая вход с заднего крыльца. Только ради величайшей цели своей жизни он был готов пожертвовать своими склонностями, удобст-

вами, гордостью и воспользоваться любым средством без разбора. Для этой цели он уже сделал многое, лежавшее у него на совести, а кто украдет из овчарни одну овцу, тот сам не заметит, как украдет и другую. За первым недостойным поступком, который совершил человек, легко следует второй и третий.

То, на что решился Вер, он считал не более как обыкновенным действием необходимой обороны. Все дело было только в том, чтобы отвлечь императора на один час от праздного занятия, от наблюдения звезд!

Было только два человека, которые могли ему помочь в этом — Антиной и раб Мастор.

Сначала он подумал о последнем; но язиг был неизменно предан своему повелителю, и, конечно, его нельзя было подкупить. И притом — фи! — ему вовсе не пристало прибегать к сообществу какого-то раба!

Однако же на помощь Антиной он мог рассчитывать еще менее. Сабина ненавидела любимца своего супруга, и ради нее Вер никогда не относился к вифинцу с особенным дружелюбием.

Ему казалось даже, что тихий, мечтательный юноша избегает встречаться с ним. Заставить Антиноя оказать ему услугу можно было разве только страхом. Во всяком случае, нужно было прежде всего побывать на Лохиаде и там смотреть в оба.

Если император находится в благосклонном настроении, то, пожалуй, его можно будет уговорить явиться во второй половине ночи на устраиваемый Вером по случаю дня его рождения пир, на котором будет много прекрасного для зрения и слуха.

Может также явиться много других благоприятных обстоятельств.

Вычисление рабьи, помимо этого, предсказывало ему счастье на наступающий год.

Веселый и беззаботный, как будто ему предстояла безоблачная, светлая будущность, он сошел со своей колесницы на вновь вымощенном дворе и велел провести себя в приемную императора.

Адриан жил теперь в обновленном дворце уже не под именем архитектора из Рима, а в качестве властителя мира. Он показался александрийцам и был принят с восторгом и с неслыханными почестями. Радость по случаю императорского посещения была видна всюду и проявлялась иногда в формах, в высшей степени преувеличенных. Городской Совет постановил месяц декабрь, в

который народ удостоился чести приветствовать императора, называть отныне «Адрианом».

Император должен был принимать депутацию за депутацией, давать одну аудиенцию за другой, а на следующий день должны были начаться зрелища, процессии и игры, продлиться много дней, и как выражался Адриан, грозили похитить у него сотню хороших часов.

Однако же император находил при этом время для решения государственных дел, а ночью спрашивал звезды, какая судьба предстоит ему и его империи в течение всего наступавшего нового года.

Дворец на Лохиаде совершенно изменил свой вид.

На месте веселого домика привратника стоял теперь высокий шатер из великолепной пурпурной материи, в котором помещался отряд императорских телохранителей. Напротив него находился другой шатер — для ликторов и гонцов.

Конюшни были наполнены лошадьми. Конь Адриана, кровный жеребец Борисфен, отдохавший уже слишком долго, нетерпеливо бил копытами в пол особого стойла, возле которого в наскоро устроенных загородках и конурах помещались гончие ищейки и кабаньи собаки императора.

На обширном пространстве первого двора были расположены лагерем солдаты. У стен сидели на корточках мужчины и женщины — греки, египтяне, евреи — с челобитными к императору. Колесницы въезжали и выезжали; паланкины вносились и выносились, камерарии и другие придворные чины спешили туда и сюда. Передние были наполнены людьми из избранных кругов именитого гражданства, надеявшимися получить аудиенцию у императора. В каждой комнате рабы предлагали ожидавшимся прохладительные напитки или праздно стояли вокруг; должностные лица со свитками под мышкой входили во внутренние комнаты или выходили из дворца для выполнения распоряжений начальников.

Зала муз превратилась в роскошную парадную палату. Папий, находившийся теперь по поручению императора на пути в Италию, восстановил разбитое плечо Урании. Между статуями стояли мягкие диваны и стулья, а под балдахином, на заднем плане этой обширной залы, возвышался трон, на котором обыкновенно сидел Адриан, когда давал аудиенции. В таких случаях он всегда был облачен в багряницу; в рабочей же комна-

те он снимал свою пурпурную мантию и был одет так же просто, как архитектор Клавдий Венатор.

В квартире умершего Керавна жил теперь бездетный и неженатый египтянин, суровый и предусмотрительный человек, оказавший префекту Титиану ценные услуги в качестве домоправителя.

Жилая комната изгнанной семьи имела пустынный и неуютный вид. Мозаичная картина, бывшая причиной смерти Керавна, находилась уже на пути в Рим, и новый управитель счел нужным заполнить или прикрыть циновкой пустое пыльное место, образовавшееся в каменном полу от удаления этого произведения.

В заброшенном жилище умершего смотрителя не слышно было ни одного веселого звука, кроме щебетания птиц, которые каждое утро и каждый вечер все еще собирались на помосте, так как прежде Арсиноя и дети никогда не забывали усыпать его перила крошками хлеба после всякой трапезы.

Все веселое и привлекательное в старом дворце исчезло из него со времени посещения его Сабиной, и даже Адриан казался теперь совсем не таким, каким был несколько дней назад.

Истинно недоступным императором казался он, когда являлся перед подданными. Когда же он находился в своей жилой комнате с приближенными лицами, то был суров, мрачен и большей частью неразговорчив.

Оракул, планеты и другие предзнаменования предсказывали ему тяжкое бедствие в наступавшем году.

Даже те немногие беззаботные дни, которые удалось ему прожить на Лохиаде, окончились неприятными сценами. Его супруга, — черствость которой в Александрии, где все носило более подвижные и привлекательные формы, чем в Риме, выступала во всей своей непривлекательности, — смело потребовала от него, чтобы он не откладывал больше усыновления претора.

Он был недоволен и озабочен.

Заглядывая в свою душу, он видел там зиявшую безграничную сердечную пустоту, а при каждом взгляде в наступавшие дни своей жизни пред ним выступал целый ряд ничтожных мелочей, которые неизбежно явятся помехой на пути не ослабевавшей потребности в труде.

Даже не затронутая ни горестью, ни радостью существования растительная жизнь его прекрасного любимца Антиноя, которая прежде обыкновенно радовала и

успокаивала его, теперь испытала перемену. Юноша часто казался смущенным, встревоженным, растерянным.

По-видимому, на него действовали какие-то посторонние влияния, так как ему уже не достаточно было ходить неотступно, подобно тени, за императором. Нет, он стремился к свободе, несколько раз тайком уходил в город и, должно быть, искал там удовольствий своего возраста, которых избегал прежде.

Даже с веселым, услужливым рабом Адриана произошла какая-то перемена. Только собака оставалась такой же, какой была в своей послушной верности. А сам он? Он был таким же, как и десять лет назад... то есть менялся каждый день и каждый час.

Император вернулся из города во дворец за несколько минут перед тем, как туда вошел претор. Вера провели через приемную во внутренние покои, и ему недолго пришлось здесь ждать, как как Адриан пожелал говорить с ним тотчас же.

Он застал императора в таком дурном настроении, что ему нечего было и думать пригласить его на свой праздник.

Адриан беспокойно ходил по своему кабинету взад и вперед, между тем как Вер отвечал на его вопросы о последних заседаниях римского сената. Несколько раз он прерывал хождение и заглядывал в соседнюю комнату.

Претор только что окончил свой доклад, как Аргус радостно завизжал и вслед затем в комнату вошел Антиной.

Вер тотчас же отошел назад, к широкому окну, и сделал вид, как будто он смотрит на гавань.

— Где ты был? — спросил император любимца, не обращая внимания на присутствие претора.

— Немного прошелся по городу, — отвечал вифинец.

— Ты знаешь, что мне неприятно твое отсутствие, когда я возвращаюсь домой.

— Я думал, что ты вернешься позднее.

— Впредь устраивай так, чтобы я заставал тебя, в какое бы время я ни пожелал. Не правда ли, тебе неприятно видеть меня недовольным?

— Да, государь, — отвечал юноша, подняв при этом руки и с умоляющим видом глядя на своего повелителя.

— Ну, так оставим это. Но теперь перейдем к друго-

му. Каким образом эта скляночка попала в руки продавца художественных произведений Хирама?

При этом вопросе император взял со стола маленький флакончик, сделанный из материала так называемых *vasa tinghina*, который юноша подарил Арсиное, а она продала финикиянину, и держал его перед глазами любимца.

Антиной побледнел и в сильном смущении пробормотал:

— Это непостижимо, я не могу припомнить...

— Так я помогу твоей памяти,— прервал его император решительно.— Финикиянин мне кажется более честным человеком, чем мошенник Габиний. В коллекции Хирама, у которого я сейчас был, я нашел эту драгоценность, которую подарила мне Плотина,— слышишь, мальчик? — супруга Траяна, Плотина, незабвенный друг моего сердца, много лет назад. Она принадлежала к числу самых дорогих для меня вещей, и, однако же, она не показалась мне слишком дорогой для того, чтобы подарить ее тебе в день твоего рождения.

— О господин, милый господин мой! — тихо воскликнул Антиной и снова поднял руки и глаза с умоляющим видом.

— Итак, я спрашиваю тебя,— продолжал Адриан строго, не позволяя себе смягчиться от умоляющего взгляда своего любимца,— я спрашиваю тебя: как мог этот сосуд сделаться собственностью дочери жалкого дворцового смотрителя Керавна, у которой, как утверждает Хирам, он купил его?

Антиной напрасно искал слов для ответа, но Адриан помог ему, спросив его с прежним раздражением:

— Не украли ли его у тебя эта девка? Говори правду!

— Нет, нет,— отвечал Антиной быстро и решительно.— Конечно, нет. Я могу припомнить... Да... подожди только; вот как было дело. Ты ведь знаешь, что я держал в этом флаконе хороший бальзам; и когда собака сбросила Селену — так называется дочь смотрителя — с лестницы и она, израненная, лежала на полу, я принес флакончик и отдал ей бальзам.

— Вместе с флакончиком? — спросил император и мрачно посмотрел на Антиноя.

— Да, у меня не было другого.

— И она удержала его у себя и тотчас же продала?

— Ты ведь знаешь, ее отец...

— Шайка мошенников,— заскрежетал Адриан.— Ты знаешь, куда пошла эта девка?

— Ах, государы! — вскричал Антиной, дрожа от страха.

— Я распорядюсь, чтобы ликторы схватили ее,— сказал разгневанный властитель.

— Нет,— вскричал юноша решительно,— нет, этого ты, конечно, не должен делать!

— Не должен? Это мы увидим.

— Нет, разумеется, нет, так как, чтобы ты знал это, Селена, дочь Керавна... она...

— Ну?

— Она с отчаяния бросилась в воду... да, в воду, ночью, в море.

— А! — воскликнул Адриан более мягким тоном.— Это, разумеется, изменяет дело. Посылать ликторов гоняться за тенью напрасно, и девка потерпела самое строгое из всех наказаний. Но ты? Что я должен сказать о твоём поступке? Ты знал ценность этого сокровища, знал, как высоко ценил его я, и отдал его в такие руки!

— Да ведь в нём было лекарство,— пробормотал юноша.— И как мог я думать...

Император прервал любимца и, ударив себя по лбу, сказал:

— Да, думать; мы, к сожалению, уже давно знаем, что думать не по твоей части! Этот флакончик стоил мне изрядной суммы, но так как он однажды принадлежал тебе, то я отдаю его тебе снова; но только я требую, чтобы на будущее время ты дорожил им больше. Я скоро спрошу о нём! Ради всех богов, мальчик, что с тобой? Неужели я так страшен, что одного вопроса моего достаточно, чтобы сразу кровь отлила с твоего лица? Право, если бы эта вещь досталась мне не от Плотины, то я оставил бы ее у финикиянина и не подымал бы из-за этого случая такого большого шума.

Антиной кинулся к императору, чтобы поцеловать ему руки, но тот с отеческой лаской прижал свои губы к его лбу и сказал.

— Глупый! Если ты желаешь, чтобы я был доволен тобой, то будь опять таким, каким ты был до нашего прибытия в Александрию! Предоставь другим огорчать меня; боги создали тебя для того, чтобы меня радовать.

При последних словах Адриана в комнату вошел один из придворных и доложил, что выборные от египетских жрецов пришли поклониться ему.

Император тотчас же велел облечь себя в багряницу и отправился в залу муз. Там, окруженный своим придворным штатом, он принял пророков и жрецов из разных храмов Нильской долины, позволил им поклониться ему, как сыну бога-солнца, и уверил их в своем благоволении к охраняемой ими религии. Он выразил свое согласие на их просьбу почитать и осчастливить своим посещением храмы богов, которым они служат; вопрос же о месте, где должен быть воспитан недавно найденный Апис, оставался пока нерешенным.

Эта аудиенция продолжалась несколько часов кряду.

Вер уклонился от обязанности присутствовать при ней вместе с префектом Титианом и другими сановниками и оставался у окна, безмолвный и неподвижный. Он оживился снова лишь тогда, когда Адриан вышел из комнаты.

Претор был теперь совершенно один, так как Антиной ушел в соседнюю комнату.

Юноша заметил, что Вер остался, но старался избегать его, так как его отталкивал характер этого задорного насмешника. Сверх того перенесенный им страх, а также сознание, что он провинился во лжи и нагло обманул своего милостивого господина, потрясли и лишили равновесия его душу, до сих пор не запятнанную ни одним нечестным поступком.

Ему хотелось остаться наедине. Ему было бы теперь очень тяжело говорить о каких-нибудь обыкновенных вещах или притворяться приветливым. Он сидел в своей комнатке, примыкавшей к покоям императора, у стола, закрыв руками влажное от слез лицо.

Вер последовал за ним не тотчас, так как понимал, что происходит с юношей, и знал, что теперь Антиной уже не может ускользнуть от него.

Несколько минут в большом покое и в маленькой комнате все было тихо. Затем претор услышал, что дверь, которая вела в коридор, быстро отворилась и раздалось восклицание вифинца:

— Наконец-то, Мастор! Видел ты Селену?

Большими шагами, тихо и осторожно Вер приблизился к двери соседней комнатки и стал прислушиваться к ответу раба, из которого, впрочем, и менее острый слух, чем был у претора, не упустил бы ни одного слова.

— Как мог я видеть ее? — возразил Мастор с досадой. — Ведь она все еще больна и лежит в постели. Твой букет я отдал горбатой девушке, которая ухаживает за

ней. Но я не сделаю этого в другой раз,— конечно, нет, если бы даже ты уговаривал меня и обещал мне все сокровища императора. Да и чего ты хочешь от этого несчастного, бледного, невинного создания? Я не более как бедный раб, но могу сказать тебе вот что...

Здесь речь Мастора внезапно оборвалась, и Вер сделал справедливое предположение, что Антиной вспомнил о его присутствии в комнате императора и приказал язигу замолчать.

Но подслушивавший узнал уже достаточно. Любимец обманул своего царственного повелителя, и самоубийство дочери смотрителя было выдумкой.

Кто мог бы подозревать в этом тихом мечтателе такое присутствие духа и такой дар хитрой изобретательности?

Красивое лицо претора просияло от удовольствия, так как теперь он держал вифинца в руках. Он уже знал, каким образом ему подступить к Антиною со своей просьбой; сам Антиной указал ему настоящий путь, когда он с нежностью, теплота которой не допускала и мысли о лицемерии, кинулся к императору, чтобы поцеловать его руку.

Фаворит любил своего господина, и на этой любви Вер мог обосновать свое требование, не выдавая себя, и в случае измены не бояться карающей десницы императора.

Твердой рукой претор постучал в дверь соседней комнаты и затем решительно, твердо и самоуверенно вошел к вифинцу и объявил, что ему нужно поговорить с ним об одном важном деле, а потому он просит его пройти с ним к императору.

Как только они остались там наедине, Вер сказал:

— К сожалению, я не могу причислить тебя к моим близким друзьям, но мы все-таки разделяем друг с другом одно великое чувство: мы оба любим императора.

— Я, конечно, люблю его,— отвечал любимец.

— В таком случае и тебе, как мне, желательно охранять его от тяжких забот и не допускать, чтобы страшные опасения обессиливали крылатый полет его великого и свободного духа.

— Совершенно верно.

— Я знал, что найду в тебе союзника. Посмотри на этот свиток. Он содержит в себе вычисления и заметки величайшего астролога нашего времени, из которых видно, что в наступающую ночь, и именно с конца второго

до начала четвертого часа утра, звезды будут предвещать нашему повелителю ужаснейшее бедствие. Ты понял меня?

— К сожалению, да.

— Позднее эти неблагоприятные знамения исчезнут. Итак, если бы удалось удержать Адриана только во время третьего часа пополуночи от наблюдения небесного свода, то он будет избавлен от мучительного, отравляющего жизнь опасения. Кто знает, может быть, звезды и лгут. Но если они говорят правду, то несчастье, если оно действительно настанет, во всяком случае, явится раньше, чем нужно. Согласен ты со мной?

— Твое предложение очень ясно... Однако я думаю...

— Оно ясно и благоразумно,— прервал юношу претор твердо и решительно,— теперь от тебя будет зависеть главное — помешать Адриану следить за течением звезд от конца второго до начала четвертого часа пополуночи.

— От меня? — вскричал Антиной в испуге.

— От тебя. Ибо ты — единственный, кто может это сделать.

— Я? — спросил вифинец с великим беспокойством.— Я должен помешать императору в его наблюдениях?

— Это твоя обязанность.

— Но он не позволяет беспокоить себя во время работ, и если бы я попытался это сделать, то мне, наверное, пришлось бы плохо. Нет, нет, ты требуешь невозможного.

— Это не только возможно, но и необходимо.

— Совсем нет,— возразил Антиной, поглаживая рукой лоб.— Только выслушай. Вот уже несколько дней, как Адриану известно, что ему угрожает тяжкое несчастье. Я слышал это от него самого. Если ты знаешь его, то должен знать и то, что он созерцает звезды не только для того, чтобы радоваться своему будущему счастью, но также и для того, чтобы вооружаться против несчастья, угрожающего ему самому или империи. Что убило бы более слабого, то его острому уму служит оружием. Он может выдержать все, и обмануть его было бы нечестно.

— А допустить, чтобы ум и сердце его омрачились, еще более нечестно,— возразил решительно Вер.— Подумай о способе удалить его на один час от наблюдений.

— Не хочу, а если бы я и захотел, то это не привело бы

ни к чему. Уж не думаешь ли ты, что мне стоит только позвать его, чтобы он пошел за мной?

— Ты знаешь его. Выдумай что-нибудь такое, что должно заставить его спуститься с вышки.

— Я не могу ничего ни придумать, ни изобрести.

— Ничего? — спросил Вер, подступая ближе к вифинцу. — Ты сейчас разительно доказал противное.

Антиной побледнел; претор продолжал:

— Когда дело шло о том, чтобы спасти Селену от ликторов, тогда твоя проворная изобретательность довольно быстро бросила ее в море.

— Да она и в самом деле бросилась в море, это так же верно, как боги...

— Стой, стой, — прервал его претор, — не нужно никакой ложной клятвы! Селена жива, ты послал ей букет, и если бы я захотел привести Адриана в дом вдовы Пудента...

— О-о-о! — вскричал жалобно Антиной и схватил руку римлянина. — Ты не можешь, ты не сделаешь этого, о Вер!

— Глупец, — засмеялся претор и слегка хлопнул испуганного юношу по плечу. — Какая мне польза погубить тебя? У меня на уме только одно: оградить императора от горести и заботы. Займи его в продолжение всего третьего часа пополуночи, и тогда ты можешь рассчитывать на мою дружбу; если же ты из страха или нежелания откажешь мне в помощи, то не будешь заслуживать милости твоего повелителя и, конечно, принудишь меня...

— Довольно, довольно! — прервал своего мучителя Антиной в великом страхе.

— Так ты обещаешь мне исполнить мое желание?

— Да, клянусь Геркулесом, да! То, чего ты требуешь, будет исполнено. Но вечные боги! Как мне устроить, чтобы император...

— Придумать это я с полным доверием предоставляю тебе, мой молодой друг, и твоему уму.

— Я не умен, я ничего не могу выдумать, — простонал юноша.

— Что тебе удалось из страха перед твоим повелителем, то удастся тебе еще лучше из любви к нему, — возразил претор. — Твоя задача легка; если же ты не справишься с ней, то я сочту своей обязанностью показать Адриану, как хорошо умеет Антиной заботиться о себе самом и как плохо он заботится о счастье своего господина. До завтра, прекрасный друг! Если тебе на будущее вре-

мя нужно будет посылать букеты, то мои рабы к твоим услугам.

С этими словами претор вышел из комнаты, а Антиной в отчаянии прижался лбом к холодной порфировой колонне у окна.

В том, чего требовал от него Вер, не было, по-видимому, ничего дурного; однако же он не мог одобрить это требование! Это была измена его благородному повелителю, которого он горячо любил как отца, как мудреца, как доброго друга и учителя, и перед которым трепетал, как перед божеством.

Коварно скрыть от него то, что predetermined судьбой, как будто он не мужчина, а какое-то слабое, изнеженное существо,— это казалось Антиною бессмысленным, позорным и должно было, по его мнению, привести к какой-нибудь ошибке, чреватой непредвиденными последствиями в дальнозорких предначертаниях и широких планах его повелителя.

По многим другим причинам он возмущался желаниями претора, и по каждому новому поводу, приходившему ему в голову, он проклинал свой медлительный ум, который постоянно заставлял его находить верный путь только тогда, когда было уже слишком поздно.

Его первый обман теперь повлек за собой второй. Антиной сердился на себя самого. Он ударял себя кулаком по лбу и горестно всхлипывал.

Но среди этих самообвинений ему слышались также льстивые звуки утешения: «Ведь дело идет только о том, чтобы оградить государя от горести; в том, чего от тебя требуют, нет никакого зла». Прислушиваясь к этому голосу, он начал размышлять, каким образом было бы возможно в указанное время заманить императора с башни во дворец. Но он не нашел ни одного подходящего плана.

— Нет, это не годится; нет, не годится,— бормотал он и затем спрашивал себя, не обязан ли он воспротивиться претору и откровенно признаться императору, что в это утро он его обманул.

Если бы только не этот флакон!

Разве мог он признаться, что легкомысленно подарил девушке подарок своего повелителя? Нет, это было бы ему слишком тяжело, это могло навсегда лишить его любви Адриана. Если бы он вздумал остановиться на половине правды и, чтобы предупредить обвинение претора, рассказал, что Селена еще жива, то дочери несчастного Керавна, в том числе и Селена, которую он любил со всей

страстью первой сердечной любви, подверглись бы преследованию и позору. Нет, признаться в своей вине было ему невозможно, совсем невозможно.

Чем больше он думал и терзался, чтобы найти выход из положения, тем больше путались его мысли, тем больше ослабевала в нем сила сопротивления.

Претор связал его по рукам и ногам, и каждая новая попытка освободиться от уз только затягивала их крепче и нерасторжимее.

Его бедная голова начала болеть. И как бесконечно долго император находился в отсутствии! Юноша боялся его возвращения, а между тем ждал его с тоскливым нетерпением.

Когда наконец Адриан явился и знаком приказал Мастору снять с него облачение, Антиной отстранил раба и молча, с особенной тщательностью выполнил обязанность слуги.

Он чувствовал беспокойство и печаль, но все-таки принудил себя за обедом, во время которого он должен был сидеть напротив Адриана, казаться веселым.

Когда император незадолго до наступления полуночи собрался идти в обсерваторию, находящуюся на северном конце дворца, и Антиной попросил у него позволения нести его инструменты, то Адриан погладил его по голове и сказал:

— Ты все-таки мой милый, верный мальчик. Юность имеет право иногда заблуждаться, если она не сбивается совершенно с пути, который для нее предназначен.

Сердце Антиной растаяло от этих слов, и он украдкой прижал губы к складке тоги шедшего перед ним императора. Верный юноша, казалось, хотел заранее заглавить преступление, которого еще не совершил.

До конца первого часа пополуночи он, закутавшись в плащ, молча присутствовал при работе своего господина. Свежий северный ветер, веявший в тишине ночи, облегчал боль в голове, и он неумышленно искал какого-нибудь предлога, чтобы отвлечь Адриана. Но напрасно. Его бедный ум был подобен высохшему колодцу. Он опускал в него ведро за ведром, но ни в одном из них не показывалась влага, в которой он нуждался. Ему в голову не приходило ничего, решительно ничего.

Вдруг он схватился за сердце, подошел ближе к императору и сказал ему с мольбой:

— Сойди вниз сегодня пораньше, государь, ты даешь себе слишком мало отдыха и повредишь здоровью:

Адриан дал ему договорить и заговорил ласково:

— Я посплю утром. Если ты устал, иди спать.

Но Антиной остался и смотрел, как и его господин, на звезды. Из этих лучезарных путников он немногих знал по именам, но некоторые были ему знакомы и милы, в особенности семизвездие, которое показал ему некогда отец и которое теперь напоминало ему о родине. Как было там тихо и мирно, и как бурно билось теперь его встревоженное сердце!

— Иди спать, уже начинается второй час! — крикнул ему император.

— Уже? — спросил он, и когда он думал о том, как скоро ему придется выполнить то, чего требовал от него Вер, и затем смотрел снова на небо, то ему казалось, будто все звезды над его головой сорвались с синего свода и в диком беспорядке, сталкиваясь одна с другою, кишат между небом и морем.

В волнении он закрыл глаза, затем пожелал спокойной ночи императору, зажег факел и при его колеблющемся свете спустился с обсерватории вниз.

Это легкое сооружение для ночных работ императора построил Понтий. Оно состояло из дерева и нильского ила и поднималось в виде высокой башни на фундаменте из каменных плит, принадлежавших прежней обсерватории; будучи расположено среди низких кладовых дворца, оно давало возможность свободно обозревать небо во всех направлениях.

Даже после того, как Адриан открыл александрийцам, свое инкогнито, он предпочел эту вышку большой обсерватории в Серапейоне, с которой открывался еще более обширный горизонт, так как он любил наблюдать небосвод один и без помехи.

Спустившись из новой, узкой, в старую, более обширную башню, Антиной присел на одной из нижних ступеней лестницы, чтобы собраться с мыслями и успокоить свое громко бившееся сердце.

Он снова предался бесплодным размышлениям.

Время проходило, и между настоящим моментом и предстоявшим ему действием оставалось только половина или три четверти часа. Это он сказал самому себе, и его ленивый мозг начал работать энергичнее и внушил ему мысль притвориться больным и позвать императора к своей постели. Но ведь Адриан был врач и должен был узнать, что Антиной здоров; а если бы Адриан все-таки поддавался обману, Антиной, оказался бы обманщиком.

Эта мысль наполнила его отвращением к самому себе и страхом перед будущим. Однако же она была единственной мыслью, подававшей надежду на успех. Вскочив от тревожного волнения и бегая взад и вперед между амбарами, он не мог придумать никакого другого плана.

Как быстро летели минуты!

Третий час пополуночи был совсем близко, и Антиною едва оставалось еще время для того, чтобы поспешить во дворец, броситься в постель и позвать к себе Мастора.

Растерявшись от волнения, качаясь, как пьяный, он побежал назад к старой башне, к стене которой прислонил свой факел, и посмотрел вверх на каменные ступени.

И вот в его уме пробежала мысль подняться по ним и затем броситься вниз.

Какое значение имеет он со своей ничтожной жизнью?

Его падение, его крик вызовут императора вниз с обсерватории, и то, что он не оставит своего окровавленного любимца без перевязки, без ухода, это Антиной знал, на это он положительно мог рассчитывать. Затем, находясь у его постели, Адриан окружил бы своими заботами, может быть, умирающего, но не обманщика.

Решившись на самое крайнее средство, Антиной крепче стянул пояс, охватывавший его хитон над бедрами, и еще раз вышел на воздух, чтобы, взглянув на небо, определить час. Он увидел серп убывающей луны, той самой луны, полный круг которой отражался в море, когда он бросился в воду для спасения Селены. В его уме ясно выступил образ бледной девы. Ему казалось, будто он снова держит ее в своих объятиях, видит ее лежащей на постели и вновь прикасается губами к ее холодному лбу. Затем это видение внезапно исчезло, и на его место явилась страстная тоска по Селене, и он сказал себе, что не может расстаться с жизнью, не повидав ее еще раз.

В нерешимости он огляделся вокруг. Перед ним стояла самая большая из прилегавших к обсерватории кладовых.

С факелом в руке он прошел мимо ее отворенной двери. В этом обширном помещении сложены были ящики и сундуки, пакля, льняное семя, солома, рогожи, служившие для упаковки мебели, посуды и художественных произведений, которые недавно были доставлены для украшения дворца. Это он знал, и когда он снова посмотрел на звезды и увидал, что второй час пополуночи совсем уже приближается к концу, то в его уме блеснула страшная мысль, и без раздумья, не задавая себе вопроса о по-

следствиях, он бросил факел в открытое и до самой крыши наполненное горючим материалом строение.

Скрестив руки, неподвижный Антиной наблюдал быстро разгоравшееся пламя, поднимающийся дым, борьбу и спокойное, неравномерное, кружащееся, подобно вихрю, смешение черного чада со светом пламени, победу огня и его языки, вырывавшиеся из всех отверстий сарая.

Запылала уже крыша из пальмовых стволов и камыша, когда Антиной с громким криком: «Пожар, пожар, горим!» — бросился в башню и вбежал по ступеням, которые вели в обсерваторию царственного астронома.

Пир, который давал Вер в ознаменование дня своего рождения, затянулся далеко за полночь.

Кроме знатных и ученых римлян, сопровождавших императора в Александрию, в числе гостей претора были и знаменитейшие александрийцы.

Великолепный ужин давно уже кончился, но кувшин за кувшином все еще наполнялись и осушались.

Роль распорядителя пиршества гости единогласно предоставили самому Веру. Украшенный великолепным венком, он покоился на ложе собственного изобретения, сложенном из четырех тюфяков и усыпанном лепестками роз. Занавес из газа защищал его от комаров и мух, ковер, сплетенный из стеблей и цветов лилии, покрывал его ноги и веял ароматом на него и на прекрасную певицу, возлежавшую рядом с ним.

Прелестные мальчики, наряженные амурами, прислуживали ему, ловя каждый взгляд «поддельного Эрота».

Как лениво покоился он на мягких подушках!

Однако же он зорко следил за всем и, если при устройстве пиршества он приложил немало изобретательности, то во время его сохранял всю свойственную ему предусмотрительность.

Так же, как на пирах, которые Адриан устраивал в Риме, здесь сначала авторы читали краткие отрывки из своих новых трактатов и стихотворений; затем следовало представление веселой комедии, далее Гликера, знаменитейшая певица в городе, звонким, как колокольчик, голосом пропела под аккомпанемент арфы дифирамб, а виртуоз Александр исполнил музыкальную пьесу на тригоне. Наконец в залу влетел рой танцовщиц и тотчас закружился под звуки тамбурина и двойных флейт.

За каждым новым представлением следовало громкое

одобрение. Каждая новая кружка вина вызывала новую бурю веселья; запах цветов и ароматических эссенций, курившихся на красивых алтарях, становился гуще.

Вино, изливавшееся в честь богов на каменный пол, уже образовало большие лужи, крики заглушали музыку и пение, веселый пир превратился в оргию.

Вер поощрял молчаливых и праздных к деятельному участию в общем удовольствии и подстрекал шумно веселившихся к все более и более необузданному разгулу. При этом он пил с каждым, кто провозглашал его здоровье, весело разговаривал с находившейся возле него певицей, бросал в молчаливые группы какое-нибудь воспламеняющее шутливое слово и одновременно показывал возлежавшим близ него на ложах ученым, что он по возможности принимает участие в их разговорах.

Александрия, место соединения наук Востока и Запада, видела пиры, не похожие на эту грубую оргию!

Умный, серьезный разговор и на этот раз служил приправой к общей трапезе кружка людей, принадлежавших к Музею; однако безумная роскошь Рима проложила себе путь в дома александрийских богачей, и даже благороднейшие приобретения человеческого ума незаметно превратились в средства для наслаждения. Человек был философом, чтобы обладать победоносной диалектикой и принимать участие во всяких беседах; но во время пира какой-нибудь хорошо рассказанный анекдот возбуждал гораздо больше внимания, чем глубокая, побуждавшая к размышлению мысль, требовавшая тонкого ответа.

Какой шум и гам, какие крики раздавались в зале во втором часу пополуночи! Как стеснены были легкие подавляющими испарениями, какие отвратительные сцены оскорбляли зрение, с каким бесстыдством попирались ногами нравственность и приличия! Ядовитое веяние разнузданной чувственности снесло прочь прекрасную сдержанность греческой природы, и из тумана винных паров, окутывавшего этот хаос бесновавшихся бражников, медленно поднимался бледный дух похмелья, косясь на жертвы следующего утра.

Ложа, на которых возлежали Флор, Фаворин и их александрийские друзья, казались как бы островом среди бушующего моря оргии. Здесь тоже усердно осушались кубки, и Флор говорил уже заплетающимся языком, но все-таки здесь преобладала беседа.

Два дня назад император посетил Музей и вел там

научный разговор с самыми выдающимися учеными перед собравшимся кругом их учеников.

Наконец завязался настоящий диспут.

Достойна удивления была остроумная диалектическая ловкость, с какой Адриан, говоривший на чистейшем аттическом наречии, сумел загнать противников в тупик.

Император оставил знаменитое ученое учреждение, дав своим оппонентам обещание в скором времени сразиться с ними снова.

Философы Панкрат и Дионисий так же, как и вполне трезвый Аполлоний, рассказывали об отдельных эпизодах этого замечательного поединка умов и расхваливали изумительную память и находчивость императора в возражениях.

— А между тем вы видели его не в лучшие его минуты! — вскричал галльский софист и ритор Фаворин. — Он получил от оракула угрожающее предсказание, и звезды, по-видимому, подтверждают его. Это портит ему настроение. Говоря между нами, я знаю некоторых людей, превосходящих его в диалектике, но в свои веселые часы он непреодолим, да, непреодолим. С тех пор, как мы примирились с ним снова, он относится ко мне, как брат. Я защищаю его против каждого, потому что, как я уже сказал, Адриан мой брат.

При этих хвастливых словах галл с вызывающим видом посмотрел горящими глазами кругом. В опьянении он бледнел, становился обидчивым, хвастливым и очень разговорчивым.

— Ты прав, — отвечал ему Аполлоний. — Но нам показалось, что он был язвителен в споре. Его глаза были более мрачны, чем веселы.

— Он мой брат, — повторил Фаворин. — А что касается его глаз, то, клянусь Геркулесом, я видел их блистающими, как яркое солнце и весело мерцающие звезды! А его рот! Я знаю его. Он мой брат, я бьюсь об заклад, что в то время, как он снизошел до того, чтобы с вами — это слишком комично, — чтобы с вами спорить, в каждом уголке его рта смеялся сатир, так... посмотрите только сюда... Так смеялся!

— Я остаюсь при своем мнении. Он показался нам более угрюмым, чем веселым, — повторил Аполлоний с досадой, а Панкрат прибавил:

— Если он в самом деле умеет шутить, то, право, он не дал заметить этого.

— Не понимай дурно моих слов, — засмеялся галл. —

Вы его не знаете, но я его брат и имею право быть везде, где находится он. Вот я вам расскажу два-три анекдота о нем. Если бы я хотел, то мог бы описать его нутро, точно оно лежит на поверхности вина в моем кубке. Итак, слушайте. Однажды он осматривал в Риме вновь отделанные термы Агриппы и увидел в аподитериуме¹ одного старика-ветерана, который где-то сражался вместе с ним. Моя память возбуждает большое удивление, а его память немногим уступает моей. Император, конечно, узнал ветерана и подходит к нему. Старик назывался Скавром... да, да, Скавром. Он не сразу узнал цезаря; рубцы от ран у него горели после ванны, и он тер свою спину о грубый камень какого-то столба. Адриан спросил его: «Зачем трешься о камень, друг мой?» И Скавр, не оборачиваясь к нему, отвечал: «Затем, что у меня нет раба, чтобы позаботиться об этом». Послушали бы вы, как засмеялся император. Щедрый, каким он бывает временами,— я говорю, временами,— он сейчас же подарил Скавру порядочную сумму денег и двух хороших рабов. Слух об этой истории быстро распространился; и когда этот человек, которого вы считаете не способным шутить, через некоторое время вновь пришел в баню, на его пути тотчас же встали два солдата, начали тереть свои спины о стену, как Скавр, и закричали императору: «Великий цезарь, у нас нет рабов!» «Так трите друг друга»,— сказал император и пошел дальше.

— Превосходно! — засмеялся Дионисий.

— Теперь еще другая правдивая история,— прервал его словоохотливый галл.— Однажды к Адриану пристал какой-то седоволосый человек, прося милостыню. Это был негодяй, паразит, который переходил от одного стола к другому и кормился на счет чужого кошелька и из чужих мисок. Император знает людей и прогнал его. Тогда этот попрошайка, чтобы не быть узнанным, выкрасил свои седые волосы в темный цвет и попытался подойти к императору вторично. Но глаза Адриана зорки. Он указал просителю на дверь и сказал при этом с самой серьезной миной: «Недавно я уже отказал в подаении твоему отцу». В Риме ходит множество историй о подобных шутках императора, и, если вы желаете, я расскажу вам еще целую дюжину их.

— Ну, рассказывай нам свои истории. Это все мои старые знакомые,— проговорил Флор заплетающимся языком.— А пока Фаворин болтает, мы можем пить.

Галл презрительно посмотрел на римлянина и быстро возразил:

— Мои речи чересчур хороши для пьяных.

Флор начал придумывать ответ, но прежде чем нашел его, приближенный раб Вера вбежал, крича:

— На Лохиаде пожар, во дворце императора...

Вер бросил с ног покрывало из лилий, разорвал по полам защищавшую его газовую сетку и крикнул захватившемуся слуге:

— Колесницу, сейчас колесницу! До свидания, до какого-нибудь другого вечера. Благодарю вас, друзья, благодарю за честь, которую вы оказали мне; я должен ехать на Лохиаду.

Одновременно с Вером, который, не набросив даже паллия, быстро исчез из залы и разгоряченный, как был, выбежал на прохладный ночной воздух, вскочила и большая часть гостей и оставила дом, чтобы посмотреть на зарево и послушать новости. Только очень немногие из них отправились на место пожара, чтобы помочь.

Многие сильно опьяневшие бражники остались на своих ложах.

Когда Фаворин и александрийцы поднялись со своих подушек, Флор вскричал:

— Никакой бог не вытащит меня отсюда, если бы даже сгорел и весь дом, и Александрия, и Рим, да, пожалуй, и все местечки и страны на земле. Пусть горит все! Римская империя все равно не может стать более великой и совершенной, чем при императорах. Пусть все горит, как куча соломы, мне это безразлично, я останусь здесь и буду пить.

На сцене прерванного пира царствовал невообразимый беспорядок. Вер между тем спешил к Сабине, чтобы известить ее о случившемся.

Бальбилла первая заметила пожар и даже в самом его начале, когда после прилежной ночной работы, перед тем как лечь в постель, посмотрела на море. Она тотчас же поспешила из дома, крикнула «Пожар!» и принялась искать какого-нибудь слугу, чтобы велеть ему разбудить Сабину.

Вся Лохиада сияла пурпурным и золотым пламенем. Она составляла ядро широко раскинувшегося нежно-розового сияния, яркость и объем которого то уменьшались, то увеличивались.

Вер нашел поэтессу у двери, которая вела из сада в покой императрицы. На этот раз он не обратился к ней с обычным приветствием, а только торопливо спросил:

— Уведомлена ли Сабина?..

— Кажется, еще нет.

— Так вели разбудить ее. Поклонись ей от меня. Я должен отправиться на Лохиаду.

— Мы поедем вслед за тобой.

— Оставайтесь здесь; там вы будете мешать.

— Я займу очень мало места и поеду с тобой. Какое великолепное зрелище!

— Вечные боги! Пламя поднимается также и ниже дворца, у гавани императоров. Куда это запропастились колесницы.

— Возьми меня с собой!

— Нет, ты должна разбудить императрицу.

— А Луцилла?

— Вы, женщины, останетесь там, где находитесь.

— Что касается меня, то, разумеется, нет. Императору, надеюсь, не грозит опасность?

— Едва ли. Старые плиты не могут сгореть.

— Посмотри только, как это великолепно! Небо превращается в пурпурный шатер. Прошу тебя, Вер, позволь мне сопровождать тебя.

— Нет, прекраснейшая! Там нужны мужчины!

— Как ты неласков.

— Наконец-то! Вот подъезжает колесница. Вы, женщины, оставайтесь здесь. Ты поняла меня?

— Я не позволю никому приказывать мне и отправлюсь на Лохиаду.

— Чтобы видеть Антиноя в пламени?.. Подобное зрелище представляется не каждый день,— вскричал Вер, вскакивая на колесницу и схватывая вожжи.

Бальбилла топнула ногой с досадой.

Она пошла в комнаты Сабины и окончательно решила отправиться на место пожара.

Императрица не впускала к себе никого, пока не была одета, даже Бальбиллу. Служанка сообщила, что хотя Сабина и встанет, но ее здоровье не позволит ей выехать среди ночи.

Поэтесса пошла затем к Луцилле и попросила ее ехать с ней на Лохиаду. Луцилла тотчас же выразила свою готовность; но когда она услышала, что ее муж желает, чтобы женщины оставались в Цезареуме, то объявила, что она должна повиноваться ему, и попыталась удержать свою подругу. Однако упрямая кудрявая головка твердо решила исполнить свое желание именно потому, что Вер запретил ей это, да еще и с насмешкой.

После краткого объяснения со своей подругой она

оставила Луциллу и пошла к компаньонке. Она рассказала Клавдии, в чем дело, самолично отдала распоряжение управляющему приготовить колесницу и приехала к горевшему дворцу часа через полтора после Вера.

Необозримая, многоголовая толпа запрудила узкую приматериковую часть Лохиады и гавань у ее подножия, где несколько складов и верфей были объаты пламенем.

Бесчисленное множество судов кишело вокруг. С громкими криками и с громадными усилиями пытались вывести в море и убрать в безопасное место большие суда, ставшие на якорь в императорской гавани. Вдоль и вширь все было ярко освещено, как днем, но только красноватым, беспокойным светом. Норд-ост дул на огонь, затрудняя работу тушителей, и выбрасывая жаркое пламя. Каждый горевший сарай превратился в гигантский факел и на дальнейшее расстояние освещал ночную тьму. Белый мрамор высочайшего маяка на острове Фаросе¹ принял красноватый оттенок, но огонь на вершине его башни, видный обыкновенно издалека, казался бледным и лишенным света. Темные корпуса больших кораблей и рои лодок вдали были окружены огненным мерцанием, а спокойное море у берега как зеркало отражало пожар, заливавший всю окрестность Лохиады.

Бальбилла не уставала восторгаться зрелищем этой яростной борьбы самых фантастических красок между собой и самого яркого света с глубочайшей тенью. У нее было время созерцать эту чудную картину, потому что ее колесница подвигалась вперед очень медленно, а там, где улица направлялась от царской гавани к дворцу, ее остановили ликторы и объявили решительно, что дальше пробраться невозможно.

Лошадьми, испуганными заревом пожара, и теснившейся вокруг них толпой, едва можно было управлять. Они поднимались на дыбы и били задними копытами в кузов колесницы. Возница объявил, что не может уже ни за что ручаться.

Поспешивший на помощь народ обменивался замечаниями насчет женщин, которым нечего здесь делать и которым лучше бы сидеть за прялкой, чем загоразживать дорогу добрым людям.

— Днем довольно времени для прогулок! — вскричал один гражданин, а другой прибавил:

— Если вон той попадет искра в локоны, то произойдет лесной пожар!

Положение поэтессы становилось с каждой минутой

все невыносимее, и теперь она сама приказала вознице повернуть назад. Но на улице, кишевшей народом, это было легче приказать, чем исполнить. Одна из лошадей разорвала ремень, прикреплявший ярмо к дышлу, прыгнула в сторону и потеснила попятившуюся толпу.

Бальбилла хотела соскочить с колесницы, но Клавдия вне себя от страха крепко вцепилась в нее, умоляя не оставлять ее на произвол судьбы среди гибели.

Избалованная патрицианка не была боязлива, но на этот раз горько сожалела о том, что не послушалась Вера. Сначала она подумала: «Очень милое приключение, однако же оно будет совсем прекрасно только тогда, когда кончится»; но потом ее отважный поступок потерял для нее всякую прелесть, и она стала в нем раскаиваться. Она уже была ближе к слезам, чем к смеху, когда низкий мужской голос позади нее крикнул повелительно:

— Место для насосов! Отбросить в сторону все, что загорает дорогу!

Эти ужасные слова заставили Клавдию упасть на колени, но они дали новые крылья сломленному мужеству Бальбиллы.

Она узнала голос архитектора Понтия.

Он, верхом на лошади, остановился прямо сзади ее колесницы.

Значит, это был тот самый всадник, которого Бальбилла видела скачущим от моря к горящим амбарам. и обратно.

Она повернулась к нему и окликнула его по имени.

Он узнал ее, попытался заставить своего коня, рвавшегося вперед, стоять смирно, с улыбкой покачал головой, как будто желая сказать этим: «Она сумасшедшая и заслуживает головной боли, но можно ли сердиться на нее?» — и тут же отдал сопровождавшим его полицейским следующие приказания, как будто Бальбилла была каким-нибудь тюком товара, а не знатной наездницей.

— Отпрягите лошадей, мы можем возить на них воду. Помогите женщинам выйти из колесницы. Возьмите их под свою охрану, Нонн и Лукан! Теперь оттолкните колесницу туда, в кустарник! Очистить место там, впереди! Место для наших насосов!

Каждое из этих приказаний было немедленно исполнено, как будто их отдавал какой-нибудь главнокомандующий хорошо вышколенным солдатам.

Когда пожарные трубы потащили вперед, Понтий подъехал вплотную к Бальбилле и сказал:

— Император в безопасности. Что касается тебя, то тебе хотелось бы видеть пожар вблизи; да и в самом деле цвета вон там великолепны. У меня нет времени отвезти вас назад в Цезареум. Идите за мной. Вон там, по той стороне, в каменном доме портового сторожа, вы будете в безопасности и можете с крыши видеть Лохиадский дворец и весь полуостров. У тебя будет редкое зрелище перед глазами, благородная Бальбилла; но прошу тебя не забывать при этом, сколько дней честного труда, какие богатства, сколько имущества, приобретенного тяжелым и прилежным трудом, погибают в этот час. То, что служит тебе развлечением, будет многим стоить горьких слез. Поэтому будем надеяться, что это зрелище достигло теперь высочайшей точки своего блеска и скоро кончится.

— Я надеюсь и желаю этого от всего сердца! — вскричала девушка.

— Я это знал. Я навещу вас, как только будет можно. Вы, Нонн и Лукан, проведете этих знатных женщин в дом портового сторожа. Скажите ему, что они близкие приятельницы императрицы. Куда это везут насосы? До свидания, Бальбилла.

С этими словами архитектор ослабил поводья лошади и стал прокладывать себе путь через толпу.

Через четверть часа девушка стояла на крыше каменного домика. Клавдия, совершенно истомленная и неспособная выговорить ни одного слова, осталась в душевной комнате сторожа и уселась на деревянной скамейке.

Молодая римлянка смотрела теперь на пожар другими глазами, чем прежде. Понтий рассказал ей об уроне, нанесенном пламенем, которое незадолго перед тем приводило ее в восторг, высоко поднимаясь к небу. Оно было еще довольно сильно, когда Бальбилла взошла на кровлю, но скоро ему, по-видимому, стало все труднее и труднее бороться с черным дымом, поднимавшимся с места пожара.

Бальбилла искала глазами архитектора и вскоре нашла его, так как человек на лошади возвышался над толпой.

Он останавливался то у одного, то у другого из горевших амбаров; однажды она совсем потеряла его из виду: в это время он был на Лохиаде. Затем он показался снова. И везде, где он останавливался некоторое время, сила огня ослабевала.

Бальбилла не заметила, что ветер повернул совсем в

другую сторону. Затем наступило затишье и стало теплее. Это помогло тушившим пожар гражданам, но девушка приписывала только распорядительности своего энергичного друга то, что огонь во многих местах ослабевал, а в других и совсем погас.

Один раз она видела, как он велел сломать строение, отделявшее горевший сарай от нескольких оставшихся нетронутыми огнем кладовых, и поняла цель этого распоряжения. Он отрезал дорогу пламени.

В другой раз она увидела Понтия на холме, перед ним стоял охваченный ярким пламенем сарай, в котором хранились канаты и бочки. Понтий повернулся к Бальбилле и спокойно стал давать решительные указания.

Его фигура и конь, беспокойно гарцевавший под ним, были окружены ярко-красным светом. Великолепная картина! Девушка дрожала за него, она удивлялась этому неустрашимому, энергичному, твердому человеку. И когда горевшая балка обрушилась близко возле него и он заставил своего пугливого коня, который начал было кружиться с ним вместе, снова повиноваться поводу, то она вспомнила насмешку претора, будто она настаивает на своем желании ехать на Лохиаду с целью наслаждаться видом Антиноя, охваченного пламенем.

Теперь она восторгалась более достойным зрелищем; однако же ее живая фантазия, которая иногда, даже вопреки ее воле, придавала формы ее неопределенным мыслям, представила ей образ прекрасного юноши, окруженного ярким сиянием.

Час проходил за часом, старания тысяч людей, тушивших пожар, увенчивались все большим успехом; вспыхивавшие то там, то сям огни были один за другим если не совсем погашены, то заглушены. На Лохиаде уже вместо пламени поднимался в вышину только черный дым, перемешанный с искрами, а Понтий все еще не появлялся, чтобы осведомиться о Бальбилле.

Она не видела ни одной звезды, потому что небо заволокло тучами. Ей было холодно, и продолжительное отсутствие друга начало вызывать в ней досаду.

Пошел сильный дождь. Она по лестнице спустилась с крыши и села в комнате портового сторожа у огня, возле своей заснувшей спутницы. Бальбилла уже не менее получаса мечтательно глядела на согревающее пламя, когда услышала топот копыт, и явился Понтий. Его лицо почернело от копоти, а голос охрип от приказаний, которые архитектор отдавал в течение нескольких часов.

Увидев его, поэтесса забыла свою досаду, приветливо поздоровалась с ним и сказала ему, что наблюдала каждое его движение. Но эта живая и легко одушевлявшаяся девушка теперь могла только с трудом произнести несколько слов для выражения похвалы, которую возбуждал в ней его образ действий.

Поняв по голосу Понтия, что у него пересохло во рту и что он нуждался в каком-нибудь освежительном питье, Бальбилла, которая в иное время приказывала рабам подавать каждую понадобившуюся ей булавку и которой судьба не подарила никого, кому она охотно могла бы услужить, теперь собственноручно зачерпнула из большого, стоявшего в углу глиняного кувшина чашку воды и подала Понтию.

Он жадно выпил живительную влагу, а когда маленькая чашка опорожнилась, Бальбилла молча взяла ее у него из рук, снова наполнила и подала ему.

Госпожа Клавдия, проснувшись при входе архитектора, с удивлением покачивая головой, смотрела на эту неслыханную услужливость своей питомицы. Выпив третью чашку, которую ему подала Бальбилла, Понтий сказал, глубоко переводя дух:

— Вот это напиток! Во всю мою жизнь ни один не был мне и в половину так вкусен.

— Мутная вода из скверного глиняного сосуда, — засмеялась девушка.

— И все-таки она показалась мне лучше библосского вина¹ в золотом кубке.

— Ты заслужил ее, и жажда придает вкус самому скромному напитку.

— Ты забываешь руку, которая подала его! — вскричал архитектор с горячим воодушевлением.

Тут Бальбилла покраснела и смущенно опустила глаза, но лишь на мгновение. Затем она подняла голову и сказала весело и беззаботно, как всегда:

— Значит, тебя угостили великолепным питьем; а теперь ты отправишься домой, и трубочист снова превратится в великого архитектора. Но прежде я попрошу тебя рассказать, какое божество привело тебя сюда как раз вовремя из Пелузия, каким образом произошел пожар и что творится во дворце на Лохиаде.

— У меня мало времени, — отвечал Понтий и рассказал наскоро, что по окончании предварительных работ в Пелузии он возвратился с императорской почтой в Александрию. Выйдя из повозки на почтовой станции, он за-

метил зарево над морем и узнал от одного раба, что это пожар на Лохиаде. На почтовой станции было множество лошадей. Он выбрал из них одну лучше и прискакал во дворец, прежде чем началась давка. Как произошел пожар — это пока остается нерасследованным.

— Император, — сказал он, — наблюдал небо, когда в одном из амбаров возле обсерватории вспыхнул огонь. Антиной первый заметил это несчастье. Он закричал «Пожар!» и уведомил Адриана. Я нашел повелителя в сильном возбуждении. Он поручил мне руководить тушением пожара. На Лохиаде мне помогал Вер и с такой отвагой, с таким умением, что я должен извиниться перед ним во многом. Самого императора задержал во дворе его любимец, потому что бедный юноша обжег себе руки.

— Ах! — вскричала Бальбилла с искренним сожалением. — Как же это случилось?

— Спускаясь в первый раз с башни, Адриан и Антиной захватили с собой столько инструментов и бумаг, сколько в состоянии были унести. Сойдя вниз, император заметил, что оставил на столе таблицы с важными заметками, и высказал свое сожаление на этот счет. Между тем огонь уже захватил легкое стросние новой обсерватории, и проникнуть в нее казалось невозможным. Но вифинский мечтатель иногда пробуждается от своих грез, и, в то время как император с беспокойством смотрел на горевшие пуки льняной пакли, уносимые ветром в гавань, смелый юноша кинулся в горящее строение, сбросил таблички с верха обсерватории вниз и побежал по лестнице обратно. Впрочем, отважный поступок стоил бы бедняге жизни, если бы прибежавший в это время раб Мастор не вынес Антиноя на открытый воздух с каменных ступеней старого здания, на котором стоит новая башня. Он лежал в верхней части его в обмороке.

— Но он жив, этот прекрасный, подобный богам юноша, и находится вне опасности? — вскричала обеспокоенная Бальбилла.

— Он чувствует себя хорошо. Он только обжег руки, как я уже сказал, и немного опалил волосы, но они ведь отрастут снова.

— Мягкие, прелестные кудри! — вскричала Бальбилла. — Пойдем домой, Клавдия. Садовник срежет нам великолепный букет из роз, и мы пошлем его Антиною, чтобы порадовать его.

— Цветы мужчине, который не просит их? — спросил серьезным тоном Понтий.

— Чем же другим следует награждать вашу доблесть и воздавать почтение вашей красоте?

— Честный поступок награждается нашим собственным сознанием, а прекрасное деяние — лавровым венком из рук людей, призванных судить о нем.

— А красота?

— Красота женщин приносит им восторженное удивление, порой также любовь и цветы; красота мужчин может радовать глаз, но задача воздавать ей честь не принадлежит смертной женщине.

— Кому же, если ты позволяешь мне задать такой вопрос?

— Искусству, которое увековечивает ее.

— Но розы послужили бы утешением и радостью для страдающего юноши.

— Так пошли их больному, а не красивому мальчику, — резко возразил Понтий.

Бальбилла замолчала и последовала со своей спутницей в гавань за архитектором. Там он расстался с ними и усадил их в лодку, которая отвезла их через пролет моста Гептастадиона в Цезареум.

На пути молодая римлянка сказала своей спутнице:

— Понтий своими разговорами отбил у меня охоту посылать розы. Больной все-таки остается прекрасным Антиномом, и если бы кто-нибудь мог вообразить... Я делаю, что мне нравится, а все-таки лучше не заказывать букета садовнику.

Город был вне опасности, пожар начал утихать.

До самого полудня у Понтия не было покоя.

Лошади под ним выбились из сил и были заменены свежими, но его крепкое тело и здравый ум не поддавались усталости.

Как только он смог считать свою задачу выполненной, он отправился домой. Ему нужно было немного отдохнуть, но уже в передней своей квартиры он нашел множество людей.

Человек, живущий общественной жизнью и стоящий во главе крупных предприятий, не может безнаказанно отлучиться на несколько дней из своего дома. За это время накопилось множество требований, и теперь вся масса их хлынула на вновь прибывшего, подобно реке из отворенных ворот шлюза, которые ее задерживали.

По крайней мере двадцать человек, услышав о воз-

вращении архитектора, ожидали его в передней и кинулись к нему, как только он показался.

Он видел, что некоторые из них пришли по важным делам, но чувствовал, что дошел до крайней степени своих сил, и решился дать себе несколько часов отдыха во что бы то ни стало.

Обыкновенно спокойная, рассудительная натура этого серьезного человека не выдержала этого напора нетерпеливых требований, рассчитанных на его неутомимую энергию. Сердясь, жалуясь, негодуя, он указал на свое почерневшее от копоти лицо и, прокладывая себе путь через толпу ждавших его людей, вскричал:

— Завтра, завтра, даже, если уж это так необходимо, сегодня вечером, после заката солнца! Но теперь я нуждаюсь в отдыхе, отдыхе, отдыхе! Вы ведь сами видите, в каком я состоянии.

Все, даже надсмотрщики за постройками и поставщики, явившиеся по самым неотложным делам, отступили; только один старик, домоправитель сестры Понтия, Павлины, удержал его за закоптевший от дыма и во многих местах прожженный хитон и быстро проговорил тихим голосом:

— Моя госпожа кланяется тебе. Ей нужно с тобой поговорить о некоторых вещах, не терпящих отлагательства. Я не смею оставить тебя, прежде чем ты дашь мне обещание навестить ее сегодня. Наша колесница ждет тебя у ворот сада.

— Отошли ее домой, — возразил Понтий не совсем ласковым тоном. — Павлина может потерпеть.

— Мне приказано привезти себя к ней тотчас же.

— Но в таком состоянии, так... так я не могу приехать, — вскричал архитектор запальчиво. — Неужели вы не хотите ни с чем считаться... А впрочем... Кто может знать... Скажи ей, что через два часа я буду у нее.

Отделавшись и от этого посетителя, Понтий принял ванну. Затем он велел подать себе закуску, но даже во время еды и питья он не оставался праздным. Он читал полученные в его отсутствие письма и рассматривал некоторые рисунки, сделанные его помощниками.

— Поспи хоть часочек, — упрашивала старая ключница, его бывшая кормилица, любившая его как родного сына.

— Я должен ехать к сестре, — отвечал он, пожав плечами.

— Да ведь мы знаем ее, — возразила старуха. — Она

посылает за тобой из-за каждого пустяка, а ты нуждаешься в отдыхе. Хорошо ли я положила тебе подушку? Скажи сам: не живется ли легче, чем тебе, последнему из твоих каменщиков? Ты даже во время еды не даешь себе отдыха. Бедная твоя головушка, она никогда не знает покоя; твои ночи превращаются в дни, ты должен работать, и опять всегда работать. Желательно бы только знать, для кого?

— Да, для кого? — вздохнул Понтий, подкладывая руку под голову. — Видишь ли, мать моя, за работой должен следовать отдых так же неизменно, как ночь за днем, как лето за зимой. У кого в доме есть что-нибудь дорогое его сердцу, например, хорошая жена и веселые дети, которые украшают время отдыха и делают это время лучшими часами дня, тот поступает умно, когда старается продлить эти часы, но со мной дело обстоит иначе.

— Почему же иначе, мой Понтий?

— Дай мне договорить. Ты ведь знаешь: ни болтовня в банях, ни продолжительное возлежание за трапезой не доставляют мне удовольствия. Во время перерывов в работе я остаюсь наедине с самим собой и с моей превосходной старухой Левкиппой. Часы отдыха для меня не прекраснейшие сцены, а пустые антракты на арене жизни, и потому ни один здравомыслящий человек не упрекнет меня за то, что я стараюсь наполнить их полезной работой.

— Что же следует из этой разумной речи... Только то, что тебе следует жениться.

Понтий вздохнул, а Левкиппа вскричала с жаром:

— Тебе не придется искать. Знатнейшие отцы и матери будут гоняться за тобой и приведут к нашим дверям прекраснейшую из своих дочерей.

— Девушку, которой я не знаю и которая, может быть, только испортит мои антракты, тогда как теперь я по крайней мере употребляю их с пользой.

— Говорят, — возразила старуха, — женитьба — это игра в кости. Одному выпадает много, другому мало очков. Одному достается жена, подобная трудолюбивой пчеле, другому — надоедливая муха. В этом есть некоторая доля правды; но я прожила жизнь с открытыми глазами и видела часто, что многое в браке зависит также и от мужа. Такой человек, как ты, сделает и из мухи пчелу, которая приносит в дом мед. Разумеется, выбирать надо осмотрительно.

— Каким же образом?..

— Нужно прежде всего посмотреть родителей, а потом уже дочь. Девушка, окруженная добрыми нравами в доме разумного отца и добродетельной матери...

— Где же я найду такое чудо в этом городе? Нет, вст, Левкиппа, все должно остаться пока по-старому. Мы оба исполняем свой долг, мы оба довольны друг другом...

— А время летит,— прервала своего господина ключница. — Тебе скоро будет тридцать пять лет, а девушки...

— Оставь их, оставь их! Они найдут других мужей. А теперь пошли ко мне Сира с башмаками и паллием и вели доставить носилки. Павлина ждет меня уже достаточно долго.

Путь от жилища архитектора до дома его сестры был длинен, и, пока его несли туда, у него было довольно времени для размышлений, но он не думал о совете Левкиппы — жениться. И хотя образ одного женского лица наполнял его сердце и ум, в настоящую минуту он не чувствовал расположения восторгаться прелестным образом Бальбиллы, а скорее с какой-то жестокой пропитательностью мысленно отыскивал в нем все, что противоречило высочайшим требованиям, какие можно предъявить женскому совершенству. Ему было нетрудно найти в этой римской девушке разные недостатки и недочеты, и все-таки он должен был признаться самому себе, что все они неразрывно соединены с ее натурой и что она не осталась бы самой собой, если бы освободилась от них совсем. Каждая из ее слабостей в конце концов казалась этому строгому человеку, выросшему в правилах стоической школы, даже как бы преимуществом.

Он знал, что страдание бросает свою тень на существование каждого человека, но то, которому выпало бы на долю пройти путь жизни вместе с этой лучезарной баловницей счастья, не может, думал он, ожидать ничего, кроме ясного, веселого, солнечного света.

По дороге в Пелузий и даже во время пребывания там он часто думал о ней, и каждый раз, когда ее образ возникал перед его умственным взором, ему казалось, что он чувствует в своем сердце яркий дневной свет.

Встречу с ней он считал величайшим счастьем своей жизни, но добиваться обладания ею он не осмеливался.

Он ценил себя самого и знал, что имеет право гордиться положением, которого достиг собственным трудолюбием, собственными силами. Но она была внучка человека, который имел право продать его деда за деньги. К тому же она была такого высокого происхождения

и полна притязаний, что посвататься к ней ему казалось едва ли не менее смелым, чем спросить у императора, сколько он желал бы получить за свою багряницу. Но охранять, предостерегать ее, восторгаться ее видом и речью он чувствовал себя вправе, и этого счастья никто не мог у него отнять. И она позволяла ему это, она уважала его и давала ему право охранять ее, и он чувствовал это с радостью и благодарностью.

Он с удовольствием снова взял бы на себя необычайные труды последних часов, если бы был уверен, что будет вознагражден за это глотком воды, поданной ее рукой. Одно только право думать о ней и о ее благосклонности казалось ему большим счастьем, чем обладать всякой другой женщиной.

Выходя из носилок перед городским домом своей сестры, он с улыбкой покачал головой как бы в насмешку над самим собой: он признался себе в том, что всю дорогу думал о Бальбилле.

Дом Павлины имел мало окон, выходивших на улицу, однако же его прибытие было замечено.

Из одного окна, окаймленного ползучими растениями, выглядывала прелестная головка какой-то девушки, смотревшей оттуда на уличное движение.

Понтий не заметил ее, но Арсиноя — так как прекрасная головка принадлежала ей — тотчас же узнала архитектора, которого видела на Лохиаде и о котором Поллукс рассказывал ей, называя его своим другом и благодетелем.

Она уже целую неделю жила в доме вдовы Пудента.

У нее не было ни в чем недостатка, однако же она всеми силами своей души стремилась в город: ей хотелось разыскать Поллукса и его родителей, о которых она ничего не слышала со времени смерти отца.

Ее милый, наверное, ищет ее с тревогой и горестью. Но как может он отыскать ее?

Через три дня своего пребывания в новом жилище она обнаружила это маленькое окошечко, из которого могла обозревать улицу.

Там было на что посмотреть, так как улица шла к ипподрому и постоянно была занята пешеходами и колесницами, направлявшимися туда или в Никополь.

Она находила удовольствие в том, чтобы смотреть на прекрасных лошадей и на юношей и мужчин в венках, двигавшихся мимо дома Павлины. Но не единственно ради развлечения подходила она к этому отверстию в сте-

не, обрамленному листвою, нет, она надеялась, что ее милый Поллукс, его отец, мать, брат Тевкр или кто-нибудь из знакомых пройдет мимо ее нового жилища. В таком случае ей, может быть, удалось бы подзвать кого-нибудь из них к себе, спросить, что сделалось с ее друзьями, и попросить сообщить ее жениху, где она находится.

Павлина два раза застала ее у окна, и хотя довольно ласково, но решительно запретила ей смотреть на улицу. Арсиноя без сопротивления пошла за ней во внутренние комнаты; но каждый раз, когда она знала, что Павлины нет дома или что она занята, снова прокрадывалась к окну, и высматривала тех, о которых думала ежеминутно.

Она не считала себя счастливой в своей новой богатой обстановке. Сначала ей очень нравилось лежать на мягких ложах Павлины, не шевеля ни одним пальцем, есть хорошие кушанья, не заботиться о детях, не работать в противной папирусной мастерской, но на третий день она уже затосковала по вольному воздуху, в особенности по детям, по Селене и Поллуксу.

Однажды она с Павлиной выехала на прогулку в закрытой колеснице, в первый раз в своей жизни. Арсиною веселил быстрый бег лошадей, и она наклонилась в сторону, чтобы видеть дома и людей, мелькавших мимо. Но Павлина рассердилась на это, как и на многое другое, что Арсиноя считала приличным и дозволенным, велела ей сидеть прямо и сказала, что порядочная девушка во время прогулок в экипаже должна сидеть, опустив глаза.

Павлина была добра, никогда не горячилась, одевала Арсиною как свою собственную дочь и приказывала прислуге служить ей, как дочери; она целовала ее утром и перед отходом ко сну, и все-таки Арсиноя ни разу не вспомнила о своей покровительнице.

Эта, гордая и при всей своей ласковости холодная особа, которая постоянно наблюдала за Арсиноей, казалась ей чужой женщиной, имевшей над ней власть. Девушка все равно должна была таить от нее прекраснейшие чувства своей души.

Однажды, после того как Павлина со слезами на глазах рассказала ей о своей умершей дочери, Арсиноя расчувствовалась и открыла ей, что она любит ваятеля Поллукса и надеется сделаться его женой.

— Ты думаешь о ваятеле? — спросила Павлина с таким отвращением, точно увидела жабу. Потом начала хо-

дить взад и вперед по комнате и со свойственной ей спокойной решительностью прибавила:

— Нет дитя мое, все это ты должна забыть как можно скорее. Я знаю более благородного Жениха для тебя. Как только ты познакомишься с Ним, ты не пожелаешь никого другого. Видела ли ты хоть одну-единственную статую в этом доме?

— Нет,— отвечала Арсиноя.— Но что касается Поллукса...

— Выслушай меня,— прервала ее вдова.— Разве я не рассказывала тебе о нашем добром Отце на небесах, разве я не говорила тебе, что боги язычников — выдуманные призраки, которых суетные глупцы наделили всеми слабостями и пороками грешных людей... Неужели ты не можешь понять, как безумно поклоняться камням... Какой силой могут обладать фигуры из меди и мрамора, которые так легко могут быть уничтожены? Мы называем их идолами. Кто создает их, тот служит им, тот приносит им жертву, великую жертву, потому что отдает им в услужение свой дух и свои лучшие силы. Поняла ты?

— Нет. Искусство несомненно есть нечто высокое, а Поллукс хороший человек, который во время работы полон божественного духа.

— Постой, постой, ты еще научишься понимать,— возразила Павлина. Она привлекла Арсиною к себе и сначала ласково, а затем более строгим тоном сказала:— Теперь иди спать и моли благого Отца на небе, чтобы Он просветил твое сердце. Ты должна забыть людей, делающих идолов, и я запрещаю тебе упоминать когда-нибудь снова в моем присутствии об этом ваятеле.

Арсиноя выросла язычницей, она любила веселых богов своих предков и, после того как ее печаль о потере отца и разлука с сестрами и братом утратили свою жгучую горечь, снова начала надеяться на более веселые дни в будущем. Она была мало расположена пожертвовать своей любовью и всем земным счастьем ради духовных благ, цены которых совершенно не понимала.

Ее отец постоянно говорил о христианах с ненавистью и презрением. Теперь она видела, что и они могут быть добрыми и помогать ближним; ей нравилось учение о Живущем в небесах Едином, Всеблагом Боге, Который любит людей, как своих детей, но ей казалось безумным и безрассудным постоянно сокрушаться о своих грехах и считать недостойным для себя всякое развлечение и довольствие, которые может дать веселая Александрия.

Какое же серьезное преступление совершила она?

Разве может этот добрый Бог требовать от нее, чтобы она портила себе так много веселых дней раскаянием в том, что, будучи ребенком, полакомилась пирожным, разбила горшок, а впоследствии была иногда упряма?

Конечно, нет!

Далее: разве этот Бог, любящий людей как отец, может гневаться на художника, на доброго честного человека, такого, как ее верзила Поллукс, за то, что он умел изваять такие чудные изображения, например голову ее матери?

Если так, то она в тысячу раз охотнее будет молиться смеющейся Афродите, веселому Эроту, прекрасному Аполлону и всем девяти музам, покровительницам ее Поллукса, нежели этому Богу.

В ее душе зародилась безмолвная антипатия к этой строгой женщине, которую она не могла понять и учение и наставления которой она постигала едва ли даже наполовину. Некоторые слова вдовы, которые легко могли бы найти доступ к ее сердцу, она отстраняла от себя только потому, что они исходили из уст холодной женщины, каждый час пытавшейся наложить на нее какое-нибудь новое обязательство.

Павлина еще ни разу не водила ее на собрания христиан, происходившие на вилле. Она хотела сначала подготовить Арсиною и открыть ее душу для благодати. Ни один из учителей христианской общины не должен был помогать ей в выполнении этой задачи. Она, одна она, должна была приобрести для Спасителя душу этого прекрасного, но упорно блуждавшего по путям язычников создания. Этого требовал договор, который она заключила с Христом. Этим многотрудным деянием она надеялась купить вечное блаженство для своей дочери.

Каждый день она призывала Арсиною в свою комнату, украшенную только цветами и христианскими символами, и посвящала несколько часов обучению девушки. Но ее ученица с каждым днем казалась все более невосприимчивой и рассеянной. Во время бесед с Павлиной Арсиною думала о своем Поллуксе, о сестрах, о слепом Гелиосе, об устраиваемых в честь императора празднествах и о прекрасном уборе, который она носила бы в роли Роксаны. Она спрашивала себя, каким образом повидаться ей с возлюбленным.

То же происходило и во время молитв Павлины, которые часто длились более часа и в которых Арсиною

должна была участвовать по средам и пятницам, стоя на коленях, а в другие дни — с воздетыми к небу руками.

Заметив, что Арсиноя часто посматривает на улицу, ее покровительница подумала, что она угадала причину рассеянности своей ученицы, и дожидалась только возвращения брата, архитектора Понтия, чтобы попросить его уничтожить окно.

Когда архитектор вошел в высокую переднюю своей сестры, его встретила Арсиноя. Щеки ее покраснелись, потому что она поспешила как можно скорее отойти от окна и спуститься в нижний этаж, чтобы поговорить с архитектором, прежде чем он войдет во внутренние комнаты и начнет беседовать с Павлиной.

Она казалась прекрасней, чем когда-либо.

Понтий посмотрел на нее с удовольствием.

Он знал, что уже видел это милое личико, только не мог сразу вспомнить где именно. Тех, с кем мы встречаемся только мимоходом, мы не легко узнаем, если находим их там, где не можем предположить их присутствие.

Арсиноя не дала Понтию заговорить первому. Она загородила ему дорогу, поклонилась и робко спросила:

— Ты уже не узнаешь меня?

— Как же, как же, узнаю, — отвечал архитектор. — Впрочем...

— Я дочь дворцового смотрителя Керавна, на Лохиаде... ты же знаешь...

— Да, да, и тебя зовут Арсиной. Еще сегодня я спрашивал о твоём отце и услышал, к моему огорчению...

— Он умер...

— Бедное дитя! Как все переменилось в старом дворце со времени моего отъезда. Домик привратника исчез, там появился новый управляющий и затем... Скажи мне прежде всего, как ты попала в этот дом?

— Мой отец ничего не оставил после себя, и христиане взяли нас к себе.

— И моя сестра приютила всех вас?

— Нет. Кого взяли в один дом, кого в другой. Мы никогда больше не будем вместе.

При этих словах слезы потекли по щекам Арсиной; но она быстро овладела собой и сказала, прежде чем Понтий успел выразить свое соболезнование:

— Я желала бы попросить тебя об одной вещи. Позволь мне поговорить с тобой, пока нам не мешают.

— Говори, дитя мое.

— Ты, разумеется, знаешь Поллукса, ваятеля Поллукса?

— Конечно.

— И ты был расположен к нему?

— Он славный человек и талантливый художник.

— Да, это правда. И кроме того... могу я сказать тебе все, и желаешь или ты помочь мне?

— Охотно, если это будет в моей власти.

Арсиноя, краснея, с очаровательным смущением тихо проговорила, опустив глаза:

— Мы любим друг друга; я его невеста.

— Прими мое поздравление.

— Ах, если бы уже можно было его принять! Но после смерти отца мы не виделись друг с другом. Я не знаю, где он и его родители и каким образом ему найти меня здесь.

— Так напиши ему.

— Я не умею хорошо писать, а если бы и умела, то мой посланец...

— Так попроси мою сестру разыскать его.

— Нет, нет! Я не смею даже произнести при ней его имя. Она хочет отдать меня другому; она говорит, что искусство ваяния ненавистно богу христиан.

— Она говорит это? Так ты желаешь, чтобы я поискал твоего жениха?

— Да, да, добрый господин. И если ты найдешь его, то скажи ему, что рано утром и около вечера я бываю одна каждый день, потому что в это время твоя сестра всегда уезжает в свой загородный дом для богослужения.

— Значит, ты хочешь сделать меня вестником любви? Более неопытного человека ты не могла бы выбрать.

— Ах, благородный Понтий, если у тебя есть сердце...

— Дай мне высказаться, девушка. Я поищу твоего жениха, и если найду его, то он узнает, где ты теперь находишься; но я не могу пригласить его на свидание с тобой за спиной моей сестры. Он должен открыто явиться к Павлине и посвататься за тебя. Если она ему откажет в своем согласии, я постараюсь походатайствовать за вас перед сестрой. Довольна ты этим?

— Я должна быть довольна. Ты сообщишь мне, не правда ли, куда девались он и его родители.

— Обещаю уведомить тебя об этом. А теперь еще один вопрос: ты чувствуешь себя хорошо в этом доме?

Арсиноя опять в замешательстве опустила глаза, за-

тем покачала головой с выражением энергичного отрицания и быстро вышла из комнаты.

Понтий с участием и состраданием посмотрел ей вслед.

— Бедное, прекрасное создание! — пробормотал он про себя и пошел в комнату сестры.

Домоуправитель доложил о его прибытии, и Павлина встретила брата у порога комнаты.

Там архитектор увидел епископа Евмена, почтенного старца с ясными, кроткими глазами.

— Твое имя сегодня у всех на устах, — сказала Павлина после обычного приветствия. — Говорят, ты в эту ночь совершил чудеса.

— Я вернулся домой совсем измученный, — отвечал Понтий. — Но так как ты желала поговорить со мной безотлагательно, то я сократил время своего отдыха.

— Как мне это прискорбно! — вскричала вдова.

Епископ увидел, что брату и сестре нужно поговорить о делах, и спросил, не мешает ли он.

— Напротив того, — вскричала Павлина. — Дело идет о моей новой питомице, у которой, к сожалению, много вздора в голове. Она говорит, что видела тебя на Лохиаде, мой Понтий.

— Я знаю это прекрасное дитя.

— Да, у нее миловидная наружность, — отвечала вдова. — Но ум ее остался совершенно без образования, и учение ее подвигается плохо, так как она пользуется каждым свободным часом для того, чтобы глазеть на всадников и на колесницы, направляющиеся к ипподрому. При этом она вбирает себе в голову множество бесполезных и развлекающих ее образов; я не всегда бываю дома, и поэтому будет лучше всего, если мы замуруем гибельное окно.

— И чтобы распорядиться этим, ты велела позвать меня?.. — спросил Понтий с досадой. — Мне кажется, с подобным делом справились бы твои рабы и без меня.

— Может быть, но затем стену нужно покрасить заново. Я знаю твою всегдашнюю милую готовность услужить.

— Благодарю. Завтра я пришлю тебе двух хороших работников.

— Нет, сегодня же, если можно.

— Неужели так безотлагательно нужно лишать бедную девочку ее развлечения?.. Притом, мне кажется, она смотрит в окно, чтобы увидеть не всадников и колесницы, а своего жениха.

— Тем хуже. Я ведь тебе говорила, Евмен, что на ней хочет жениться один ваятель.

— Она язычница, — заметил епископ.

— Но на пути к спасению, — возразила Павлина. — Впрочем, мы об этом поговорим после. Нужно потолковать еще кое о чем другом. Залу в моем загородном доме нужно расширить.

— Так пришли мне планы.

— Они лежат в библиотеке моего покойного мужа. Архитектор оставил сестру, чтобы отправиться в хорошо знакомую ему комнату.

Как только епископ остался с Павлиной наедине, он покачал головой и сказал:

— Если не ошибаюсь, сестра моя, ты избрала ложный путь для руководства вверенной твоему попечению девушки. Не все призваны, и непокорные сердца следует направлять на путь спасения мягкой рукой, а не тащить и толкать на него насильно. Зачем ты отнимаешь у девушки, которая еще обеими ногами стоит в миру, все, что доставляет ей удовольствие? Позволь же ей наслаждаться невинными радостями, которые так необходимы для юности. Не огорчай Арсиною напрасно, пусть она не чувствует руки, которая управляет ею. Научи ее прежде всего любить тебя всем сердцем, и когда ей ничто в мире не будет дороже тебя, то одна просьба с твоей стороны сделает больше, чем все запоры и заделанные окна.

— Да, да, на первый раз я и не желаю ничего больше, как только того, чтобы она любила меня, — возразила Павлина.

— Но исследовала ли ты уже ее душу? Видишь ли ты в ней искру, которая может превратиться в пламя? Открыла ли в ней зерно, которое способно возрасти до страстного стремления к спасению, до преданности Искупителю?

— Это зерно лежит в каждом человеке. Это твои собственные слова.

— Но в душе многих язычников оно покрыто песком и камнями. Чувствуешь ли ты в себе силу удалить и то и другое, не нанося вреда зерну и земле.

— Чувствую, и я приобрету Арсиною для Иисуса Христа, — отвечала Павлина решительно.

Понтий прервал этот разговор. Некоторое время он еще оставался у сестры, говоря с ней и Евменом о новой постройке в загородном доме Павлины, затем отправился к месту пожара в гавани и у старого дворца.

Понтий не застал уже императора на Лохиаде. Адриан в полдень переселился в Цезареум. Запах гари, наполнивший все комнаты, был ему противен, и он начал считать обновленный дворец местом, приносящим несчастье.

Архитектора ждали с нетерпением. Комнаты, приготовленные первоначально для императора в Цезареуме, были потом опустошены и приведены в беспорядок ради убранства зал дворца на Лохиаде, и Понтий должен был теперь позаботиться о немедленном приведении их в надлежащий вид.

Его ждала колесница. В рабах не было недостатка, и он тотчас же принялся за выполнение новой задачи и проработал до глубокой ночи.

Адриан занял несколько покоев, принадлежавших и помещению императрицы.

Он был в суровом настроении.

Когда ему доложили о прибытии префекта Титиана, то он заставил его ждать, пока не перевязал собственноручно новым бинтом ожоги своего любимца.

— Теперь иди, государь, — упрашивал его вифинец, после того как император выполнил свою работу с искусством хирурга. — Титиан там уже четверть часа ходит взад и вперед.

— Пусть его, — возразил император. — Если бы даже весь мир громко звал меня, ему пришлось бы подождать, пока я не окончу своих забот об этих дорогих пальцах. Да, мой мальчик, мы вместе проходим путь жизни, подобно крепко связанным друг с другом товарищам. Это, правда, делают и другие, и каждый, кто идет таким образом об руку со своим товарищем, разделяя с ним и радость и горе, наконец приходит к убеждению, что он знает его как самого себя; однако же сущность его спутника остается для него скрытой. Затем наступает день, когда судьба разражается над ними бурей. Эта буря срыгает перед глазами путника последнюю оболочку с души его товарища, и только тогда она встает перед ним без покрова, подобно зерну, освобожденному от своей шелухи, подобно обнаженному телу. Такая буря была в эту ночь и позволила мне увидеть сердце моего Антиноя так же ясно, как я вижу свою руку, которую держу теперь перед глазами. Да, да! Кто подвергает опасности свою цветущую жизнь ради ценной собственности своего друга, тот ради самого этого друга пожертвовал бы десятью жизнями, если бы он имел их. Эту ночь, друг мой, я не забуду! Она дает тебе право сделать мне много зла и за-

печатлела в моем сердце твое имя во главе имен тех, которым я обязан благодеяниями. Их не много.

Адриан протянул руку Антиною.

Юноша, растерянно смотревший до сих пор в землю, прижал эту руку к губам с глубоким волнением. Затем он поднял свои большие глаза на императора и сказал умоляющим голосом:

— Ты не должен говорить со мной таким образом, ибо чем заслужил я подобную доброту? Что такое моя жизнь? Я готов позволить ей улететь, как ребенок отпускает на волю пойманного им жука, лишь бы только избавить тебя от одного беспокойного дня.

— Я знаю это, — возразил твердо император и вышел в соседнюю комнату к префекту.

Титиан явился по приказанию императора.

Нужно было определить, какое вознаграждение следует выдать гражданам и отдельным владельцам сгоревших амбаров, так как Адриан решил объявить особым манифестом, что никто не должен потерпеть убытков вследствие ниспосланного богами несчастья, которое началось в его доме.

Префект собрал уже необходимые сведения, и секретарям Флегону, Гелиодору и Целеру было поручено написать к заинтересованным лицам послания, в которых, от имени императора, их просили представить правдивые заявления относительно суммы понесенных каждым из них потерь.

Титиан принес также известие, что греки и евреи решили ознаменовать спасение императора великими жертвоприношениями.

— А христиане? — спросил Адриан.

— Они гнушаются приносить в жертву зверей, однако желают соединиться в благодарственной молитве.

— Им недорого будет стоить их благодарность, — засмеялся император.

— Их епископ передал мне для раздачи бедным сумму, на которую можно было бы купить сотню быков. Он говорит, что христианский бог есть дух и требует только духовных жертв; что лучшее, что можно принести ему в жертву, — это молитва, внушаемая духом и исходящая от чистого сердца.

— Это недурно для нас, но не годится для народа, — сказал Адриан. — Философские учения не ведут к благочестию. Толпе нужны видимые боги и осязательные жертвы. Здешние христиане — хорошие и преданные государству граждане?

— Для них нам не нужно никаких судилищ.

— Так возьми их деньги и раздай нуждающимся, но общую их молитву я должен запретить. Пусть они воздевают за меня руки к своему великому духу втайне. Их учение не должно быть публичным. Оно не лишено соблазнительной прелести, а безопасность государства требует, чтобы толпа оставалась верной старым богам и жертвам.

— Как повелишь, цезарь.

— Ты знаешь доклад Плиния Траяну о христианах?

— И ответ императора.

— Хорошо. Позволим им делать в тишине, что им вздумается, лишь бы их действия не противоречили законам государства и не производились открыто. Как только они осмелятся отказывать старым богам в почтении, которое им приличествует, или пошевельнут против них хоть пальцем, должна быть применена строгость, и каждое нарушение закона с их стороны должно быть наказуемо смертью.

Во время этого разговора в комнату вошел Вер.

В тот день он следовал за императором повсюду, так как надеялся услышать от него что-нибудь о его наблюдениях небесного свода; однако же он не решался сам спросить об этом. Когда он увидел, что император занят, то велел придворному проводить себя к Антиною.

При виде претора юноша побледнел, однако собрался с духом настолько, чтобы поздравить его с днем рождения.

От Вера не укрылось, что его появление испугало юношу, поэтому он сначала задал ему несколько незначительных вопросов, прибавил к своему разговору две-три забавных истории и затем, когда уже достиг своей цели и успокоил его, небрежно спросил:

— Я должен поблагодарить тебя от имени государства и всех друзей императора. Ты выполнил свое поручение до конца, хотя несколько сильными средствами.

— Прошу тебя, оставь это, — прервал его Антиной и с беспокойством посмотрел на дверь соседней комнаты.

— Я пожертвовал бы целой Александрией, чтобы сохранить спокойствие духа императора. Впрочем, нам обоим пришлось довольно дорого заплатить за наше доброе намерение и за жалкие сарай.

— Говори, пожалуйста, о других вещах.

— Ты сидишь с обвязанными руками и опаленными волосами, а я чувствую себя нездоровым,

— Адриан говорил, что ты много помог при тушении пожара.

— Мне было жаль бедных хомяков, у которых пламя пожрало всю провизию, и, разгоряченный после пира, я кинулся в толпу тушителей пожара. Моей первой наградой была холодная как лед морская вода, которую мне вылили на голову из наполненной кожаной кишки. Моим примером позорно опровергаются все учения этики, и я издавна склонен считать простофилями тех драматургов, в пьесах которых добродетель награждается, а порок наказывается, потому что самым дурным моим поступком я обязан своими лучшими часами, а добрым — только досадой и несчастьем. Никакая гиена не может лаять более хрипло, чем я теперь говорю; какой-то орган здесь, внутри, по-видимому превратился в ежа, иглы которого причиняют мне боль; и все это потому, что я позволил себе увлечься и совершил действия, которые моралисты прославляют как добродетель.

— Ты кашляешь и у тебя нехороший вид. Ляг в постель.

— В день моего рождения? Нет, молодой друг. Теперь прежде, чем я уйду, я спрошу тебя еще: можешь ли ты сказать мне, что прочел Адриан в звездах?

— Нет.

— Даже и в том случае, если я отдам в твое распоряжение моего Персея? Этот человек знает Александрию и нем как рыба.

— Даже и тогда, потому что я не могу сказать того, чего не знаю. Мы оба нездоровы, и, повторяю, ты делаешь хорошо, если полечишься.

Вскоре после этого совета Вер вышел из комнаты, и Антиной с облегчением посмотрел ему вслед.

Посещение претора наполнило его беспокойством, и отвращение, которое он питал к нему, усилилось. Он знал, что Вер злоупотребил им как своим орудием, так как Адриан сказал ему, что он поднимался на обсерваторию не для того, чтобы спросить звезды о своей собственной судьбе, а чтобы составить гороскоп для претора и сообщить о своем наблюдении.

Не существовало никакого оправдания, никакого извинения для его поступка.

В угоду этому беспутному шалопаю, этому смеющемуся лицемеру он изменил своему господину, сделался поджигателем и принужден теперь выносить похвалы и изъявления благодарности, которыми осыпает его вели-

чайший и пронизательнейший из людей. Он ненавидел, гнушался самого себя и задавал себе вопрос: почему огонь только слегка обжег ему руки и волосы?

Когда к нему вернулся Адриан, он попросил у него позволения лечь в постель.

Император охотно это позволил, приказал Мастору смотреть за ним и затем, следуя просьбе императрицы, отправился к ней.

Сабина не была на месте пожара, но каждый час посылала туда гонца, чтобы осведомляться о пожаре и об императоре. При его въезде в Цезареум она поздоровалась с ним и удалилась в свои покои.

Осталось два часа до полуночи, когда Адриан вошел в ее комнату.

Он застал ее на ложе без украшений, которые она обыкновенно носила днем, но одетую точно для парадного обеда.

— Ты желаешь говорить со мной? — спросил император.

— Да. И этот день, богатый замечательными происшествиями, оканчивается тоже замечательно: ты не заставил меня просить напрасно.

— Ты редко доставляешь мне случай исполнить какое-нибудь из твоих желаний.

— Ты сожалеешь об этом?

— Даже и тогда, когда я с мольбой подниму к тебе руки и крикну тебе в лицо: ты и судьба отказываете мне в благословении, в счастье, в прекраснейшей цели жизни женщины, а я хочу и должна достигнуть этого! Я должна и хочу, чтобы меня когда-нибудь, хотя бы только на короткое время, называли милые уста тем именем, которое последнюю нищую с грудным младенцем на руках ставит выше императрицы, никогда не стоявшей у колыбели собственного ребенка. Я должна и хочу перед своей кончиной быть и называться матерью и иметь возможность говорить: мое дитя, мой сын, наше дитя!..

При этом Сабина громко зарыдала и порывисто закрыла лицо руками.

Император отступил на шаг от своей супруги.

Здесь перед ним совершилось чудо: Сабина, в глазах которой он еще никогда не видел слез, плакала, у Сабины было сердце, как у других женщин!

Изумленный, пораженный, глубоко тронутый, он смотрел, как она, потрясенная искренним душевным волнением, отвернулась от него, бросилась перед ложем, о

которого недавно встала, на колени и спрятала лицо в подушки.

Адриан стоял неподвижно, наконец он подошел к ней ближе и сказал:

— Встань, Сабина, твое требование справедливо. Ты будешь иметь сына, по которому тоскует твоя душа.

Императрица поднялась, и благодарный взгляд ее подернутых слезами глаз встретился с его взглядом.

Сабина могла и улыбаться, она могла даже быть красивой. Нужен был один подобный час в целой жизни для того, чтобы показать это Адриану.

Он пододвинул стул и сел возле нее. Несколько минут он молча держал ее руку в своей. Затем выпустил ее и сказал ласковым тоном:

— Но выполнит ли Вер то, чего ты ожидаешь от сына?

Она утвердительно кивнула головой.

— И на чем ты основываешь свою уверенность? — спросил ее император. — Он римлянин и богат ценными, даже блистательными дарованиями. Кто умеет, как он, постоять за себя и на поле сражения, и в Совете и при этом еще с бóльшим успехом играть роль Эрота, тот сумеет носить и багряницу. Но он унаследовал легкомыслие своей матери, и его сердце так непостоянно.

— Оставь его таким, как он есть. Мы понимаем друг друга, и он единственный человек, на расположение которого я полагаюсь, на верность которого я рассчитываю с такой же уверенностью, как будто он мой родной, любимый сын.

— Но на каких же фактах основана эта твердая уверенность?

— Ты поймешь меня; ты ведь не слеп к знамениям, которые дает нам судьба. Есть у тебя время выслушать коротенькую историю?

— Ночь еще длинна.

— Ну, так я буду говорить. Извини, что начну с вещей, которые кажутся прошедшими. На самом деле они еще не прошли, потому что они продолжают действовать во мне до настоящей минуты. Я знаю, что ты не сам выбрал меня себе в жены. Меня выбрала для тебя Плотина. Она любила тебя. Что касается твоей склонности, то — кто знает? — относилась ли она к прекрасной женщине, или же к супруге императора, от которого ты мог ожидать всего.

— Я уважал и любил Плотину как женщину!

— Она избрала для тебя в моем лице жену высокого роста и, следовательно, пригодную для ношения багряницы, но некрасивую. Притом она знала меня, и ей было известно, что я менее других способна привлечь к себе сердца. В родительском доме ни один ребенок не пользовался такой скудной долей любви, как я, а что мой супруг не баловал меня нежной привязанностью, это ты знаешь отлично.

— В чем я желал бы раскаяться в этот час.

— Это было бы слишком поздно. Но я не хочу говорить колкостей, право, нет. Однако же, если бы ты только понял меня, то я должна признаться, что, пока я была молода, я горько тосковала по той любви, которой не дарил мне никто.

— А сама ты любила когда-нибудь?

— Нет. Но мне причиняло огорчение то, что я не могла полюбить. У Плотины я в то время часто видела детей родственников и не раз пыталась привлечь их к себе, но, доверчиво играя с другими женщинами, они, по-видимому, боялись меня. Скоро я возненавидела их; только сынок Цейония Коммода, наш Вер, бойко отвечал мне на вопросы и приносил ко мне сломанную игрушку для починки. Таким образом, я полюбила мальчика.

— Он был изумительно прелестным ребенком.

— Да. Однажды мы, женщины, сидели все вместе в саду императора. Прибежал Вер и принес какое-то особенно румяное яблоко, которое подарил ему Траян. Все удивлялись великолепному плоду. Плотина даже взяла его у мальчика и, шутя, спросила, не подарит ли он ей это яблоко. Он с удивлением посмотрел на нее своими большими глазами, покачал кудрявой головкой, подбежал ко мне и отдал мне яблоко. Да, мне, а не кому-нибудь другому; он обхватил своими ручонками мою шею и сказал: «Ты получишь его, Сабина».

— Приговор Париса.

— Не шути теперь. Этот поступок бескорыстного ребенка укрепил мое мужество, чтобы перенести горести жизни. Я теперь знала, что есть одно существо, которое меня любит, и это одно существо вознаграждало меня своей ласковой привязанностью за все, что я к нему чувствовала и что не уставала делать для него. Это единственный человек, о котором я знаю, что он будет плакать, когда я умру. Дай ему право называть меня матерью и сделай его нашим сыном.

— Он уже сын наш,— отвечал Адриан с величавым достоинством и протянул руку Сабине.

Императрица попыталась поднести ее к своим губам, но он отнял руку и продолжал:

— Скажи ему, что мы усыновляем его. Его жена — дочь Нигрина, который должен был пасть, потому что я желал стоять твердо. Ты не любишь Луциллу, но мы можем удивляться ей оба, потому что я по крайней мере не знаю другой женщины в Риме, за добродетель которой можно поручиться. Я и без того в долгу перед ней за ее отца и радуюсь этой дочери. Итак, у нас будут дети. Признаю ли я Вера наследником моим и когда я объявлю миру, кто должен сделаться будущим императором, этого сейчас я не могу решить, для этого требуется час более спокойный. До завтра, Сабина. Этот день начался несчастьем; пусть то, чем мы сообща заключили его, послужит нам к счастью, а государству во благо.

В феврале бывают иногда хорошие, теплые дни, но ошибается тот, кто думает, что они приводят за собой весну.

Суровая Сабина поддалась на несколько часов мягким, женственным движениям души, но как только исполнилось желание ее сердца, тосковавшего по материнскому счастью, это сердце снова замкнулось, и согревавший его огонь погас.

На каждого, приближавшегося к ней, в том числе и на ее мужа, ее неприятная личность снова начала производить охлаждающее и отталкивающее впечатление.

Вер захворал.

Первые признаки страдания печени, которые предсказывали ему врачи, если он, европеец, будет продолжать предаваться в Александрии той же беспутной жизни, какую вел в Риме, принесли ему много тяжелых часов.

Эти первые телесные страдания, ниспосланные ему судьбой, он переносил с нетерпением. Даже сообщенная ему Сабинной великая весть, осуществлявшая самые смелые его надежды, не могла примирить его с новым для него ощущением болезни.

Он узнал также, что опасения Адриана, из-за слишком яркого блеска его звезд чуть не лишили его усыновления, и так как свою болезнь Вер с уверенностью приписывал своему участию в тушении пожара, произведенного Антиномом, то он горько раскаивался в своем ковар-

ном вмешательстве в астрологические вычисления императора.

Человек охотно сбрасывает всякую тяжесть, в особенности бремя своей вины, на плечи других, и поэтому претор проклинал Антиноя и науку Симеона Бен-Иохая, так как без них не было бы совершено преступление, отравившее ему наслаждение жизнью.

Адриан просил александрийцев отложить приготавлившиеся в честь его зрелища и процессии в связи с тем, что его наблюдения насчет событий, предстоявших в следующем году, еще не были окончены. Он каждый вечер поднимался теперь на высокую обсерваторию Серапейона и оттуда смотрел на звезды. Десятого января он кончил свою работу; на другой день начались празднества. Они заняли много дней. По желанию претора роль Роксаны исполняла прекрасная дочь еврея Аполлодора.

Все, что устраивали александрийцы в честь императора, было блистательно и величественно.

Ни в одной из других навмахий не бывало уничтожено так много судов при представлении зрелища морского сражения, даже в римском цирке раньше нельзя было видеть большего числа диких зверей сразу. И как были кровавы сражения гладиаторов, в которых черные и белые бойцы представляли пестрое, беспрестанно меняющееся зрелище, волновавшее сердце и ум!

Вследствие пестроты, которую представляло соединение различных культур — египетской, греческой и восточной, — зрелища являли для глаз такое разнообразие, что, несмотря на свою продолжительность, они не утомляли в такой степени, как этого опасались римляне.

Представления трагедий и комедий были так богаты неожиданными эффектами — взрывами пламени, низвержением потоков и т. п. — и давали александрийским актерам случай выказать свое искусство так блистательно, что Адриан и его свита должны были признать: даже в Риме и в Афинах ни одно представление не выполнялось с таким совершенством.

Одна пьеса еврея Езекииля, писавшего при Птолемах на греческом языке драмы, материалом для которых служила история его народа, обратила на себя особенное внимание императора.

Во время этих празднеств префект Титиан мучился припадками застарелой одышки и при этом был по горло завален работой, однако же оказал архитектору Понтию помощь, разыскивая скульптора Поллукса.

Оба они делали, что могли, но, хотя им и удалось найти Дориду и Эвфориона, они все-таки не нашли ни малейшего следа их исчезнувшего сына.

Папия, бывшего хозяина молодого художника, не было уже в городе. Адриан послал его в Рим для изготовления там кентавров и других фигур для императорской виллы в Тибуре². Жена его, оставшаяся в Александрии, уверяла, что ничего не знает о Поллуксе, за исключением того, что он грубо отказался работать у ее мужа.

Товарищи несчастного не могли сообщить о нем никаких сведений, так как никто из них не присутствовал при аресте. Папий предусмотрительно, без свидетелей, упрятал в надлежащее место человека, которого боялся.

Ни префект, ни архитектор не искали честного малого в тюрьмах, а если бы и искали, то едва ли нашли бы, так как он содержался в заключении не в самой Александрии. Городские тюрьмы были после празднеств переполнены, и потому Поллукса отвели в находившийся по соседству Каноп, где его заключили в тюрьму и приговорили к наказанию. Поллукс откровенно сознался, что взял серебряный колчан и вел себя в высшей степени дерзко при обвинениях со стороны своего бывшего хозяина. Таким образом, он с самого начала произвел неблагоприятное впечатление на судью, который почитал Папия как человека богатого и пользовавшегося большим уважением.

Осужденному не дали сказать почти ни одной фразы в свою защиту, и ввиду тяжких обвинений его бывшего хозяина и его собственного признания над ним быстро был произнесен приговор.

Слушать сказки, которыми этот дерзкий мальчишка, забывший всякое должное уважение к своему учителю и благодетелю, вздумал угощать судей, значило бы терять время понапрасну. Два года размышлений, говорил блюститель закона, научат этого опасного молодца уважать чужую собственность и остерегаться преступлений против тех, кого он обязан благодарить и почитать.

В канопской тюрьме Поллукс проклинал свою судьбу и напрасно надеялся на помощь друзей. Последние наконец оставили бесполезные поиски и только при случае спрашивали о нем. Он вел себя сначала так вызывающе, что его подвергли более строгому заключению, от которого он не был освобожден и тогда, когда перестал буйствовать и стал проводить целые дни в безмолвных думах.

Титиан, Понтий, Бальбилла и даже Антиной пытались говорить о нем с императором, но все получали резкий отпор и узнали, что Адриан не забывает ни одного оскорбления своего артистического тщеславия.

Но он доказал также, что обладает твердой памятью о добре, которое ему кто-либо сделал. Когда ему однажды подали блюдо, заключающее в себе капусту с маленькими колбасками, он улыбнулся, схватил свой кошелек, наполненный золотыми монетами, и приказал передать от своего имени Дориде, жене бывшего, уволенного с должности привратника на Лохиаде.

Старая чета жила теперь в своем собственном домишке по соседству с жилищем своей дочери Диотимы.

Старики не испытывали голода и крайней нужды, но с ними произошла большая перемена.

Глаза бедной Дориды не высыхали от слез и были воспалены. Она плакала, как только какое-нибудь слово, какой-нибудь предмет, какая-нибудь мысль напоминали ей о Поллуксе, ее любимце, ее гордости, ее надежде, редко проходило полчаса, чтобы она не думала о нем.

Вскоре после смерти Керавна она отправилась навестить Селену. Вдова Анна не могла и не хотела пускать ее к больной, так как узнала от Марии, что Дорида — мать неверного возлюбленного подопечной.

При вторичном посещении Селена вела себя с Доридой сдержанно, боязливо и странно.

У Арсиной, о месте жительства которой Дорида узнала от дьяконицы, ее приняли еще хуже.

Она объявила, что она мать ваятеля Поллукса, но ей ответили, что ей нельзя говорить с Арсиной и что ее просят раз навсегда не возобновлять своих посещений.

После того как архитектор Понтий навестил ее и уговорил еще раз сделать попытку повидаться и поговорить в доме его сестры с Арсиной, которая осталась верной своей привязанности к ее сыну, она встретила там с самой Павлиной и получила от нее такой резкий отказ, что вернулась домой к своему мужу, оскорбленная до слез. Поэтому она ничего не возразила Эвфориону, когда он запретил ей когда-либо опять переступить порог этого христианского дома.

Подарок императора был ей приятен и пришелся очень кстати, так как Эвфорион, совсем потерявший голос и память вследствие волнения и горя, пережитых им в последние месяцы, был уволен из театрального хора и находил место среди певцов только при праздновании

мистерий маленьких сект или при разучивании гимнов Гименею, или похоронных плачей, получая за это несколько драхм вознаграждения.

При этом старики должны были еще поддерживать и свою дочь, которой уже не мог больше помогать Поллукс, да и птицы, и грации, и кошка тоже хотели есть. Ни Эвфориону, ни Дориде даже смутно не приходила в голову мысль о возможности отделаться от животных.

Днем старуха была грустна, но ночь доставляла ей несколько хороших часов. Тогда надежда открывала перед ней прекрасные картины будущего и возможные и невозможные истории, возбуждавшие бодрость в ее сердце.

Как часто она видела Поллукса возвратившимся из какого-нибудь дальнего города, куда он, может быть, убежал, например из Рима или из Афин, великим человеком, украшенным лавровым венком и обладающим большими богатствами!

«Император, сохранивший еще о ней добрую память, не может гневаться вечно,— думала она.— Может быть, он со временем отправит своих посланцев отыскать Поллукса и большими заказами вознаградит его за то зло, которое причинил ему».

Что ее любимец жив, она не сомневалась и высказывала свою уверенность каждый раз, как Эвфорион старался ей доказать, что он, должно быть, умер. Певец знал много историй о несчастных людях, которые были умерщвлены и никогда больше не появлялись. Но Дорида не поддавалась никаким убеждениям, продолжала надеяться и совсем сжилась с мыслью послать младшего сына, Тевкра, как только он окончит свое учение — следовательно, через несколько месяцев,— путешествовать, чтобы разыскать пропавшего без вести брата.

Антиной, обожженные руки которого скоро зажили под заботливым попечением императора и который никогда не чувствовал дружбы ни к какому другому юноше, сожалел об исчезновении художника и все собирался посетить Дориду. Но он теперь неохотнее, чем когда-нибудь, разлучался с императором и услуживал ему так усердно, что Адриан не раз дружески упрекал его, говоря, что он слишком облегчает службу его рабов.

Когда же для Антиноя действительно выпадал свободный час, то он только думал навестить родителей своего друга, так как у него между желанием и исполнени-

ем лежало большое расстояние, которое он никогда не переходил без особенно сильных побуждений.

Подобные побуждения приводили его в загородный дом, где все еще находилась Селена.

Ему несколько раз удавалось пробраться в сад Павлины, но говорить с Селеной никак не удавалось.

Каждый раз, когда он подходил к дому Анны, горбатая Мария загораживала ему дорогу, говорила ему о здоровье Селены и просила его уйти.

Она была постоянно вблизи больной, так как о ее матери заботилась теперь ее сестра, и вдова Анна выпросила для нее позволения склеивать листы папируса дома.

Сама вдова не могла не ходить в мастерскую, так как ее должность надзирательницы делала ее присутствие в мастерской необходимым.

Поэтому Антиной ни разу не был принят Анной, его встречала и прогоняла только Мария.

Между красивым юношей и горбатой девушкой возникла некоторая симпатия.

Когда Антиной приходил и она встречала его восклицанием: «Уже опять?» — он брал ее руку и убедительно просил хоть один раз исполнить его желание. Но она оставалась непреклонной, однако же никогда не отказывала ему с суровостью, а всегда улыбаясь и ласково уговаривая его. Когда из-под паллия он доставал прекрасные, изысканные цветы и умолял ее отдать их Селене от имени ее друга на Лохиаде, Мария принимала подарок и обещала поместить его в ее комнате, но уверяла при этом, что ни для него, ни для Селены не будет полезно, если она будет знать, от кого этот букет.

После подобных отказов Антиной прибегал к самым убедительным, проникающим в сердце льстивым словам, но никогда не осмеливался достигнуть своей цели упорством или силой.

Когда цветы стояли в комнате, Мария смотрела на них гораздо чаще, чем Селена.

Если Антиной долго не приходил, то горбунья тосковала по нему и в тот час, когда он обыкновенно являлся, беспокойно ходила взад и вперед между воротами сада и домиком Анны.

В каждую из своих молитв она включала этого бедного и прекрасного язычника. Кроткая нежность, к которой не раз примешивалась тихая грусть, навеянная горестью о его погибшей душе, была нераздельна с ее мыслями о нем.

Анну она извещала обо всех посещениях молодого человека, и каждый раз, как Мария говорила о нем, дьяконница казалась озабоченной и приказывала ей пригрозить ему, что позовет привратника.

Вся Александрия, мало того, вся Римская империя знала имя прекраснейшего юноши, прославленного любимца императора.

Анна тоже слышала о нем и знала, что его воспевают поэты, что языческие женщины добиваются, как счастья, уловить взгляд его глаз. Она знала, какая безнравственность царствовала в высших кругах римского общества, и Антиной представлялся ей великолепным соколом, кружащимся над голубкой, чтобы низвергнуться на нее в благоприятный час и растерзать ее своими когтями и клювом.

Известно было Анне и то, что Селена была знакома с Антиноем и что это он однажды освободил ее от разъяренного пса, а затем вытащил из воды. Но выздоравливавшая девушка не подозревала, кто был ее спасителем.

В конце февраля Антиной приходил три раза, но Анна через епископа Евмена строго приказала привратнику смотреть за молодым человеком и не допускать его в загородный дом.

Но любовь находит путь и через запертые двери, и Антиною все-таки удалось проскользнуть в сад Павлины.

При одном посещении он подсмотрел, как Селена в сопровождении какого-то красивого ребенка и вдовы Анны прохаживалась взад и вперед, прихрамывая и опираясь на трость.

От всего уродливого, нарушающего гармонию в творчестве природы Антиной привык сторониться с отвращением, вместо того чтобы смотреть на это с состраданием. Но здесь он чувствовал нечто совсем другое.

Горбатая Мария производила на него сначала отталкивающее впечатление; теперь же он радовался, когда ее видел, хотя она постоянно противилась его желаниям, а хромая Селена, которой вслед уличные мальчишки кричали «Хлип, хлюп», казалась ему еще более достойной обожания.

Как прекрасны были ее лицо и фигура, как своеобразна ее походка! Она не ковыляла, нет, а покачивалась, расхаживая по саду. «Так,— думал он впоследствии,— качаются nereиды, отдаваясь во власть слегка зыблющихся волн».

Любовь довольна всем, и это ей нетрудно, так как она умеет возводить на высшую степень бытия все, что она охватывает своими пламенными крыльями. В ее свете слабость становится добродетелью, недостаток — преимуществом.

Посещения вифинца были не единственной заботой вдовы Анны. Но остальные заботы она переносила не со страхом, а с радостью.

Семья ее увеличилась, а заработок был невелик. Чтобы ее подопечные не терпели нужды, она была вынуждена, надзирая за девушками в мастерской, и сама работать, а по вечерам брать с собой домой листы папируса не только для Марии, но и для себя самой, и склеивать их, подолгу работая ночью.

Как только состояние здоровья Селены улучшилось, она начала помогать им охотно и прилежно.

Мария часто смотрела на Анну с безмолвным беспокойством, так как последняя была очень бледна.

После того как однажды она упала в обморок, горбунья собралась с духом и сказала ей все: что она не дает себе ни малейшего отдыха, работает днем и ночью, а в свободные часы посещает дома бедных и больных. И если она и впредь также не будет знать покоя, то скоро она сама будет нуждаться в попечении.

— Не отказывай себе по крайней мере ночью в необходимом сне,— говорила Мария.

— Нам нужно жить,— возразила Анна,— как я могу заниматься, когда я не в состоянии возратить занятые деньги?

— Попроси Павлину не брать с тебя платы за квартиру,— советовала девушка.— Она охотно согласится.

— Нет,— возразила Анна решительно.— Доход с этого дома идет в пользу моих бедных, и ты хорошо знаешь, как они нуждаются. То, что мы отдаем, мы отдаем господу, а он не обременяет никого свыше его сил.

Селена выздоровела, но врач объявил, что никакое человеческое искусство не в состоянии избавить ее от хромоты. Она сделалась дочерью Анны, а слепой Гелиос — солнцем ее дома.

Арсиноя могла посещать сестру редко и только в сопровождении своей названной матери, Павлины. При этом между ней и Селеной никогда не завязывался откровенный, ничем не стесняемый разговор. Старшая дочь дворцового смотрителя была теперь довольна и весела, а младшая грустила не только по поводу исчез-

новения Поллукса, но и потому, что чувствовала себя несчастной в своем новом жилище.

Маленьким сиротам Керавна было хорошо. Их несколько раз приводили к Селене, и они с любовью рассказывали ей о своих новых родителях.

С помощью выздоровевшей Селены уменьшилась тягость работы двух подруг. В начале марта Анне сделано было одно предложение, которое, если бы она согласилась принять его, должно было дать новое направление ее простой жизни.

В Верхнем Египте образовались христианские братства, и одно из самых значительных обратилось к александрийской метрополии с просьбой прислать ему пресвитера, дьякона и дьяконицу, которые были бы способны руководить и наставлять верующих и окрещенных в Гермопольском округе, насчитывавшихся уже тысячами. Общинная жизнь, попечение о бедных и больных в той местности требовали нужных рук, и Анне было предложено, не решится ли она оставить главный город и перенести свою плодотворную деятельность на дальние окраины, в Безу. Там ожидают ее уютный дом, пальмовый сад и дары общины, которые обеспечат не только ее собственную жизнь, но и существование ее питомцев.

Анна чувствовала себя прикованной крепкими узами к Александрии. Главным образом ее удерживали там бедные и больные. Многих заблудших девушек она спасла.

Поэтому она попросила некоторого времени на размышление, и оно было ей дано. Пятнадцатого марта она должна была дать решительный ответ. Но уже пятого числа этого месяца она дала свое согласие, потому что в то время, когда она находилась в мастерской, Антиною удалось снова проникнуть в сад Павлины и незадолго до захода солнца пробраться к дому вдовы.

Мария и на этот раз заметила его вовремя и ласково просила уйти. Но Антиной был в более возбужденном состоянии, чем обычно. Он с горячей настойчивостью схватил ее руку и обнял Марию, умоляя ее быть милостивой. Она в сильном испуге пыталась освободиться от него, но он не выпускал ее.

— Я должен видеть ее сегодня, только один раз, добрая, милая Мария!

Прежде чем она могла помешать ему, он поцеловал ее в лоб и побежал в дом к Селене.

Горбунья не сознавала, как это случилось. Растерянная, как бы парализованная, со стыдом смотрела в землю.

Она чувствовала, что с ней произошло что-то неслыханное, но это неслыханное показалось ей ослепительным светом. Для нее, бедной Марии, засиял этот свет, и с сильно бьющимся сердцем она отдалась новому чувству гордости, заглушившему на короткое время ее стыд и негодование.

Ей понадобилось несколько минут, чтобы снова прийти в себя и вернуться к выполнению долга, и Антиной воспользовался этими минутами.

Он большими шагами поспешил в комнату, где в ту незабвенную ночь он положил Селену на постель, и еще с порога назвал ее по имени.

Она испугалась и отбросила в сторону свиток, который читала для своего слепого брата.

— Ты ищешь меня или госпожу Анну?

— Тебя, тебя! — вскричал он с жаром. — О Селена, я вытащил тебя из воды и с той ночи я не могу забыть тебя и должен погибнуть из-за горячей любви к тебе. Неужели твои мысли никогда, никогда не сольются с моими? Неужели ты все еще так же холодна, так же нема, так же неподвижна, как тогда, у порога смерти. Подобно тени умершего, который посещает места, где он оставил все, к чему был привязан на земле, я несколько месяцев блуждаю вокруг этого дома, и никогда мне не удавалось сказать тебе то, что я чувствую.

При этом признании юноша упал перед ней и пытался обнять ее колени, но она сказала с упреком:

— К чему все это? Встань и сдержи себя.

— О, позволь мне, позволь! — просил он ее с жаром. — Не будь так холодна и сурова!... Пожалей меня и не отталкивай от себя!..

— Встань, — повторила девушка. — Я не могу сердиться на тебя, потому что я обязана тебе жизнью.

Тогда он встал и сказал тихим голосом:

— Я хочу не благодарности, а только любви, хоть немного любви!

— Я стараюсь любить всех людей, — отвечала девушка. — И поэтому я люблю и тебя, — ты мне сделал много добра.

— Селена, Селена!.. — вскричал он торжествующим тоном, снова упал перед ней на колени, когда Мария, пылая от волнения, кинулась в комнату.

Хриплым голосом, в котором слышалось негодование, она приказала ему оставить дом и, когда он снова попытался осыпать ее просьбами, вскричала:

— Если ты не слушаешься, то я призову на помощь людей, которые вон там смотрят на цветы. Я спрашиваю тебя: хочешь ли ты повиноваться — да или нет?

— Зачем ты так зла, Мария? — спросил слепой Гелиос. — Этот человек добр и сказал Селене только, что он ее любит.

Антиной умоляющим жестом указал на мальчика; но Мария уже стояла у окна и приложила руку ко рту, чтобы позвать людей.

— Оставь, оставь! — вскричал юноша. — Я уже уйду.

Он спокойно и медленно пошел к двери, но при этом еще раз со страстной любовью посмотрел на Селену. Наконец он вышел из комнаты. Он стонал от стыда и разочарования, но вместе с тем был весел и горд, как будто ему удалось совершить великий подвиг.

В саду с ним встретила вдова Анна. Там она нашла рыдавшую и обливавшуюся слезами Марию.

Анна узнала все, что произошло в ее отсутствие. Час спустя она сказала епископу, что принимает приглашение общины в Безе и готова отправиться в Верхний Египет.

— С твоими питомцами?.. — спросил Евмен.

— Да. Сердечным желанием Селены, разумеется, было бы, чтобы ты окрестил ее; но так как нужен еще год обучения...

— Я совершу священное таинство завтра.

— Завтра, отец мой?

— Да, сестра, и я сделаю это без колебания. Еще будучи язычницей, она добровольно возложила на себя свой крест и оказалась такой верной, как будто она была приближенная Господа. Во имя Спасителя благодарю за эту душу, сестра моя!

— Не меня, не меня! — возразила вдова. — Сердце ее окаменело и затем было расплавлено не мной, а теплой верой ее маленького брата.

— Ему и тебе она обязана своим спасением, — сказал епископ. — И поэтому они оба вместе должны принять крещение. Дадим этому милому ребенку имя прекраснейшего из апостолов и назовем его Иоанном. А Селена пусть назовется Марфой, если ей самой понравится это имя.

Селена и Гелиос приняли крещение, и через два дня вдова Анна со своими питомцами и Марией, в сопровождении пресвитера Илариона и одного дьякона, сели в Мареотийской гавани на одно из нильских судов, которое должно было отвезти их в новое отечество, в верхнеегипетский город Безу. Мария не сразу ответила на вопрос Анны, желает ли она следовать за ней.

В Александрии жила ее старая мать и затем... Но именно это «затем» помогло ей резко покончить со всеми сомнениями и сказать решительное «да», так как оно относилось к Антиною.

Сначала ей казалась невыносимой мысль, что она не увидит его снова. Её сердце должно было вполне принадлежать Тому, Кто и для нее умер на кресте и Кому она посвятила себя в этом мире и в будущем.

На другой день после своего крещения Селена отправилась в городской дом Павлины и, пролив много слез, простилась там с Арсиной. Любовь, соединявшая двух сестер, возродилась снова. Селена слышала от Павлины, что Поллукс умер, и уже не чувствовала неприязни к своей сопернице, которая оплакивала его с большей страстностью, чем она.

Ей тяжело было расстаться с Александрией, где оставались ее сестры, и вместе с тем она радовалась своему новому месту жительства, так как теперь она уже не была такой, как несколько месяцев назад, и стремилась к своей новой жизни, посвященной Богу.

Евмен и Анна не ошиблись. Не вдове, а слепому мальчику удалось склонить ее к христианству.

Этот подвиг ребенка совершился странным образом.

Уже слова раба Мастора, что Гелиос со временем снова увидит в сияющем небе своего отца в числе прекрасных ангелов, сильно подействовали на живое воображение и нежное сердце слепого ребенка.

В доме Анны его надежда получила новую пищу. Мария и Анна много говорили ему о своем великом добром Боге и Его Сыне, Который любит детей и приглашает их приходить к Нему.

Когда Селена стала поправляться и Гелиосу было позволено разговаривать с ней, он с великой радостью стал рассказывать ей все, что слышал от женщин. Но его сестра сначала не находила никакого удовольствия в том, чтобы слушать эти фантазии, и пыталась поколебать его веру в них и возвратить его сердце старым богам.

Однако, стараясь руководить ребенком, она мало-помалу почувствовала себя принужденной следовать за ним по его пути. Она шла сначала неверными шагами вперед, но вдова Анна поддерживала ее своим примером и добрыми словами. Она беседовала с ней о сущности христианского учения только тогда, когда девушка спрашивала ее и просила объяснений.

Все, что окружало Селену в этом доме, дышало миром и любовью, и ребенок чувствовал это и способствовал пробуждению в ней нового страстного желания сделаться любящим существом.

Твердая вера ребенка, не колебавшаяся ни от каких доводов и мифов, которые знала Селена, потрясла ее и заставляла спрашивать у Анны объяснений насчет справедливости уверений брата.

Ей казалось отрадным, что жалкая земная жизнь оканчивается смертью, но Гелиос заставил ее замолчать, печально спросив ее:

— Неужели же в тебе нет никакого желания снова увидеть отца и мать?

Снова увидеть мать!

Эта мысль заставила и ее жаждать загробной жизни, и Анна раздула сверкнувшую в ее душе искру надежды в пламя.

Селена видела и испытала много горя и привыкла называть богов жестокими. Но Гелиос говорил ей, что Бог и Спаситель добры и любят людей, как своих детей.

— Разве это не доброта,— спросил он ее,— что небесный Отец привел нас к Анне?

— Да, но нас разлучили друг с другом,— возразила Селена.

— Пусть,— отвечал ребенок с уверенностью.— На небе мы опять встретимся все.

Селена осведомлялась о каждой из своих сестер, и Анна описывала ей все семьи, в которые они были приняты.

Вдова, по-видимому, говорила правду, и малютки тоже подтверждали ее слова при своих посещениях, но все-таки Селена с трудом верила ее описаниям жизни в домах ее единоверцев.

Один из великих учителей церкви сказал, что мать христиан должна быть гордостью детей, жена — гордостью мужа, муж и дети — гордостью жены, а Бог — гордостью и славой всех членов дома.

Когда Селена спрашивала себя, что могло бы слу-

читься со всеми ними, если бы их отец остался жив и был уволен с должности, ее прямой ум находил надлежащий ответ на этот вопрос. Их ожидали бы позор и нищета. А теперь?..

Любовью, любовью и снова любовью было проникнуто все, что она видела и слышала, и однако же любовь причинила ей жесточайшие горести.

Почему ей было суждено перенести такие тяжкие испытания из-за того самого чувства, которое украшает жизнь другим? Перенес ли еще кто такие тяжкие страдания, как она? Несомненно! Один пылкий юноша ввел ее в заблуждение и вместо нее обещал осчастливить ее сестру. Это было трудно перенести, но Спаситель, о котором рассказывал Гелиос, претерпел еще более жестокие страдания. Человечество, для которого он, Сын Божий, сошел на землю, чтобы избавить его от греха и бедствия, отплатило за это тем, что распяло Его. Она видела в Нем своего товарища по страданию и просила вдову Анну рассказать о Нем.

Селена принесла много жертв своим близким, и последний приход в мастерскую навсегда остался в ее памяти; а Христос подвергся поруганию и пролил кровь за своих. И кто была она в сравнении с ним, Сыном Божиим?

Его образ был мил ее сердцу, и она не уставала расспрашивать о Его судьбе, о Его словах и деяниях, и для нее незаметно наступил день, когда она оказалась приготовленной к тому, чтобы принять с искренним, пламенным влечением учение Христа.

Вместе с верой она приобрела и сознание своей вины, которое было чуждо ей до сих пор.

Она работала из гордости и страха и никогда не трудилась из любви; она эгоистично отбросила от себя священный дар жизни, не задавая себе вопроса, что станет с теми, о которых она была обязана заботиться. Она проклинала свою родную сестру, нуждавшуюся в ее помощи и любви, и друга своего детства Поллукса и бесчисленное множество раз осыпала проклятиями сильных мира сего. Все это она горько чувствовала теперь со свойственной ее характеру серьезностью; но ее успокаивала весть, что существует Некто, искупивший мир и принимающий на себя грехи каждого.

Когда Селена высказала вдове свое желание сделаться христианкой, Анна привела к ней епископа Ев-

мена. Он сам вызвался руководить наставлением девушки в вере и нашел в ней ревностную ученицу.

Подобно серому, засохшему соцветию, которое, будучи опущено в воду, распускается и превращается во множество свежих цветков, развернулось и ее преждевременно увядавшее сердце. Она нетерпеливо желала полного выздоровления, чтобы, подобно Анне, ухаживать за больными и показать на деле ту любовь, которую Христос требует от своих верных.

В новой вере ее в особенности радовало то, что эта вера обещала блаженство не богачам, а кающимся и жаждущим прощения, несчастным, бедным и страждущим, на которых она смотрела, как на людей, принадлежащих как бы к одному с ней семейству.

Ее энергичная натура не довольствовалась добрыми намерениями, а стремилась осуществить их на деле. В Бесе она могла начать свою деятельность вместе с Анной, и эта мысль облегчала ей разлуку с Александрией.

Попутный ветер, дувший к югу, благополучно доставил путников к месту назначения.

Через два дня после их отплытия Антиной снова пробрался в сад Павлины. Он подошел к домику Анны, но напрасно искал глазами Марию. Путь был свободен.

Отсутствие Марии должно было обрадовать его, но он встревожился.

Его сердце сильно билось; он думал, что, может быть, ему удастся сегодня застать Селену одну.

Он, не постучавшись, отворил дверь, но не решился переступить через порог, потому что в первой комнате стоял какой-то незнакомый мужчина.

Это был столяр-христианин, для семейства которого Павлина предоставила домик. Он спросил Антиноя, что ему нужно.

— Дома ли госпожа Анна? — пробормотал вифинец.

— Не живет больше здесь.

— А ее приемная дочь, Селена?

— Отправилась вместе с ней в Верхний Египет. У тебя есть до них какое-нибудь дело?..

— Нет, — отвечал юноша в смущении. — Когда они уехали?

— Третьего дня.

— И не вернуться?

— В ближайшие годы, наверно, нет. Впоследствии может быть, если Богу будет угодно.

Антиной беспрепятственно вышел из сада по широкой средней аллее.

Он был бледен и чувствовал себя, как странник в пустыне, увидевший, что источник, водой которого он надеялся утолить жажду, завален камнями.

В первый свободный час следующего дня юноша снова постучался в дверь жилища столяра, чтобы спросить, в каком месте Верхнего Египта намеревались высадиться переселенцы, и ремесленник ответил откровенно:

— В Безе.

Антиной всегда был мечтателем, но Адриан еще никогда не видал его таким рассеянным, таким вялым и задумчивым, как в это время.

Когда он пытался пробудить его от рассеянности и заставить быть бодрее, любимец смотрел на него умоляющим взглядом и употреблял все усилия к тому, чтобы угодить своему господину и принять более веселый вид, но это ему удавалось лишь на короткое время.

Даже на охотах в Ливийской пустыне, которые несколько раз устраивал император, Антиной оставался вялым и безучастным к этим удовольствиям, которым он в другое время предавался с радостью и искусством.

Император оставался в Александрии дольше, чем в других городах, и теперь чувствовал себя утомленным празднествами и пиршествами, словесными битвами с членами ученой коллегии Музея, сношениями с восторженными мистиками, истолкователями знамений, астрологами и шарлатанами, которыми кишел этот город. Короткие аудиенции, которые он давал вождям разных религиозных общин, и посещения мастерских этого трудолюбивого промышленного центра тоже начали его утомлять.

Однажды император объявил, что намерен посетить южные округа Нильской долины.

Об этой милости просили его жрецы туземных египетских богов, и не только его любознательность и страсть к путешествиям, но также и государственные соображения побуждали его исполнить желание жреческой касты, в особенности влиятельной в этой богатой и важной провинции.

Перспектива увидеть собственными глазами относящиеся к временам фараонов чудеса, которые привлекали столь многих путешественников, веселила его; и хорошее настроение его духа усилилось, когда он заметил, ка-

кое оживляющее действие произвело его намерение на Антиноя.

В последние недели ничто ни в малейшей степени не радовало любимца.

Поклонения, которыми осаждали его знатные александрийки с не меньшею навязчивостью, чем римские женщины, опротивели ему. На пиру он оказывался молчаливым сотрапезником, соседство с которым никого не веселило.

Даже самые блистательные и возбуждающие зрелища в цирке, самые прекрасные ристалища на ипподроме почти не привлекали его взора.

Прежде он охотно и внимательно смотрел пьесы Менандра и его подражателей — Алексида, Аполлодора и Посидиппа, теперь же на представлениях он устремлял глаза в пустое пространство и думал о Селене.

Перспектива добраться до тех мест, где находилась она, сильно волновала Антиноя и оживляла его угасавшую любовь к жизни. Он снова надеялся. А кто видит сияние света в будущем, для того и настоящее перестает казаться мрачным.

Адриан радовался этой перемене в своем любимце и велел ускорить приготовления к отъезду.

Однако прошли месяцы, прежде чем он мог отправиться в свое путешествие.

Сначала его заботила новая колонизация Ливии, опустевшей вследствие восстания евреев. Затем нужно было отдать распоряжение относительно устройства новых почтовых дорог, которые должны были соединить теснее одну часть империи с другой. Наконец, ему пришлось дожидаться формального согласия сената на новые постановления о наследовании жалованного права гражданства.

Правда, в этом согласии нечего было сомневаться, но императору было важно, чтобы его распоряжение поскорее вступило в законную силу.

При посещениях Музея Адриан осведомлялся о положении отдельных членов его ученой коллегии и выработал теперь постановления, посредством которых предполагалось устранить от трудолюбивых исследователей заботы о насущных потребностях жизни.

Он обратил также внимание и на положение престарелых учителей и воспитателей юношества и старался улучшить его.

Когда Сабина говорила ему, какие большие расходы вызовут эти новые меры, он возражал:

— Мы не даем умирать с голоду ветеранам, которые отдают свою жизнь в распоряжение государства. Почему же должны пропадать в нужде те, кто работает для него умом? Что мы должны ставить выше: силу и богатство или же умственные сокровища? Чем труднее мне, как императору, отвечать на этот вопрос, тем решительнее я чувствую себя обязанным мерить должностных лиц, воинов и престарелых учителей одной меркой.

И сами александрийцы тоже задерживали Адриана разными новыми знаками своего почтения. Они возвели его в звание божества, посвятили ему храм и устраивали в честь его празднества за празднествами, несомненно для того, чтобы расположить его в пользу города и выразить свою радость и гордость по поводу его продолжительного пребывания в Александрии. Но наряду с этим здесь существовал и другой мотив: александрийские граждане, жадные до всяких удовольствий, с радостью воспользовались случаем потешить себя и предаваться всевозможным изысканным наслаждениям. Таким образом, императорское посещение поглотило много миллионов, и Адриан, который не оставлял ничего не исследованным и сумел собрать сведения об израсходованных городом суммах, порицал легкомыслие расточительных гостеприимцев.

Впоследствии, полный признательности, он писал своему зятю Сервиану о богатстве и трудолюбии александрийцев. Он расхваливал в них то, что между ними никто не шатается праздно. Одни изготавливают стекло, другие папирусы, третьи полотна, и каждый из этих неутомимых людей, говорил он, занимается каким-нибудь ремеслом. Даже подагрики и слепцы ищут и находят здесь занятия. Однако же он называет александрийцев народом строптивым, беспорядочным, с острым и злым языком, который не щадил ни Вера, ни Антиноя. О евреях, христианах и почитателях Сераписа он говорит в этом письме, что они вместо олимпийских богов поклоняются только одному богу. Но, утверждая относительно христиан, что они чтут Сераписа, Адриан разумеет под этим то, что они держатся учения о продолжении жизни души после смерти.

Много хлопот доставил Адриану спор о том, в какой храм следует поместить новонайденного Аписа. Это священное животное с давних времен помещалось в храме

бога Фта, в Мемфисе. Но Александрия далеко опередила почтенный город пирамид, и здесь храм Сераписа в десять раз превосходил блеском и величиной мемфисский храм этого бога в области Сокари.

Александрийские египтяне, жившие в квартале Ракотида, который прилегал к Серапейону, хотели иметь этого бога, живущего на земле в образе быка, у себя, а жители Мемфиса не желали отступить от своего старинного права, и императору было не легко привести этот глубоко волновавший умы спор к удовлетворительному решению.

Мемфис удержал своего Аписа, зато александрийский Серапейон был осыпан милостивыми дарами, какие доставались только храмам в городе пирамид.

В июне император смог наконец выехать.

Он пожелал пересечь провинцию пешком и верхом на лошади, а Сабина должна была отправиться на судне после наступления нильского разлива.

Императрица охотно вернулась бы в Рим или Тибур, потому что Вер вследствие решительного предписания врачей с наступлением летней жары должен был оставить Александрию. Он уехал вместе со своей супругой как сын царствующей четы... Но Адриан ни одним словом не сказал ему о возможности возведения его в сан наследника престола.

Необузданная страсть этого красавца и кутилы к наслаждениям не была сломлена его болезнью, и в Риме он продолжал пользоваться удовольствиями жизни.

Медлительность Адриана часто беспокоила его, так как этот царственный сфинкс слишком часто умел давать в высшей степени неожиданное разрешение своим загадкам. Предсказанный претору мрачный конец причинял ему мало заботы; напротив того, это пророчество Бен-Иохая побуждало его пользоваться каждым часом здоровья, который еще посылала ему судьба.

Бальбилла и ее компаньонка, Публий Бальбин и другие знатные римляне, софист Фаворин и большая свита придворных и слуг должны были сопровождать императрицу на корабле. Адриан отправился в свое путешествие сухим путем с маленькой свитой, к которой он присоединил великолепный охотничий поезд.

Прежде чем он добрался до Мемфиса, он убил в Ливийской пустыне нескольких львов и много других хищ-

ных животных, причем снова нашел в Антиное лучшего товарища по охоте.

Хладнокровный в опасности, неутомимый ходок, довольный и услужливый, юноша казался своему повелителю спутником, как бы самими богами созданным для его радости.

Когда Адриан целыми часами и днями размышлял и молчал, Антиной не беспокоил его ни одним словом, но и в такие времена императору было необходимо присутствие любимца, потому что его делало счастливым сознание, что Антиной находится подле него.

Антиной во время этого путешествия тоже чувствовал себя хорошо, ибо сознавал, что мог быть полезен своему высокочтимому государю и тем облегчить все еще угнетавшую его тяжесть совершенного им преступления. Он и без того любил больше мечтать, чем говорить, а движение на свежем воздухе предохраняло его от вялой апатии.

В Мемфисе Адриан задержался на целый месяц. Ему пришлось вместе с Сабиной, корабль которой он нашел там, посетить лично храмы египетских богов и в облачениях фараонов выполнить разные церемонии.

Сабина часто думала, что умрет, когда, украшенная большим головным убором повелительниц Нильской долины, изображавшим коршуна, в длинных одеждах и обремененная золотыми украшениями, она должна была шествовать рядом с супругом в процессии через все залы, на кровли и, наконец, в святилище храмов. И каким бессмысленным обрядностям приходилось подчиняться при этих круговых обходах, при каком множестве жертвоприношений нужно было присутствовать!

Возвращаясь домой после посещения храмов, она чувствовала крайнее изнеможение. Да и в самом деле, это было нешуточным делом — подвергнуться таким бесконечным окуриваниям и окроплениям, выслушать так много гимнов и литаний, проходить такие большие пространства и, сидя на троне божества, когда тебя возвели в сан небожителей, позволять украшать себя разнообразными коронами, убирать разными повязками и символами.

Супруг подавал ей хороший пример.

При этих церемониях он выставлял напоказ все строгое величие своей природы и между египтянами вел себя, как египтянин. Он находил удовольствие в том,

чтобы углубляться в мистическую мудрость жрецов, с которыми беседовал часто и долго.

Как в Мемфисе, так и в других наиболее значительных городах, расположенных гораздо южнее, императорской чете оказывались во всех главных храмах почести со стороны жрецов и проводились церемонии обоготворения.

Там, где Адриан жертвовал средства для расширения какого-нибудь святилища, он должен был собственноручно положить камень при закладке здания.

При этом он находил время охотиться в пустыне, заниматься государственными делами и обозревать памятники прошлых времен, на которые стоило посмотреть. В Мемфисе замечательнее всего был Город мертвых с пирамидами, большим сфинксом, Серапейоном и могилами аписов.

В конце путешествия Адриан и его спутники обратились с вопросами к оракулу священного быка.

Поэтессе Бальбилле была предсказана самая счастливая будущность. Бык, которому она должна была, отвернувшись от него лицом, подать лепешку, остался доволен даром и лизнул ее руку своим мокрым языком.

Адриан оставался еще в неизвестности относительно пророчества жрецов Аписа, потому что оно было подано ему в запечатанном свитке, так же как и объяснение содержащихся в нем знаков, причем ему было торжественно запрещено открывать свиток ранее истечения полугода.

Император встречался со своей супругой только в более значительных городах, так как он путешествовал сухим путем, а она — водным.

Суда почти всегда приходили к месту назначения раньше сухопутных путешественников, и когда наконец они добирались туда, то каждый раз давались празднества по случаю приезда императора, на которых Сабина, правда, редко присутствовала. Тем усерднее Бальбилла старалась обрадовать путников в момент их прибытия дружескими сюрпризами. Она чтит императора, и красота его любимца производила неотразимое впечатление на ее артистическую душу. Смотреть на него было для нее наслаждением, его отсутствие огорчало ее, и, когда он возвращался, она первая приветствовала его.

Но он интересовался веселой девушкой ни больше ни меньше, чем другими женщинами в свите Сабина, да и Бальбилла не желала от него ничего другого, кроме

удовольствия смотреть на него и наслаждаться созерцанием его красоты.

Если бы он осмелился принять ее поклонение за любовь и предложить ей свою, поэтесса с негодованием указала бы ему должные границы. Однако же она не скрывала своего восхищения перед красотой вифинца.

Когда путники после долгого отсутствия появлялись снова, Антиной находил в занимаемой им каюте корабля цветы и отборные плоды, присланные ею, и стихи, в которых она воспевала его.

Он складывал все это к другим вещам и обращал мало внимания на поэтессу, а она ничего не знала об этом равнодушии своего прекрасного идола, да она и не заботилась о его чувствах.

До сих пор ей постоянно удавалось без труда держаться в границах приличия. Теперь бывали часы, когда она говорила себе самой, что, может быть, она позволяет себе их переступить.

Но какое ей было дело до мнения окружающих ее людей, какое дело до внутренней жизни вифинца, в котором ей нравилась только его прекрасная внешность?

Возможность возбудить в нем надежды, которые она никогда не могла и не желала осуществить, не пугала ее, так как не приходила ей даже в голову. Однако же она была недовольна собой, потому что один человек не одобрял ее поступков. Этот человек явно порицал ее намерение почтить красоту юноши цветами, и приговор этого одного значил для нее больше, нежели мнение всех других мужчин и женщин, вместе взятых.

Этим человеком был архитектор Понтий, и, странно, именно воспоминание о нем заставляло ее совершать одно безумство за другим.

Она часто виделась с архитектором в Александрии и, прощаясь, взяла с него обещание последовать за императрицей и за ней и по крайней мере часть плавания по Нилу совершить в ее обществе.

Но он не являлся, не присылал никаких известий о себе, хотя был здоров, и каждый гонец привозил от него свитки, надписанные его собственной рукой.

Итак, он, на верную преданность которого она полагалась, как на твердую скалу, был не менее других мужчин эгоистичен и непостоянен.

Она ежедневно и ежечасно думала о нем, как только какое-нибудь судно, приходившее с севера, бросало

якорь возле ее судна; она смотрела на вышедших из него на берег путешественников.

Она тосковала по Понтию, подобно заблудившемуся страннику, который с нетерпением ждет возвращения своего скрывшегося проводника, и все же сердилась на него. Он тысячью признаков подтверждал, что она ему дорога, что она обладает влиянием на его сильную волю, и вот теперь он оказывается неверным данному слову, и его все нет и нет! А она?

Она не осталась нечувствительной к его поклонению и была благосклоннее к внуку отпущенника своего деда, чем к благороднейшим мужчинам из своего собственного круга.

И, несмотря на все это, именно Понтий портил ей удовольствие путешествия тем, что вместо того, чтобы следовать за ней, оставался в Александрии.

Ему ведь нетрудно было бы передать постройки другим архитекторам, которыми кишел большой город!

Если ему нет до нее никакого дела, то, говоря по правде, у нее еще меньше оснований заботиться о нем. К концу путешествия он явится и пусть тогда увидит, как мало она обращает внимания на его наставления.

Она с нетерпением дожидалась его приезда, чтобы прочесть ему все свои стихи, написанные в честь Антиноя, и спросить его, как они ему нравятся. Она чувствовала какое-то детское удовольствие в том, чтобы умножать число этих маленьких стихотворений, тщательно отделять их и блистать в них своей ученостью, всем своим умением. Она отдавала предпочтение искусственным и трудным размерам; некоторые стихи были написаны на латинском языке, другие — то на аттическом наречии, то на эолийском, которыми она уже научилась владеть, — и все это для того, чтобы наказать Понтия, чтобы его раздражить, и для того, чтобы как можно ярче блеснуть перед ним своим талантом. Она воспевала Антиноя, но любимец императора не получил от нее ни одного цветка, посылая который, она, капризно надув губки, думала об архитекторе.

Но девушка не может воспевать красоту какого-нибудь юноши безнаказанно, и наступили часы, когда Бальбилла была склонна думать, что любит Антиноя. Тогда она стала называть себя его Сафо, а он, казалось, был предназначен для того, чтобы сделаться ее Фаоном.

Во время его продолжительных странствований с императором она могла пламенно, даже до слез, тосковать

о нем; но как только он возвращался и она снова смотрела на его мало оживленные черты и томные глаза и слышала его вялое «да» или «нет», которыми он отвечал на ее вопросы, очарование совершенно исчезало, и она честно признавалась себе самой, что почти с таким же удовольствием смотрела бы на его статую, высеченную из мрамора, как и на него самого.

В подобные часы ее воспоминание об архитекторе было в особенности живо. И однажды, когда ее корабль проходил между цветами лотоса, над которым возвышался один прекрасный и развернувшийся цветок, она, быстро схватывавшая всякое замечательное явление, чтобы переработать его в поэтическую форму, набросала ряд стихов. В них она называла Антиноя цветком лотоса, который одной своей красотой выполняет свое назначение, а Понтия сравнивала с прочно построенным и хорошо управляемым кораблем, который зовет нас с собой в далекую даль.

Ничто, казавшееся римским путешественникам интересным, не осталось здесь неосмотренным. Могилы фараонов, вторгающиеся в самое сердце скалистых гор, и большие, но лишенные своего древнего блеска храмы на западной стороне Города мертвых возбудили восторженное удивление императора. Императорская чета и ее свита слышали также три раза ранним утром звук, издаваемый колоссом Мемнона, верхняя часть которого была обрушена на землю землетрясением.

Бальбилла описала это событие в нескольких длинных стихотворениях, которые Сабина приказала вырезать на камне колосса. Поэтессе казалось, что она слышит голос Мемнона, который песнью отвечал своей матери Эос, между тем как ее слезы — свежая утренняя роса — орошают статую сына, павшего под стенами Трои.

Громадные храмы на обоих берегах Нила вполне соответствовали ожиданиям императора, хотя вследствие землетрясений и осад потерпели сильные повреждения, и обдневшее жреческое сословие Фив было уже не в состоянии заботиться не только о восстановлении, но даже о поддержании их.

Бальбилла сопровождала Адриана и в храм Аммона, находящийся на восточном берегу.

В обширнейшей и величайшей из всех колонных зал ее восприимчивая душа вознеслась ввысь, и, когда император заметил, как она с пылающими щеками смотрит то вверх, то, прислонясь к одному из столбов, высо-

ких, как башни, озирается кругом, он спросил ее, что она чувствует в этом истинном доме богов.

— Я чувствую, во-первых и прежде всего, что искусство зодчества возвышеннее всех других искусств! — вскричала поэтесса. — Этот храм кажется мне величественной эпопеей, а тот, кто вдохновенно создал эту эпопею, сложил ее не из бедных слов, а из тяжелых, неповоротливых каменных глыб. Тысячи частей здесь соединены в одно целое, и каждая из них в прекрасной гармонии приспособлена к другой и помогает выразить мысль, которая наполняла душу творца этой залы. Какое другое искусство было бы способно создать такое вековечное, далеко превосходящее всякую обыкновенную меру произведение?

— Поэтесса подносит лавровый венок архитектору, — сказал император. — Но разве область поэта не беспредельна, и разве зодчий переходит когда-нибудь за пределы конечного и ограниченного?

— А существо богов разве доступно измерению? — спросила Бальбилла. — Нет. Однако мне кажется, что эта зала устроена так, что божество могло бы поместиться в ней.

— Это потому, что она обязана своим происхождением мастеру, душа которого, когда он создавал залу, касалась границ вечности. Но думаешь ли ты, что эти храмы переживут песни Гомера...

— Нет, однако же память о них сохранится в не меньшей степени, чем память о гневе Ахилла и странствованиях хитроумного Одиссея.

— Жаль, что тебя не слышит Понтий! — вскричал император. — Он окончил план одной постройки, которой суждено пережить и меня, и тебя, и всех нас. Я говорю о моем надгробном памятнике. Кроме того, я хочу поручить ему постройку в Тибуре ворот, дворов и зал в египетском стиле, которые будут напоминать нам о нашем странствовании по этой удивительной стране. Я жду его завтра.

— Завтра? — спросила Бальбилла, и все ее лицо залилось ярким румянцем.

Вскоре после своего отъезда из Фив, состоявшегося второго ноября, Адриан пришел к важному решению.

Вер должен быть признан не только сыном, но и наследником императора.

Одних настояний Сабины самих по себе было бы недостаточно для того, чтобы положить конец его колебанию, но как раз в это время они совпали с собственными желаниями императора.

Сердце его жены жаждало иметь дитя; но и его сердце тосковало по сыну, и он обладал им в лице Антиной.

Его любимец был подобраный на дороге ребенок незнатного, хотя и свободного происхождения, но во власти императора было сделать его важным лицом, возложить на него высшие почетные должности Рима и наконец открыто признать его своим наследником.

Если кто-нибудь заслуживал этого, то именно Антиной, и только ему он мог без зависти передать все, чем обладал сам. Эти мысли, эти желания зародились в нем много месяцев назад, но осуществлению их все более и более препятствовали ум и характер вифинца.

Адриан серьезнее своих предшественников старался поднять понизившееся значение сената, но все же он мог быть вполне уверенным в его согласии на самые рискованные мероприятия. Руководящие правительственные учреждения республики даже при самых необузданных из его предшественников были официально признаны и продолжали свою деятельность. Правда, все они, какое бы ни носили название, должны были повиноваться императору, но все же они были налицо, и империя даже с каким-нибудь слабым властителем во главе могла продолжать свое существование в границах, установленных Адрианом.

Однако раньше император не осмелился бы и думать об усыновлении своего любимца. Теперь он надеялся, что стоит ближе к исполнению своего желания.

Антиной, правда, оставался мечтателем по-прежнему, однако же его путешествия и охота в Египте сделали его бодрым и сильным, и со времени отъезда из Фив он иногда становился веселым и отважным до дерзости.

Такого Антиной он мог вышколить под собственным руководством, и, когда он возвысится, переходя от одной почетной должности к другой, наступит время назначить его своим наследником. На первое время этот план должен был сохраняться в тайне.

Если он открыто усыновит Вера, то тем самым будет исключена всякая мысль о новом выборе сына. К тому же он смело мог решиться назначить любимца Сабины своим наследником, так как знаменитейшие римские врачи, к которым он обращался с вопросом, пи-

сали ему, что полуразрушенное здоровье претора не может быть восстановлено. В лучшем случае ему остается прожить еще очень немного лет.

Итак, пусть он спокойно сойдет в могилу среди своих блистательнейших надежд. Только тогда, когда сомкнутся его глаза, наступит время поставить на его место мечтателя, достигшего возраста зрелого мужа.

Возвращаясь из Фив в Александрию, Адриан встретился с супругой в Абидосе и открыл ей решение назначить избранного ею сына своим наследником. Сабина поблагодарила его словом: «Наконец-то!», — которое выражало ее удовольствие и в то же время досаду на долгое промедление.

Адриан позволил ей возвратиться из Александрии в Рим, и в тот же день были уже отправлены гонцы с посланиями в сенат и к префекту Египта.

Послание к Титиану заключало в себе приказ публично провозгласить усыновление претора, устроить по этому случаю радостное празднество и даровать народу, от имени императора, все милости, предписываемые египетскими обычаями властителю при рождении наследника престола.

Свита императорской четы отпраздновала это событие великолепными пирами, но Адриан не принимал в них участия. Он велел переправить себя через Нил и у Антеополя направился в пустыню, чтобы проникнуть оттуда в ущелье Аравийских гор и поохотиться за дикими зверями. Его не сопровождал никто, кроме Антиноя, Мастора, нескольких охотников и собак.

У Безы он думал встретить корабли. Посещение этого города он отложил до обратного пути, потому что находился теперь на западном берегу Нила, а переправа через реку отняла бы у него слишком много времени.

В один душный ноябрьский вечер шатры путников были раскинуты между Нилом и известковыми горами, в которых находился ряд могил времен фараонов.

Адриан посетил их, потому что его забавляли достопримечательные изображения на их стенах; но Антиной остался в лагере, так как ему уже приходилось осматривать подобные гробницы в Верхнем Египте гораздо чаще, чем он желал. Он находил эти изображения однообразными и некрасивыми, и у него не доставало терпения углубляться в их смысл. Чтобы не оставлять Адриана одного, а вовсе не ради них, он сто раз входил с императором в эти старые пещеры, но сегодня едва сдер-

живался от нетерпения и досады, потому что знал, что несколько часов пути привели бы его в Безу, к Селене.

Император, во всяком случае, не должен был вернуться раньше, чем через три или четыре часа, и если бы у него, Антиноя, хватило смелости, он мог бы до возвращения Адриана навестить девушку, по которой тосковало его сердце и возвратиться раньше своего повелителя.

Но раздумье явилось раньше, чем действие!

Вон там император взбирается на гору и может его видеть. Ждут гонцов, и ему поручено принять их. В случае дурных известий император не должен оставаться один ни при каких условиях.

Антиной десять раз подходил к своему доброму охотничьему коню, чтобы вскочить ему на спину; однажды он уже схватил его за уздечку, чтобы взнуздать, но за то время, когда он продевал жеребцу через зубы гибкую узду, его энергия снова пропала.

Эти колебания заняли целые часы, и наконец стало уже слишком поздно. Император мог скоро вернуться, и теперь было бы безумием думать о выполнении прекрасного плана.

Ожидаемый посланец уже явился с множеством писем, но Адриан все еще не возвращался.

Смеркалось; большие капли дождя падали с неба, покрытого густыми тучами, а Антиной по-прежнему оставался один.

К его тоске присоединилось сожаление об упущенном случае снова увидеть Селену и беспокойство по поводу долгого отсутствия повелителя.

Несмотря на усиливавшийся дождь, он вышел на воздух, подавляющая удушливость которого прежде парализовала его слабую волю, и позвал собак, намереваясь с ними разыскивать императора, но в эту минуту слышался лай молосского пса и скоро затем Адриан с Мастером выступили из тьмы в полосу света, окружавшую освещенные палатки.

Император наскоро поздоровался со своим любимцем и затем молча позволил Антиною высушить ему волосы и принести трапезу, между тем как Мастер вымыл ему ноги и одел его в сухое платье. Когда Адриан вместе с вифинцем лег перед столом с приготовленными яствами, он сказал:

— Странный вечер! Какой жаркий и душный воздух! Нам нужно беречься, потому что нам грозит беда.

— Что с тобой случилось, государь?

— Разные происшествия. У первой же двери гробницы, в которую я хотел войти, я нашел какую-то черную старуху, которая замахала на нас руками и прокричала какие-то отвратительно звучащие слова.

— Ты понял ее?

— Нет. Разве кто-нибудь может научиться египетскому языку?

— Значит, ты не знаешь, что она сказала?

— Мне пришлось узнать. «Смерть!» — закричала старуха! В гробнице, которую она охраняла, лежало множество людей, заболевших чумой.

— И ты видел их?

— Да. До сих пор я только слышал об этой болезни. Она ужасна.

— Ах, государь! — вскричал испуганный Антиной с упреком.

— Когда мы отошли от могилы, — продолжал Адриан, не обращая внимания на замечание юноши, — мы встретили старика в белой одежде и какую-то странную девушку, хромую и необыкновенно красивую.

— Она тоже шла к больным?

— Да, она несла им лекарство и хлеб.

— Но она не вошла к ним?

— Вошла, несмотря на мое предостережение. В ее спутнике я узнал своего старого знакомого.

— В старике?

— Он, во всяком случае, старше меня. Мы с ним часто встречались в Афинах, когда были еще молоды. Он принадлежал тогда к числу последователей Платона. Он был прилежнее и талантливее нас всех.

— Каким образом подобный человек очутился при больных в Безде? Он сделался врачом?

— Нет. Еще в Афинах он с пламенным рвением искал истины и теперь утверждает, что нашел ее.

— Здесь, среди египтян?

— В Александрии, у христиан.

— А хромая девушка, сопровождавшая философа, тоже верит в распятого бога?

— Да, она сиделка или что-то в этом роде. Однако есть что-то великое в мечтаниях этих людей.

— Правда ли, что они поклоняются ослу и голубю?

— Вздор.

— Я тоже не совсем этому верил. Но, во всяком случае, они добры и заботятся о всех страждущих, даже чужих, не принадлежащих к их числу.

— Откуда ты знаешь это?

— Да ведь в Александрии много говорят о них.

— К сожалению. Я не преследую призрачных врагов, а к ним я причисляю мысли и верования людей; но иногда я спрашиваю себя: полезно ли для государства то, что граждане перестают бороться с житейскими нуждами и утешают себя надеждой на фантастическое счастье в другом мире, который, может быть, существует только в воображении тех, кто верит в него?

— Я бы желал, чтобы жизнь совсем оканчивалась смертью,— сказал Антиной задумчиво.— Однако же...

— Ну?

— Если бы я знал наверняка, что найду в том, другом мире тех, которых мне хотелось бы увидеть снова, я пожелал бы второй жизни.

— Значит, ты желал бы снова и целую вечность толкаться и тесниться среди массы старых знакомых, которых посылает смерть в другой мир?

— Нет, но я желал бы, чтобы мне было позволено вечно жить с некоторыми избранными.

— А я принадлежал бы к их числу?

— Да! — вскричал Антиной с жаром и прижал губы к руке Адриана.

— Я знал это. Но ни за какую цену, даже из-за тебя, моего любимца, я не пожелал бы отказаться от единственного права, которое составляет преимущество человека перед бессмертными богами.

— Какое право ты подразумеваешь?

— Право выйти из рядов живущих, как только небытие мне покажется сноснее существования.

— Боги, разумеется, не могут умереть.

— А христиане желают умереть только для того, чтобы присоединить к старой жизни новую.

— Более прекрасную, чем первая на земле.

— Они называют ее блаженной. Мать этой вечной жизни — неутомимая жажда существования — не умирает даже среди самых несчастных людей; ее отец — надежда. Они веруют в отсутствие страданий на том, другом свете, потому что тот, кого они называют Искупителем, распятый Христос, якобы освободил их от будущих скорбей своей смертью.

— Разве может кто-нибудь взять на себя страдание другого, как тяжесть или одежду?

— Они говорят это, и мой друг из Афин в этом убежден. В сочинениях по магии имеются указания, каким

образом можно перенести несчастье не только с людей на животных, но и с одного человека на другого. Были даже произведены по этому поводу замечательные опыты над рабами, и в некоторых провинциях мне все еще приходится бороться против человеческих жертв для умилоствления или умиротворения богов. Вспомни только о невинной Ифигении, приведенной к алтарю. Разве не сомкнулся треснувший форум после того, как Марк Курций бросился в трещину? Если судьба пускает тебе вслед смертоносную стрелу и я принимаю ее своей грудью, то, может быть, судьба довольствуется этим ударом, не спрашивая, в кого попала стрела.

— Боги были бы слишком прихотливы, если бы они не захотели принять твоей крови вместо моей.

— Жизнь есть жизнь,— возразил император,— и жизнь юноши дороже жизни старика. Тебя ожидает еще много радостей.

— А ты нужен для всего мира.

— После меня явится другой. Ты честолюбив.

— Нет, господин.

— Что же это значило в таком случае? Все поздравляли меня с сыном Вером, только ты не поздравил. Или тебе не нравится мой выбор?

Антиной покраснел и со смущением опустил глаза, а Адриан сказал:

— Говори откровенно то, что думаешь.

— Претор болен.

— Ему остается жить немного лет, а когда он умрет...

— Он может выздороветь.

— Когда он умрет, я должен буду искать себе другого сына. Как ты думаешь: от кого каждому, будь то раб или консул, приятно слышать слово «отец»?

— От того, кого он искренно любит.

— Совершенно верно, и в особенности когда этот единственно любимый предан ему с непоколебимой верностью. Я такой же человек, как и другие, а ты, мой славный мальчик, стоишь теперь ближе всех к моему сердцу, и я благословлю тот день, когда сумею позволить тебе назвать меня «отцом» перед всем миром. Не прерывай меня. Когда ты крепко заберешь в руки всю свою волю, когда ты с неослабным вниманием, как на охоте, будешь всматриваться в деятельность окружающих тебя людей, когда ты постарайся изощрить свой ум и усвоить то, чему я буду учить тебя, тогда может случиться, что со временем вместо Вера Антиной...

— Только не это! — вскричал юноша, сильно побледнев и подняв руки с умоляющим видом.

— Величие, которое нам внезапно посылает судьба, кажется нам страшным только до тех пор, пока оно для нас ново, — возразил Адриан. — Моряк скоро привыкает к бурям, и в конце концов человек носит багряницу так же свободно, как ты свой хитон.

— О господин, прошу тебя, оставь эти мысли, — сказал Антиной тревожно. — Я не гожусь для величия!..

— Из маленьких ростков вырастают пальмы.

— Но я только бедная, маленькая былинка, прозябающая в твоей тени. Гордый Рим...

— Рим — мой слуга. Он уже не раз подчинялся управлению людей невысокого звания, и я желал бы ему показать, как идет пурпурная мантия к прекраснейшему из его сынов. Мир вправе ожидать такого выбора от императора, которого он уже давно знает как художника, то есть как жреца всего прекрасного. Если он не согласится, то я заставлю его сообразовать свой вкус с моим.

— Ты издеваешься надо мной, цезарь, — возразил встревоженный вифинец. — Не можешь же ты говорить это серьезно, и если ты в самом деле меня любишь...

— Ну, мальчик?

— То позволь мне тихо жить для тебя и заботиться о тебе и ничего, кроме почтения, любви и верности.

— Которыми я обладаю уже давно; и я желал бы вознаградить моего Антиной за эти богатые дары.

— Оставь только меня при себе, позволь мне, когда это будет нужно, умереть за тебя.

— Я думаю, мальчик, что ты был бы способен принести для меня ту жертву, о которой мы говорили.

— В каждый час, не пошевелив бровью.

— Благодарю за эти слова. Каким приятным сделался этот вечер, а я ожидал такого дурного.

— Потому что тебя испугала старуха у могилы?

— Смерть — отвратительное слово. Правда, быть мертвым — это не может устрашить мудрого; но переход из света в тьму ужасен. Образ старухи и ее пронзительный крик не выходят у меня из головы. Затем пришел христианин и повел странные, тревожащие сердце речи. Еще до наступления темноты он направился домой вместе с хромой девушкой. Я поглядел им вслед и был ослеплен солнцем, склонявшимся к закату позади Ливийских гор. Горизонт был светел, только ниже дневного светила висели облака. Египтяне говорят, что на западе лежит

царство смерти. Я невольно вспомнил об этом; и оракул, который вместе со звездами угрожает мне несчастьем в этом году, и крик женщины — все это разом пришло мне на ум. Когда я затем увидал, как солнце, борясь с облаками, все более и более приближается к цепи холмов по ту сторону Нила, я сказал себе: «Если оно зайдет с блеском, ты можешь спокойно смотреть в будущее; если же оно, заходя, покроется тучами, тогда судьба исполнится, тогда нужно будет убирать паруса и ожидать бури».

— Что же случилось?

— Огненный солнечный шар горел красным пламенем и был окружен миллионами лучей. Один луч отделялся от другого и светил ярко. Казалось, что в заходящем солнце собралось бесчисленное множество стрелков из лука и что они пускают золотые стрелы во всех направлениях в облака. Это было чудное зрелище, и мое сердце начало уже вздыматься от радостного волнения, но вдруг одна мрачная туча, точно рассерженная ранами, полученными ею от светящихся стрел, стремительно опустилась вниз, за ней быстро последовали вторая, третья и четвертая, и мрачные демоны набросили серый клочковатый покров на сияющее чело Гелиоса, как палач накидывает грубое черное сукно на голову приговоренного к смерти преступника, в которого затем упирается коленом, чтобы задушить его.

При этом рассказе Антиной закрыл лицо обеими руками и в страхе пробормотал:

— Ужасно, ужасно! Что предстоит нам? Послушай только, как гремит гром, как дождь ударяет в крышу палатки.

— Облака низвергают целые ручьи на землю. Вода уж течет к нам сюда. Пусть рабы выкопают канавки для стоков. Эй вы, ребята, что там снаружи, забейте колки крепче, не то ветер сорвет легкую палатку.

— И какой душный воздух!

— Горячий ветер как будто согрел дождевые потоки. Здесь покамест сухо. Налей мне стакан вина с водой, Антиной. Пришли письма?

— Да, господин.

— Так подай мне их, Мастер.

Раб, усердно работавший, чтобы укрепить палатку землей и камнями и оградить от просачивавшихся в нее дождевых ручьев, вскочил, быстро вытер руки, взял одну сумку из сундука, предназначенного для корреспонденции императора, и подал ее повелителю.

Адриан открыл сумку, вынул оттуда один свиток, быстро распечатал его и, пробежав его содержание, спросил:

— Что это? Я распечатал изречение оракула Аписа. Каким образом оно очутилось между новыми письмами?

Антиной подошел к Адриану, посмотрел на сумку и сказал:

— Мастер ошибся. Эти бумаги из Мемфиса. Я сейчас принесу тебе ту сумку, которая нужна тебе.

— Подожди,— возразил император.— Игра ли это случая, или воля судьбы? Почему эта ошибка произошла именно сегодня? Почему из двадцати бумаг, находящихся в этой сумке, я должен был схватить именно эту? Посмотри сюда! Я объясню тебе эти знаки. Вот здесь изображены три пары рук, вооруженных щитами и мечами, возле названия египетского месяца, который соответствует нашему ноябрю. Это три знака несчастья. Вот эти три лютни вверху — счастливое предзнаменование; вон те мечты показывают обыкновенное состояние вещей. Три из этих иероглифов стоят всегда вместе. Три лютни означают большое счастье, две лютни и одна мачта — счастье и среднее благосостояние, одна пара рук и две лютни — несчастье, за которым следуют хорошие часы, и так далее. Здесь, в ноябре, изображены вооруженные руки; они соединены по три пары и предвещают исключительно угрожающее несчастье, которое не ослабляет ни одна благоприятная лютня. Видишь ты это, мальчик? Понимаешь ты теперь смысл этих знаков?..

— Да, да, но правильно ли ты истолковываешь их? Сражающиеся руки, может быть, ведут к победе.

— Нет. Египтяне изображают таким образом распрю, а распря и беспокойство для них то же самое, что мы называем дурным и злым.

— Как это странно!

— Нет, это правильная мысль. Египтяне говорят, что все первоначально было создано богами хорошо, но сами по себе совершенные части мироздания изменились в своей природе благодаря беспокойным отклонениям. Это объяснение дал мне жрец Аписа; а вот здесь, здесь, возле имени ноября, стоят три пары сражающихся рук — ужасные знаки! Если одна из молний, которые беспрестанно освещают нашу палатку потоками света, убьет меня, и тебя, и всех нас, то в этом не будет ничего удивительного. Нам предстоит нечто тяжкое, страшное. Нуж-

но иметь мужество, чтобы сохранить ясный взгляд и не пасть духом при подобных знамениях.

— Употреби против борющихся рук египетских богов свои собственные руки, они сильны, — возразил Антиной; но император опустил голову и сказал с унынием:

— В борьбе против судьбы даже боги должны потерпеть поражение.

Непогода продолжала бушевать. Буря не один раз вырывала из земли колышки, к которым были прикреплены веревки палатки, и заставляла рабов удерживать руками легкое жилище императора. Разверзнувшиеся тучи низвергали огромные массы воды на горы пустыни, на которые в продолжение нескольких лет не падала ни одна дождевая капля, и наполняли ручьями и потоками каждую сухую впадину на склонах.

Ни Адриан, ни Антиной не смыкали глаз в эту ночь.

Император открыл еще только один свиток из всех, находившихся в новой сумке. Он содержал в себе известие, что префект Титиан жестоко страдает от припадков застарелой одышки, и просьбу этого почтенного человека о том, чтобы ему было позволено оставить государственную службу и удалиться в свои имения.

Для Адриана была далеко не малая потеря лишиться в будущем этого надежного помощника, человека, которого он имел в виду для успокоения и покорения Иудеи, где вспыхнули новые восстания. Уничтожить взбунтовавшую провинцию — это мог сделать и другой, но победить ее добротой и сохранить ее в целости могло удалиться только кроткому и умному Титиану.

У императора не хватило мужества распечатать еще какое-нибудь письмо в эту ночь. Он молча лежал в постели до рассвета и думал о всех дурных часах своей жизни: об умерщвлении Нигрина, Титиана и других сенаторов, благодаря чему он обезопасил свое владычество; он давал обеты богам принести им великие жертвы, если они охранят его от приближавшегося несчастья. Когда он утром встал, Антиной испугался, пораженный его видом: в лице Адриана не было ни кровинки.

После прочтения полученных писем Адриан уже не пешком, а верхом на лошади отправился с Антиноем и Мастором в Безу, чтобы дожидаться там своей свиты.

Разъяренные стихии свирепствовали в эту ночь и в округе нильского города Безы.

Граждане этого старого города сделали все, что могли, для приличного приема путешествовавшего властителя. Главные улицы были убраны цветочными гирляндами, перекинутыми от мачты к мачте, от дома к дому, а в гавани, у самого берега реки, были поставлены статуи императора и его супруги. Но буря свалила гирлянды вместе с мачтами на землю, и возмущенные волны реки, ударяясь с неукротимой силой в берег, отрывали и уносили с собой один кусок плодородной земли за другим, вбивались, подобно водяным клиньям, в трещины засохшей почвы и подмывали высокий берег у пристани.

После полуночи буря разбушевалась с неслыханной силой, сорвала покрытые пальмовыми ветвями кровли с нескольких домов и так сильно хлестала нильский поток, что он стал похож на бушующее море.

Огромная масса волн всей своей сплошной силой устремлялась снова и снова на выступ берега, где стояли статуи императорской четы.

Незадолго до появления первого проблеска рассвета коса земли, не укрепленная никакими каменными сооружениями, не выдержала напора бешеных волн. Земляные глыбы скользили и падали с громким плеском в поток, за ними последовал, с громовым шумом, большой кусок берегового спуска.

Лежавшая позади площадь земли понизилась, статуя императора зашаталась и медленно наклонилась, готовая упасть. Когда рассвело, она лежала на земле пьедесталом вверх, а ее голова зарылась в землю.

На рассвете граждане вышли из своих домов и узнали от моряков и рыболовов о случившемся в гавани ночью. Как только буря улеглась, сотни, тысячи мужчин, женщин и детей столпились на пристани, чтобы посмотреть на упавшую статую. Они увидели оползшие глыбы, узнали, что река оторвала часть земли от берега.

Не прогневался ли на императора нильский бог Хапи!

В несчастье, постигшем статую императора, во всяком случае, следовало видеть дурное предзнаменование.

Топарх, глава народа, приказал вновь поставить статую повелителя, которая, впрочем, осталась неповрежденной, и сделать это немедленно, так как император мог прибыть через несколько часов.

Множество жителей этого города, свободные и рабы, усердно занялись этой работой, и вскоре статуя императора, изваянная в египетском стиле, снова стояла прямо и своим неподвижным лицом смотрела на гавань.

Статуя Сабины была придвинута к статуе Адриана, и топарх, довольный, вернулся домой.

Большая часть работников и ротозеев оставили пристань, но после них пришли другие любопытные, которые уже не видели статуи в лежащем положении на обрушившейся земле и теперь обменивались мнениями насчет того, каким образом она упала.

— Буря никак не могла опрокинуть эту тяжелую известковую массу, — сказал один канатный мастер, — да и как далеко она стоит от оторвавшейся земли.

— Должно быть, она упала вслед за земляными глыбами, — возразил ему хлебопек.

— Да, так оно и было, — подтвердил матрос.

— Вздор! — вскричал канатный мастер. — Если бы статуя стояла на оторванной земле, она прежде всего упала бы в воду и потонула бы в реке; это ясно для каждого ребенка. Здесь действовали другие силы.

— Может быть, — заметил храмовый служитель, занимавшийся истолкованием знамений, — может быть, боги низвергли гордую статую, чтобы подать Адриану предостерегающий знак.

— В наше время небожители уже не вмешиваются в дела людей, — возразил сапожник, — но в эту ужасную ночь спокойные граждане оставались дома, и враги императора могли делать, что хотели.

— Мы — верные подданные, — прервал его хлебопек с негодованием.

— Вы — строптивая сволочь, вот вы кто! — крикнул в лицо гражданам один римский солдат, который, как и вся когорта, которая квартировала здесь, служил под начальством свирепого Тинния Руфа в Иудее. — Между вами, поклонниками животных, ссоры никогда не прекращаются, а о христианах, что гнездятся там за рекой, по ту сторону лощины, можно сказать все самое дурное, и даже это не будет преувеличено.

— Храбрый Фуск прав! — вскричал нищий. — Это проклятая нечисть принесла нам чуму в дома. Где только появлялась зараза, там всегда можно было видеть христиан и христианок. Они приходили также и к моему брату. Целые ночи они оставались при его больных детях, и оба ребенка, разумеется, умерли.

— Если бы только мой старый легат Тинний Руф был здесь, — проворчал солдат, — им всем пришлось бы не лучше, чем их распятому Богу.

— Я, конечно, не имею с ними ничего общего,— возразил хлебопек.— Однако же, что правда, то правда. Это тихие, ласковые люди, аккуратные плательщики, которые не делают ничего дурного и оказывают помощь многим бедным.

— Помощь? — прохрипел нищий, которому дьякон общины в Безе не дал никакой милостыни, советуя ему работать.— Все пятеро жрецов великой Сехмет из грота Артемиды поддались их искушениям и бросили храм своей богини. И разве это хорошо, что они отравили детей моего брата?

— Да почему бы им не убивать и детей? — спросил солдат.— Еще в Сирии слышал я о подобных вещах, а что касается этой статуи, то я готов отказаться от моего меча, если...

— Послушайте храброго Фуска, он многое видел на свете,— раздалось из толпы.

— Пусть мне больше не носить меча, если не они в темноте свалили статую.

— Нет, нет,— возразил моряк решительно.— Она упала вслед за подмытой землей; я видел, как она там лежала.

— Уж не христианин ли и ты? — спросил солдат.— Или ты думаешь, что я клянусь моим мечом попусту. Я, люди добрые, служил в Вифинии, в Сирии, в Иудее и знаю эту нечисть. Там можно было видеть сотни христиан, которые отбрасывали свою жизнь, как износившийся башмак, из-за того, что не хотели поклониться статуе императора и приносить жертвы нашим богам.

— Слышите вы? — прохрипел нищий.— И заметили ли вы хоть одного из них в числе граждан, которые помогали поднять статую снова.

— Ни одного не было при этом,— сказал матрос, начинавший присоединяться к мнению солдата.

— Христиане сбросили статую императора на землю,— закричал нищий в толпу.— Это доказано, и им придется плохо. Кто любит божественного Адриана, тот пусть идет со мной выгонять их теперь из их домов!

— Не бунтовать! — прервал солдат рассвирепевшего нищего.— Вон идет трибун, он выслушает вас.

Трибуна, который проходил с отрядом солдат, чтобы встретить императора при въезде его в город, толпа приветствовала громкими криками. Он приказал замолчать и велел солдату рассказать, что так волнует граждан.

— Очень возможно,— сказал наконец этот, по-види-

мому, сильный и строгий человек, который тоже, подобно Фуску, служил под начальством Тинния Руфа и из погонщиков дослужился до трибуна.— Очень возможно, но где ваши доказательства?

— Большинство граждан бросилось, чтобы поднять статую, но христиане держались вдали от этой работы,— вскричал нищий.— Ни одного из них не было здесь видно. Спроси матроса, господин, он был тут и может засвидетельствовать это.

— Во всяком случае, это более чем подозрительно. Это дело должно быть строго расследовано. Тише вы, люди!

— Вот идет христианская девка.

— Хромая Марфа; я хорошо знаю ее,— прервал его нищий,— она шляется по всем зачумленным домам и отравляет людей. У моего брата она торчала три дня и четыре ночи и поворачивала детям подушки, пока не убила их. Куда она приходит, там оказываются мертвые.

Селена, которая теперь называлась Марфой, со своим слепым братом Гелиосом, называвшимся теперь Иоанном, шла по дороге, которая вела от возвышенного берега к пристани, не обращая внимания на толпу.

Она хотела нанять там лодку, чтобы переправиться через реку. В одной деревне на острове, лежавшем напротив города, жили больные христиане, которым она несла лекарство, намереваясь ухаживать за ними. Уже несколько месяцев вся ее жизнь была посвящена страждущим. Она являлась с помощью и в языческие дома, не боясь ни чумы, ни лихорадки. Щеки ее сделались свежее, а в ее глазах сиял какой-то чистый, мягкий блеск, освещавший строгую красоту ее черт.

Когда девушка подошла ближе к трибуну, он увидел ее и крикнул:

— Эй ты, бледная девка! Ты христианка?

— Да, господин,— отвечала Селена и спокойно пошла с братом дальше.

Римлянин посмотрел ей вслед, и, когда она проходила мимо статуи Адриана, причем опустила голову ниже, чем прежде, он повелительным тоном приказал ей остановиться и сказать ему, почему она отвернула лицо от статуи императора.

— Адриан — наш повелитель так же, как и ваш,— отвечала девушка.— Я спешу, на острове есть больные.

— Она не принесет им ничего хорошего! — вскричал нищий.— Кто знает, что скрывается у ней в корзинке.

— Молчать! — прервал его трибун. — Говорят, девка, что твои единоверцы в эту ночь свалили статую императора.

— Как могло это быть? Мы чтим императора так же высоко, как и вы.

— Я хочу верить тебе, а ты должна доказать это. Вот стоит статуя божественного цезаря, иди за мной и помолись ей.

Селена с ужасом посмотрела на суровое лицо трибуна и не нашла ни слова для ответа.

— Ну! — сказал трибун. — Пойдешь ли ты за мной? Да или нет?

Селена старалась собраться с духом и, когда трибун протянул руку, чтобы схватить ее, сказала дрожащим голосом:

— Мы почитаем императора, но не молимся статуям. Мы молимся только нашему Отцу в небесах.

— Вот оно! — засмеялся нищий.

— Я спрашиваю еще раз, — вскричал трибун, — желаешь ты поклониться этой статуе или отказываешься?

В душе Селены поднялась жестокая борьба. Если она будет противиться римлянину, ее жизнь подвергнется опасности, и ярость народа может обратиться против ее единоверцев; если же она исполнит его требование, то она нанесет поругание Богу, нарушит верность Спасителю, согрешит против правды и совести.

Страшная тревога овладела ею и отняла у нее силу вознестись душой в молитве.

Она не могла, не смела сделать то, чего от нее требовали, но присущая каждому человеку сильная любовь к жизни толкала ее вперед и остановила перед каменным идолом.

— Подними руки и молись божественному цезарю! — вскричал трибун, который, как и все присутствовавшие, с напряженным вниманием следил за каждым ее движением.

Селена, дрожа, поставила корзинку на землю и пыталась высвободить свою руку из руки брата; но слепой мальчик не выпускал ее. Он понимал, чего требовали от его сестры; он знал из повествований разных мучеников, о которых ему рассказывали, что ожидало ее в случае сопротивления римлянину, однако же не испугался и прошептал ей:

— Мы не сделаем того, чего они хотят, Марфа, мы не поклонимся кумиру, мы останемся верными Спасителю.

Подняв свои тусклые глаза к небу, мальчик громким голосом проговорил молитву Господню. Селена сперва повернула его, а потом и сама отвернулась от идола лицом к реке. Затем она последовала примеру брата.

Гелиос крепко прижался к ней, ее громкая молитва слилась с его молитвой, и оба они не видели, не слышали и не чувствовали более ничего.

Слепому Гелиосу мерещился вдали яркий свет, Марфе — блаженный мир, полный любви, когда возбужденная толпа кинулась на девушку и на ее верного брата и повалила их на землю перед статуей императора.

Напрасно трибун старался остановить толпу.

Когда наконец солдатам удалось оттолкнуть разъяренных граждан от их жертв, два юных существа уже лежали неподвижно, успокоившись навсегда в торжестве своей веры, в надежде на блаженную и вечную жизнь.

Случившееся огорчало и беспокоило трибуна.

Эта девушка, этот прекрасный ребенок, трупы которых лежали перед ним, заслуживали лучшей участи, и он мог подвергнуться ответственности за их смерть, так как по закону ни один христианин не мог быть наказан за свою веру без судебного приговора. Поэтому он велел отнести убитых в дом, в котором они жили, и пригрозил строгим наказанием каждому, кто войдет сегодня в христианский квартал.

Нищий с криками шел впереди носилок с покойниками и завернул в дом своего брата, чтобы сообщить его жене, что хромая христианка Марфа, которая уходила ее дочерей до смерти, убита. Однако же его плохо поблагодарили за эту весть. Бедная женщина оплакивала Селену, как собственное дитя, и прокляла убийц.

Перед заходом солнца Адриан приехал в Безу, где нашел великолепный шатер, устроенный для приема его.

Ему ничего не сказали о несчастье, случившемся с его статуей, однако же он чувствовал себя встревоженным и нездоровым.

Он желал остаться в полном одиночестве и велел Антиною посмотреть город, пока еще не наступили сумерки.

Вифинец обрадовался этому предложению, как дару богов, пошел по разукрашенной улице и попросил какого-то мальчика проводить его оттуда в квартал христиан.

Улицы этого квартала точно вымерли. Ни одна дверь не была отворена, ни одного человека не было на улице.

Антиной наградил мальчика подарком, отпустил его и с сильно бьющимся сердцем переходил от одного до-

ма к другому. Все они имели опрятный вид; большей частью они были окружены деревьями и кустами. Но, хотя из нескольких крыш поднимался дым, все эти дома казались покинутыми. Наконец он услышал вдали человеческие голоса. Он пошел на эти голоса по узкому переулку, который привел его к открытой площади, где собралась сотня людей — мужчин, женщин и детей — перед домиком, расположенным в хорошо содержавшемся пальмовом саду.

Антиной спросил какого-то старика, где живет вдова Анна, и тот молча указал на дом, привлекавший внимание его единоверцев.

Сердце юноши билось бурно, и он чувствовал беспокойство и смущение; у него возник даже вопрос: не лучше ли ему вернуться и прийти сюда опять завтра, когда он надеялся застать Селену одну.

Но нет!

Может быть, ему еще теперь удастся увидеть ее!

Он скромно пробрался через собравшуюся толпу, запевшую какую-то песнь, и не мог решить, выражает ли она веселые или печальные чувства.

Теперь он дошел до ворот сада и увидел горбатую Марию. Она стояла на коленях возле покрытых носилок и плакала.

Не умерла ли вдова Анна?

Нет, она жива.

Вот она выходит из дверей своего жилища, опираясь на руку какого-то старика, бледная, спокойная, без слез, оба идут вперед. Старик произнес краткую молитву, затем наклонился и поднял лежавший на носилках покров.

Антиной сделал шаг вперед и отшатнулся, точно пораженный молнией. При этом он закрыл глаза рукой и остановился, словно врос в землю.

Не было слышно скорбных, похоронных причитаний и воплей.

Старик обратился с речью к присутствовавшим.

Вокруг него слышались тихий плач, пение и шепот молитвы, но Антиной не видел и не слышал ничего.

Он опустил руку и не отрывал глаз от бледного лица умершей, пока Анна не покрыла носилки покрывалом. Но и после этого он все еще оставался безмолвным.

Только когда шесть девушек подняли на плечи простой гроб Селены и четыре женщины-матери взяли гробик Гелиоса и все собрание удалилось вместе с ними, Антиной повернулся и последовал за печальным шествием.

Он издали видел, как оба гроба были отнесены в скалистую пещеру, как люди крепко заперли дверь и затем похоронная процессия рассыпалась в разные стороны.

Наконец он один остался у дверей могилы.

Солнце зашло, и тьма быстро распространялась над долиной и холмами.

Так как кругом не видно было никого, кто мог бы наблюдать за ним, то Антиной обхватил руками столбы у дверей пещеры, прижался губами к ее грубым деревянным доскам и бился о них головой: припадок глубокого горя без слез потрясал все его тело.

Он стоял так несколько минут и не слышал приближавшихся к нему шагов.

Это пришла горбатая Мария, чтобы еще раз помолиться наедине у могилы своей дорогой подруги.

Она тотчас же узнала юношу и назвала его по имени.

— Мария,— сказал он взволнованный, схватил ее руку, порывисто пожал и спросил:

— Как она умерла?

— Убита,— отвечала Мария глухим голосом.— Она не хотела молиться статуе императора.

Антиной вздрогнул при этом и спросил:

— Почему она не сделала этого?

— Потому что осталась верной своей вере. Теперь она — блаженный ангел.

— Ты уверена в этом?

— Так же уверена, как в том, что желаю увидеть снова на небе мученицу, которая покоится здесь.

— Мария!

— Выпусти мою руку!

— Не окажешь ли ты мне одной услуги, Мария?

— Охотно, Антиной, но не прикасайся ко мне.

— Возьми вот эти деньги и купи прекраснейших венков, какие только можно найти здесь. Положи их на ее гроб и воскликни при этом: «От Антиной Селене!»

Мария приняла деньги и сказала:

— Я видела часто, как она молилась о тебе.

— Своему Богу?

— Нашему Искупителю, чтобы он даровал блаженство и тебе. Она умерла за Иисуса Христа, теперь она при Нем, и Он исполнит ее молитву.

Антоний молчал несколько минут, затем сказал:

— Протяни же мне еще раз свою руку, Мария! А теперь прощай. Будешь ли ты охотно вспоминать обо мне, а также молиться обо мне вашему Спасителю?

— Да, да! А ты тоже не совсем забудешь меня, бедную калеку?

— Разумеется, нет, добрая ты девушка! Мы, может быть, увидимся еще когда-нибудь.

С этими словами Антиной пошел вниз с холма и потом через город к Нилу.

Месяц взошел и отражался в успокоившейся реке. Так же отражались его лучи на поверхности моря и в ту ночь, когда Антиной спас Селену.

Юноша знал, что император ждет его, но не пошел к его шатру.

Глубокое волнение овладело им.

Он беспокойно ходил взад и вперед по берегу Нила и вызывал в своей памяти воспоминания обо всех выдающихся событиях своей прошлой жизни.

Ему казалось, что он во второй раз слышит каждое слово своего вчерашнего разговора с Адрианом.

С осязательной ясностью он видел перед собой скромный родительский дом в Вифинии, мать, сестер и братьев, с которыми ему уже не суждено свидеться.

Он еще раз пережил тот ужасный час, в который он обманул своего доброго государя и сделался поджигателем.

Ему, который был не в состоянии думать о завтрашнем дне; ему, избегавшему всякого разговора с серьезными людьми потому, что ему было трудно следить за их речью; ему, который умел только повиняться; ему, который чувствовал себя хорошо только тогда, когда был один со своим повелителем или со своими мечтами, далеко от суеты и шума жизни,— ему носить багряницу, обременить себя заботами и подавляющей ответственностью!

Нет, нет! Это была мысль неслыханная, ужасная, а между тем Адриан не отказывался ни от одного намерения, которое высказал однажды.

Будущность предстала перед умственным взором Антиной в виде страшного и угрожающего врага.

Горе, беспокойство, несчастье смотрели на него отовсюду, куда бы он ни обращал свои глаза. В чем состоит то ужасное, которое угрожает его господину?

Оно приближается, оно должно прийти, если не... да, если не найдется человека, который встал бы между ним и судьбой и в свою собственную грудь, в свое сердце, спокойно ожидающее ран, принял бы копье, брошенное разгневанным богом.

Да, он, только он, может быть этим человеком, только он и может быть им.

Эта мысль осветила его душу, подобно внезапно вспыхнувшему свету. И если в нем хватит мужества для того, чтобы пожертвовать собой, обречь себя на смерть для спасения своего любимого государя, то всякая вина против Адриана будет им искуплена, тогда... тогда... о, как это чудно, как великолепно!.. Тогда, может быть, он найдет себе доступ к воротам того блаженного мира. Их отворят для него молитвы Селены, и он скоро увидит и свою мать, и своего отца, а впоследствии также сестер и братьев. Теперь же, через час, через несколько минут, он увидит ту, которую любил и которая ушла раньше его от жизни.

Его душу наполняло невыразимо сладостное чувство надежды, какого он еще ни разу не испытывал.

Перед ним протекал Нил, и там, у берега, была лодка.

Он сильно толкнул ее в воду и большим прыжком, как на охоте, когда нужно было перескочить с одной скалы на другую, прыгнул в нее с берега.

Антиной уже схватил весла, когда Матор, искавший его по приказанию императора, узнал его при лунном свете и попросил вместе с ним вернуться в палатку.

Но Антиной не последовал за Матором, а крикнул, все дальше уплывая на середину реки:

— Поклонись государю, поклонись ему от меня тысячу и тысячу раз и скажи ему, что Антиной любил его больше своей жизни. Судьба требует жертв. Мир не может обойтись без Адриана, а Антиной — бедное ничтожество, отсутствие которого не почувствует никто, кроме императора, и Антиной за него идет на смерть.

— Остановись, несчастный, вернись! — закричал раб и бросился в другую лодку. Но челнок вифинца, подталкиваемый сильными ударами весел, летел все быстрее и быстрее в речной простор.

Собрав все свои силы, Матор работал веслами в другом челноке, но не мог приблизиться к лодке, которую преследовал. В этом состязании оба они достигли середины потока.

Тогда Матор увидал, что весла вифинца взлетели в воздух. Через мгновение он услышал громкий крик Антиной: «Селена!» И Матору пришлось оставаться бездейственным, беспомощным свидетелем того, как юноша соскользнул в воду, и Нил принял эту прекраснейшую из всех жертву в глубину своих волн.

Прошла одна ночь и половина дня после гибели Антиной. Перед Безой собрались лодки и другие суда со всех частей округа для розысков трупа утонувшего юноши; берег кишел людьми; горшки с горящей смолой и факелы на реке и на берегу ночью омрачили блеск луны, но до сих пор усилия отыскать труп были напрасны.

Адриан знал, каким образом погиб Антиной.

Мастор несколько раз должен был повторять ему последние слова его любимца, и ни одного из них он не забыл, ничего к ним не прибавил. Память императора удержала их крепко в себе, и теперь он оставался один до утра и с утра до полудня, один, повторяя их про себя.

Не принимая пищи и питья, он предавался своим одиноким думам. Несчастье, угрожавшее ему, разразилось над ним, и какое несчастье! Если бы судьба вместо страдания, которое она предназначила для него, приняла ту горесть, которая наполняла теперь его душу, он мог бы рассчитывать на многие беспечальные годы; но ему казалось, что он согласился бы лучше прожить остаток жизни со своим Антиноем в горе и нищете, чем без него наслаждаться всем, что люди называют величием, великолепием, счастьем и благоденствием.

Сабина прибыла со своей и с его свитой; это было целое войско людей.

Но Адриан строго приказал не допускать к нему никого, даже супругу.

Облегчение, доставляемое слезами, было ему недоступно; но горе сжимало сердце, омрачало ум и сделало Адриана таким впечатлительным, что голос какого-нибудь знакомого, услышанный даже издали, его беспокоил или сердил.

Прибывшие на корабле не смели располагаться в палатках, поставленных в соседстве с палаткой императора, потому что он желал оставаться один, совершенно наедине со своим душевным горем.

Мастор, в котором до сих пор он видел скорее полезную вещь, чем человека, теперь стал ему ближе, ведь он был свидетелем удивительной смерти его любимца.

Когда первые самые горестные ночи Адриана прошли, раб спросил его, не позвать ли с корабля врача, так как он очень бледен, но император запретил ему это и сказал:

— Если бы только я мог плакать, как женщина или как другие отцы, у которых смерть похитила сыновей, то это было бы для меня наилучшим лекарством. Вам, бед-

ным, придется теперь плохо, потому что солнце моей жизни лишилось своего блеска, деревья на моем пути потеряли свои листья.

Когда Адриан опять остался один, он уставился неподвижными глазами в пустое пространство и пробормотал:

— Все человечество должно горевать вместе со мной, потому что если бы кто-нибудь спросил у него вчера, какая высокая красота дарована ему, то оно с гордостью могло бы указать на тебя, мой верный товарищ, и воскликнуть: «Красота богов!» Теперь пальма утратила свою крону, и искалеченное дерево должно стыдиться своего безобразия. Если бы все смертные составляли одно существо, они были бы сегодня похожи на человека, у которого вырван правый глаз. Я не хочу видеть оставшихся уродов, чтобы мне не опротивела моя собственная человеческая порода. О ты, добрый, верный прекрасный юноша, каким ты был ослепленным, сумасшедшим безумцем! И все-таки я не могу порицать твое безумие. Ты нанес моей душе глубочайшую рану, и я не имею даже права сердиться на тебя за это. Сверхчеловеческой, божественной была твоя верность, и я постараюсь вознаградить ее по достоинству.

При этих словах он встал и сказал твердо и решительно:

— Вот я простираю руку, и вы, боги, выслушайте меня! Каждый город империи воздвигнет алтарь Антиною. Друга, которого вы похитили у меня, я делаю теперь вашим товарищем. Примите его ласково, вы, правители мира! Кто из вас может похвалиться более высокой красотой, чем та, какой обладал он? Кто из вас оказал бы мне столько доброты и верности, как ваш новый товарищ?

Произнесение этого обета, по-видимому, произвело благотворное действие на Адриана.

Твердыми шагами он ходил взад и вперед по своей палатке. Затем он велел позвать секретаря Гелиодора.

Грек начал писать под диктовку своего господина.

Это было повеление, которое предполагалось объявить миру, — отныне почитать нового бога в лице Антиноя.

В полдень запыхавшийся посланец принес известие, что тело вифинца извлечено из воды.

Тысячи народа поспешили к трупу, в том числе и Бальбилла, которая металась в отчаянии, когда ей сказали, какая кончина постигла ее прекрасного кумира.

В черной траурной одежде, с распущенными волосами, она бегала взад и вперед по берегу среди граждан и рыбаков. Египтяне сравнивали ее с плачущей Изидой, ищущей труп своего возлюбленного супруга Озириса.

Она не могла утешиться, и ее компаньонка напрасно уговаривала ее сдержаться и вспомнить о своем званьи и женском достоинстве. Бальбилла запальчиво отстранила ее, и, когда пришла весть, что Нил возвратил свою добычу, она вместе с толпой поспешила к трупу.

Везде произносили ее имя; каждый знал, что она приближенная императрицы, и потому ей охотно повиновались, когда она приказала людям, которые несли носилки с утопленником, опустить их на землю и снять с трупа покрывало.

Бледная и дрожащая, подошла она к покойнику и посмотрела на него. Но она могла вынести это зрелище только одно мгновение, затем с содроганием отвернулась от безжизненного тела и велела носильщикам продолжать путь.

Когда печальное шествие исчезло из виду и пронзительные, жалобные вопли египетских женщин уже не доносились до нее, когда она уже больше не видела, как они обмазывали себе лоб и грудь мокрой землей и дико размахивали руками в воздухе, она повернулась к своей спутнице и спокойно сказала ей;

— Пойдем домой, Клавдия.

Вечером она явилась к обеду в черном одеянии, как Сабина и вся ее свита, но спокойная и снова готовая отвечать на каждый вопрос.

Архитектор Понтий приехал из Фив в Безу вместе с ней.

Она воспользовалась всем, чем могла, чтоб наказать его за долгое отсутствие, и без всякой пощады заставила его выслушать ее стихи к Антиною.

Он остался при этом очень спокойным и отнесся к ее стихотворениям так, как будто они обращались не к живому человеку, а к какой-нибудь статуе или к кому-нибудь из богов. Одну эпиграмму он похвалил, в другой нашел недостатки, третью порицал. Признание Бальбиллы, что она с удовольствием дарила Антиною цветы и другие безделицы, он принял, пожимая плечами, и дружески заметил:

— Продолжай посылать ему подарки, я ведь знаю, что ты не требуешь ничего от своего божества в награду.

Эти слова изумили и обрадовали поэтессу.

Понтий всегда понимал ее и не заслуживал того, чтобы она его оскорбляла.

Поэтому она призналась ему также в том, что сильно любила Антиноя, пока этот юноша отсутствовал.

Затем она улыбнулась и сказала, что становилась к нему равнодушной, как только была с ним вместе.

Когда она после смерти вифинца предалась отчаянию, Понтий оставил ее в покое и просил ее спутницу сделать то же.

На другой день, после того как труп вытащили из воды, он был сожжен на костре из драгоценного дерева.

Адриан, узнав, что смерть жестоко обезобразила его любимца, не захотел смотреть на его труп.

Через несколько часов после того, как пепел Антиноя был собран в золотую урну и принесен Адриану, нильский флот, на котором находился теперь и император, поднял паруса, чтобы плыть безостановочно в Александрию.

Адриан оставался на корабле только со своим рабом и секретарем. Только временами он посылал Понтию приказание оставить свое нильское судно и посетить его. Ему приятно было слышать низкий голос Понтия, и он говорил с архитектором о планах, которые тот начертил для его мавзолея в Риме, а также о надгробном памятнике в честь его умершего любимца. Этот памятник, по собственному чертежу, он намеревался поставить в большом городе, который предполагал выстроить на месте маленького города Безы и который он теперь же назвал «Антиноя».

Но эти переговоры занимали каждый раз только несколько часов, а после них архитектор мог возвращаться на корабль Сабины, на борту которого находилась и Бальбилла.

Однажды вечером, через несколько дней после отплытия из Безы, он сидел совсем один с поэтессой на палубе нильского судна. Увлекаемое быстрым течением и гонимое веслами сотни гребцов, оно быстро и безостановочно приближалось к своей цели.

Со времени смерти несчастного юноши Понтий тщательно избегал говорить с Бальбиллой об Антиное.

Теперь она снова сделалась такой же внимательной и разговорчивой, как была прежде, и даже временами в ее глазах мелькали проблески лучезарной веселости.

Архитектор думал, что понимает этот поворот в ее чувствах, и не допытывался о причине сильной, но скоро угасшей горячки.

— О чем ты сегодня совещался с императором? — спросила его Бальбилла.

Понтий опустил глаза в землю, соображая, можно ли ему упомянуть имя Антиноя в разговоре с поэтессой.

Бальбилла заметила его колебание и вскричала:

— Говори же! Я могу слышать все, безумие прошло!

— Император работает над планом будущего города Антинои и над проектом памятника своему несчастному любимцу, — отвечал Понтий. — Он не позволяет помогать ему, но все-таки приходится учить его отличать невозможное от возможного и осуществимого.

— Да ведь он созерцает звезды, а твои глаза прикованы к дороге, по которой ты ходишь.

— Зодчий не может иметь дела с тем, что колеблется и не имеет надежного фундамента.

— Это жестокие слова, Понтий. Я вела себя совсем как безумная в последние недели.

— Однако пусть бы все колеблющееся так же скоро и хорошо приходило в равновесие. Антиной был полубог по красоте, и к тому же, — что еще важнее в моих глазах, — он был честный, верный юноша.

— Не говори мне больше о нем, — сказала Бальбилла и содрогнулась. — Его вид был ужасен. Можешь ли ты простить мне мое поведение?

— Я никогда не сердился на тебя.

— Но ты потерял уважение ко мне.

— Нет, Бальбилла. Красота, которая дорога каждому, кого лобзает муза, увлекла легкокрылую душу поэтессы, и она заблудилась в своем полете. Пусть она летает. Она стоит на твердой почве, это я знаю.

— Какие добрые, какие ласковые слова! Но они слишком добры, слишком ласковы. Я все-таки бедное, колеблемое ветром создание, тщеславная безумица, избалованное дитя, которое охотнее всего предпринимает то, что ей следовало бы оставить, слабая девушка, которой доставляет удовольствие спорить с мужчинами. Словом...

— Словом, прекрасная любимица богов, которая сегодня твердым шагом всходит на скалу, а завтра порхает над цветами, окруженная солнечным сиянием, — словом, существо, на которое не похоже никакое другое и которое, для того чтобы стать совершеннейшей женщиной, не имеет недостатка ни в чем, кроме...

— Я знаю, чего мне недостает, — вскричала Бальбилла. — Сильного мужа, который был бы моей опорой и

советов которого я слушалась бы. Этот муж — ты, и никто другой, потому что, как только я знаю, что ты находишься со мной, то мне становится трудно делать что-нибудь другое, кроме того, что следует делать. Вот я, Понтий, перед тобой. Желает ли ты принять меня со всеми моими слабостями, капризами и недостатками?

— Бальбилла! — вскричал архитектор вне себя от изумления и крепко прижал губы к ее маленькой руке.

— Желает? Желает ты принять меня? Не оставлять меня никогда, предостерегать, поддерживать и лелеять?

— До конца дней моих, до моей смерти, как мое дитя, как мои глаза, как... смею я верить этому и сказать, — как мою милую, как мое второе «я», как мою жену.

— О Понтий, Понтий! — отвечала она с горячим чувством и схватила его руку обеими своими. — Этот час возвращает сироте Бальбилле отца и мать и сверх того дарит ей мужа, которого она любит.

— Моя, моя! — вскричал Понтий. — Вечные боги! В течение всей моей жизни я среди работы и усилий не находил времени насладиться счастьем любви, и за сокровище, которого вы лишали меня так долго, вы платите мне теперь с лихвой!

— Как можешь ты, рассудительный человек, так преувеличивать цену своего сокровища? Но ты все же найдешь в нем кое-что и хорошее. Оно уже не сможет представить себе жизнь без своего обладателя.

— А мне уже давно она казалась пустой и холодной без тебя, редкое, единственное, несравненное создание!

— Почему же ты не явился раньше?

— Потому, потому... — отвечал Понтий, — потому, что полет к солнцу мне казался слишком смелым, потому, что я помнил, что отец моего отца...

— Что он был благороднейший человек, который поднял предка моего рода до своего величия.

— Он был, — вспомни хорошенько об этом в настоящий час, — он был рабом твоего деда.

— Я знаю это, но знаю также и то, что я не видела на земле ни одного человека, который был бы более достойным свободы, чем ты, и которого я стала бы с таким смирением просить, как тебя, — возьми меня, бедную, глупую Бальбиллу, в жены, веди меня и сделай из меня все, что еще может из меня выйти к твоей и моей чести.

Быстрое плавание по Нилу доставляло Понтию и его милой дни и часы величайшего счастья. Прежде чем флот

вошел в Мареотийскую гавань Александрии, архитектор открыл императору свою прекрасную тайну.

— Я неправильно истолковал пророчество, которое тогда изрекла тебе пифия,— сказал Адриан, вкладывая руку архитектора в руку Бальбиллы.— Хочешь ты, Понтий, знать слова оракула? Тебе нет надобности помогать мне, милое дитя. Что я прочел раз и два, того я никогда не забываю. Пифия сказала:

То, что выше всего и дороже тебе, ты утратишь,
И с олимпийских высот ты ниспровергнешься в прах.
Но испытующий взор открывает под прахом лучистым
Прочный фундамент из плит, мрамор и каменный грунт.

Ты сделала хороший выбор, девушка. Оракул обеспечивает тебе странствование в жизни по твердой почве. Что касается пыли, о которой он говорит, то она и действительно существует в известном смысле. Что же касается декрета о вашем браке, который вследствие различия вашего происхождения, пожалуй, противоречит закону, то об этом позабочусь я. Отпразднуйте в Александрии вашу свадьбу так скоро, как желаете, но затем отправляйтесь в Рим. Вот условие, которое я ставлю вам. Моим задушевным желанием всегда было ввести в сословие всадников новых, достойных членов, так как только этим способом может быть снова поднято его значение. Это кольцо делает тебя всадником, Понтий, и для человека, подобного тебе, для мужа Бальбиллы и друга императора, конечно, найдется впоследствии место в сенате. Что в наше время можно сделать из плит и мрамора, это ты покажи при постройке моей гробницы. Изменил ли ты план моста?

Известие о назначении «поддельного Эрота» наследником императора было принято в Александрии с торжеством, и граждане снова воспользовались этим благоприятным случаем для того, чтобы устраивать празднество за празднеством.

Титиан позаботился о выполнении обычного в таких случаях милостивого манифеста, и таким образом, между прочим, отворилась и канопская тюрьма, и скульптор Поллукс был выпущен на свободу.

Несчастный художник побледнел в заключении, но не исхудал и не лишился физических сил; зато бодрость его души, его жизнерадостность, его веселое стремление к творчеству — все это было сломлено.

Когда он в разорванном и грязном хитоне шел из Ка-нопа в Александрию, в его чертах не выразалось ни живой благодарности за неожиданно подаренную ему свободу, ни радости от надежды скоро снова увидеть своих и Арсиною.

В городе он безучастно и бессознательно шагал по улицам, но он хорошо знал свою родину, и его ноги нашли надлежащую дорогу к дому сестры.

Как обрадовалась Диотима, какие радостные крики подняли дети, с каким нетерпением каждый вызывался проводить его к старикам! Как высоко перед новым домиком Эвфориона прыгали грации, кинувшись с ласками к возвратившемуся Поллуксу!

А бедная Дорида чуть не лишилась чувств от радостного испуга; ее муж должен был подхватить ее в свои длинные руки, когда исчезнувший, но вернувшийся милый сын вдруг очутился перед ней и спокойно сказал: «Вот и я!» И с какой нежностью старуха прижимала к своему сердцу и целовала потом доброго, нехорошего, наконец возвратившегося беглеца.

Певец тоже высказал свою радость и в стихах и в прозе и достал из сундука самый красивый из своих театральных хитонов, чтобы заменить им изорванный хитон своего сына.

Буря проклятий вырывалась из его губ, когда Поллукс рассказывал о своих приключениях.

Художнику было трудно довести свой рассказ до конца, потому что отец прерывал его на каждом слове, а мать беспрестанно заставляла его есть и пить даже и тогда, когда он уже был сыт по горло.

После его многократных уверений, что он уже не в состоянии есть больше, старуха все-таки поставила два новых горшка на огонь, говоря, что в тюрьме он, разумеется, изголодался, и если теперь он и насытился так скоро, то, может быть, вслед затем настоящий аппетит тем сильнее даст себя знать.

Вечером Эвфорион сам повел Поллукса в баню и по возвращении оттуда не отходил от него.

Сознание, что сын находится возле него, доставляло ему какое-то физически приятное ощущение.

Певец обыкновенно не был любопытен, но сегодня не переставал спрашивать, пока мать не повела сына к приготовленной для него постели.

Когда художник лег, старуха еще раз вошла в его комнату, поцеловала его в лоб и сказала:

— Сегодня ты еще много думаешь об этой ужасной тюрьме; но завтра ты снова будешь прежним Поллуксом? Не правда ли?

— Оставь меня, мама, мне уже и так лучше,— отвечал он с благодарностью.— Такая постель клонит ко сну, как усыпляющий напиток; вот жесткое дерево в тюрьме — это нечто совсем другое.

— Ты ничего не спросил о своей Арсиное,— заметила Дорида.

— Что мне до нее? Теперь дай мне спать.

На следующее утро Поллукс был таким же, как в прошлый вечер, и в течение нескольких дней он оставался неизменно в этом же состоянии духа.

Он ходил, опустив голову, говорил только тогда, когда его спрашивали, и каждый раз, когда Дорида или Эвфорион пробовали заговаривать о будущем, он спрашивал: «Я вам в тягость?» — или же просил не приставать к нему.

Но он был ласков, брал детей сестры на руки, играл с грациями и ел с большим аппетитом. Время от времени он спрашивал даже об Арсиное. Однажды он позволил проводить себя к ее жилищу, но не постучался в дверь Павлины.

После того как он целую неделю провел в бездействии, причем был так вял и выказывал такое отвращение к работе, что это сильно стало тревожить сердце матери, его брат Тевкр набрел на счастливую мысль.

Молодой резчик по камню обыкновенно был редким гостем в доме своих родителей, но со времени возвращения бедного Поллукса он навещал их почти ежедневно.

Время его учения прошло, и ему, по-видимому, предстояло сделаться великим мастером в своем искусстве. Однако же талант брата он ставил гораздо выше своего собственного и придумал средство пробудить в нем уснувшее влечение к творчеству.

— Поллукс,— сказал Тевкр матери,— обыкновенно сидит вон у того стола. Сегодня вечером я принесу глыбу глины и хороший кусок воска. Все это ты поставишь на стол и положишь возле него инструменты. Когда он увидит все это, то, может быть, к нему придет охота работать. Если он решится слепить хоть какую-нибудь куколку для детей, то снова попадет в свою колею и от малого перейдет к большому.

Тевкр принес обещанные вещи. Дорида поставила их на стол, положила возле инструменты и утром с сильно бьющимся сердцем дожидалась, что будет делать сын.

Он, как всегда со времени возвращения домой, проснулся поздно и долго сидел перед суповой чашкой, которую принесла мать ему на завтрак. Потом побрел к столу, остановился перед ним, взял в руку кусочек глины; помяв ее между пальцами, он сдалал из нее несколько шариков и валиков, поднес один из них к глазам, чтобы ближе посмотреть на него, затем, бросив его на пол, оперся обеими руками на стол и сказал, наклонившись к матери:

— Вы хотите, чтобы я опять работал, но я не могу, у меня ничего не выходит.

У старухи выступили слезы на глазах, но она ничего не возразила. Вечером Поллукс попросил ее унести все инструменты.

Она сделала это, когда он пошел спать, и, когда она осветила каморку, в которой складывала посуду с разным хламом, взгляд ее упал на начатую восковую модель, последнюю работу ее несчастного сына.

Тогда ей пришла в голову новая мысль.

Она позвала Эвфориона, велела ему выбросить глину на двор, а модель поставить на стол возле воска.

Сама она положила на стол те самые инструменты, которыми он работал в день их изгнания из Лохиадского дворца, возле прекрасно начатой модели и попросила своего мужа уйти с ней рано утром из дому и не возвращаться до полудня.

— Вот посмотри,— сказала она,— когда он будет стоять перед своим последним произведением и никто не будет мешать ему или смотреть на него, то он найдет опять концы порванных нитей; может быть, ему удастся соединить их и продолжить работу.

Сердце матери не ошиблось.

Когда Поллукс покончил со своим супом, он точно так же, как накануне, подошел к столу, но вид его последней работы подействовал на него совсем иначе, нежели вчера вид глины и воска.

Глаза его засветились. Он ходил вокруг стола и так внимательно, так пристально всматривался в свое произведение, как будто он в первый раз видит нечто особенно прекрасное.

— Великолепно! Из этой вещи может кое-что выйти!

Вялость его исчезла, уверенная улыбка заиграла на губах, и на этот раз он твердой рукой схватился за воск.

Воск оказался покорным, он гнулся и растягивался в его руках, как в прежние дни.

Значит, страх, отравлявший ему жизнь, страх, что он в тюрьме перестал быть художником и что он поплатился своим талантом, был безумной фантазией!

По крайней мере он должен был попробовать, может ли он еще работать.

Никого не было, чтобы наблюдать за ним, и он мог начать свой смелый опыт.

Пот выступил у него на лбу от страха, когда он, собрав всю силу воли, отбросил кудри назад и обеими руками схватил большой кусок воска.

Статуя Антиноя стояла с наполовину оконченной головой. Удастся ли ему слепить эту прекрасную голову по памяти? Дыхание его ускорилося, пальцы дрожали, когда он начал свою работу.

Но скоро его руки приобрели прежнее спокойствие, взгляд его глаз сделался пристальным и зорким, и дело начало подвигаться вперед.

Прекрасное лицо вифинца с осязательной ясностью стояло у него перед глазами, и, когда через четыре часа его мать заглянула в окно, чтобы посмотреть, что делает сын и удалась ли ее попытка, она громко вскрикнула от изумления. Возле начатой модели стояла голова императорского любимца, сходная во всех чертах.

Не успела она переступить порог, как сын бросился ей навстречу, приподнял ее, поцеловал в лоб и в губы и вскричал, сияя от счастья:

— Матушка! Я еще могу творить, я не погиб!

После полудня пришел брат скульптора и увидел сделанное Поллуксом.

Только теперь Тевкр мог вполне радоваться возвращению брата.

В то время как оба художника сидели вместе и резчик, которому скульптор жаловался на плохой свет в доме родителей, предложил ему закончить свою статую в светлой мастерской своего учителя, Эвфорион потихоньку пробрался в самую глубину своей кладовой и принес оттуда амфору с благородным хиосским вином, подаренную ему когда-то одним богатым торговцем, для свадьбы которого он обучал хор юношей гимну в честь Гименея. Уже двадцать лет он хранил этот сосуд для какого-нибудь особенно счастливого события. Амфора и его лучшая лютня были единственными предметами, которые Эвфорион собственноручно принес с Лохиады к дочери и потом в свой новый домик.

С гордым достоинством певец поставил старую амфору перед своими сыновьями, но Дорида поспешно прикрыла ее руками и сказала:

— Я позволю вам воспользоваться этим действительно прекрасным даром и даже сама охотно выпью один стакан с вами, но умный военачальник не празднует победы, прежде чем не выиграет сражения. Как только статуя прекрасного юноши будет готова, я сама обовью этот почтенный сосуд плющом и попрошу тебя, мой старик, подарить его нам. Но не прежде!

— Мать права! — вскричал Поллукс. — Итак, теперь амфора предназначена для меня, но, если вы позволите, мой отец снимет для вас ее черную смоляную покрывку только тогда, когда моя Арсиноя снова будет принадлежать мне.

— Именно так, мой мальчик! — прервала его Дорида. — Но тогда я увенчаю не только сосуд, но и всех нас душистыми розами!

В следующий день Поллукс отправился с начатой моделью в мастерскую хозяина своего брата.

Почтенный художник отвел для скульптора лучшее место, потому что высоко ценил его и желал вознаградить насколько мог бедного молодого человека за несправедливость, нанесенную ему негодным Папием.

Поллукс работал с восхода солнца до вечера.

Он с настоящей страстью отдался вновь пробудившейся в нем жажде творчества. Вместо воска он употребил в дело глину и вылепил высокую фигуру, изображавшую Антиноя в виде юного Вакха, каким он явился перед морскими разбойниками. Длинный плащ в складках легко спускался с его левого плеча до ступней ног и оставлял его круглую красиво изогнутую грудь и правую руку совершенно свободными. Виноградные листья и гроздь украшали роскошные кудри, и шишка пинии, подобная пламени, венчала его макушку. Левая рука красивым изгибом была поднята вверх. Слегка согнутые пальцы играли длинным тирсом, который упирался в землю и поднимался выше головы нового бога. Возле этой несравненной фигуры юноши стояла великолепная амфора, наполовину скрытая под его плащом.

Когда утром восьмого дня своей работы он отдыхал, хозяин его брата подошел к его произведению и после продолжительного рассматривания вскричал:

— Великолепно, превосходно! Мне кажется, наше время не создавало ничего, равного этому!

Через час Поллукс остановился перед городским домом Павлины и сильно постучал молотком в дверь.

Ему отворил домоправитель и спросил, что ему нужно. Поллукс сказал, что ему нужно поговорить с госпожой Павлиной, и получил ответ, что ее нет дома. Тогда он спросил об Арсиное, дочери Керавна, которую приютила у себя вдова.

Старый слуга покачал головой и сказал:

— Госпожа велела разыскивать ее. Девушка со вчерашнего вечера исчезла. Неблагодарное создание! Уже несколько раз она пыталась уйти.

Художник засмеялся, потрепал домоправителя по плечу и вскричал:

— Уж я-то найду ее!

С этим словами он бросился на улицу и поспешил к своим родителям.

В доме Павлины Арсиноя извела много хорошего, но вместе с тем прожила в нем много дурных часов.

Она была убеждена, что ее милого уже нет на свете. Понтий сообщил ей, что Поллукс исчез, а ее благодетельница говорила о нем как об умершем.

Бедная девушка пролила много слез. Когда она уже была не в силах преодолеть страстное желание говорить о нем с кем-нибудь, кто любил его, она попросила Павлину позволить ей навестить его мать или пригласить Дориду к себе. Но вдова приказала ей выбросить из головы всякую мысль о ваятеле идолов и о его родных и говорила с презрением о жене привратника.

Как раз в это время Селена оставила город, и теперь тоска одинокой девушки по старым друзьям дошла до высшей степени.

Однажды она последовала влечению своего сердца и выскользнула на улицу, чтобы идти к Дориде, но привратник, которому Павлина приказала никогда не выпускать Арсиною за ворота без ее особого позволения, заметил ее и отвел обратно к названной матери. Так же он поступил и при нескольких других сделанных девушкой попытках к бегству.

Она чувствовала себя узницей, да такой она и была, потому что при каждой ее попытке к бегству свобода ее подвергалась все большему ограничению.

Она скоро разучилась терпеливо повиноваться всему, чего от нее требовали, и часто сопротивлялась названной матери, прибегая даже к запальчивым словам, слезам и проклятиям. Но эти неприятные сцены, которые

всегда оканчивались уверением Павлины, будто она прощает ее, наконец привели к тому, что Арсиноя начала ненавидеть свою благодетельницу и все исходившее от нее. Часы учения и молитвы, от которых девушка не могла уклониться, тоже сделались для нее часами пытки.

Епископ Евмен, избранный весной патриархом александрийских христиан, чаще обыкновенного посещал ее летом, в то время когда Павлина жила в своем загородном доме. Он старался успокоить ее, показать ей во всей красоте цель, к которой желала привести ее Павлина.

После таких разговоров с ним Арсиноя смягчалась и чувствовала себя расположенной веровать, любить бога и Христа. Но как только Павлина звала ее в комнату для учения и преподавала ей те же вещи, но на свой лад, сердце девушки сжималось, и, когда ей приходилось молиться, то, воздевая руки, она назло ей молилась в душе только эллинским богам.

Иногда Павлину посещали языческие женщины в богатых нарядах, и вид их всегда напоминал Арсиное о прежних днях. Как ни бедна была она тогда, но все же имела какую-нибудь голубую или красную ленту, чтобы вплести ее в волосы или обшить ею края пеплума.

Теперь она могла носить только белые одежды, и даже какие-нибудь самые бедные яркие безделушки для украшения волос или платья были ей строго запрещены. «Подобная суетная дрянь,— говорила обыкновенно Павлина,— хороша только для язычников; Господь смотрит не на наружность, а на сердце».

Эта юная душа была создана для радости и любви, но у нее была только грусть. И Арсиноя не переставала тосковать по радости счастья.

Павлина говорила правду, но только наполовину, потому что она никогда не чувствовала истинной любви к Арсиное и уже давно смотрела на все ее действия и движения с антипатией, но ей нужно было ее обращение на путь истинный, так как посредством этого обращения исполнилось бы желание ее сердца.

В день, предшествовавший тому утру, когда Поллукс наконец постучался в дверь к христианке, солнце блесло особенно ярко, и Павлина позволила Арсиное выехать с нею.

В доме одного христианского семейства, жившего на берегу Мареотийского озера, они пробыли долго, и им пришлось возвращаться домой вечером.

Арсиноя уже давно научилась, как бы глядя на зем-

лю, незаметно выглядывать из экипажа и видеть все вокруг. Когда колесница повернула на их улицу, она заметила вдали какого-то высокого мужчину, который показался ей похожим на ее так долго оплакиваемого Поллукса.

Тяжело дыша, она не отрывала от него глаз и была принуждена сделать над собой усилие, чтобы не вскрикнуть громко, потому что он, а не кто другой, шел медленно по улице. Она не могла ошибиться.

Значит, он не погиб, он жив, он ищет ее!

Ей хотелось вскрикнуть от восторга, но она не пошевелилась до тех пор, пока экипаж Павлины не остановился перед ее домом.

Привратник, как всегда, поспешил помочь своей госпоже выйти из высокой колесницы. Теперь Павлина повернулась к Арсиное спиной, и в то же мгновение Арсиноя выпрыгнула с противоположной стороны крытого экипажа и побежала вдоль улицы, на которой она видела своего милого.

Рабы Павлины, посланные тотчас же, чтобы преследовать и схватить беглянку, на этот раз должны были вернуться ни с чем; но и Арсиное не удалось найти Поллукса, которого она потеряла из виду.

Сначала она чувствовала себя счастливой от сознания новоприобретенной свободы, но когда на ее вопросы ни один из прохожих не мог сказать ей, где живет певец Эвфорион, а молодые люди стали преследовать и кричать ей вслед дерзкие слова, то страх загнал ее на улицу, которая вела в Брухейон.

Преследователи еще не оставили ее, когда мимо прошли какие-то носилки в сопровождении ликторов и множества факелоносцев.

В них сидела госпожа Юлия, жена наместника. Арсиноя с первого же взгляда узнала ее, последовала за ней и одновременно с носилками дошла до дверей префектуры. Выходя из носилок, матрона заметила девушку, которая скромно, но, подняв просительно руки, стояла на ее пути.

Юлия с сердечным участием поздоровалась с прелестным созданием, которому однажды уже оказала материнскую заботливость, знаком подозвала ее к себе, улыбнулась, услышав просьбу дать ей приют на ночь, и весело повела ее к своему супругу.

Титиан был болен, но обрадовался, увидев снова прекрасную дочь несчастного Керавна, выслушал историю

ее бегства, хотя с некоторыми знаками неодобрения, но ласково, и выразил живейшее удовольствие, когда узнал, что ваятель Поллукс еще жив.

Высокая, богато убранная постель в комнате для гостей принимала многих знатных посетителей, но ни один из них не видел в ней снов более прекрасных, чем бедная, осиротевшая молодая беглянка, которая еще накануне заснула в слезах.

На следующее утро Арсиноя встала рано и затем, смущенная окружающим ее великолепием, начала ходить взад и вперед по комнате, думая о Поллуксе. Она любовалась своим отражением в большом зеркале, стоявшем на туалетном столе, и временами вытягивалась на ложах префектуры, сравнивая их с ложами в доме Павлины. Она чувствовала себя снова узницей, но на этот раз тюрьма ей нравилась, и, когда рабы проходили мимо ее комнаты, она подбегала к двери, чтобы прислушаться, в надежде, что Титиан, может быть, призовет к себе Поллукса и позволит ему повидаться с ней. Наконец вошла рабыня; она принесла Арсиное завтрак и от имени госпожи Юлии пригласила ее посмотреть на цветы и клетки с птицами в саду, пока не придет к ней супруга префекта.

Титиан рано утром получил известие, что Антиной искал смерти и нашел ее в Ниле. Он был сильно потрясен этим известием не столько из-за самого несчастного юноши, сколько из-за императора.

Отдав своим чиновникам приказание сообщить печальную весть народу и потребовать от граждан публичного выражения их участия к горю своего повелителя, он принял патриарха Евмена.

Префект заговорил с патриархом о вредных последствиях смерти молодого человека, не отличавшегося никакими умственными дарованиями, которые угрожают императору, а вместе с тем и управлению империей.

— Когда Адриан,— сказал префект,— хотел дать какой-нибудь час отдыха своему беспрестанно работавшему мозгу или развлечься после разочарований и разных неприятностей, тяжкого труда или забот, которыми переполнена его жизнь, то он уезжал с сильным юношей на охоту или же находил в своей комнате этого красивого, добросердечного товарища. Вид вифинца радовал художественный глаз императора, и как хорошо умел

Антиной задумчиво, скромно и безмолвно слушать его! Адриан любил его как сына, зато и умерший был привязан к своему повелителю более чем сыновней верностью. Это доказала его смерть.

— Горе императора по поводу этой утраты должно быть велико,— заметил патриарх.

— И эта утрата омрачит его задумчивый, угрюмый характер, сделает еще более непостоянными его беспокойные мысли и действия, усилит его недоверчивость.

— А обстоятельства, при которых умер Антиной,— прибавил патриарх,— дадут новую пищу его склонности к суеверию.

— Этого можно опасаться. Нам предстоят несчастные дни. Восстание, поднимающееся в Иудее, будет опять стоить тысяч человеческих жизней.

— Однако если бы тебе можно было принять управление этой провинцией!

— Но ты знаешь мое состояние, достойный муж. Много десятков лет я охотно отдавал и душу и тело в распоряжение государства, но теперь чувствую себя вправе употребить остаток ослабевших сил на другие предметы. Мы с женой намерены удалиться в свое имение на Ларийском озере. А, вот и ты, Юлия! Когда в нас созрело решение удалиться от света, мы не раз вспоминали слова еврейского мудреца, которые ты недавно сообщил нам: «Когда ангел Господень изгнал первых людей из рая, он сказал им: «Отныне да будет ваше сердце вашим раем». Мы покидаем удовольствия больших городов...

— И делаем это без сожаления,— прибавила Юлия,— потому что мы носим в себе самих семена более невозмутимого, более чистого и прочного счастья.

— Аминь! — вскричал патриарх.— Где бывают вместе двое таких, как вы, там Господь участвует в качестве третьего в вашем союзе.

— Отпусти с нами в путь своего ученика, Маркиана,— просил Титиан.

— Охотно,— ответил Евмен.— Может он прийти к вам после меня?

— Не сейчас,— возразила Юлия.— Сегодня утром мне нужно сделать одно важное, но вместе с тем веселое дело. Ты знаешь госпожу Павлину, вдову Пудента. Она приняла к себе одно прекрасное, молодое существо.

— И Арсиноя ушла от нее.

— Мы приютили ее у себя,— презрел его Титиан.— Ее названной матери, по-видимому, не удалось привязать ее к себе и благотворно подействовать на ее душу.

— Да,— сказал патриарх.— Существовал. только один ключ к ларцу ее горячего и веселого сердца — любовь. Но могу я спросить, как попала девочка в ваш дом?

— Я расскажу после; мы знаем ее не со вчерашнего дня,— отвечал Титиан.

— А я сейчас отправлюсь и приведу ее к жениху! — вскричала супруга префекта.

— Павлина потребует ее у вас обратно,— заметил патриарх.— Она велела искать ее повсюду, но из этой девушки никогда ничего не выйдет под ее руководством.

— Разве вдова формально удочерила ее? — спросил Титиан.

— Нет, она намеревалась это сделать...

— Одно намерение ничего не значит в глазах закона, и я могу защитить от нее нашу прекрасную гостью.

— Я приведу ее! — вскричала матрона.— Не пойдешь ли ты со мной, Евмен?

— Охотно,— отвечал старик.— Мы с Арсиной хорошие друзья; примиряющие слова из моих уст хорошо на нее действуют, а мое благословение не повредит и язычнице. Прощай, Титиан, меня ждут дьяконы.

Когда Юлия вернулась с Арсиной в комнату мужчин, у девушки были слезы на глазах. Хорошие слова почтенного старца тронули ее сердце, и она поняла, что от Павлины она получила не одно дурное, но и хорошее.

Матрона нашла своего мужа уже не одного. У него был богатый Плутарх со своими двумя живыми подпорками; в черной одежде, украшенной вместо пестрых исключительно белыми цветами, он представлял собой какое-то особенно странное зрелище.

Старик говорил с большим жаром.

Однако, увидев Арсиною, он прервал свою речь, всплеснул руками и казался сильно взволнованным от удовольствия при виде Роксаны, ради которой однажды напрасно объехал всех мастеров золотых дел в городе.

— Но я устал,— вскричал Плутарх с юношеской живостью,— я устал беречь для тебя убор. Мне и так некуда деваться от ненужных вещей. Это украшение принадлежит тебе, и сегодня я пришлю его благородной госпоже Юлии, чтобы она надела его на тебя. Дай мне руку, милая девушка. Ты сделалась бледнее, но пополнела. Как ты думаешь, Титиан,— она даже сегодня годилась бы для роли Роксаны; только твоей супруге пришлось бы снова позаботиться о ее платьях. Вся в белом, ни одного бантика в волосах, точно христианка!

— Я знаю одного человека, который сумеет украсить эти мягкие локоны к лицу,— сказала Юлия.— Она невеста ваятеля Поллукса.

— Поллукса! — вскричал Плутарх в сильном волнении.— Подвиньте меня вперед, Антей и Атлас! Так ваятель Поллукс — твой милый? Великий, превосходный художник! Тот самый, о котором я тебе только что рассказывал, благородный Титиан?

— Ты знаешь его? — спросила супруга префекта.

— Нет. Но я только что был в мастерской резчика по камню, Периандра, и видел там одну модель для статуи Антиноя. Это единственная, чудная, несравненная вещь! Вифинец изображен в виде Диониса! Никакой Фидий, никакой Лисипп не устыдился бы подобного произведения. Поллукса там не было, но я уже наложил свою руку на его работу. Молодой художник должен немедленно высечь эту статую из мрамора. Адриан будет в восторге от изображения своего удивительного, верного любимца. Я заплачу за статую, но вопрос еще в том, кто предложит ее императору: город или я сам. Твой супруг решит этот вопрос.

Арсиноя просияла от радости при этом известии и скромно отступила назад, потому что один из чиновников подал Титиану только что полученную бумагу.

Префект пробежал ее и сказал, обращаясь к Плутарху и к жене:

— Адриан причисляет Антиноя к числу богов.

— Счастливый Поллукс! — вскричал Плутарх.— Ему выпало на долю создать первое изображение нового олимпийца. Я дарю его городу, и пусть Александрия поставит его в храме Антиноя, для которого мы должны заложить фундамент еще до возвращения императора. Прощайте, благородные супруги! Кланяйся своему жениху, дитя мое, его произведение принадлежит мне. Поллукс займет первое место между своими собратьями, и я имел счастье открыть эту новую яркую звезду. Восьмой художник, в котором я открыл талант, прежде чем он стал великим! Из твоего будущего деверя Тевкра также выйдет кое-что. Я заказал ему вырезать мне камень с изображением Антиноя. Еще раз прощайте, я должен отправиться в Совет. Дело идет о храме в честь нового бога. Вперед, вы оба!

Через час после того, как Плутарх оставил префектуру, колесница госпожи Юлии остановилась у переулочка, который был слишком тесен для экипажа, запряжен-

ного двумя лошадьми. Он оканчивался у зеленой площади, где стоял домик Эвфориона.

Скороход Юлии скоро отыскал жилище родителей скульптора, провел матрону и Арсиною на площадь и показал им дверь, в которую они и постучались.

— Как ты раскраснелась, моя девочка! — сказала Юлия. — Я не буду мешать вашему свиданию, но мне очень хотелось передать тебя собственноручно твоей будущей свекрови. Иди вон в тот дом, Арктус, и попроси госпожу Дориду выйти. Скажи только, что с ней кто-то хочет говорить, но не называй моего имени.

Сердце Арсиной билось так сильно, что она была не в состоянии сказать своей ласковой покровительнице ни одного слова благодарности.

— Зайди за эту пальму, — сказала Юлия.

Арсиною повиновалась, но ей чудилось, что не ее собственная, а чужая воля заставляет ее зайти за дерево и притаиться. Она не слышала ничего из разговора римлянки с Доридой. Она видела только милое лицо матери Поллукса, и, несмотря на воспаленные глаза и морщины, которыми изборозило его горе, девушка не могла насмотреться на него. Оно напоминало ей счастливейшие дни детства, и ей хотелось тотчас же броситься вперед и кинуться на грудь этой доброй женщины.

Но вот она услышала слова Юлии:

— И я привезла ее к тебе. Она так же мила и девственно прекрасна, как была тогда, когда мы видели ее в театре в первый раз.

— Где она, где она? — спросила Дорида дрожащим голосом.

Юлия указала на пальму и хотела позвать Арсиною, но на этот раз девушка была не в силах преодолеть своего страстного желания кинуться на шею дорогого ей человека. В это время вышел за дверь Поллукс, чтобы посмотреть, кто вызвал его мать. Арсиною увидела его и с радостным криком бросилась в его объятия.

Юлия посмотрела на обоих со слезами на глазах и после нескольких слов, обращенных к старикам и к молодым людям, сказала, прощаясь с этими счастливыми людьми:

— Мне придется позаботиться о твоём приданом, моя девочка; и на этот раз ты будешь им пользоваться не только на несколько часов, а всю свою долгую счастливую жизнь.

Три недели спустя Адриан прибыл в Александрию.

Он держался вдали от всех празднеств, устроенных в честь бога Антиноя, и недоверчиво улыбнулся, когда ему сказали, что на небе явилась новая звезда и что оракул возвестил, будто это душа его любимца.

Когда богач Плутарх подвел императора и его свиту к Вакху-Антиною, статую которого Поллукс вылепил из глины, Адриан был глубоко тронут и пожелал узнать имя творца этого прекрасного произведения искусства.

Ни у одного из его спутников не хватило мужества произнести имя Поллукса; только Понтий осмелился выступить в качестве ходатая за своего молодого друга. Он рассказал Адриану историю несчастного художника и просил императора простить его.

Император кивнул головой в знак согласия и сказал:

— Я прощаю его ради умершего.

К нему привели Поллукса, и Адриан, пожав ему руку, сказал:

— Боги взяли у меня его любовь и верность, но твое искусство сохранило для меня и для мира его красоту.

Каждый город в империи спешил поставить храм или статую новому богу, и Поллуксу, счастливому мужу Арсиной, заказывали статуи и бюсты для сотни мест. Однако он отклонил большую часть заказов и не выпускал из своих рук ни одного произведения, которое не создал бы сам по новой идее. Копирование своих работ он предоставил другим художникам.

Его бывший хозяин Папий возвратился в Александрию, но там товарищи по искусству встретили его с таким оскорбительным презрением, что он не вынес этого и в одну злополучную минуту лишил себя жизни.

Молодой Тевкр сделался знаменитейшим резчиком своего времени.

Вдова Анна вскоре после мученической смерти Селены покинула нильский город Безу. Ей вверена была должность главной дьяконицы в Александрии, и на этом почетном посту она благотворно трудилась до глубокой старости.

Горбатая Мария осталась в нильском городе, который император велел расширить и превратить в великолепный город Антиною. Там у нее были две могилы, с которыми она не могла расстаться.

Через четыре года после выхода Арсиной замуж Адриан вызвал ваятеля Поллукса в Рим. Он должен был

сделать там статую императора на колеснице, которую везла четверка лошадей.

Этим произведением предназначалось увенчать мавзолей Адриана, выстроенный Понтием, и Поллукс выполнил его так прекрасно, что по окончании его император сказал ему с улыбкой:

— Теперь ты приобрел право произносить приговор над произведениями других мастеров.

В почете и богатстве вырастили своих детей, сделавшихся дельными гражданами, Поллукс и его верная жена Арсиноя, которой и на берегах Тибра многие восхищались. Они остались язычниками, но христианская любовь, оказанная Евменом приемной дочери Павлины, навсегда сохранилась в ее памяти, и Арсиноя отвела ей хорошее место в своем сердце и доме.

Дорида умерла за несколько месяцев до отъезда молодой четы в Рим, а ее муж скончался вскоре после нее. Он умер от тоски по своей веселой подруге.

Архитектор Понтий остался и на Тибре другом ваятеля. Бальбилла и ее муж подавали своим безнравственным соотечественникам пример достойного супружества. Бюст поэтессы был окончен Поллуксом еще в Александрии и со всеми своими локонами и локончиками обрел милость в глазах Бальбиллы.

Веру было дано право при жизни императора носить титул цезаря, но он умер после продолжительной болезни раньше Адриана. Луцилла ухаживала за ним с верной преданностью и с глубокой горестью пользовалась счастьем, которого так горячо желала, — владеть им безраздельно. Их сыну впоследствии досталась императорская багряница.

Предсказание префекта Титиана исполнилось.

Недостатки характера императора и мелочные стороны его образа мыслей с годами росли и выступали с большей резкостью.

Титиан и его жена вели у Ларийского озера, вдали от света, уединенную жизнь, и оба перед смертью приняли крещение. Они никогда не жалели о волнениях света, гонящегося за удовольствиями, и о его блеске, потому что им удалось посеять красоту жизни в своем собственном сердце.

Раб Мастор привез Титиану известие о смерти своего повелителя. Адриан еще при жизни даровал ему свободу и щедро обеспечил его в своем завещании.

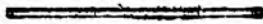
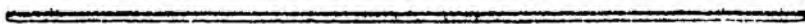
Передав своей жене печальную весть, Титиан сказал серьезно:

— Умер великий государь. То мелочное, что искажало характер Адриана как человека, будет забыто потомством, потому что Адриан как властитель был одним из тех, которых судьба ставит на надлежащее место и которые, будучи верны своему долгу, борются без отдыха до конца.

Он с мудрой умеренностью умел обуздывать свое честолюбие и не боялся идти наперекор порицаниям и предрассудкам всех римлян. Отказ от провинций, содержание которых истощило бы силу государства, был несомненно самым тяжким и, может быть, самым мудрым решением его жизни.

Империю в ее новых, назначенных им границах он прошел вдоль и поперек, не боясь ни морозов, ни зноя, и старался хорошенько ознакомиться со всеми ее частями с таким рвением, как будто государство было его вотчиной. Обязанность властителя побуждала его к путешествиям, и его врожденная любовь к странствованиям облегчала для него эту задачу.

Он одержим был страстью понимать и изучать все. Даже непостижимое не ставило пределов его любознательности, и, постоянно стремясь проникнуть мыслью дальше и глубже, чем дано человеческому уму, он большую часть своих способностей отдавал на то, чтобы разорвать завесу, скрывающую будущую судьбу.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Никелай УЛЬЯНОВ. АТОССА (Поход Дария в Скифию). Роман	5
Георг ЭБЕРС. ИМПЕРАТОР. Пер. с нем. Роман	119
Часть первая	121
Часть вторая	274
Часть третья	424

Литературно-художественное издание

Николай Ульянов

АТОССА

(Поход Дария в Скифию)

Георг Эберс

ИМПЕРАТОР

Перевод с немецкого

Художник Н. Егоров

Технический редактор Б. Шаргородская

Корректоры В. Викулкина, И. Кондратьева

**Сдано в набор 16.07.93. Подписано к печати 20.09.93.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл.-печ. л. 30,24. Тираж 40 000 экз. Зак. 293. Цена договорная.**

**Издательский дом «Дрофа»
105318, Москва, Щербаковская ул., д. 3.
Издательство «Новая книга»
Москва, ул. Академика Челомея, д. 4, а/я 166.**

**Издательско-полиграфическое предприятие «Зауралье»,
640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106**



